

Где МОПАССАН ПЫШКА ЖИЗНЬ МИЛЫЙ ДРУГ



СВЫШЕ ДВУХСОТ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ПЬЕРА ЖОРЖА ЖАННИО,
ЖЮЛЯ МАРИ ОГЮСТА ЛЕРУ,
ФЕРДИНАНДА БАКА

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Ги де Мопассан
(1850–1893)

(фотопортрет Ф. Надара)

Ги де Мопассан

ПЫШКА



ЖИЗНЬ



МИЛЫЙ ДРУГ



творческое объединение
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплётной компании
ООО «Творческое объединение «Алькор».*



Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84.(4)-44
УДК 821.133.1
М78

Тексты в современной орфографии воспроизводятся по изданиям

*Мопассан Г. де. Полное собрание сочинений. —
Санкт-Петербург : тип. «Печ. труд», 1911*

*Мопассан Г. де. Избранные сочинения. —
Петроград : Всемирная литература, 1919*

Первые 100 пронумерованных экземпляров от общего тиража данного издания переплетены мастерами ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“».

Классический европейский переплет выполнен из натуральной кожи особой выделки растительного дубления. Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки.

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmeo с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока с трех сторон методом механического торшонирувания с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

М78 **Мопассан Ги де.** Пышка. Жизнь. Милый друг. — СПб.: СЗКЭО, 2021, — 528 с.: ил.

В сборник вошли новелла «Пышка» (1880) в переводе Алексея Николаевича Маслова (литературный псевдоним А. Бёжецкий) (1852–1922) и романы «Жизнь» (1883) в переводе Александры Николаевны Чеботаревской (1870–1925) и «Милый друг» (1885) в переводе Анастасии Николаевны Чеботаревской (1877–1921). Книга проиллюстрирована рисунками французских художников Пьера Жоржа Жаннио (1848–1934), Жюля Мари Огюста Леру (1871–1954) и Фердинанда Бака (1859–1952).

ISBN 978-5-9603-0632-4 7БЦ
ISBN 978-5-9603-0633-1 Кожанный переплет

© СЗКЭО, 2021

ПЫШКА



Перевод
А. Бежецкого

Иллюстрации Пьера Жоржа Жаннио воспроизводятся по изданию
Guy de Maupassant. Boule de Suif. — Paris : Paul Ollendorff, 1904

В течение нескольких дней жалкие остатки разбитой армии проходили через город¹.

Это уже были не войска, а беспорядочная толпа. Солдаты с запущенными, грязными бородами, в изодранных мундирах, вяло тянулись без знамен и без всякого строя. Подавленные усталостью и лишенные способности что-либо соображать, они двигались только по привычке, а кто останавливался, тот тут же и падал от утомления. Главным образом здесь были призывные старших возрастов, — состоящие большею частью из миролюбивых людей, спокойных рантьеров², сгибавшихся теперь под тяжестью ружей; тут же шли и мобили³, юркая молодежь, легко поддающаяся как страху, так и воодушевлению, столь же готовая как к атаке, так и к беспорядочному бегству. Время от времени мелькали красные штаны линейных солдат⁴ — остатки какой-нибудь дивизии, разбитой и рассеянной в сражении; среди этих перемешанных пехотинцев чернелась темная форма артиллериста; иногда сверкала каска драгуна, следовавшего тяжелой поступью за более легкими на ходу пехотными. Затем проходили, в свою очередь, отряды военных стрелков с видом бандитов и с громкими названиями: «Мстители поражения», «Граждане могилы», «Участники смерти». Их начальники, еще недавно торговавшие кто сукном, кто зерном, а то салом или мылом, эти случайные вояки, получившие офицерское звание кто за деньги, а кто за длину усов, обвешанные оружием и покрытые фланелью и галунами, громко разговаривали и обсуждали планы кампании; эти хвастуны, выражая претензию на своих плечах поддержать погибающую Францию, в то же время очень побаивались своих собственных солдат, хотя и способных иногда на большой подвиг, но состоящих всё из грабителей и забулдыг.

¹ Действие новеллы происходит во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг., в которой Франция потерпела поражение (*примеч. ред.*).

² *Рантьер* (*устар.*) — буржуа-рантье, то есть обыватель, живущий на процент со своего капитала; во Франции XIX в. составляли значительную общественную прослойку (*примеч. ред.*).

³ *Мобиль* (*устар.*) — воин мобильной гвардии, созданной для охраны объектов и борьбы с внутренними волнениями (*примеч. ред.*).

⁴ Синие мундиры и ярко-красные форменные штаны — отличительный признак солдат французских регулярных войск вплоть до 1915 г. (*примеч. ред.*).

Говорили, что пруссаки скоро вступят в Руан.

Национальные гвардейцы¹, которые в течение двух месяцев производили разведки в соседних лесах, причем подчас расстреливали собственных часовых, и которые готовились к бою, лишь только кролик зашуршит в кустах, — немедленно разошлись по домам.

Оружие, мундиры, все смертоносные принадлежности, недавно еще наводившие страх на три лье² кругом, — все это вдруг исчезло.

Наконец, последние французские солдаты перешли Сену, направляясь через Сен-Север и Бург-Ашар в Понт-Одеме³. В хвосте между двумя ординарцами следовал пешком генерал, в полном отчаянии от невозможности что-либо предпринять с этим разбитым сбродом, сам потерявший голову во всеобщем погроме народа, доселе привыкшего побеждать, а теперь разбитого ужасным образом, несмотря на свою легендарную храбрость.

Затем глубокая тишина, боязливое и безмолвное ожидание повисло над городом. Многие толстопузы-буржуа, обабившиеся в торговле, тоскливо поджидали победителей, дрожа от страха, как бы их вертела и кухонные ножи не была приняты за оружие.

Жизнь, казалось, остановилась; лавки были заперты; улица онемела. Изредка кто-нибудь из жителей пробирался торопливо вдоль стен, уstraшенный этим безмолвием. Желалось, чтобы неприятель, наконец, вошел, до того ожидание становилось невыносимым.

После полудня, вслед за уходом французских войск, несколько улан, неизвестно откуда взявшихся, поспешно проехали по городу. Затем, немного позже, черная толпа завоевателей спустилась с высот Сент-Катрин, между тем как две другие массы нахлынули по дорогам из Дарнеталья и Буа-Гийома.

Авангарды трех корпусов, как раз в один и тот же момент, соединились на площади Ратуши; и по всем соседним улицам прибывала германская армия, развертывая свои батальоны, и мостовая дрожала под их твердыми и мерными шагами⁴.

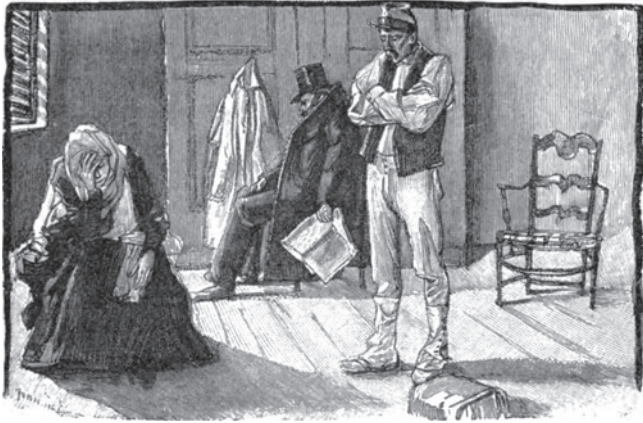
По улицам стали раздаваться команды, выкрикиваемые незнакомыми и гортанными голосами. В домах, казалось, все опустело и вымерло, но сквозь закрытые ставни глаза следили за этими победоносными людьми, сделавшимися властелинами города, достояний и жизней в силу «права войны». В своих темных комнатах жители находились в том тупом ужасе, какой внушают наводнения, смертоносные землетрясения, против которых бывают бесполезны всякая мудрость и всякая сила. Ведь такое же ощущение испытываешь каждый раз, когда ниспровергнут установленный порядок вещей, когда безопасности

¹ *Национальная гвардия* — здесь: французское вооруженное гражданское ополчение (*примеч. ред.*).

² *Лье* — путевая мера во Франции; сухопутное лье составляет 4444,4 м (*примеч. ред.*).

³ Здесь и далее географические названия, имена персонажей и т. п. приведены в соответствии с общепринятой ныне нормой (*примеч. ред.*).

⁴ Прусские войска расквартировались в Руане с 9 января 1871 г. (*примеч. ред.*).



не существует, когда все то, что охраняет законы людей или законы природы, отдается на произвол бессознательной и хищной грубости.

Землетрясение, погребавшее целый народ под рухнувшими домами; река во время разлива, смешивающая потонувших крестьян с трупами быков и балками, сорвавшимися с крыш, или победоносная армия, избивающая тех, которые защищаются, увозящая других пленными, грабящая во имя меча и воздающая благодарение Господу при звуке пушки, — все это одинаково ужасные бичи, которые сбивают с толка всякую веру в вечную справедливость, всякую веру, какой нас учат, в покровительство неба и человеческого разума.

Но у каждой двери стучались небольшие команды, потом скрывались в домах. Это была оккупация после вторжения. Наставала пора для побежденных любезничать с победителями.

По прошествии некоторого времени, по миновании первого страха, снова водворилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер обедал за одним с ними столом. Иногда он оказывался хорошо воспитанным и из учтивости сожалел о Франции, говорил о своем отвращении к своему участию в войне.

К нему бывали признательны за это чувство, да к тому же не сегодня завтра могли нуждаться в его покровительстве. Ухаживая за ним, может быть, удалось бы избавиться от нескольких лишних солдатских ртов. Да и к чему оскорблять того, от кого зависели всецело? Ведь это была бы уже не храбрость, а дерзость. Дерзость же не составляет уже недостаток руанских буржуа, как то было в героические времена, когда отличался их город. Наконец, мысленно говорили себе — то высшее соображение, вытекавшее из французской обходительности, — что вполне дозволительно быть учтивыми в своем доме, лишь бы публично не высказывать фамильярности с иноземным солдатом. На улице делали вид, что не узнают его, а дома охотно беседовали, и немец засиживался дольше каждый вечер, греясь у общего очага.

Самый город мало-помалу принял свой обычный вид. Французы все еще не выходили из своих домов, но прусские солдаты кишели на улицах. Впрочем,

офицеры голубых гусаров, с задором влачившие по мостовой свои большие смертоносные сабли, казалось, вовсе не относились к простым гражданам с большим презрением, чем офицеры французских стрелков, которые за год перед тем покучивали в тех же ресторанах.

Однако, в воздухе было нечто неведомое и неуловимое, чувствовалась какая-то иноземная невыносимая атмосфера, точно распространявшийся запах нашествия. Он наполнял жилища и площади, изменял вкус пищи, вызывал такое впечатление, точно находишься в путешествии, очень далеком, у племен варварских и опасных.

Победители требовали денег, много денег. Жители платили беспрекословно; впрочем, они были богаты. Но чем богаче делается нормандский купец, тем более он страдает от всякой жертвы, от всякой частицы его богатства, переходящей в руки другого.

Между тем, в двух-трех милях от города по течению реки, то у Круассе, то у Дьепдала или у Биессара судовщики и рыбаки стали вылавливать время от времени из воды раздувшиеся в своих мундирах трупы немцев; некоторые из них были зарезаны ножом; другие убиты ударом камня по голове, а то и просто сброшены неожиданным толчком с моста в воду. Речная тина поглощала эти жертвы мрачного и дикого, но законного мщения; то были случаи неведомого геройства, безмолвных нападений, более опасных, чем открытое сражение. Потому что всегда и везде находятся несколько отважных людей, руководимых ненавистью к иноземцу и готовых умереть за идею.

В виду, однако, того, что завоеватели, подчинив город своей непреклонной дисциплине, не совершали никаких неистовств, которыми, как уверяла народная молва, они ознаменовали свое победоносное шествие, население подбодрилось, и торгашеские инстинкты вновь проснулись в сердцах местных купцов.

У некоторых из них были серьезные дела в Гавре, который был занят в это время французскими войсками; они хотели попробовать пробраться туда, направляясь сначала сухим путем на Дьеп, а оттуда морем. С этой целью они стали хлопотать о выезде через знакомых немецких офицеров, и вскоре было получено разрешение от главнокомандующего.

Вслед за тем был нанят большой дилижанс, запряженный четверкой лошадей, и десять человек записались на станции; решено было выехать засветло, чтобы избежать наплыва пассажиров.

Уже несколько дней, как мороз сковал землю, а в понедельник, около трех часов дня, с севера надвинулись густые черные облака, и непрерывный снег шел весь вечер и всю ночь.

В четыре с половиною часа утра путешественники собрались на дворе гостиницы «Нормандия», где ожидали карету.

Все имели еще заспанный вид и дрожали от холода. В темноте было плохо видно, и все эти господа в своих тяжелых зимних одеяниях походили на дорожных священников в их длинных сутанах.

Но двое мужчин узнали друг друга; к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я уезжаю с женой, — сказал один из них.

— И я также...

— И я, — прибавил третий.

— Мы в Руан не вернемся, — прибавил первый, — а если пруссаки подойдут к Гавру, мы уедем в Англию.

Оказалось, что у всех был один и тот же проект.

Между тем, запряжка дилижанса подвигалась медленно. Конюх с небольшим фонарем в руках появлялся время от времени в одной из дверей конюшни, но затем тотчас же исчезал в другой.

Изнутри доносился глухой топот лошадиных копыт о землю, смягченную подстилкой; чей-то голос разговаривал и ругался с лошадьми.

По легкому позвякиванию бубенчиков можно было судить, что расправляли сбрую; затем звон сделался яснее и продолжительнее, как бы соразмеряясь с движениями животного, то умолкал, то возобновлялся в виде быстрого встряхивания, сопровождаясь глухими ударами подкованных железом сабо¹ о почву.

Ворота внезапно захлопнулись. Шум прекратился. Прозябшие буржуа замолчали, погруженные в томительное ожидание.

Белые хлопья снега, подобно бесконечной завесе, все падали и падали на землю, отливая тусклым блеском. Эта снежная завеса сглаживала все очертания, облепляла все предметы точно ледяным мхом, и в спокойной тишине спящего города, закутанного в саван зимы, только и слышалось это неясное



¹ Сабо — французская крестьянская обувь на деревянной подошве, обычно без задника (примеч. ред.).

и неопределенное не то трение, не то веяние падающих снежинок; то было скорее ощущение, чем шум, производимое перемешиванием легких частиц, которые, казалось, наполняли все пространство, покрывали весь мир.

Наконец, показался снова человек с фонарем, с довольно жалкой лошастью, которая шла весьма неохотно. Поставив ее в дышло и подвязав постромки, он долго возился вокруг нее, расправляя одной рукой сбрую, так как другая была занята фонарем. Собираясь идти за другой лошастью, он заметил путешественников, неподвижно стоявших и побелевших от снега, и сказал:

— Отчего вы не влезете, господа, в дилижанс? По крайней мере, вы укроетесь от снега...

Никто, по-видимому, об этом не подумал, а теперь все туда бросились. Усадив своих жен вглубь дилижанса, трое мужчин полезли вслед за ними, затем другие неопределенные, завернутые во что-то фигуры молча заняли последние места. На дне дилижанса была наслана солома, в которую погрузились ноги. Первые дамы, захватившие с собою медные грелки с бездымным углем, вполголоса начали расхваливать достоинства этих приборов, и без того уже известные каждой из них в отдельности.

Наконец, все было готово; в дилижанс, по случаю тяжелой дороги, была впряжена вместо четверки шестерка лошадей.

Снаружи кто-то спросил:

— Все ли на местах, господа?

Кто-то ответил из кареты:

— Да...

И дилижанс тронулся.

Ехали очень медленно, шагом. Колеса погружались в снег; переполненный кузов глухо скрипел; от скользящих и храпящих лошадей валил пар. Огромный кучерской бич беспрерывно щелкал, свиваясь и развиваясь, как тонкий змей. Время от времени этот бич падал на круп заупрямившейся лошади, и тогда она бросалась вперед, натягивая постромки.

Незаметно рассветало. Снег, который один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с хлопчатобумажным дождем, перестал падать.

Сквозь темные и тяжелые облака чуть прорывался тусклый свет; от этого света поля, казалось, сверкали белизной; по временам виднелись деревья, одетые инеем, или хижина под снежной крышей.

Сидящие в дилижансе с любопытством стали оглядывать друг друга при печальных проблесках занимающейся зари.

В глубине, на лучших местах, дремали друг против друга господин и госпожа Луазо, оптовые виноторговцы из Гран-Пон.

Луазо был сначала приказчиком, и, когда хозяин разорился, купил у него всю торговлю и скоро нажил большое состояние. Он занимался перепродажей по дешевой цене вин самого низкого качества мелким сельским торговцам и слыл среди своих знакомых и друзей за тонкого плута, истинного нормандца, отличающегося большим лукавством и веселостью.

За ним настолько установилась репутация мошенника, что остроумный и едкий господин Турнель — автор нескольких песен и рассказов, в некотором роде местная слава, — на одном из вечеров в префектуре предложил соскучившимся дамам сыграть в «*Loiseau vole*» («птица летает», «Луазо ворует»). Эта остроота быстро разлетелась по салонам префекта, затем пошла по городу и в течение месяца вызывала смех среди провинциалов.

Луазо, кроме того, был известен всевозможными веселыми проделками и шутками, когда удачными, а когда и нет; поэтому, упоминая о нем, всегда прибавляли: «Этот Луазо неоценим!». При маленьком росте и толстом животу он походил на шар, сверх которого смотрело багровое лицо, обрамленное седеющими бакенбардами.

Его жена, крупная и полная женщина с громким голосом и решительными суждениями, была олицетворением порядка и точности в торговом доме, который она оживляла своею деятельностью.

Возле них важно восседал господин Карре-Ламадон. Он принадлежал к высшей касте, так как имел огромный вес в хлопчатобумажном деле, будучи владельцем трех бумагопрядилен, кавалером офицерского креста Почетного легиона¹ и членом Совета. Но все времена империи² он находился в умеренной оппозиции — единственно ради того, чтобы ему платили дороже за поддержку направления, которое он защитил, по его собственному выражению, учтивым оружием. Госпожа Карре-Ламадон была значительно моложе своего мужа. Все благовоспитанные офицеры, назначенные в руанский гарнизон, только у нее и находили утешение. Закутанная в свои меха, она казалась рядом со своим мужем очень маленькой, миленькой и хорошенькой. Она смотрела сокрушенным взором на плачевное состояние, в каком находилась внутренность дилижанса.

Ее соседи, граф и графиня Гюбер де Бревиль, принадлежали к числу самых старинных и благородных нормандских фамилий. Граф, старый дворянин с величественными манерами, старался всячески выдвинуть свое природное сходство с королем Генрихом IV³, который, по свидетельству громкого фамильного предания, был виновником беременности одной из дам де Бревиль, за что ее муж был сделан графом и губернатором провинции.

Будучи товарищем господина Карре-Ламадона по Генеральному Совету, граф Гюбер стоял в департаменте во главе партии орлеанистов⁴. В истории

¹ Согласно кодексу, орден Почетного легиона состоит из пяти степеней (по восходящей): кавалеры, офицеры, командоры, великие офицеры и кавалеры большого креста (примеч. ред.).

² Имеется в виду так называемая Вторая империя (официально — Французская империя) — период бонапартистской диктатуры в 1852–1870 гг. (примеч. ред.).

³ *Генрих IV Наваррский* (1553–1610) — король Наварры с 1572 г. (как Генрих III), король Франции с 1589 г., первый из династии Бурбонов (примеч. ред.).

⁴ *Орлеанисты* — сторонники монархии, орлеанского дома, с 1830 г. — династии короля Луи-Филиппа I (1773–1850) (примеч. ред.).

его брака с дочерью одного мелкого судовладельца в Нанте оставалось что-то недосказанное. Но так как графиня умела придавать себе важность, принимала гостей лучше всех и даже слыла за любовницу одного из сыновей Луи-Филиппа, то все дворянство относилось к ней приветливо, а ее салон считался первым в крае, единственным, где еще сохранилась старинная галантность и в который попасть было не так-то легко.

Состояние де Бревиллей, заключавшееся в поместьях, приносило, как говорят, до пятисот тысяч ливров дохода.

Эти шесть особ поместились в глубине кареты; это была часть общества наиболее богатая, наиболее благомыслящая и сильная — честные и влиятельные люди, у которых есть и религия, и принципы.

По странной случайности, все женщины уселись на одной скамье; по соседству с графиней находились еще две монахини, которые перебирали четки, бормоча «Отче наш» и «Богородицу». Одна из них была старуха, и лицо ее до того было изрыто оспой, как будто ей кто-нибудь выпустил в него в упор целый заряд дроби. Другая была очень худа, с красивым, хотя болезненным лицом и с чахоточною грудью, истощенною тою пожирающею верою, которая создает мучеников и фанатиков.

Мужчина и женщина, сидевшие против них, привлекали к себе всеобщее внимание. Первый был всем известный Корнюде, крайний демократ, ужас всех благонамеренных людей. Вот уже двадцать лет, как он макал свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прожил со своими братьями и друзьями довольно хорошее состояние, доставшееся ему от отца, бывшего кондитера, и нетерпеливо ожидал провозглашения республики, чтобы получить наконец место, заслуженное столькими расходами на революцию.

В день Четвертого сентября¹, может быть, вследствие чьей-нибудь шутки, он вообразил, что его назначили префектом, но когда он пожелал вступить в должность, то канцелярские служители, оставшиеся единственными хозяевами положения, отказались принять его, что принудило его к отступлению. Вообще же это был добрый малый, безобидный, услужливый; теперь он занимался с величайшим жаром организацией обороны: он заставил накопать ям в равнинах, повалить все молодые деревья, усеять западнями все дороги, а при приближении неприятеля, совершенно довольный своими приготовлениями, быстро отступил к городу. Теперь он полагал, что будет более полезен в Гавре, так как там могла тоже явиться надобность в новых оборонительных окопах.

Его соседка, принадлежащая к разряду так называемых «галантных» женщин, славилась своей не по летам развившеюся полнотою, за что и была прозвана Пышкой. Это была маленькая, круглая, жирная женщина; ее пухлые пальцы, сдавленные в суставах, походили на связки коротких сосисок;

¹ 4 сентября 1870 г. революция в Париже свергла императора Наполеона III (1808–1873) и положила начало Третьей республике (*примеч. ред.*).

кожа как будто была натянута и лоснилась, а под платьем выдавалась огромная грудь. Тем не менее, в ней было что-то аппетитное, возбуждающее, благодаря ее свежести. Ее лицо походило на красное яблочко или на распускающийся пион, сверху которого глядели два великолепных черных глаза, скрывавшихся в тени длинных и густых ресниц, а ниже — прелестный ротик, маленький, влажный, с мелкими и блестящими зубами молочной белизны.

Кроме того, как говорили, у нее еще было много других неоценимых достоинств.

Как только она была узнана, между честными женщинами пробежал шепот; «проститутка» и «публичный позор» были произнесены настолько громко, что она даже подняла голову. Тогда она обвела своих соседей таким вызывающим и смелым взглядом, что тотчас же воцарилась полная тишина; все общество опустило глаза, за исключением Луазо, который весело поглядывал на нее.

Но разговор скоро возобновился между тремя дамами, которых немедленно сблизило присутствие этой девушки.

Им казалось, что они должны были противопоставить нечто вроде союза из их супружеских добродетелей этой продажной бесстыднице; законная любовь всегда берет верх над своей свободной сестрой.

Трое мужчин, тоже сближенные духом консерватизма при виде Корнюде, рассуждали в особенно презрительном для бедных тоне о денежных делах. Граф Гюбер говорил об убытках, причиненных ему пруссаками; от расхищения скота и небранного хлеба предстояли довольно значительные потери, но в его голосе звучала уверенность знатного вельможи и десятикратного миллионера, что все эти опустошения не стеснят его более как на год. Господин Карре-Ламадон, большой дока в хлопчатобумажном деле, на всякий случай позаботился перевести в Англию шестьсот тысяч франков. Что касается Луазо, то ему удалось продать французскому интендантству все простые вина, оставшиеся у него в погребах. Таким образом, казна должна была ему очень значительную сумму, которую он и рассчитывал получить в Гавре.



Все трое быстро и дружески переглядывались. Несмотря на различное положение, они сознавали себя братьями по деньгам, принадлежащими к великому масонскому обществу владельцев, тех, которые позвякивают золотом, запустив руки в свои карманы.

Карета двигалась так медленно, что к десяти часам утра сделали только четыре лье. Мужчинам три раза приходилось вылезать и подниматься пешком в гору. Начинали беспокоиться, так как предполагалось завтракать в Тотесе, между тем теряли надежду добраться туда и к ночи.

Все посматривали в надежде увидеть какой-нибудь кабак на дороге, как вдруг, в довершение всего, дилижанс завяз в снежном сугробе, и два часа ушло на то, чтобы его освободить. Аппетит возрастал, приводил всех в дурное настроение духа, а между тем не было видно ни одной корчмы, ни одной виноторговли; близость пруссаков и следование в этой местности голодных французских войск нагнали страх на всех торговцев.

Мужчины обегали все придорожные фермы, но не могли достать даже хлеба; осторожные крестьяне попрятали все свои запасы из боязни быть ограбленными солдатами, которые, не имея что перекусить, насильно отнимали все, что находили.

Около часа пополудни Луазо объявил, что он чувствует жестокую пустоту в желудке. Все давно уже страдали подобно ему. От сильного голода разговор умолк.

Время от времени то тот, то другой зевал, вызывая подражание в соседе. При этом, в зависимости от характера, воспитания и общественного положения, один зевал громко, другой скромно, быстро поднося руку ко рту, из которого выходил пар. Пышка несколько раз нагибалась, как будто чего-то ища под лавкой; одно мгновение она как будто колебалась, но, посмотрев на своих соседей, опять выпрямилась и успокоилась. Лица у всех перекосились и побледнели. Луазо уверял, что за небольшой окорок он заплатил бы тысячу франков. Жена его протестовала жестом, однако ничего не сказала.



Она не могла спокойно слышать, когда говорили при ней о швырянии денег, и не понимала даже шуток на этот счет.

— Тем не менее, я чувствую себя нехорошо, — сказал граф, — как это я не подумал захватить с собой провизии?

Тот же упрек делали себе и другие.

Между тем, у Корнюде оказалась большая фляжка с ромом. Он предложил желающим, но последовал холодный отказ. Один только Луазо отпил глотка два и, возвращая фляжку, сказал:

— Это недурно, во всяком случае; оно согревает и отчасти обманывает голод...

Повеселев от спирта, он предложил, как это поется в песне «О маленьком судне», съесть самого жирного пассажира. Благовоспитанное общество несколько шокировалось этим косвенным намеком на Пышку. Никто не разделил его шутки, и только один Корнюде улыбнулся. Обе монахини перестали перебирать четки и, заложив руки в свои широкие рукава, сидели неподвижно, потупив глаза, как бы взывая к небу о страдании, которое оно им посылало.

Наконец, в три часа, когда дилижанс проезжал бесконечной равниной без всякого признака деревни, Пышка решительно наклонилась и вытащила из-под сидения широкую корзину, покрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула из нее маленькую фаянсовую тарелку и тонкий серебряный бокал, а затем большую миску, в которой, застыв в желе, лежали два больших цыпленка, разрезанные на куски. В корзинке было завернуто еще много разных вкусных вещей: тут были и пирожки, и фрукты, и лакомства, вообще, запас провизии был рассчитан дня на три, чтобы не прибегать к огненным кухням.

Между свертками с едой высовывались четыре горлышка бутылок.

Она вынула крылышко цыпленка и один хлебец, какие в Нормандии называются «*régence*»¹, и скромно стала кушать.

Все взоры были устремлены на нее. От запаха кушанья невольно раздувались ноздри, рты наполнялись слюной, а челюсти мучительно сжимались. Презрение дам к этой девушке обратилось в свирепую злобу; казалось, они бы ее убили или выбросили из кареты в снег вместе с ее бокалом, с ее корзиной и провизией.

Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами.

— Вот это хорошо, мадам, — сказал он, — вы оказались предусмотрительнее нас. Ведь бывают же люди, которые умеют обо всем подумать!

— Может быть, вам угодно, месье? — сказала она, обернувшись к нему. — Нельзя же ничего не есть с самого утра.

Луазо поклонился.

¹ Популярный во Франции сорт хлеба «регентский» (от фр. *Régence* — регентство) (примеч. ред.).

— По чести, я откровенно вам признаюсь, что я не откажусь, я не в состоянии более терпеть! Тут уж нечего церемониться. Правду ведь я говорю, мадам?

И затем, окинув взглядом остальных, он прибавил:

— В таком положении всегда приятно встретить любезных людей...

Разложив на коленях газету, чтобы не запачкать брюк, и вынув из кармана неразлучный с ним нож, он достал его концом ножку, всю покрытую желе, разорвал ее зубами и затем стал жевать с таким удовольствием, что все в карете мучительно вздохнули.

Пышка застенчиво и ласково предложила монахиням разделить с нею трапезу.

Монахини моментально согласились и, пробормотав какую-то благодарность, с потупленными глазами принялись уписывать предложенную им еду. Корнюде тоже не отказался и ел, устроив из газеты вместе с монахинями нечто вроде общей скатерти.

Рты то и дело открывались и закрывались, захватывали, жевали и свирепо глотали.

Луазо в своем углу работал вовсю и потихоньку приглашал и жену последовать его примеру. Она довольно долго противилась искушению, но чувствительный спазм в желудке принудил ее согласиться. Луазо в изысканных выражениях спросил разрешения у «очаровательной попутчицы» предложить кусочек чего-нибудь его жене.

— Ну да, без сомнения, месье, — отвечала та с любезной улыбкой, передавая миску.

Представилось небольшое затруднение, когда откупорили первую бутылку бордо, так как в наличии был только один бокал. Пришлось обойтись этим бокалом, предварительно его отерев. Только один Корнюде, вероятно, из учтивости, приложил свои губы к влажному краю стакана, из которого пила его соседка.

Граф и графиня де Бревиль, а также чета Карре-Ламадон сидели, окруженные людьми, которые ели, и в одурении от запаха пищи испытывали ту отвратительную муку, которая известна под названием муки Тантала.

Неожиданно глубокий вздох молодой жены фабриканта заставил всех обратиться в ее сторону; она была бледна, как снег, голова откинулась, глаза закрылись: она лишилась чувств. Совершенно растерявшийся супруг обращался ко всем за помощью. Остальные тоже растерялись, но старшая из монахинь, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам бокал Пышки и заставила ее проглотить несколько капель вина. Хорошенькая дама очнулась и, слабо улыбаясь, объявила умирающим голосом, что ей теперь гораздо лучше. Тем не менее, монахиня убедила ее во избежание повторения выпить целый стакан бордо.

— Это, очевидно, от голода, — прибавила она.

Пышка вспыхнула и, глядя на четырех путешественников, которые еще не ели, в замешательстве пролепетала:

— Ах, боже мой! Да если бы только я могла предложить этим господам... — Она не закончила фразы, боясь получить оскорбительный ответ.

— Черт побери, — вмешался Луазо, — в подобных случаях все люди — братья и все должны помогать друг другу. Право, госпожа, советую вам не церемониться без толку и не отказываться... Какого черта?! Еще неизвестно, найдем ли мы какой-нибудь дом, где на пути можно будет переночевать, а так, как мы едем, мы не доберемся до Тотеса раньше завтрашнего полудня...

Несмотря на эти слова, они все еще колебались; никто не решался первый сказать «да»; но граф смело разрешил вопрос. Повернувшись к оробевшей Пышке, он сказал ей с величественным жестом:

— Мы принимаем с благодарностью ваше предложение, мадам...

Только первый шаг труден. Рубикон был перейден, и всякое стеснение исчезло. Корзинка быстро опустела. В ней еще оказалось много всякой всячины: страсбургский пирог, паштет из воробьев, кусок копченого языка, крассанские груши¹, «*pavé de Pont-l'Évêque*»², пирожные и целая банка маринованных корнишонов и луку. Пышка, как все женщины, обожала все эти тяжелые, но вкусные вещи.

Так как нельзя было поесть провизию этой девушки и не обменяться с ней ни одним словом, то с ней вступили в беседу.

Сначала как-то не клеилось, но скоро разговорились, так как она держала себя с большим тактом. Госпожи де Бревиль и Карре-Ламадон благодаря своему воспитанию выказали по отношению к ней утонченную вежливость. В особенности была очаровательна графиня с ее любезной снисходительностью, свойственной дамам высшего общества, которых не может загрязнить никакое соприкосновение. Одна только толстая Луазо с ее жандармской душой оставалась угрюмой; она говорила мало, но ела много.

Разговор, естественно, вращался вокруг войны. Говорили про ужасы, производимые пруссаками, и про подвиги французов; все эти господа, обращаясь в бегство, отдавали, однако, дань уважения храбрости других. Затем начались рассказы про самих себя. Пышка с неподдельным волнением и с тою горячностью, какая иногда встречается в подобных девушках, рассказала, как она решила покинуть Руан.

— Сначала я думала, что буду в состоянии остаться на месте. Всяких запасов у меня в доме было вдоволь, и я решила, что лучше кормить нескольких солдат, чем переселиться неизвестно куда... Но это оказалось выше моих сил, когда я в первый раз увидела пруссаков. Вся кровь вскипела во мне от злобы; целый день я плакала от стыда. О, если бы я была мужчиной, показала бы я себя! Когда я увидела из окна этих толстых боровов с их остриями на касках, то, не удерживая меня вовремя моя горничная, я бы перешвырнула им в голову всю свою мебель.

¹ *Крассанские груши* — сорт груш с нежным вкусом (примеч. ред.).

² Здесь: пряники а ля Пон-л'Эвек (фр.) (примеч. ред.).



Когда же несколько человек явились ко мне на постой, я первому же вцепилась в горло. Ведь пруссака так же можно легко придушить, как и всякого другого. Я бы с ним и справилась, если бы меня не оттащили за волосы. После этого пришлось спрятаться и, как только представился случай, я выехала, и вот, как видите, еду...

Все стали ее поздравлять. Она выросла в глазах своих спутников, которым не довелось отличиться подобно ей. Корньюде слушал ее с той одобрительной и благосклонной улыбкой, с какой внимает обыкновенно священник святоше, прославляющему Бога. Длиннобородые демократы пользуются почему-то монополией патриотизма, подобно тому, как монахи — монополией религии. Затем он заговорил, в свою очередь, напыщенно доктринерским тоном, в духе прокламаций, которые ежедневно расклеивали по стенам, и закончил красноречивым выпадом в адрес этого «*crapule de Badinguet*»¹.

Пышка оказалась бонапартисткой и немедленно рассердилась. Покраснев, как вишня, и заикаясь от негодования, она воскликнула:

— Хотела бы я посмотреть на вас на его месте! Вот было бы хорошо, нечего сказать! Ведь это вы его предали!.. Если нами станут управлять такие пустые люди, как вы, так останется только одно — бежать из Франции!

Корньюде выслушал ее невозмутимо, с улыбкой превосходства, но так как спор легко мог обостриться, то граф вмешался и успокоил разгорячившуюся

¹ Негодяя Баденге (фр.); Баденге — насмешливое прозвище Наполеона III, по фамилии каменщика, в одежде которого он бежал из тюрьмы (примеч. ред.).

девушку, объявив авторитетным тоном, что все искренние мнения достойны уважения.

Между тем графиня и жена фабриканта, питавшие, как все благовоспитанные дамы, необъяснимую ненависть к республике и инстинктивную нежность к блестящим и деспотическим правительствам, мысленно стали на сторону этой проститутки, которая оказалась одних с ними убеждений.

Корзинка была пуста. Десять человек легко ее опорожнили, сожалея, что она была не больше. Разговор продолжался еще несколько времени, но с меньшим оживлением, в особенности после того, как все наелись.

Ночь быстро наступала, скоро сделалось совсем темно. Пышка, несмотря на свою полноту, дрожала от холода, который вообще кажется чувствительнее во время пищеварения. Заметив это, госпожа де Бревилья предложила ей свою грелку, в которой уже несколько раз в течение дня возобновляли уголь, и Пышка, у которой замерзали ноги, тотчас же согласилась. Со своей стороны, госпожи Ламадон и Луазо отдали свои грелки монахиням.

Кучер зажег фонари. Яркий свет их осветил клубы пара, поднимавшиеся над крупами вспотевших коренников, и пелену снега по бокам дороги, которая, казалось, развertyвалась при отблеске двигающихся огней. В карете стало совершенно темно и тихо; только раз между Корньюде и Пышкой произошло какое-то движение; Луазо, который старался разглядеть что-нибудь, показалось в темноте, что господин с длинной бородой быстро отстранился, получив, как казалось, добрый, хотя и беззвучный удар.

Впереди, на дороге, замелькали огоньки. Это был Тотес. Таким образом, считая одиннадцать часов на езду и два на отдых и корм лошадей, всего находились в пути четырнадцать часов. Дилижанс въехал в местечко и остановился около коммерческой гостиницы. Дверца открылась, и вдруг знакомый звук заставил вздрогнуть всех путешественников: то было звяканье сабельных ножен о землю; вслед за тем чей-то голос прокричал что-то по-немецки!..

Хотя дилижанс уже остановился, но никто оттуда не вылезал, точно предстояло быть зарезанным при выходе. Тогда появился кучер с одним из фонарей; внутренность дилижанса осветилась, а вместе с тем и два ряда встревоженных лиц с разинутыми ртами и с глазами, вытаращенными от испуга и неожиданности.

Рядом с кучером, в ярком освещении, стоял немецкий офицер. Это был высокий молодой человек, очень тонкий и белокурый, затянутый в свой мундир, точно девица в корсет; в своей плоской и лакированной фуражке, надетой набок, он походил на рассыльного из английского отеля. Усы его были несоразмерно велики; их длинные, прямые волосы утончались постепенно с каждой стороны и заканчивались одним белокурым волосом, до того тонким, что конца все-таки не было видно; эти усы, казалось, оттягивали его щеки и края рта и образовали около губ особую складку.

Он довольно резко пригласил путешественников вылезать, обратившись к ним по-французски, но с эльзасским выговором:



— Не угодно ли вам выходить, *messieurs et mesdames*¹?

Приказание было исполнено прежде всего монахинями, привыкшими вообще к послушанию. Затем появились граф и графиня, фабрикант со своей супругой, а вслед за ними Луазо, подталкивая свою почтенную половину. Скорее из чувства осторожности, чем из вежливости, Луазо сказал офицеру:

— Добрый день, месье!

Но последний с дерзостью всесильного человека ничего ему не ответил.

Пышка и Корнюде, сохраняя достоинство перед врагом, вылезли последними, хотя и сидели ближе всех к дверцам. Пышка старалась совладать с собою и казаться спокойной, а демократ теребил с трагическим видом слегка дрожащей рукой свою длинную рыжую бороду. Сознавая, что при подобных встречах каждый представляет из себя до известной степени Отечество, они желали проявить по возможности больше достоинства. Возмущенная лишнею вежливостью своих спутников, Пышка старалась казаться более гордою, чем эти честные дамы; тогда как Корнюде, чувствуя, что он должен служить примером, всей своей позою продолжал выражать идею сопротивления, которое он начал еще раньше, перекопав все дороги.

Все вошли в обширную кухню гостиницы, и немец приказал предъявить ему разрешения о выезде, подписанные главнокомандующим, в которых значились имена, приметы и профессия каждого путешественника.

Осмотрев внимательно всех и проверив документы, он сказал: «Хорошо», и затем исчез.

У всех отлегло от сердца. Все еще были довольно голодны, а потому заказали ужин. На последний требовалось около получаса, и пока две горничные о чем-то хлопотали, все общество отправилось осматривать комнаты, которые все были расположены вдоль длинного коридора, заканчивавшегося стеклянною дверью с выразительным номером².

¹ Месье и мадам, господа и дамы (*фр.*).

² Т. е. с номером «00» — так в европейских гостиницах принято обозначать дверь уборной (*примеч. ред.*).

Когда стали садиться за стол, вдруг вошел сам хозяин гостиницы — бывший торговец лошадьми, очень толстый человек, у которого вследствие одышки все слова сопровождалось свистом и хрипением. От своего отца он унаследовал фамилию Фолленви.

— Мадемуазель Элизабет Руссе? — спросил он.

Пышка вздрогнула и, обернувшись, ответила:

— Это я...

— Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, с вами, если только вы действительно Элизабет Руссе.

Она смутилась, задумалась на минуту и потом решительно объявила:

— Возможно, что и так; но я не пойду...

Общество заволновалось; каждый по очереди старался объяснить причину неожиданного приказа.

— Мне кажется, вы не правы, мадемуазель, — сказал, подходя к ней, граф, — ваш отказ может повлечь за собою серьезные неприятности не только



для вас, но и для всех ваших спутников. Никогда не следует противиться тем, кто сильнее нас. Ведь в этом же нет решительно ничего опасного; по всей вероятности, не соблюдена какая-нибудь формальность...

Все общество присоединилось к нему; все боялись усложнений, которые могли произойти из-за какого-нибудь кивка головы; ее просили, торопили, убеждали и, наконец, уговорили.

— Если я это делаю, так только для вас, — сказала она.

Графиня пожала ей руку и отвечала:

— А мы вас благодарим.

Она вышла. При этом все сожалели, что не их позвали вместо этой вспыльчивой и взбалмошной девушки, и уже мысленно сочиняли разные пошлые любезности на случай, если придет их очередь. Через десять минут она вернулась, вся красная и запыхавшаяся от гнева, бормоча:

— Этакий негодяй! Каналья!

Старались узнать, в чем дело; но она не говорила и на настояние графа отвечала с большим достоинством:

— Это вас не касается, и я не могу сказать!

После этого все подсели к высокой миске, распространявшей запах капусты. Несмотря на тревогу, ужин прошел весело.

Чета Луазо и монахини из экономии пили сидр, оказавшийся очень вкусным; другие спросили вина, а Корнюде потребовал пива.

Он имел обыкновение особенным образом откупоривать бутылку, наливал пиво всегда с пеной и затем рассматривал его на свет лампы, чтобы лучше оценить его цвет. Когда он пил, то его борода, имевшая оттенок любимого им напитка, казалось, вздрагивала от удовольствия; при этом глаза скашивались, все время следя за кружкой, и вообще он имел в эту минуту вид человека, исполняющего свое единственное и враждебное назначение. Можно было подумать, что он старался в это время сблизить и как бы установить в своем уме связь между двумя страстями, наполнившими всю его жизнь: пивом и революцией, и, наверно, он не мог предаваться одной из них, не думая одновременно о другой.

Господин и госпожа Фолленви ужинали на противоположном конце стола. Муж, хрипевший, как лопнувший паровоз, не мог разговаривать во время еды; что же касается жены, то она ни на минуту не умолкала.

Она рассказала все, что переиспытала с приходом пруссаков, все, что они делали, что они говорили, и проклинала их вдвойне, во-первых, за то, что они ей стоили денег, а во-вторых, потому что у нее двое сыновей служили в армии. При этом госпожа Фолленви обращалась все время к графине, польщенная тем, что может поболтать со знатной дамой.

В конце концов она перешла на некоторые щекотливые подробности. Время от времени муж перебивал ее словами:

— Ты бы лучше помолчала, мадам Фолленви, — но она продолжала, не обращая на него никакого внимания.

— Да, мадам, эти люди только и делают, что лопают картофель и свинину, а затем свинину и картофель. Говорили про их хваленую опрятность; все это вздор! С позволения сказать, они пакостят везде... А если бы вы посмотрели, как они целыми днями учатся! То и дело маршируют в поле: то вперед, то назад, то направо, то налево... Казалось, лучше было бы обрабатывать землю или поправлять дороги у себя дома! Но нет, эти военные только и годны на то, чтобы убивать! А бедный народ должен их за это кормить!.. Я старая и необразованная женщина, но, право, когда я увидела, как эти господа топчутся с утра до вечера, то невольно подумала: если есть люди, которые делают разные хорошие дела и стараются всем принести пользу, то зачем же другие изощряются всячески над тем, чтобы причинять вред? В самом деле, не возмутительно ли убивать людей, кто бы они ни были, будь это пруссаки или англичане, поляки или французы? Ведь когда вы мстите кому-нибудь за зло, то считается, что это дурно; за это вас осуждают; а когда нашу молодежь перестреливают, как какую-нибудь дичь, то это оказывается хорошо, и того, кто более перебил людей, даже награждают орденами... Нет, как хотите, я этого никогда не возьму в толк.

— Война, — раздался голос Корнюде, — есть варварство, когда нападают на мирного соседа, но защита Отечества — это священный долг.

— Да, — возразила старуха, понутив голову, — защита — это другое дело. Но полезнее было бы убить сначала всех тех, которые устраивают войны для собственного удовольствия.

У Корнюде заблестали глаза при этих словах, и он воскликнул:

— Браво, гражданка!

Карре-Ламадон глубоко задумался. Хотя он был фанатическим поклонником всех знаменитых полководцев, тем не менее здравые рассуждения старой крестьянки навели его на размышления.

«Сколько, в самом деле, принесли бы пользы стране, — думал он, — взамен разорения все эти ничем не занятые руки; все эти силы, которые теперь расходуются непроизводительно, могли бы сравнительно скоро совершить в промышленности то, на что теперь потребуются века!»

Что касается Луазо, то он пересел к трактирщику и о чем-то потихоньку с ним болтал. Тучный Фолленви смеялся, кашлял, плевал, и его огромный живот радостно прыгал от шуточек Луазо; в конце концов он закупил у Луазо на весну, когда уйдут пруссаки, шесть бочонков бордо.



Все, однако, были настолько разбиты усталостью, что немедленно по окончании ужина разошлись спать. Луазо, будучи охотником до наблюдений, уложил свою супругу и затем подошел к двери и, то прислушиваясь, то поглядывая в замочную скважину, старался проникнуть, как он говорил, «в тайны коридора».

По прошествии часа раздался шелест платья; он тотчас же прильнул к скважине и увидел Пышку, которая в своем голубом кашемировом пеньюаре, отделанном белыми кружевами, казалась еще полнее. С маленьким подсвечником в руках она направлялась в конец коридора к главному номеру.

Одновременно полуоткрылись одни из боковых дверей и, когда через несколько минут Пышка возвратилась, то вышел Корнюде, без сюртука и жилета, и последовал за нею. Они тихо между собою говорили и потом остановились. Пышка, казалось, решительно запрещала ему войти к себе в комнату. К сожалению, Луазо не мог расслышать слов; только под конец, когда они повысили голос, ему удалось кое-что разобрать.

— Право же, вы гупы, — говорил Корнюде, — ну что вам это стоит?



— Нет, милейший, — возразила она с замечательным негодованием в голосе, — бывают минуты, когда подобные вещи не делаются; а тем более здесь, — это был бы такой срам!

Очевидно, он ничего не понимал и продолжал спрашивать: «Почему»? Тогда она совсем вышла из себя и воскликнула:

— Почему? Вы не понимаете почему, когда в доме пруссаки и, может быть, даже рядом в комнате?

Тогда Корнюде смирился. Патриотическая стыдливость проститутки, не позволяющей себя ласкать, потому что рядом неприятель, должно быть, пробудила в его сердце ослабевающее достоинство; он ее только поцеловал и на цыпочках вернулся к себе.

Вся эта сцена воспламенила Луазо; отскочив от двери, он сделал антраша и затем, приподняв одеяло, под которым покоился костлявый остов его подруги, разбудил ее поцелуем. И прошептал:

— Любишь ли ты меня, дорогая?

Затем в доме все утихло, только неизвестно откуда, не то из погребца, не то с чердака, доносился монотонный, правильный и могучий храп, причем казалось, что эти глухие, протяжные и дрожащие звуки исходили из большого паровика, — это господин Фолленви спал крепким сном.

Путешественники условились выезжать на следующий день в восемь часов утра. В назначенный час все собрались в кухне, но дилижанс в парусиновом чехле, засыпанном снегом, одиноко стоял посреди двора без лошадей и кучера. Последнего сначала искали в конюшне, в сенном и каретном сараях, но тщетно. Тогда все мужчины решились отправиться на розыски далее. Выйдя из гостиницы, они очутились на площади; в глубине была церковь, а по бокам шли низенькие дома, около которых увидели нескольких прусских солдат. Один из них чистил картофель; другой приводил в порядок парикмахерские принадлежности. Третий, совершенно обросший бородой, качал и убаюкивал плачущего ребенка. Толстые крестьянки, мужья которых были на войне, знаками указывали своим послушным победителям, что надо делать по хозяйству: наколоть дров, намолоть кофе и так далее. Один из солдат даже стирал белье для своей хозяйки, совершенно беспомощной старухи.

Удивленный граф спросил у встречного церковного сторожа, выходявшего от священника, что это все значит, на что эта церковная крыса отвечала так:

— Ведь это же не злой народ! Как говорят, это даже не пруссаки. Они откуда-то издалека, не знаю только — откуда... У всех у них остались на родине и жены, и дети. Их не очень-то забавляет война, поверьте! Я убежден, что у них там так же плачут по мужьям, как и здесь; и у них будет такая же нищета, как и у нас. Впрочем, у нас еще пока не так плохо; они, как видите, зла не делают и даже работают, точно у себя дома. Вы понимаете, месье, что бедные люди должны помогать друг другу... Ведь это сильные и знатные ведут войну...

Корнюде, возмущившись добрым согласием, установившимся между победителями и побежденными, вернулся домой, предпочитая не выходить из гостиницы.

Луазо сострил насчет прусских солдат, сказав, что они снова заселяют опустевшее селение.

А между тем, кучер все еще не отыскался. Наконец-таки его разыскали в сельском кафе, дружески сидящим за одним столиком с вестовым офицера.

— Разве вам не было сказано запрягать к восьми часам? — спросил его граф.

— Совершенно верно; но я после того получил другое приказание...

— Какое же?

— Вовсе не запрягать.

— Кто вам это приказал?

— Прусский комендант, вот кто!

— Это почему?

— А я почему знаю?.. Спросите его. Мне запрещают запрягать, я и не запрягаю; вот и все.

— Это он сам, лично, вам запретил?

— Нет, трактирщик мне передал приказ от его имени.

— Когда же?

— Вчера вечером, когда я собирался идти спать.

Все трое вернулись в крайнем беспокойстве. Потребовали господина Фолленви, но служанка объявила, что хозяин из-за астмы никогда не встанет ранее

десяти часов и раз навсегда запретил себя будить, кроме как в случае пожара.

Тогда спросили, нельзя ли повидать офицера; но и это было невозможно, хотя он и жил в той же гостинице. Один только Фолленви имел право объясняться с ним по частным делам.

Нечего делать, — пришлось обождать. Дамы разошлись по своим комнатам и занялись всякими пустяками.

Корнюде расположился в кухне, у большого камина, в котором пылал яркий огонь. Приказав подать себе маленький столик и кружку пива, он вооружился своей трубкой, которая среди демократов пользовалась почти таким же уважением, как и сам Корнюде, — вероятно, потому что, служа ему, она служила и Отечеству.



Это была великолепная пенковая трубка, превосходно обкуренная, пропитанная запахом табака и такая же черная, как зубы ее хозяина; он с ней не расставался, и она как бы дополняла его физиономию.

Он сидел неподвижно, то глядя на огонь, то на пену, поднимавшуюся над его кружкой, время от времени отпивал из нее и при этом самодовольно проводил длинными худыми пальцами по своим жирным волосам, обсасывая усы, смоченные пеной.

Луазо под предлогом, что ему хочется поразмять ноги, отправился сбывать свое вино местным торговцам.

Граф и фабрикант завели разговор о политике. Они старались предугадать будущее Франции. Один полагался на орлеанистов, другой верил в появление какого-нибудь неведомого спасителя, героя, который восстанет в ту минуту, когда все будет казаться потерянным. Быть может, это будет нечто вроде дю Геклена¹ или Жанны д'Арк? А, может быть, вроде Наполеона I? Вот если бы императорский принц не был так молод!²

Корнюде слушал их с улыбкой человека, проникшего в тайны судеб. Его трубка распространяла в кухне благоухание.

Ровно в десять часов появился Фолленви. Все бросились к нему с расспросами, на что он два или три раза отвечал одно и то же:

— Офицер мне сказал так: «Месье Фолленви, прикажите, чтобы завтра не запрягали карету этих господ, Не отпускать их без моего разрешения. Вы слышали, и этого достаточно».

Тогда пришлось обратиться к самому офицеру. Граф послал ему свою карточку, на которой господин Карре-Ламадон приписал свое имя со всеми титулами. Пруссак отвечал, что он согласен с ними разговаривать, но после завтрака, то есть в первом часу. Между тем, дамы опять явились, и все немного закусили, несмотря на беспокойство. Пышка казалась больной и крайне смущенной.

Только кончили кофе, как за графом и фабрикантом явился вестовой. Луазо к ним присоединился. Что же касается Корнюде, то его не удалось уговорить идти вместе, дабы придать больше торжественности их требованию: он гордо объявил, что никогда не вступит в какие-либо сношения с немцами, и, усевшись перед камином, потребовал себе другую кружку пива.

Поднявшись по лестнице, трое просителей были введены в комнату офицера, которая оказалась лучшею в гостинице. Сам офицер встретил их, развалясь в кресле, с ногами на камине и с длинной фарфоровой трубкой в зубах; на нем был надет яркий халат, стянутый, вероятно, в каком-нибудь покинутом доме.

¹ *Бертран дю Геклен (Дюгеклен)* (1320–1380) — выдающийся французский военачальник времен Столетней войны (*примеч. ред.*).

² Имеется в виду *Эжен Луи Жан Жозеф Бонапарт* (1856–1879) — сын Наполеона III, принц империи и сын Франции, последний наследник французского престола под именем Наполеон IV, так и не взошедший на престол (*примеч. ред.*).



Он не встал, не поклонился и даже не посмотрел на них. В общем, он представлял из себя великолепный образчик грубости, свойственной победоносному воину.

Он заговорил не сразу.

— Что вам угодно? — наконец спросил он.

— Мы желаем ехать, месье, — отвечал граф за всех.

— Нельзя!

— Осмелюсь спросить: почему?

— Потому что я не желаю.

— Почтительнейше замечу вам, месье, что ваш главнокомандующий разрешил нам проезд в Дьеп, но я не думаю, чтобы мы сделали что-нибудь такое, что бы заслуживало подобную строгость с вашей стороны...

— Я не хочу... Вот и все... А теперь вы можете спуститься вниз...

Все трое поклонились и ушли. День прошел довольно печально. Никто не понимал, почему немец капризничает; всевозможные, самые странные мысли приходили в голову. Все собрались в кухне и спорили без конца, придумывая объяснения одно невозможнее другого. Быть может, их удерживали в качестве заложников?

Но с какою же целью? Вдруг их уведут в плен? Или, что еще возможнее, потребуют от них значительный выкуп? От этой мысли ими овладел панический страх. Самые богатые были наиболее напуганы: они уже ясно представляли себе, как их заставят выкупать свою жизнь и как их мешки с золотом начнут переходить в руки этого дерзкого солдата. Они уже ломали себе голову, придумывая, как бы солгать получше, умалить свое богатство и выдать себя за очень, очень бедных людей. Луазо снял даже с себя часовую цепочку и припрятал ее в карман. Наступающая ночь увеличила общее беспокойство; зажгли лампы, и, так как до обеда оставалось еще часа два, то госпожа Луазо предложила

сыграть в виде развлечения в тридцать один¹. Все согласились. Даже сам Корнюде, затушивший из вежливости свою трубку, принял участие в игре.

Граф стасовал карты и сдал. Пышка сразу объявила тридцать один; мало-помалу все, увлекшись игрою, успокоились от волновавшего их страха. Корнюде даже заметил, что супруги Луазо обменивались между собою знаками и плутовали. В то время, как опять садились за стол, вновь появился Фолленви и произнес своим сиплым голосом:

— Прусский офицер приказал спросить мадемуазель Элизабет Руссе, переменила ли она свое решение или нет?

Пышка сначала побледнела, потом покраснела и, задыхаясь от гнева, разразилась ругательствами:

— Скажите этому пьянице, неряхе, этой прусской падали, что я никогда не соглашусь; вы понимаете — никогда, никогда и никогда!

Толстый трактирщик вышел, и все пристали к Пышке, упрасывая ее объяснить, что от нее требуют. Она сначала не соглашалась, но, наконец, ее раздражение взяло верх, и она воскликнула:

— Что он требует? Вы знаете, чего он желает? Он желает провести со мною ночь!..

Никто не был шокирован этим объяснением, до того все были возмущены. Корнюде даже разбил свою кружку, хлопнув ею об стол. Они соединились в единодушном гневе и в осуждении этого глупого человека; все готовы были к сопротивлению, как будто от каждого требовалась часть той жертвы, которую она должна была принести. Граф с отвращением объявил, что так поступали только древние варвары. Женщины особенно энергично выражали Пышке свое сочувствие. Одни монахини, показывавшиеся только во время еды, молчали, опустив головы.

Тем не менее, когда улегся первый гнев, уселись обедать, но говорили мало и более размышляли. Дамы скоро ушли, а мужчины составили экарте², в которое был приглашен и Фолленви с целью порасспросить его и узнать, нет ли какого-нибудь средства смягчить упорство офицера. Но Фолленви ни о чем не думал, кроме карт, ничего не слушал и не отвечал, и то и дело повторял:

— Играйте же, господа, играйте!

Его внимание до такой степени было занято игрой, что он забывал даже откашливаться. Его грудь обратилась в такой орган, из которого вырывалась целая астматическая гамма звуков, то пронзительно хриплых, то напоминающих крик молодого петуха, пробующего петь. Он даже отказался сопровождать свою жену, уже давно клевавшую носом от усталости. В конце концов,

¹ *Тридцать один* — карточная игра, в которую играют от двух до семи человек, пытаясь собрать комбинацию, которая в сумме составляет 31 (*примеч. ред.*).

² *Экарте* — карточная игра, изобретенная слугами высших домов Франции; игра не требовала напряженных размышлений и позволяла в любой момент отвлекаться для исполнения служебных обязанностей. Была популярна и среди знати (*примеч. ред.*).



она ушла одна, объявив, что имеет обыкновение вставать вместе с солнцем, тогда как этот полуночник всегда готов целые ночи просиживать с приятелями. Фолленви крикнул ей вслед, чтобы она не забыла подогреть ему на ночь его питье, и снова уселся играть, но остальные, видя, что от него ничего путного не добьешься, объявили, что уже поздно, и разошлись по комнатам.

На следующий день все поднялись опять довольно рано, волнуемые смутной надеждой, а еще больше желанием уехать, и вместе с тем страхом при мысли, что придется провести целый день в этой харчевне.

Увы! Лошади оставались в конюшне; кучер по-прежнему где-то пропадал. От безделья они прогулялись вокруг кареты.

Завтрак был очень печальный; в течение ночи много было передумано, мнения несколько изменились, и по отношению к Пышке обнаружилось некоторое охлаждение. На нее даже злились за то, что она не заблагорассудила свидеться секретно с пруссаком, чтобы сделать приятный сюрприз своим спутникам. Чего, кажется, проще? Да и кто бы об этом узнал? Ради приличия она могла бы дать понять пруссаку, что делает это для того, чтобы облегчить их неприятное положение. Тем более что для нее это никакого значения не имеет! Никто, однако, еще не открывал своих соображений другим.

После завтрака, ввиду смертельной скуки, граф предложил прогуляться по окрестностям селения. Закутавшись хорошенько, все отправились гулять, за исключением Корнюде, предпочитавшего оставаться у камина, и монахинь, проводивших все время в церкви и у священника.

Мороз, значительно усилившийся в последние дни, жестоко щипал нос и уши; ногам было холодно до боли. Расстилавшееся перед ними селение казалось столь мрачным и печальным под бесконечной пеленой снега, что все скоро вернулись домой с похолодевшей душой и стесненным сердцем.

Впереди шли четыре дамы, а мужчины немного позади следовали за ними. Угадывая общее настроение, Луазо неожиданно спросил — долго ли еще «эта девка» будет задерживать их в этой трущобе. Граф со свойственной ему учтивостью возразил, что нельзя требовать от женщины такой тяжелой жертвы, если она сама на нее не решится. Со своей стороны Карре-Ламадон заметил, что если французы произведут наступление со стороны Дьепа, то столкновение произойдет как раз у Тотеса. Это соображение навело уныние на остальных.

— Нельзя ли спастись отсюда пешком? — сказал Луазо.

— Разве вы не видите, что в такой снег, да еще с нашими женами, это невозможно! — возразил граф, пожимая плечами. — Кроме того, за нами немедленно бросятся в погоню и поймают; мы вернемся пленниками и сделаемся жертвами солдатского произвола.

На это справедливое рассуждение никто не возражал.

Дамы разговаривали о туалетах, но все чем-то были стеснены. Вдруг в конце улицы неожиданно показался офицер. На белом фоне снега еще более выделялась его фигура с длинной и тонкой, как у осы, талией; он шел, несколько выворачивая колена и переставляя ноги с особенной военной манерой, как бы стараясь не запылить свои старательно вычищенные сапоги. Он поклонился дамам и презрительно взглянул на мужчин, которые, впрочем, из чувства достоинства не обнажили перед ним голов; только Луазо потянулся было к своей шляпе. Пышка покраснела до ушей, а три замужние дамы почувствовали что-то унижительное оттого, что этот военный встретил их в обществе особы, с которой он позволил себе такое вольное обращение. Разговор зашел об его наружности и манерах. Госпожа Карре-Ламадон, знававшая немало офицеров и понимавшая в них толк, нашла, что пруссак вовсе не так дурен; она даже заметила с сожалением, что, будь он француз, из него бы вышел прехорошенький гусар, от которого все женщины посходили бы с ума.

Возвратившись домой, не знали, за что приняться. Из-за пустяков даже обменялись несколькими колкостями. После обеда, прошедшего скоро и молчаливо, все поспешили улечься спать, желая хоть этим убить время.

На следующий день все спустились в кухню раздраженные, с утомленными лицами.

С Пышкой женщины почти не разговаривали.

В церкви по случаю крестин ударил колокол. У Пышки был ребенок, отданный на воспитание в крестьянскую семью из Ивето. Она видела его менее раза в год и никогда о нем не думала, но мысль о крестинах пробудила в ее сердце неожиданную и сильную нежность к своему дитяти; она захотела непременно присутствовать при церемонии.

Тотчас по ее уходе все переглянулись и сдвинули стулья, чувствуя, что надо на что-нибудь решиться.

Под влиянием внезапного вдохновения Луазо высказал мнение, что следует предложить офицеру задержать одну Пышку, а остальных отпустить на волю. Фолленви еще раз взялся исполнить это поручение, но скоро вернулся ни с чем: немец выгнал его вон; он понимал человеческую натуру и решил задерживать всех до тех пор, пока его желание не будет исполнено.

Тогда госпожа Луазо, не будучи в состоянии сдерживать более свою мужицкую натуру, разразилась в резких словах:

— Мы, однако, здесь, кажется, умрем от старости. Я не понимаю, почему эта потаскушка отказывается исполнять свое ремесло; раз она принадлежит всем мужчинам — я не вижу причины отказывать ни тому, ни другому. Ведь она же путалась в Руане с каждым встречным и поперечным, даже с кучерами! Да, мадам, даже с кучером из префектуры! Я ведь это хорошо знаю: она у нас покупает вино. А теперь, когда дело идет о том, чтобы вывести нас из затруднения, эта гадость разыгрывает из себя недотрогу!.. Я нахожу, что этот офицер держит себя отлично. Быть может, он уже давно скучает без женщин. Без сомнения, он предпочел бы кого-нибудь из нас трех. Но он, как видите, довольствуется тою, которая и без того принадлежит всем. Он относится с уважением к замужним женщинам. Подумайте, ведь он здесь хозяин! Ему стоит только пожелать, и он может овладеть каждою из нас силой; на то у него есть солдаты.

При последних словах дамы слегка вздрогнули, а у хорошенькой госпожи Ламадон заблестали глаза и лицо побледнело, как будто ей представилось, что офицер действительно уже применил к ней силу.

Мужчины, рассуждавшие в стороне, подошли к дамам. Освирепевший Луазо был готов выдать эту подлую женщину, связанной по рукам и по ногам, неприятелю.

Но граф, у которого в трех поколениях предки были посланниками и который сам по натуре был дипломат, придерживался более тонкого способа действия.

— Надо склонить ее на это, — сказал он.

Тогда составили заговор.

Дамы подсели ближе друг к другу и, понизив голос, стали сообща обсуждать план действий, подавая каждая свое мнение. Все говорилось, однако, в очень пристойном тоне. Эти дамы умудрялись благодаря тонкости и деликатности оборотов фраз и выражений говорить, не краснея, самые скабрзные вещи. Осторожность в выборе слов настолько соблюдалась, что посторонний человек ничего бы не понял.

Сохраняя внешнее приличие, в которое, как в тонкую броню, облечена всякая светская женщина, они, казалось, сразу расцвели благодаря придуманной шалости; в глубине души они безумно веселились, чувствуя себя в своей сфере, обрабатывая любовное дельце с чувственным увлечением лакомки-

повара, изготавливающего ужин для другого. Скука пропадала сама собой, до того вся эта история в конце концов казалась забавной. Граф сыпал разными шуточками, хотя рискованными, но так мило сказанными, что они у всех вызывали улыбку. Со своей стороны, Луазо тоже отпустил несколько довольно грубых сальностей, но никто их не почувствовал: у всех на уме была одна и та же мысль, грубо высказанная госпожой Луазо: «Раз это ее ремесло, то почему она должна предпочитать одного другому...»

Хорошенькая Карре-Ламадон, казалось, даже думала о том, что на месте Пышки она скорее бы отказала другому, чем этому.

Блокаду готовили и обдумывали, точно дело шло об осаде крепости. Условились относительно распределения ролей, на каких доводах каждый будет основываться и какие маневры надо будет пустить в ход.

Был установлен план атаки, необходимые хитрости и неожиданности при штурме этой цитадели, дабы захватить неприятеля врасплох.

Только Корнюде оставался в стороне, совершенно не посвященный в это дело.

Все были до такой степени увлечены соображениями, что даже не услышали, как вошла Пышка.

Легкое «тссс», произнесенное графом, заставило всех поднять глаза. Все сразу замолчали и, благодаря некоторому замешательству, никто первый с ней не заговаривал. Графиня, более искушенная в светском лицемерии, заговорила первая:

— Ну что, крестины были интересны?

Еще взволнованная всем виденным, Пышка принялась рассказывать обо всем, — о лицах присутствующих, как они держались, и даже описала самую церковь.

— Как приятно иногда помолиться! — прибавила она.

До завтрака дамы ограничились только тем, что были с ней особенно любезны — с целью возбудить в ней побольше доверия и послушания. Только за столом начались первые подступы.

Сначала завели туманный разговор о самоотвержении вообще. Приводили былые примеры из древней истории: пример Юдифи и Олоферна; сюда же ни к селу ни к городу приплели Лукрецию и Секстия¹; вспомнили Клеопатру, которая заставляла пройти через свое ложе всех неприятельских полководцев и затем низводила их до степени своих рабов.

Затем пошла уже фантастическая история, плод измышления этих невежественных миллионеров, о том, как римские гражданки отправились в Капую

¹ *Юдифь* — в ветхозаветной апокрифической традиции прекрасная вдова, спасшая свой город от нашествия ассирийцев, обезглавившая на свидании вражеского полководца *Олоферна*; *Лукреция* (ок. 500 г. до н.э.) — легендарная римская матрона, изнасилованная царским сыном *Секстом Тарквинием* и покончившая с собой, архетипный образец женской доблести и чистоты (*примеч. ред.*).



с целью усыплять в своих объятиях Аннибала¹ со всеми фалангами его наемников и их начальников. Были перечислены все женщины, которые пользовались своим телом, как оружием, как средством господствовать; это было нечто вроде сражения, в котором они побеждали своими героическими ласками людей самых отвратительных и ненавистных, жертвуя своим целомудрием из мести и преданности делу. Была даже рассказана в осторожных выражениях история какой-то англичанки из высшего общества, которая привила себе страшную и заразительную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту; последний спасся совершенно чудесным образом от грозившей ему гибели только благодаря внезапному нездоровью во время рокового свидания.

¹ Ганнибал (Аннибал) Барка (247–183 до н. э.) — карфагенский военачальник, один из величайших полководцев и государственных деятелей древности (примеч. ред.).

Все это было рассказано во вполне приличной форме, но местами с большим увлечением с целью призвать кого-то к подражанию. В конце концов, можно было подумать, что единственная роль женщины на этом свете должна заключаться в бесперывном самоотвержении, в предоставлении своей особы на жертву грубым солдатским прихотям.

Две монахини, как казалось, ничего не слышали и были погружены в глубокую задумчивость. Пышка слушала молча.

После завтрака ее временно предоставили собственным размышлениям. Но вместо того, чтобы говорить при обращении к ней «*madame*», как это делалось до того, ее стали называть просто «*mademoiselle*»²; это было сделано безотчетно, как будто этим хотели несколько унижить ее в собственных глазах, дать ей почувствовать ее позорное положение.

С наступлением обеденного времени, когда подавали суп, опять появился Фолленви, повторяя свою вчерашнюю фразу:

— Прусский офицер приказал спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, переменяла ли она решение или нет?

Пышка сухо ответила:

— Нет, месье.

За столом коалиция несколько ослабела. У Луазо вырвались две-три неосторожные фразы. Старались придумать новые исторические примеры, но ничего на ум не приходило. Вдруг графиня, быть может, непреднамеренно, из смутного чувства религиозности, спросила старшую из монахинь что-то о сподвижничестве святых. Хотя многие из них и совершали дела, которые показались бы нам преступными, но церковь оправдывает без труда эти преступления, раз они сделаны во славу Божию или для блага ближнего. То был могущественный аргумент, и графиня им воспользовалась. Неизвестно, вследствие ли безмолвного соглашения или особой снисходительности, свойственной особам, носящим рясу, или, наконец, по услужливой глупости, старая монахиня неожиданно оказала заговору весьма значительную поддержку. Думали, что она застенчива, а она, наоборот, оказалась смелой, многоречивой и резкой. Она была не из тех, кто смущается казуистическими тонкостями; в своих положениях она была непреклонна, вера ее не колебалась, совсем не имела сомнений! Ей казалась вполне естественной жертва Авраама³, по повелению свыше она сама немедленно убила бы отца и мать и вообще ничто, по ее мнению, не могло быть неуютно Господу, раз намерения похвальны.

Пользуясь священным авторитетом своей неожиданной союзницы, графиня просила ее в виде назидания истолковать известную нравственную аксиому, что «цель оправдывает средства».

² Мадемуазель (фр.).

³ Авраам — в Библии родоначальник евреев и арабов; по велению Яхве должен был принести в жертву сына Исаака, но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом (примеч. ред.).

После того она сказала:

— Итак, сестра, вы полагаете, что Бог принимает всякие способы и прощает дурное дело, если побуждение было чисто?

— Да кто же может в этом сомневаться, мадам? Деяние, иногда само по себе достойное порицания, становится похвальным, раз оно внушено добрым намерением.

Они продолжали в таком же роде, разъясняя Божью волю, предусматривая Его решение и вмешивая Его в такие вещи, которые нисколько Его не касались.

Все это велось осторожно и искусно, и каждое слово благочестивой монахини постепенно разрушало негодующее сопротивление куртизанки. Потом разговор уклонился несколько в сторону, и женщина с болтающимися четками стала рассказывать о делах своего ордена, о своей настоятельнице, о себе самой и о своей милой соседке, дорогой сестре Сент-Нисефоре. Они вызывались в Гавр для ухода в госпиталях за целыми сотнями солдат, пораженных оспой. Она описала положение этих несчастных, подробно изложила их болезнь. И благодаря тому, что из-за каприза этого пруссака их задерживают в пути, множество французов, которых они, может быть, спасли бы, теперь умирают! Ведь это ее специальность — ухаживать за военными. Она была и в Крыму, и в Испании, и в Австрии. В ее рассказах обо всех этих кампаниях она неожиданно явилась типичным образом тех воинственных монахинь, которые как бы созданы для того, чтобы жить в лагерях, подбирать раненых в самый разгар сражений и подчас лучше иного начальника одним словом смирять распущенных солдат; это была настоящая сестра Ран-тан-план¹, лицо которой, морщинистое и изрытое бесчисленными ямками, казалось само воплощением опустошений войны.

После нее никто ничего от себя не прибавил, до того впечатление, ею произведенное, казалось сильным. Тотчас после обеда все разошлись по комнатам.

На следующий день к завтраку сошлись довольно поздно и за столом мало разговаривали.

Семя было брошено еще накануне, и теперь ему давали время пустить ростки и принести свои плоды.

Графиня предложила прогуляться после полудня. Когда все вышли, граф, согласно предварительному уговору, взял Пышку под руку и немного с нею отстал от других. Он заговорил с ней полудружеским, полуотеческим тоном, в котором слышалось некоторое пренебрежение, тем тоном, с которым обращаются степенные люди к кокоткам; он называл ее «дитя мое», третируя ее с высоты своего общественного положения и неоспоримого достоинства. Он сразу схватил быка за рога:

¹ *Ран-тан-план* (от фр. *Rantanplan*) — звукоподражание, означающее боевую барабанную дробь; здесь: в значении «сестра Милитарист» (*примеч. ред.*).



— Итак, вы предпочитаете задержать нас здесь и, в случае какой-нибудь неудачи прусских войск, подвергнуть нас и себя всевозможным неприятностям, но никоим образом не хотите согласиться на любезность, которую ведь вы не раз делали в вашей жизни?

Пышка слушала, молча.

Он действовал на нее кротостью, убеждением, чувством. Умея оставаться графом, он сумел быть и галантным, и любезным, и, когда надо, не скупился на комплименты. Он указывал на всю важность услуги, какую она может им оказать, говорил об общей признательности. Наконец, неожиданно перейдя с ней на «ты», шутиливо прибавил:

— Да и правду тебе сказать, моя милая, он может даже похвастаться, что познакомился с такой хорошенькой девушкой, каких у себя на родине он мало видывал...

Пышка, ничего не отвечая, присоединилась к другим дамам.

Тотчас по возвращении она поднялась к себе и более не показывалась. Беспокойство возросло до последней степени. Как она теперь поступит? И вот-то будет положение, если она запрямится!

Наступил обеденный час; но она не показывалась. Наконец, вошел Фолленви и объявил, что мадемуазель Руссе нездорова и просила ее не ждать. Все насторожили уши. Граф потихоньку спросил трактирщика:

— Ну что, дело устроилось?

— Да.

Из приличия граф ничего ни сказал своим товарищам, а только слегка кивнул. За этим последовал общий и глубокий вздох облегчения; радость засияла на лицах.

— Черт меня побери! — воскликнул Луазо. — Я ставлю шампанское, если только здесь оно есть!

Госпожа Луазо с тоской увидала, как хозяин вернулся с четырьмя бутылками в руках.

Всеми овладела шумная общительность; веселая радость наполняла сердца.

Граф стал замечать, что госпожа Карре-Ламадон очаровательна; фабрикант рассыпался в комплиментах перед графиней. Разговор оживился; остроты так и сыпались.

Вдруг Луазо, придав лицу выражение отчаяния, трагически прорычал:

— Тише!

Все от неожиданности, и даже несколько испуганные, сразу умолкли.

Тут он насторожил уши, сделав «тссс» обеими руками, подняв глаза в потолок, прислушался снова и сказал затем уже спокойным голосом:

— Нет, ничего, не беспокойтесь! Все идет хорошо!

Как ни старались не понять смысла этой выходки, никто не мог удержаться от улыбки.

Луазо еще несколько раз в течение вечера повторил ту же проделку; при этом он делал вид, что обращается к кому-то в верхнем этаже с пошлыми советами, достойными коммивояжера.

То он напускал на себя печальный вид и со вздохом говорил:

— Бедная девушка!

То гневно скрежетал зубами и бормотал:

— О, прусский бездельник!

Наконец, в самые неожиданные минуты, он вдруг восклицал трепещущим голосом:

— Довольно, довольно, довольно!

И, как будто говоря с самим собою, прибавлял:

— Лишь бы только довелось ее еще раз увидеть! Как бы этот негодяй ее не уморил!

Хотя все эти шутки и были весьма жалки, но тем не менее они веселили и никого не оскорбляли, потому что негодование, как и всякое другое чувство, зависит от среды, а создавшаяся кругом атмосфера имела весьма гривуазный¹ характер.

¹ *Гривуазный* (от фр. *grivois*) — игривый, не вполне пристойный (*примеч. ред.*).

Наконец, за десертом и дамы отважились на несколько хотя и осторожных, но остроумных намеков. Глаза у всех блестели; выпито было много. Граф, умевший сохранить величественный вид даже в минуты возбуждения, сравнил настоящую минуту с положением потерпевших кораблекрушение где-то на Северном полюсе, когда после долгой зимовки все радостно видят, наконец, открытый путь на юг; сравнение это всем очень понравилось. Разошедшийся Луазо вскочил со стаканом шампанского и провозгласил:

— Пью за наше освобождение!

Все общество, поднявшись, присоединилось к тосту. Даже монахини по просьбе дам согласились омочить губы в пенистом вине, которое им никогда не приходилось пивать. Попробовав, они сказали, что это напоминает лимонад-газес¹, но только вкуснее.

— Какая жалость, — заявил в заключение всего Луазо, — что здесь нет фортепьяно; можно было бы отхватить кадрили...

Корнюде во все время не проронил ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Углубившись, как казалось, в очень важные размышления, он только по временам бешено теребил свою длинную бороду, как бы желая ее вытянуть еще длиннее. Когда же около полуночи стали расходиться, и пошатывающийся Луазо, хлопнув его по животу, пробормотал: «Вы что-то сегодня не забавны. Что вы все молчите, гражданин?», — то Корнюде внезапно очнулся и, окинув всех страшным и сверкающим взглядом, воскликнул:



¹ Лимонад-газёс (устар.) — газированный, шипучий лимонад (примеч. ред.).

— Объявляю вам всем, что вы поступили гнусно!» — Затем, повторив еще в дверях: «Гнусно!», — он вышел.

Сперва все смутились.

Луазо имел довольно глупый вид, но он скоро овладел собою и затем вдруг воскликнул:

— Зелен виноград, старина, зелен виноград!

При этом, чтобы объяснить значение своих слов, он посвятил общество в «тайны коридора». Тогда все еще более повеселели. Дамы забавлялись, как сумасшедшие.

Граф и господин Карре-Ламадон не хотели верить и хохотали до слез.

— Неужели? Да вы уверены ли? Он желал?

— Говорят вам, что я его видел...

— И она отказала...

— Потому что пруссак был в соседней комнате.

— Да не может быть!

— Клянусь вам!

Граф задыхался от смеха. Промышленник хватался за живот обеими руками.

— И вы понимаете, что после этого, — продолжал Луазо, — она ему вовсе не кажется смешной сегодня вечером... Нисколько!

И все трое повторяли одно и то же, задыхаясь и закашливаясь от смеха.

Затем все разошлись.

Госпожа Луазо, ложась спать, заметила своему мужу, что эта невыносимая маленькая Ламадон смеялась весь вечер совсем неискренно.

— Ты ведь знаешь, что раз женщины увлекаются мундиром, то им, право, все равно, кто бы это ни был, француз или пруссак... До какой степени это все жалко, господи боже!

Всю ночь во мраке коридора слышались тихие, едва слышные звуки, подобные шелесту ветра, и легкий скрип, точно кто-то осторожно переступал босыми ногами по полу.

Все заснули, очевидно, очень поздно, потому что полоски света долго еще пробивались сквозь щели дверей. Подобные явления происходят от шампанского; оно, говорят, отнимает сон.

На следующий день снег ослепительно сверкал под лучами ясного зимнего солнца. Дилижанс, на этот раз наконец заложенный, ожидал у подъезда. Целая армия белых голубей с розовыми глазами, нахохлившись, важно прохаживалась между ногами шести лошадей и, разбрасывая дымящийся помет, разыскивала в нем себе корм.

Кучер, закутанный в баранью шубу, ожидал на козлах, покуривая трубочку, а путешественники с сияющими лицами наскоро укладывали запасы провизии на оставшуюся часть пути.

Ожидали только Пышку. Наконец она появилась. Она имела вид смущенный и пристыженный; как только она робко приблизилась к своим спутникам,



все они одновременно отвернулись, как будто не замечая ее присутствия. Граф с достоинством взял под руку свою жену, как бы желая уберечь ее от прикосновения к чему-то нечистому.

Толстая девушка была поражена; вооружившись, однако, мужеством, она подошла к жене фабриканта и почтительно прошептала:

— Здравствуйте, мадам!

Та отвечала ей дерзким, едва заметным кивком головы, сопровождавшимся взглядом оскорбленной добродетели.

Все казались чем-то занятыми и все сторонились от нее подальше, как будто она принесла заразу в своих юбках.

Казалось, будто ее не видели и не были с ней знакомы. Госпожа Луазо, с негодованием посматривая на нее издали, сказала вполголоса своему мужу:

— Какое счастье, что я не сижу с ней рядом!

Тяжелый дилижанс тронулся, и путешествие возобновилось.

Сначала все молчали. Пышка не смела поднять глаз. Внутренне она была возмущена против всех своих соседей и в то же время чувствовала, что унизила себя тем, что уступила и осквернила себя поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули так лицемерно и предательски.

Графиня, обернувшись к госпоже Карре-Ламадон, скоро прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с мадам д'Этрель?

— Да, она принадлежит к числу моих друзей.

— Какая милая женщина!

— Очаровательная! Вот поистине избранная натура; к тому же она очень образована и артистка до конца ногтей: она поет прелестно и рисует превосходно!

Фабрикант завел разговор с графом, и сквозь дребезжание оконных стекол время от времени прорывались слова: «Купон... срок платежа... премия... в срок» и так далее.

Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную от пятилетнего трения о плохо вытертые столы, стал играть со своей супругой в безиг¹.

Монахини отцепили от поясов четки, перекрестились обе одновременно и затем быстро зашевелили губами, шепча что-то неразборчиво, все скорее и скорее; время от времени они целовали образки, снова крестились и снова принимались быстро бормотать.

Что касается Корнюде, то он сидел неподвижно и размышлял.

После трех часов пути Луазо сложил карты и сказал:

— Хочется есть.

Его жена достала сверток и вынула из него кусок холодной телятины, потом аккуратно разрежала ее тоненькими кусками, и оба принялись есть.

— Не сделать ли и нам то же самое? — сказала графиня.

Последовало согласие, и она тоже вынула приготовленную на двоих закуску.

Это было продолговатое блюдо, на крышке которого фаянсовый заяц как бы указывал, что под ним находится сочный паштет из настоящего зайца; тонкие пласты сала пронизывали темную дичину, начиненную другим, мелко изрубленным мясом. Добрый кусок сыра, который был завернут в газету, еще сохранял на своей маслянистой корке отпечаток слов: «Разные известия».

Монахини, со своей стороны, вытащили длинную колбасу, от которой пахло чесноком, а Корнюде, запустив одновременно обе руки в обширные карманы своего пальто, вынул оттуда четыре крутых яйца и кусок хлеба. Разбив скорлупу и швырнув ее под ноги на солому, он принялся уписывать яйца, посыпая крошками желтка, точно звездочками, свою густую и дрянную бороду.

¹ *Безиг (безик)* — интеллектуальная карточная игра (*примеч. ред.*).

Пышка, второпях и в том тревожном состоянии, в каком она находилась при вставанье, ни о чем не позаботилась; теперь она смотрела, возмущенная, задыхаясь от злобы, на этих господ, которые преспокойно кушали. Сначала под влиянием гнева она готова была разразиться целым потоком брани, прокричать им все то, что она думала об их поступке; но слова замерли на ее губах, до того раздражение душило ее.

Никто на нее не глядел, никто о ней не думал. Она чувствовала себя как бы утонувшей в презрении этих честных негодяев, которые, предварительно ею пожертвовав, затем отбросили, как грязную и бесполезную вещь. Невольно она подумала о своей корзине, наполненной разными вкусными вещами, которые они все съели с такою жадностью; она подумала о своих цыплятах, на которых блестело желе, о паштетах, о грушах, о четырех бутылках бордо; и вдруг почувствовала, что злоба ее падает, подобно тому, как лопается туго натянутая струна, и уступает место желанию разрыдаться. Она делала над собой невероятные усилия, как дитя старалась удержать слезы, но слезы подступали против воли, блестели на краю ее ресниц и, наконец, две крупные капли, выкатившиеся из глаз, потекли по ее щекам. За ними последовали и другие, скорее и скорее, подобно струйкам воды, точащимся из скалы, и, протекая дальше, капали на ее высокую грудь. Она сидела прямо, с неподвижно устремленным взглядом, с суровым и бледным лицом, надеясь, что никто не увидит ее слез. Но графиня заметила и знаком показала на нее мужу. Граф пожал плечами, как бы желая этим сказать: «Что же делать; это не моя вина!» Госпожа Луазо, засмеявшись тихо, но торжествующе, прошептала:

— Она плачет от стыда.

Монахини снова стали молиться, завернув предварительно в бумагу остатки своей колбасы. Тогда Корнюде, занимавшийся перевариванием в своем желудке яиц, вытянул свои длинные ноги на противоположную скамью, откинулся назад, скрестил руки и, улыбнувшись с видом человека, придумавшего ловкую штуку, принялся насвистывать «Марсельезу».

Все лица нахмурились. Очевидно, эта популярная песня¹ никому из его соседей не понравилась.

Вид у них сразу стал нервный и раздраженный; казалось, что они сейчас завоюют от этой песни, подобно собакам при звуках шарманки. Он это заметил,



¹ В описываемое время «Марсельеза» временно не использовалась в качестве государственного гимна Франции (*примеч. ред.*).

но не только не перестал, а даже время от времени напевал вполголоса и самые слова:

Священная любовь к Отчизне,
Направь и поддержи наши мстительные руки!
Свобода, дорогая свобода,
Сражайся вместе с твоими защитниками!



Снег стал тверже, и дилижанс ехал скорее; но до самого Дьепа, в течение долгих и томительных часов путешествия, на всех ухабах, не только с наступлением сумерек, но даже когда в дилижансе стало совершенно темно, Корнюде со свирепым упрямством продолжал свистать, и это мстительное и однообразное насвистывание против воли заставляло его соседей, несмотря на раздражение и усталость, мысленно следить за песней от начала до конца и в связи с каждым тактом припоминать подходящее слово.

А Пышка все плакала, и ее рыдания, которые она не в состоянии была сдерживать, по временам прорывались во мраке ночи между двумя куплетами.

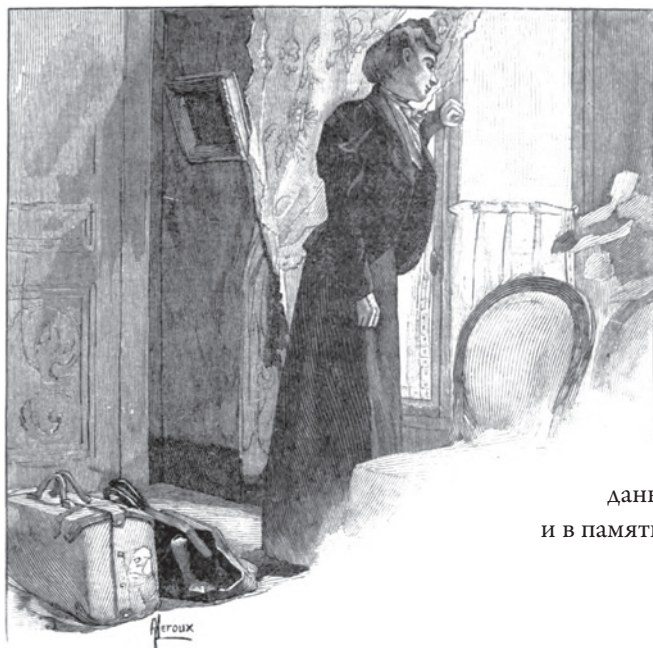
ЖИЗНЬ



Перевод

А. Н. Чеботаревской

Иллюстрации Жюль Мари Огюста Леру воспроизводятся по изданию
Guy de Maupassant. Une Vie. — Paris : Paul Ollendorff, 1901



Госпоже Бренн
дань уважения преданного друга
и в память о друге умершем.

Ги де Мопассан
*Скромная истина*¹

I

Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну; дождь не переставал.

Всю ночь стекла звенели и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водою небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя, как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разлившихся ручьев наполнял пустынные улицы; дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испариной на стенах, от подвалов до чердаков.

Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала наконец приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала; она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не прояснится, и в сотый раз за это утро пылливо осматривала горизонт.

¹ *Мари-Луиза Леония Бренн* (1836–1883) — хозяйка парижского салона, вдова руанского журналиста *Шарля Бренна* (1827–1864), с которыми дружил Мопассан; под «умершим другом» подразумевается писатель *Гюстав Флобер* (1821–1880), скончавшийся незадолго до выхода романа. Во втором и последующем изданиях эпиграф и посвящение по неизвестным причинам отсутствовали (*примеч. ред.*).

Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы, с золотой цифрой текущего 1819 года в винетке. Она вычеркнула карандашом четыре первых столбца, заштриховывая все имена святых вплоть до 2 мая — дня своего выхода из монастыря.

Раздался голос за дверью:

— Жанетта!

Жанна ответила:

— Войди, папа.

И в комнату вошел ее отец.

Барон Симон Жак Ле Пертюи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жана-Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным.

Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел девяносто третий год¹; но, философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью.

Его великой силой и великой слабостью была доброта, такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать, — доброта творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвлению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку.

Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной.

До двенадцати лет она жила дома, а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кёр².

Там отец держал ее в строгом заключении, взаперти, в безвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему семнадцатилетней целомудренной девушкой, и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцания наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни.

Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи.

Она походила на портрет Веронезе³ своими блестящими белокурами волосами, как бы обесцветившимися на ее коже, аристократической, чуть розоватой коже, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат

¹ В 1793 г. произошло последнее успешное восстание в истории Великой французской революции, предшествующее началу эпохи террора (*примеч. ред.*).

² Монастырь Сакре-Кёр (фр. *Sacré-Cœur* — Святое Сердце) — здесь: монастырь Сердца Христова (*примеч. ред.*).

³ Паоло Веронезе (Кальяри) (1528–1588) — итальянский художник, один из виднейших живописцев венецианской школы, портретам которого свойственны легкость, мягкая лиричность и нежный, теплый колорит (*примеч. ред.*).

и был чуть замечен под ласкою солнца. Глаза Жанны были синие, той темной синевы, какою отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок.

Около левой ноздри у нее была маленькая родинка; другая была справа на подбородке, где вилось несколько волосков, до того подходивших к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу.

Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала.

— Ну что же, едем? — спросила она.

Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными, уже седыми волосами и протянул руку к окошку:

— Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?

Но она молила его ласково и нежно:

— Поедем, прошу тебя, папа. После полудня погода разгуляется.

— Но мама ни за что не согласится.

— Согласится, обещаю; я беру это на себя.

— Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю.

И она стремглав бросилась в комнату баронессы.

Ведь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением.

С минуты поступления в Сакре-Кёр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили ее на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне.

Теперь ей предстояло провести лето в их поместье «Тополя», в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора¹, и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечные радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж.

Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни.

Но через три минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом:

— Папа, папа! Мама согласна; вели запрягать.

Ливень не прекращался; он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу.

Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, а с другой — рослою горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была нормандка из Ко²;

¹ *Ипор (Ипорт)* — рыбацкая деревня, расположенная в долине на севере Франции (примеч. ред.).

² *Ко* — природный регион на севере Франции (примеч. ред.).



на вид ей можно было дать по меньшей мере двадцать лет, а ей еще только что минуло восемнадцать. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали.

Главная обязанность Розали состояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась.

Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила:

— Право же, это неразумно.

Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил:

— Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида.

Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения.

Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали уселись на скамейке напротив.

Вслед за ворохом накидок — отъезжающие прикрыли ими себе колени — кухарка Людивина принесла две корзины и поставила их в ногах; затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женою подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке; после этого тронулись в путь.

Кучер, дядя Симон, понурив голову и горбясь под дождем, совсем исчез в своей ливрее с тройным воротником. Порывы ветра со стоном бились в стекла и заливали дорогу потоками воды.

Карета, запряженная парой лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов, мачты, реи и снасти которых печально поднимались, словно оголенные деревья, в изливавшееся ручьями небо; затем она выехала на длинный бульвар горы Рибуде.

Вскоре дорога пошла лугами; время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью трупa. Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи.

Все молчали; самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанны, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон хмуро рассматривал однообразные и залитые дождем поля. Розали, с узлом на коленях, дремала животной дремотой простолюдинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой теплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух; полнота радости, подобно листве, защищала ее сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку и, набрав воды, напиться; она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальны окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого потопа.

Под яростным дождем от блестящих крупов лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды.

Баронесса мало-помалу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки которой терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова, щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывалось звонкое похрапывание. Муж наклонился к ней и тихонько вложил ей в руки, скрещенные на полном животе, маленький кожаный бумажник.

Это прикосновение разбудило ее; она взглянула на бумажник затуманенным взором, с оупением человека, сон которого внезапно прервали. Бумажник упал и раскрылся. Золото и банковые билеты рассыпались по полу кареты.

Баронесса совсем проснулась, а веселое настроение дочери проявилось во взрыве хохота.

Барон подобрал деньги и положил их жене на колени:

— Вот, мой друг, все, что осталось от моей фермы в Эльто. Я продал ее, чтобы восстановить «Тополя», где мы теперь будем жить подолгу.

Она сосчитала деньги — шесть тысяч четыреста франков — и спокойно положила в карман.

Это была уже девятая проданная ферма из тридцати одной, оставленной им родителями. Однако они еще обладали приблизительно двадцатью тысячами годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и тридцать тысяч.

Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно, не будь в доме бездонной пропасти, вечно разверстой: их доброты. Из-за нее деньги испарялись в их руках, как испаряется вода в болоте под палящими лучами солнца. Деньги текли, бежали, исчезали. Как это происходило? Никто не знал. Каждую минуту кто-нибудь из них говорил:

— Не знаю, как это вышло, но я истратил сегодня сто франков, а не сделал ни одной крупной покупки.

Легкость, с которой они раздавали деньги, была, впрочем, одной из величайших радостей их жизни, и тут они прекрасно и трогательно понимали друг друга.

Жанна спросила:

— А красив теперь мой замок?

Барон весело ответил:

— Увидишь, дочурка.

Мало-помалу ярость ливня стихала, и вскоре от него осталось лишь нечто вроде тумана — тончайшая сеющаяся дождевая пыль. Облачный свод как бы приподнялся, побелел, и вдруг сквозь какую-то невидимую щель длинный косой луч солнца упал на луга.

Тучи разошлись, показалась синяя глубина небосвода, потом просвет увеличился, как в разрывающейся завесе, и прекрасное лазурное небо, чистое и глубокое, развернулось над землей.

Пролетел свежий и легкий ветерок, словно счастливый вздох земли; когда проезжали мимо садов или лесов, слышалось порою веселое пение птицы, сушившей свои перья.

Вечерело. Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоялых дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овсом и напоить.

Солнце село; вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари; небо также засветилось бесчисленными звездами. То там, то здесь появлялись освещенные дома, пронизывающие мрак огненными точками; и вдруг за косогором, сквозь ветви сосен, показалась луна, огромная, красная и словно оцепеневшая от сонливости.

Было так тепло, что окна кареты оставались опущенными. Жанна, истомленная мечтами и пресытившаяся счастливыми видениями, теперь отдыхала. Чувствуя онемение от долгого пребывания в одной и той же позе, она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлой ночи бегущие мимо деревья, фермы или нескольких коров, лежавших там и сям в поле и подымавших головы. Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нить прерванных грез, но непрерывный стук экипажа наполнял ей уши, утомлял ее мысль, и она вновь закрывала глаза, чувствуя, что ее ум так же устал, как и тело.

Наконец остановились. У дверец кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу, совершенно разбитую, жалобно стонавшую и без конца твердившую еле слышным, умирающим голосом:

— Ах, боже мой! Ах, дети мои!

Она не захотела ни пить, ни есть, легла в постель и тут же заснула.

Жанна и барон ужинали вдвоем.

Они переглядывались и улыбались, брали друг друга через стол за руки, а потом, полные детской радости, вместе принялись за осмотр заново отделанного дома.

Это было одно из высоких и обширных нормандских зданий, нечто среднее между фермой и замком, одно из зданий, построенных из белого камня, сделавшегося серым, и настолько просторных, что в них могло вместиться целое племя.

Очень обширная прихожая делила дом пополам, пересекая его насквозь; высокие двери вели из нее на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустою и соединяя во втором этаже оба своих подъема наподобие моста.

В нижнем этаже, направо, входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвы. Вся мебель, обитая вышитой крестиком материей, представляла собою иллюстрации к басням Лафонтена; Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила еще ребенком и на котором были изображены Лисица и Журавль.

Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами и две комнаты, не имевшие определенного назначения; налево от входа были столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна.

Все пространство второго этажа пересекал коридор. Десять дверей из десяти комнат тянулись одна за другой. В самой глубине, направо, была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал ее заново, используя обивку и мебель, валявшиеся на чердаке без употребления.

Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами.

Увидев свою кровать, девушка вскрикнула от радости. По четырем углам четыре большие птицы, выточенные из дуба, черные и блестящие от воска, поддерживали ложе и казались его хранителями. С боков находились две широкие гирлянды резных цветов и фруктов; четыре колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карниз из роз и амуров.

Кровать высилась величественно, но была в то же время легка и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени.

Одеяло и полог кровати сверкали, как два небосвода. Они были сделаны из старинного темно-синего шелка, по которому, точно звезды, были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом.

Налюбовавшись вдоволь кроватью, Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков.

Молодой вельможа и молодая дама, одетые в необыкновеннейшие костюмы зеленого, красного и желтого цвета, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Большой кролик, тоже белый, пощипывал серую траву.

Прямо над этими фигурами, в условной перспективе, виднелись пять круглых домиков с остроконечными крышами, а сверху, почти на небе, — красная ветряная мельница.

Все это было заткано крупными разводами, изображавшими цветы.

Два других панно были очень похожи на первое; только на них из домиков выходили четыре человечка, одетые по-фламандски, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева.

Последнее же панно изображало драму. Неподалеку от кролика, который все еще продолжал щипать траву, был распростерт молодой человек, казавшийся мертвым. Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на дереве сделались черными.

Жанна уже отказалась было понять все это, как вдруг обнаружила в углу микроскопического зверька, которого кролик, будь он живой, мог бы проглотить, как травинку. А между тем это был лев.

Тогда она узнала злключения Пирама и Тисбы¹, и хотя улыбнулась наивности рисунков, все же почувствовала себя счастливой, что ей придется быть лицом к лицу с этой любовной историей, которая будет постоянно твердить ей о дорогих надеждах, и что каждую ночь во время сна над ней будет витать эта любовь античного мифа.

Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей. Это была обстановка, которая остается в семье от каждого поколения и превращает старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно все.

¹ *Пирам и Тисба (Фисба)* — вавилонская пара влюбленных, герои эпоса Публия Овидия Назона (43 до н. э. — 17 или 18) «Метаморфозы», история которых напоминает сюжет «Ромео и Джульетты» У. Шекспира (*примеч. ред.*).

По бокам великолепного, окованного блестящими медными украшениями комода в стиле Людовика XIV стояли два кресла в стиле Людовика XV, еще хранившие свою прежнюю шелковую обивку с букетами цветов. Секретер розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле ампир.

То был бронзовый улей, висевший на четырех мраморных колонках над садом из золоченых цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрестанно покачивал над этим цветником крохотную пчелку с эмалевыми крылышками.

С одной стороны улья был вделан циферблат из расписного фаянса.

Часы пробили одиннадцать. Барон поцеловал дочь и ушел к себе.

Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель.

В последний раз окинула она взглядом свою комнату и потушила свечу. Но с левой стороны кровати, прислоненной к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полу прозрачной лужицей.

Бледные отблески отражались на стенах, слабо лаская любовь неподвижных Пирама и Тисбы.

В другое окно, приходившееся против ног кровати, Жанна видела высокое дерево, залитое кротким сиянием. Она повернулась на бок и сомкнула глаза, но через некоторое время снова открыла их.

Ей чудилось, что ее все еще подбрасывают толчки экипажа, стук которого продолжал звучать в ее ушах. Она пробовала лежать неподвижно, надеясь, что спокойная поза позволит ей наконец заснуть; но волнение, которым был объят ее ум, передалось вскоре и ее телу.

У нее сводило ноги, лихорадка усиливалась. Тогда она встала и, босиком, с голыми руками, в длинной рубашке, придававшей ей вид призрака, перешагнула через лужу света, разлитую на полу, отворила окно и выглянула наружу.

Ночь была так светла, что все было видно, как днем, девушка узнавала места, которые она любила еще в раннем детстве.

Против нее и всего ближе к ней расстился широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло. Два гигантских дерева возвышались перед замком по обеим сторонам его — платан на севере, липа на юге.

Небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, окаймляла это имение, защищенное от морских бурь пятью рядами вековых вязов, искривленных, ободранных, растерзанных, верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром.

Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, отделявшими господский замок от двух соседних ферм, в одной из которых жила семья Кульяров, а в другой — Мартены.

От этих тополей и получил свое имя замок. За пределами этого огороженного места расстилась обширная неводеланная равнина, поросшая диким



терновником, где ветер выл и метался день и ночь. Дальше берег сразу обрывался кручей в сто метров высоты, отвесной и белой, купавшей свое подножие в волнах.

Жанна смотрела вдаль, на безбрежную, волнистую водную гладь, которая, казалось, дремала под звездами.

В эти часы отдохновения природы после захода солнца в воздухе разливались все запахи земли. Жасмин, обвивавший окна нижнего этажа, непрерывно струил свой резкий аромат, который смешивался с более легким благоуханием распускавшихся листьев. Медленные дуновения ветра приносили крепкий запах соленого воздуха и липкие испарения морских водорослей.

Девушка, сияющая от счастья, полной грудью вдыхала воздух, и деревенская тишина успокаивала ее, как свежая ванна.

Все животные, просыпающиеся с наступлением вечера и таящие свою безвестную жизнь в тиши ночей, наполняли полутьму безмолвным оживлением. Огромные птицы беззвучно парили в воздухе, как пятна, как тени; жужжание невидимых насекомых едва касалось уха; по росистой траве и по песку пустынных дорог мчались немые погони.

Лишь несколько меланхолических жаб посылали к луне свой короткий и однообразный стон.

Жанне казалось, что сердце ее расширяется, что оно полно неясных звуков, как и этот светлый вечер, что оно вдруг закишело тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох ее окружал. Что-то роднило ее с этой живой поэзией; и в мягкой белизне ночи она ощущала нечеловеческий трепет, биение едва уловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья.

И она стала мечтать о любви.

Любовь! Уже два года, как ее приближение наполняло Жанну возраставшею тоскою. Теперь она может любить; теперь ей остается только встретить Его!

Каков он будет? Она не представляла себе этого в точности и даже не спрашивала себя. Это будет Он — вот и все.

Она знала только, что будет обожать его всей душой и что он будет любить ее также всем своим существом. В такие вечера, как этот, они будут гулять под пепельным светом звезд. Они пойдут рука об руку, прижавшись друг к другу, ощущая биение своих сердец, чувствуя теплоту плеч, сплетая свою любовь с нежной ясностью летних ночей, и станут такими близкими, что смогут легко, одной силой своей любви, проникать в самые сокровенные мысли друг друга.

И это будет длиться бесконечно в безмятежности невыразимой любви.

Ей показалось вдруг, что она уже ощущает его здесь, возле себя; смутный трепет чувственности внезапно пробежал по ее телу с головы до ног. Она прижала к груди руки бессознательным движением, словно обнимая свою мечту; на губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто, заставившее ее почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви.

Вдруг она услышала, что кто-то идет там, в ночи, по дороге, позади замка. И в безумном порыве, охваченная страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала: «А что, если это он?» Она боязливо прислушивалась к мерным шагам прохожего и была уверена, что он сейчас остановится у решетки и попросит приюта.

Когда он прошел, она почувствовала грусть, точно от разочарования. Но она поняла безрассудство своих надежд и улыбнулась своему безумию.

И вот, несколько успокоившись, она отдалась более разумным мечтаньям, стараясь проникнуть в будущее, строя планы жизни.

Она заживет с ним здесь, в этом тихом замке, над морем. У нее, конечно, будет двое детей — сын для него, а дочь для нее. И она уже видела, как дети бегают по траве между платаном и липой, а отец и мать восхищенно следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взглядом, полным страсти.

И долго-долго еще грезилось ей, в то время как луна, заканчивая свой путь по небу, собиралась погрузиться в море. Воздух начал свежеть. Горизонт на востоке бледнел. Пропел петух на ферме справа; другие откликнулись с фермы слева. Их охрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека сквозь стенки курятника; на громадном своде небес, незаметно побелевшем, стали исчезать звезды.

Где-то раздался птичий крик. В листве послышалось щебетание, сначала робкое; затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево.

Вдруг Жанна почувствовала себя залитою светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослепленная блеском зари.

Гора пурпуровых облаков, частью заслоненных старою аллеей тополей, бросала кровавые отблески на пробужденную землю.

И медленно, разрывая сверкающие тучи, обрызгивая огнем деревья, долины, океан, весь горизонт, показался громадный пламенеющий шар.

Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Восторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполнили ее замиравшее сердце. То было ее солнце! Ее заря! Начало ее жизни! Восход ее надежд! Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце; ей хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно прекрасное, достойное рождения этого дня, но она оставалась недвижимой в бессильном экстазе. Затем, положив голову на руки, она почувствовала, что глаза ее полны слез, и сладко заплакала.

Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворенной, немного усталой и словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала еще несколько минут и заснула так крепко, что не слыхала, как в восемь часов ее позвал отец, и проснулась, только когда он вошел в комнату.

Он хотел показать ей отделку замка — ее замка.

Фасад, выходявший внутрь усадьбы, был отделен от дороги широким двором, обсаженным яблонями. Эта проселочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полулье отсюда с большой дорогой, которая вела из Гавра в Фекан.

От опушки леса к крыльцу шла прямая аллея. Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, тянулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов, отделяющих их от обеих ферм.

Кровля дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, все внутри вновь окрашено.

Новые ставни серебристо-белого цвета и свежая штукатурка сероватого фасада выделялись, как пятна на старинном потемневшем здании.

Другая сторона дома, куда выходило одно из окон Жанны, была обращена к морю, которое виднелось поверх рощи и стены вязов, изглоданных ветром.

Жанна и барон, взявшись под руку, обошли все, не пропустив ни одного уголка; затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появилась под деревьями и расстилась зеленым ковром. Рощица поистине была очаровательна, и ее извилистые дорожки, разделенные изгородями листвы, перекрещивались друг с другом. Внезапно выскочил заяц, испугавший девушку, прыгнул с откоса и удрал в морские тростники, к скалистому обрыву.

После завтрака, ввиду того что госпожа Аделаида еще чувствовала слабость и объявила, что желает отдохнуть, барон предложил Жанне пройтись до Ипора.

Они пустились в путь и миновали сначала деревушку Этуван, прилегавшую к «Тополям». Трое крестьян поклонились им, словно знали их давным-давно.

Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины.

Вскоре показалась деревня Ипор. Женщины, чинившие тряпье, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатая улица, с канавой посредине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Темные сети, в которых там и сям виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, просушивались у дверей лачуг, откуда несся запах жилья скученной в одной комнате большой семьи.

Несколько голубей прогуливались вдоль канавы, отыскивая себе пропитание.

Жанна осматривалась кругом, и все это казалось ей новым и занимательным, как театральная декорация.

Но вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, темно-синее и гладкое, уходящее вдаль насколько мог видеть глаз.

Они остановились вблизи пляжа и стали смотреть. Паруса, белые, как крылья птиц, плыли по морскому простору. Справа и слева поднимались громадные скалы. С одной стороны нечто вроде мыса преграждало взгляд, а по другую сторону линия берега уходила в бесконечную даль, пока не превращалась в неуволимый штрих.

В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавань и домики; мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря, с легким шумом прокатывались по гальке.

Лодки местных жителей, вытасенные на откос, усеянный галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестящие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу.

Подошел матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в «Тополя».

Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз кряду свое имя, чтобы оно лучше осталось в памяти:

— Лястик, Жозефен Лястик.

Барон обещал не забыть его.

Пошли обратно в замок.

Огромная рыба утомляла Жанну, она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки; болтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, с сияющими глазами, обвеваемые ветром, а камбала, все более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.





II

Для Жанны началась очаровательная, свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям. Медленно шагая, блуждала она по дорогам, вся погрузившись в мечты, или же вприпрыжку сбегала в извилистые лощинки, оба склона которых были покрыты, словно золотой ризой, руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный в жару, опьянял ее, как ароматное вино, а отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли.

Порою от ощущения какой-то слабости она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощинки она вдруг замечала в просвете зелени треугольник сверкавшего на солнце голубого моря с парусом на горизонте, ее охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реявшего над ней. На лоне этой ласковой и свежей природы, среди спокойных, мягких линий горизонта ее обуяла любовь к одиночеству, и она так подолгу сживала на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у ее ног.

Подгоняемая легким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от того изысканного наслаждения, что могла двигаться без усталости, как рыбы в воде или ласточки в воздухе.

И как бросают в землю зерна, так она всюду сеяла воспоминания, те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти. Ей казалось, что в каждый изгиб этих лощинок она бросает частицу своего сердца.

Она с увлечением принялась купаться. Сильная и смелая, Жанна не боялась опасности и уплывала так далеко, что скрывалась из виду. Она превосходно чувствовала себя в холодной прозрачной голубой воде, которая

покачивала ее на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезывал быстрый полет ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдаленного рокота валов, катившихся по гальке, да смутного гула с земли, еще скользившего над поверхностью волн, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна перевертывалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками.

Несколько раз, когда она отваживалась уплыть слишком уж далеко, за ней посылали лодку.

Она возвращалась в замок, побледнев от голода, легкая, резвая, с улыбкой на устах, а глаза ее были полны счастья.

Барон же задумывал большие земледельческие предприятия: он собирался делать опыты, поднять производительность, испробовать новые орудия, акклиматизировать иноземные породы скота; он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам.

Часто он отправлялся в море с ипорскими матросами. Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестности были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак.

В ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пугающий кузов лодки и когда с каждой ее стороны тянется до самого дна длинная убегающая леса, преследуемая стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую веревку, которая тотчас же дергалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться.

При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети. Он любил слышать скрип мачты, любил вдыхать свистящие свежие порывы ночного ветра и, после долгих скитаний в поисках бакенов, находя дорогу по гребню скалы, крыше колокольни или маяку Фекана, испытывал наслаждение, неподвижно сидя под первыми лучами восходящего солнца, от которого сверкали на дне лодки клейкие спины широких веерообразных скатов и жирное брюхо палтуса.

Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а матушка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее тополей, по аллее направо, выходявшей к ферме Кульяров, потому что в другой аллее было мало солнца.

Так как ей рекомендовали двигаться, она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Розали, укутавшись в плащ и две большие шали и надев на голову черный капор, повязанный сверху красным платком.

И вот, волоча левую ногу, которая была тяжелее и оставляла следы по всей дороге — один туда, другой обратно — в виде двух пыльных борозд с вытоптанной травой, она начинала бесконечное странствование по прямой линии от угла замка до первых кустов рощи. На каждом конце этой дорожки



она велела поставить по скамье и, останавливаясь через каждые пять минут, говорила бедной терпеливой служанке, поддерживавшей ее:

— Присядем-ка, милая, я немного устала.

И при каждой остановке она оставляла на скамье то вязаный платок, который покрывал ей голову, то одну шаль, то другую, то капор, то плащ; из всего этого на обоих концах аллеи образовывались две большие кучи одежды, которые Розали уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку.

После полудня баронесса возобновляла прогулку, но уже более ослабленной походкой, с более длительными передышками; иногда она даже спала часок-другой на шезлонге, который выкатывали для нее из дома.

Она называла это: «мои упражнения», так же, как говорила: «моя гипертрофия».

Один доктор, к которому она десять лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у нее гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого ей был не совсем понятен, засело в ее голове. Она настойчиво заставляла барона, Жанну и Розали выслушивать свое сердце, услышать которое никто не мог, до того глубоко было оно погребено под толщей ее груди; но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового

врача из боязни, чтобы он не открыл в ней еще других болезней; она говорила о «своей» гипертрофии при каждом случае и так часто, словно этот недуг был свойствен только ей одной, принадлежал ей как единственная в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права.

Барон говорил: «гипертрофия моей жены», а Жанна: «мамина гипертрофия», как сказали бы: «платье», «шляпа» или «зонтик».

В молодости она была очень хорошенькая и тонкая как тростинка. Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров Империи, она прочла «Коринну»¹, которая заставила ее плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток.

По мере того как грузнел ее стан, порывы ее души становились все поэтичнее, а когда непомерная тучность приковала ее к креслу, мысль ее уносилась к нежным приключениям, героиней которых она воображала себя. У нее были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как заведенная шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романсы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно увлажняли ее ресницы; она любила даже некоторые гривуазные песенки Беранже² из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны.

Часто она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты; пребывание в «Тополях» ей бесконечно нравилось, так как давало декорацию для ее воображаемых романов: леса, пустынная ланда³ и близость моря напоминали ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев.

В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими «реликвиями». Это были старые письма, переписка ее родителей, письма барона, когда она была его невестой, и еще другие.

Она хранила их в секретере красного дерева с медными сфинксами по углам и говорила с особенной интонацией:

— Розали, деточка, принеси мне ящик воспоминаний.

Молоденькая служанка отпирала секретер, вынимала ящик и ставила его на стул возле госпожи, которая принималась медленно, одно за другим читать эти письма, время от времени роняя на них слезу.

Иногда Жанна заменяла Розали и гуляла с мамочкой, которая рассказывала ей воспоминания своего детства. В этих историях из далекого прошлого девушка узнавала себя, удивляясь сходству их мыслей и родству желаний; ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьется под наплывом тех ощущений, которые заставляли уже биться сердца первых людей и заставят еще трепетать сердца последних мужчин и последних женщин.

¹ «Коринна, или Италия» — роман французской писательницы Анны Луизы Жермены де Сталь (1766–1817), романтическая героиня которого умирает, непонятая и покинутая своим возлюбленным (*примеч. ред.*).

² Пьер-Жан де Беранже (1780–1857) — французский поэт и сочинитель песен, многие из которых сделались народными (*примеч. ред.*).

³ Ланда — равнина (*примеч. ред.*).



Их медленные шаги соответствовали медлительности рассказа, изредка на несколько секунд прерываемого одышкой; тогда мысль Жанны, минуя начатые приключения, уносилась в будущее, населенное радостями, и отдавалась надеждам.

Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шел к ним.

Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трех шагах от них, снова поклонился и воскликнул:

— Ну, баронесса, как мы поживаем?

Это был местный кюре.

Матушка родилась в век философов и была воспитана в дни Революции отцом, равнодушно относившимся к вере, она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам.

Баронесса совершенно забыла аббата Пико, своего кюре, и при виде его покраснела. Она извинилась, что не возобновила знакомства первая. Но старик не казался обиженным: он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и отер лоб. Он был очень толст, очень красен, и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клетчатый платок, пропитанный потом, и проводил им по лицу и по шее; но не успевал влажный платок скрыться в недрах его черной одежды, как новые капли опять выступали на коже и, падая на сутану, вздуваясь на животе, отмечали круглыми пятнышками приставшую дорожную пыль.

То был настоящий деревенский священник, веселый, терпимый, болтливый и добродушный. Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две прихожанки еще

не удосужились посетить службу: причиною этого была лень, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур пресытили благочестивыми обрядами.

Появился барон. Он придерживался пантеистических¹ воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнесся к аббату, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать.

Священник умел нравиться благодаря той бессознательной хитрости, которая развивается от постоянного общения с человеческими душами даже у самых посредственных натур, призванных стечением обстоятельств властвовать над себе подобными.

Баронесса была с ним ласкова, и, быть может, ее влекло к нему родство, сближающее сходные натуры: ей, тучной и прерывисто дышащей, нравились красное лицо и одышка толстяка.

Во время десерта он одушевился, как и полагалось подвыпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность, свойственную концу веселых обедов.

И вдруг он воскликнул, точно осененный счастливой идеей:

— А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить, — виконт де Лямар!

Баронесса, зная как свои пять пальцев весь провинциальный гербовник, спросила:

— Он не из семьи де Лямар де л'Эр?

Священник поклонился:

— Да, мадам; он сын виконта Жана де Лямара, умершего в прошлом году.

Госпожа Аделаида, любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка молодой человек обосновался на одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего-навсего от пяти до шести тысяч ливров дохода, но виконт, человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить два-три года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм.

Кюре прибавил:

— Это очаровательный молодой человек; такой порядочный, такой тихий. Но не слишком-то ему весело в деревне.

— Так приводите его к нам, господин аббат, — сказал барон, — время от времени это сможет его развлечь.

И заговорили о другом.

Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройтись по саду, так как привык совершать легкий моцион после еды.

¹ *Пантеизм (всебожие)* — философское и религиозное учение о Боге и мире, объединяющее их в единое целое, боготворение природы (*примеч. ред.*).

Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная, с грибом на голове, тянулись то спереди, то сзади них, смотря по тому, шли ли они лицом к луне или поворачивались к ней спиной. Кюре посасывал что-то вроде папироски, которую достал из кармана. Он объяснил ее назначение с откровенностью деревенского жителя:

— Это чтобы вызвать отрыжку, а то у меня довольно скверное пищеварение.

Затем вдруг, взглянув на небо, по которому совершало свой путь ясное светило, он произнес:

— Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть.

И вернулся попрощаться с дамами.





III

Из деликатной почтительности к своему кюре баронесса и Жанна отправились на мессу в следующее воскресенье.

Они подождали его после службы, чтобы пригласить в четверг к завтраку. Он вышел из ризницы с высоким элегантным молодым человеком, который дружески держал его под руку. Заметив женщин, священник с приятным изумлением воскликнул:

— Как это кстати! Прошу у вас позволения, баронесса и мадемуазель Жанна, представить вам вашего соседа, виконта де Лямара.

Виконт поклонился, сказал, что он уже давно мечтает об этом знакомстве, и завязал разговор с легкостью бывалого и благовоспитанного человека. У него была та счастливая внешность, о которой грезят женщины, но которая противна любому мужчине. Черные вьющиеся волосы обрамляли гладкий смуглый лоб; большие, правильные, точно искусственно выведенные брови придавали глубину и нежность его темным глазам, белки которых казались слегка голубоватыми.

Благодаря густым и длинным ресницам его взгляд приобретал ту страстную выразительность, которая вызывает волнение в высокомерной салонной красавице и заставляет оборачиваться на улице девушку в чепце, которая несет корзину.

Томная прелесть его взгляда заставляла верить в глубину его мысли и придавала значительность самым ничтожным его словам.

Густая борода, блестящая и выхоленная, скрывала чересчур развитую нижнюю челюсть.

Обменявшись любезностями, они расстались.

Два дня спустя господин де Лямар сделал первый визит.

Он появился как раз в ту минуту, когда осматривали садовую скамейку, поставленную в это утро под платаном, против окон зала. Барон хотел поставить еще другую напротив, под липой, но матушка, враг симметрии, не желала этого. Виконт, мнение которого пожелали узнать, согласился с баронессой.

Затем он заговорил об этом крае и нашел его очень «живописным», так как во время своих одиноких прогулок встречал много очаровательных «уголков». Время от времени его глаза, словно нечаянно, встречались с глазами Жанны, и она испытывала странное ощущение от этого внезапного, быстрого взгляда, в котором светились ласковое восхищение и пробуждающаяся симпатия.

Господин де Лямар-отец, умерший год тому назад, был знаком с близким другом господина де Кюльто, мамочкиного отца; открытие этого знакомства дало повод для бесконечной беседы о браках, датах и родственных отношениях. Баронесса обнаруживала чудеса памяти, устанавливая восходящие и нисходящие линии других семей и прогуливаясь без малейшего затруднения по сложному лабиринту генеалогии.

— Скажите, виконт, вы не слыхали о семье Сонуа де Варфлёр? Их старший сын, Гонтран, женился на мадемуазель де Курсиль, из рода Курсиль-Курвиль, а младший — на одной из моих кузин, мадемуазель де ля Рош-Обер, доводившейся родственницей Кризанжам. Ну, так вот господин де Кризанж был близким другом моего отца и, следовательно, должен был знать вашего отца.

— Да, мадам. Ведь это тот самый господин де Кризанж, который эмигрировал и сын которого разорился?

— Он самый. Он сделал предложение моей тетке после смерти ее мужа, графа д'Эретри; но она не согласилась выйти за него, потому что он нюхал табак. Не знаете ли вы, кстати, что случилось с Вилузами? Около 1813 года, вскоре после своего разорения, они покинули Турень, чтобы обосноваться в Оверни¹, и с тех пор я о них ничего больше не слыхала.

— Насколько я помню, мадам, старый маркиз умер от падения с лошади; одна его дочь замужем за каким-то англичанином, а другая за неким Бассолем, коммерсантом, — как говорили, богатым, который ее обольстил.

Всплывали имена, знакомые и сохранившиеся в памяти с детства из разговоров старых родственников. Браки в этих семьях, одинаково родовитых, принимали в умах собеседников значение крупных общественных событий. Они говорили о людях, которых никогда не видали, словно о хороших знакомых, а те люди, жившие в других краях, говорили о них так же; все они издали чувствовали себя близкими, почти друзьями, даже родственниками, благодаря только тому обстоятельству, что принадлежали к одному классу, к одной касте, к одной и той же благородной крови.

¹ *Турень и Овернь* — исторические области в центре Франции (примеч. ред.).

Барон, порядочный дикарь от природы и вдобавок получивший воспитание, не имевшее ничего общего с верованиями и предрассудками людей его круга, почти не знал окрестных дворянских семей и спросил о них виконта.

— О, в наших местах живет мало знати, — отвечал господин де Лямар таким тоном, словно заявлял, что на склонах холмов водится мало кроликов. И он сообщил подробности. Всего три семьи жили в более или менее близком соседстве: маркиз де Кутелье, нечто вроде главы нормандской аристократии; виконт де Бризвиль с супругой, люди безупречного рода, но державшиеся особняком; наконец, граф де Фурвиль, какое-то пугало: по слухам, он доводил свою жену до отчаяния, слыл завзятым охотником; они жили в своем замке де ла Врильет, выстроенном на берегу пруда.

Несколько выскочек, пролезших в их общество, купили себе кое-где по соседству поместья. Но виконт не водил с ними знакомства.

Наконец он попрощался, и его последний взгляд был обращен к Жанне, словно он посылал ей особое, более сердечное и нежное прощание.

Баронесса нашла его очаровательным, а главное — вполне светским человеком. Отец отвечал:

— Да, конечно, молодой человек прекрасно воспитан.

Его пригласили на следующей неделе к обеду. С тех пор он стал бывать постоянно.

Всего чаще он приезжал к четырем часам дня, присоединялся к мамочке в «ее аллее» и предлагал ей руку, чтобы помочь ей «совершать моцион». Когда Жанна бывала дома, она поддерживала баронессу с другой стороны, и все трое медленно и непрестанно прохаживались взад и вперед по прямой аллее из конца в конец. Он совсем не разговаривал с Жанной. Но его глаза, казавшиеся бархатно-черными, часто встречались с ее глазами, похожими на голубой агат.

Несколько раз молодые люди отправлялись в Ипор с бароном.

Однажды вечером, когда они были на пляже, к ним подошел дядя Лястик; не выпуская из рта трубки, отсутствие которой изумило бы всех, может быть, даже больше, чем исчезновение его носа, он промолвил:

— По такому ветру, господин барон, одно удовольствие было бы завтра утром проехаться в Этрета¹ и обратно.

Жанна сложила руки:

— О, папа, согласись!

Барон обернулся к господину де Лямар:

— Что вы думаете об этом, виконт? Мы могли бы поехать туда завтракать.

И прогулка была тотчас же решена.

С зарей Жанна была на ногах. Ей пришлось подождать отца, который одевался не так проворно; они отправились по росе и пересекли сначала поле,

¹ *Этрета* — город на побережье Ла-Манша, широко известный благодаря живописным прибрежным скалам (*примеч. ред.*).



а потом лес, весь звеневший птичьими голосами. Виконт и дядя Лястик сидели на кабестане¹.

Два других моряка помогали им при отъезде. Мужчины, упираясь плечами в борта лодки, толкали ее изо всех сил. Она с трудом подвигалась по гладкой поверхности, усеянной галькой. Лястик подкладывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом, становясь на свое место, протяжно выводил бесконечное: «Оге-гоп!» — для согласования общих усилий.

Но когда добрались до склона, лодка двинулась сразу и скользнула по круглым камням с треском разрываемого холста. Она остановилась вблизи пены, образуемой мелкими волнами; все заняли места на скамьях; затем два матроса, оставшиеся на берегу, спустили лодку на воду.

Легкий и непрестанный ветер с открытого моря касался поверхности воды и рябил ее. Парус был поднят, слегка надулся, и лодка спокойно поплыла, чуть покачиваясь на волнах.

Сначала удалились от берега. Небо, нисходя на горизонте, сливалось с океаном. Со стороны земли высокая отвесная скала отбрасывала длинную тень у своего подножия, а ее склоны, поросшие травой, местами были ярко освещены солнцем. Там, позади, из-за белого мола Фекана виднелись темные паруса, а впереди поднималась скала необыкновенного вида, круглая и со сквозным отверстием; она напоминала собою фигуру громадного слона, погружившего хобот в волны. То были малые ворота Этрета.

Жанна, у которой от качки слегка кружилась голова, глядела вдаль, держа руками за борт лодки, и ей казалось, что во всем мире существует только три истинно прекрасных вещи: свет, простор и вода.

Никто не говорил. Дядя Лястик, управляя рулем и шкотом, время от времени потягивал из бутылки, спрятанной под его скамьей, и без усталости курил

¹ *Кабестан* — здесь: шпиль, лебедка с барабаном на вертикальном валу для выбирания якорных или швартовных канатов (*примеч. ред.*).

огрызок трубки, казавшейся неугасимой. Из нее постоянно выходила тонкая струйка синего дыма, между тем как другая такая же струя сочилась из угла его рта. Никто и никогда не видел, чтобы матрос набивал табаком или разжигал эту свою глиняную печурку, которая была чернее черного дерева. Иногда он вынимал ее изо рта, сплевывая в море тем самым углом губ, из которого выходил дым, длинную струю темной слюны.

Барон сидел впереди и следил за парусами, заменяя матроса. Жанна и виконт помещались рядом, оба немного смущенные. Неведомая сила заставляла встречаться их глаза, поднимавшиеся одновременно, словно по приказу какой-то родственной воли; между ними уже возникала та тонкая и неопределенная нежность, которая быстро образуется между молодыми людьми, когда юноша не безобразен, а девушка красива. Они чувствовали себя счастливыми друг возле друга, потому, быть может, что думали один о другом.

Солнце поднималось словно для того, чтобы полюбоваться с высоты огромным морем, которое раскинулось внизу и, как бы кокетничая, подернулось легкой дымкой и закрылось от его лучей. Это был прозрачный, низко нависший золотистый туман, который не скрывал ничего, но смягчал даль. Солнце метало свои лучи, растопляя ими это блестящее облако, и когда оно поднялось во всей силе, мгла рассеялась, исчезла, а море, гладкое, как зеркало, заблестало в сиянии дня.

Взволнованная Жанна прошептала:

— Как красиво!

Виконт ответил:

— О да, очень красиво!

Ясная прозрачность этого утра словно пробуждала эхо в их сердцах.

Вдруг показалась большая аркада¹ Этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей; верх белой остроконечной скалы возвышался перед нею.

Причалили; пока барон, сошедши первым, удерживал лодку у берега, притягивая ее к себе за веревку, виконт взял на руки Жанну, чтобы перенести ее на землю, не дав ей замочить ног; затем они стали рядом на твердую, покрытую галькой отмель, еще взволнованные минутным объятием, и вдруг услышали, как дядя Лястик говорил барону:

— Вот была бы хорошая парочка.

Завтрак в маленькой гостинице, вблизи пляжа, был восхитителен. Океан, заглушая голоса и мысли, делал всех молчаливыми; но после завтрака они стали болтать, словно школьники на каникулах.

Самые простые вещи бесконечно веселили их.

Дядюшка Лястик, садясь за стол, бережно спрятал в свой берет еще дымившуюся трубку; все засмеялись. Муха, привлеченная, без сомнения,

¹ Аркада — галерея из арок, составляющих архитектурное целое (*примеч. ред.*).



его красным носом, несколько раз усаживалась на него; когда он сгонял ее взмахом руки, слишком неповоротливой, чтобы поймать насекомое, муха перелетала на кисейную занавеску, уже засиженную множеством ее сородичей, и, по-видимому, жадно сторожила румяный нос матроса, потому что немного погодя садилась на него снова.

При каждом полете насекомого раздавался неистовый хохот, а когда старик, которому надоело это щеkotание, проворчал: «Она таки чертовски упряма», — Жанна и виконт уже чуть не плакали от смеха, извиваясь, задышавшись, зажимая салфетками рот, чтобы не кричать.

Когда кончили кофе, Жанна сказала:

— Хорошо бы пройтись.

Виконт встал, но барон предпочел понежиться под солнцем на камушках.

— Ступайте, дети; через час я буду здесь.

Они миновали по прямой линии ряд домиков и, пройдя мимо маленького замка, походившего скорее на большую ферму, вышли в открытое поле, расстилавшееся перед ними.

Морская качка обессилила их, нарушив привычное равновесие; резкий соленый воздух возбудил аппетит, завтрак опьянил, а веселье разволновало. Они были теперь в несколько взбалмошном настроении, и им хотелось, ни о чем не думая, бегать по полям. У Жанны шумело в ушах: она была возбуждена новыми нахлынувшими на нее ощущениями.

Палящее солнце изливало на них свои лучи. По обе стороны дороги клонились к земле спелые хлеба, поникшие от жары. Бесчисленные, как стебли трав, неумолчно заливались кузнечики, и повсюду — в хлебах, в овсе, в морских тростниках — раздавался их сухой и оглушительный треск.

Никаких других звуков не было слышно под раскаленным небом, сверкающая лазурь которого отсвечивала желтизной, точно собираясь внезапно покраснеть, подобно металлу, брошенному в огонь.

Заметив вдали справа лесок, они пошли к нему.

Под высокими, непроницаемыми для солнца деревьями вилась узкая аллея, стиснутая двумя откосами. При входе в нее на них пахло свежестью плесени, той сыростью, которая вызывает ощущение озноба и проникает в легкие. Трава здесь давно исчезла, так как ей не хватало света и воздуха; почву прикрывал только мох.

Они пошли вперед.

— Здесь мы можем немного посидеть, — сказала она.

В этом месте стояли два старых сухих дерева, и, пользуясь просветом в листве, сюда падал поток света, согревая землю, пробуждая к жизни семена травы, одуванчиков и повилики, помогая распуститься маленьким белым цветочкам, нежным, как пыльца, и наперстянке, похожей на пряжу. Бабочки, пчелы, крепенькие шершни, огромные комары, походившие на скелеты мух, тысячи летающих насекомых, розоватые, с пятнышками, божьи коровки, бронзовые жучки с зелеными отливами или черные рогахи населяли этот светлый и жаркий колодец, вырытый в холодном сумраке густой листвы.

Они уселись; их головы были в тени, а ноги на солнце. Они смотрели на всю эту кишашую ничтожно-мелкую жизнь, вызванную на свет всего одним солнечным лучом; растроганная Жанна повторяла:

— Как чудесно! Как хорошо в деревне! Бывают минуты, когда я хотела бы быть мухой или бабочкой, чтобы спрятаться в цветах.

Они рассказывали друг другу о себе, о своих привычках, вкусах тем пониженным, задушевым тоном, каким делаются признания. Он говорил, что чувствует отвращение к свету и устал от его пустой жизни; там всегда одно и то же; никогда не встретишь ничего правдивого, ничего искреннего.

Свет! Ей очень хотелось бы узнать, что это такое; но она была убеждена заранее, что он не стоит деревни.

Чем больше сближались их сердца, чем чаще они церемонно называли друг друга «месье» и «мадемуазель», тем больше улыбались друг другу, сливались их взгляды; им казалось, что в них проникает какое-то новое чувство доброты, какая-то бьющая через край симпатия и интерес к тысяче мелочей, о которых они никогда не заботились.

Они вернулись; но барон отправился пешком до «Девичьей комнаты» — грота, находящегося на гребне скалы, и они стали поджидать его в гостинице.

Он явился только к пяти часам вечера, после долгой прогулки по берегу моря.

Снова сели в лодку. Она неслышно отплывала по ветру, без малейшей качки, как будто вовсе не двигаясь. Ветер набегал тихими и теплыми дуновениями, которые на секунду надували парус, бессильно падавший затем вдоль мачты. Непроницаемая водная гладь казалась мертвой; солнце, истощив весь свой жар и завершая круг, тихо приближалось к морю.

Дремота моря снова заставила всех притихнуть.

Наконец Жанна сказала:

— Как бы хотелось мне путешествовать!

Виконт возразил:

— Да, но путешествовать одной грустно, надо быть по меньшей мере вдвоем, чтобы было с кем делиться впечатлениями.

Она задумалась.

— Это правда... однако я люблю гулять в одиночестве... так хорошо мечтать одной...

Он поглядел на нее долгим взглядом:

— Можно мечтать и вдвоем.

Она опустила глаза. Был ли это намек? Может быть. Она внимательно рассматривала горизонт, словно желая заглянуть еще дальше, а затем медленно произнесла:

— Я бы хотела поехать в Италию... и в Грецию... о да, в Грецию... и на Корсику!.. Это, должно быть, так дико и так прекрасно!

Он предпочитал Швейцарию — за ее горные хижины и озера.

Она говорила:

— Нет, я люблю совсем новые страны, как Корсика, или уж очень старые, полные воспоминаний о прошлом, как Греция. Так приятно отыскивать следы народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где происходили великие события.

Виконт, менее восторженный, объявил:

— А меня сильно привлекает Англия: там есть чему поучиться.

И тут они перебрали всю вселенную, обсуждая прелести каждой страны, от полюса до экватора, восхищаясь воображаемыми пейзажами и необычными нравами некоторых народов, вроде китайцев или лапландцев, но в конце концов все же пришли к заключению, что лучшей страной в мире является Франция, благодаря ее умеренному климату, прохладному лету и мягкой зиме, ее роскошным полям, зеленым лесам, большим спокойным рекам и благодаря тому культу искусства, которого больше не существовало нигде со времен великого века Афин.

Затем они смолкли.

Солнце, спустившись ниже, казалось кровавым; широкий светлый след, ослепительная дорога бежала по воде от края океана до струи за кормой лодки.

Последние дуновения ветра замерли, рябь исчезла, и неподвижный парус стал багровым. Пространство, казалось, оцепенело в беспредельном покое, словно стихнув при виде этой встречи двух стихий; выгибая под небом свое сверкавшее текучее лоно, море, как гигантская возлюбленная, ожидало огненного любовника, опускавшегося к ней. Он ускорял свое падение, рдея пурпуром, как бы в жажде объятий. Наконец он соединился с ней, и мало-помалу она его поглотила.

Тогда с горизонта повеяло свежестью; легкий трепет тронул подвижное водное лоно, точно поглощенное светило посылало миру вздох успокоения.

Сумерки были коротки, быстро распростерлась ночь, усеянная звездами. Дядя Лястик взялся за весла, и тут заметили, что море засветилось фосфорическим светом. Жанна и виконт, сидя рядом, смотрели на этот мерцающий свет, который лодка оставляла позади себя. Они почти ни о чем больше не думали, отдавшись рассеянному созерцанию, вдыхая тишину вечера в блаженном удовлетворении. Рука Жанны опиралась о скамейку, и палец соседа как бы случайно коснулся ее пальцев; она не смела двинуться, изумленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением.

Войдя вечером в свою комнату, она почувствовала себя странно взволнованной и настолько растроганной, что все вызывало в ней желание плакать. Взглянув на часы, она подумала, что пчелка бьется, как сердце, как сердце друга, что она будет свидетелем всей ее жизни, что все радости и горести ее будут сопровождаться этим проворным и размеренным тиканьем; и она остановила золотую пчелку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать весь мир. Ей вспомнилось, что в глубине одного из ящиков комода спрятана ее старая кукла; она отыскала ее, обрадовалась, словно вновь обрела обожаемого друга, и, прижимая игрушку к груди, осыпала жаркими поцелуями ее крашенные щечки и взбитые кудри.

И, не выпуская ее из рук, задумалась.

Неужели это он, супруг, обещанный ей тысячью тайных голосов, ниспосланный на ее пути Всеблагим Провидением? Не то ли он существо, созданное для нее, которому она посвятит всю свою жизнь? Не те ли они избранники, нежность которых должна соединить их друг с другом, слить неразрывно и породить любовь?

Она вовсе еще не ощущала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех величайших подъемов, которые считала присущими страсти; но ей казалось все-таки, что она начинает любить его, потому что порою она вся замирала, думая о нем, — а думала она о нем постоянно. Его присутствие волновало ей сердце: она то краснела, то бледнела, встречая его взгляд, замирала в трепете, услышав его голос.

Она очень мало спала в эту ночь.

С этих пор волнующее желание любви захватывало ее изо дня в день все более и более. Она постоянно спрашивала себя об этом, гадала по полевым маргариткам, облакам, монеткам, подброшенным кверху.

Однажды вечером отец сказал ей:

— Принарядись завтра получше.

Она спросила:

— Зачем, папа?

Он ответил:

— Секрет.

На следующее утро, когда она сошла вниз, сияя свежестью, в светлом платье, то увидела на столе в гостиной коробки с конфетами, на стуле громадный букет.

Во двор въехала повозка. На ней была надпись: «Лера, кондитер в Фекане. Свадебные обеды». Людивина с помощью поваренка вытаскивала сквозь открытые задние дверцы тележки большие плоские корзины, от которых шел приятный запах.

Явился виконт де Лямар. На нем были брюки в обтяжку и изящные лакированные сапоги, облежавшие его маленькую ногу. Вырез на груди длинного сюртука, стянутого в талии, открывал кружево жабо. Изящный галстук, несколько раз обернутый вокруг шеи, заставлял его высоко и с оттенком благовоспитанной серьезности держать свою прекрасную темноволосую голову. У него был другой вид, чем обычно, тот особый вид, который парадная одежда неожиданно придает даже хорошо знакомым лицам. Жанна смотрела на него в изумлении, точно никогда его не видала; она находила его совершенным джентльменом, вельможей с головы до ног.

Он с улыбкой поклонился:

— Итак, кума, вы готовы?

Она пролепетала:

— В чем дело? Что случилось?

— Сейчас узнаешь, — сказал барон.

Подъехала запряженная коляска; госпожа Аделаида спустилась из своей комнаты в парадном платье, поддерживаемая Розали, которая, казалось, была так поражена изяществом господина де Лямара, что отец сказал вполголоса:

— Знаете, виконт, вы, кажется, прищипли по вкусу нашей служанке.

Он покраснел до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив большой букет, поднес его Жанне. Она взяла его, недоумевая все больше и больше. Они уселись вчетвером в коляску, и кухарка Людивина, принеся баронессе для подкрепления холодный бульон, сказала:

— Право, госпожа, подумаешь, что свадьба.

Доехав до Ипора, они пошли пешком, и, пока проходили по деревне, матросы в новых куртках, на которых еще были видны складки, появлялись из своих домиков, кланялись, жали барону руку и присоединялись к ним, словно следуя за процессией.

Виконт предложил Жанне руку и шел с нею впереди.

Подойдя к церкви, все остановились; появился большой серебряный крест, который нес мальчик из хора, стараясь держать его прямо; за ним шел другой мальчик, в красной с белым одежде, держа в руках сосуд со святой водой и кропилом.

Затем вышли трое старых певчих, один из которых хромал, за ним музыкант с серпентом¹ и, наконец, кюре в золотой, скрещивающейся вверху

¹ *Серпент* (от *фр. serpent* — змея) — старинный духовой музыкальный инструмент, получивший название благодаря змеевидной изогнутой форме (*примеч. ред.*).

епитрахили, вздувавшейся над его огромным животом. Он поздоровался улыбкой и кивком; затем, полузакрыв глаза, молитвенно зашевелил губами и, надвинув свою шапочку на самый нос, проследовал к морю со своим штабом, облаченным в стихари.

На пляже ожидала толпа, собравшаяся вокруг новой лодки, увитой гирляндами цветов. Ее мачта, парус и снасти были убраны длинными лентами, развевающимися по ветру, а на корме золотыми буквами было выведено название: «Жанна».

Дядя Лястик, хозяин лодки, построенной на средства барона, двинулся навстречу шествию. Все мужчины одновременно обнажили головы, а ряд богомолок в широких черных платках, ниспадавших на плечи крупными складками, опустился полукругом на колени при виде креста.

Кюре с двумя мальчиками по бокам прошел к одному концу лодки, а у другого конца трое старых певчих в белой одежде, но неопрятных и небритых, устремив глаза в сборник церковных песен, торжественно зафальшивили во всю глотку в ясном утреннем воздухе.

Каждый раз, когда они переводили дыхание, только тот, что играл на серпенте, продолжал свой рев, причем его серые глазки совсем исчезали между раздувавшихся щек. Он так надсаживался, что, казалось, кожа у него на шее и даже на лбу отставала от мяса.

Неподвижное, прозрачное море как будто тоже сосредоточенно участвовало в крещении лодки и лишь медленно катило мелкие волны с легким шумом грабель, скребущих по камням. Большие белые чайки, расправив крылья, пролетали, описывали кривую линию в голубом небе, удалялись и снова возвращались плавным полетом над коленопреклоненной толпой, словно желая посмотреть, что такое здесь происходит.

Но вот после «аминь», которое завывали в течение пяти минут, пение закончилось, и священник глухим голосом прокудахтал несколько латинских слов, где можно было различить лишь звучные окончания.

Затем он медленно обошел вокруг лодки, кропя ее святой водой, потом снова забормотал молитвы, остановившись у борта лодки напротив крестного отца и крестной матери, которые стояли неподвижно, держась за руки.

Красивое лицо молодого человека было по-прежнему торжественно, но девушка, задышавшись от внезапного волнения, почти теряя сознание, стала так дрожать, что зубы ее стучали. Мечта, которая преследовала ее неотвязно с некоторого времени, вдруг, точно в какой-то галлюцинации, начинала приобретать видимость реального. Говорили о свадьбе, присутствовал дававший благословение священник, люди в стихарях гнусавили молитвы; уж не ее ли это венчают?

Трепетали ли в нервной дрожи ее пальцы? Передалось ли по ее жилам сердцу соседа то наваждение, под властью которого находилось ее сердце? Понял ли он, угадал ли, был ли так же, как она, охвачен опьянением любви? Или же он уже по опыту знал, что ни одна женщина не устоит перед ним?



Она заметила вдруг, что он сжимает ее руку, сначала легко, потом все сильнее, сильнее, чуть не ломая ее. И, не меняясь в лице, так что никто ничего не заметил, он сказал, да, конечно, он сказал ей очень отчетливо:

— О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением!

Она опустила голову замедленным движением, которое могло означать «да». Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель.

Церемония окончилась. Женщины поднялись. Возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчик из хора, утратил величавость; он двигался быстро, качаясь вправо и влево, то наклоняясь вперед, то едва не падая на несущего. Кюре, больше уже не молившийся, торопливо бежал сзади; певчие и музыкант с серпентом исчезли в каком-то переулке, чтобы поскорее переодеться, а матросы спешили, разбившись на группы. Одна и та же мысль,

наполнявшая их головы как бы ароматом кухни, удлиняла их шаг, возбуждала аппетит и проникала до самого живота, вызывая в кишках целые рулады.

В «Тополях» их ожидал хороший завтрак.

На дворе под яблонями был накрыт большой стол. Шестьдесят человек уселись за ним: моряки и крестьяне. В центре сидела баронесса с двумя кюре по сторонам — из Ипора и из «Тополей». Барон, напротив нее, был зажат между мэром и его женой, сухопарой, уже пожилой деревенской жительницей, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У нее было узкое лицо, стиснутое громадным нормандским чепцом, — настоящая голова курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумленными глазами; она глотала маленькими быстрыми глотками, словно клевала носом тарелку.

Жанна, рядом с крестным отцом лодки, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча; ее голова была отуманена радостью.

Она спросила у него:

— Как ваше имя?

Он сказал:

— Жюльен. Разве вы не знали?

Она ничего не ответила, подумав: «Как часто буду я повторять это имя!»

Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой «моцион», опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким, заросшим тропинкам. Вдруг он схватил ее руки:

— Скажите, хотите быть моей женой?

Она снова опустила голову; и так как он продолжал лепетать: «Отвечайте, умоляю вас!», — она медленно подняла на него глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.





IV

Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь в ногах ее кровати:

— Виконт де Лямар просит твоей руки.

Ей захотелось спрятать лицо в простыни.

Отец продолжал:

— Мы пока отложили ответ.

Она задышалась; волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь:

— Мы не хотели ничего предпринимать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не против этого брака, но и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но, когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных; если ты выйдешь за него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другим тебе самой, нашей дочери, придется войти в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он... тебе?

Она прошептала, покраснев до корней волос:

— Я согласна, папа.

Отец, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал:

— Я в этом почти не сомневался, мадемуазель.

Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила.

Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт.

Сердце Жанны бешено забилося. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая никакого волнения. Приблизившись, он взял пальцы баронессы и поцеловал их, затем приподнял дрожащую руку девушки и прильнул к ней долгим, нежным и признательным поцелуем.

Наступило радостное время помолвки. Они беседовали одни в уголках гостиной или сидя в глубине рощи, на пригорке, перед пустынной ландой. Иногда они прогуливались по мамочкиной аллее, причем он говорил о будущем, а она шла, рассматривая пыльный след от ноги баронессы.

Раз дело было решено, закончить его желали поскорее; условились, что венчание состоится через полтора месяца, пятнадцатого августа, и что молодые немедленно отправятся в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда она хочет поехать, она избрала Корсику, где можно быть в большем уединении, нежели в городах Италии.

Они ожидали дня, назначенного для свадьбы, не испытывая особого нетерпения, и чувствовали себя овеванными, убаюканными восхитительной нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов, столь долгих, что их души, казалось, сливались в одну; неясное вожделение томило их еще смутно.

Было решено никого не приглашать на свадьбу, за исключением сестры баронессы, тети Лизон, жившей пансионеркой в версальском монастыре.

После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старая дева, преследуемая мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока.

Время от времени она проводила месяц или два в семье.

То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда ступшевывалась, появлялась, только когда садились за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где и оставалась все время взаперти.

Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года; глаза у нее были добрые и печальные; в семье с ней совершенно не считались. Ребенком ее почти не ласкали, так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. С тех пор она была навсегда обречена. Никто не заинтересовался ею, когда она стала девушкой.

Она была чем-то вроде тени или хорошо знакомого предмета, живой мебелью, которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился.

Сестра, по привычке, усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и, без сомнения, не выйдет,

Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала «тетей Лизон», скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какою-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и инстинктивное расположение.

Иной раз, когда баронесса рассказывала об отдаленных событиях своей молодости, она говорила, чтобы отметить дату:

— Это было в год безрассудного поступка Лизон.

Больше об этом ничего не говорилось, и этот «безрассудный поступок» так и оставался в каком-то тумане.

Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Ее вытащили в полумертвом состоянии, а родные, негодуя воздымавшие руки, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о «безрассудном поступке» так же точно, как говорили о несчастном случае с лошадью Коко, незадолго перед тем сломавшей себе ногу в колее, вследствие чего пришлось ее прикончить.

С тех пор Лизу, а потом Лизон, стали считать слабоумной. Добродушное пренебрежение, которое она внушала к себе близким, постепенно просачивалось в сердца всех ее окружающих. Даже маленькая Жанна, с присущей детям догадливостью, совсем не интересовалась ею, никогда не забиралась к ней на кровать приласкаться, никогда не прокрадывалась в ее комнату. Горничная Розали, убиравшая ее комнату, казалось, одна только и знала, где эта комната находится.

Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб, и этим все ограничивалось.

Если кто-нибудь желал поговорить с нею, то за ней посылали лакея; когда же ее не было, ею совсем не занимались, о ней вовсе не думали, и никогда никому не пришло бы в голову побеспокоиться, задать вопрос:

— Как же это я сегодня с самого утра не видел Лизон?

Она как бы совсем не занимала места: то было одно из тех существ, которые остаются чужими даже для своих близких, как бы неведомыми им и чья смерть не оставляет в доме ни трещин, ни пустоты, одно из существ, которые не умеют занять места ни в жизни, ни в привычках, ни в любви людей, живущих рядом с ними.

Когда говорили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали никакой привязанности ни в чьей душе. Это было все равно что упомянуть о кофейнике или сахарнице.

Она постоянно ходила торопливыми и неслышными шажками, никогда не шумела, никогда ни за что не задевала, и, казалось, благодаря ее влиянию предметы приобретали свойство быть беззвучными. Ее руки были словно из ваты, так легко и осторожно она обращалась со всем, к чему притрагивалась.

Она приехала в середине июля, страшно взбудораженная мыслью об этой свадьбе. Она привезла кучу подарков, которые почти не обратили на себя внимания, потому что были получены от нее.

На следующий день по ее приезде никто уже не замечал, что она тут.

Она же была охвачена необычайным душевным волнением, и глаза ее не отрывались от жениха и невесты. Она с особой энергией и лихорадочной деловитостью занялась приданым, работая, как простая швея, в комнате, куда никто к ней не заглядывал.

Она ежеминутно подносила баронессе платки, самолично подрубленные ею, или салфетки, на которых она вышивала вензеля, и спрашивала:

— Хорошо ли так, Аделаида?

И матушка, небрежно взглянув, отвечала:

— Только не надрывайся слишком, бедняжка Лизон.

Как-то вечером, в конце месяца, после тягостного знойного дня взошла луна; была одна из тех светлых и теплых ночей, которые волнуют, умиляют, заставляют восторгаться и словно будят всю затаенную поэзию души. Легкое дыхание полей проникало в тихую гостиную.

Баронесса и ее муж вяло играли партию в карты в освещенном кругу, который отбрасывал на стол абажур лампы, тетя Лизон вязала, сидя возле них, а молодые люди, опершись о раму раскрытого окна, смотрели в сад, залитый лунным светом.

От липы и платана ложились тени на широкий луг, белесый и блестящий, который тянулся до самой рощи, казавшейся совсем черной.

Непреодолимо завороченная нежной прелестью этой ночи, туманного освещения деревьев и зелени, Жанна обернулась к родителям:

— Папа, мы пойдем погуляем по траве перед замком.

Барон ответил, не отрывая взгляда от карт:

— Ступайте, дети!

И продолжал игру.

Они вышли и стали медленно ходить по большой белой лужайке до леска в глубине.

Время шло, а они не думали возвращаться. Утомленная баронесса собралась идти к себе.

— Надо позвать влюбленных, — сказала она.

Барон окинул взглядом огромный освещенный сад, где тихонько бродили две тени.

— Оставь их, — ответил он, — там так хорошо! Лизон подождет их; не правда ли, Лизон?

Старая дева подняла испуганные глаза и робко сказала:

— Конечно, подожду.

Отец помог баронессе подняться и, чувствуя утомление от дневной жары, сказал:

— Я тоже лягу.

И ушел вместе с женой.

Тогда тетя Лизон встала и, оставив на ручке кресла начатую работу, шерсть и большую спицу, облокотилась на подоконник, любуясь чарующей ночью.

Жених и невеста без конца прохаживались по лужайке от рощи к крыльцу и обратно. Они сжимали друг другу руки и молчали, словно отрешившись от самих себя и целиком сливаясь со всею той поэзией, которой дышала земля.

Вдруг Жанна заметила в четырехугольнике окна силуэт старой девы, обрисованный светом лампы.

— Взгляните, — сказала она, — тетя Лизон смотрит на нас.

Виконт поднял голову и повторил безразличным тоном, каким говорят не думая:

— Да, тетя Лизон смотрит на нас.



И они продолжали мечтать, медленно прогуливаясь, отдавшись своей любви.

Но траву покрывала роса, и от ее свежести они почувствовали легкую дрожь.

— Теперь вернемся, — сказала Жанна. И они возвратились в дом.

Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала; ее голова низко склонилась над работой, а худые пальцы немного дрожали, словно от сильной усталости.

Жанна подошла к ней.

— Уже пора спать, тетя, — сказала она.

Старая дева подняла глаза; они были красны, будто от слез. Влюбленные не обратили на это внимания, но молодой человек заметил вдруг, что тонкие ботинки Жанны совсем мокры. Охваченный беспокойством, он спросил с нежностью:

— Не озябли ли ваши милые ножки?

И вдруг тетины пальцы задрожали так сильно, что работа выпала из ее рук, а клубок шерсти далеко покатился по паркету; стремительно прикрыв лицо руками, она разразилась судорожными рыданиями.

Жених и невеста смотрели на нее в изумлении, не двигаясь с места. Жанна, страшно взволнованная, бросилась на колени и, отводя ее руки от лица, твердила:

— Что с тобой, что с тобой, тетя Лизон?

Тогда бедная женщина, согнувшись от страдания, пролепетала едва слышным от слез голосом:

— Да вот он спросил тебя... не озябли ли ва... а... а... ши милые ножки... Мне... никогда не говорили так... никогда... никогда...

Жанна, изумленная и исполненная жалости, все же почувствовала желание рассмеяться при мысли о влюбленном, расточающем нежности тете Лизон, а виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Но тетя порывисто вскочила, оставив клубок на полу, а вязанье на кресле, и взбежала без свечи, ощупью, по темной лестнице в свою комнату.

Оставшись одни, молодые люди переглянулись: это позабавило их и умилило. Жанна прошептала:

— Бедная тетя!..

Жюльен ответил:

— Она сегодня вечером, должно быть, немного помешалась.

Они держали друг друга за руки, не решаясь расстаться, и тихо, совсем тихо, обменялись первым поцелуем у пустого кресла, только что покинутого тетей Лизон.

На другой день они уже и не помнили о слезах старой девы.

Последние две недели перед свадьбой Жанна была тиха и спокойна, словно утомившись от пережитых сладостных волнений.

У нее не было времени для раздумья и в самое утро решающего дня. Она испытывала лишь сильное чувство пустоты во всем теле, словно вся ее плоть,

вся кровь и все кости растаяли под кожей; касаясь предметов, она замечала, что пальцы ее сильно дрожат.

Она пришла в себя только перед алтарем во время обряда.

Замужем! И так, она замужем! Последовательное чередование вещей, движений, событий, происшедших с утра, казалось ей сновидением, настоящим сновидением. Бывают минуты, когда все кажется изменившимся вокруг нас: самые жесты приобретают какое-то новое значение, даже время как будто изменяет своему обычному ходу.

Она чувствовала себя рассеянной, а главное, удивленной. Еще накануне не было никаких изменений в ее существовании, только заветная мечта ее жизни сделалась более близкой, почти осязаемой. Она заснула девушкой, а теперь уже была женщиной.

Итак, она переступила порог, казалось, таивший за собой будущее со всеми его радостями и счастьем, о котором она столько мечтала. Перед ней словно открылась дверь; ей предстояло вступить в Ожидавшееся.

Обряд кончился. Перешли в ризницу, почти пустую, так как приглашенных не было; затем стали выходить.

Когда они появились в дверях церкви, раздался страшный грохот, от которого новобрачная подскочила, а баронесса громко вскрикнула: то был ружейный залп, произведенный крестьянами; звуки выстрелов доносились до самых «Тополей».

Была подана закуска для семьи, для местного кюре и кюре из Ипора, для мэра и для свидетелей из числа зажиточных местных фермеров.

Затем в ожидании обеда прошлись по саду. Барон, баронесса, тетя Лизон, мэр и аббат Пико прогуливались по мамочкиной аллее, а по аллее напротив расхаживал крупными шагами другой священник, читая требник.

По ту сторону замка слышалось шумное веселье крестьян, пивших сидр под яблонями. Все местное население, разодевшееся по-праздничному, наполняло двор. Парни и девушки гонялись друг за другом.

Жанна и Жюльен прошли через рощу, поднялись по склону и в молчании стали смотреть на море. Становилось немного свежо, хотя была только середина августа; дул северный ветер, и яркое солнце холодно светило с голубого неба.

Молодые люди в поисках убежища пересекли ланду и повернули направо, желая достигнуть волнистой и заросшей лесом долины, спускающейся к Ипору. Когда они добрались до перелеска, ни малейшее дуновение не касалось их более, и они свернули с дороги на узкую тропинку, уходившую в чащу под навесом листвы. Они с трудом пробирались вперед, как вдруг Жанна почувствовала руку, тихонько обвившую ее стан.

Она молчала; сердце ее учащенно билось, дыхание захватило. Низкие ветви ласкали ей волосы, и нередко приходилось наклоняться, чтобы пройти. Она сорвала лист; под ним притаились две божьи коровки, похожие на хрупкие красные раковинки.

Немного успокоившись, она простодушно сказала:

— Смотрите, какая парочка.

Жюльен чуть коснулся губами ее уха:

— Сегодня вечером вы станете моей женой.

Хотя она и многому научилась во время своих скитаний по полям, она все же думала только о поэзии любви и поэтому была удивлена. Его женой? Да разве она уже не была ею?

Тогда он принялся осыпать быстрыми поцелуями ее висок и шею, там, где вились первые волосы. Застигнутая врасплох этими поцелуями мужчины, к которым она не привыкла, она всякий раз инстинктивно наклоняла голову в другую сторону, чтобы избежать ласки, которая, однако, приводила ее в восхищение.

Неожиданно они очутились на опушке леса. Она остановилась, смущенная тем, что они забрались в такую даль. Что о них подумают?

— Возвратимся, — сказала она.

Он отнял руку, которой держал ее за талию; повернувшись, они очутились друг против друга вплотную, так что чувствовали на лицах свое дыхание, и обменялись взглядом. Они обменялись одним из тех пристальных, острых, проникающих вглубь взглядов, в которых как бы сливаются души. Они искали друг друга в глазах и глубже — в непроницаемом, неведомом человеческого существа; они измеряли себя немым и упорным вопросом. Чем будут они друг для друга? Какова будет эта жизнь, которую они начинают вместе? Какие радости, какие счастливые минуты или разочарования готовят они друг другу в этом долгом совместном неразрывном брачном союзе? И им показалось обоим, что они видят друг друга в первый раз.

Вдруг Жюльен, положив руки на плечи жены, поцеловал ее прямо в губы таким глубоким поцелуем, какого она никогда еще не получала. Этот поцелуй наполнил все ее существо, проник в ее жилы и до самого мозга костей; она испытала такое таинственное потрясение, что растерянно оттолкнула Жюльена от себя обеими руками и чуть не упала навзничь.

— Уйдем! Уйдем! — лепетала она.

Он не отвечал, но взял ее руки и уже не выпускал их.

До самого дома они не обменялись больше ни словом. Остаток дня тянулся бесконечно.

За стол сели, когда наступил вечер.

Обед был простой и довольно короткий, вопреки нормандским обычаям. Какая-то неловкость связывала гостей. Только у священников, мэра да четверых приглашенных фермеров прорывалось кое-что от той грубой веселости, которой полагается сопровождать свадьбы.

Смех, казалось, угас, и только мэр оживлял его своими словечками. Было около девяти часов; собрались пить кофе. На первом дворе под яблонями начался сельский бал. В открытое окно был виден весь праздник. Фонари, развешанные на ветвях, придавали листьям серо-зеленый оттенок.



Крестьяне и крестьянки водили хоровод и горланили мотив какой-то дикой пляски, которой слабо аккомпанировали два скрипача и кларнетист, примостившиеся на кухонном столе вместо эстрады. Шумное пение крестьян иногда совсем заглушало звук инструментов; слабая музыка, прерываемая неистовыми головами, казалось, падала с неба обрывками, клочками рассеянных нот.

Два больших бочонка, окруженных пылающими факелами, утоляли жажду толпы. Две служанки были заняты тем, что неустанно полоскали в ушате стаканы и чашки и подставляли их, еще мокрые от воды, под краны, откуда текла или красная струя вина, или золотая струя прозрачного сидра. И разгоряченные танцоры, спокойные старики, вспотевшие девушки — все толкались, протягивали руки, чтобы схватить какую-либо посудину и, запрокинув голову, выпить крупными глотками тот напиток, который они предпочитали.

На одном столе лежали хлеб, масло, сыр, колбаса. Каждый время от времени проглатывал кусок. И этот здоровый, бурный праздник под сводом освещенных листьев пробуждал в угрюмых гостях зала желание так же танцевать и пить из утробы этих больших бочек, закусывая ломтем хлеба с маслом и головкой лука.

Мэр, отбивавший такт ножом, воскликнул:

— Черт возьми! Вот весело, прямо как на свадьбе Ганаша¹.

Пробежал сдержанный смешок. Но аббат Пико, прирожденный враг светской власти, возразил:

— Вы, вероятно, хотели сказать: как на свадьбе в Кане²?

¹ Имеется в виду свадьба богатого крестьянина Камачо (Ганаша) из романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (*примеч. ред.*).

² Имеется в виду описанная в Евангелии (Иоанн, глава II) свадьба в Кане Галилейской, на которой присутствовал Иисус Христос (*примеч. ред.*).

Но мэр стоял на своем:

— Нет, господин кюре, я знаю, что говорю; если я сказал Ганаш, так значит, Ганаш.

Все встали и перешли в гостиную. Затем отправились побродить немного среди подвыпившего простонародья. Потом гости разошлись.

Барон и баронесса говорили о чем-то, понизив голос, и как будто ссорились. Госпожа Аделаида, задыхаясь больше, чем когда-либо, видимо, отказывала в какой-то просьбе мужу; наконец она произнесла почти вслух:

— Нет, друг мой, не могу; я не знаю, как и взяться за это.

Тогда отец быстро отошел от нее и приблизился к Жанне:

— Не желаешь ли пройтись со мной, дочурка?

Она взволнованно ответила:

— Как хочешь, папа.

Они вышли.

Когда они очутились за дверью, со стороны моря их охватил резкий ветер. Один из тех холодных летних ветров, в котором уже чувствуется осень.

По небу неслись облака, заволакивая и вновь открывая звезды.

Барон прижимал к себе руку девушки и нежно поглаживал ей пальцы. Так они шли несколько минут. Барон, казалось, был в нерешительности и смущении. Наконец он заговорил:

— Крошка моя, я приступаю к трудной задаче, которая должна была бы достаться на долю твоей матери, но из-за ее отказа мне приходится заменить ее в этом деле. Я не знаю, насколько ты осведомлена в житейских делах. Существуют тайны, которые старательно скрывают от детей, от дочерей, особенно от дочерей, так как они должны остаться чистыми помыслом, безупречно чистыми до того часа, когда мы передадим их в руки человека, который возьмет на себя заботу об их счастье. Этому-то человеку и надлежит приподнять завесу, заброшенную на сладкую тайну жизни. Но девушки, если в них до той поры не пробудилось никакого подозрения, бывают часто возмущены той немного грубой реальностью, которая скрывается за мечтами. Раненные душевно, раненные даже телесно, они отказывают супругу в том, что закон, человеческий закон и закон природы, предоставляет ему в качестве его абсолютного права. Больше этого я не могу тебе сказать, дорогая, но не забывай только одного: что ты целиком принадлежишь мужу.

Но что, в самом деле, могла она знать? О чем могла догадываться? Она задрожала под гнетом тяжелой и мучительной печали и словно какого-то предчувствия. Они вернулись. Неожиданная сцена остановила их в дверях гостиной. Баронесса рыдала на груди Жюльена. Ее всхлипывания — шумные всхлипывания, словно выпускаемые кузнечными мехами, — казалось, вырывались у нее сразу из носа, изо рта и из глаз; смущенный молодой человек неловко поддерживал толстую женщину, которая билась в его объятиях, препоручая ему свою дорогую девочку, свою крошку, свою обожаемую дочурку.

Барон кинулся на помощь:

— О, пожалуйста, без сцен, без чувствительности, прошу вас.

И, подхватив жену, он усадил ее в кресло, пока она вытирала себе лицо.

Потом он обернулся к Жанне:

— Ну, малютка, поцелуй скорее мать и ступай ложиться.

Готовая также расплакаться, она стремительно поцеловала родителей и убежала.

Тетя Лизон уже ушла к себе. Барон и его жена остались наедине с Жюльеном. Все трое были так смущены, что не находили слов; мужчины во фраках, стоя, растерянно глядели перед собой, а баронесса подавленно сидела в кресле; последние рыдания еще душили ее. Общее замешательство становилось нестерпимым, и барон заговорил о путешествии, которое молодые должны были предпринять через несколько дней.

Жанна в своей комнате предоставила раздевать себя Розали, плакавшей в три ручья. Руки служанки двигались наугад, не находили ни завязок, ни булавок, и она казалась взволнованной, право, гораздо более своей госпожи. Но Жанна не замечала слез служанки; ей казалось, что она перешла в другой мир, перенеслась на другую планету и оторвана от всего, что знала, от всего, что было ей дорого. В ее жизни, в ее сознании как будто произошел полный переворот; ей даже пришла в голову странная мысль: любит ли она своего мужа? Теперь вдруг он представился ей совершенно чужим человеком, которого она почти не знает. Три месяца тому назад она и не ведала о его существовании, а теперь стала его женой. Как это случилось? Зачем так скоро выходить замуж, словно бросаясь в пропасть, открывшуюся под ногами?

Окончив ночной туалет, она скользнула в постель; прохладные простыни, вызвавшие в ней дрожь, еще усилили ощущение холода, одиночества и грусти, которое уже два часа тяготило ее.

Розали скрылась, продолжая всхлипывать; Жанна ждала. Тоскливо, со стесненным сердцем ждала она того, чего хорошенько не знала, но что угадывала и о чем в неопределенных словах сообщил ей отец, — страшного откровения великой тайны любви.

Три раза легко стукнули в дверь, хотя она и не слышала шагов по лестнице. Она страшно задрожала и не ответила. Постучали снова, затем заскрежетал замок. Она спряталась с головой под одеяло, словно к ней проник вор. По паркету тихонько проскрипели ботинки, и вдруг кто-то коснулся ее постели.

Она нервно вздрогнула и слабо вскрикнула: высвободив голову, она увидела Жюльена, стоявшего перед ней и смотревшего на нее с улыбкой.

— О, как вы меня испугали! — сказала она.

Он спросил:

— Так вы меня совсем не ждали?

Она не ответила. Он был во фраке, и его красивое лицо, как всегда, было серьезно; ей стало страшно стыдно, что она лежит перед столь корректным человеком.

Они не знали, что говорить, что делать, и не смели даже взглянуть друг на друга в эту важную и решительную минуту, от которой зависело интимное счастье всей их жизни.

Он, быть может, смутно чувствовал, какую опасность представляет эта борьба, сколько гибкого самообладания, сколько лукавой нежности требуется, чтобы не оскорбить нежную чистоту и бесконечную деликатность этой души, девственной и воспитанной одними мечтами.

Он тихонько взял ее руку, поцеловал и, преклонив колена перед кроватью, как перед алтарем, прошептал голосом, легким, как дуновение:

— Будете вы меня любить?

Сразу успокоившись, она приподняла с подушки голову, покрытую, как облаком, кружевами, и улыбнулась:

— Я уже люблю вас, мой друг.

Он взял в рот маленькие тонкие пальчики жены, и благодаря этому голос его изменился, когда он сказал:

— Согласны ли вы доказать, что любите меня?

Снова заволновавшись, она отвечала, не понимая хорошенько того, что говорит, и все еще находясь под свежим воспоминанием слов отца:

— Я ваша, мой друг.

Он покрыл кисть ее руки влажными поцелуями и, медленно выпрямляясь, приближался к ее лицу, которое она пыталась снова спрятать.



Внезапно, закинув руку через постель, он обнял жену сквозь простыни, а другую руку просунул под изголовье, приподнял подушку вместе с головой и тихо-тихо спросил:

— Так вы уступите мне крошечное местечко рядом с вами?

Ей стало страшно, инстинктивно страшно, и она пролепетала:

— О, не теперь, прошу вас.

Он, казалось, был озадачен, слегка обижен и возразил тоном, по-прежнему умоляющим, но уже более резким:

— Почему же не теперь, раз мы все равно кончим этим?

Ей стало досадно на него за эти слова; но, покорная и смирившаяся, она во второй раз повторила:

— Я ваша, мой друг.

Тогда он быстро прошел в туалетную комнату, и она ясно слышала его движения, шорох снимаемой одежды, звяканье денег в кармане, падение ботинок одного за другим.

И вдруг он быстро прошел в носках и кальсонах через комнату, чтобы положить часы на камин. Затем вернулся бегом в соседнюю комнату, где возился еще некоторое время; Жанна быстро повернулась на другой бок и закрыла глаза, почувствовав, что он пришел.

Она привскочила, словно желая броситься на пол, когда по ее ноге скользнула другая нога, холодная и волосатая; закрыв лицо руками, растерявшись, готовая кричать от страха и смятения, она зарылась в самую глубь постели.

Он тотчас же схватил ее в свои объятия, хотя она и повернулась к нему спиной, и стал жадно целовать ее шею, трепещущие кружева чепчика и вышитый край сорочки.

Она не двигалась, застыв в ужасной тревоге, чувствуя сильную руку, которая искала ее грудь, спрятанную между локтями. Она задышалась, потрясенная этим грубым прикосновением; ее охватило сильнейшее желание спастись, бежать по дому, запрятаться куда нибудь подальше от этого человека.

Он перестал двигаться. Она чувствовала своею спиной теплоту его тела. Тогда ее ужас стал проходить, и она вдруг подумала, что ей стоит только повернуться, чтобы поцеловать его.

Наконец терпение его как будто истощилось, и он сказал опечаленным тоном:

— Так вы не хотите стать моей женушкой?

Она пролепетала, все еще закрывая лицо ладонями:

— А разве я уже не жена вам?

Он отвечал с оттенком раздражения:

— Ну, милая моя, не смейтесь же надо мной.

Она была смущена его недовольным голосом и вдруг обернулась к нему, чтобы попросить прощения. Он схватил ее, яростно, как бы изголодавшись по ней, и принялся осыпать быстрыми поцелуями, жгучими поцелуями, безумными поцелуями все лицо и верхнюю часть груди, оглушая ласками.

Она раскинула руки и оставалась пассивной под этим напором, не отдавая себе более отчета в том, что делается с нею, что делает он, и испытывая такое смятение мыслей, что ничего не понимала. Но вдруг острая боль пронзила ее; она застонала, извиваясь в его объятиях, пока он неистово овладевал ею.

Что произошло потом? Она совсем не помнила этого, потому что потеряла голову; ей казалось только, что он осыпает ее губы градом благодарных поцелуев. Потом, вероятно, он говорил с нею, и она, должно быть, ему отвечала. Потом он делал новые попытки, которые она отвергала с ужасом; отбиваясь, она почувствовала на его груди ту же густую шерсть, которую уже ощутила на ноге, и в испуге отодвинулась от него. Устав наконец безуспешно домогаться, он неподвижно лежал на спине.

Тогда она задумалась; отчаявшись до глубины души, разочаровавшись в опьяняющих восторгах, которые мечта рисовала ей совсем иными, разочаровавшись в упоительном ожидании, теперь разрушенном, в блаженстве, ныне разбитом, она говорила себе: «Так вот что он называет быть его женой. Вот что! Вот что!»

И она долго пролежала так, в полной безутешности, блуждая взором по обивке стен, по старинной любовной легенде, окружавшей комнату с четырех сторон.

Так как Жюльен больше не говорил и не двигался, она медленно перевела на него взгляд и увидела, что он спит! Он спал с полуоткрытым ртом, со спокойным лицом! Он спал!

Она не могла этому поверить, чувствуя себя возмущенной, еще более оскорбленной этим сном, нежели его грубостью, чувствуя, что с нею обошлись как с первой встречной. Как мог он спать в такую ночь? Значит, то, что произошло между ними, не представляло для него ничего удивительного? О, лучше бы уж ее избили, еще раз изнасиловали, замучили отвратительными ласками до потери сознания!

Опершись на локоть, склонившись к нему, она неподвижно прислушивалась к легкому свисту, вырывавшемуся из его губ и иногда походившему на храпение.

Наступил день, сначала тусклый, затем светлый, затем розовый, затем сверкающий. Жюльен открыл глаза, зевнул, потянулся, взглянул на жену, улыбнулся и спросил:

— Хорошо ли ты спала, дорогая?

Она заметила, что он говорит ей «ты», и ошеломленно ответила:

— Да. А вы?

Он сказал:

— О, прекрасно!

И, повернувшись к ней, он ее поцеловал, а затем стал спокойно разговаривать. Он развивал ей свои планы жизни, построенной на основе бережливости; это слово, повторенное им несколько раз, удивило Жанну. Она слушала

мужа, не улавливая смысла слов, смотрела на него и думала о тысяче других мимолетных вещей, мелькавших, едва задевая ее сознание.

Пробило восемь часов.

— Однако надо вставать, — сказал он, — мы покажемся смешными, если долго останемся в постели.

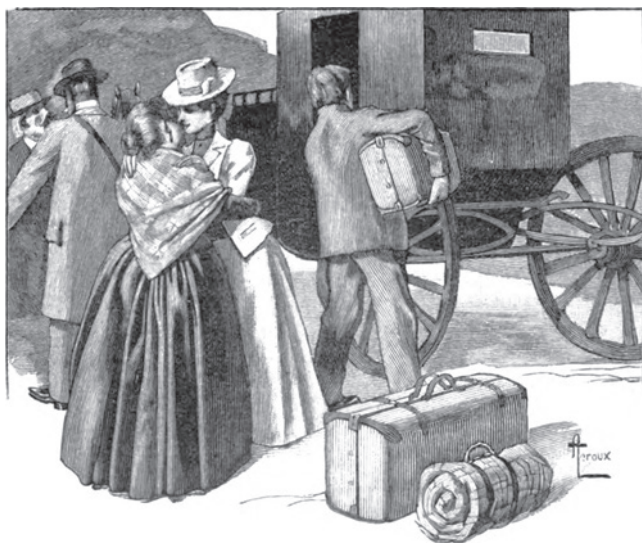
Он встал первым. Одевшись, он любезно помог жене во всех мельчайших деталях туалета, не разрешая позвать Розали.

В ту минуту, когда они выходили из спальни, он остановил ее:

— Знаешь, наедине мы можем теперь говорить друг другу «ты», но перед родителями лучше еще подождать. Вот когда вернемся из свадебного путешествия, это будет вполне естественно.

Она вышла лишь к завтраку. И день прошел как обычно, словно ничего нового не случилось. Только в доме стало одним человеком больше.





V

Четыре дня спустя приехала берлина¹, которая должна была отвезти их в Марсель.

После тоски, испытанной в первую ночь, Жанна уже привыкла к близости Жюльена; к его поцелуям, к его нежным ласкам, хотя отвращение к более интимным их отношениям не уменьшилось.

Она находила его красивым, любила его и снова чувствовала себя счастливой и веселой.

Прощание было кратким и не печальным. Только баронесса казалась взволнованной; в момент отъезда экипажа она сунула в руку дочери толстый кошелек, тяжелый, как свинец.

— Это на мелкие расходы молодой дамы, — сказала она.

Жанна положила его в карман, и лошади тронулись.

¹ *Берлина* — конный экипаж на рессорах с мягкими сидениями, комфортный для длинных путешествий; был изобретен в Берлине камергером Филиппом де Ла Кьезом (1629–1673) (*примеч. ред.*).

К вечеру Жюльен сказал:

— Сколько положила тебе мать в кошелек?

Она уже позабыла о нем и высыпала содержимое себе на колени. Полился поток золота: две тысячи франков! Она захлопала в ладоши:

— О, теперь я наделаю глупостей!

Затем она убрала деньги.

После недели пути по страшной жаре они приехали в Марсель.

А на другой день маленький пакетбот «Король Людовик», отправлявшийся в Неаполь через Аяччо, увозил их на Корсику.

Корсика! Маки¹! Разбойники! Горы! Родина Наполеона! Жанне казалось, что она покидает действительность и, все еще бодрствуя, погружается в сон.

Стоя рядом на палубе корабля, они глядели, как бегут мимо скалы Прованса. Неподвижное море, ярко голубое, словно стусившееся, словно затвердевшее в жгучем свете солнца, расстиралось под беспредельным небом почти неестественно синего цвета.

Она сказала:

— Помнишь нашу прогулку в лодке дяди Лястика?

Вместо ответа он быстро поцеловал ее в ухо.

Колеса парохода били по воде, нарушая ее глубокий сон, а позади тянулся прямой линией, отмечая путь судна и теряясь из виду, длинный вскипающий след, широкая бледная полоса взбаламученных волн, пенившихся, как шампанское.

Вдруг у носа корабля, на расстоянии всего нескольких саженей², выскочил из воды громадный дельфин, затем он нырнул головой вниз и исчез. Жанна, объятая испугом, вскрикнула и бросилась на грудь Жюльену. Потом рассмеялась над своим страхом и боязливо взглянула, не появится ли животное опять. Через несколько секунд оно снова выскочило, как большая заводная игрушка. Потом опять нырнуло и вновь выплыло; потом их стало двое, потом трое, потом шестеро; они, казалось, резвились вокруг тяжелого судна и конвоировали своего чудовищного собрата — деревянную рыбу с железными плавниками. Они плыли то слева от корабля, то появлялись справа, иногда все вместе, иногда один за другим, весело преследуя друг друга, точно в игре, и подпрыгивали в воздух сильным прыжком, описывая кривую линию, а затем вновь гуськом погружались в воду.

¹ *Маки* (от *фр. maquis* — лесные заросли, чаща) — так в Корсике и Сардинии называли неводеланную почву, покрытую почти непроницаемым кустарником, в котором скрывались преступники; впоследствии так стали называть французских партизан (*примеч. ред.*).

² В оригинале «нескольких брассов»; *брасс* (*фр. brasses*) — единица длины, равная 1,8288 м, до сих пор используемая на французском военно-морском флоте; *сажень* — старорусская единица длины, равная 2,1336 м. Несмотря на разницу в конкретных значениях, перевод совершенно корректен, поскольку в основе обеих мер лежит расстояние между кончиками пальцев вытянутых рук человека (*примеч. ред.*).

Жанна хлопала в ладоши, трепетала от восторга при каждом появлении громадных и ловких пловцов. Подобно им, сердце ее прыгало в безумной детской радости.

Но вдруг они исчезли. Их заметили еще раз, но уже очень вдалеке, в открытом море, а потом их не стало видно, и Жанна в течение нескольких секунд испытывала огорчение оттого, что они уплыли.

Наступил вечер, тихий, кроткий, лучезарный вечер, залитый светом и полный блаженного покоя. Ни малейшего волнения не было ни в воздухе, ни на воде; бесконечный покой моря и неба передавался их оцепеневшим душам, — в них также замерло всякое волнение.

Огромное солнце тихо спускалось к Африке, к невидимой Африке, и жар ее раскаленной почвы как будто уже ощущался; но какая-то ласкающая свежесть, нисколько не походившая, однако, на морской ветер, слегка овевала их лица, когда светило исчезло.

Им не захотелось возвращаться в свою каюту, куда долетали все ужасные запахи пакетбота; они растянулись на палубе, рядом, завернувшись в плащи. Жюльен заснул тотчас же, но Жанна лежала с открытыми глазами, возбужденная новыми впечатлениями. Однообразный стук колес укачивал ее, и она рассматривала над своей головой на чистом южном небе легионы звезд, таких ясных, с резким, мерцающим и как бы влажным сиянием.

К утру, однако, она забылась. Ее разбудили шум и голоса. Матросы с песнями прибирали корабль. Она растолкала неподвижно спавшего мужа, и они поднялись.

С восторгом упивалась она соленым вкусом тумана, пропитавшего ее всю, вплоть до кончиков ногтей. Кругом — только море. Однако впереди на волнах покоилось что-то серое, еще неясное в свете зари, какое-то нагромождение странных, заостренных, изрезанных облаков.

Затем оно стало более определенным; очертания выступили резче на просветлевшем небе, появилась длинная линия острых, причудливых гор: то была Корсика, словно окутанная легкой вуалью.

За нею взошло солнце, разрисовывая все выступы хребтов черными тенями; затем запылали вершины, пока остальная часть острова еще оставалась в дымке тумана.

Капитан, маленький старичок с бурым лицом, высохший, сморщенный, заскорузлый, съезжившийся под резкими и солеными ветрами, появился на палубе и сказал Жанне голосом, охрипшим от тридцатилетнего командования, сорванным из-за крика во время бурь:

— Чувствуете, как пахнет эта негодяйка?

Действительно, Жанна почувствовала сильный и своеобразный запах растений, какие-то дикие ароматы.

Капитан продолжал:

— Так пахнет Корсика, мадам; это ее запах, запах красивой женщины. После двадцати лет отсутствия я узнал бы его за целых пять миль. Я сам отсюда.

Тот, что на острове Святой Елены¹, говорят, всегда вспоминал запах родины. Он мне сродни.

Капитан, сняв шляпу, поклонился Корсике и поклонился еще туда, за океан, великому пленному императору, с которым он был в родстве.

Жанна была до того растрогана, что чуть не заплакала.

Моряк протянул руку к горизонту.

— «Кровавые горы»! — сказал он.

Жюльен стоял возле жены, обняв ее за талию, и оба они глядели вдаль, стараясь отыскать указанную точку.

Наконец они увидели несколько скал пирамидальной формы, которые корабль вскоре обогнул, входя в широкий спокойный залив, окруженный цепью высоких гор, отлогие склоны которых казались покрытыми мхом.

Капитан указал на эту зелень:

— Это маки!

По мере приближения круг гор как будто замыкался за кораблем, медленно плывшим по лазоревому озеру, такому прозрачному, что иногда можно было видеть дно.

И вдруг показался город, сплошь белый, в глубине залива, у подножия прибрежных скал.

Несколько небольших итальянских судов стояли в порту на якоре. Четыре-пять лодок шныряли около «Короля Людовика» в ожидании пассажиров.

Жюльен, собиравший багаж, спросил шепотом у жены:

— Довольно двадцати су носильщику?

Всю неделю он ежеминутно задавал ей все тот же вопрос, каждый раз вызывавший в ней неприятное чувство.

Она ответила с легким нетерпением:

— Если кажется, что этого недостаточно, нужно прибавить.

Он без конца препирался с хозяевами и лакеями гостиниц, с извозчиками, с разными торговцами, и когда с помощью всяческих уловок ему удавалось добиться какой-нибудь уступки, он говорил Жанне, потирая руки:

— Не люблю, чтобы меня обкрадывали.

Она дрожала при виде поданного счета, так как была уверена наперед, что муж станет возражать по поводу каждой цифры; она чувствовала себя униженной этим торгашеством и краснела до корней волос под презрительными взглядами лакеев, которыми они провожали ее мужа, держа в руке ничтожные чаевые.

Теперь у него опять вышел спор с лодочником, который перевез их на сушу.

Первое дерево, которое увидела Жанна, была пальма!

¹ Последние годы жизни Наполеон Бонапарт провел в ссылке на острове Святой Елены в Атлантическом океане (*примеч. ред.*).

Они остановились в большой пустой гостинице на углу огромной площади и заказали завтрак.

Когда они кончили десерт и Жанна встала, чтобы пойти побродить по городу, Жюльен заключил ее в объятия и нежно прошептал ей на ухо:

— А не прилечь ли нам, моя кошечка?

Она удивилась:

— Прилечь? Но я совсем не устала.

Он обнял ее:

— Я хочу тебя. Понимаешь? Ведь уже два дня!..

Она покраснела и стыдливо пролепетала:

— О, теперь! Но что скажут о нас? Что подумают? Как ты попросишь комнату средь бела дня? Жюльен, умоляю тебя...

Но он прервал ее:

— Плевать мне на то, что скажет и подумает прислуга. Думаешь, меня это стесняет?

И он позвонил.

Она не возразила больше ни слова и опустила глаза, возмущаясь душою и телом против этого непрестанного желания мужа, желания, которому она повиновалась с отвращением, смиряясь, но чувствуя себя униженной, видя в этом нечто животное, постыдное и, наконец, просто грязное.

Ее чувства еще не проснулись, а муж обращался с ней, как будто она уже вполне разделяла его пыл.

Когда пришел лаксй, Жюльен попросил его проводить их в комнату. Слуга, настоящий корсиканец, обросший волосами до самых глаз, не понимал его и уверял, что комната будет приготовлена к ночи.

Жюльен с нетерпением пояснил:

— Нет, сейчас. Мы устали с дороги и хотим отдохнуть.

Тогда лакей чуть усмехнулся, а Жанне захотелось убежать.

Когда они спустились часом позже, она боялась проходить мимо встречаемых лакеев, так как была убеждена, что они станут смеяться и перешептываться за ее спиной. Она сердилась в глубине души на Жюльена за то, что он не понимает этого и совершенно лишен тонкой стыдливости и врожденной деликатности; она чувствовала между ним и собою словно какую-то завесу, какое-то препятствие и в первый раз заметила, что два человека никогда не могут проникнуть друг другу в душу, в самую глубь мыслей, что они могут идти всю жизнь рядом, иногда тесно сплетаясь в объятиях, но никогда не сливаясь окончательно, и что нравственное существо каждого из нас остается вечно одиноким.

Они прожили три дня в этом городке, спрятавшемся в глубине голубой бухты и раскаленном, как горнило, за грядой холмов, которая не пропускала к нему ни малейшего дуновения ветра.

Потом был выработан маршрут их путешествия, и для того, чтобы не отступать перед трудными переходами, они решили нанять лошадей. Они взяли

двух маленьких, худых, неутомимых корсиканских жеребцов с бешеным взглядом и отправились ранним утром в дорогу. Их сопровождал проводник верхом на муле; он вез провизию, потому что в этой дикой стране нет трактиров.

Дорога шла сначала по берегу залива, а затем спускалась в неглубокую ложину, которая вела к высоким горам. Часто приходилось пересекать почти высохшие потоки; чуть заметный ручей еще шелестел кое-где под камнями, как притаившийся зверек, и робко журчал.

Невозделанная страна казалась совсем голой. Береговые склоны были покрыты высокой травой, уже пожелтевшей в это палящее время года. Изредка попадались горцы, то пешком, то на маленькой лошадке, то верхом на осле ростом с собаку. И у каждого из них висело за плечом заряженное ружье, старое и ржавое, но опасное в их руках.

От острого запаха душистых растений, покрывавших остров, воздух, казалось, сгущался; дорога медленно поднималась посреди длинных горных извилин.

Розовые или голубые гранитные вершины придавали пустынному пейзажу что-то волшебное; леса громадных каштанов на более низких склонах походили на зеленый кустарник, до того колоссальны волны вздымающейся земли в этой стране.

Иногда проводник, протягивая руку в сторону крутых высот, произносил какое-либо название. Жанна и Жюльен всматривались, сначала ничего не видели, но наконец открывали что-то серое, подобное куче камней, упавших с вершины. То была какая-нибудь деревушка, маленький поселок из гранита, уцепившийся, повиснувший, как настоящее птичье гнездо, и почти неразличимый на громадной горе.

Длинное путешествие шагом стало раздражать Жанну.

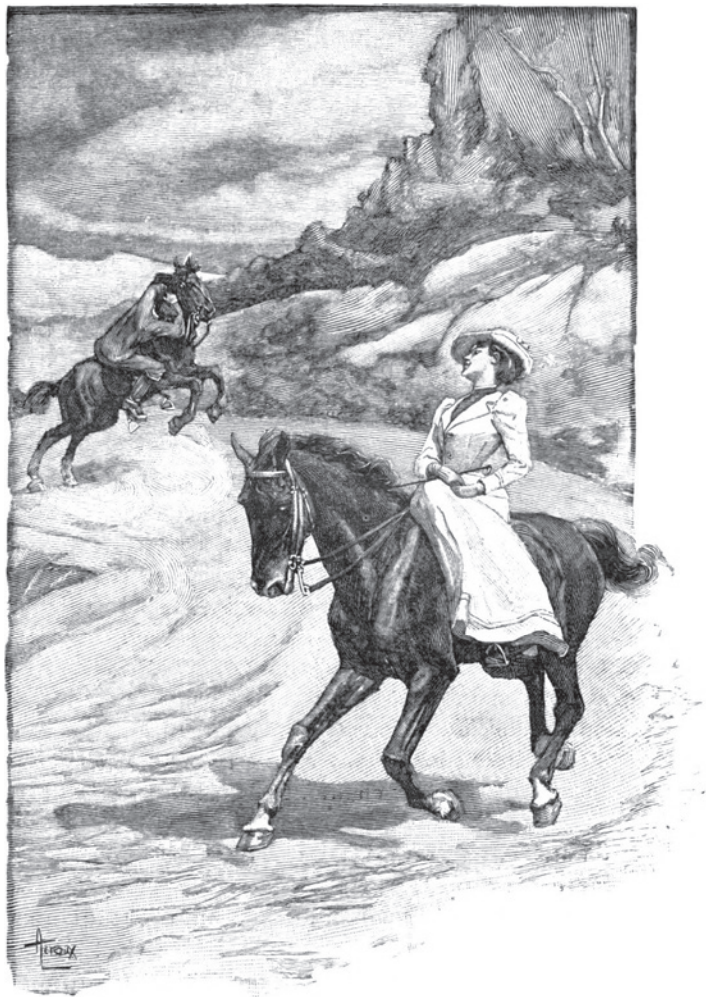
— Поскачем немного, — предложила она.

И она пустила лошадь в галоп. Потом, не слыша рядом с собой лошади мужа, обернулась и расхохоталась как сумасшедшая, увидев, что он едет бледный, держась за гриву лошади и странно подпрыгивая. Самая его красота и фигура прекрасного всадника лишь усугубляли смехотворность его неуклюжести и трусости.

Тогда они поехали тихой рысью. Теперь дорога тянулась лесом, который, как плащом, одевал все побережье.

То были маки, непроходимые маки, образовавшиеся из зеленых дубов, можжевельника, толокнянок, мастиковых деревьев, колючей крушины, вереска, самшита, мирта и букса¹, причем между ними переплетались и спутывались, как волосы, вьющиеся ломоносы, чудовищные папоротники, жимолость, розмарины, лаванда, терновники, покрывавшие склоны гор какой-то свалявшейся шерстью.

¹ Букс — старое название дерева самшит; вместо самшита в переводе в оригинале указан лавровый тимьян (примеч. ред.).

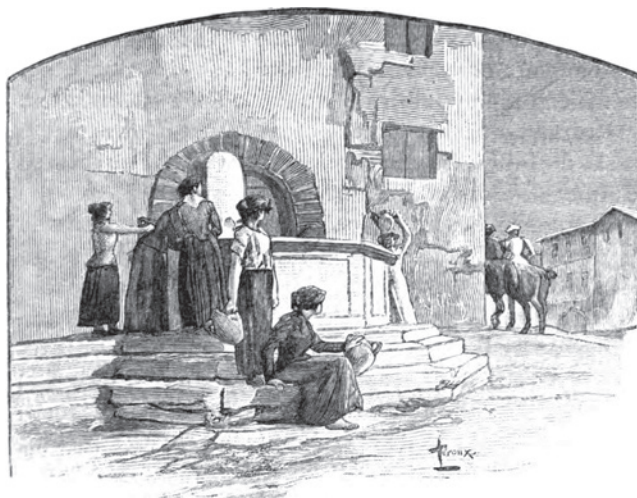


Они проголодались. Проводник догнал их и провел к одному из тех очаровательных источников, которые так часто встречаются в гористых странах; то была тонкая и круглая струйка ледяной воды, выходявшая из отверстия в скале и стекавшая по листу каштана, положенному каким-то прохожим так, чтобы подвести струйку как раз ко рту.

Жанна была так счастлива, что с трудом удерживалась, чтобы не закричать от радости.

Они снова тронулись в путь и начали спускаться, объезжая Сагонский залив.

К вечеру они проехали Каргез, греческую деревню, основанную тут когда-то колонией беглецов, изгнанных с родины. Несколько высоких и красивых девушек с изящными очертаниями стана, с длинными руками, с тонкой талией, необычайно грациозных, стояли около фонтана. Жюльен крикнул им:



«Добрый вечер», — и они отвечали певучими голосами на благозвучном языке своей покинутой страны.

По приезде в Пиана им пришлось просить гостеприимства, как в стародавние времена, как в глухих странах. Жанна дрожала от радости, ожидая, пока откроется дверь, в которую постучал Жюльен. О, это было настоящее путешествие со всеми неожиданностями неизведанных дорог!

Они попали в семью молодоженов. Их приняли так, как, должно быть, патриархи принимали гостя, посланного богом, их уложили на матрацах из маисовой соломы в старом, полусгнившем домишке, весь сруб которого, источенный червями и пронизанный длинными ходами шашеней¹, пожирающих бревна, был полон шороха и словно жил и вздыхал.

Они выехали с рассветом и вскоре остановились против леса, настоящего леса из пурпурового гранита. Это были острия, колонны, колоколенки, поразительные фигуры, изваянные временем, разьедающим ветром и морским туманом.

Доходя высотой до трехсот метров, эти поразительные утесы, тонкие, круглые, искривленные, изогнутые, бесформенные, неожиданно причудливые, казались деревьями, растениями, животными, памятниками, людьми, монахами в рясах, рогатыми чертями, громадными птицами, целым племенем чудовищ, зверинцем кошмаров, окаменевших по воле какого-то сумасбродного божества.

Жанна молчала и, чувствуя, как сжимается ее сердце, взяла и стиснула руку Жюльена, охваченная страстным желанием любви при виде такого великолепия.

¹ *Шашень* — вид морских двустворчатых моллюсков из семейства корабельных червей (примеч. ред.).

Выйдя из этого хаоса, они обнаружили вдруг новый залив, опоясанный кровавой стеной красного гранита. И в синем море отражались эти пурпуровые скалы.

Жанна прошептала: «О Жюльен!» — не находя других слов, умиляясь от восхищения, чувствуя, что у нее перехватывает горло. И две слезинки покатались из ее глаз. Он изумленно смотрел на нее.

— Что с тобой, моя кошечка?

Она вытерла щеки, улыбнулась и сказала слегка дрожащим голосом:

— Ничего, это нервы... Не знаю... Я поражена. Я так счастлива, что любой пустяк перевертывает мне все сердце.

Он не понимал этой женской нервности, потрясений чуткой души, которая способна доходить до безумия от пустяка, которую энтузиазм волнует, точно катастрофа, а едва уловимое ощущение потрясает, сводит с ума от радости или погружает в отчаяние.

Эти слезы казались ему нелепыми, и, всецело озабоченный плохой дорогой, он сказал:

— Смотри-ка лучше за лошадью.

По дороге, почти что непроходимой, они спустились к заливу, затем повернули направо, чтобы начать подъем по мрачной долине Ота.

Но тропинка оказалась ужасной. Жюльен предложил:

— Не подняться ли нам пешком?

Она ничего лучшего не желала и была в восхищении от возможности пройти и побыть с ним наедине после недавнего волнения.

Проводник проехал вперед с мулом и лошадьми, а они двинулись неторопливым шагом.

Гора, расколота сверху донизу, осела. Тропинка уходила в образовавшуюся брешь и вилась между двумя громадными стенами; могучий поток бежал по этому ущелью. Воздух был ледяной, гранит казался черным, а кусок голубого неба там, наверху, изумлял и вызывал головокружение.

Жанна вздрогнула от внезапного шума. Она подняла глаза; огромная птица вылетела из какого-то отверстия: это был орел. Его распростертые крылья почти касались обеих стен расселины, напоминавшей колодец. Он поднялся в лазурь и исчез.

Далее трещина горы раздваивалась; тропинка вилась крутыми зигзагами между двух пропастей. Жанна легко и беззаботно шла впереди; под ее ногами скатывались мелкие камни, но она не страшилась и наклонялась над безднами. Он следовал за нею, слегка запыхавшись, и, боясь головокружения, глядел под ноги.

Вдруг их затопило солнечными лучами; казалось, они выходили из ада. Им хотелось пить; мокрый след провел их через хаотическое нагромождение камней к крохотному источнику, отведенному в выдолбленную колоду и служившему водопоем для коз. Мшистый ковер покрывал кругом землю. Жанна стала на колени, чтобы напиться; то же сделал и Жюльен.

И так как она слишком уж смаковала свежую воду, он схватил ее за талию, стараясь отстранить от деревянного стока. Она противилась; их губы боролись, встречались, отталкивали друг друга. В этой борьбе они схватывали поочередно тонкий кончик трубки, из которой текла вода, и закусывали его, чтобы не выпустить. Струйка холодной воды, беспрестанно подхватываемая и бросаема, прерывалась и снова лилась, обрызгивая лица, шеи, платья, руки. Капли, подобные жемчужинам, блестели на их волосах. И поцелуи уносились бежавшей водой.

Внезапно Жанну осенило вдохновение любви. Наполнив рот прозрачной жидкостью и надув щеки, как два бурдюка, она показала жестом Жюльену, что хочет дать ему напиться из уст в уста.

Он подставил рот, улыбаясь, откинув назад голову, раскрыв объятия, и выпил залпом из этого живого источника, влившего в его тело жгучее желание.

Жанна опиралась на него с необычайной нежностью, ее сердце трепетало, груди вздымались, взор стал мягким, словно увлажнился водой. Она чуть слышно шепнула: «Жюльен... люблю тебя!» — и, притянув его к себе, опрокинулась на спину, закрывая руками зардевшееся от стыда лицо.

Он упал на нее и обнял с иступлением. Она задышалась в нервном ожидании и вдруг испустила крик, пораженная, как молнией, тем ощущением, которого желала.

Они долго добирались до вершины горы, — так была потрясена и разбита Жанна, и только к вечеру прибыли в Эвиза¹ к Паоли Палабретти, родственнику их проводника.

То был человек высокого роста, немного сгорбленный, с мрачным видом чахоточного. Он провел их в комнату, в жалкую комнату из голого камня, считавшуюся, однако, красивой в этой стране, где изящество совершенно неизвестно; на своем языке, на корсиканском наречии, смеси французского с итальянским, он сказал, что рад принять их, но вдруг был прерван звонким голосом: маленькая брюнетка с большими черными глазами, загорелой кожей, тонкой талией, сверкая зубами, обнаженными в беспрестанном смехе, бросилась к ним, обняла Жанну и пожала руку Жюльену, повторяя:

— Здравствуйте, мадам, здравствуйте, месье, как поживаете?

Она взяла у них шляпы, шали и убрала все это одной рукой, так как носила другую на перевязи; затем она всех выпроводила, сказав мужу:

— Ступай погуляй с ними до обеда.

Господин Палабретти тотчас же повиновался и повел молодых людей осматривать деревню. Он еле волочил ноги, еле говорил, беспрестанно кашляя, и ежeminутно твердил:

— Это холодный воздух Вале² повлиял на мою грудь.

¹ Эвиза, Альбертачче, Бастиа, Ниоло — коммуны и округ на Корсике (примеч. ред.).

² Вале — долина на Корсике (примеч. ред.).

Он повел их заброшенной тропинкой под высокими каштанами. Вдруг он остановился и произнес своим монотонным голосом:

— Вот здесь Матье Лори убил моего двоюродного брата, Жана Ринальди. Взгляните, я стоял тут, около Жана, когда Матье показался в десяти шагах от нас.

«Жан, — крикнул он, — не ходи в Альбертачче; не ходи туда, Жан, а то я убью тебя; это уж я тебе говорю».

Я взял Жана за руку и сказал:

«Жан, не ходи туда, ведь он сделает это».

Все это было из-за девушки, Паулины Синакупи, за которой оба они ухаживали.

Но Жан крикнул:

«Я пойду туда, Матье; не ты мне помешаешь!»

Тогда Матье прицелился, прежде чем я успел схватиться за свое ружье, и выстрелил.

Жан высоко подпрыгнул, словно ребенок, скачущий через веревочку, — именно так, месье, — и грохнулся на меня всем телом, так что ружье выскочило у меня из рук и отлетело вон к тому каштану.

Рот у Жана был открыт, но он так и не произнес ни слова; он был мертв.

Молодые люди смотрели, пораженные, на спокойного свидетеля преступления.

Жанна спросила:

— А убийца?

Паоли Палабретти долго кашлял, затем сказал:

— Он скрылся в горы. Мой брат убил его в следующем году. Знаете, мой брат, Филипп Палабретти, — разбойник.

Жанна вздрогнула:

— Ваш брат — разбойник?

У невозмутимого корсиканца блеснула в глазах гордость.

— Да, мадам, он был знаменитый разбойник. Он уложил шестерых жан-дармов. Он погиб вместе с Никола Морали после шестидневной схватки, когда их окружили в Ниоло и когда им грозила голодная смерть.

И он прибавил: «Таков обычай в нашей стране», — тем же тоном, каким говорил: «Воздух с Вале холодный».

Они вернулись к обеду, и маленькая корсиканка обращалась с ними так, словно знала их уже лет двадцать.

Но беспокойство не покидало Жанну. Испытает ли она еще раз в объятиях Жюльена то странное и бурное потрясение чувств, которое она ощутила на мху у ручья?

Когда они оказались одни в комнате, ее охватила боязнь остаться бесчувственной под его поцелуями. Но она быстро уверилась в противном, и то была ее первая ночь любви.

На следующий день, когда настал час отъезда, она долго не решалась покинуть этот скромный домик, где для нее, казалось ей, началась новая, счастливая, жизнь.

Она зазвала в свою комнату маленькую жену хозяина и, уверяя, что вовсе не хочет ей делать подарка, в то же время настояла, даже досадуя на самое себя, что пришлет ей из Парижа после возвращения что-нибудь на память; этому подарку она придавала какое-то особое, почти суеверное значение.

Молодая корсиканка долго противилась, не желая ничего получать. Наконец согласилась.

— Хорошо, — сказала она, — тогда пришлите мне маленький пистолет, совсем маленький.

Жанна широко раскрыла глаза. А та тихонько шепнула ей на ухо, будто доверяя дорогую и сокровенную тайну:

— Чтобы убить деверя.

Смеясь, она быстро смотала с руки, которую носила на перевязи, покрывавшие ее повязки; Жанна увидела на пухлом и белом теле сквозную рану, нанесенную ударом стилета и уже почти зарубцевавшуюся.

— Не будь я такой же сильной, как он, — сказала она, — он убил бы меня. Мой муж не ревнив и знает меня; кроме того, он болен, как вам известно, а это смиряет ему кровь. Впрочем, я честная женщина, мадам; но деверь слушает все, что ему болтают. Он ревнует меня вместо мужа и, наверно, начнет снова. Когда у меня будет пистолет, я буду спокойна и уверена, зная, что смогу отомстить.

Жанна пообещала прислать оружие и, нежно обняв свою новую приятельницу, отправилась в дорогу.



Конец путешествия был для нее сплошным сном, бесконечным объятием, пьянящею лаской. Она ничего не видела — ни пейзажей, ни людей, ни мест, где они останавливались. Она смотрела только на Жюльена.

Тогда между ними возникла детская, восхитительная интимность, полная любовных дурачеств, глупых и очаровательных словечек, нежных прозвищ каждого изгиба и контура, каждой складочки на их теле, которыми наслаждались их уста.

Жанна спала обычно на правом боку, и ее левая грудь при пробуждении часто оказывалась не покрытой одеялом. Жюльен, заметив это, прозвал ее «беглянкой», а другую прозвал «неженкой» за то, что розовый ее кончик казался более чувствительным к поцелуям.

Глубокая ложбинка между ними стала «мамочкиной аллеей», потому что он беспрестанно по ней прогуливался; другая ложбинка, более сокровенная, была прозвана «путем в Дамаск»¹ в память о долине Ота.

По приезде в Бастиа надо было расплатиться с проводником. Жюльен пошарил у себя в карманах. Не находя того, что ему было нужно, он обратился к Жанне:

— Раз ты совсем не пользуешься двумя тысячами твоей матери, давай я буду их носить. У меня за поясом они в большей безопасности; кроме того, это избавит меня от размена денег.

Она протянула ему кошелек.

Они приехали в Ливорно, побывали во Флоренции, в Генуе, на всем побережье.

Однажды утром, когда дул мистраль², они снова очутились в Марселе.

Прошло два месяца со времени их отъезда из «Тополей». Было пятнадцатое октября.

Под впечатлением холодного ветра, который дул, казалось, из далекой Нормандии, Жанну охватила грусть. Жюльен с некоторых пор словно изменился; он был усталый, безразличный, и она боялась, сама не зная чего.

Еще на четыре дня отложила она отъезд домой, не решаясь покинуть эту прекрасную солнечную страну. Ей казалось, что она завершила круг своего счастья. Наконец они уехали.

В Париже они должны были купить все необходимое для окончательного устройства в «Тополях», и Жанна радовалась при мысли о чудесных вещах, которые привезет с собой благодаря подарку мамочки; но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвиза.

¹ «Путь в Дамаск» — выражение, обозначающее поворотный пункт, важную историческую перемену; происходит из Жития апостола Павла, обратившегося в христианство на пути в Дамаск благодаря чудесному видению (*примеч. ред.*).

² Мистраль — холодный северо-западный ветер, дующий в весенние месяцы с платообразного хребта Севенны на средиземноморское побережье Франции (*примеч. ред.*).

На другой день после приезда она сказала Жюльену:

— Милый, дай мне мамины деньги, я хочу сделать кое-какие покупки.

Он обернулся к ней с недовольным лицом:

— Сколько тебе нужно?

Пораженная, она пролепетала:

— Да... сколько хочешь.

Он ответил:

— Вот тебе сто франков — только не транжирь их.

Она не знала, что сказать, чувствуя себя растерянной и сконфуженной.

Наконец она произнесла запинаясь:

— Но... я... я ведь дала тебе эти деньги лишь затем...

Он перебил ее:

— Ну да, разумеется. Лежат ли они в твоём или в моём кармане, не все ли равно, раз у нас общий кошелек? Ведь я же тебе не отказываю, не правда ли, раз даю сто франков.

Она взяла пять золотых, не прибавив ни слова, но не осмелилась попросить у него больше и купила только пистолет.

Неделю спустя они уехали обратно в «Тополя».





VI

У белой ограды с кирпичными столбиками новобрачных ожидали родители и слуги. Почтовая карета остановилась; начались нескончаемые объятия. Матушка плакала; Жанна, растроганная, отерла две слезинки; отец в волнении ходил взад и вперед.

Затем у камина в гостиной последовало описание путешествия, пока выгружали багаж. Слова потоком неслись из уст Жанны, и все было рассказано в каких-нибудь полчаса, за исключением подробностей, забытых в таком быстром изложении.

Потом молодая женщина отправилась распаковывать чемоданы. Розали, также взволнованная, помогала ей. Когда все было кончено, когда белье, платья и туалетные принадлежности были разложены по местам, горничная оставила свою госпожу. Чувствуя себя несколько утомленной, Жанна опустилась на стул.

Она спрашивала себя, что ей делать теперь, и искала занятия для ума, работы для рук. Ей не хотелось идти в гостиную к дремавшей матери, и она подумала о прогулке; но местность казалась такой печальной, что при одном взгляде из окна она почувствовала на сердце тоскливую тяжесть.

Тогда она поняла, что у нее нет и больше никогда не будет никакого дела. Все свои юные годы в монастыре она была занята мыслями о будущем, суетными мечтами. Ее волновали неясные надежды, настолько заполняя время,

что она не замечала, как проходили дни. Затем, как только она покинула суровые стены, среди которых расцвели ее мечты, ожидаемая ею любовь тотчас же осуществилась. Человек, которого она ждала в мечтах, которого встретила, полюбила и за которого спустя несколько недель уже вышла замуж, как выходят обыкновенно при таких внезапных решениях, унес ее в своих объятиях, не давая ей опомниться.

Но вот сладкая действительность первых дней должна была стать повседневной действительностью, закрывавшей двери ее неясным надеждам, ее трепетным ожиданиям неизвестного. Да, ожиданиям пришел конец.

Теперь ей нечего было больше делать; ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо. Она смутно ощущала все это как некое разочарование, как угасание грез.

Она встала и прислонилась лбом к холодному стеклу окна. Поглядев некоторое время на небо, по которому неслись мрачные тучи, она решила выйти из дома.

Неужели это те же места, та же трава, те же деревья, что были в мае? Что случилось с солнечной радостью листьев, с поэтической зеленью лужайки, где горели одуванчики, где краснели кровью цветы мака, где сияли маргаритки, где трепетали, словно привязанные к невидимым нитям, фантастические желтые бабочки? И не было уже более того пьянящего воздуха, полного жизни, ароматов, оплодотворяющих сил.

Аллеи, размякшие от постоянных осенних дождей, покрытые толстым ковром опавших листьев, тянулись под тощими, озябшими и почти обнаженными тополями. Тонкие ветви дрожали под ветром, и на них трепетали последние листья, ежеминутно готовые сорваться и улететь куда-то. И эти последние листья, теперь уже совсем желтые, похожие на пластинки золота, весь день беспрестанно отрывались, кружились, летели по ветру и падали, подобно непрерывному дождю, такому унылому, что хотелось плакать.

Она дошла до рощи. Роща была печальна, как комната умирающего. Зеленые стены, которые разделяли и укрывали прелестные извилистые аллеи, разлетелись. Перепутанные кустарники, похожие на тонкое деревянное кружево, цеплялись друг за друга тощими веточками; шелест сухих, опадающих листьев, которые ветер кружил, гнал и сбивал в кучу, казался мучительным предсмертным вздохом.

Птички прыгали с места на место в поисках убежища, издавая слабый, зябкий писк.

Только платан и липа, защищенные от морского ветра густой завесой вязов, стоящих впереди них, сохраняли еще свой летний убор и казались одетыми — один в красный бархат, другая в оранжевый шелк — так окрасили эти деревья первые холода, соответственно их природе.

Жанна медленно ходила взад и вперед по мамочкиной аллее вдоль фермы Кульяров. Что-то тяготило ее, словно предчувствие долгой скуки, которую готовила ей начинавшаяся однообразная жизнь.



Затем она села на откос, где Жюльен в первый раз признался ей в любви; она сидела как в забытии, почти ни о чем не думая, с тоской в сердце, с желанием лечь и уснуть, чтобы избавиться от печали этого дня.

Вдруг она увидела чайку, пересекавшую небо и подхваченную шквалом; ей вспомнился орел, которого она видела там, на Корсике, в мрачной долине Ота. Сердце ее вздрогнуло, как от воспоминания о чем-то прекрасном и миновавшем, и она вдруг снова увидела сверкающий остров, напоенный диким ароматом, его солнце, под которым зреют апельсины и лимоны, его горы с розоватыми вершинами, его лазоревые заливы и лощины, по которым катятся потоки.

Тогда окружавший ее сырой и угрюмый пейзаж, заунывный шелест падавших листьев, серые тучи, гонимые ветром, наполнили ее такою глубокой и безысходной тоской, что она вернулась домой, боясь разрыдаться.

Матушка дремала, сидя неподвижно у камина, привыкнув к тоскливости таких дней и перестав ее ощущать. Отец и Жюльен, увлекшись разговором о своих делах, пошли прогуляться. Наступила ночь, разливая хмурый мрак в обширной гостиной, освещенной только отблесками вспыхивавшего огня.

На дворе, за окнами, в свете угасавшего дня еще можно было различать грязную осеннюю природу и сероватое небо, тоже словно вымазанное грязью.

Скоро явился барон в сопровождении Жюльена; войдя в полутемную комнату, он позвонил и закричал:

— Скорей, скорей огня! Здесь так уныло.

Он уселся перед камином. Пока его мокрая обувь дымилась у огня и высыхавшая грязь отваливалась от подошв, он весело потирал руки.

— Мне кажется, — говорил он, — что будет мороз; небо на севере проясняется; сегодня полнолуние; основательно подморозит этой ночью!

Затем он повернулся к дочери:

— Ну что, малютка, довольна ли ты, что вернулась на родину, домой, к старикам?

Этот простой вопрос страшно взволновал Жанну. Глаза ее наполнились слезами; она бросилась в объятия отца и порывисто поцеловала его, словно прося у него прощения, потому что, несмотря на все усилия быть веселой, чувствовала себя невыразимо грустной. Она думала о том, с какой радостью ждала свидания с родителями, и удивлялась холодности, сковывавшей теперь всю ее нежность; так, если думаешь слишком много о любимых людях вдали от них и теряешь привычку видеть их ежечасно, то при встрече с ними чувствуешь отчужденность до тех самых пор, пока узы совместной жизни не закрепятся снова.

Обед тянулся долго, почти в полном молчании. Жюльен, казалось, позабыл о жене.

Затем она подремала в гостиной перед камином, против мамочки, которая уже совсем спала. Разбуженная на минуту голосами споривших мужчин, Жанна мысленно спрашивала себя, стараясь стряхнуть сон, неужели и ее захватит эта мрачная, ничем не прерываемая летаргия обыденности.

Пламя камина, слабое и красноватое днем, теперь, потрескивая, пылало ясным, живым огнем. Оно бросало яркие полыхающие отблески на полинявшую обивку кресел, на Лисицу и Аиста, на меланхолическую Цаплю, на Кузнечика и Муравья.

Барон приблизился к камину, улыбаясь и протягивая растопыренные пальцы к пылающим головням.

— Ах, хорошо горит сегодня. Морозит, дети, морозит! — Он положил руку на плечо Жанне и, указывая на огонь, промолвил: — Видишь ли, дочурка, самое лучшее, что есть на свете, — это очаг, очаг и кругом него близкие. С этим ничто не сравнится. Но не пора ли спать? Вы, должно быть, утомились, дети?

Придя в свою комнату, молодая женщина задала себе вопрос: каким образом два ее возвращения в столь любимые ею места могли быть до такой степени различны? Почему она чувствует себя совершенно разбитой, почему этот дом, этот милый родной край, все, от чего до сих пор волновалось ее сердце, кажется ей сегодня таким убийственно скучным?

Но вот ее взгляд упал на часы. Крохотная пчелка все еще порхала слева направо и справа налево тем же быстрым и непрерывным движением

над позолоченными цветами. И Жанну охватил внезапный порыв нежности; она растрогалась до слез при виде этого маленького механизма, казавшегося живым, отбивавшим время и трепетавшим, как сердце в груди.

Конечно, она далеко не так была растрогана, когда обнимала отца с матерью. У сердца есть свои тайны, которые не постичь рассудку.

В первый раз за время замужества она была одна в постели. Жюльен под предлогом усталости занял другую комнату. Впрочем, было решено, что у каждого из них будет своя комната.

Она долго не могла уснуть, удивляясь, что не чувствует около себя другого тела, отвыкнув засыпать в одиночестве, растревоженная порывистым северным ветром, злобно бушевавшим на крыше.

Утром ее разбудил яркий свет, который, словно кровью, окрасил ее кровать; стекла, разрисованные инеем, были красны, точно оттого, что пылал весь горизонт.

Набросив на себя широкий пеньюар, она подбежала к окну и открыла его.

Ледяной ветер, свежий и возбуждающий, ворвался в комнату и обжег ее острым холодом, вызвавшим на глаза слезы; посередине пурпурового неба из-за деревьев выглядывало огромное солнце, багровое и раздутое, как лицо пьяницы. Земля, покрытая белой изморозью, твердая и теперь подсохшая, гулко звучала под ногами рабочих с фермы. За одну эту ночь все ветви топей, еще сохранявшие листья, оголились, а за ландой виднелась широкая зеленоватая гряда волн, испещренная белыми полосами.

Платан и липа быстро обнажились под порывами ветра. Всякий раз как подымался леденящий вихрь, целые тучи листьев опадали от внезапного мороза, разлетаясь по ветру, словно стаи птиц. Жанна оделась, вышла и, чтоб хоть чем-нибудь заняться, отправилась навестить фермеров.

Мартены всплеснули руками, и хозяйка расцеловала ее в обе щеки; затем ее заставили выпить рюмочку настойки. И она пошла на другую ферму. Кульяры всплеснули руками, хозяйка чмокнула ее в оба уха, и ей пришлось проглотить рюмочку черносмородиновой.

Она вернулась домой к завтраку.

И день прошел совершенно так же, как вчерашний, только он был холодный, а не серый. И остальные дни недели были похожи на эти два дня, и все недели месяца походили на первую неделю.

Мало-помалу, однако, ее тоска по далеким странам ослабела. Привычка наложила на ее жизнь отпечаток покорности, подобно тому, как некоторые воды отлагают на предметы слой извести. И в ее сердце снова родилось нечто вроде интереса к тысяче незначительных мелочей обыденной жизни, забота о простых, обыкновенных, повседневных занятиях. Она была охвачена какой-то созерцательной меланхолией, смутным разочарованием жизнью. Что ей было нужно? Чего она желала? Она и сама не знала этого. Ее не томила жажда светской жизни; у нее не было потребности удовольствий, не было даже влечения к доступным радостям; да каковы они, впрочем?



Подобно старым креслам гостиной, полинявшим от времени, все понемногу обесцвечивалось в ее глазах, все стиралось, все принимало бледный и тусклый оттенок.

Ее отношения с Жюльеном совершенно изменились. Он казался совсем иным после возвращения из свадебного путешествия, словно актер, который, сыграв свою роль, принимает обычное выражение лица. Он почти не обращал на нее внимания и даже почти не говорил с нею; всякий след его любви к ней внезапно исчез, и редки были те ночи, когда он входил в ее спальню.

Он взял на себя правление имением и домом, проверял счета, донимал крестьян, сокращал расходы и, приобретая манеры дворянина-фермера, совершенно утратил лоск и изящество времен жениховства.

Он не вылезал больше из старой охотничьей бархатной куртки с медными пуговицами, отысканной им среди своего холостяцкого платья, хотя она и была вся в пятнах; с небрежностью человека, которому не нужно больше нравиться, он перестал даже бриться; отросшая, плохо подстриженная борода невероятно его безобразила. Он не заботился больше о своих руках, а после каждой еды выпивал по четыре, по пять рюмок коньяку.

Жанна пробовала было сделать ему несколько нежных упреков, но он резко ответил ей: «Оставишь ты меня в покое или нет?» — и она не рискнула больше что-либо ему советовать.

Ее удивило то, как она сама отнеслась к происшедшей перемене. Он стал ей чужим, и путь к его душе и сердцу для нее закрылся. Она часто думала об этом, спрашивая себя, как могло случиться, что после того, как они встретились, полюбили друг друга и женились в порыве страсти, они вдруг оказались совсем чуждыми друг другу, словно никогда не спали рядом.

И почему она не так уж остро страдает от того, что покинута? Или такова жизнь? Или они ошиблись?

Неужели же ей нечего больше ждать от будущего?

Останься Жюльен по-прежнему красивым, изящно одетым, элегантным и обольстительным, быть может, она страдала бы сильнее?

Было решено, что после Нового года новобрачные останутся одни, а отец с мамочкой проведут несколько месяцев в своем доме в Руане. В эту зиму молодожены не должны покидать «Тополей», чтоб окончательно устроиться тут, привыкнуть и приспособиться к тем местам, где должна протечь вся их жизнь. Впрочем, у них было несколько соседей, которым Жюльен собирался представить жену. Это были Бризвили, Кутелье и Фурвили.

Молодые люди еще не могли начать визитов, потому что до сих пор никак не удавалось залучить живописца, который бы переменял гербы на карете.

Дело в том, что барон уступил зятю старый семейный экипаж, но Жюльен ни за что на свете не согласился бы показаться в соседних замках, пока герб Лямаров не соединен с гербом Ле Пертю де Во.

Во всей же округе остался только один специалист по части геральдических украшений: то был живописец из Больбека¹ по имени Батайль, которого приглашали по очереди во все нормандские замки для украшения дверец экипажей драгоценными орнаментами.

Наконец в одно декабрьское утро, после завтрака, увидели какого-то человека, который отворил калитку и пошел по дорожке направо. За спиной у него был ящик. Это был Батайль.

Его провели в зал и подали ему закусить как человеку своего круга, потому что его специальность, его непрерывные сношения с аристократией всего департамента, его основательное знание гербов, сакраментальной терминологии

¹ Больбек — город на севере Франции (примеч. ред.).

и всех эмблем делало из него нечто вроде ходячей геральдики, и дворяне подавали ему руку.

Было тотчас же приказано принести карандаш и бумагу, и, пока он ел, барон и Жюльен сделали наброски своих гербов, щиты которых делились на четыре части. Баронесса, встрепенувшаяся, как случалось с ней всякий раз, когда речь заходила об этих предметах, высказывала свое мнение, и сама Жанна приняла участие в споре, словно в ней внезапно проснулся какой-то непонятный интерес.

Завтракая, Батайль высказывал свою точку зрения, брал иногда карандаш, набрасывал проекты, приводил примеры, описывал все дворянские кареты в округе; казалось, он принес с собой в своей манере рассуждать и даже в тембре голоса что-то от аристократизма.

То был маленький человек с седыми, коротко остриженными волосами; его руки были перепачканы краской, и от него пахло политурой¹. Поговаривали, что в прошлом у него была какая-то неблаговидная история; но уважение, которым он пользовался в среде всех титулованных семейств, давно уже смыло с него это пятно.

Как только он допил кофе, его повели в каретный сарай; с кареты был снят клеенчатый чехол. Батайль осмотрел ее и авторитетно высказался по поводу размеров, которые он считал необходимым придать рисунку; после обмена мнениями он приступил к работе.



¹ *Политура* — спиртовой раствор смолистых веществ, используемый в отделочных работах (примеч. ред.).

Несмотря на холод, баронесса приказала принести себе кресло, чтобы наблюдать за работой; затем она потребовала грелку для зябнувших ног и тогда принялась спокойно болтать с живописцем, расспрашивая его о свадьбах, которые были еще не известны ей, о смертях и рождениях последнего времени, пополняя благодаря его сообщениям сведения по родословным, которые она хранила в своей памяти.

Жюльен сидел тут же, верхом на стуле, возле тещи. Он курил трубку, сплевывал на пол, слушал и внимательно следил за тем, как расписывали красками знаки его дворянского достоинства.

Вскоре и дядя Симон, отправлявшийся на огород с заступом на плече, остановился взглянуть на работу; затем слух о прибытии Батайля проник на фермы, и обе фермерши не замедлили явиться сюда. Став по сторонам кресла баронессы, они восторгались:

— Какую же ловкость надо, чтобы сработать такие штучки!

Гербы на дверцах удалось закончить только на следующий день к одиннадцати часам. Все тотчас же собрались, и кареты выкатили на двор, чтобы удобнее было судить.

Это было великолепно. Батайля осыпали похвалами, и он ушел со своим ящиком за спиной. Барон, его жена, Жанна и Жюльен единодушно решили, что живописец — человек с большими дарованиями и, если бы позволили обстоятельства, из него, без сомнения, вышел бы настоящий художник.

В видах экономии Жюльеном были проведены некоторые реформы, которые, в свою очередь, потребовали новых перемен.

Старик кучер был превращен в садовника, править же отныне взялся сам виконт, решив продать выездных лошадей во избежание расходов на корм.

Но так как нужно же было кому-нибудь присматривать за лошадьми, когда господа выйдут из экипажа, то на должность лакея Жюльен определил пастушонка по имени Мариус.

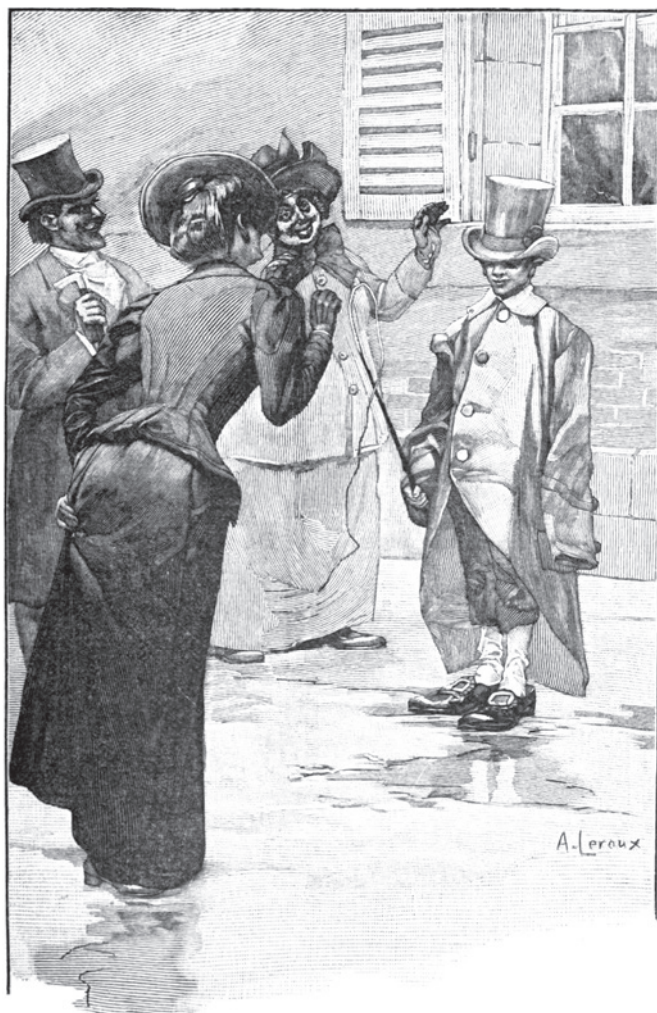
Наконец, чтобы обеспечить себя лошадьми, он ввел в арендный договор с Кульярами и Мартенами специальную статью, обязывавшую каждого из фермеров раз в месяц, в установленные Жюльеном числа, приводить ему по одной лошади; вместо этого они освобождались от обязанности доставлять живность.

И вот однажды Кульяры привели большую рыжую клячу, а Мартены — маленькую белую лохматую лошадку; лошади были впряжены бок о бок в коляску, и Мариус, утопая в старой ливрее дядюшки Симона, подвел к крыльцу замка этот выезд.

Жюльен, почистившийся, стройный, отчасти вернул себе прежнее изящество; но длинная борода все же придавала ему вульгарный вид.

Он окинул взглядом упряжь, карету, маленького лакея и нашел все удовлетворительным, потому что для него имели значение только заново нарисованные гербы.

Баронесса вышла из комнаты под руку с мужем; она с трудом влезла в экипаж и уселась, откинувшись на подушки. Появилась и Жанна. Сначала ее рассмешило сочетание лошадей; по ее словам, белая приходилась внучкой рыжей. Когда же она заметила Мариюса, лицо которого было погребено под шляпой с кокардой, так что только нос мешал ей спуститься ниже; когда она увидела, как его руки исчезают в глубине рукавов, а вокруг ног болтаются наподобие юбки фалды ливреи и из-под этих фалд внизу нелепо торчат огромные башмаки; когда она увидела, как мальчик запрокидывает голову, чтобы что-либо видеть, как он на каждом шагу поднимает ноги, словно собираясь перешагнуть через ручей, как он суетится, точно слепой, бросаясь выполнять приказания и прямо-таки пропадая, совсем исчезая в необъятности своих одежд, — ею овладел смех, безудержный смех, которому не было конца.



Барон обернулся, посмотрел на ошеломленного мальчугана и, заражаясь смехом Жанны, тоже захохотал, взывая к жене и еле произнося слова:

— По... по... смотри на Ма... Ма... Мариюса! Какой он смешной! Боже, какой смешной!

Тогда и баронесса нагнулась к дверце, взглянула на Мариюса, и ею овладел такой приступ веселости, что вся карета заплясала на рессорах, точно от сильной тряски.

Но Жюльен, побледнев, спросил:

— Что же тут смешного? Да вы с ума сошли!

Жанна, испытывая судороги от смеха, не в силах успокоиться, опустилась, совсем ослабев, на ступеньку крыльца. Барон последовал ее примеру, а из кареты неслось судорожное чиханье, что-то вроде непрерывного клохтанья, свидетельствовавшего о том, что баронесса задыхается. И вдруг ливрея Мариюса также затрепетала. Он, очевидно, понял, в чем дело, и сам хохотал изо всей мочи под своей огромной шляпой.

Вне себя, Жюльен бросился вперед. Пощечиной он сбил с головы мальчика гигантскую шляпу, которая покатилась по траве, а затем, обернувшись к тестю, дрожащим от гнева голосом процедил:

— Мне кажется, не вам бы смеяться. Мы не были бы в таком положении, если бы вы не промотали состояния и не проели своего имущества. Кто виноват, что вы разорены?

Вся веселость сразу исчезла, точно всех сковало льдом. Никто не проронил ни слова. Жанна, готовая теперь расплакаться, бесшумно села рядом с матерью. Барон, пораженный и безгласный, уселся против двух дам, а Жюльен расположился на козлах, втащив за собою заплаканного ребенка с опухшей щекой.

Дорога была невесела и показалась длинной. В карете молчали. Мрачные и смущенные, все трое не хотели признаться в том, что их занимало. Они чувствовали, что не могут говорить ни о чем другом, настолько завладела ими эта мучительная мысль, и они предпочитали печально молчать, чем затронуть тягостную тему.

Лошади бежали неровною рысью, и карета катила вдоль дворов ферм, нагоняя страх на черных кур, которые улепетывали со всех ног, ныряя и прячась за изгороди; иногда за каретой с лаем неслись волкодав, а затем, возвращаясь домой, оборачивался еще раз, чтобы полаять вдогонку экипажу. Длинноногий парень в забрызганных грязью сабо, беззаботно шагая, засунув руки в карманы синей блузы, надувавшейся у него на спине от ветра, сторонился, чтобы пропустить экипаж, и нескладно стаскивал картуз, обнажая прямые, слипшиеся на лбу волосы.

В промежутках между фермами тянулась равнина, на которой там и сям вдали мелькали другие фермы. Наконец въехали в широкую еловую аллею, примыкавшую к дороге. В глубоких грязных выбоинах карета накренилась, и матушка каждый раз вскрикивала от испуга. В конце аллеи белые ворота

оказались закрытыми, и Мариус побегал отворять их; пришлось обогнуть широкую лужайку по дороге, чтобы подъехать к высокому, большому и унылому зданию, ставни которого были заперты.

Средняя дверь внезапно отворилась, и престарелый, параличный слуга в красном жилете с черными полосками, часть которого прикрывал фартук, сошел по ступенькам крыльца мелкими неровными шагами. Он спросил фамилии гостей и ввел их в просторную гостиную, с трудом отворив ставни, остававшиеся постоянно закрытыми. Мебель стояла в чехлах, часы и канделябры были затянуты белым холстом, а затхлый воздух былых времен, холодный и сырой, казалось, пропитывал печалью и легкие, и сердце, и кожу.

Все уселись и стали ждать. Шаги, раздавшиеся по коридору наверху, свидетельствовали о необычайной суете. Обитатели замка, застигнутые врасплох, одевались на скорую руку. Это продолжалось долго. Несколько раз звенел колокольчик. Кто-то сновал вверх и вниз по лестнице.

Баронесса, продрогнув от пронизывающего холода, беспрестанно чихала. Жюльен расхаживал взад и вперед. Жанна угрюмо сидела рядом с матерью. А барон, прислонившись спиной к мраморной доске камина, стоял опустив голову.

Наконец одна из высоких дверей распахнулась, и появились виконт и виконтесса де Бризвиль. Они шествовали подпрыгивающей походкой, маленькие, худенькие, неопределенных лет, церемонные и несколько смущенные. Жена была в шелковом платье с разводами, в черном вдовьем чепце из лент; говорила она очень быстро, кисловатым голосом.

Ее муж, облаченный в парадный сюртук, кланялся, сгибаясь в коленях. Его нос, глаза, торчащие зубы, его волосы, словно навощенные, и великолепный торжественный костюм блестели, как блестящие вещи, о которых очень заботятся.



После первых приветствий и обычных соседских любезностей никто уже не знал, о чем говорить. С обеих сторон без всякой причины начали выражать удовольствие по поводу знакомства. Высказывалась уверенность, что эти прекрасные отношения будут поддерживаться и впредь. Когда живешь круглый год в деревне, так отрадно видется друг с другом!

Но леденящая атмосфера гостиней пронизывала до мозга костей и вызывала хрипоту в горле. Баронесса теперь кашляла, не переставая в то же время и чихать.

Тогда барон подал знак к отъезду. Бризвили стали удерживать:

— Как? Так скоро? Оставайтесь же еще хоть немножко!

Жанна поднялась, несмотря на знаки Жюльена, который находил визит слишком коротким.

Хотели позвонить лакею, чтобы подали карету. Звонок не действовал. Хозяин дома поспешно вышел и, вернувшись, сообщил, что лошадей поставили на конюшню.

Пришлось ждать. Каждый старался подыскать подходящие слова и фразы. Заговорили о дождливой зиме. С невольной дрожью Жанна спросила, что делают хозяева одни весь год. Но Бризвили удивились ее вопросу, потому что они были постоянно заняты, проводя все дни в писании множества писем — своей аристократической родне, рассеянной по всей Франции, и в тысяче других микроскопических занятий, причем они строго соблюдали церемонные отношения друг с другом, точно с посторонними, и предавались напыщенным разговорам по поводу самых незначительных вещей.

Под высоким почерневшим потолком огромной необитаемой гостиной, где все стояло в чехлах, эти супруги, такие маленькие, чистенькие и приличные, показались Жанне мумифицированным дворянством.

Наконец карета с разномастными лошадьми проехала под окнами. Но Мариус исчез. Считая себя свободным до вечера, он, вероятно, отправился прогуляться по деревне.

Взбешенный Жюльен попросил, чтобы его отослали домой пешком. И после прощальных пожеланий с обеих сторон они отправились обратно в «Тополя».

Едва захлопнулись дверцы кареты, Жанна и отец, несмотря на гнетущую тяжесть, вызванную грубостью Жюльена, принялись смеяться, передразнивая жесты и интонации Бризвилей. Барон изображал мужа, Жанна представляла жену, но баронесса, немного задетая в своих аристократических симпатиях, заметила:

— Напрасно вы смеетесь над ними, это очень почтенные люди, принадлежащие к лучшим семьям.

Они умолкли, чтобы не прекословить мамочке, но время от времени, несмотря ни на что, возобновляли игру, переглядываясь. Барон кланялся церемонно и произносил торжественным тоном:

— В вашем замке в «Тополях», мадам, должно быть, очень холодно по причине сильного ветра, который ежедневно дует с моря?

Жанна принимала обиженный вид, жеманилась и слегка подергивала головой, точно плавающая утка:

— О, месье, у меня здесь столько занятий круглый год. Затем, у нас так много родственников, которым надо писать. К тому же господин де Бризвиль все дела предоставил мне. Он занят с аббатом Пелль научными исследованиями. Они пишут вместе историю религии в Нормандии.

Баронесса против воли добродушно улыбалась, но повторяла:

— Нехорошо так высмеивать людей нашего круга.

Вдруг карета остановилась, и Жюльен кому то закричал, обернувшись назад. Жанна и барон, наклонившись к дверцам, заметили странное существо, которое словно катилось в их сторону. Путаясь ногами в широких фалдах ливреи, плохо видя из за огромной шляпы, постоянно надвигающейся на глаза, размахивая руками, словно мельничными крыльями, шлепая сломя голову по глубоким лужам, спотыкаясь о каждый камень на дороге, торопясь и подпрыгивая, Мариус, весь облепленный грязью, запыхавшись, бежал за каретой.



Как только он добежал до них, Жюльен, нагнувшись, схватил его за шиворот, притянул к себе и, выпустив вожжи, принялся дубасить кулаками по шляпе мальчика, опустившейся до самых его плеч и звучащей, как барабан. Мальчуган вопил внутри ее, пытаясь вырваться и соскочить с козел, в то время как хозяин, удерживая его одной рукой, другою наносил удары.

Жанна, растерянная, лепетала:

— Папа... О! Папа!..

Баронесса, задыхаясь от негодования, сжимала руку мужа:

— Но останови же его, Жак!

Тогда барон порывисто опустил переднее стекло кареты и, схватив зятя за рукав, крикнул дрожащим голосом:

— Скоро вы перестанете бить ребенка?

Жюльен, ошеломленный, обернулся:

— Разве вы не видите, во что превратил этот негодяй свою ливрею?

Но барон, высунутая голова которого приходилась как раз между ними, настаивал:

— Все равно, нельзя быть таким жестоким.

Жюльен снова рассердился:

— Оставьте меня, пожалуйста, в покое, это вас не касается!

И он снова занес руку, но тесть, схватив ее, дернул и пригнул вниз с такой силой, что она ударилась о деревянные козлы; затем барон крикнул в бешенстве:

— Если вы сейчас же не перестанете, я сойду и заставлю вас это прекратить!

Виконт сразу притих, ничего не ответил и, пожав плечами, хлестнул лошадей, которые побежали крупной рысью.

Женщины, мертвенно бледные, не двигались; можно было ясно расслышать тяжелое биение сердца баронессы.

За обедом Жюльен был любезнее обычного, словно ничего и не случилось. Жанна, ее отец и госпожа Аделаида, быстро прощавшие благодаря своей обычной безмятежной благожелательности, были тронуты его предупредительностью и охотно поддавались веселью с радостным чувством выздоравливающих, а когда Жанна завела речь о Бризвиях, муж тоже принял участие в шутке, но тут же прибавил:

— Как-никак у них манеры настоящих аристократов.

Других визитов не делали, потому что каждый боялся коснуться вопроса о Мариюсе. Было только решено послать соседям в Новый год визитные карточки, а с визитами подождать до первых теплых весенних дней.

Настало Рождество. На обеде присутствовали кюре и мэр с женой. Их пригласили и на Новый год. Это были единственные развлечения, нарушившие однообразное чередование дней.

Отец с мамочкой должны были покинуть «Тополя» девятого января. Жанна хотела их удержать, но Жюльен не очень настаивал на этом, и барон, чувствуя возрастающую холодность зятя, велел выписать из Руана почтовую карету.

Накануне их отъезда Жанна и отец, покончив с укладкой багажа, решили воспользоваться ясным морозным днем и отправиться в Ипор, где она не была после своего возвращения с Корсики.

Они пересекли лес, по которому Жанна гуляла в день свадьбы, сливаясь душой с тем, чьей подругой она стала на всю жизнь, лес, где она получила первый поцелуй, затрепетала в первый раз, предчувствуя ту сладострастную любовь, вполне познать которую ей было суждено лишь в дикой долине Ота, вблизи источника, из которого они пили, мешая с водой свои поцелуи.

Не было уже ни листьев, ни вьющихся растений; слышались только шорох голых сучьев и сухой шелест, пробегающий зимой по обнаженной поросли.

Они вошли в деревушку. В пустых и безмолвных улицах стоял запах моря, водорослей и рыбы. Просмоленные длинные сети, развешанные у дверей или же растянутые на валунах, все так же сушились. Холодное серое море с его вечной рокочущей пеной начинало спадать, обнажая со стороны Фекана



зеленоватые скалы у подножия обрывистого берега. А вдоль побережья лежали, поваленные набок, большие лодки, казавшиеся огромными уснувшими рыбами. Приближался вечер, и рыбаки, с шерстяными шарфами на шее, группами сходились к берегу, тяжело ступая огромными морскими сапогами, держа литр водки¹ в одной руке и лодочный фонарь в другой. Они долго возились около лодок, укладывая с нормандской медлительностью сети и снасти, краюхи хлеба, горшок с маслом, стакан и бутылку. Затем, приподняв лодку, они толкали ее к воде, и она с шумом скатывалась по гальке, рассекала пену, поднималась на волнах, покачивалась несколько мгновений, раскрывала свои темные крылья и исчезала в ночном мраке с огненной точкой на верхушке мачты.

Рослые худые рыбаки, кости которых выступали под тонкими платьями, стояли на берегу до ухода последнего рыбака и затем возвращались в уснувшую деревню, нарушая крикливыми голосами тяжелый сон темных улиц.

Барон и Жанна неподвижно следили за исчезновением в ночной тьме этих людей, которые уходили так каждую ночь, рискуя жизнью, чтобы только не подохнуть с голоду, и все же оставались столь бедными, что никогда не ели мяса.

Барон, восхищенный океаном, воскликнул:

— Это страшно и прекрасно. Как величественно это окутанное сумраком море, на котором столько жизней подвергаются смертельной опасности! Не правда ли, Жанетта?

Жанна ответила с застывшей улыбкой:

— Ему далеко до Средиземного моря!

¹ В оригинале здесь и далее *eau-de-vie* — фруктовый бренди (фр.) (примеч. ред.).

Отец возмутился:

— Средиземное море! Какое-то прованское масло, подслащенная водица, синеватая вода в лоханке. Посмотри на это море, до чего оно грозно, все покрытое пенистыми гребнями! И подумай обо всех этих ушедших людях, которых уже и не видно.

Жанна со вздохом согласилась:

— Пожалуй, ты прав.

Но от слов «Средиземное море», слетевших с ее губ, ее сердце снова сжалось, и все мысли ее снова устремились к далеким странам, где остались ее мечты.

Вместо того чтобы возвращаться лесом, отец и дочь вышли на дорогу и медленно стали подниматься вдоль берега. Опечаленные предстоящей разлукой, они молчали.

Когда они порою проходили мимо ферм, им ударял в лицо то запах растертых яблок — аромат свежего сидра, который в это время года словно носится над нормандской деревней, то жирный запах стойла, приятный и теплый запах коровьего навоза. Маленькое освещенное окошечко в глубине двора указывало на жилище.

И Жанне казалось, что душа ее словно ширится и начинает постигать невидимое, а эти рассеянные среди полей огоньки вдруг вызвали в ней острое ощущение одиночества всех живых существ, которых все разъединяет, все разлучает, все уносит далеко от тех, кого они хотели бы любить.

И покорным голосом она сказала:

— Не всегда-то весела жизнь.

Барон вздохнул:

— Что делать, деточка; это зависит не от нас.

На следующий день отец с мамочкой уехали; Жанна и Жюльен остались одни.





VII

С этих пор обычным занятием молодых людей стали карты. Каждый день после завтрака Жюльен принимался играть с женой в безик, покуривая трубку и потягивая коньяк, которого он выпивал по шесть-восемь рюмок в день. Затем Жанна уходила в свою комнату, садилась у окна и, пока в стекла стучал дождь или ветер, старательно вышивала отделку к юбке. Иногда, утомившись, она поднимала глаза и всматривалась в даль, в темное море, покрытое барашками. После нескольких минут этого рассеянного созерцания она снова принималась за работу.

Впрочем, ей больше нечего было делать, потому что Жюльен взял на себя все управление домом, дабы полнее удовлетворить свою жажду власти и страсть к бережливости. Действительно, он проявлял дикую скупость, никогда не давал на чай и свел расходы по столу к самому необходимому. Со времени своего приезда в «Тополя» Жанна каждое утро заказывала булочнику маленькую нормандскую лепешку; он сократил и этот расход, осудив ее на один поджаренный хлеб.

Она не говорила мужу ни слова во избежание объяснений, споров и ссор, но страдала от каждого нового проявления его скупости, как от укола иглы. Это казалось низким и мерзким ей, воспитанной в семье, где деньги ни во что не ставились. Как часто ей приходилось слышать от мамочки: «Ведь деньги для того и существуют, чтоб их тратить!». Жюльен же только и твердил: «Ты никогда, кажется, не отвыкнешь швырять деньги на ветер!» И всякий раз, когда ему удавалось урезать несколько су на жалованье или поданном счете, он произносил с улыбкой, опуская монету в карман:

— Из ручейков образуются реки.

Но в иные дни Жанна вновь принималась мечтать. Она тихо выпускала работу из ослабевших рук, взор ее угасал, и она снова начинала сочинять романы, как в дни девичества, когда она уносилась в мир чарующих приключений. Однако голос Жюльена, отдававшего приказания дяде Симону, внезапно отрывал ее от этих баюкающих грез, и она снова бралась за бесконечную работу, говоря про себя: «Со всем этим кончено навсегда», и слеза падала на пальцы, державшие иглу.

Розали, прежде такая веселая и всегда что-нибудь напевавшая, также изменилась. Ее круглые щеки потеряли яркий румянец, осунулись и принимали порой землистый оттенок.

Жанна нередко спрашивала ее:

— Ты не больна ли, милая?

Горничная отвечала всегда одно и то же:

— Нет, госпожа!

Слабый румянец вспыхивал на ее щеках, и она быстро исчезала.

Вместо того чтобы бегать, как бывало, она едва волочила ноги, утратила даже прежнюю кокетливость и ничего не покупала у проезжих торговцев, напрасно выкладывавших перед нею шелковые ленты, корсеты и различные парфюмерные товары.

И казалось, звенел пустотою весь этот громадный и мрачный дом, фасад которого дожди испещрили длинными серыми полосами.

В конце января выпал снег. Вдали показались огромные тучи, плывущие с севера над хмурым морем, и посыпались белые хлопья. За ночь вся равнина была погребена под ними, а деревья к утру покрылись инеем.

Жюльен, в высоких сапогах, весь всклокоченный, проводил время в глубине леса, спрятавшись во рву, выходившем к ланде, и подстерегая перелетных птиц. Время от времени ружейный выстрел разрывал ледяное молчание полей, и стаи вспугнутых черных ворон взлетали с высоких деревьев, кружась в воздухе.

Жанна, изнемогая от скуки, выходила иногда на крыльцо. Шумы жизни, отраженные сонным спокойствием бледного и унылого покрова снегов, изда-лека доносились до нее.

Затем она уже переставала слышать что-либо, кроме рокота отдаленных волн и неясного несмолкавшего шороха беспрерывно сыпавшейся ледяной пыли.

И снежный покров поднимался все выше и выше из-за этого бесконечно падавшей густой и легкой пены.

В одно такое тусклое утро Жанна сидела, грея ноги у камина, в своей комнате, пока Розали, с каждым днем все более и более менявшаяся, медленно оправляла постель. Вдруг Жанна услышала позади себя болезненный вздох. Не поворачивая головы, она спросила:

— Что с тобой?

Горничная, как всегда, отвечала:

— Ничего, госпожа.

Но голос ее казался надтреснутым, угасшим.

Жанна начала уже думать о чем-то другом, как вдруг заметила, что девушки больше не слышно в комнате.

Она позвала:

— Розали!

Девушка не откликнулась. Тогда, думая, что она незаметно вышла, Жанна крикнула громче:

— Розали!

Жанна уже хотела протянуть руку к звонку, когда глубокий стон, раздавшийся рядом с ней, заставил ее вскочить в испуге.

Служанка, мертвенно бледная, с блуждающими глазами, сидела на полу, вытянув ноги и прислонясь к деревянной спинке кровати.

Жанна бросилась к ней:

— Что с тобой? Что с тобой?

Та не произнесла ни слова и не шевелилась; она устремила на госпожу безумный взгляд и задыхалась, словно ее раздирала нестерпимая боль. Затем, внезапно вытянувшись всем телом, она соскользнула на спину, стискивая зубы, чтобы заглушить мучительный крик.

Под платьем, облежавшим ее раздвинутые ляжки, вдруг что-то зашевелилось. И тотчас же оттуда послышался странный шум, какое-то клокотание, хрипение сдавленного горла, а затем внезапно раздалось протяжное кошачье мяуканье, слабая и уже скорбная жалоба, первый страдальческий крик ребенка, вступающего в жизнь.



Жанна вдруг все поняла и в полном смятении бросилась к лестнице, крича:

— Жюльен, Жюльен!

Он ответил снизу:

— Что тебе?

Она с трудом произнесла:

— Это... это Розали... Она...

Жюльен кинулся наверх, шагая через несколько ступенек, влетел в комнату, одним взмахом поднял платье девушки и обнаружил ужасный комочек мяса, сморщенный, пищавший, скрюченный и весь покрытый слизью, шевелившийся между ее обнаженными ногами.

Он выпрямился со злобным выражением лица и вытолкнул из комнаты растерявшуюся жену:

— Это тебя не касается. Уходи. Пошли ко мне Людивину и дядю Симона.

Жанна, дрожа всем телом, спустилась в кухню, а затем, не решаясь подняться к себе, вошла в гостиную, которую не отапливали с самого отъезда родителей, и тревожно стала ждать, что будет.

Скоро она увидела, что слуга торопливо выбежал из дому. Через пять минут он вернулся с местной повивальной бабкой, вдовой Дантю.

Затем на лестнице началось шумное движение, будто несли раненого, и Жюльен пришел сказать Жанне, что она может вернуться к себе.

Она дрожала, словно ей пришлось присутствовать при каком-то ужасном несчастье. Она снова села у камина и спросила:

— Как она себя чувствует?

Жюльен, озабоченный, взволнованный, ходил по комнате взад и вперед; в нем, казалось, клокотал гнев. Сначала он ничего не ответил, но спустя несколько секунд произнес:

— Что ты намерена сделать с этой девушкой?

Она не поняла вопроса и смотрела на мужа:

— Как? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

И вдруг он закричал, выйдя из себя:

— Не можем же мы держать незаконного ребенка у себя в доме!

Жанна была крайне смущена; после продолжительного молчания она сказала:

— Но, мой друг, быть может, его можно отдать на воспитание?

Он перебил ее:

— А кто за это будет платить? Ты, конечно?

Она долго раздумывала еще, отыскивая выход, и наконец сказала:

— Но отец позаботится о нем, об этом ребенке, и, если он женится на Розали, все будет улажено.

Жюльен, видимо, теряя терпение, закричал в бешенстве:

— Отец!.. Отец!.. Знаешь ли ты его... отца-то?.. Нет? Не правда ли? Так что же тогда...

Жанна, взволнованная и растроганная, ответила:

— Но ведь он не оставит девушку в таком положении. Это будет подло! Мы узнаем его имя, разыщем его, и он должен будет объясниться.

Жюльен успокоился и снова зашагал по комнате.

— Дорогая моя, Розали не хочет назвать имени этого человека; она тебе не признается, как и мне... А если он ее больше не хочет? Но мы-то не можем оставить у себя в доме девушку с ее незаконным ребенком, понимаешь?

Жанна упрямо повторяла:

— Значит, этот человек — негодяй; но надо во что бы то ни стало узнать, кто он, и ему придется иметь дело с нами.

Жюльен, сильно покраснев, продолжал сердиться:

— Ну... а пока?..

Она не знала, что решить, и спросила:

— Что же ты предлагаешь?

Он тотчас же высказал свое мнение:

— По-моему, очень просто. Я дам ей немного денег и пусть убирается к черту вместе со своим мальчишкой.

Молодая женщина пришла в негодование и возмутилась:

— Ну, уж это никогда! Эта девушка — моя молочная сестра; мы выросли вместе. Она совершила ошибку, очень жаль; но за это я не выброшу ее на улицу, и если нужно, то даже воспитаю ее ребенка.

Тогда Жюльен вспыхнул:

— Хороша же будет репутация у нас, с нашим именем и с нашими связями! Всюду будут говорить, что мы покровительствуем разврату, что мы даем приют потаскушкам; порядочные люди к нам ногой не ступят! О чем ты, в самом деле, думаешь? Ты просто сумасшедшая!

Она спокойно возражала:

— Я ни за что не позволю выбросить Розали на улицу; и если ты не хочешь оставить ее у нас, моя мать возьмет ее к себе; нам же надо во что бы то ни стало узнать об отце ее ребенка.

Тогда он, вне себя от гнева, вышел, хлопнув дверью и крикнув:

— До чего глупы женщины со своими рассуждениями!

После полудня Жанна пошла к роженице. Под присмотром вдовы Дантю горничная неподвижно лежала на кровати, широко раскрыв глаза, а сиделка укачивала на руках новорожденного.

Едва Розали увидела свою госпожу, как принялась рыдать, пряча лицо в простыни, вся сотрясаясь от отчаяния.

Жанна хотела поцеловать ее, но та сопротивлялась, закрывалась одеялом. Тогда вмешалась сиделка и открыла ей лицо; Розали подчинилась, продолжая плакать, но уже тише.

Слабый огонь тлел в камине; было холодно; ребенок кричал. Жанна не решалась заговорить о малютке из боязни вызвать новый приступ слез и только взяла горничную за руку, машинально повторяя:

— Ну, ничего, ну, ничего.

Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала, когда кричал ребенок; по временам ее сдерживаемая скорбь прорывалась в конвульсивных всхлипываниях, а подступавшие слезы клокотали в горле.

Жанна еще раз поцеловала ее и едва слышно шепнула на ухо:

— Мы позаботимся о нем, дорогая.

Тут начался новый приступ слез, и Жанна поспешила уйти.

Каждый день она приходила к Розали, и каждый раз при виде хозяйки служанка начинала рыдать.

Ребенка отдали по соседству кормилице.

Жюльен между тем едва разговаривал с женой, словно затаил против нее сильную злобу с тех пор, как она отказалась прогнать горничную. Как-то раз он снова вернулся к этой теме, но Жанна в ответ вытащила из кармана письмо баронессы, в котором та требовала, чтоб ей немедленно прислали девушку, если не хотят оставить ее в «Тополях».

Жюльен в бешенстве крикнул:

— Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты!

Но больше он уже не настаивал.

Через две недели роженица смогла встать с постели и снова принялась за работу.

Однажды утром Жанна усадила ее, взяла за руки и, пристально глядя на нее, сказала:

— Слушай, милая, расскажи мне все.

Розали начала дрожать и пролепетала:

— Что, госпожа?

— От кого ребенок?

Тогда горничной снова овладело страшное отчаяние; она растерянно старалась высвободить руки и закрыть ими лицо.

Но Жанна насильно поцеловала ее и попыталась утешить:



— Это, конечно, несчастье, дорогая, но что же делать? Ты не устояла, это случается и с другими. Если отец ребенка женится на тебе, все забудется, и мы сможем взять его вместе с тобою на службу.

Розали стонала, словно ее пытали, и время от времени порывалась вырваться и убежать.

Жанна продолжала:

— Я понимаю, что тебе стыдно, но ты же видишь: я не сержусь и говорю с тобой ласково. Если я спрашиваю имя этого человека, то для твоего же блага; ведь я чувствую по тому, как ты страдаешь, что он тебя бросил, и хочу помешать этому. Жюльен найдет его, и знай, мы заставим его жениться на тебе; а так как вы оба останетесь у нас, то мы также заставим его сделать тебя счастливой.

На этот раз Розали дернулась так сильно, что вырвала свои руки из рук госпожи, и убежала как помешанная.

Вечером за обедом Жанна сказала Жюльену:

— Я хотела заставить Розали открыть мне имя ее обольстителя. Мне это не удалось. Попробуй ты; надо же принудить этого негодяя жениться на ней.

Но Жюльен сразу же вспылал:

— Знаешь, я не желаю больше и слышать об этой истории. Ты захотела оставить у себя эту девушку, пусть так и будет; но не надоедай мне с этим делом.

Казалось, со дня родов Розали он стал еще раздражительнее; он усвоил привычку разговаривать с женой не иначе, как крича, точно он всегда был взбешен на нее, хотя она, напротив, понижала голос и говорила ласково, в примирительном тоне, чтобы избежать всяких пререканий; лежа в постели по ночам, она теперь нередко плакала.

Несмотря на постоянное раздражение против жены, муж вернулся снова к обязанностям любви, совершенно забытым со времени их возвращения, и редко проходило подряд три вечера, чтоб он не переступал порога супружеской спальни.

Розали вскоре совсем оправилась и стала менее печальной, хотя все еще оставалась какой-то подавленной и словно преследуемой непонятным страхом.

Еще два раза убегала она от Жанны, когда та снова пыталась расспрашивать ее.

Жюльен сделался вдруг также более приветливым, и у молодой женщины вновь зашевелились неясные надежды; к ней вновь вернулось веселое настроение, хотя она и чувствовала по временам какое-то странное недомогание, о котором никому не говорила.

Оттепели еще не было, и в продолжение почти пяти недель небо, днем ясное, как голубой кристалл, а ночью все усеянное звездами, которые можно было принять за иней — до того морозно было все это огромное пространство, — расстилось над однообразным, твердым, сверкающим покровом снегов.

Фермы, огороженные квадратными двориками, заслоненные громадными деревьями, напудренными инеем, казалось, уснули в белых рубашках. Ни люди, ни животные не выходили наружу, и только трубы хижин свидетельствовали о скрытой жизни тонкими струйками дыма, поднимавшимися прямо ввысь в морозном воздухе.

Равнина, изгороди, вязы у заборов — все, казалось, было мертво, убито холодом. Время от времени слышался треск деревьев, словно их деревянные конечности ломались под корой; иногда отрывалась и падала толстая ветка: это от сильной стужи застывал древесный сок и разрывались волокна.

Жанна с тоской ждала возвращения теплого ветра, приписывая мучившие ее необъяснимые недомогания суровости климата этого времени года.

То она не могла ничего есть, чувствуя отвращение ко всякой пище; то ее пульс начинал безумно биться; то самое легкое кушанье вызывало у нее расстройство пищеварения; вдобавок из-за вечно натянутых нервов она волновалась по любому поводу и жила в постоянном нестерпимом возбуждении.

Однажды вечером термометр упал еще ниже. Жюльен, выходя из за стола и дрожа (зал никогда не бывал достаточно натоплен из-за экономии дров), пробормотал, потирая руки:

— Хорошо будет сегодня спать вдвоем, не правда ли, кошечка?

Он засмеялся своим прежним добрым, детским смехом, и Жанна бросилась к нему на шею; но именно в этот вечер ей было так не по себе, так нездоровилось, она чувствовала себя такой нервной, что, целуя мужа в губы, чуть слышно попросила его оставить ее спать одну. В нескольких словах она сказала ему о своем недомогании.

— Прошу тебя об этом, милый, уверяю тебя, мне очень нехорошо; завтра мне, наверно, будет лучше.

Он не настаивал:

— Как хочешь, дорогая: если ты больна, то надо поберечься.

И они заговорили о другом.

Она легла рано. Жюльен, против обыкновения, приказал затопить камин в своей комнате. Когда ему сказали, что «разгорелось хорошо», он поцеловал жену в лоб и ушел.

Весь дом, казалось, был во власти холода: стены, пронизанные им, слегка потрескивали, точно от озноба, и Жанна дрожала в своей постели.

Два раза она вставала, чтобы подложить в камин дров и достать все свои платя, юбки, старую одежду, и наваливала все это на постель. Ничто не могло ее согреть: ноги у нее онемели, а по икрам до самых бедер пробегала дрожь, заставлявшая ее беспрестанно ворочаться, волноваться и нервничать до последней степени.

Скоро у нее начали стучать зубы, руки дрожали, грудь сжимало; замиравшее сердце билось глухими толчками и порою как будто готово было остановиться; она задышалась, точно ей не хватало воздуха.

Мучительная тоска охватила ее душу, и в то же время непреодолимый холод пронимал ее до мозга костей. Никогда еще не испытывала она ничего подобного; жизнь словно покидала ее; она готова была испустить последнее дыхание.

Она подумала: «Я умру... Умираю...»

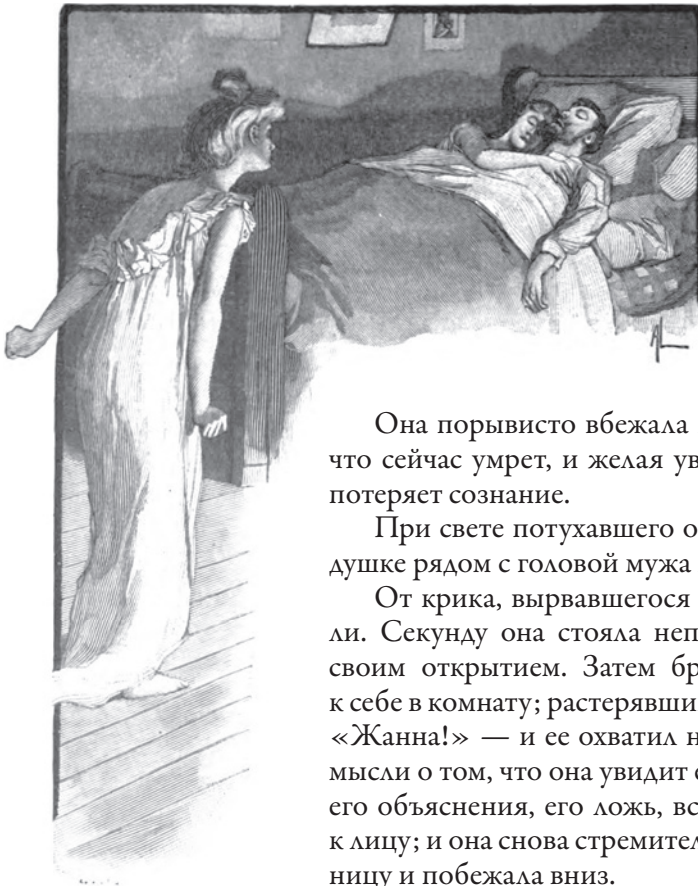
Полная ужаса, она вскочила с постели, позвала Розали, подождала, позвонила снова и опять стала ждать, дрожа и леденея.

Служанка не являлась. Она, без сомнения, спала тем крепким первым сном, от которого не пробудишь, и Жанна, теряя голову, бросилась босиком на лестницу.

Она бесшумно, ощупью поднялась, отыскала дверь, отворила ее, позвала: «Розали!» — двинулась дальше, наткнулась на кровать, провела по ней рукой и убедилась, что она пуста. Она была пуста и холодна, словно никто в нее и не ложился.

Жанна подумала в удивлении: «Как! Она ушла из дому в такую погоду!»

Но сердце ее вдруг бурно заколотилось и запрыгало, и она, задышавшись, кинулась разбудить Жюльена; ноги отказывались ей служить.



Она порывисто вбежала к нему, в уверенности, что сейчас умрет, и желая увидеть его раньше, чем потеряет сознание.

При свете потухавшего огня она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали.

От крика, вырвавшегося у нее, оба они вскочили. Секунду она стояла неподвижно, пораженная своим открытием. Затем бросилась вон, вбежала к себе в комнату; растерявшийся Жюльен позвал ее: «Жанна!» — и ее охватил невыразимый ужас при мысли о том, что она увидит его, услышит его голос, его объяснения, его ложь, встретится с ним лицом к лицу; и она снова стремительно бросилась на лестницу и побежала вниз.

Она мчалась теперь в темноте, рискуя скатиться с каменных ступенек и разбиться о них. Она летела куда глаза глядят, гонимая властной потребностью убежать, ничего не слышать, ничего не видеть.

Сбежав вниз, она села на ступеньку, по-прежнему в одной рубашке, босиком, и замерла, перестав что-либо соображать.

Жюльен, вскочив с постели, наспех одевался. Услышав его движения и шаги, она поднялась снова, чтобы бежать от него.

Он уже сходил с лестницы и кричал:

— Послушай, Жанна!

Нет, она не хотела его слушать, не хотела, чтоб он коснулся ее хоть пальцем, и бросилась в столовую, точно спасаясь от убийцы. Она искала выхода, тайника, темного угла, какого-нибудь средства избавиться от него. Она забижалась под стол. Но он уже отворял дверь, со свечой в руках, все еще повторяя: «Жанна!» — и она снова понеслась, как заяц, бросилась в кухню и обежала ее два раза, словно загнанный зверь; и так как он настигал ее опять, она внезапно отворила наружную дверь и выбежала из дому.

Ледяное прикосновение снега, в который ее голые ноги уходили порой по колени, придало ей вдруг отчаянную силу. Она не чувствовала холода, хотя была раздета; она ничего больше не чувствовала, до такой степени душевная боль усыпила восприимчивость ее тела, и она бежала белая, подобно земле.

Она направилась по большой аллее, миновала рощу, перепрыгнула ров и бегом пустилась по равнине.

Луны не было; звезды сверкали на темном небе, словно россыпь искр; но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной.

Жанна бежала, не переводя дыхания, ничего не сознавая, ни о чем не думая. И вдруг очутилась на краю обрыва. Она сразу инстинктивно остановилась и присела на корточки, без мысли, без воли.

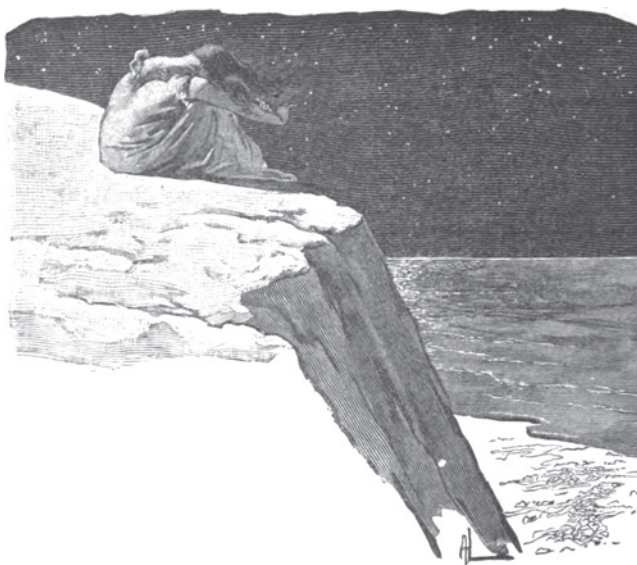
В темной бездне перед нею невидимое и немое море дышало соленым запахом водорослей, выброшенных приливом.

Она долго сидела так, застыв душою и телом; затем вдруг начала дрожать отчаянной дрожью, как парус, терзаемый ветром. Ее руки, плечи, ноги, сотрясаемые неудержимой силой, судорожно дергались; и вдруг к ней вернулось сознание, ясное и мучительно острое.

Потом перед ее глазами поплыли видения прошлого: прогулка с Жюльеном в лодке дядюшки Лястика, их беседа, зарождение ее любви, крестины лодки; ее мысли ушли еще дальше, к той ночи, убаюканной мечтами, когда она приехала в «Тополя». А теперь! Теперь! О! Вся жизнь разбита, все радостное миновало, ждать больше нечего; ужасное будущее, полное мучений, измен, отчаяния, встало перед ней. Лучше умереть, тогда всему конец.

Но вдали послышался голос:

— Здесь, здесь! Вот следы! Скорей, скорей сюда!



То был Жюльен, искавший ее.

О! Она не хотела его видеть. Там, перед собой, в бездне она услышала теперь легкий шум, неясный плеск моря, скользящего по утесам.

Она вскочила и уже выпрямилась, чтобы броситься туда, и, посылая жизни безнадежное прощание, жалобно выкрикнула последнее слово умирающих, последнее слово молодых солдат, смертельно раненных в битве:

— Мама!

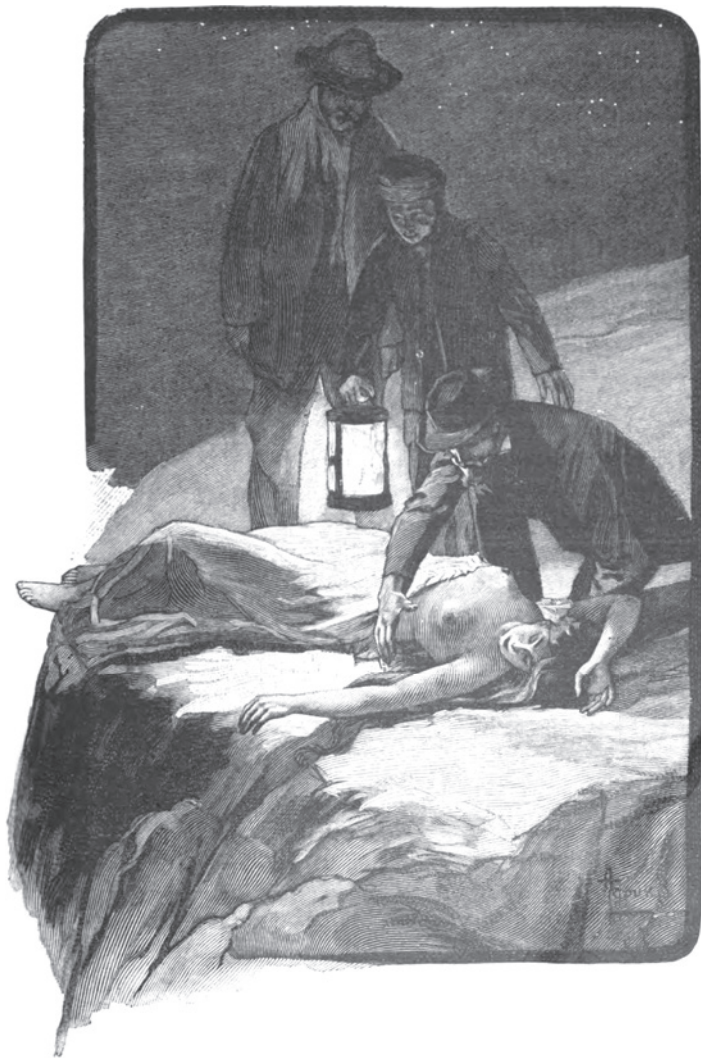
Внезапно мысль о матушке пронизала ее; она увидела ее рыдающей; увидела своего отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одну секунду пережила все муки их отчаяния.

И тогда она снова бессильно опустилась на снег и не пробовала уже сопротивляться, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариуса, державшего фонарь, схватили ее за руки, чтобы оттащить назад; она была на самом краю обрыва.

Они делали с нею все, что хотели, так как она не могла шевельнуться. Она чувствовала, как ее понесли, а затем положили в постель и растирали горячими полотенцами; затем воспоминания оборвались, сознание исчезло.

Потом ею овладел кошмар, но был ли то кошмар? Она лежала в своей комнате. Был день, но она не могла подняться. Почему? Она этого не знала. Тогда она услышала слабый шум на полу, что-то вроде царапанья, какой-то шорох, и вдруг мышка, маленькая серая мышка, промчалась по ее простыне. За нею тотчас последовала другая, за другой третья, быстрыми мелкими шажками подбиравшиеся к ее груди. Жанне не было страшно; она хотела схватить зверька и протянула руку, но ничего не поймала.

Тогда другие мыши — десять, двадцать, сотни, тысячи — показались со всех сторон. Они карабкались по колонкам, шныряли по обоям, покрывали



всю постель. Скоро они проникли и под одеяло; Жанна чувствовала, как они скользят по ее коже, щекочут ей ноги, взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу; она отбивалась, вытягивала руки вперед, чтобы поймать хоть одну, и каждый раз в руках ее ничего не было.

Она приходила в отчаяние, хотела бежать, кричала, и ей казалось, что ее заставляют лежать неподвижно, что сильные руки схватили ее и держат; но она никого не видела.

У нее не было никакого представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго.

Затем она очнулась; она очнулась усталая, разбитая и все же с приятным ощущением. Она чувствовала себя слабой-слабой. Открыла глаза и несколько

не удивилась, увидев мамочку, сидящую в комнате с каким-то толстяком, которого она совершенно не знала.

Сколько ей лет? Она уже не отдавала себе в этом отчета и представляла себя совсем маленькой девочкой. Не было у нее также и никаких воспоминаний.

Толстяк сказал:

— Смотрите, сознание возвращается.

И матушка заплакала. Тогда толстяк заговорил снова:

— Успокойтесь, баронесса, говорю вам, что теперь я отвечаю за нее. Только не разговаривайте с нею ни о чем, ни о чем. Пусть она спит.

Жанне казалось, что она еще очень долго пробыла в такой дремоте, что как только она пробовала о чем-нибудь задуматься, ее охватывал тяжелый сон; но она и не пробовала вспоминать о прошлом, словно чувствуя смутный страх перед тем, что действительность может восстановиться в ее сознании.

Но как-то раз, проснувшись, она увидела около себя только Жюльена, и вдруг ей припомнилось все, словно перед нею поднялась завеса, скрывавшая прошлое.

Она почувствовала страшную боль в сердце, и ей снова захотелось бежать. Она сбросила с себя простыни, соскочила на пол и упала, потому что еще не могла держаться на ногах.

Жюльен бросился к ней, и она стала кричать, чтоб он не касался ее. Она извивалась, катаясь по полу. Отворилась дверь. Прибежали тетя Лизон и вдова Дантю, затем барон, и, наконец, появилась мамочка, запыхавшаяся, перепуганная.

Ее снова уложили, и она тотчас же намеренно закрыла глаза, чтобы не разговаривать и поразмыслить без помехи.

Мать и тетка ухаживали за ней, суетились и спрашивали:

— Слышишь ли ты нас теперь, Жанна, малютка моя?

Притворяясь, будто она не слышит, Жанна не отвечала; между тем она отлично сознавала, что день подходит к концу. Настала ночь. Около нее поместилась сиделка, время от времени подававшая ей пить.

Жанна пила, не говоря ни слова, но больше не спала; она мучительно думала, стараясь припомнить то, что от нее ускользнуло, словно у нее в памяти были провалы, большие белые, пустые места, на которых события не оставили следа.

Мало-помалу, после больших усилий, ей удалось восстановить все факты.

И она сосредоточенно и упорно стала обдумывать их.

Матушка, тетя Лизон и барон приехали сюда; следовательно, она серьезно больна. Но Жюльен? Что сказал он? Знают ли ее родители? А Розали? Где она теперь? И что теперь делать, что делать? Ее осенила мысль — вернуться жить в Руан вместе с отцом и матерью, как раньше. Она будет вдовой — только и всего.

Затем она стала терпеливо и хитро выжидать, сознавая все, но не показывая и виду, радуясь возвращению рассудка.

Наконец как-то вечером, оставшись наедине с баронессой, она тихонько позвала ее:

— Матушка!

Собственный голос удивил ее, показался ей изменившимся.

Баронесса схватила ее за руку:

— Девочка моя, дорогая моя, девочка моя, ты узнаешь меня?

— Да, матушка, только не надо плакать; нам надо о многом поговорить. Сказал тебе Жюльен, почему я в ту ночь убежала по снегу?

— Да, моя крошка, ты схватила сильную и очень опасную горячку.

— Это не так, мама. Горячка сделалась потом; но сказал ли он тебе, что было причиной этой горячки и почему я убежала?

— Нет, дорогая.

— Это случилось потому, что я застала Розали в его постели.

Баронесса подумала, что она опять бредит, и стала ее ласкать:

— Усни, моя крошка, успокойся, постарайся уснуть.

Но Жанна упорно возражала:

— Я теперь в полном сознании, маменька, и уже не заговариваюсь, как было, вероятно, в последние дни. Раз ночью я почувствовала себя очень плохо и пошла за Жюльеном. Розали спала вместе с ним. Я потеряла голову от отчаяния и побежала по снегу, чтобы броситься с обрыва.

Но баронесса повторяла:

— Да, моя крошка, ты была очень, очень больна.

— Это не так, мама. Я застала Розали в постели Жюльена и не хочу больше оставаться с ним. Увези меня с собой в Руан, как прежде.

Баронесса, которой доктор велел ни в чем не противоречить больной, ответила:

— Хорошо, моя крошка.

Но больная начала раздражаться:

— Я вижу, что ты мне не веришь. Поди позови папочку, он скорей поймет меня.

Мамочка поднялась с трудом, взяла обе свои палки и вышла, волоча ноги; несколько минут спустя она вернулась в сопровождении барона, который ее поддерживал.

Они сели у постели, и Жанна тотчас заговорила. Она не спеша, тихим голосом, но очень отчетливо рассказала обо всем: о странном характере Жюльена, о его грубых выходках, о скарედности и, наконец, о его измене.

Когда Жанна кончила, барон убедился, что она не бредит, но не знал, что подумать, на что решиться и что ответить.

Он нежно взял ее за руки, как бывало в старые годы, когда он убаюкивал ее сказками:

— Слушай, дорогая, надо действовать осмотрительно. Не будем торопиться; постарайся терпеть мужа, пока мы не придем к какому-либо решению... Обещаешь мне это?

Она прошептала:

— Я постараюсь, но не останусь здесь после того, как выздоровлю. —
Затем чуть слышно прибавила: — Где теперь Розали?

Барон отвечал:

— Ты не увидишь ее больше.

Но она настаивала:

— А где она? Я хочу знать.

Тогда барон сознался, что она еще здесь; но он заверил, что она скоро уедет.

Выйдя из комнаты больной, барон, пылая гневом, оскорбленный в своих отеческих чувствах, отправился к Жюльену и резко заявил ему:

— Месье, я требую от вас отчета в вашем поведении по отношению к моей дочери. Вы изменяли ей с горничной; это вдвойне бесчестно.

Жюльен разыграл невинность, горячо отрицал, клялся, призывал бога в свидетели. Да и какие наконец имеются доказательства? Ведь Жанна была в состоянии помешательства. Ведь у нее была горячка. Ведь в ту ночь, когда началась ее болезнь, она бегала по снегу в приступе безумия. Во время этого приступа, когда она, почти голая, бегала по дому, ей и показалось, что она видит свою горничную в постели мужа!

Он горячился, грозил процессом, страшно негодовал. А сконфуженный барон извинялся, просил прощения и протянул ему свою честную руку, которую Жюльен отказался пожать.

Когда Жанна узнала об ответе мужа, она несколько не рассердилась и ответила:

— Он лжет, папа, но мы заставим его сознаться.

Два дня она была молчалива, сосредоточенна и задумчива.

На третий день утром она захотела увидеть Розали.

Барон отказался позвать к ней служанку, заявив, что она уехала. Жанна настаивала, твердя:

— Так пусть за ней пошлют.

Она начала уже раздражаться, когда вошел доктор. Ему сообщили все, чтобы он мог высказать свое суждение. Но Жанна вдруг начала плакать, страшно нервничая, почти крича:

— Я хочу видеть Розали! Хочу ее видеть!

Тогда доктор взял ее за руку и, понизив голос, сказал:

— Успокойтесь, мадам: всякое волнение для вас опасно, потому что вы беременны.

Она смолкла, словно сраженная ударом, и ей тотчас же показалось, что в ней что-то шевелится. Затем она погрузилась в молчание, перестав даже слушать, что говорили вокруг нее, углубившись в свои мысли. Ночью она не могла заснуть, всецело поглощенная новой и странной мыслью, что в ней, в ее чреве, живет ребенок; она была грустна, удручена тем, что это ребенок Жюльена, полна беспокойства и боязни, что он будет походить на отца. С наступлением утра она велела позвать барона.

— Папочка, мое решение принято окончательно; я хочу знать все, и особенно теперь; слышишь — хочу, а ты знаешь, что меня в моем положении не следует раздражать. Слушай же внимательно. Пригласи к нам господина кюре. Он мне необходим, чтобы помешать Розали лгать. Как только он придет, позови сюда Розали и сам с мамочкой тоже останься здесь. Постарайся только, чтоб Жюльен ничего не заподозрил.

Час спустя в комнату вошел священник, еще больше разжиревший и задыхающийся так же, как мамочка. Он уселся рядом с нею в кресло, свесив живот меж раздвинутых ног, и начал шутить, ежеминутно по привычке отирая лоб клетчатым платком:

— Ну, баронесса, мы с вами, кажется, не худеем; по-моему, мы под стать друг другу. — И он повернулся к постели больной: — Хе-хе! Что это мне говорят, будто у нас скоро опять крестины? Ха-ха-ха! И уж не лодку будем крестить на этот раз. — Потом он прибавил серьезным тоном: — То будет, наверно, защитник отечества. — Помолчав немного, он присовокупил: — Или же это будет добрая мать семейства. — И поклонился в сторону баронессы: — Как вы, мадам.

Дверь в глубине комнаты отворилась. Розали, растерянная, в слезах, подталкиваемая сзади бароном, упиралась, цепляясь за притолоку. Потеряв терпение, барон одним толчком впихнул ее в комнату. Но она закрыла лицо руками и остановилась рыдая.

Едва увидев ее, Жанна выпрямилась и села на постели, побелев как простыня; обезумевшее сердце вздымало своими ударами тонкую рубашку, облегавшую ее тело. Она не могла говорить, задышалась, едва переводила дух. Наконец прерывающимся от волнения голосом она произнесла:



— Мне... мне... не нужно... расспрашивать тебя. Мне... мне... достаточно взглянуть на тебя... чтоб увидеть... как тебе стыдно передо мною. — После некоторой паузы, так как ей не хватало воздуха, она продолжала: — Но я хочу знать все... все. Я пригласила господина кюре, чтобы это было как на исповеди, слышишь?

Розали не двигалась, и сквозь стиснутые руки раздавались ее приглушенные вопли.

Поддавшись порыву гнева, барон схватил ее за руки, с силой оторвал их от лица и бросил ее на колени перед кроватью:

— Говори же... Отвечай!

Она так и осталась на полу в позе кающейся Магдалины; чепчик ее сбился на сторону, фартук распластался по полу, и она снова закрыла лицо руками, как только они оказались свободными.

Теперь к ней обратился кюре:

— Ну, дочь моя, слушай, что тебе говорят, и отвечай. Мы не хотим сделать тебе ничего дурного, но желаем знать то, что произошло.

Жанна смотрела на нее, свесившись с кровати. Наконец она сказала:

— Это правда, что ты была в постели Жюльена, когда я вас застигла?

Розали сквозь сжатые руки простонала:

— Да, госпожа.

Тогда баронесса внезапно принялась также плакать, шумно всхлипывая; ее судорожные рыдания вторили рыданиям Розали.

Жанна, пристально глядя на служанку, спросила:

— С каких пор это началось у вас?

Розали пролепетала:

— С тех пор, как он приехал.

Жанна не поняла:

— С тех пор, как он приехал... значит... значит... с весны?

— Да, госпожа.

— С тех пор, как он вообще появился в этом доме?

— Да, госпожа.

Жанна продолжала торопливо спрашивать, точно обилие вопросов мучило ее:

— Но как же это случилось? Как заговорил он об этом с тобой? Как он тобой овладел? Что он сказал тебе? Когда и как ты уступила ему? Как могла ты ему отдаться?

Розали отняла руки от лица, тоже испытывая лихорадочное желание говорить, потребность высказаться:

— Да почему я знаю? Это было в тот день, когда он у нас в первый раз обедал. Он пришел в мою комнату. Спрятался на чердаке. Я не смела кричать, чтобы не вышло истории. И он лег ко мне. Я сама себя не помнила тогда. Он делал со мной все, что хотел. Я ничего тогда не сказала потому, что уж очень он был мне по сердцу!..

Жанна вскрикнула:

— Значит... твой... твой... ребенок... от него?

Розали зарыдала:

— Да, госпожа.

Они смолкли.

Слышны были только рыдания Розали и баронессы.

Подавленная Жанна почувствовала, что ее глаза тоже мокры, и крупные слезы беззвучно потекли по ее щекам. У ребенка горничной и у ее ребенка один отец. Ее гнев утих. Она чувствовала себя теперь во власти мрачного, тяжелого, глубокого, безграничного отчаяния.

Наконец она возобновила расспросы изменившимся, смягченным голосом плачущей женщины:

— С тех пор как мы вернулись оттуда... из нашей поездки... когда он начал опять?

Горничная, совсем пригнувшись к полу, пролепетала:

— В... в первый вечер... он пришел ко мне.

Каждое слово терзало сердце Жанны. Итак, в первый же вечер, в вечер их возвращения в «Тополя», он покинул ее ради этой девушки. Вот почему он оставлял ее по ночам одну!

Теперь она знала уже достаточно и больше ничего не хотела слышать. Она закричала:

— Уйди! Уйди!

А так как Розали, уничтоженная, не двигалась с места, Жанна крикнула отцу:

— Уведи ее, удали!

Но священник, молчавший до сих пор, счел момент подходящим, чтобы вставить маленькую проповедь:

— Ты поступила очень дурно, дочь моя, очень дурно, и милосердный Бог не скоро простит тебе. Подумай об аде, который ждет тебя, если ты не пострасьешь впредь хорошо себя вести. Теперь, имея ребенка, ты должна исправиться. Баронесса, без сомнения, сделает для тебя, что может, и мы подыщем тебе мужа...

Он говорил бы и дальше, но барон опять схватил Розали за плечи, поднял ее, дотащил до двери и вышвырнул, как мешок, в коридор.

Едва лишь барон, бледный, как его дочь, вернулся обратно, кюре начал снова:

— Что поделаешь? Они здесь все такие. Это очень прискорбно, но ничего добиться нельзя, приходится быть снисходительным к слабостям природы. Ни одна из них не выходит замуж, не забеременев сначала. Ни одна, мадам. — И он, улыбаясь, прибавил: — Можно подумать, что это местный обычай. — Затем заговорил негодуя: — Даже дети попадают в подобных вещах. Я сам поймал в прошлом году на кладбище двух школьников, мальчика и девочку. Я известил родителей! И знаете, что они мне ответили? «Что делать, господин кюре! Ведь не мы их научили этой гадости; мы ничего тут не можем поделать». Ваша служанка, месье, поступила, как все другие...

Но барон, нервно дрожа, прервал его:

— Как другие? Какое мне дело до нее! Меня возмущает Жюльен. Он сделал подлость, и я увезу мою дочь. — Он шагал по комнате, все больше волнуясь и раздражаясь. — Это подлость — так изменить моей дочери, подлость! Этот человек — негодяй, каналья, гадина! И я скажу ему это, я дам ему пощечину, я убью его своей тростью!

Но священник, сидя рядом с плачущей баронессой и медленно втягивая понюшку табаку, обдумывал, как ему приступить к выполнению своей миссии миротворца, и возразил:

— Позвольте, барон, говоря между нами, виконт поступил, как поступают все. Много ли вы знаете верных мужей? — И он с лукавым добродушием прибавил: — Знаете, держу пари, что и у вас были проказы. Ну, положи руку на сердце, разве это не правда?

Барон в смущении стоял лицом к лицу со священником, а тот продолжал:

— Ну что же, вы поступали так, как другие. Почем знать; быть может, даже и вам пришлось когда нибудь пощупать такую вот милашку, как эта. Говорю вам: все так делают. И ваша жена была от этого не менее счастлива, не менее любима, не правда ли?

Барон, застигнутый врасплох, не трогался с места.

Он в самом деле так поступал, черт возьми, и даже очень часто, всякий раз, когда к этому представлялась возможность; он так же не уважал семейного очага и никогда не отступал перед горничными своей жены, если они были красивы! Разве был он негодяем из-за этого? Почему же он так строго осуждает поведение Жюльена, если никогда не задумывался о том, что его собственное поведение могло считаться преступным?

И у баронессы, все еще всхлипывающей, промелькнула на губах тень улыбки при воспоминании о проказах супруга; ведь она принадлежала к тем сентиментальным, быстро смягчающимся и благодушным людям, для которых любовные приключения составляют существенную часть жизни.

Обессиленная Жанна вытянулась на спине, широко открыв глаза, безвольно раскинув руки, и мучительно думала. Ей запомнились слова Розали, которые больно ранили ее и, словно буравчик, сверлили ей сердце: «Я ничего тогда не сказала потому, что уж очень он был мне по сердцу!...»

Ей он также был по сердцу, и именно поэтому она отдалась ему, соединилась с ним на всю жизнь, отказалась от других надежд, от всевозможных планов, от всей неизвестности будущего. Она ринулась в этот брак, в эту бескрайнюю пропасть, которая привела ее к страданию, к тоске и безнадежности только потому, что ей, как и Розали, он был по сердцу!

Дверь отворилась от бешеного толчка. Явился разъяренный Жюльен. Он увидел на лестнице рыдающую Розали и пришел узнать, в чем дело, сообразив, что тут что-то затевают и что горничная, без сомнения, проболталась. Присутствие священника приковало его к месту.

Взволнованным, но тихим голосом он спросил:

— Что такое? В чем дело?

Барон, так сильно свирепствовавший только что, не осмелился ничего сказать, побаиваясь доводов священника и того, что зять может сослаться на его собственный пример. Мать только сильнее заплакала. Но Жанна приподнялась на локте и, задыхаясь, смотрела на того, из-за которого так жестоко страдала.

Прерывающимся голосом она проговорила:

— Случилось то, что нам теперь все известно, что мы знаем все ваши гнусности с тех пор... с того самого дня, как вы вступили в этот дом... и ребенок этой служанки так же ваш... так же... как и мой... они братья...

Страшное горе охватило ее при этой мысли, и она повалилась на постель, неудержимо рыдая.

Жюльен стоял оторопев, не зная, что сказать, как поступить.

Кюре вмешался снова:

— Перестаньте, перестаньте, не будем так горевать, мадам; будьте же благоразумны.

Он встал, подошел к кровати и положил свою теплую руку на лоб отчаявшейся женщины. Это простое прикосновение странным образом успокоило ее: она тотчас же почувствовала себя ослабевшей, точно эта сильная рука деревенского жителя, привыкшая жестом отпускать грехи и ласково ободрять, принесла ей своим прикосновением таинственное умиротворение. Добродушный старик, все еще стоя около нее, продолжал:

— Надо всегда прощать, мадам. Вас посетило большое несчастье, но Бог в своем милосердии вознаградил вас за это великой радостью, ибо вам предстоит стать матерью. Этот ребенок будет вашим утешением. И во имя его я умоляю и заклинаю вас простить господину Жюльену его заблуждение. Это будет новой связью между вами, залогом его будущей верности. Можете ли вы сердцем своим стать чуждой тому, чей плод вы носите в своем чреве?

Истерзанная, страдавшаяся, опустошенная, она ничего не отвечала, не чувствуя в себе больше сил ни для гнева, ни для ненависти. Казалось, ее нервы ослабели, точно их подрезали; она была чуть жива.

Баронесса, которой злопамятство было совсем чуждо и воля которой была решительно неспособна к какому-либо продолжительному напряжению, прошептала:

— Ну, Жанна!

Тогда кюре взял руку молодого человека и вложил ее в руку жены, подведя его к кровати. Затем он легонько хлопнул по их соединенным рукам, словно для того, чтобы связать их окончательно, и, оставив профессиональный поведенческий тон, сказал с довольным видом:

— Вот так! Поверьте, оно и лучше будет.

Две руки, соединенные на минуту, тотчас же разомкнулись. Не посмея обнять Жанну, Жюльен поцеловал в лоб тещу, повернулся на каблуках, взял

под руку барона, который не противился этому, будучи счастлив в глубине души, что все уладилось, и они вышли вместе выкурить сигару.

Тогда обессиленная больная задремала, а священник и мамочка продолжали разговаривать вполголоса.

Аббат говорил, объяснял, развивал свои соображения, а баронесса все время соглашалась с ним, кивая головой. В заключение священник сказал:

— Итак, решено. Вы даёте за этой девушкой барвильскую ферму, а я берусь подыскать ей мужа, честного, порядочного парня. О, с приданым в двадцать тысяч франков у нас не будет недостатка в охотниках! Нам останется только выбирать.

Баронесса тоже улыбалась теперь, чувствуя себя вполне счастливой; две слезинки еще остались у нее на щеках, но влажные следы их уже высохли.

Она подтвердила:

— Хорошо. Барвиль стоит по меньшей мере двадцать тысяч франков, но надо записать ферму на имя ребенка; родители же смогут при жизни пользоваться доходами с нее.

Кюре поднялся и, пожимая руку мамочке, повторял:

— Не беспокойтесь, баронесса, не беспокойтесь; я хорошо знаю, чего стоит вам каждый шаг.

Выходя, он встретил тетю Лизон, которая шла проведать больную, она ни о чем не подозревала, ей ничего не сказали, и, как всегда, она ничего не узнала.





VIII

Розали покинула дом, а Жанна отбывала период своей скорбной беременности. Она не ощущала ни малейшей радости при мысли, что сделается матерью: пережитое горе подавляло ее. Она ждала ребенка без всякого любопытства, томясь страхом новых бесконечных несчастий.

Весна подошла незаметно. Голые деревья дрожали под порывами еще холодного ветра, а из-под прелых осенних листьев во влажной траве канав начали уже пробиваться подснежники. С равнины, из дворов ферм, с размытых полей — отовсюду поднимался сырой запах, запах брожения. Из глинистой земли показывалось множество крошечных зеленых шипов и сверкало под лучами солнца.

Толстая женщина, здоровенная, как крепостная стена, заменила Розали и поддерживала баронессу во время ее однообразных прогулок по аллее, на которой беспрестанно оставался влажный и грязный след ее больной, более неповоротливой ноги.

Отец подавал руку Жанне, отяжелевшей теперь и постоянно чувствовавшей недомогание; тетя Лизон, встревоженная и захлопотавшаяся в ожидании предстоящего события, брала ее под руку с другой стороны, испытывая глубокое волнение при виде той тайны, узнать которую ей не было суждено.

Целыми часами расхаживали они так, почти не разговаривая, в то время как Жюльен разъезжал по окрестностям верхом; это новое увлечение внезапно захватило его.

Ничто более не тревожило их однообразной и тусклой жизни. Барон, баронесса и виконт сделали визит Фурвилям, с которыми Жюльен, по видимому, был уже близко знаком, хотя никто хорошенько не знал, как произошло это знакомство. Другим визитом, очень церемонным, они обменялись с Бризвилями, по прежнему уединенно жившими в своем сонном замке.

Однажды около четырех часов пополудни на двор, прилегающий к замку, рысью въехали два всадника: мужчина и женщина. Жюльен, сильно взволнованный, вбежал в комнату Жанны:

— Скорей, скорей сойди вниз! Это Фурвили. Они приехали запросто, по-соседски, зная о твоём положении. Скажи, что я куда-то вышел, но скоро вернусь. Я только переоденусь.

Удивленная Жанна сошла в гостиную. Молодая дама, бледная, хорошенькая, болезненная, с чересчур блестящими глазами и белокурыми волосами такого матового оттенка, точно их никогда не ласкал луч солнца, спокойно представила ей своего мужа, великана с длинными рыжими усами, смотревшего букой. Затем она сказала:

— Мы уже несколько раз встречались с господином де Лямаром и знаем от него, что вы себя плохо чувствуете. Нам не хотелось откладывать дольше знакомство с вами, и мы явились на правах соседей, без всяких церемоний. Вы видите, мы приехали верхом. К тому же мы имели удовольствие видеть у себя вашу матушку и барона.

Она говорила с полной непринужденностью, просто и с достоинством. Жанна была очарована и сразу почувствовала к ней влечение. «Вот — друг», — подумала она.

Граф де Фурвиль, напротив, казался медведем, забравшимся в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул и долго не знал, куда девать руки: он оперся ими о колени, затем о ручки кресла и, наконец, сложил пальцы, как на молитве.

Вдруг вошел Жюльен. Изумленная Жанна не узнала его. Он побрился. Он был красив, изящен и обольстителен, как в дни своего жениховства. Он пожал косматую лапу графа, словно пробудившегося при его появлении, и поцеловал руку графини, щеки которой, цвета слоновой кости, слегка порозовели, а ресницы чуть дрогнули.

Он заговорил. Он был любезен, как в былые времена. Его большие глаза — зеркало любви — снова стали нежными, а волосы, недавно такие жесткие и тусклые, приобрели прежний блеск и мягкую волнистость под влиянием щетки и душистой помады.

Когда Фурвили собрались уезжать, графиня обернулась к нему:

— Дорогой виконт, не хотите ли в четверг совершить прогулку верхом?

Затем, пока Жюльен раскланивался, бормоча: «О да, конечно, мадам», — она взяла руку Жанны и сказала нежным, вкрадчивым голосом, ласково улыбаясь:



— Когда вы выздоровеете, мы втроем будем скакать по окрестностям. Это будет восхитительно, вы не против?

Ловким жестом она подняла шлейф своей амазонки и с легкостью птички вскочила в седло, между тем как ее муж, неуклюже раскланявшись, взобрался на свою громадную нормандскую лошадь и уселся на ней грузно, как кентавр.

Когда они исчезли, повернув за ворота, Жюльен, пребывавший в полном восхищении, воскликнул:

— Что за очаровательные люди! Вот знакомство, которое нам может быть полезно.

Жанна, также довольная, хотя и не зная почему, ответила:

— Маленькая графиня восхитительна, и я чувствую, что полюблю ее; но муж ее звероподобен. Где же ты все-таки познакомился с ними?

Весело потирая руки, Жюльен отвечал:

— Я случайно встретил их у Бризвилей. Муж кажется несколько грубоватым. Он завзятый охотник, но тем не менее настоящий аристократ.

Обед прошел почти весело, точно в дом вошло невидимое счастье.

До последних чисел июля ничего нового не случилось.

Однажды вечером, во вторник, когда семья сидела под платаном за деревянным столиком, на котором стояли графин с водкой и две рюмки, из груди Жанны вдруг вырвался крик, и, страшно побледнев, она схватилась обеими руками за живот. Мгновенная острая боль пронзила ее, а затем тотчас же стихла.

Но минут через десять новая боль, менее сильная, но более продолжительная, снова охватила ее. Она едва дотащилась до дому, почти лежа на руках отца и мужа. Небольшое расстояние от платана до ее комнаты казалось ей

бесконечным; терзаемая нестерпимым ощущением тяжести в животе, она стонала и поминутно просила остановиться, дать ей присесть.

Срок еще не наступил, роды ожидалась только в сентябре; но из опасения каких-либо осложнений немедленно был заложен экипаж, и дядя Симон помчался за доктором.

Доктор приехал около полуночи и с первого же взгляда определил симптомы преждевременных родов.

В постели боли несколько стихли, но Жанну угнетала ужасная тоска, безнадежная слабость всего существа, что-то вроде предчувствия, вроде таинственного прикосновения смерти. Это было одно из тех мгновений, когда смерть подходит к нам так близко, что ее дыхание леденит нам сердце.

Комната была полна народу. Матушка задыхалась, погружившись в кресло. Барон, теряя голову, с дрожащими руками метался во все стороны, приносил вещи, советовался с доктором. Жюльен расхаживал взад и вперед с озабоченным видом, но внутренне вполне спокойный, а вдова Дантю стояла в ногах кровати с выражением лица, соответствовавшим обстоятельствам, с выражением лица бывалой женщины, которая ничему не удивляется. Будучи сиделкой, акушеркой и дежуря около умерших, принимая вступающих в этот мир, встречая их первый крик, обмывая первой водой их новую плоть, пеленая их в первое белье, она в дальнейшем с тем же самым спокойствием принимала последние слова, последний хрип, последнее содрогание уходящих из этого мира и так же совершала их последний туалет, омывая их износившееся тело водой с уксусом, окутывая его последней простыней, и оставалась непоколебимо равнодушной во всех случаях рождения и смерти.

Кухарка Людивина и тетя Лизон скромно прятались за дверью прихожей.

У больной время от времени вырывался слабый стон. В течение двух часов можно было еще думать, что ожидаемое событие совершится не скоро; но к концу дня боли возобновились с неистовой силой и вскоре сделались невыносимыми.

И Жанна, крики которой невольно вырывались сквозь стиснутые зубы, неотступно думала о Розали, которая совсем не страдала, почти не стонала и чей ребенок — незаконный ребенок — был рожден без боли и без мук.

В своей несчастной и измученной душе она беспрестанно сравнивала себя с Розали и проклинала Бога, которого когда-то считала справедливым; она негодовала на преступное пристрастие судьбы, на преступную ложь тех, которые проповедуют справедливость и добро.

Иногда приступы боли делались до того жуткими, что всякая мысль угасала в ней. Все ее силы, вся ее жизнь, все ее сознание поглощались страданием.

В минуты успокоения она не могла оторвать глаз от Жюльена; иная боль, боль душевная, овладевала ею при воспоминании о том дне, когда ее горничная упала в ногах этой самой кровати с ребенком между ног, братом того маленького существа, которое так ужасно раздирает ее внутренности. Она совершенно явственно восстанавливала в памяти жесты, взгляды, слова мужа,

когда он стоял над распростертой девушкой; и теперь она читала в нем, точно его мысли были написаны в его движениях, ту же скуку, то же равнодушие, как и к той, другой, то же безучастие эгоиста, которого раздражает отцовство.

Но вдруг ее схватила такая ужасная судорога, такая жестокая спазма, что она подумала: «Умираю; это смерть!» В бешеном порыве ее душа исполнилась возмущения, жажды проклятий, а также безграничной ненависти к этому человеку, который ее погубил, и к неизвестному ребенку, который ее убивает.

Она напрягалась и сверхчеловеческим усилием старалась выбросить из себя это бремя. Вдруг ей показалось, что живот ее быстро опадает, и ее страдания утихли.

Сиделка и врач, нагнувшись, ощупывали ее. Они подняли что-то, и скоро подавленный звук, который она однажды уже слышала, заставил ее затрепетать; затем в душу ей, в сердце, во все ее несчастное, истомленное существо проник скорбный крик, слабое мяуканье новорожденного, и она бессознательным движением попыталась протянуть руки.

В ней поднялась волна радости, порыв к новому счастью, которое только что наступило. За какую-нибудь секунду она почувствовала себя облегченной, умиротворенной, счастливой, — счастливой, как никогда! Ее сердце и тело оживали, она чувствовала себя матерью!

Она захотела увидеть ребенка. Он был без волос, без ногтей, потому что родился раньше времени; но когда она увидела, как шевелится эта личинка, как открывает рот и испускает крики, когда она прикоснулась к скорченному, гримасничающему, шевелящемуся недоноску, неудержимая радость переполнила ее и она поняла, что спасена, что защищена от безнадежности, что теперь у нее есть кого любить и более ей ничего не нужно.

С этих пор у нее была одна мысль — о ребенке. Неожиданно она стала фанатичной матерью, тем более восторженной, чем сильнее чувствовала себя разочарованной в своей любви и обманутой в своих надеждах. Она пожелала, чтобы колыбель ребенка всегда стояла рядом с ее кроватью, а когда могла встать с постели, то целыми днями просиживала перед окном около ребенка и качала его.

Она ревновала его к кормилице, и когда проголодавшееся крохотное существо тянулось к полной груди с голубоватыми жилками и хватало жадными губами темный и сморщенный сосок, она смотрела, бледная и дрожащая, на сильную и спокойную крестьянку, испытывая желание вырвать у нее сына и ударить, изорвать ногтями эту грудь, которую он жадно сосал.

Затем она захотела сама вышивать, чтобы нарядить его во всевозможные изящные и затейливые наряды. Ребенок утопал в облаках кружев и был украшен роскошными чепчиками. Ни о чем, кроме него, она не могла говорить, прерывала разговор, чтобы дать полюбоваться пеленкой, нагрудником или какой-нибудь лентой великолепной работы; не слушая, о чем говорилось вокруг нее, она восхищалась, рассматривая что-либо из белья, долго вертела



во все стороны взятую вещь, чтобы лучше рассмотреть, а затем внезапно спрашивала:

— Как вы думаете, пойдет ему это?

Эта неистовая нежность вызывала улыбку у ее родителей. Между тем Жюльен, потревоженный в своих привычках, чувствуя, что его владычество в доме ослаблено с приходом этого горластого и всемогущего тирана, бессознательно ревнуя к этому кусочку человеческого мяса, который занял его место в доме, беспрестанно твердил с нетерпением и гневом:

— Как она несносна со своим мальчишкой!

Вскоре любовь захватила Жанну до такой степени, что она просиживала ночи напролет над колыбелью, глядя, как спит малютка. Но это болезненное и страстное созерцание чересчур изнуряло ее, она совсем не знала покоя, она слабела, худела, кашляла, и доктор распорядился разлучить ее с сыном.

Она сердилась, плакала, умоляла, но к ее просьбам остались глухи. Каждый вечер его стали относить к кормилице. И каждую ночь мать вставала и босиком отправлялась подслушивать у замочной скважины, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нуждается ли в чем-нибудь.

Однажды ее застал в таком положении Жюльен, поздно вернувшийся домой с обеда у Фурвилей, и с этих пор ее начали запираť на ключ в комнате, чтобы она не вставала с постели.

Крестины были в конце августа. Барон был крестным, тетя Лизон — крестной. Ребенку дали имя Пьер Симон Поль. Поль стало его обычным именем.

В первых числах сентября незаметно уехала тетя Лизон, и ее отсутствие было столь же неощутимо, как и присутствие.

Однажды после обеда пришел кюре. Он казался смущенным, словно должен был сообщить какую-то тайну; после короткого разговора на общие темы он попросил баронессу и ее мужа уделить ему несколько минут для частной беседы.

Они направились втроем медленным шагом в конец широкой аллеи, завязав оживленную беседу, между тем как Жюльен, оставшийся наедине с Жанной, удивлялся этой таинственности, тревожился и раздражался.

Он захотел проводить священника, когда тот откланялся, и они ушли вместе по направлению к церкви, где в эту минуту звонили анжелюс¹.

Было свежо, почти холодно, и скоро семейство собралось в гостиной. Всех начинало уже клонить ко сну, когда внезапно вбежал Жюльен, красный и негодующий.

Еще в дверях, не обращая внимания на присутствие Жанны, он крикнул тестю и теще:

— Вы совсем сумасшедшие, черт возьми! Вышвырнуть этой девке двадцать тысяч франков!

Никто не произнес ни слова, до того все были изумлены. Он продолжал прерывающимся от гнева голосом:

— Нельзя же дурить до такой степени; вы хотите оставить нас без гроша. Тогда барон, придя в себя, попытался остановить его:

— Замолчите! Помните, что вы говорите в присутствии вашей жены.

Но тот весь трясся от раздражения.

— Плевать мне на это; да вдобавок ей и так все известно. Это кража ее добра.

Жанна, пораженная, смотрела, ничего не понимая. Она пролепетала:

— Да в чем же дело наконец?

Тогда Жюльен, обернувшись, призвал ее в свидетели, как товарища, обманутого вместе с ним в общих расчетах. И сразу выложил о заговоре, имевшем целью выдать замуж Розали и подарить ей барвильскую ферму, стоившую по крайней мере двадцать тысяч. Он повторял:

— Твои родители с ума сошли, дорогая моя, окончательно с ума сошли! Двадцать тысяч франков! Двадцать тысяч! Да они свихнулись! Двадцать тысяч незаконному ребенку!

Жанна слушала его без волнения и без гнева, сама удивляясь своему спокойствию; она была теперь вполне равнодушна ко всему, что не касалось ее ребенка.

¹ *Ангел Господень* (лат. *Angelus Domini*) — католическая молитва, читаемая утром, в полдень и вечером (примеч. ред.).

Барон задыхался, не находя слов для ответа. Наконец он вспылал, затопал ногами и закричал:

— Думайте о том, что говорите; это, в конце концов, возмутительно! Чья вина, что нам приходится давать приданое этой девушке, ставшей матерью? Чей это ребенок? Вы хотели бы теперь его бросить?

Жюльен, удивленный гневом барона, смотрел на него во все глаза. Затем заговорил более сдержанно:

— Но и полутора тысяч было бы совершенно достаточно. Ведь они все заводят детей до замужества. Не все ли равно, от кого ребенок, это нисколько не меняет положения. Между тем если вы дарите ей ферму в двадцать тысяч, то, не говоря уже об ущербе, наносимом нам, вы тем самым кричите на весь мир о случившемся; вам следовало бы хоть немного подумать о нашем имени и нашем положении.

Он говорил строгим голосом, как человек, уверенный в своем праве и в логичности своих рассуждений. Барон, озадаченный неожиданной аргументацией, оторопело молчал, стоя перед ним. Тогда Жюльен, почувствовав свое превосходство, заключил:

— К счастью, дело еще не решено; я знаю парня, который собирается на ней жениться; это хороший малый, с ним можно сговориться. Я беру это на себя.

Он тотчас же вышел, опасаясь, видимо, продолжения споров, довольный общим молчанием и принимая его за согласие.

Едва он скрылся за дверью, барон воскликнул, весь дрожа, вне себя от изумления:

— О, это уж чересчур, это уж чересчур!

А Жанна, подняв взор на растерянное лицо отца, вдруг расхохоталась звонким смехом, как смеялась прежде, когда видела что-нибудь забавное.

Она повторяла:

— Папа, папа, а слышал ты, как он произнес: «Двадцать тысяч франков»?

Матушка, столь же быстро поддававшаяся веселости, как и слезам, расхохоталась своим задыхающимся смехом, от которого увлажнились ее глаза, как только вспомнила о свирепом лице зятя, его негодующих возгласах и резком отказе выдать соблазненной им девушке деньги, которые ему не принадлежали; к тому же она была счастлива при виде веселья Жанны. Тогда и барон, словно заразившись, начал смеяться, и все трое, как бывало в добрые старые времена, хохотали до упаду.

Когда они несколько успокоились, Жанна с удивлением заметила:

— Любопытно, что все это меня совсем не волнует. Я смотрю теперь на него как на чужого. Мне не верится, что я его жена. И видите, я смеюсь над его... над его... над его бестактностью.

И, сами не зная почему, все расцеловались, растроганные и улыбающиеся.

Два дня спустя, после завтрака, когда Жюльен уехал верхом, высокий парень лет двадцати двух или двадцати пяти, одетый в новую, топорщившуюся синюю блузу, с рукавами в виде пузырей, застегнутыми у запястий, осторожно



вошел в ворота с таким видом, словно выжидал этой минуты с самого утра; он прошел вдоль канавы, окружавшей ферму Кульяров, обогнул замок и неуверенными шагами приблизился к барону и дамам, сидевшим, по обыкновению, под платаном.

Завидя их, он снял фуражку и подошел, с явным смущением отвешивая поклоны.

Приблизившись настолько, что его можно было слышать, он пробормотал:

— Ваш покорный слуга, господин барон, баронесса и вся компания.

Потом, не получая ответа, он отрекомендовался:

— Это я — Дезире Лекок.

Имя ничего не разъяснило, и барон спросил:

— Что вам угодно?

Поняв, что необходимо объясниться, парень совсем смутился. Он невнятно заговорил, то опуская глаза к фуражке, которую держал в руках, то поднимая их к крыше замка:

— Господин кюре замолвил мне словечко насчет этого дела...

Тут он замолчал из боязни проболтаться и повредить своим интересам.

Барон, не понимая, спросил:

— Какого дела? Я ничего не знаю.

Парень, понижая голос, наконец отважился сказать:

— Насчет вашей служанки... Розали.

Жанна, догадавшись, встала и удалилась, держа ребенка на руках. А барон сказал: «Подойдите поближе» — и затем указал на стул.

Крестьянин тотчас же сел, пробормотав:

— Премного благодарен.

Потом стал ждать, словно ему нечего было более говорить. После довольно длительного молчания он решился наконец приступить к делу и устремил глаза на голубое небо:

— И хороша же погода по такому времени! Вот уж земля-то попользуется, для посевов!

Затем замолчал снова.

Барон потерял терпение и резко спросил:

— Так это вы женитесь на Розали?

Крестьянин оторопел: его, привыкшего к нормандскому лукавству, смутила прямота вопроса. Он ответил опасливо, хотя и более твердым тоном:

— Это смотря как; быть может, да, а быть может, и нет, смотря как.

Но барона взбесили его увертки.

— Черт побери! Да отвечайте прямо: для этого вы пришли сюда или нет? Берете вы ее или нет?

Парень в смущении упорно разглядывал собственные ноги.

— Если все обстоит так, как говорил господин кюре, я беру, а если так, как говорил мне господин Жюльен, — не беру.

— А что вам говорил господин Жюльен?

— Господин Жюльен сказал, что я получу тысячу пятьсот франков, а господин кюре говорил, что мне дадут двадцать тысяч; ну так я согласен за двадцать тысяч, но не согласен за тысячу пятьсот.

Баронессу, покоившуюся в кресле, начинала забавлять боязливая мина крестьянина. Последний искоса поглядывал на нее недовольным взглядом, не понимая ее веселости, и продолжал выжидать.

Барон, которому надоел этот торг, сразу разрешил дело:

— Я сказал господину кюре, что вы получите в пожизненное владение барвильскую ферму, которая перейдет к вашему ребенку. Она стоит двадцать тысяч франков. Я не изменю своему слову. Итак, да или нет?

Крестьянин улыбнулся с покорным и удовлетворенным видом и неожиданно сделался болтливым:

— Раз так, я не отказываюсь. За этим только и была задержка. Когда господин кюре говорил мне об этом деле, я мигом согласился, черт возьми, да и, кроме того, мне хотелось угодить господину барону, который уж сумеет вознаградить меня: так я и сказал себе. Ведь правда же, что когда люди делают одолжение друг другу, то рано или поздно они всегда сумеют сосчитаться и отблагодарить друг друга? Но господин Жюльен пришел ко мне, и оказалось, что это всего-навсего тысяча пятьсот. Я и подумал: «Надо посмотреть», — и вот я пришел. Не то чтоб я не доверял, нет, а просто хотел узнать. Счет дружбы не портит, не так ли, господин барон...

Чтобы его остановить, барон спросил:

— Когда же вы предполагаете заключить брак?

Крестьянин мгновенно сделался опять нерешительным и полным сомнений. Наконец он сказал, запинаясь:

— А разве мы не составим наперед маленькой бумажки?

Тут барон вскипел:

— Да черт подери, у вас же будет брачное свидетельство. Это самая лучшая из бумажек.

Крестьянин упорствовал:

— Все-таки пока что мы ее могли бы составить, это ведь не повредит.

Барон поднялся, чтобы покончить с делом:

— Отвечайте — да или нет, и притом тотчас же. Если вы не согласны, у меня есть другой жених.

Боязнь встретить соперника подействовала на хитрого нормандца. Он наконец решился и протянул руку, словно при покупке коровы:

— По рукам, господин барон, — кончено дело. Только дурак от этого откажется.

Барон ударил по рукам, затем крикнул:

— Людивина!

Кухарка высунулась в окно.

— Подайте-ка бутылку вина.

Они выпили, чтобы спрыснуть сделку. И парень удалился бодрым шагом.

Жюльену ничего не сказали об этом посещении. Контракт составлялся в большой тайне, а немного погодя, после оглашения, как-то в понедельник поутру, состоялась свадьба.

Одна из соседок несла в церковь малыша позади новобрачных как верный залог их будущего богатства. Никто в деревне не удивился: Дезире Лекоку только завидовали. «В сорочке родился», — говорили про него с лукавой усмешкой, но без малейшей тени негодования.

Жюльен устроил ужасную сцену, которая сократила пребывание его тещи и тестя в «Тополях». Жанна провожала их без особой печали, так как Поль сделался для нее теперь неисчерпаемым источником счастья.





IX

Когда Жанна совсем оправилась от родов, было решено отдать визит Фурвилям, а также представиться маркизу де Кутелье.

Жюльен только что купил на аукционе новый экипаж, одноконный фэзтон¹, чтобы иметь возможность выезжать два раза в месяц.

В ясный декабрьский день экипаж заложили и после двух часов пути по нормандским равнинам стали спускаться в небольшую долину, склоны которой были покрыты лесом, а посредине раскинулась пашня.

Вскоре пашня сменилась лугами, а луга — болотами, поросшими в это время года сухим камышом, длинные листья которого, похожие на желтые ленты, шелестели, развеваемые ветром.

Неожиданно за крутым поворотом долины показался замок Врильет; с одной стороны он упирался в лесистый склон, а с другой — стены его погружались в огромный пруд, за которым находился высокий сосновый лес, спускавшийся с противоположного склона долины.

Чтобы попасть во двор, где стоял изящный дом в стиле Людовика XIII, облицованный кирпичом, с угловыми башенками, крытыми шифером, нужно было проехать по старинному подъемному мосту и миновать огромный портал в том же стиле.

Жюльен объяснил Жанне назначение различных частей здания с видом завсегдатая, которому оно отлично известно. Он хвалил замок, восторгался его красотой.

¹ Фэзтон — конная коляска с открывающимся верхом (примеч. ред.).

— Посмотри на этот портал! Не правда ли, какое величественное зрелище? Весь тот фасад выходит прямо в пруд; там великолепное крыльцо, которое спускается к самой воде, причем у нижних ступенек прикреплены четыре лодки: две для графа и две для графини. Направо, где ты видишь ряд тополей, кончается пруд, и там начинается река, которая течет к Фекану. В этих местах пропасть дичи. Граф больше всего любит охотиться именно здесь. Да, вот это настоящее барское поместье!

Отворилась дверь, и показалась бледная графиня; она шла навстречу гостям, улыбаясь, одетая в платье со шлейфом, как владелица замка былых времен. Она казалась настоящей Дамой с озера¹, как бы созданной для этого сказочного замка.

В гостиной было восемь окон, из которых четыре выходили на пруд и на мрачный сосновый лес, покрывавший противоположный берег.

Темная зелень деревьев придавала пруду глубокий, строгий и угрюмый вид, а когда дул ветер, стон деревьев казался голосом, звучащим из болота.

Графиня взяла Жанну за обе руки, словно была ее подругой с самого детства, усадила гостью, а сама поместилась возле нее на низком стуле, в то время как Жюльен, который за последние пять месяцев вновь обрел прежнее изящество, добродушно и непринужденно болтал и смеялся.

Они с графиней говорили о своих прогулках верхом. Она слегка высмеивала его манеру ездить, называя его «Спотыкающимся всадником», а он тоже шутил, окрестив ее «Королевой амазонок». Выстрел, раздавшийся под окнами, заставил Жанну слегка вскрикнуть. Это граф убил чирка.

Жена тотчас же позвала его. Послышался шум весел, толчок лодки о камень, и появился граф, огромный, в сапогах; его сопровождали две мокрые собаки, рыжеватые, как и он сам, которые улеглись на ковре перед дверью.

У себя дома он казался непринужденнее и очень обрадовался гостям. Он велел подкинуть в камин дров, подать мадеры и печенья, а затем вдруг воскликнул:

— Вы остаетесь у нас обедать! Решено!

Жанна, которую никогда не покидала мысль о ребенке, отказалась, но граф настаивал, и так как она упорствовала, у Жюльена вырвался резкий, нетерпеливый жест. Тогда, боясь вызвать в нем злое, сварливое настроение, Жанна согласилась, хотя мысль, что она не увидит Поля до следующего утра, не давала ей покоя.

День прошел приятно. Сначала принялись за осмотр родников. Они били у подножия мшистой скалы, стекая в прозрачный водоем, где вода была все время в движении, точно закипала; затем проехали в лодке по настоящим дорожкам, прорезанным в чаще сухих камышей. Граф сидел на веслах между двух своих собак, которые приюхивались, подняв носы; каждый взмах весел

¹ Имеется в виду прекрасная героиня поэмы Вальтера Скотта «Дева озера» (1810) (примеч. ред.).

толкал тяжелую лодку вперед. Жанна время от времени окунала руку в холодную воду и наслаждалась ледяной свежестью, точно пробежавшей от пальцев к сердцу. Жюльен и закутанная в шаль графиня, сидя на корме, улыбались тою долго не сходящей с губ улыбкой счастливых людей, которым больше нечего желать.

Наступил вечер, принесся с собой леденящую дрожь от порывов северного ветра, игравшего в увядших камышах. Солнце закатилось за деревья; красное небо, испещренное причудливыми алыми облаками, одним своим видом уже вызывало ощущение холода.

Вернулись в огромную гостиную, где в камине пылал яркий огонь. Ощущение тепла и уюта радовало входивших еще у дверей. Развеселившийся граф схватил жену своими руками атлета, приподнял ее, как ребенка, до уровня своего рта и крепко чмокнул в обе щеки с видом добродушного и довольного человека.

Жанна, улыбаясь, глядела на этого великана, уже одними усищами своими похожего на людоеда, и думала: «Как часто мы ошибаемся в людях». Потом, почти невольно переведя взгляд на Жюльена, она увидела, что он стоит у двери, смертельно бледный, впившись взглядом в графа. Обеспокоенная, она подошла к мужу и спросила вполголоса:

— Тебе нездоровится? Что с тобой?

Он ответил со злостью:

— Ничего, оставь меня в покое. Мне холодно.

Когда перешли в столовую, граф попросил позволения впустить собак; они тотчас же явились и уселись по правую и по левую сторону от хозяина. Он ежеминутно бросал им куски и гладил их длинные шелковистые уши. Животные тянулись к нему мордами, махали хвостами, вздрагивая от удовольствия.

После обеда, когда Жанна и Жюльен собрались уезжать, господин де Фурвиль снова удержал их, желая показать им рыбную ловлю с факелом.

Он усадил их рядом с графиней на крыльце, спускавшемся в пруд, а сам сел в лодку вместе с лакеем, несшим рыболовную сеть и зажженный факел. Ночь была ясная и холодная; небо было усеяно золотыми звездами.

Факел расстилал по воде ленты причудливых, колеблющихся огней, бросал пляшущие отблески на камыши, освещал ряды сосен. И внезапно, когда лодка повернула, на этой освещенной опушке леса поднялась колоссальная фантастическая тень человека. Голова его была выше деревьев и терялась в небе, а ноги тонули в пруду. Гигантское существо подняло руки, точно желая схватить звезды. Эти громадные руки вдруг вытянулись, затем упали, и тотчас же послышался легкий всплеск воды.

Тогда лодка вновь сделала медленный поворот, и чудесный призрак пробежал вдоль освещенного леса; потом он слился с невидимым горизонтом, а немного погодя вдруг появился снова, теперь уже на фасаде замка, не такой огромный, но более отчетливый, с присущими ему странными движениями.



Послышался грубый голос графа:

— Жильберта, я поймал восемь штук!

Весла ударили по воде. Громадная тень стояла теперь неподвижно на стене, мало-помалу уменьшаясь в росте и ширине; голова ее словно опускалась, а тело тощало, и когда господин де Фурвиль поднялся по ступенькам крыльца, по-прежнему в сопровождении лакея, несшего факел, тень свелась уже к размерам его собственной особы и вторила всем его движениям.

В сетке у него трепетали восемь крупных рыб.

Когда Жанна с Жюльеном ехали обратно, закутавшись в плащи и пледы, которые им одолжили, она почти невольно сказала:

— Какой славный этот великан!

Жюльен, правивший лошадью, отвечал:

— Да, только не всегда умеет держать себя в обществе.

Неделю спустя они поехали к Кутелье, которые считались самой аристократической семьей в округе. Их имение Реминиль находилось рядом с большим поселком Кани. Новый замок, выстроенный при Людовике XIV, скрывался в великолепном парке, обнесенном стеною. На холме виднелись развалины старинного замка. Парадно разодетые лакеи ввели гостей в величественные покои. Посредине на колонне стояла громадная ваза северского фарфора, а на цоколе под стеклом было помещено собственноручное письмо короля, предлагавшее маркизу Леопольду Эрве Жозефу Жерме де Варневиль де Рольбоск де Кутелье принять этот дар монарха.

Жанна и Жюльен рассматривали королевский подарок, когда вышли маркиз и его жена. Маркиза была напудрена, учтивая по долгу хозяйки и несколько жеманна из желания казаться благосклонной. Муж, толстый человек с седыми подвитыми волосами, придавал своим жестам, тону, манере держать себя нечто высокомерное, что должно было говорить о его значительности.

То были люди этикета, у которых ум, чувства и речи, казалось, всегда стояли на ходулях.

Они говорили одни, не ожидая, что им ответят, безразлично улыбаясь, и, казалось, только исполняли возложенную на них рождением обязанность любезно принимать окрестных мелких дворян.

Жанна и Жюльен чувствовали себя крайне смущенно, старались произвести хорошее впечатление, стеснялись оставаться долго и не знали, как уехать; но маркиза сама естественно и просто положила конец их визиту, прекратив разговор подобно милостивой королеве, кончающей аудиенцию.

На обратном пути Жюльен сказал:

— Если ты ничего не имеешь против, мы ограничимся этими визитами; с меня довольно и одних Фурвилей.

Жанна разделяла его мнение.

Медленно тянулся декабрь, этот черный месяц, подобный угрюмому провалу в конце года. Началась жизнь взаперти, по-прошлогоднему. Однако Жанна не скучала, потому что постоянно была занята Полем, на которого Жюльен кидал искоса беспокойные, недовольные взгляды.

Нередко мать, держа его на руках и лаская с безумной нежностью, которую женщины щедро расточают своим детям, протягивала ребенка отцу, говоря:

— Да поцелуй же его; можно подумать, что ты его не любишь.

Он с неудовольствием слегка касался губами безволосого лба малютки, выгибаясь всем телом, словно для того, чтобы не встретить маленьких, скрюченных, постояннодвигающихся рученок, и быстро выходил из комнаты, как будто его гнало отвращение.

Мэр, доктор и кюре изредка приходили обедать; время от времени бывали Фурвили, связь с которыми все более и более крепла.

Граф, казалось, обожал Поля. Он держал его у себя на коленях во время своих визитов, а если дело было после полудня — то и по целым часам. Он бережно обхватывал его своими руками гиганта, щекотал ему нос кончиками своих длинных усов, а потом начинал целовать его в страстном порыве, как целуют только матери. Он постоянно страдал от того, что брак их бездетен.

Март был ясный, сухой и почти теплый. Графиня Жильберта снова стала поговаривать о прогулках верхом, которые можно было предпринимать теперь всем четверым вместе. Жанна, слегка утомленная однообразием и монотонностью долгих вечеров, долгих ночей и долгих дней, согласилась, придя в восторг от этого плана, и целую неделю развлекалась шитьем амазонки.

Затем начались прогулки. Ездили всегда парами: графиня с Жюльеном впереди, граф с Жанной шагов на сто позади. Последние болтали спокойно, как друзья: одинаковая прямота душ и простота сердец сдружили их; первая пара беседовала часто шепотом, иногда порывисто смеялась, внезапно взглядывала друг на друга, как будто глаза говорили много такого, чего не произносили губы, и неожиданно пускалась галопом, чувствуя желание бежать, уехать далеко, как можно дальше.

Потом Жильберта стала раздражительной. Ее резкий голос, приносимый порывами ветра, долетал иногда до ушей отставших всадников. Граф улыбался и говорил Жанне:

— Моя жена не каждый день встает с правой ноги.

Однажды вечером, на обратном пути, когда графиня то нахлестывала и прищипоривала свою лошадь, то внезапно осаживала ее, можно было слышать, как Жюльен несколько раз повторил:

— Осторожнее, осторожнее, она понесет.

Графиня отвечала: «Пусть, это не ваше дело», — и голос ее был так резок и звонок, что слова ясно прозвучали на равнине и словно повисли в воздухе.

Животное поднималось на дыбы, лягалось, изо рта у него шла пена. Встреченный граф крикнул вдруг изо всей силы:

— Будь же осторожна, Жильберта!

Тогда, словно назло, поддаваясь одному из тех приступов женской нервности, которые ничто не в силах остановить, она жестоко ударила хлыстом лошадь между ушей; взбесившееся животное встало на дыбы, рассекая воздух передними ногами, сделало чудовищный прыжок и изо всех сил помчалось по равнине.

Сначала оно пересекло луг, затем понеслось по вспаханному полю, и, взметая, точно пыль, влажную, жирную землю, мчалось так быстро, что едва можно было различить лошадь и наездницу.

Ошеломленный Жюльен остался на месте, безнадежно взывая:

— Мадам! Мадам!

Но у графа вырвалось какое-то рычание, и, пригнувшись к шее своей грузной лошади, он принудил ее броском всего своего корпуса ринуться вперед; он помчался с такой стремительностью, возбуждая, увлекая и разъяря лошадь голосом, движениями и ударами шпор, что казалось, будто это сам громадный всадник несет тяжелое животное между ног и поднимает его с собою, точно желая улететь. Они скакали с невообразимой быстротой, и Жанна видела, что два силуэта, жены и мужа, неслись, неслись, уменьшались, стирались и пропадали, подобно тому, как две птицы, преследующие друг друга, теряются и исчезают на горизонте.



Тогда Жюльен шагом подъехал к Жанне, злобно бормоча:

— Кажется, сегодня она совсем спятила.

Они поехали вслед за своими друзьями, скрывшимися теперь за косогором.

Спустя четверть часа они увидели, что те возвращаются, и вскоре все соединились.

Граф, красный, потный, смеющийся, довольный, торжествующий, сдерживал непреодолимой хваткой трепетавшую лошадь жены. Графиня была бледна, на лице ее было страдальческое выражение, и она одной рукой опиралась о плечо мужа, словно готова была лишиться чувств.

В этот день Жанна поняла, что граф безумно любит свою жену.

В течение следующего месяца графиня была весела, как никогда. Она стала чаще приезжать в «Тополя», смеялась без умолку, целовала Жанну в порыве нежности. Можно было подумать, что нечто таинственное и восторженное вошло в ее жизнь. Ее муж, тоже счастливый, не спускал с нее глаз и ежеминутно, с удвоенной страстью, старался коснуться ее руки или платья.

Однажды вечером он сказал Жанне:

— Теперь мы очень счастливы. Никогда еще Жильберта не была так мила. У нее больше не бывает дурного настроения и припадков гнева. Я чувствую, что она меня любит. До сих пор я не был в этом уверен.

Казалось, и Жюльен тоже переменялся, он стал веселее и не был так нетерпим, дружба двух семей точно принесла каждой из них покой и радость.

Весна была исключительно ранняя и теплая.

Целыми днями, начиная с тихого утра до наступления спокойного сыроватого вечера, жаркое солнце вызывало всю растительность к жизни. То был одновременный, быстрый и могучий рост всех семян, непреодолимый напор жизненных соков, страсть возрождения, которую природа проявляет иногда в особо удачные годы, и тогда кажется, что молодеет весь мир.

Жанна смутно волновалась под влиянием этого брожения жизни. При виде какого-нибудь цветка в траве она ощущала внезапную истому и переживала часы упоительной грусти, мечтательной неги.

Потом на нее нахлынули нежащие воспоминания первых дней любви: не то чтобы прежняя привязанность к Жюльену вернулась в ее сердце — с этим было покончено, покончено навсегда, — но все ее тело, ласкаемое ветром, пропитывавшееся весенними ароматами, трепетало, словно пробужденное каким-то невидимым и нежным призывом.

Она любила быть одной, отдаваться солнечному теплу, чувствовать себя во власти неопределенной и чистой радости и ощущений, не будивших в ней никаких мыслей.

Однажды утром, когда она находилась в таком состоянии полудремоты, ей внезапно представилось одно видение: залитый солнцем просвет в темной листве маленького леса близ Этрета. Там впервые извела она, как затрепетало ее тело от близости молодого человека, любившего ее; там он впервые

шепнул ей о робком желании своего сердца; там она почувствовала, что достигла вдруг ожидаемого лучезарного будущего, о котором так много мечтала.

Ей захотелось вновь увидеть этот лесок, совершить туда сентиментальное и суеверное паломничество, словно возврат к тому месту мог изменить что-либо в ходе ее жизни.

Жюльен уехал с раннего утра, и она не знала куда. Жанна приказала оседлать белую лошадку Мартенов, на которой теперь иногда каталась, и пустилась в путь.

Был один из тех тихих дней, когда ничто не шелохнется — ни травка, ни лист, когда все как бы замирает в неподвижности до скончания века, словно умер сам ветер. Казалось, даже насекомые исчезли.

Знойный и властный покой незаметно нисходил от солнца, рассеиваясь золотистой дымкой. Жанна ехала шагом, убаюканная и счастливая. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на крошечное белое облако, величиной с кусок ваты, походившее на клочок повисшего пара, забытое, брошенное, одинокое там, вверху, среди голубого неба.

Она спустилась в долину, выходящую к морю между высоких скалистых арок, известных под именем ворот Этрета, и потихоньку углубилась в лес. Потоки света лились сквозь жидкую молодую листву. Она искала знакомое место, блуждая по узким дорожкам, и не могла его найти.

Вдруг, пересекая длинную аллею, она увидела в конце ее двух оседланных лошадей, привязанных к дереву; она тотчас же узнала их: то были лошади Жильберты и Жюльена. Одиночество начинало тяготить ее, она была рада этой неожиданной встрече и погнала рысью свою лошадь.

Подъехав к терпеливым животным, словно привыкшим к таким долгим стоянкам, Жанна позвала. Ей не ответили.

Женская перчатка и два хлыста валялись на измятой траве. Они, по видимому, сидели здесь, а затем ушли, оставив лошадей.

Она прождала четверть часа, двадцать минут, удивляясь, недоумевая, что бы такое могли они делать. Она слезла с лошади и стояла не двигаясь, прислоняясь к стволу дерева, и две маленькие птички, не замечая ее, спустились по соседству на траву. Одна из них волновалась, прыгала вокруг другой, трепеща распушенными крылышками, кивая головкой и чирикая; и вдруг они соединились.

Жанна была удивлена, точно никогда раньше и не знала об этом, но затем подумала: «Правда, ведь теперь весна».

Вслед за этим ей пришла в голову другая мысль, скорее подозрение. Она вновь взглянула на перчатку, на хлысты, на двух оставленных лошадей и вдруг вскочила в седло с непреодолимым желанием бежать.

Теперь она мчалась галопом, возвращаясь в «Тополя». Голова ее работала, размышляя, связывая факты, сближая обстоятельства. Как не догадалась она об этом раньше? Как могла ничего не видеть? Как было не понять отлучек Жюльена, возрождения его бывшего щегольства и смягчения его нрава?

Ей вспомнились также нервные выходки Жильберты, ее преувеличенная ласковость, а с некоторого времени та атмосфера блаженства, в которой жила графиня и чем был так счастлив граф.

Она пустила лошадь шагом, так как ей нужно было серьезно подумать, а быстрая езда путала мысли.

После первого пережитого волнения сердце ее почти успокоилось; ни ревности, ни ненависти не было в нем, а только одно презрение. Она совсем не думала о Жюльене; ничто в нем уже не удивляло ее; но двойная измена графини, подруги, ее возмущала. Значит, все на свете коварны, лживы и вероломны. Слезы выступили у нее на глазах. Разбитые иллюзии иногда оплакиваешь, как покойника.

Однако она решила притвориться, что ничего не знает, закрыть душу для мимолетных привязанностей и не любить никого, кроме Поля и родителей, а ко всем остальным относиться с терпеливым спокойствием.

Приехав домой, она тотчас же бросилась к сыну, унесла его в свою комнату и целый час страстно целовала его.

Жюльен вернулся к обеду, пленительный, улыбающийся, полный предупредительности.

— Разве отец и матушка не приедут в этом году? — спросил он.

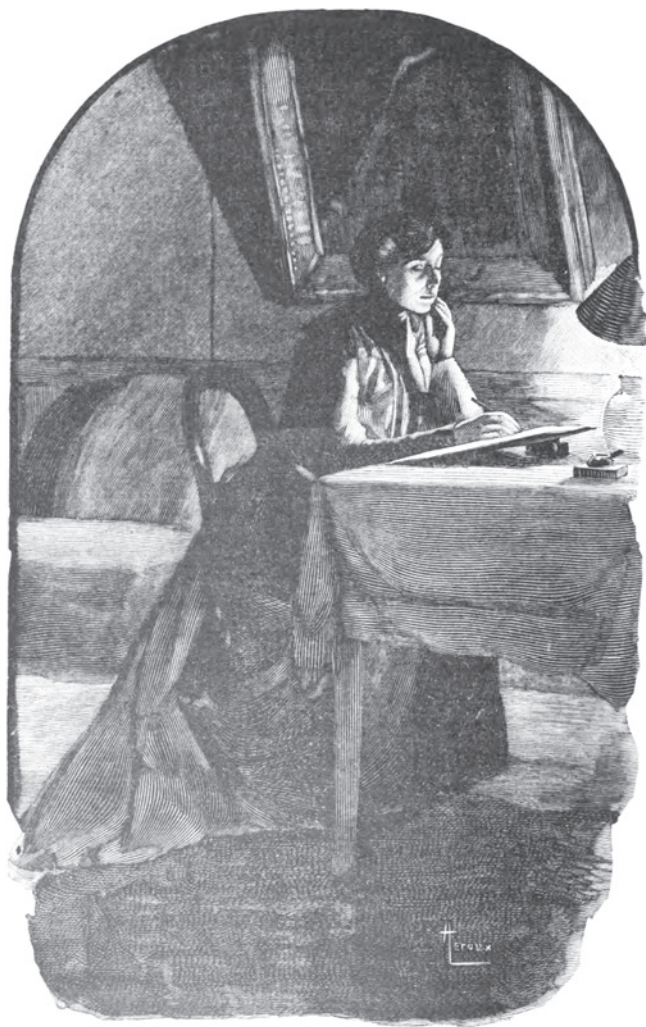
Жанна была ему так благодарна за эту любезность, что почти простила сделанное в лесу открытие, и ее охватило вдруг страстное желание поскорее увидеть два единственных существа, которых после Поля она любит больше всего на свете; она провела весь вечер за письмом к ним, убеждая их ускорить свой приезд.

Они сообщили, что приедут двадцатого мая. Теперь же было только седьмое число.

Жанна поджидала их с возрастающим нетерпением, словно, помимо дочерней любви, у нее явилась новая потребность приобщиться своим сердцем к их честным сердцам, поговорить откровенно с чистыми людьми, чуждыми всякой низости, вся жизнь которых, все поступки, все мысли и все желания были всегда правдивы.

То, что она чувствовала теперь, было чем-то вроде стремления оградить свою совесть от всех окружавших ее падений; хотя она сразу научилась скрывать, хотя она встречала графиню, улыбаясь и протягивая ей руку, она все же сознавала, что ощущение пустоты и презрения к людям в ней все растет и как бы окутывает ее всю. И каждый день мелкие новости местной жизни вселяли в ее душу все большее отвращение, все большее пренебрежение к людям.

Дочь Кульяров только что родила ребенка; должна была состояться свадьба. Сирота, служанка Мартенов, была беременна; пятнадцатилетняя девушка с соседней фермы беременна; одна вдова, бедная, хромота и противная женщина, прозванная «грязнухой», до того ужасна была ее нечистоплотность, также была беременна.



То и дело узнавали о новой беременности, о любовных проделках девушки или замужней крестьянки, матери семейства, или о шашнях богатого уважаемого фермера.

Эта бурная весна, казалось, возбуждала жизненные соки в людях так же, как и в растениях.

И Жанна, в которой чувства угасли и не волновались, сердце которой было разбито и только сентиментальная душа еще откликалась на теплые плодотворные дуновения, Жанна, грезившая, возбуждавшаяся без желаний, воодушевлявшаяся лишь мечтами, глухая к требованиям плоти, поражалась этому грязному скотству и была полна отвращения, граничившего с ненавистью.

Совокупление живых существ вызывало теперь ее негодование как нечто противоестественное, и если она сердилась на Жильберту, то не за то, что та отняла у нее мужа, а за самый факт участия во всеобщем распутстве.

Ведь она, эта женщина, не принадлежала к деревенщине, у которой господствуют низменные инстинкты. Как же могла она погрязнуть в пороке, уподобляясь всем этим животным?

В тот день, когда должны были приехать родители Жанны, Жюльен разбредил это отвращение жены, весело рассказав ей как нечто естественное и забавное, что местный булочник, услышав в тот день, когда хлеба не пекли, какой-то шум в печи, думал настигнуть там приبلудного кота, а вместо того нашел там собственную жену, которая отнюдь «не хлебы в печь сажала».

Он прибавил:

— Булочник заложил отверстие печи, и они совсем было уж задохлись там, да сынишка булочницы позвал соседей, потому что видел, как его мать залезла в печь с кузнецом.

И Жюльен хохотал, повторяя:

— Они заставляют нас есть хлеб любви, проказники! Настоящий рассказ Лафонтена!

Жанна после этого не могла притронуться к хлебу.

Когда почтовая карета остановилась у подъезда и за стеклом ее дверцы показалось счастливое лицо барона, молодая женщина ощутила в душе и сердце глубокое волнение, бурный порыв любви, какого она еще никогда не испытывала.

Но, увидев матушку, она была так поражена, что едва не лишилась чувств. За эти шесть зимних месяцев баронесса постарела на десять лет. Ее огромные, одутловатые, отвисшие щеки стали багровыми, словно налившись кровью; глаза, казалось, угасли; она передвигалась, только когда ее поддерживали с обеих сторон; ее тяжелое дыхание стало свистящим и было так затруднено, что окружающие испытывали близ нее чувство мучительной стесненности.

Барон, видя ее изо дня в день, не замечал этого разрушения, а когда она жаловалась на постоянные удушья и возраставшую тучность, он говорил:

— Да нет же, дорогая, я всегда знал вас такой.

Жанна, взволнованная, растерянная, отвела родителей в их комнату и вернулась к себе, чтобы поплакать. Затем отыскала отца и бросилась к нему на грудь; глаза ее еще были полны слез.

— О, как изменилась матушка! Что с ней, скажи мне, что с ней?

Барон крайне удивился и отвечал:

— Тебе так кажется? Что за фантазия! Да нет же. Я постоянно при ней и уверяю тебя, что не нахожу ухудшения; она такая же, как всегда.

Вечером Жюльен сказал жене:

— Дела твоей матери плохи. Я думаю, конец близок.

И так как Жанна разразилась рыданиями, он вышел из себя:

— Да ну же, перестань, я ведь не говорю, что она кончается. Ты всегда все страшно преувеличиваешь. Она изменилась, вот и все, да это неудивительно в ее годы.

Через неделю Жанна уже больше не думала об этом, привыкнув к переменам в лице матери, а может быть, отгоняя опасения, как всегда отгоняют и отбрасывают грозные страхи и заботы, повинувшись какому-то эгоистическому инстинкту и естественной потребности в душевном покое.

Баронесса, не будучи в состоянии теперь ходить долго, выбиралась из дому всего на полчаса в день. Пройдя один раз по «своей» аллее, она не могла уже больше двигаться и просила, чтобы ее усадили на «ее» скамейку. А когда она не в состоянии была довести до конца прогулку, то говорила:

— Отдохнем немного; из-за гипертрофии у меня сегодня отнимаются ноги.

Она почти перестала смеяться и только чуть улыбалась тому, от чего еще в прошлом году заразительно смеялась. Но зрение оставалось у нее прекрасным, и она проводила целые дни, перечитывая «Коринну» или «Размышления» Ламартина¹; затем просила, чтобы ей принесли «ящик воспоминаний». И, вывалив на колени старые, дорогие ее сердцу письма, она ставила ящик возле себя на стул и укладывала обратно туда свои «реликвии», медленно перечитывая одно за другим каждое письмо. Когда же она бывала одна, совсем одна, то целовала некоторые из них, как втайне целуют волосы умерших, когда-то любимых людей.

Иногда Жанна, войдя неожиданно, заставляла ее плачущей, плачущей горькими слезами.

Она восклицала:

— Что с тобой, маменька?

И баронесса, протяжно вздохнув, отвечала:

— Это виноваты мои «реликвии». Перебираешь вещи, которые были так хороши и так безвозвратно миновали! И кроме того, снова вдруг находишь уже забытых людей. Как будто еще видишь их, еще слышишь их голос, и это производит ужасное впечатление. Со временем и ты узнаешь это.

Если барон случайно появлялся в эти минуты меланхолии, он тихо говорил:

— Жанна, дорогая моя, поверь мне, сжигай все письма — и мамины, и мои, все. Ничего нет ужасней, когда мы, став стариками, начинаем перетрашивать нашу молодость.

Но Жанна также хранила свою переписку и готовила свой «ящик реликвий», повинувшись, несмотря на полное несходство с матерью, какому-то наследственному инстинкту мечтательной чувствительности.

Через несколько дней барону пришлось уехать по делу.

Погода стояла прекрасная. Тихие ночи в блеске бесчисленных звезд следовали за спокойными вечерами, ясные вечера — за лучезарными днями, лучезарные дни — за сверкающими зорями. Вскоре матушка почувствовала себя лучше, и Жанна, забыв про любовные похождения Жюльена и коварство Жильберты, ощущала себя почти совсем счастливой. Вся местность кругом

¹ *Альфонс де Ламартин* (1790–1869) — один из крупнейших поэтов французского романтизма (примеч. ред.).

цвела и благоухала, а широкое, спокойное море переливалось на солнце с утра до вечера.

Однажды после полудня Жанна взяла ребенка на руки и пошла с ним в поле. Она глядела то на сына, то на траву, пестревшую цветами вдоль дороги, и сердце ее размягчилось в беспредельном счастье. Ежеминутно она целовала Поля и страстно прижимала его к себе; иногда чудесный аромат веял на нее с лугов, и она чувствовала себя ослабевшей, растворившейся в бесконечном блаженстве. Затем она стала мечтать о будущем ребенка. Что-то из него выйдет? Иногда ей хотелось, чтобы он был великим, знаменитым, могущественным. В другой раз она предпочитала видеть его безвестным и оставшимся подле нее, преданным, нежным, всегда полным любви к матери. Когда она любила эгоистическим сердцем матери, она желала, чтобы он оставался ее сыном, только ее сыном; но когда она любила его своим страстным воображением, она честолюбиво мечтала, чтобы он стал чем-нибудь для всего мира.

Она уселась на краю канавы и принялась глядеть на него. Ей казалось, что она никогда еще его не видела. Она вдруг удивилась при мысли, что это маленькое существо станет большим, что оно будет ходить твердыми шагами, что оно обрстет бородой и станет говорить звучным голосом.

Кто-то позвал ее издали. Она подняла голову. К ней бежал Маринус. Она подумала, что приехали гости, и встала, недовольная, что ее потревожили. Но мальчик бежал со всех ног и, приблизившись, закричал:

— Госпожа, баронессе очень плохо!

Ей показалось, что по спине у нее поползла капля холодной воды; она пошла к дому, быстро шагая, чувствуя, что ее рассудок мутится.

Уже издали увидела она толпу людей под платаном. Жанна бросилась вперед, перед ней расступились, и она увидела мать, лежащую на земле, с двумя подушками под головой. Лицо ее было совсем черное, глаза закрыты, а грудь, уже двадцать лет так тяжело дышавшая, больше не двигалась. Кормилица выхватила ребенка из рук молодой женщины и унесла его.

Жанна растерянно спрашивала:

— Что случилось? Как она упала? Бегите за доктором.

Обернувшись, она увидела кюре, каким-то образом узнавшего о происшедшем. Он предложил свои услуги и поспешно засучил рукава сутаны. Но ничего не помогало: ни укус, ни одеколон, ни растирания.

— Нужно ее раздеть и уложить в постель, — сказал священник.

Фермер Жозеф Кульяр был здесь вместе с дядей Симоном и Людивиной. С помощью аббата Пико они хотели было отнести баронессу, но когда ее приподняли, голова мамочки запрокинулась назад, а платье, за которое они ухватились, разорвалось; тучное тело было чересчур тяжело, и держать его было трудно. Жанна закричала от ужаса. Огромное дряблое тело снова положили на землю.

Пришлось принести из гостиной кресло; посадив в него баронессу, ее смогли наконец поднять. Шаг за шагом взошли на крыльцо, затем на лестницу,



дошли до спальни и положили тело на постель.

Так как кухарка возилась бесконечно долго, снимая платье со своей госпожи, вдова Дантю оказалась весьма кстати; она явилась неожиданно, как и священник: они словно «почуяли смерть», по выражению прислуги.

Жозеф Кульяр помчался во весь опор за доктором, а когда аббат собрался принести миро¹, сиделка шепнула ему на ухо:

— Не трудитесь, господин кюре, я понимаю кое-что в этом деле: она уже отошла.

Жанна, обезумев, умоляла о помощи, не зная, что предпринять, какое употребить средство. Священник на всякий случай произнес отпущение грехов.

Почти два часа простояли все в ожидании у посиневшего, безжизненного тела. Упав на колени, Жанна рыдала, раздираемая тоской и горем.

Когда открылась дверь и вошел доктор, ей показалось, что с ним явились спасение, надежда, утешение; она бросилась к нему, несвязно передавая все, что знала о случившемся:

— Она гуляла, как всегда... чувствовала себя хорошо... даже очень хорошо... за завтраком съела бульону и два яйца... и вдруг упала... и почернела, как видите... и больше не двигалась... мы испробовали все, чтобы привести ее в чувство... все...

Она замолкла, пораженная жестом сиделки, которым та исподтишка давала понять доктору, что уже кончено, все кончено. Отказываясь верить этому жесту, Жанна тоскливо и вопрошающе повторяла:

— Это серьезно? Вы думаете, это опасно?

Наконец доктор сказал:

— Я сильно опасуюсь, что это... что это... конец. Соберитесь с мужеством, со всем мужеством.

И, раскинув руки, Жанна бросилась на тело матери.

Вошел Жюльен. Он был ошеломлен и, видимо, раздосадован; у него не вырвалось возгласа явного горя или отчаяния; он оказался захваченным врасплох и не успел подготовить подобающее случаю выражение лица и позу. Он проговорил:

¹ *Миро* — в христианстве специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания (*примеч. ред.*).

— Я ожидал этого, я чувствовал, что конец близок.

Потом вынул носовой платок, вытер глаза, преклонил колена, перекрестился, пробормотал что-то и, вставая, хотел также приподнять жену. Но она крепко уцепилась за труп, целовала его и почти лежала на нем. Пришлось ее унести. Казалось, она сошла с ума.

Через час ей позволили вернуться. Никакой надежды больше не оставалось. Спальня теперь была превращена в комнату, где лежит покойник. Жюльен и священник тихо беседовали у окна. Вдова Дантю, расположившись поудобнее в кресле — она ведь привыкла дежурить возле усопших — и чувствуя себя дома с той минуты, как здесь появилась смерть, казалось, уже спала.

Наступила ночь. Кюре подошел к Жанне, взял ее за руку и старался ободрить, изливая на ее безутешное сердце елейную волну духовных увещаний. Он заговорил об усопшей, восхваляя ее, употребляя церковные выражения, и с притворной печалью священника, для которого трупы только прибыльны, предложил провести ночь в молитве возле тела.

Но Жанна, судорожно рыдая, отказалась. Она хотела остаться одна, совсем одна, в эту прощальную ночь. Жюльен подошел к ней:

— Это невозможно, я останусь с тобою.

Знаком головы она отвечала «нет», не имея сил сказать больше. Наконец она смогла произнести:

— Это моя мать, моя мать. И я хочу быть одна с ней в эту ночь.

Доктор посоветовал:

— Сделайте, как она хочет; сиделка может остаться в соседней комнате.

Священник и Жюльен согласились, подумав о своих постелях. Затем аббат Пико преклонил колена, помолился, поднялся и вышел со словами: «Это была праведница», — сказанными тем же самым тоном, каким он произносил: «*Dominus vobiscum*».¹

Тогда виконт обратился к Жанне уже обычным голосом:

— Не хочешь ли закусить?

Жанна не ответила, так как не догадывалась, что вопрос относится к ней.

Он повторил:

— Тебе следовало бы поесть немного, чтобы поддержать себя.

Она сказала растерянно:

— Пошли сейчас же за папой.

И он вышел, чтобы отправить верхового в Руан.

Она оцепенела, погрузившись в горе, словно и ожидала этого последнего часа пребывания наедине с матерью, чтобы отдаться уносящему ее потоку безнадежной скорби.

Тени наполнили комнату, окутывая мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно бродила, отыскивая невидимые предметы и раскладывая их беззвучными движениями сиделки.

¹ Господь с вами (лат.).

Затем она зажгла и тихонько поставила две свечи у изголовья постели на ночной столик, покрытый белой салфеткой.

Жанна, казалось, ничего не видела, ничего не чувствовала, ничего не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Вошел Жюльен; он пообедал и снова обратился к Жанне с вопросом:

— Ты не хочешь ничего поесть?

Жанна движением головы отвечала: «Нет».

Он сел, скорее с покорным, чем с грустным видом, и молчал.

Они сидели вдвоем, далеко друг от друга, не двигаясь.

Минутами сиделка, засыпая, слегка всхрапывала, но вдруг снова просыпалась.

Жюльен встал наконец и подошел к Жанне:

— Хочешь теперь побыть одна?

В невольном порыве она схватила его за руку:

— О да, оставьте меня.

Он поцеловал ее в лоб, сказав:

— Я буду заходить к тебе время от времени.

Он вышел с вдовою Дантю, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату.

Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна. Прямо в лицо ей пахнуло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом.

Это сладкое ощущение причинило ей боль, уязвило, словно насмешка.

Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную, холодную руку и принялась смотреть в лицо матери.

У нее уже не было отека, как в минуту удара; она, казалось, спала теперь, и спокойнее, чем когда-либо; бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещало тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась.

Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний.

Она припомнила посещения мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, интонации, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло.

Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отупении: «Умерла!», — и весь ужас этого слова вставал перед нею.

Лежащая здесь — мать — мамочка — мама Аделаида — умерла! Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки; она не скажет больше: «Здравствуй, Жанетта». Она умерла!

Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как, у нее не будет матери? Это милое и столь

дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которое она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия, этот неистощимый источник любви, мать, это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло! Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения; а затем — ничего, больше ничего, одно лишь воспоминание.

Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния и, сжимая простыни сведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяла:

— О мама, бедная мама, мама!

Затем, чувствуя, что рассудок ей изменяет, как в ту ночь, когда она бежала по снегу, она встала и подошла к окну освежиться, вдохнуть чистого воздуха, который не был бы воздухом этой постели, воздухом умершей.

Скошенные лужайки, деревья, ланда и море вдали лежали в молчаливом покое, заснув под нежным очарованием луны. Эта мирная тишина слегка проникла и в душу Жанны, и она принялась тихо плакать.

Затем она вернулась к кровати и села, снова взяв в свои руки руку мамочки, словно бодрствуя над нею во время болезни.

В комнату влетело огромное насекомое, привлеченное свечами. Оно билось о стены, как мяч, летало по комнате из конца в конец. Жанна, отвлеченная его жужжащим полетом, подняла глаза, но увидела только блуждающую тень на белом потолке.

Вскоре его не стало слышно. Тогда Жанна различила слабое тиканье стенных часов и другой звук, похожий скорее на неуловимый шорох. То были мамочкины часы, продолжавшие идти и забытые в платье, брошенном на стул, в ногах постели. И внезапно смутное сопоставление этой смерти с механизмом, который не останавливался, снова оживило острую боль в сердце Жанны.

Она взглянула на часы. Не было еще и половины одиннадцатого; ее охватил ужас при мысли, что она должна провести здесь всю ночь.

Другие воспоминания приходили ей на память, воспоминания из ее собственной жизни — Розали, Жильберта, — горькие разочарования ее сердца. Все в мире — лишь страдание, горе, несчастье и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где найти немного покоя и радости? В иной жизни, конечно, когда душа освободится от земных испытаний. Душа! Она принялась думать об этой непостижимой тайне, отдавшись вдруг власти поэтических доводов, которые вслед за тем опрокидывались другими, не менее смутными гипотезами. Где же теперь душа ее матери, душа этого неподвижного и ледяного тела? Быть может, очень далеко. Значит, где-нибудь в пространстве? Но где? Развеваясь ли она подобно благоуханию засохшего цветка? Исчезла ли, как невидимая птица, выпорхнувшая из клетки?

Призвана ли она к Богу? Или рассеялась неведомо где, среди новых творений, соединившись с зернами, готовыми прорасти?



Быть может, она очень близко? Быть может, реет в этой же комнате, вокруг этого безжизненного тела, покинутого ею? И вдруг Жанна почувствовала, как ее коснулось какое-то легкое веяние, точно прикосновение духа. Ее охватил страх, такой сильный, такой бурный страх, что она уже не смела больше ни двигаться, ни дышать, ни повернуться, чтобы взглянуть назад. Сердце ее тревожно билось.

Невидимое насекомое внезапно снова принялось летать и, кружась, ударяться о стены. Она задрожала с головы до ног, но, узнав жужжание крылатого насекомого, успокоилась, встала и обернулась. Ее глаза упали на секретер с головами сфинкса, где хранились «реликвии».

Нежная и странная мысль пришла ей в голову: прочесть в эту ночь последнего бдения — как священную книгу — старые письма, дорогие покойной. Ей показалось, что она совершит священный, чуткий и поистине дочерний долг и что это понравится мамочке в ином мире.

То была старая бабушкина и дедушкина переписка, которую Жанна никогда не читала. Ей хотелось протянуть им руки над телом их дочери, уйти к ним в эту печальную ночь, словно они так же страдают, завязать таинственную цепь любви между ними, умершими уже давно, тою, которая только что перестала существовать, и собою, еще оставшейся на земле.

Она встала, откинула крышку секретера и взяла из нижнего ящичка десяток маленьких свертков пожелтевшей бумаги, перевязанных в порядке и размещенных друг возле друга.

С каким-то особым смыслом она положила все их на постель, под руки баронессы, и принялась за чтение.

Это были старые послания, которые находишь в старинных фамильных секретерах, послания, от которых веет минувшим веком.

Первое письмо начиналось словами: «Моя дорогая». Второе — «Моя прелестная дочурка»; затем следовали обращения: «Дорогая малютка», «Моя крошка», «Моя обожаемая дочка», затем — «Мое дорогое дитя», «Дорогая Аделаида», «Дорогая дочь», — смотря по тому, были ли они адресованы к ребенку, к молодой девушке или, позже, к молодой женщине.

И все это было полно страстных и наивных нежностей, множества интимных мелочей, тех больших и простых домашних событий, которые кажутся столь незначительными посторонним людям: «У отца простуда; горничная Гортензия обожгла себе палец; кот Мышелов околел; срубили ель по правую сторону забора; мать потеряла свой молитвенник, возвращаясь из церкви, и думает, что его у нее украли».

Говорилось в них и о людях, которых Жанна не знала, но имена их она слышала в детстве, как ей смутно вспоминалось теперь.

Она была растрогана этими подробностями, которые казались ей теперь откровениями; она словно внезапно вошла во всю прошлую тайную, сердечную жизнь матушки. Она взглянула на распростертое тело и вдруг начала читать вслух, читать для покойной, точно желая ее рассеять или утешить.

И недвижимый труп, казалось, был счастлив.

Одно за другим отбрасывала она письма в ноги кровати и подумала, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы.

Она развязала еще связку. То был новый почерк. Она прочла: «Я не могу больше жить без твоих ласк. Люблю тебя до безумия».

И только; подписи не было.

Она повернула лист, не понимая. Письмо было адресовано: «Баронессе Ле Пертью де Во».

Тогда она раскрыла следующее: «Приходи сегодня вечером, как только он уйдет. В нашем распоряжении будет час. Обожаю тебя».

Далее: «Я провел ночь в бреду, тщетно тоскуя по тебе. Я ощущал в своих объятиях твое тело, твой рот под моими губами, твои глаза... И я приходил в ярость и готов был выброситься из окна при мысли о том, что в эту минуту ты спишь рядом с ним, что он обладает тобою, когда захочет...»

Жанна, смущенная, ничего не понимала.

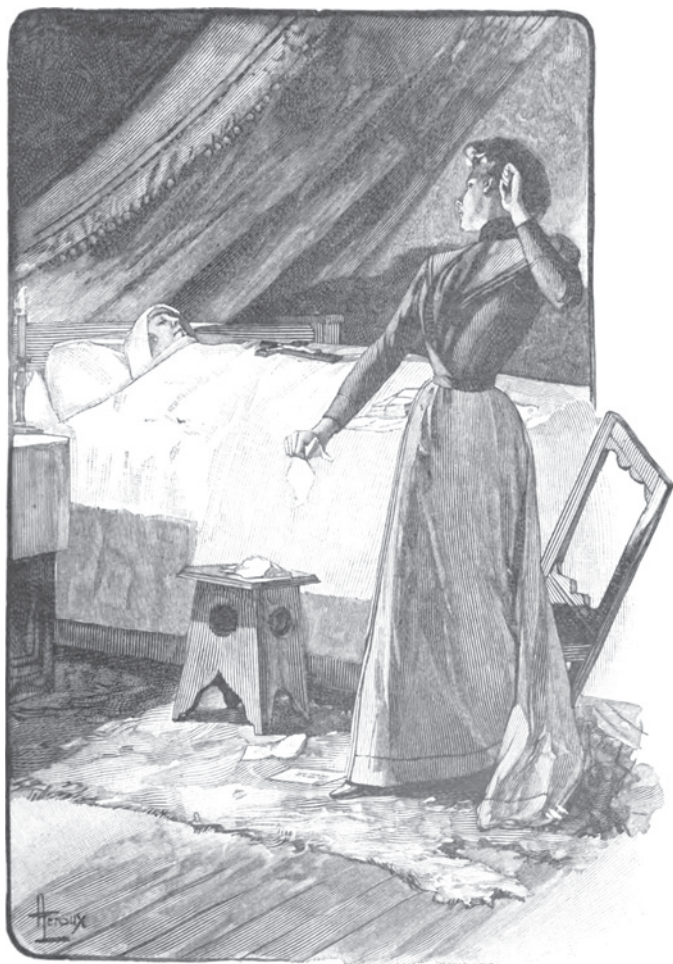
Что это? Кому, для кого, от кого эти слова любви?

Она продолжала читать, снова находя безумные признания, просьбы о встречах, с настойчивыми советами быть осторожной, и в конце постоянно следующие четыре слова: «Непременно сожги это письмо».

Наконец она развернула обыкновенную записку, простое приглашение к обеду, но написанное тем же почерком за подписью Поля д'Эннемара, которого барон, говоря о нем, называл до сих пор «Мой бедный старый Поль» и чья жена была лучшей подругой баронессы.

Тогда у Жанны вдруг мелькнуло легкое сомнение, тотчас же превратившееся в уверенность. Он был любовником ее матери!

И, растерявшись, она сразу одним движением отбросила эти позорные листки, как отбросила бы ядовитое животное, которое ползло по ней; она подбежала к окну и принялась отчаянно плакать, испуская невольные крики,



раздиравшие ей горло; потом, совершенно разбитая, упала у стены и, пряча лицо в занавеску, чтобы не были слышны ее стоны, зарыдала, погружаясь в пропасть безысходного отчаяния.

Она осталась бы в таком положении, быть может, всю ночь, но шум шагов в соседней комнате заставил ее одним прыжком вскочить. Это, быть может, отец! А письма лежали на постели и на полу! Ему достаточно было бы развернуть первое попавшееся! И он бы узнал все это, — он!..

Она бросилась вперед и, загребая обеими руками старые пожелтевшие бумаги — и письма бабушки и дедушки, и письма любовника, и письма, ею еще не развернутые, и письма, которые еще лежали связанными в ящиках секретера, — бросила их всю грудой в камин.

Потом она взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и подожгла эту гору писем. Вспыхнуло огромное пламя, осветив комнату, ложе и труп ярким пляшущим светом, очерчивая черной тенью по белому занавесу алькова дрожащий профиль строгого лица и силуэт огромного тела, покрытого простыней.

Когда в глубине очага остались лишь груды пепла, Жанна вернулась к открытому окну, села у него, словно не смея оставаться более возле покойницы, и, закрыв лицо руками, начала снова плакать, прерывая слезы болезненными стонами и безутешной жалобой:

— О, бедная мама, о, бедная мама!

Ужасная мысль пришла ей в голову: а что, если матушка не умерла, что, если она только уснула летаргическим сном, что, если она вдруг встанет и заговорит? Проникновение в ужасную тайну не ослабило ли ее дочерней любви? Поцеловала ли бы она мать с прежним благоговением? Могла ли бы она любить ее той же священной любовью? Нет. Это было невозможно! И эта мысль разрывала ей сердце.

Ночь проходила; звезды бледнели; был тот свежий час, который предшествует утру. Низко стоявшая луна собиралась погрузиться в море и покрывала перламутром всю его поверхность.

И Жанну охватило воспоминание о ночи, проведенной у окна в день приезда в «Тополя». Как это было далеко, как все переменилось, каким иным казалось ей теперь будущее!

И вот небо стало розовым, радостно розовым, влюбленным, пленительным. Она смотрела, удивляясь теперь, словно какому-то феномену, этому лучезарному рассвету, и спрашивала себя, возможно ли, чтобы на этой земле, где встают такие зори, не было ни радости, ни счастья.

Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. То был Жюльен, он спросил:

— Ну как, ты не очень устала?

Она ответила «нет», радуясь тому, что она уже не одна.

— Теперь пойдешь спать, — сказал он.

Она поцеловала мать долгим, болезненным, мучительно печальным поцелуем и ушла в свою комнату.

День прошел в тех грустных заботах, которых требует покойник. Барон приехал к вечеру. Он очень плакал.

Похороны происходили на другой день.

Прижавшись в последний раз губами к ледяному лбу матери, совершив ее последний туалет и увидав, как забивают гроб, Жанна удалилась. Должны были явиться приглашенные.



Жильберта приехала первая и с рыданиями бросилась на грудь подруги.

В окно были видны экипажи, которые сворачивали у решетки и быстро подкачивали к дому. В огромной прихожей раздавались голоса. В комнату входили одна за другой женщины в черном, которых Жанна не знала. Маркиза де Кутелье и виконтесса де Бризвиль поцеловали ее.

Она заметила вдруг скользнувшую позади нее тетю Лизон. И Жанна обняла ее с такой нежностью, что старая дева едва не лишилась чувств.

Жюльен вошел в глубоком трауре, элегантный, озабоченный и довольный притоком людей. Он шепотом говорил с женой, о чем-то советуясь. Затем конфиденциально прибавил:

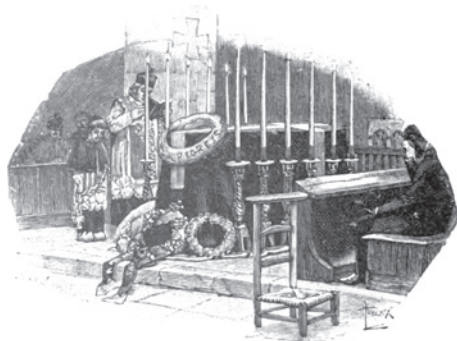
— Приехала вся знать, это очень хорошо!

И удалился, важно кланяясь дамам.

Тетя Лизон и графиня Жильберта оставались возле Жанны все время, пока длился обряд. Графиня непрерывно ее обнимала, повторяя:

— Дорогая моя бедняжка, дорогая бедняжка!

Когда граф де Фурвиль вернулся за женой, он плакал, словно сам потерял родную мать.





X

Печальны были следующие дни, те мрачные дни, когда дом кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки, дни, истерзанные страданиями при каждом взгляде на любой предмет, которым постоянно пользовался умерший. Ежеминутно в сердце возникает какое-нибудь мучительное воспоминание. Вот его кресло, его зонтик, оставшийся в передней, его стакан, не убраный прислугой! И во всех комнатах еще лежат в беспорядке его вещи: ножницы, перчатки, книга, к страницам которой прикасались его отяжелевшие пальцы, множество мелочей, приобретающих болезненное значение, потому что они напоминают тысячу мелких фактов.

И голос его преследует вас; кажется, будто его слышишь; хочется бежать неведомо куда, уйти от наваждений этого дома. Но надо оставаться, потому что другие остаются и так же страдают.

Кроме того, Жанна была подавлена воспоминанием о своем открытии. Эта мысль угнетала ее; израненное сердце не исцелялось. Ее теперешнее одиночество еще более возрастало от этой ужасной тайны; последнее доверие к людям было подорвано вместе с последней верой.

Отец спустя некоторое время уехал; ему нужно было движение, перемена обстановки, нужно было отвлечься от черной печали, им овладевавшей все более и более.

И огромный дом, которому, таким образом, приходилось время от времени быть свидетелем исчезновения то одного, то другого из своих хозяев, снова зажил спокойной и размеренной жизнью.

Неожиданно заболел Поль. Жанна сходила с ума, не спала в течение двенадцати ночей, почти не ела.

Он выздоровел, но она так и осталась напуганной мыслью о том, что ведь он мог умереть! Что станет она тогда делать? Что с ней будет? И в ее сердце незаметно закралась смутная потребность иметь еще ребенка. Вскоре она стала мечтать об этом, и ее опять захватило давнишнее желание видеть около себя два маленьких существа, мальчика и девочку. Это стало ее навязчивой мыслью.

Но со времени происшествия с Розали она жила отдельно от Жюльена. Попытка сблизиться казалась даже невозможной в том положении, в котором они находились. Кроме того, у Жюльена были любовные связи; она это знала, и одна мысль подвергнуться снова его ласкам вызывала в ней дрожь отвращения.

Впрочем, она подчинилась бы этому: до того сильно преследовало ее желание стать матерью; но она задавала себе вопрос: как могли бы снова возобновиться их поцелуи? Она скорее умерла бы от унижения, чем позволила бы мужу угадать свои мечты; он же, по-видимому, о ней больше не думал.

Она и отказалась бы, может быть, от этого, но дочка стала сниться ей каждую ночь; она видела ее играющей с Полем под платаном и иногда ощущала непреодолимое желание встать и, не говоря ни слова, пойти к мужу в его комнату. Два раза она даже дошла до его двери, но затем быстро вернулась, и сердце ее билось от стыда.

Барон уехал; матушка умерла; Жанне не с кем было теперь посоветоваться, некому доверить свои задушевные тайны.

Тогда она решила отправиться к аббату Пико и поведать ему под тайной исповеди свои намерения, которые ее так затрудняли.

Она застала его за чтением требника, в палисаднике, обсаженном фруктовыми деревьями.

Поговорив несколько минут о том, о другом, она пролепетала, покраснев: — Я хотела бы исповедаться, господин аббат.

Он был удивлен и поправил очки, чтобы хорошенько взглянуть в нее, потом рассмеялся:

— У вас, однако, не должно быть на совести больших грехов.

Она окончательно смутилась и отвечала:

— Нет, но мне нужно попросить у вас совета в таком... таком... трудном деле, что я не смею говорить с вами о нем иначе, как...

Он тотчас же оставил свой добродушный вид и превратился в священнослужителя:



— Хорошо, дитя мое, я выслушаю вас в исповедальне; пойдёмте.

Но вдруг она остановила его, заколебавшись, удерживаемая какой-то щепетильностью, мешавшей ей говорить о таких несколько зазорных вещах в тишине пустой церкви:

— Или нет... господин кюре... я могу... могу... если хотите... сказать здесь, что меня к вам привело. Давайте сядем с вами там, в вашей беседочке.

Они медленно направились туда. Она думала, как ей высказаться, с чего начать. Они сели.

Тогда, словно исповедуясь, она заговорила:

— Отец мой...

Она запнулась, снова повторила: «Отец мой...» — и умолкла, окончательно смутившись.

Он ждал, скрестив руки на животе. Видя ее замешательство, он ободрил ее:

— Ну, дочь моя, можно подумать, что у вас не хватает смелости; будьте же мужественны.

Тогда она решилась, как трус, бросающийся навстречу опасности:

— Отец мой, я хотела бы иметь еще ребенка.

Он не отвечал, ничего не понимая. Тогда она объяснила, растерянно путаясь в словах:

— Я осталась совсем одна; мой отец и муж не ладят между собой; мама умерла, и... и... — Она произнесла еле слышно и вся дрожала: — На днях я чуть не лишилась сына! Что было бы тогда со мной?

Она умолкла. Священник в замешательстве смотрел на нее.

— Хорошо, расскажите же, в чем дело.

Она повторила:

— Я желала бы иметь еще ребенка.

Тогда он улыбнулся — он привык к сальным шуткам крестьян, нисколько не стеснявшихся перед ним, — и отвечал, лукаво кивнув:

— Мне кажется, тут дело только за вами.

Она подняла на него свои чистые глаза и, запинаясь от волнения, промолвила:

— Но... но... вы понимаете, что с той минуты... с той минуты... вы знаете... об этой горничной... мы с мужем, мы живем... мы живем совершенно врозь.

Привыкнув к распушенности деревенских нравов, чуждых всякого достоинства, он удивился этому открытию, а затем ему показалось вдруг, что он угадал истинное желание молодой женщины. Он взглянул на нее искоса, полный доброжелательности и сочувствия к ее горю:

— Да, я вполне понимаю. Я понимаю, что ваше... ваше вдовство тяготит вас. Вы молоды, здоровы. В конце концов, это естественно, слишком естественно. — Он улыбнулся, уступая своей игривой натуре деревенского священника, и тихонько похлопал Жанну по руке: — Это дозволено, вполне дозволено заповедями: «Плотские желания будешь иметь только в браке». Вы замужем, не правда ли? Так ведь не затем же вы вышли замуж, чтобы сажать репу.

Она тоже не поняла сначала его намеков; но едва постигнув их смысл, она покраснела от волнения до корней волос, и на глазах у нее выступили слезы.

— О, господин кюре, что вы говорите? Что вы подумали? Клянусь вам... Клянусь вам...

Рыдания душили ее.

Он был изумлен и стал утешать ее:

— Ну вот, я не хотел огорчать вас. Я немного пошутил: не возбраняется же это порядочному человеку. Но рассчитывайте на меня, можете вполне рассчитывать на меня. Я поговорю с господином Жюльеном.

Она не знала, что ответить. Ей хотелось теперь отказаться от его вмешательства; оно казалось ей неудобным и опасным. Но она не посмела и убежала, пролепетав:

— Благодарю вас, господин кюре.

Прошла неделя. Она жила в тоске и тревоге.

Однажды вечером, за обедом, Жюльен взглянул на нее как-то странно, с той улыбочкой на губах, которую Жанна знала за ним в минуты насмешливости. У него появилась даже неуловимо ироническая любезность к ней, а когда они прогуливались по широкой аллее, он тихонько сказал ей на ухо:

— Мы, кажется, помирились?

Она не отвечала. Она разглядывала на земле прямую линию, почти невидимую теперь и поросшую травой. То был след ноги баронессы, постепенно

стиравшийся, как стирается всякое воспоминание. И Жанна почувствовала, что ее сердце, полное печали, мучительно сжалось; она почувствовала себя бесконечно одинокой и всем чужой.

Жюльен продолжал:

— Я-то лучшего и не желаю. Я боялся, что уже не нравлюсь тебе.

Солнце садилось, воздух был мягкий. Жанну томило желание плакать, потребность излиться дружескому сердцу, потребность сжать кого-нибудь в объятиях, шепча о своем горе. Рыдания подступали к ее горлу. Она раскрыла объятия и упала на грудь Жюльена.

Она плакала. Удивленный, он смотрел на ее волосы, потому что не мог увидеть ее лица, спрятанного на его груди. Он подумал, что она еще любит его, и запечатлел на ее прическе снисходительный поцелуй.

Затем они вернулись в дом, не сказав более ни слова. Он пошел за нею в ее спальню и провел с нею ночь.

И прежние отношения их возобновились. Он выполнял их словно обязанность, хотя и не такую уж неприятную; она терпела их как мучительную необходимость, решив прекратить их раз навсегда, едва лишь почувствует себя снова беременной.

Но вскоре она заметила, что ласки мужа как будто отличаются от прежних. Они, быть может, стали утонченнее, но были менее полными. Он обращался с нею словно робкий любовник, а вовсе не как спокойный супруг.

Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что его объятия всегда прекращаются раньше, чем она могла бы быть оплодотворена.

Однажды ночью, прильнув губами к его губам, она прошептала:

— Почему ты не отдаешься мне больше целиком, как прежде?

Он рассмеялся:

— Черт возьми, да чтобы ты не забеременела!

Она задрожала:

— Почему же ты не хочешь еще детей?

Он замер от удивления:

— Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла! Второго ребенка? Ну нет, вот еще! Вполне довольно и одного. Он и без того питит, поглощает общее внимание и стоит денег. Еще ребенка! Благодарю покорно!

Она порывисто обняла его, поцеловала и, расточая ласки, шепнула чуть слышно:

— О, умоляю тебя, сделай меня матерью еще раз.

Но он рассердился, словно она его оскорбила:

— Ты, право, сходишь с ума. Избавь меня, пожалуйста, от таких глупостей.

Она умолкла и дала себе обещание, что вынудит у него хитростью то счастье, о котором мечтает.

Она попробовала удлинить ласки, играя комедию безумного пыла, прижимая его к себе судорожно сведенными руками в притворных порывах страсти. Она пустила в ход все уловки, но он владел собою и ни разу не забылся.



Тогда, все более и более мучимая ожесточенным желанием, доведенная до крайности, готовая пренебречь всем и на все дерзнуть, она снова отправилась к аббату Пико.

Он только что позавтракал и был очень красен, так как после еды у него всегда бывало сердцебиение. Едва завидев ее, он воскликнул: «Ну как?», — горя нетерпением узнать о результате своего посредничества.

На этот раз она была решительнее и ответила немедленно, без всякой стыдливой робости:

— Мой муж не желает больше детей.

Аббат, чрезвычайно заинтересованный, повернулся к ней, готовясь с поповским любопытством накинуться на эти альковные тайны, которые так забавляли его в исповедалне. Он спросил:

— Как это?

Теряя свою решительность, она с волнением разъяснила:

— Но... он... он... отказывается сделать меня матерью...

Аббат понял; он знал эти вещи. Он пустился в расспросы со всеми точными и мелочными подробностями, с жадностью человека, обреченного на воздержание.

Затем он пораздумал несколько минут и спокойным тоном, словно говоря о хорошем урожае, начертил ей искусный план поведения, отмечая все пункты:

— Остается только один выход, дитя мое, а именно убедить его в том, что вы уже беременны. Он перестанет остерегаться, и вы забеременеете взаправду.

Она покраснела до слез, но, решившись на все, настаивала:

— А... если он не поверит мне?

Кюре хорошо знал способы управлять людьми и держать их в руках.

— Объявите всем о вашей беременности, говорите о ней повсюду; в конце концов и он поверит. — И он прибавил, словно для того, чтобы оправдать эту военную хитрость: — Это ваше право. Церковь терпит плотскую связь между мужчиной и женщиной только ради рождения детей.

Она последовала хитроумному совету и две недели спустя объявила Жюльену, что считает себя беременной.

Он так и подскочил:

— Не может быть! Неправда!

Она указала на причину своих подозрений; тем не менее он тут же успокоился:

— Ничего, подожди немного. Там видно будет.

Потом каждое утро спрашивал:

— Ну, что же?

И она неизменно отвечала:

— Нет, все еще нет. Я уже не сомневаюсь, что беременна.

Он тоже успокоился и был в такой же степени разгневан и раздосадован, как и удивлен. Он твердил:

— Ничего не понимаю, ровно ничего! Пусть меня повесят, если я знаю, как это могло случиться!

Через месяц она рассказывала новость всем и каждому, за исключением графини Жильберты — из чувства какой-то сложной и деликатной стыдливости.

С минуты первого признания жены Жюльен не приближался больше к ней; но затем он с яростью покорился своей участи, заявив:

— Еще один непрощеный!

И снова стал приходить в комнату жены.

То, что предвидел священник, сбылось в точности. Она забеременела.

Тогда, полная безумной радости, она стала каждый вечер запирать свою дверь, посвящая себя целомудрию в порыве благодарности неведомому божеству, которому она поклонялась.

Она снова чувствовала себя почти счастливою, удивляясь тому, как быстро стихла ее скорбь после смерти матери. Она считала тогда себя безутешной, а между тем всего за каких-нибудь два месяца эта живая рана затянулась. Осталась только нежная печаль, словно какой-то покров горести, накиннутый на ее жизнь. Ей казалось, что в жизни ее уже невозможны какие-нибудь крупные события. Дети вырастут, будут ее любить; она состарится, спокойная, довольная, не интересуясь больше мужем.

В конце сентября аббат Пико приехал с церемонным визитом в новой сутане, пятна на которой были всего лишь недельной давности; он представил Жанне своего преемника, аббата Тольбьяка. То был совсем еще молодой, худощавый священник, очень маленького роста и с высокопарной речью; впалые глаза, окаймленные черными кругами, выдавали в нем страстную душу.

Старого кюре назначили благочинным в Годервиль¹.

Жанна была искренне огорчена, узнав о его отъезде. Образ этого добряка был связан со всеми воспоминаниями молодой женщины. Он венчал ее, он крестил Поля, он отпевал баронессу. Она не представляла себе Этувана без пузатого аббата Пико, проходящего вдоль дворов ферм; она любила его за жизнерадостность и непринужденность.

Несмотря на повышение, он не казался веселым. Он говорил:

— Тяжело мне это, тяжело, графиня. Вот уже восемнадцать лет, как я здесь. Что и говорить, приход малоодоходный и мало чего стоит. Мужчины мало-религиозны, а женщины... женщины, право же, невозможного поведения. Девушки идут в церковь венчаться не иначе, как уже совершив паломничество к «богоматери брюхатых», и померанцевые цветы² невысоко ценятся в этом краю. Но что же поделать, — я любил его.

Новый кюре покраснел и проявил явное нетерпение. Он сказал резко:

— При мне все это переменится.

Хрупкий и худой, в поношенной, но чистой сутане, он походил на взбалмошного ребенка.

Аббат Пико взглянул на него искоса, как смотрел обычно в веселые минуты, и сказал:

— Видите ли, аббат, чтобы пресечь это, следовало бы сажать ваших прихожан на цепь; да и такая мера ни к чему не поведет.

Маленький священник отвечал отрывисто:

— Это еще посмотрим.

Старый кюре улыбнулся, втягивая понюшку табаку.

¹ В оригинале *doyen* — деканом (фр.), т. е. окружным викарием, возглавляющим *деканат*, католический аналог православного *благочиния* — части епархии, объединяющей группу приходов; *Годервиль* — коммуна на севере Франции (примеч. ред.).

² *Померанцевый цветок* (флёрдоранж) — символ девичьей невинности, традиционная часть свадебного букета и подвенечного убора невесты (примеч. ред.).

— Годы успокоят вас, аббат, и опыт также; вы оттолкнете от церкви своих последних прихожан, вот и все. В этом краю веруют, но, скажу я вам, берегитесь! Честное слово, когда я вижу, что во время проповеди входит несколько растолстевшая девушка, я только говорю себе: «Она приведет ко мне лишнего прихожанина» — и стараюсь выдать ее замуж. Вы не помешаете им грешить, но можете разыскать парня и помешать ему бросить молодую мать. Жените их, аббат, жените их и не притяжайте на большее.

Новый кюре жестко ответил:

— Мы по-разному думаем, бесполезно спорить.

Тогда аббат Пико снова принялся жалеть о своей деревне, о море, которое он видел из окон своего дома, о маленьких воронкообразных долинах, куда он ходил читать требник, глядя, как вдали проплывают лодки.

Священники отклонялись. Старый кюре поцеловал Жанну, и она чуть не расплакалась.

Неделю спустя аббат Тольбьяк пришел снова. Он говорил о предполагаемых преобразованиях с торжественностью государя, вступающего во владение королевством. Затем он попросил виконтессу не пропускать воскресной службы и причащаться каждый праздник.

— Мы с вами, — сказал он, — представляем собою вершину всей округи; мы должны управлять ею и подавать пример. Нам нужно объединиться, чтобы быть сильными и уважаемыми. Если церковь и замок подадут друг другу руки, хижина будет бояться нас и будет нам повиноваться.

Религия Жанны была целиком основана на чувстве; это была та мечтательная вера, которая особенно присуща женщинам, и если Жанна более или менее выполняла свои религиозные обязанности, то скорее по привычке, оставшейся у нее от монастыря, потому что фрондирующая¹ философия отца уже давно поколебала ее веру.

Аббат Пико довольствовался тем немногим, что она могла ему дать, и никогда не журил ее. Но его преемник, не увидев ее за обедней в предыдущее воскресенье, прибежал к ней, обеспокоенный и суровый.

Ей не хотелось порывать с приходом, и она дала обещание, решив из любви к безопасности быть усердной первые недели.

Но мало-помалу она привыкла к церкви и подчинилась влиянию этого хрупкого, честного и властного аббата. Он был мистик и нравился ей своей экзальтацией и горением. Он будил в ней струны религиозной поэзии, живущей в душе каждой женщины. Его неумолимая суровость, его презрение к миру и чувственности, его отвращение к заботам человеческим, его любовь к Богу, его юношеская дикость и неопытность, его суровая речь и непоколебимая воля создавали у Жанны представление о том, каким должны были быть мученики; и она, страдалница, простившаяся с иллюзиями, дала увлечь себя суровому фанатизму этого ребенка, этого слуги неба.

¹ *Фрондирующий* (книжн.) — выражающий недовольство (*примеч. ред.*).

Он вел ее к Христу-утешителю, поучая тому, как благочестивые радости религии умиротворяют все страдания; и она преклоняла колена в исповедальне, смиряясь, чувствуя себя маленькой и слабой перед этим священником, которому на вид было не более пятнадцати лет.

Но вскоре вся деревня возненавидела его.

Непреклонно строгий к самому себе, он выказывал неумолимую нетерпимость и по отношению к другим. Одна вещь в особенности возбуждала в нем гнев и негодование: это любовь. Он запальчиво говорил о ней в своих проповедях, прибежал к резким выражениям, согласно церковному обычаю, бросая в толпу деревенских жителей громовые речи против похоти; он дрожал от ярости, топал ногами, и ум его находился во власти неотвязных образов, которые он вызывал в своем исступлении.

Взрослые парни и девушки лукаво переглядывались, а старики крестьяне, всегда любившие пошутить на эти темы, высказывали неодобрение нетерпимости маленького кюре, когда возвращались домой на ферму после службы вместе с сыном, одетым в голубую блузу, и фермершей в черной накидке. И вся местность была в волнении.

Шепотом передавали друг другу о его строгостях в исповедальне, о суровых наказаниях, которые он налагал; а так как он упорно отказывал в отпущении грехов девушкам, невинность которых уступала искушениям, над ним начали насмехаться. И когда за торжественными праздничными мессами молодежь вместо того, чтобы идти причащаться вместе со всеми остальными, оставалась на скамьях, это только подавало повод к смеху.

Вскоре он стал шпионить за влюбленными, чтобы мешать их свиданиям, наподобие сторожа, преследующего браконьеров. Он выгонял их в лунные вечера из канав, из-за овинов, из зарослей дрока, растущего по склонам холмов.

Однажды он застиг парочку, которая, увидев его, не хотела разлучаться; обнявшись и целуясь, они шли по оврагу, полному камней.

Аббат крикнул:

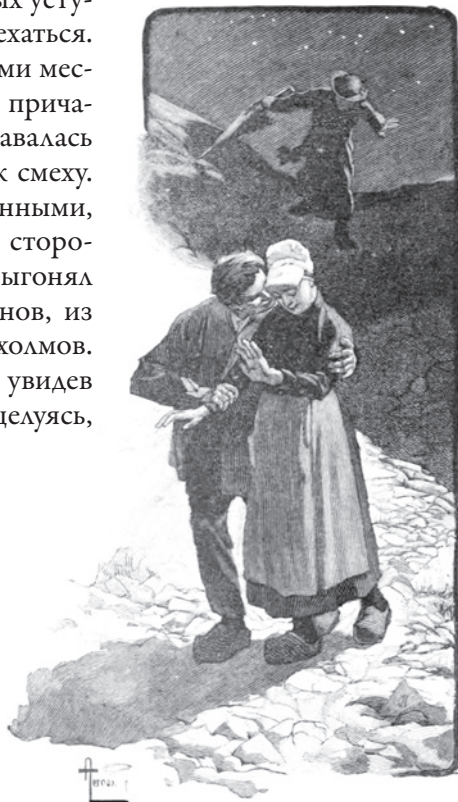
— Перестанете вы или нет, мужичье?

А парень, обернувшись, ответил ему:

— Занимайтесь своими делами, господин кюре, а наши вас не касаются.

Тогда аббат набрал камней и стал бросать в них, точно в собак.

Они со смехом убежали, а в следующее воскресенье он огласил их имена в церкви перед прихожанами.



Все местные парни перестали посещать службу.

Кюре обедал в замке каждый четверг и часто заезжал на неделе беседовать со своей духовной дочерью. Она приходила в возбуждение подобно ему, обсуждая отвлеченные темы, и перетряхивала весь старый и сложный арсенал религиозных споров.

Они вдвоем прогуливались по большой аллее баронессы, разговаривая о Христе и апостолах, о святой деве и об отцах церкви, словно о своих знакомых. Они останавливались иногда, задавая себе глубокомысленные вопросы, которые погружали их в мистицизм, причем она отдавалась поэтическим доводам, взлетавшим к небу, словно ракеты, а он обращался к точной аргументации, как маньяк, решившийся математически доказать квадратуру круга.

Жюльен относился к новому кюре с большим почтением и беспрестанно говорил:

— Мне нравится этот священник; он не вступает в сделки.

И он по доброй воле исповедовался и причащался, щедро подавая благой пример.

Жюльен бывал теперь у Фурвилей почти ежедневно, охотясь с мужем, который не мог уже без него обходиться, и езда верхом с графиней, несмотря на дождь и дурную погоду.

Граф говорил:

— Они помешались на верховой езде, но это так полезно Жильберте.

Барон вернулся в середине ноября. Он изменился, постарел, поблек и был погружен в мрачную печаль, завладевшую его душой. Но его отеческая любовь к дочери теперь, казалось, только усилилась, словно эти несколько месяцев угрюмого одиночества обострили в нем потребность в привязанности, в доверии, в нежности.

Жанна не делилась с ним своими новыми мыслями, не говорила ему о дружбе с аббатом Тольбьяком и о своем религиозном рвении, но с первого же раза, когда барон увидел Тольбьяка, в нем пробудилась сильная неприязнь к аббату.

Когда молодая женщина спросила у него вечером:

— Как ты его находишь?

Он отвечал:

— Этот человек — инквизитор! Он, должно быть, очень опасен.

Когда же он узнал от крестьян, с которыми был дружен, о суровости молодого священника, о его неистовстве, о том своеобразном гонении, которое он воздвиг против законов и врожденных инстинктов человека, в сердце барона вспыхнула ненависть.

Сам он принадлежал к числу старых философов, поклонников природы; он умилялся при виде соединения двух животных, преклонялся перед богом пантеистов и восставал против католического представления о Боге, обладающем мещанскими стремлениями, иезуитским гневом и мстительностью тирана, Боге, который умалил в его глазах творение предопределенное,

роковое, безграничное, — всемогущее творение, воплощающее жизнь, свет, землю, мысль, растение, скалу, человека, воздух, зверя, звезды, Бога, насекомое; все это тоже творит, ибо само оно — творение, сильнее воли, безграничной рассуждения, и производит бесцельно, беспричинно, бесконечно во всех направлениях и во всех видах, в беспредельном пространстве, следуя влечениям случая и соседству солнц, согревающих миры.

Творение таит в себе все зародыши: мысль и жизнь развиваются в нем, как цветы и плоды на деревьях.

Для барона, следовательно, воспроизведение было великим всеобщим законом, священным, достойным уважения, божественным актом, выполняющим неясную, но постоянную волю вездесущего существа. И он, от фермы к ферме, повел страстную войну против нетерпимого священника, гонителя жизни.

Жанна в отчаянии молилась Господу и уговаривала отца, но тот постоянно отвечал:

— С такими людьми надо бороться, это — наше право и наш долг. В них нет человечности.

И, потрясая длинными седыми волосами, повторял:

— В них нет человечности; они ничего, ничего, ничего не понимают. Они действуют в роковом ослеплении; они враждебны природе.

И он выкрикивал: «Враждебны природе!» — словно бросал проклятия.

Священник ясно чувствовал в нем врага, но, желая сохранить за собой власть над замком и молодой женщиной, медлил, тем более что был уверен в конечной победе.

Кроме того, его преследовала неотвязная мысль: он случайно открыл любовь Жюльена и Жильберты и хотел положить ей конец какой угодно ценой.

Однажды он пришел к Жанне и после долгой мистической беседы попросил ее объединиться с ним, чтобы побороть и убить зло в ее собственной семье ради спасения двух душ, которым грозит опасность.

Она не поняла и попросила объяснения. Он ответил:

— Время еще не наступило, но я скоро приду к вам.

И порывисто ушел.

Зима в то время подходила к концу: это была гнилая зима, как говорят в деревне, — сырая и теплая.

Несколько дней спустя аббат пришел и заговорил в неясных выражениях о недостойных связях между людьми, которым надлежало бы быть безупречными. Следует, поучал он, тем, кто знает об этих обстоятельствах, прекратить их любыми способами. И он пустился в возвышенные рассуждения, после чего, взяв руку Жанны, принялся заклинять ее, чтобы она раскрыла глаза, поняла и помогла ему.

На этот раз она поняла, но молчала, испуганная мыслью о том, сколько мучительного может произойти в ее доме, таком спокойном теперь; и она

притворилась, будто не понимает, на что намекает аббат. Тогда он перестал колебаться и заговорил без обиняков:

— Мучительную обязанность должен я выполнить, графиня, но не могу поступить иначе. Долг обязывает меня не оставлять вас в неведении того, чему вы можете помешать. Знайте же, что ваш муж поддерживает преступную связь с госпожой де Фурвиль.

Она поникла головой покорно и обессиленно.

Священник спросил:

— Что намерены вы делать теперь?

Она пролепетала:

— Что же вам угодно, чтобы я сделала, господин аббат?

Он отвечал с яростью:

— Нужно пресечь эту преступную страсть.

Она заплакала и сказала с невыразимой мукой:

— Но ведь он уже изменял мне с горничной; он меня не слушает; он меня разлюбил; он оскорбляет меня, как только я выражаю любое желание, с которым он не согласен. Что могу я поделать?

Кюре, не отвечая прямо, воскликнул:

— Как, вы склоняетесь перед этим! Вы смиряетесь! Вы соглашаетесь! Прелюбодеяние гнездится под вашим кровом, и вы его терпите! Преступление совершается на ваших глазах, и вы отводите от него взор! Жена ли вы после этого, христианка ли, мать ли?

Она рыдала:

— Что же мне делать?

Он ответил:

— Все, что угодно, лишь бы не допустить этой гнусности. Все, говорю вам. Покиньте его. Бегите из этого оскверненного дома.

Она промолвила:

— Но у меня нет денег, господин аббат; к тому же у меня не хватит на это мужества, да и как могу я уйти без доказательств? Я не имею никакого права так поступить.

Священник поднялся, весь дрожа от бешенства:

— Эти советы вам нашептал трусость, мадам; я считал вас другою. Вы недостойны милосердия Господнего.



Она упала на колени:

— О, умоляю вас, не оставляйте меня, подайте мне совет.

Он произнес отрывисто:

— Откройте глаза господину де Фурвиль. Ему надлежит разорвать эту связь.

При этой мысли ее охватил ужас.

— Но он убьет их, господин аббат! А я окажусь доносицей! О, только не это! Ни за что!

Тогда он, весь дрожа от гнева, поднял руку, словно затем, чтобы проклясть ее:

— Пребывайте же в вашем позоре и преступлении, ибо вы более виновны, чем они. Вы только потакаете мужу! Мне больше нечего здесь делать!

И он вышел в таком бешенстве, что все тело его сотрясилось нервной дрожью.

Она пошла вслед за ним, вне себя, готовая уступить, начиная давать обещания. Но он, все еще дрожа от возмущения, шел быстрыми шагами, яростно размахивая своим большим синим зонтиком, почти одного роста с ним.

Он увидел Жюльена, который стоял у забора, руководя стрижкой деревьев; тогда он свернул налево, чтобы пройти через ферму Кульяров, продолжая повторять:

— Оставьте, мадам, мне больше нечего вам сказать.

Посреди двора, как раз на его пути, кучка детей из этого дома и из соседних толпилась вокруг конуры собаки Мирзы, с интересом, сосредоточенно и молча разглядывая что-то. Среди них находился барон, также смотревший с любопытством, заложив руки за спину. Он походил на школьного учителя. Но, увидев аббата, он поспешил отойти, чтобы избежать с ним встречи, не кланяться и не разговаривать.

Жанна говорила с мольбой:

— Дайте мне несколько дней на размышление, господин аббат, и придите снова в замок. Я сообщу вам о том, что смогу сделать и что успею предпринять; тогда мы все обсудим.

Они поравнялись в эту минуту с группой ребятишек, и кюре подошел посмотреть, что их так занимает. Это щенилась сука. Перед конурой копошились уже пять щенят, а мать, с нежностью вылизывавшая их, растянулась на боку, вконец измученная. В то самое мгновение, когда священник наклонился над нею, скорченное животное вытянулось, и на свет появился шестой щенок. И тут все мальчишки в восторге начали кричать, хлопая в ладоши:

— Вот еще один, еще один!

Для них это была забава, естественная забава, в которой нет ничего нечистого. Они наблюдали это рождение, как глядели бы на падение яблок с дерева.

Аббат Толбьяк сначала оторопел, а затем, охваченный слепой яростью, поднял свой большой зонт и начал изо всей силы колотить им по головам

собравшихся детей. Испуганные мальчишки принялись улепетывать со всех ног, и аббат внезапно очутился перед собакой-роженицей, пытавшейся приподняться. Но он не дал ей встать на ноги и, обезумев, начал неистово избивать ее. Собака, сидевшая на цепи, не могла убежать и только отчаянно скулила и металась под его ударами. Он переломил зонт и, отбросив его, вскочил на нее, истоптанно топча, давя и избивая ее ногами. Она тут же произвела на свет последнего щенка, визжавшего под ним, но аббат бешеным ударом каблука выбил жизнь из окровавленного тела, которое еще трепыхалось среди новорожденных пискунов, слепых и неловких, искавших уже сосков матери.

Жанна убежала, а священник почувствовал вдруг, что его схватили за шиворот; сильная пощечина сбила с него треуголку, и барон, вне себя от ярости, дотащил его до забора и вышвырнул на дорогу.

Когда господин Ле Пертюи обернулся, он увидел дочь, которая, стоя на коленях, рыдала среди щенят и подбирала их себе в юбку. Он подошел к ней крупными шагами и крикнул, возбужденно жестикулируя:

— Вот он каков, вот он каков, твой поп! Поняла ты его теперь?

Сбежались фермеры: все смотрели на изуродованное тело собаки. Тетка Кульяр воскликнула:

— Можно ли быть таким дикарем?

Жанна подобрала семерых щенят и пожелала их выходить.

Им попробовали дать молока; трое околели на следующий день. Тогда дядя Симон избегал всю округу, ища ошенившуюся собаку. Он не нашел ее, зато принес кошку, уверяя, что она годится для этого дела. Трех щенят утопили, а последнего отдали этой кормилице чужой породы. Она тотчас же усыновила его и, улегшись на бок, протянула ему свои сосцы.

Чтобы щенок не истощил чрезмерно свою приемную мать, его отняли от груди через две недели, и Жанна сама взялась кормить его с помощью соски. Она назвала его Тото. Но барон самовластно изменил его имя и окрестил его Массакром¹.

Аббат не приходил больше, но в следующее воскресенье ниспослал с церковной кафедры целый ряд проклятий и угроз по адресу замка; он заявлял, что язвы следовало бы прижигать раскаленным железом, предавал анафеме барона (который над этим посмеялся) и в замаскированных намеках, пока еще робко, коснулся нового увлечения Жюльена. Виконта это привело в ярость, но боязнь скандала умерила его гнев.

С тех пор в каждой проповеди священник продолжал возвещать о своей мести, пророча, что час божий близок и что враги его будут низвергнуты.

Жюльен написал почтительное, но энергичное письмо архиепископу. Аббату Тольбьяку пригрозили лишением сана. Он умолк.

Его встречали теперь совершающим долгие одинокие прогулки, когда он шагал крупными шагами с истоптанным видом одержимого. Жильберта

¹ *Massacre* (фр.) — бойня, резня, погром (примеч. ред.).

и Жюльен во время своих верховых прогулок постоянно замечали аббата то вдали, в виде черной точки на равнине, то на краю утеса, то в тесной лощинке, где он читал свой требник и куда они только что собирались въехать. Они поворачивали поводья, чтобы не проезжать мимо него.

Настала весна, оживившая их любовь, бросавшая их ежедневно в объятия друг другу то здесь, то там, под любым прикрытием, к которым их приводили их поездки.

Листва на деревьях была еще редкой, а трава слишком влажной, и им нельзя было углубляться, как в разгаре лета, в лесную чащу, поэтому убежищем для своих объятий они обычно выбирали передвижную пастушью хижину, оставленную с осени на вершине Вокотского холма.

Она стояла там совершенно одиноко на своих высоких колесах, неподалеку от скалистого берега, на том именно месте, где начинается спуск к долине. Они не могли быть застигнуты там врасплох, так как видели оттуда всю долину; а лошади, привязанные к оглоблям хижины, ожидали, пока они не утомятся ласками.

Но вот однажды, в ту минуту, когда они покидали это убежище, они заметили аббата Тольбьяка, сидевшего в зарослях дрока, почти скрывавших его.

— Придется оставлять лошадей в овраге, — сказал Жюльен, — иначе они могут нас выдать издали.

Они стали привязывать лошадей в лощинке, густо поросшей кустарником.

Как-то вечером, когда они возвращались вдвоем в замок Врильет, где должны были обедать вместе с графом, навстречу им попался этуванский кюре, выходивший из замка. Он отступил в сторону, чтобы дать им дорогу, и поклонился, избегая встречаться с ними взглядом.

Их охватило беспокойство, но оно вскоре рассеялось.

Однажды под вечер, когда было очень ветрено, Жанна сидела у камина и читала (было начало мая), как вдруг увидела графа де Фурвиля, шедшего пешком и так быстро, что она подумала, не случилось ли несчастья.

Она быстро сошла вниз, чтобы его принять, и, очутившись перед ним, подумала, что он сошел с ума. На нем была большая меховая фуражка, которую он носил только дома; он был одет в охотничью куртку и так бледен, что его рыжие усы, обычно не выделявшиеся на румянном лице, казались теперь огненными. Глаза его растерянно блуждали и как будто были лишены всякой мысли.

Он спросил:

— Жена моя здесь, не правда ли?

Жанна растерянно отвечала:

— Нет, я не видела ее сегодня.

Тогда он сел, словно под ним подкосились ноги, снял фуражку и несколько раз подряд машинально вытер себе платком лоб; затем, рывком поднявшись, подошел к молодой женщине, протянув руки, раскрыв рот, готовясь сказать, доверить ей какое-то ужасное горе, но остановился, пристально взглянул на нее и выговорил, словно в бреду:

— Но ведь это ваш муж... вы также...

И убежал по направлению к морскому берегу.

Жанна бросилась за ним, чтобы остановить его, звала его, умоляла с замирающим от ужаса сердцем и думала: «Он узнал все! Что он собирается сделать? О, только бы он их не нашел!»

Но она не могла догнать его, а он ее не слушал.

Он прямо, не колеблясь, уверенно направлялся к своей цели. Перепрыгнув через ров, а затем гигантскими шагами пробравшись сквозь заросли дрока, он достиг скалистого берега.

Жанна, стоя на откосе, поросшем деревьями, долго следила за ним; потом, потеряв его из виду, пошла к дому, мучимая тоской.

Он повернул направо и пустился бежать. По беспокойному морю катились волны; огромные, совершенно черные тучи надвигались с безумной быстротой, проносились мимо, а за ними следовали другие; каждая из них обрушивалась на берег бешеным ливнем. Ветер свистел, рыдал, рвал траву, пригибал к земле молодые побеги хлебов и уносил, словно хлопья пены, больших белых птиц, увлекая их далеко в глубь материка.

Град, посыпавшийся за дождем, хлестал графа по лицу, мочил его щеки и усы, с которых стекала вода, наполнял его уши шумом, а сердце тревогою.

Вдали перед ним долина Вокот раскрывала свою глубокую пасть. Ничего, кроме пастушьей хижины, рядом с пустым загонем для баранов! Две лошади были привязаны к оглоблям передвижного домика. Чего им было опасаться в эту бурю?

Как только граф увидел лошадей, он лег на землю и пополз на руках и коленях, напоминая какое-то чудовище своим запачканным в грязи телом и меховой фуражкой. Он дополз до одинокой хижины и спрятался под нею, чтоб не быть замеченным сквозь щели досок.

Лошади, увидев его, заволновались. Он тихо перерезал их поводья ножом, который держал в руке, и, когда налетел вдруг шквал, животные обратились



в бегство, подстегиваемые градом, начавшим хлестать по покато́й крыше деревянного домика, который весь дрожал.

Тогда граф, приподнявшись на колени, заглянул через щель под дверью внутрь хижины.

Он не двигался больше; казалось, он ждал. Прошло довольно много времени; вдруг он встал, весь в грязи с головы до ног. Яростным движением задвинул он засов, запиравший дверь снаружи, и, схватившись за оглобли, принялся трясти эту хижину, словно собираясь разбить ее в куски. Затем вдруг впрягся в оглобли и, согнувшись, с отчаянным усилием, задыхаясь, он подвез к крутому склону передвижной домик и тех, кто в нем был заперт.

Они кричали внутри, стуча кулаками по дощатым стенам, не понимая, что с ними случилось.

Добравшись до вершины, граф выпустил из рук легкую хижину, покотившуюся вниз по отлогому склону.

Она все ускоряла свой бег, безумно несясь, летя все быстрее и быстрее, прыгая, спотыкаясь, как животное, колотя землю оглоблями.

Старик нищий, прикорнувший во рву, видел, как она пронеслась, словно вихрь, над его головой, и слышал ужасные крики, раздававшиеся из деревянного ящика.

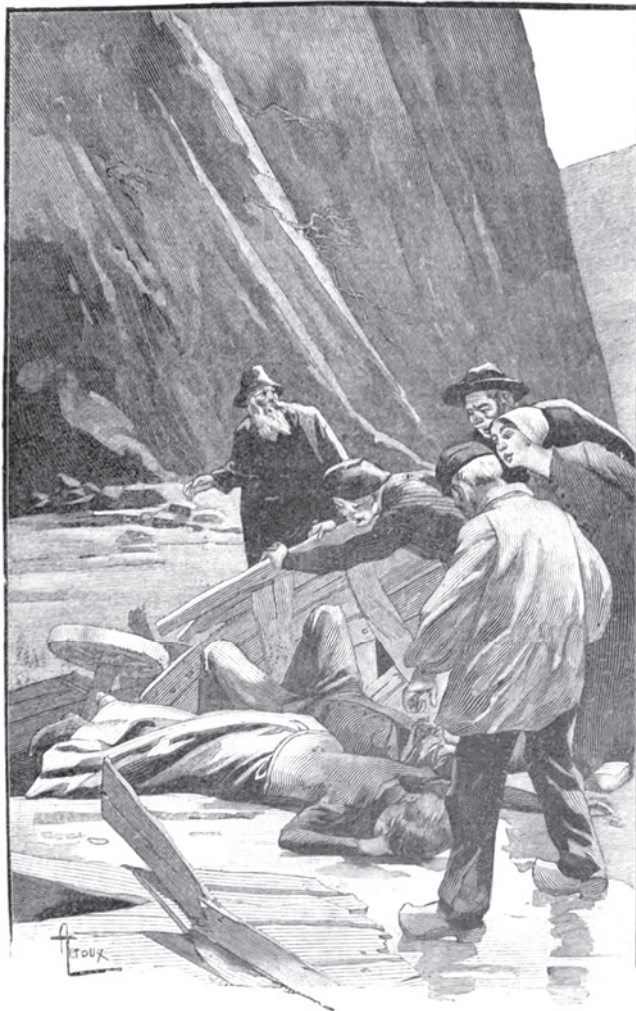
Вдруг из-за толчка у домика отскочило колесо, он упал на бок и заскакал, как шар, как обрушившийся дом, летящий с вершины горы. Затем, достигнув края последней рытвины, он подпрыгнул, описывая дугу, и, упав вниз, треснул, как яйцо.

Как только домик разбился о каменистую почву, старик нищий, видевший, как он летел, стал медленными шажками спускаться сквозь терновник; удерживаемый осторожностью крестьянина, он не посмел приблизиться к разбитому в щепки ящику, а пошел на соседнюю ферму сообщить о происшествии.

Прибежали люди, стали разбирать обломки и увидели два тела, изуродованных, израненных, окровавленных. У мужчины был раздроблен лоб и изувечено лицо. У женщины отвисла челюсть, разбитая ударом; их размозженные тела были мягки, словно под мясом уже не было костей.

Тем не менее их узнали; начались долгие пересуды о причинах несчастья. — Что они делали в этом шалаше? — спросила женщина.





Тогда старик нищий сообщил, что они, по всей вероятности, укрылись там от бури и что страшный ветер, должно быть, пошатнул хижину и сбросил ее в пропасть. Он объяснял, что сам хотел было спрятаться в нее, но увидел лошадей, привязанных к оглоблям домика, и понял, что место было уже занято. Он добавил с довольным видом:

— Не случись этого, я попал бы в переделку.

Чей-то голос проговорил:

— А может, оно бы и лучше было?

Тогда старик пришел в ужасную ярость:

— Почему же это было бы лучше? Потому, что я беден, а они богаты? Ну и смотрите на них теперь... — И, дрожащий, оборванный, весь мокрый, грязный, с всклокоченной бородой и длинными волосами, висящими из-под

рванной шляпы, он указал на трупы концом крючковой палки, проговори́в: — Все мы равны там, перед Богом.

Подошли другие крестьяне, посматривая искоса беспокойным, лукавым, испуганным, трусливым взглядом. Затем стали рассуждать, что же делать; было решено развезти тела по замкам в надежде, что будет получена награда. Запрягли две двуколки. Но тут возникла новая трудность. Одни хотели просто устлать дно повозки соломой, другие же полагали, что необходимо для приличия положить в них матрацы.

Женщина, уже говорившая раньше, закричала:

— Да ведь матрацы-то будут все залиты кровью, их придется отмывать жавелем!¹

Толстый фермер с добродушным лицом ответил:

— За это заплатят. Чем больше это будет стоить, тем дороже заплатят.

Довод был убедительный.

И две одноколки, на высоких колесах без рессор, пустились рысью, одна направо, другая налево, встряхивая и подкидывая на каждом ухабе останки этих двух существ, которые только что обнимали друг друга и которым уже не придется встретиться вновь.

Как только граф увидел, что хижина покати́лась вниз по крутому склону, он побежал со всех ног под дождем и ветром шквала. Он бежал так несколько часов, пересекая дороги, спрыгивая с откоса, пробираясь через изгороди, и вернулся к себе под вечер, сам не зная как.

Испуганные лакеи ждали его и доложили, что обе лошади только что вернулись без всадников: лошадь Жюльена следовала за другою.

Тогда господин де Фурвиль зашата́лся и прерывающимся голосом сказал:

— С ними, должно быть, случилось какое-то несчастье по этой ужасной погоде. Пусть все тотчас же отправятся на розыски.

Он ушел и сам, но, едва скрывшись из виду, спрятался в кустарнике и стал следить за дорогой, по которой должна была вернуться мертвой, или умирающей, или, может быть, навек искалеченной и обезображенной та, которую он все еще любил с дикой страстью.

Вскоре мимо него проехала одноколка с какою-то странною кладью.

Она остановилась перед замком, затем въехала во двор. Это было то самое, да, это была Она. Страшная тоска пригвоздила его к месту, чудовищная боязнь узнать правду, ужас перед открытием истины; он не двигался, притаившись, как заяц, и дрожа при малейшем шуме.

Он ждал час, быть может, два. Одноколка не выезжала обратно. Он решил, что жена его умирает, но мысль увидеть ее, встретиться с нею взглядом наполнила его таким ужасом, что он вдруг испугался, как бы его не открыли

¹ *Жавель* (*жавелева вода*, фр. *eau de Javel*) — едкий хлористый раствор зеленовато-желтого цвета, употребляемый при белении тканей; назван по месту изобретения, парижскому району Жавель (*примеч. ред.*).

в засаде и не принудили вернуться домой, чтобы присутствовать при агонии. И он убежал еще дальше, в глубь леса. Однако тут ему внезапно пришло в голову, что она, быть может, нуждается в помощи, что, наверно, некому ходить за нею, и он вернулся бегом, полный отчаяния.

Возле замка он встретил садовника и крикнул ему:

— Ну, что?

Садовник не посмел ответить. Тогда господин де Фурвиль испустил вопль:

— Она умерла?

И слуга пролепетал:

— Да, ваше сиятельство.

Он почувствовал огромное облегчение. Внезапное спокойствие проникло в его кровь, в дрожавшие мускулы, и он твердыми шагами взошел на ступеньки высокого крыльца.

Другая одноколка доехала до «Тополей». Жанна издали увидела ее, различила матрац, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все. Ее волнение было так велико, что она упала без чувств.

Когда она пришла в себя, отец поддерживал ее голову и мочил ей уксусом виски. Он спросил нерешительно:

— Ты знаешь?

— Да, папа, — прошептала она.

Она захотела подняться, но не смогла: так сильно она страдала.

В тот вечер она родила мертвого ребенка — девочку.

Она не видела похорон Жюльена и ничего о них не спрашивала. Она заметила только через день или два, что вернулась тетя Лизон, и среди мучительных кошмаров лихорадки упрямо старалась припомнить, когда старая дева уехала из «Тополей», в какое время и при каких обстоятельствах. Она не могла вспомнить этого даже в часы просветления и была уверена только в том, что уже видела ее после смерти матушки.





XI

Три месяца пробыла она в своей спальне и стала такой слабой и бледной, что все считали ее положение безнадежным. Но мало-помалу жизнь вернулась к ней. Отец и тетя Лизон не оставляли ее: они поселились в «Тополях». Пережитое потрясение вызвало у Жанны нервную болезнь; малейший шум доводил ее до потери сознания, и она впадала в продолжительные обмороки от самых незначительных причин.

Она никогда не расспрашивала о подробностях смерти Жюльена. Какое ей до этого дело? Разве она и без того не достаточно знает? Все верили в несчастный случай, но она-то не могла заблуждаться и хранила в сердце своем тайну, которая мучила ее: уверенность в измене и воспоминание о внезапном и ужасном появлении графа в день катастрофы.

Теперь душа ее была проникнута нежными, сладкими и грустными воспоминаниями о кратких радостях любви, которые ей некогда дарил муж. Она вздрагивала каждый миг, когда ее память неожиданно пробуждалась; она видела его таким, каким он был в дни помолвки и каким она любила его в немногие часы страсти, расцветшей под жгучим солнцем Корсики. Все недостатки его сглаживались, грубость исчезла, самые измены смягчились теперь, когда все дальше и дальше уходила в прошлое закрывшаяся могила. Жанна, охваченная какой-то смутной посмертной благодарностью к человеку, державшему ее в своих объятиях, прощала ему былые страдания, чтобы вспоминать

лишь счастливые минуты. А время шло и шло, месяцы сменялись месяцами и покрывали забвением, словно густою пылью, ее воспоминания, ее горести, и она всецело отдалась сыну.

Он сделался кумиром, единственной мыслью троих людей, окружавших его; он царил, как деспот. Между тремя его рабами возникло даже нечто вроде ревности, и Жанна нервно следила за горячими поцелуями, которыми мальчик осыпал барона после поездки верхом на его колене. А тетя Лизон, которою он, как и все домашние, пренебрегал, обращаясь с нею порой как с прислугой, хотя еще едва лепетал, уходила плакать в свою комнату и горько сравнивала жалкие ласки, которые ей еле-еле удавалось вымолить у него, с теми объятиями, которые он берег для матери и деда.

Мирно, без всяких событий, протекали два года в постоянных заботах о ребенке. С наступлением третьей зимы решено было поселиться в Руане до весны; вся семья перебралась туда. Но по приезде в старый, заброшенный и отсыревший дом Поль схватил такой сильный бронхит, что опасались плевропневмонии, и трое растерявшихся взрослых решили, что он не может жить без воздуха «Тополей».

Как только он поправился, его перевезли туда.

С тех пор потянулась однообразная и тихая жизнь.

Всегда вместе с малюткой, то в детской, то в зале, то в саду, взрослые восторгались его болтовней, его смешными выражениями и жестами.

Мать звала его ласкательным именем Полé; он же не мог его выговорить и произносил Пуле¹, что вызывало нескончаемый смех. Прозвище Пуле так за ним и осталось. Иначе его уже не называли.

Мальчик рос быстро, и самым любимым занятием его близких, или, как говорил барон, «его трех матерей», было измерение его роста.

На косяке двери зала образовался целый ряд тоненьких полосок, сделанных перочинным ножом, которые ежемесячно отмечали прибавление его роста. Эта лестница, окрещенная «лестницею Пуле», занимала большое место в жизни его родных.

Вскоре видную роль в семье начало играть еще одно новое существо — собака Массакр, которую Жанна совершенно забыла, всецело занятая сыном. Питомица Людивины помещалась в старой конуре возле конюшни и жила одиноко, всегда на цепи.

Как-то утром Поль заметил ее и поднял крик, чтобы его пустили поцеловать собаку. Его подвели к ней с великим страхом. Собака явилась для ребенка настоящим праздником, и он разревелся, когда их захотели разлучить. Тогда Массакра спустили с цепи и водворили в доме.

Он был неразлучен с Полем, сделался его настоящим товарищем. Они вместе катались по ковру и рядышком на нем засыпали. Вскоре Массакр стал спать в кровати своего друга, так как тот не соглашался расставаться с ним.

¹ Poulet — цыпленок (фр.) (примеч. ред.).



Жанна приходила в отчаяние из-за блох, а тетя Лизон сердилась на собаку за то, что та завладела чересчур крупной долей любви ребенка, любви, украденной, как ей казалось, этим животным и которой так жаждала она сама.

Изредка обменивались визитом с Бризвильями и Кутелье. Только мэр и доктор регулярно нарушали уединение старого замка. Жанна после убийства собаки, а также из-за подозрений, появившихся у нее относительно священника со времени трагической смерти графини и Жюльена, перестала посещать церковь, негодуя на Бога за то, что он может иметь подобных служителей.

Аббат Тольбьяк время от времени в прозрачных намеках предавал анафеме замок, где воцарился дух Зла, дух Вечной Смуты, дух Заблуждения и Лжи, дух Беззакония, дух Разврата и Нечестия. Все это относилось к барону.

Его церковь, впрочем, опустела, и, когда он обходил поля, пахари налегали на свой плуг, крестьяне не останавливались, чтобы поболтать с ним, и не поворачивались даже, чтобы ему поклониться. Помимо всего, он прослыл за колдуна, потому что изгнал дьявола из одной одержимой женщины. Говорили, что аббат знает таинственные слова против порчи, которая, по его мнению, не что иное, как особый вид сатанинских каверз. Он возлагал руки на коров, когда они давали синее молоко или завивали хвосты кольцами, и помогал разыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то непонятные слова.

Его ограниченный фанатический ум со страстью предавался изучению религиозных книг, содержащих истории о проделках дьявола на земле, о разнообразных проявлениях его власти и скрытого воздействия, о всевозможных средствах, какими он располагает, и обычных приемах его хитрости. А так как



он считал себя призванным, в частности, бороться с этой темной и роковой силою, он тщательно изучил все формулы заклинаний, указанные в богословских руководствах.

Ему постоянно мерещилась в сумерках бродячая тень злого духа, и с его уст не сходила латинская фраза: *sicut leo rugiens circuit quaerens quem devoret*¹.

Тогда его тайной силы начали бояться, она стала приводить в ужас. Даже его братья, невежественные деревенские священники, для которых Вельзевул являлся просто догматом веры и которые были до того сбиты с толку кропотливыми предписаниями обрядов, полагающихся в случае проявления нечистой силы, что начинали смешивать религию с магией, — эти священники тоже считали аббата Тольбьяка немного колдуном и столько же уважали его за предполагавшееся в нем таинственное могущество, сколько и за безупречную строгость жизни.

При встречах с Жанной он не кланялся ей.

Такое положение вещей беспокоило и приводило в отчаяние тетю Лизон, которая своею боязливой душой старой девы совершенно не могла постигнуть, как это можно не ходить в церковь. Несомненно, она была благочестива, несомненно, она исповедовалась и причащалась, но этого никто не знал, да и не пытался узнать.

Когда она оставалась одна, совершенно одна с Полем, она потихоньку рассказывала ему о милосердном Боженьке. Он слушал краем уха полные чудес истории о первых днях творения, но когда она поучала его, что нужно крепко любить милосердного Боженьку, он спрашивал ее порою:

— А где же он, тетя?

Тогда она показывала пальцем на небо:

— Там — высоко, Пуле, но не надо об этом говорить.

Она боялась барона.

Однажды Пуле объявил ей:

— Боженька повсюду, но только не в церкви.

Это он рассказал дедушке о мистических откровениях тетки.

¹ Как лев рыкающий, бродит он, ищет, кого бы пожрать (лат.).

Ребенку исполнилось десять лет, а его матери можно было дать сорок. То был сильный, шаловливый мальчик, смело лазивший по деревьям, но ни-чему как следует не учившийся. Уроки ему надоедали, и он старался поскорее прекратить их. И каждый раз, когда барон дольше обыкновенного удерживал его за книгой, появлялась Жанна и говорила:

— Теперь пусти его поиграть. Не нужно утомлять его, он еще такой маленький.

Для нее он был по-прежнему шестимесячным или годовалым ребенком. Она с трудом отдавала себе отчет, что он уже ходит, бегает и разговаривает как подросток, и она жила в вечном страхе, как бы он не упал, как бы не простудился, как бы не вспотел, как бы не повредил желудок, поев слишком много, или не повредил росту, поев слишком мало.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, возник серьезный вопрос: вопрос о первом причастии.

Однажды утром Лизон пришла к Жанне и стала убеждать ее в том, что нельзя дольше оставлять ребенка без религиозного воспитания и без выполнения им своих первейших обязанностей. Она доказывала на все лады, приводила тысячу доводов, и главным из них было мнение людей, с которыми они общались. Смущенная и нерешительная мать колебалась, уверяя, что можно еще подождать.

Но когда через месяц она была с визитом у графини де Бризвиль, эта дама спросила ее мимоходом:

— Вероятно, ваш Поль получит первое причастие в этом году?

Захваченная врасплох, Жанна отвечала:

— Да, мадам.

Этот простой вопрос придал ей решимости, и, не советуясь с отцом, она попросила Лизон водить ребенка на уроки катехизиса.

В течение месяца все обстояло хорошо, но однажды вечером Пуле вернулся домой немного охрипшим. На следующий день он стал кашлять. Перепугавшаяся мать спросила сына и узнала, что кюре заставил его стоять до конца урока у дверей церкви, в сенях, на сквозняке, так как он дурно себя вел.

Она оставила сына дома и стала обучать его сама этой азбуке религии. Но аббат Тольбьяк, несмотря на мольбы Лизон, отказался включить его в число причастников как недостаточно подготовленного.

То же повторилось и на следующий год. Тогда раздраженный барон заявил, что ребенку нет никакой надобности веровать в эти глупости, в детскую символику пресуществления, чтобы быть порядочным человеком: он решил воспитать его в христианской вере, но без католической обрядности, с тем чтобы по достижении совершеннолетия мальчик мог следовать тем путем, какой ему более понравится.

Несколько времени спустя Жанна, сделав визит Бризвилям, не получила ответного визита. Она удивилась, зная щепетильную вежливость соседей; но вскоре маркиза де Кутелье высокомерно открыла ей причину этого.

Считая себя благодаря положению мужа, благодаря бесспорной древности его титула и благодаря его значительному богатству чем-то вроде королевы нормандской знати, маркиза держала себя как истинная монархиня, свободно высказывала то, что думала, была любезной или резкой, смотря по обстоятельствам, и при каждом случае распекала, наставляла или выражала свое одобрение. Когда Жанна навестила ее, эта дама после нескольких ледяных фраз сухо сказала:

— Общество делится на два класса: на людей, верующих в Бога, и на людей неверующих. Первые, насколько бы ниже нас они ни стояли, всегда наши друзья и равные нам; вторые же для нас — ничто.

Жанна, почувствовав нападение, возразила:

— Но разве нельзя быть верующим, не посещая церкви?

Маркиза отвечала:

— Нет, мадам; верующие идут молиться Богу в его храм, как мы идем к людям в их дом.

Уязвленная, Жанна продолжала:

— Бог вездесущ, мадам. Лично я верю всем сердцем в его благость, но он не становится мне ближе от того, когда между ним и мною находятся некоторые священники.

Маркиза встала:

— Священник держит знамя церкви, мадам, и кто не следует за этим знаменем, тот идет против него и против нас.

Жанна тоже поднялась, вся дрожа:

— Вы, мадам, верите в Бога одной группы. Я же верую в Бога всех честных людей.

Она поклонилась и вышла.

Крестьяне тоже втихомолку осуждали Жанну за то, что она не сводила Пуле к первому причастию. Сами они вовсе не ходили в церковь и вовсе не причащались или в лучшем случае исповедовались только к Пасхе, согласно категорическим требованиям церкви. Но дети — другое дело; никто из крестьян не осмелился бы воспитать ребенка вне этого общего закона, потому что религия есть религия.

Жанна прекрасно видела это осуждение, возмущалась в душе всем этим лицемерием, этими сделками с совестью, этим всеобщим страхом и величайшей подлостью, живущей во всех сердцах и прикрывающейся, когда ей нужно высунуться наружу, таким множеством благопристойных масок.

Барон взялся руководить занятиями Поля и засадил его за латынь. Мать просила только об одном: «Главное, не утомляй его!» — и беспокойно бродила вокруг классной комнаты, куда отец запретил ей входить, потому что она постоянно прерывала занятия, спрашивая: «Пуле, не озябли ли у тебя ноги?» — или: «Не болит ли у тебя головка, Пуле?» — или же оставливая учителя: «Не заставляй его много говорить, ты утомишь ему горло».

Как только мальчик освобождался, он бежал заниматься садоводством с матерью и теткой. У них появилась теперь страсть к садоводству, и все трое сажали весной молодые деревья, сеяли семена, прорастание которых приводило их в восторг, обрезывали сухие ветки, срезали цветы для букетов.

Любимым занятием подростка было разведение салата. В его ведении находились четыре больших грядки, и он очень старательно выращивал на них латук, ромен, дикий цикорий, королевский салат — все известные сорта этого растения. Он копал грядки, поливал, полон и пересаживал с помощью своих двух матерей, которых заставлял работать как поденщиц. Можно было видеть, как они простаивают целыми часами на коленях у грядок, пачкая платья и руки, увлеченно рассаживая молодой салат по ямкам, выкапываемым руками.

Пуле подрастал, ему уже минуло пятнадцать лет; лесенка на косяке двери зала показывала сто пятьдесят восемь сантиметров, но по умственному развитию он оставался невежественным и пустым ребенком, охраняемым юбками своих двух матерей и милым стариком, который уже отстал от века.

Однажды вечером барон завел речь о колледже. Жанна тотчас же разрыдалась, а тетя Лизон в полном смятении забила в темный угол.

— На что ему знания? — говорила мать. — Мы сделаем из него сельского хозяина, дворянина-землевладельца. Он будет возделывать свои земли подобно многим другим дворянам. Он будет счастливо жить и стариться в этом доме, где мы жили до него и где мы умрем. Чего же больше желать?

Но барон качал головой:

— А что ответишь ты ему, когда он в двадцать пять лет скажет тебе: «Я ничто, ничего не знаю — и все из-за тебя, из-за твоего материнского эгоизма. Я не способен работать, сделаться чем-либо, а между тем я не был создан для этой безвестной, жалкой и до смерти скучной жизни, на которую обрекла меня твоя безрассудная любовь»?

Она продолжала плакать, вызывая к сыну:

— Скажи, Пуле, не правда ли, ты никогда не упрекнешь меня за то, что я тебя слишком любила?

И большой ребенок, несколько озадаченный, обещал:

— Нет, мама.

— Ты мне клянешься в этом?

— Да, мама.

— Ты хочешь остаться здесь, не правда ли?

— Да, мама.

Тогда барон заговорил, повысив голос:

— Жанна, ты не имеешь права распоряжаться этой жизнью. То, что ты делаешь с ним, низко и почти преступно: ты жертвуешь своим ребенком во имя личного счастья.

Закрыв лицо руками и неудержимо рыдая, она лепетала сквозь слезы:

— Я была так несчастна... так несчастна! Теперь же, когда я нашла успокоение вблизи сына, его у меня отнимают. Что будет со мною... совсем одинокой... теперь?

Отец встал, подсел к ней и обнял ее:

— А я, Жанна?

Она порывисто обняла его шею руками, крепко поцеловала и, все еще всхлипывая, проговорила, хотя ее душили слезы:

— Да... ты прав, быть может... папочка. Я сошла с ума, но я так страдала. Я согласна, пусть он отправится в колледж.

Не понимая хорошенько, что собираются с ним сделать, Пуле тоже разревелся.

Все три матери бросились обнимать, ласкать, успокаивать его. Когда же отправлялись спать, у всех было тяжело на сердце, и все плакали в своих постелях, даже барон, который до тех пор сдерживался.

Было решено, что после каникул мальчика поместят в Гаврский колледж, и все лето его баловали больше, чем когда бы то ни было.

Мать часто вздыхала при мысли о разлуке. Она заготовила ему целое приданое, словно он отправлялся в путешествие на десять лет; затем, в одно октябрьское утро, после бессонной ночи, обе женщины и барон уселись с мальчиком в коляску, и лошади тронулись рысью.

В предыдущую поездку Полю заранее выбрали место в дортуаре¹ и в классе. Жанна с помощью тети Лизон целый день размещала его вещи в маленьком комод. Но последний не мог вместить и четвертой доли того, что было привезено, и она отправилась хлопотать о втором комод. Был позван эконо; он заметил, что такая масса белья и вещей будет только стеснять и никогда не понадобится, поэтому, ссылаясь на устав, он отказался дать другой комод. Тогда огорченная мать решила нанять комнату в небольшой гостинице по соседству, условившись с хозяином, что он сам будет доставлять Пуле все необходимое по первому требованию мальчика.

Затем отправились на мол, чтобы посмотреть на отплывавшие и приходявшие суда.

Печальный вечер спустился на город; понемногу зажигались огни. Зашли пообедать в ресторан. Никто не чувствовал голода, и они только смотрели друг на друга влажными глазами, а блюда появлялись перед ними и уносились обратно почти нетронутыми.

Затем они не спеша направились к колледжу. Дети разных возрастов прибывали со всех сторон в сопровождении родителей или прислуги. Многие плакали. На большом, едва освещенном дворе слышались рыдания.

Жанна и Пуле долго обнимались. Тетя Лизон стояла позади, совершенно позабытая, закрыв лицо носовым платком. Но барон, тоже расчувствовавшись, прервал сцену прощания, уведя дочь. Коляска ждала у подъезда; они сели втроем и ночью отправились в «Тополя».

¹ *Дортуар* — спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях (примеч. ред.).

Подчас в темноте раздавалось громкое всхлипывание.

На другой день Жанна проплакала до самого вечера, а на следующее утро велела заложить фаэтон и поехала в Гавр. Пуле, казалось, уже немного свыкся с разлукой. В первый раз в жизни у него были товарищи; он ерзал на стуле в приемной, горя нетерпением поиграть с ними!

Жанна приезжала к нему через каждые два дня, а по воскресеньям брала его в отпуск. Не зная, что делать во время уроков между переменами, она сидела в приемной, потому что не находила в себе ни силы, ни решимости оставить колледж. Директор пригласил ее к себе и попросил бывать реже. Но она не приняла во внимание этого совета.

Тогда он предупредил Жанну, что если она будет по-прежнему мешать мальчику играть во время перемен и работать во время занятий, постоянно не давая ему покоя, то он будет вынужден вернуть ей сына обратно; об этом был извещен запиской и барон. И за нею стали следить в «Тополях», как за пленницей.

Она дожидалась каникул с бóльшим нетерпением, чем ее сын.

Постоянная тревога волновала ее душу. Она целыми днями бродила по окрестностям, прогуливаясь одна с собакой Массакром и предаваясь на свободе мечтам. Иногда, после полудня, она просиживала целыми часами, любуясь морем с высокого утеса; иногда спускалась лесом к Ипору, возобновляя прежние прогулки, воспоминания о которых преследовали ее. Как давно, как давно было то время, когда она гуляла по этим же местам молоденькой девушкой, упоенной мечтами!



Каждый раз, когда она виделась с сыном, ей казалось, что их разлука длилась лет десять. С каждым месяцем он все больше становился мужчиной; с каждым месяцем она все больше становилась старухой. Отец казался ее братом, а тетя Лизон, которая, увянув в двадцать пять лет, больше не старилась, — старшей сестрой.

Пуле совсем не учился; он пробыл два года в четвертом классе. В третьем дела, казалось, наладились, но во втором ему пришлось опять просидеть два года, и он очутился в классе риторики, когда ему уже исполнилось двадцать лет.

Он стал высоким молодым человеком, блондином с густыми уже бакенбардами и пробивающимися усиками. Теперь он сам каждое воскресенье приезжал в «Тополя». Так как он уже давно обучился верховой езде, то только нанимал лошадь и за два часа совершал весь путь.

С утра Жанна выходила к нему навстречу в сопровождении тетки и барона, который горбился все больше и больше и ходил как дряхлый старичок, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть вперед.

Они потихоньку шли вдоль дороги, присаживаясь иногда у рва и всматриваясь в даль, — не покажется ли всадник. Как только он появлялся в виде черной точки на светлой полосе дороги, трое родных принимались махать платками, а он пускал лошадь галопом и летел как ураган, что приводило в трепет сердца Жанны и Лизон и восторгало дедушку, который кричал ему «браво» с энтузиазмом человека, уже не способного на это.

Хотя Поль был на целую голову выше матери, она продолжала обращаться с ним как с ребенком, допрашивая его: «Пуле, не озябли ли у тебя ноги?» А когда он после завтрака прогуливался у подъезда с папироской в зубах, она открывала окно, чтобы крикнуть ему:

— Умоляю тебя, не ходи с непокрытой головой, ты схватишь насморк.

И она дрожала от беспокойства, когда он уезжал от них верхом ночью.

— Только не едь слишком быстро, милый Пуле, будь осторожен, помни свою мать, которая будет в отчаянии, если с тобой что-нибудь случится.

Но вот как-то в субботу, утром, она получила от Поля письмо с извещением, что он не придет в воскресенье, потому что его друзья собираются устроить пикник, на который он приглашен.

Она провела весь воскресный день в мучительной тоске, точно под угрозой несчастья. В четверг, не вытерпев, она отправилась в Гавр.

Сын показался ей изменившимся, но она не могла понять, в чем, собственно, состоит эта перемена. Он казался возбужденным, говорил более мужественным голосом. И вдруг он сказал ей, как самую обычную вещь:

— Знаешь, мама, так как ты приехала сегодня, я и в будущее воскресенье не поеду в «Тополя»; мы решили повторить пирушку.

Она стояла ошеломленная, задыхаясь, как будто ей объявили, что ее сын уезжает в Америку; когда же к ней вернулась способность говорить, она произнесла:

— О, Пуле, что с тобой? Скажи мне, что случилось?

Он стал смеяться и поцеловал ее:

— Да ровно ничего, мама. Просто я хочу повеселиться с друзьями, это естественно в мои годы.

У нее не нашлось в ответ ни слова; когда же она осталась одна в экипаже, ее начали осаждать странные мысли. Она не узнавала больше своего Пуле, своего прежнего маленького Пуле. Она впервые поняла, что он уже взрослый, что он уже не принадлежит ей, что он хочет жить своей жизнью, не думая о стариках. Ей казалось, что он переменился за какой-нибудь один день. Как, неужели этот сильный бородатый мужчина, утверждающий свою волю, — ее сын, слабый, маленький мальчик, заставлявший ее когда-то пересаживать салат?

И в течение трех месяцев Поль лишь изредка навещал родных, вечно томясь явным желанием поскорее уехать, стараясь каждый вечер выгадать лишний час. Жанну это пугало, но барон беспрестанно утешал ее, повторяя:

— Оставь его, ведь ему всего двадцать лет.

Но однажды утром какой-то старик, довольно плохо одетый, обратился к ней с сильным немецким акцентом:

— Виконтесса!

И после бесконечных церемонных поклонов он вынул из кармана засаленный бумажник, объявив:

— У меня тля фас пумажка.

Он протянул ей развернутый клочок грязной бумаги. Она ее прочитала, перечла, взглянула на еврея, перечитала снова и спросила:

— Что же это такое?



Неизвестный пояснил ей заискивающим тоном:

— Толжен фам соопщить, что фаш сын нуштался в непольшой сумме тенек, а так как я снал, что фы топрая мать, то я и тал ему немноко тенек на его нушты.

Жанна вздрогнула.

— Но почему же он не попросил их у меня?

Еврей обстоятельно разъяснил ей, что дело касалось карточного долга, который надо было уплатить на следующий же день утром, что никто не хотел ссудить Поля деньгами, потому что он несовершеннолетний, и что «его шесть была бы скомпрометирована» без этой «маленькой любезности», которую он оказал молодому человеку.

Жанна хотела позвать барона, но не могла подняться с места: волнение парализовало ее. Наконец она сказала ростовщику:

— Не будете ли вы добры позвонить?

Он колебался, опасаясь какой-нибудь уловки, и заметил:

— Если я фас стесняю, я моку притти в трукой рас.

Жанна отрицательно покачала головой. Он позвонил, и они стали ждать, не проронив ни слова, сидя друг против друга.

Когда барон вошел, он тотчас же понял, в чем дело. Вексель оказался на полторы тысячи франков. Заплатив ростовщику только тысячу, барон посмотрел на него в упор и произнес:

— Больше сюда не являйтесь.

Тот поблагодарил, раскланялся и исчез.

Дед и мать немедленно уехали в Гавр, но по приезде в колледж узнали, что Поль уже месяц туда не показывался. Директором были получены четыре письма за подписью Жанны, сообщавшие о болезни его воспитанника с последующими извещениями о состоянии его здоровья. К каждому письму было приложено медицинское свидетельство; все это, разумеется, было подделано. Сраженные, они не двигались с места и молча смотрели друг на друга.

Директор, огорченный происшедшим, проводил их к полицейскому комиссару. Ночевали они в гостинице.

На другой день молодого человека разыскали у одной из городских протитутток. Дед и мать увезли его в «Тополя», не обменявшись ни словом за всю дорогу.

Жанна плакала, закрыв лицо платком. Поль с равнодушным видом смотрел по сторонам.

Через неделю открылось, что за последние три месяца он наделал долгов на пятнадцать тысяч франков. Кредиторы на первых порах не показывались, зная, что он скоро станет совершеннолетним.

Никакого объяснения не произошло. Поля хотели победить лаской. Его угощали изысканными блюдами, нежили и баловали. Была весна; для него, несмотря на опасения Жанны, взяли напрокат в Ипоре лодку, чтобы он мог наслаждаться вволю прогулками по морю.

Но лошади ему не давали из страха, чтобы он не уехал в Гавр.

Он жил без дела, раздражительный, подчас даже грубый. Барона беспокоило его неоконченное образование. Жанна, приходявшая в отчаяние при мысли о разлуке с сыном, не раз, однако, спрашивала себя, что же с ним делать?

Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он уехал в лодке с двумя матросами. Обезумевшая мать добежала с непокрытой головой ночью до Ипора.

Несколько человек ожидало на пляже возвращения лодки.

Вдали показался огонек; слегка колеблясь, он приближался. Поля уже не было в лодке. Он приказал отвезти себя в Гавр.

Вся полиция была поставлена на ноги, но его не могли найти. Проститутка, укрывавшая его в первый раз, тоже бесследно исчезла, распродав свою мебель и уплатив за квартиру. В комнате Поля в «Тополях» нашли два письма от этой твари, которая, по-видимому, была безумно влюблена в него. Она говорила о поездке в Англию и, по ее словам, нашла необходимые для этого средства.

И трое обитателей замка зажили молчаливо и мрачно, в беспросветном аду нравственных мук. Поседевшие уже волосы Жанны стали совсем белыми. Она наивно задавала себе вопрос: за что судьба наносит ей такие удары?

Она получила письмо от аббата Тольбьяка:

«Мадам, десница Божия тяготеет над Вами. Вы отказали Ему в своем ребенке; Он отнял его у Вас, дабы бросить в объятия девки. Неужели у Вас еще не отверзлись глаза после этого указания Небес? Милосердие Господа безгранично. Быть может, Он простит Вас, если Вы придете преклонить перед Ним колена. Смиранный служитель Господень, я открою Вам дверь Его дома, когда Вы постучите в нее».



Она долго сидела с этим письмом на коленях. Быть может, то, что говорит священник, правда? И все религиозные сомнения стали терзать ее совесть. Неужели Бог может быть мстительным и завистливым, как люди? Но если бы Он не был завистливым, все перестали бы Его бояться, все перестали бы поклоняться Ему. Без сомнения, для того, чтобы люди могли лучше познать Его, Он выкалывает по отношению к ним их же собственные чувства. И трусливые сомнения, которые толкают колеблющихся и неуверенных в лоно церкви, охватили ее. Однажды вечером, когда стемнело, она тайком побежала

в церковь и, преклонив колена перед тощим аббатом, просила отпущения грехов.

Аббат обещал ей полупрощение, так как Бог не может излить сразу все свои милости на кровлю дома, приютившего такого человека, как барон.

— Вы увидите скоро, — добавил он, — явление Божьей благодати.

Через два дня Жанна в самом деле получила письмо от сына и в безумии своего горя увидела в этом начало облегчения, обещанного ей аббатом.

«Не беспокойся, дорогая мама. Я в Лондоне и совершенно здоров, но крайне нуждаюсь в деньгах. У нас нет ни гроша, и подчас нам нечего есть. Та, которая сопровождает меня и любима мною от всей души, не желая покидать меня, истратила все, что у нее было, — пять тысяч франков. Ты понимаешь, что честь обязывает меня прежде всего вернуть ей эту сумму. Было бы очень любезно с твоей стороны, если бы ты согласилась выдать мне пятнадцать тысяч в счет отцовского наследства, так как я буду совершеннолетним уже скоро; ты выручила бы меня из большого затруднения.

Прощай, дорогая мама, от всего сердца целую тебя, а также бабушку и тетю Лизон. Надеюсь скоро тебя увидеть.

Твой сын *виконт Поль де Лямар*».

Он написал ей! Значит, не забыл ее. Она совсем не думала о том, что он просит денег. Их пошлют, раз у него их нет. Что такое деньги! Он написал ей!

Вся в слезах, она побежала с письмом к барону. Позвали тетю Лизон, перечитывали от начала до конца листок бумаги, который говорил о нем. Обсуждали каждое слово.

Переходя от полного отчаяния к опьянению надеждой, Жанна оправдывала сына:

— Он вернется, он скоро вернется, раз он об этом пишет.

Барон, сохраняя большее спокойствие, произнес:

— Все равно, он покинул нас для этой твари. Он любит ее больше, чем нас, раз он не поколебался это сделать.

Мгновенная и страшная боль пронизала сердце Жанны, и тотчас же в душе ее вспыхнула ненависть к этой любовнице, укравшей у нее сына, — неукротимая, дикая ненависть, ненависть ревливой матери. До тех пор все ее мысли были поглощены Полем. Она едва сознавала, что причиной его заблуждений была эта негодяйка. Но слова барона внезапно вызвали в ней образ соперницы и вскрыли роковую силу последней; Жанна почувствовала, что между нею и этой женщиной завязывается ожесточенная борьба; она поняла также, что предпочла бы лишиться сына, чем делить его с другой.

И вся ее радость исчезла.

Они послали пятнадцать тысяч франков и не получали вестей в течение пяти месяцев.

Затем явился поверенный для приведения в порядок наследства, оставшегося после Жюльена. Жанна и барон беспрекословно сдали все отчеты, отказавшись даже от права пожизненного пользования имуществом,

которое по закону принадлежит матери. И по приезде в Париж Поль получил сто двадцать тысяч франков. С тех пор за шесть месяцев он прислал четыре письма, давая о себе краткие сведения и заканчивая холодными уверениями в любви. «Я работаю, — утверждал он, — я завоевал себе положение на бирже. Надеюсь через несколько дней обнять вас в „Тополях“, мои дорогие».

Но ни словом не упоминал о своей возлюбленной, и это молчание было гораздо красноречивее, чем если бы он распространялся о ней на четырех страницах. В его холодных письмах Жанна ощущала присутствие этой неумолимой продажной женщины, этой девки — вечного врага матерей.

Трое отшельников обсуждали, что можно сделать, чтобы спасти Поля, и не находили никакого средства.

Съездить в Париж? Но к чему?

Барон говорил:

— Нужно дать истощиться его страсти. Он вернется к нам.

Жизнь их была печальна.

Жанна и Лизон ходили вместе в церковь, тайком от барона.

Много времени прошло без всяких новостей, но однажды утром всех привело в ужас отчаянное письмо:

«Бедная мама, я погиб, мне остается только пустить себе пулю в лоб, если ты не придешь мне на помощь. Спекуляция, имевшая все шансы на успех, рухнула, и я задолжал восемьдесят пять тысяч. Неуплата их означает для меня позор, разорение, невозможность что-либо делать в будущем. Я погиб! Повторяю, я предпочту пустить себе пулю в лоб, чем пережить такой стыд. Я бы, вероятно, уже сделал это, если бы меня не поддерживала одна женщина, о которой я никогда тебе не говорю, но которая является моим Провидением.

Целую тебя от всего сердца, дорогая мама, быть может, в последний раз. Прощай.

Поль».

Связка деловых бумаг, приложенных к этому письму, давала обстоятельное представление о катастрофе.

Барон со следующей же почтой ответил, что дело будет улажено. Затем он поехал в Гавр для наведения справок и заложил землю, чтобы раздобыть денег, которые и были отправлены Полю.

Молодой человек отвечал тремя письмами, полными восторженной благодарности и страстной нежности, обещая немедленно приехать обнять своих дорогих родственников.

Он не приехал.

Прошел целый год.

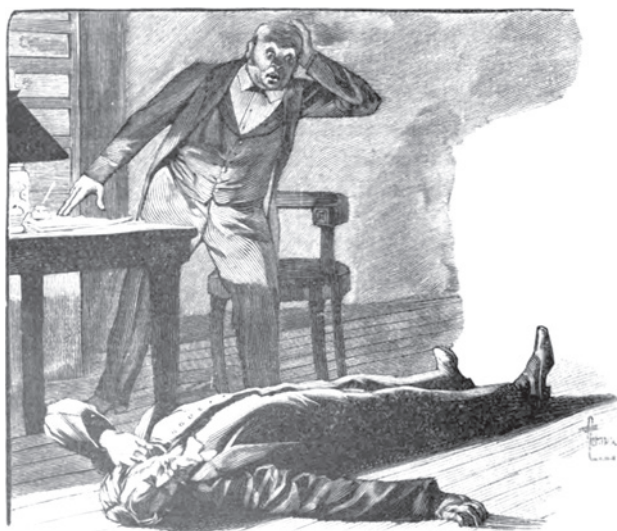
Жанна и барон собирались отправиться в Париж, чтобы разыскать его и предпринять последние усилия для его возвращения домой, как вдруг узнали из его записки, что он опять в Лондоне, где занят устройством пароходного общества под фирмой «Поль Делямар и К°». Он писал: «Для меня это — обеспеченное состояние, а быть может, и богатство. И я ничем не рискую.

Вы понимаете всю выгоду этого. Когда мы свидимся, у меня будет прекрасное общественное положение. В настоящее время выйти из затруднительных обстоятельств только и можно путем подобных дел».

Через три месяца парходное общество прогорело, а директор был привлечен к ответственности за неисправность в торговых книгах. С Жанной сделался нервный припадок, длившийся несколько часов; после этого она слегла в постель.

Барон снова отправился в Гавр, наводил справки, виделся с адвокатами, стряпчими и судебными приставами, выяснил наконец, что дефицит общества «Делямар» простирается до двухсот тридцати пяти тысяч, и перезаложил свое имение. Замок «Тополя» и две прилегавшие к нему фермы были обременены большими долгами.

Однажды вечером, когда барон улаживал последние формальности в кабинете адвоката, он упал: его сразил апоплексический удар.



Жанну сообщили об этом, послав верхового. Когда она приехала, отец уже был мертв.

Она привезла его в «Тополя» и чувствовала себя до того подавленной, что ее горе выражалось не в отчаянии, а в оцепенелости всего ее существа.

Аббат Тольбьяк не разрешил внести тело в церковь, несмотря на отчаянные мольбы женщин. Барона похоронили с наступлением ночи, без отпевания.

Поль узнал о происшедшем от одного из агентов, ликвидировавших его дела. Он все еще скрывался в Англии. Он написал, принося извинения, что не приехал, и оправдывался тем, что слишком поздно узнал о несчастье. «Впрочем, теперь, когда ты меня выручила, дорогая мама, я вернусь во Францию и скоро обниму тебя».

Жанна жила в состоянии такой подавленности, что, казалось, ничего уже не понимала.

В конце зимы тетя Лизон, которой исполнилось шестьдесят восемь лет, схватила бронхит, перешедший в воспаление легких; она тихо умерла, лепеча:

— Бедная моя маленькая Жанна, я буду молить милосердного Бога, чтобы он сжалился над тобой.

Жанна проводила ее на кладбище и видела, как засыпали землею ее гроб; она пошатнулась и чуть не упала; ей хотелось тоже умереть, чтобы больше не страдать, чтобы больше не думать; одна сильная крестьянка схватила ее на руки и унесла домой, как ребенка.

Жанна, которой пришлось провести пять ночей у изголовья старой девы, без всякого сопротивления позволила по возвращении в замок уложить себя в постель незнакомой крестьянке, обращавшейся с нею мягко, но властно; обессиленная усталостью и горем, она заснула крепким сном.

Среди ночи Жанна проснулась. На камине горел ночник. Какая-то женщина спала в кресле. Кто эта женщина? Жанна не узнавала ее и, свесившись над краем постели, старалась разглядеть ее черты при мерцавшем свете фитиля, плававшего в кухонной плошке с маслом.

Ей казалось, однако, что она когда-то видела это лицо. Но когда? Где? Женщина мирно спала, свесив голову на плечо; чепчик ее свалился на пол. Ей могло быть сорок-сорок пять лет. Она была полная, краснощекая, плечистая, сильная. Широкие кисти ее рук свисали по бокам кресла. Волосы были с проседью. Жанна упорно рассматривала ее, сознание ее мутилось, как бывает после лихорадочного сна, сопровождающего сильное горе.

Конечно, она видела это лицо! Но когда? Давно? Или недавно? Она не могла припомнить, и эта неотвязная мысль мучила ее, напрягала ее нервы. Она тихо поднялась, чтобы ближе разглядеть спящую, и подошла к ней на цыпочках. То была та самая женщина, которая поддержала ее на кладбище и затем уложила в постель. Она смутно припомнила это.

Встречала ли она ее раньше, в другую пору жизни? Или, быть может, она узнала ее благодаря лишь неясным воспоминаниям последнего дня? Но как она могла попасть сюда, в ее комнату? Зачем?

Веки женщины поднялись, она увидела Жанну и быстро встала. Они стояли лицом к лицу так близко, что их груди почти соприкасались. Незнакомка проворчала:

— Как это, вы уже на ногах! Да вы заболели, извольте-ка лечь опять!

Жанна спросила:

— Кто вы?

Но женщина обхватила ее руками, подняла снова и отнесла в постель с чисто мужской силой. И, осторожно опуская Жанну на простыни, нагнувшись над нею, чуть ли не лежа на ней, она расплакалась и принялась порывисто целовать ее щеки, волосы, глаза, орошая лицо слезами и шепча:



— Моя бедная мамзель Жанна, моя бедная госпожа, да неужели вы не узнаете меня?

Тогда Жанна воскликнула:

— Розали, голубушка моя!

Обвив ее шею руками, Жанна обнимала и целовала ее, и они рыдали обе, крепко обнявшись, сливая свои слезы и не имея сил разомкнуть объятий.

Розали успокоилась первая.

— Довольно, будем благоразумными, — сказала она, — не простудитесь.

Она подняла одеяло, оправила постель, подложила подушку под голову своей прежней госпожи, которая продолжала всхлипывать, вся трепеща от старых воспоминаний, всплывших в ее душе.

Наконец Жанна спросила:

— Как ты пришла ко мне, бедняжка?

Розали ответила:

— Ну вот еще, разве я могу оставить вас теперь одну в таком положении?

— Зажги свечку, — сказала Жанна, — чтобы я могла тебя видеть.

Когда огонь был принесен на ночной столик, они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Затем, протянув руку своей старой служанке, Жанна проговорила:

— Я никогда не узнала бы тебя, милая, ты сильно изменилась, хотя все же не так, как я.

И Розали, всматриваясь в эту истощенную и увядшую женщину с седыми волосами, которую она оставила такой молодой, красивой и свежей, ответила:

— Это верно, вы изменились, мадам, и больше, чем полагается. Да и то сказать: ведь мы не виделись целых двадцать четыре года.

Они умолкли, снова задумавшись. Наконец Жанна прошептала:

— Была ли ты по крайней мере счастлива?

Колеблясь, как бы не вызвать какого-нибудь горького воспоминания, Розали промолвила, запинаясь:

— Да... да... госпожа. Я не могу пожаловаться, я была счастливее вас... наверно. Одно только меня всегда сокрушало — что я не здесь...

Она вдруг умолкла, спохватившись, что неосмотрительно коснулась больного места. Но Жанна сказала ей ласково:

— Что поделаешь, голубушка, не всегда бывает так, как хочется. Ты тоже овдовела, не правда ли? — Ее голос задрожал, когда она продолжала: — У тебя есть еще другие... другие дети?

— Нет, госпожа.

— А что стало с тем... с твоим... сыном? Довольна ли ты им?

— Да, госпожа, он хороший, работающий парень. Вот уж полгода, как он женился и взял мою ферму; потому я и вернулась к вам.

Жанна, дрожа от волнения, прошептала:

— Так ты меня не оставишь больше?

— Разумеется, нет, госпожа, для того я и устроила свои дела.

Некоторое время они помолчали.

Жанна помимо воли опять начала сравнивать их жизни, но теперь уже без горечи в душе, а всецело покоряясь жестокой несправедливости судьбы. Она спросила:

— А как относился к тебе муж?

— О, госпожа, он был хороший человек, не лентяй; он сумел кое-что нажить. Он умер от грудной болезни.

Жанна, желая узнать все, уселась на кровати:

— Ну, голубушка, расскажи мне о всей твоей жизни. Это доставит мне такое удовольствие!

И Розали, подвинув стул, устроилась возле нее и начала рассказывать про себя, про свой дом, про своих знакомых, входя в мельчайшие подробности, дорогие сердцу деревенских жителей, описывая свой двор, смеясь над давними происшествиями, напоминая ей лучшие минуты прошлой жизни,

и мало-помалу возвышая голос до тона фермерши, привыкшей отдавать приказания. Она закончила свой рассказ, воскликнув:

— О, моего добра на мой век хватит! Мне нечего бояться. — А затем, немного смутившись, добавила тихо: — Всем этим я все же обязана вам, так что знайте, я не возьму от вас жалованья. Ни за что! Ни за что! Если же вы не согласны, я тотчас уйду.

Жанна возразила:

— Уж не думаешь ли ты, однако, служить мне даром?

— Разумеется, госпожа. Деньги! Вы хотите предложить мне денег! Да у меня их почти столько же, как и у вас. Да знаете ли вы, сколько у вас останется после всей возни с залогами, ссудами, уплатой процентов, которые еще не внесены и которые растут с каждым днем? Знаете ли вы это? Нет, не правда ли? Ну, так я вам скажу, что у вас останется не больше десяти тысяч дохода в год. Даже меньше десяти, слышите? Но я вам приведу все в порядок, и очень скоро.

Она снова возвысила голос, увлекаясь, негодуя на то, что пропущен срок уплаты процентов и что впереди грозит разорение. Когда по лицу ее госпожи скользнула вялая, неопределенная улыбка, она воскликнула с возмущением:

— Нечего над этим смеяться, госпожа; ведь без денег не проживешь!

Жанна взяла ее руки и, держа их в своих, медленно проговорила, преследуемая одной неотвязной мыслью:

— О, у меня не было счастья! Все оборачивалось против меня. Злой рок тяготел надо мною.

Но Розали отрицательно покачала головой:

— Не надо так говорить, госпожа, не надо так говорить. Вы неудачно вышли замуж, вот и все. Нельзя выходить замуж, когда не знаешь своего жениха.

Они продолжали беседовать, как две старые подруги. Солнце взошло, а они все еще говорили.





XII

В течение недели Розали взяла в свои руки полное управление хозяйством и людьми в замке. Жанна подчинялась этому безропотно и пассивно. Слабая, волоча ноги, как некогда ее мамочка, она выходила из дому под руку со служанкой, которая медленно прогуливалась с ней, распекала ее и подбадривала грубовато ласковыми словами, обращаясь с нею как с больным ребенком.

Они постоянно говорили о прошлом, Жанна — со слезами в голосе, Розали — спокойным тоном бесстрастной крестьянки. Старая горничная много раз возвращалась к вопросу о приостановке выплаты процентов; затем она потребовала, чтобы ей были переданы бумаги, которые Жанна, ничего не понимавшая в делах, скрывала от нее, стыдясь за сына.

И в течение целой недели Розали пришлось ежедневно ездить в Фекан, где знакомый нотариус помогал ей разобраться во всем.

Однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она села у ее изголовья и неожиданно заявила:

— Ну, госпожа, раз вы легли, давайте теперь побеседуем.

И она изложила положение вещей.

Когда все будет приведено в порядок, останется приблизительно семь-восемь тысяч франков ренты. И больше ничего.

Жанна отвечала:

— Чего же ты хочешь, милая? Я чувствую, что до старости не доживу; мне этого вполне хватит.

Но Розали рассердилась:

— Вам, госпожа, может быть, и хватит; но господину Полю вы разве ничего не оставите?

Жанна вздрогнула:

— Прошу тебя, не говори мне о нем никогда. Я слишком страдаю, когда о нем думаю.

— Напротив, я хочу говорить о нем, если вы сами не осмеливаетесь, госпожа. Он делает глупости — ну что же, он не всегда их будет делать; и потом он женится, у него будут дети. Понадобятся деньги на их воспитание. Выслушайте же меня хорошенько: вы должны продать «Тополя».

Жанна привскочила:

— Продать «Тополя»? Ты так думаешь? О нет, никогда!

Но Розали ничуть не смутилась:

— Я вам говорю, что вы продадите «Тополя», госпожа; это необходимо. И она объяснила свои расчеты, планы и соображения.

Когда «Тополя» с обеими прилегающими фермами будут проданы покупателю, которого она подыскала, останутся еще четыре фермы в Сен-Леонаре¹; выкупленные из под заклада, они обеспечат ежегодный доход в восемь тысяч триста франков. На содержание жилья и на ремонт придется выделять тысячу триста франков в год; останется, значит, семь тысяч, из которых пять будут идти на издержки в течение года, а две — прикапливаться на будущее.

Она прибавила:

— Все остальное съедено, и с этим уже кончено. Кроме того, ключ от денег буду хранить я, понимаете? Что же касается господина Поля, он не получит больше ничего, решительно ничего; иначе он оберет вас до последнего су.

Жанна, плача, пролепетала:

— Но если ему нечего будет есть?

— Если он будет голоден, пусть приезжает кушать к вам. Для него всегда найдется постель и кусок жаркого. Как вы полагаете, натворил ли бы он все эти глупости, если бы вы с самого начала не дали ему ни одного су?

— Но у него были долги, он был бы обесчещен.

— Когда у вас больше ничего не останется, разве это помешает ему делать долги? Вы их заплатили, ладно; но больше платить их вы не будете; это уж я вам говорю. А теперь покойной ночи, сударыня.

И она ушла.

Жанна совсем не спала: ее глубоко взволновала мысль продать «Тополя», уехать, покинуть дом, с которым была связана вся ее жизнь.

Когда на следующее утро Розали вошла в ее комнату, Жанна сказала:

— Голубушка моя, я ни за что не решусь уехать отсюда.

Но служанка рассердилась:

— А все-таки придется это сделать, госпожа. Скоро явится нотариус с тем господином, который хочет купить этот замок. Иначе через четыре года вы пойдете по миру.

¹ Сен-Леонар — коммуна на севере Франции, в департаменте Приморская Сена (примеч. ред.).

Уничтоженная, Жанна повторяла:

— Я не могу, я ни за что не смогу.

Часом позже почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще десять тысяч франков. Что делать? Она растерянно посоветовалась с Розали. Та всплеснула руками:

— Что я вам говорила, госпожа? Хороши были бы вы оба, если бы я не вернулась!

И, подчиняясь воле служанки, Жанна ответила молодому человеку:

«Дорогой сын, я больше ничего не могу сделать для тебя. Ты меня разорил; я даже принуждена продать „Тополя“. Но не забывай, что у меня всегда найдется кров, когда тебе захочется найти приют возле твоей старой матери, которой ты причинил столько страданий.

Жанна».

И когда нотариус явился с господином Жоффреном, бывшим сахарозаводчиком, она сама приняла их и предложила осмотреть все самым подробным образом.

Месяц спустя она подписала запродажную и в то же время купила маленький, городского вида, домик в окрестностях Годервиля, на Большой Монтивильерской дороге, в деревушке Батвиль.

Затем она до самого вечера одиноко бродила по мамочкиной аллее; сердце ее разрывалось и дух был полон скорби, когда, вся в слезах, она посылала безнадежное «прости» далям, деревьям, полустгнившей скамье под платаном, всем этим так хорошо знакомым ее взору и душе предметам, рощице, откосу перед ландой, на котором она так часто сидела и откуда увидела бежавшего к морю графа де Фурвиля в ужасный день смерти Жюльена, старому вязу со сломанной верхушкой, к которому она так часто прислонялась, всему этому родному саду.

Розали взяла ее под руку, чтобы увести силой.

Дюжий двадцатипятилетний крестьянин ожидал их у крыльца. Он дружелюбно приветствовал Жанну, как будто знал ее уже давно.

— Здравствуйте, госпожа, как поживаете? Мать велела мне прийти и помочь вам при переезде. Мне нужно знать, что вы берете с собой отсюда; я устроил бы тогда все это постепенно, не в ущерб полевым работам.

То был сын ее служанки, сын Жюльена, брат Поля.

Ей показалось, что сердце ее остановилось, но вместе с тем ей хотелось расцеловать этого парня.

Она рассматривала его, стараясь найти в нем сходство с мужем, сходство с сыном. Он был румяный и сильный, и у него были голубые глаза и светлые волосы, как у матери. И тем не менее он походил на Жюльена. Чем? Как? Этого она не могла определить, но во всем его облике было что-то от ее мужа.

Парень продолжал:

— Если бы вы сооблаговолили указать мне все это сейчас, я был бы вам очень обязан.

Но она сама еще не могла решить, что возьмет из вещей, так как новый дом был очень мал, и попросила его зайти еще раз в конце недели.

Переезд занял ее и внес грустное разнообразие в ее жизнь, мрачную и уже лишенную всяких надежд.

Она переходила из комнаты в комнату, отыскивая мебель и вещи, которые напоминали ей о разнообразных событиях, те вещи-друзья, которые составляют часть нашей жизни, почти часть нашего существа, знакомые с детства, с которыми связаны воспоминания о наших радостях и печалях, о знаменательных датах нашей жизни, вещи, которые были немymi товарищами наших светлых и горестных часов, на которых материя местами лопнула и подкладка изорвалась, швы расплзлись и разъехались, а краски стерлись.

Она перебирала их одну за другой, часто колеблясь и волнуясь, словно накануне очень важного шага, постоянно отменяя то, что уже было решено, взвешивая достоинства двух кресел или сравнивая какой-нибудь старый секретер со старинным рабочим столиком.

Она выдвигала ящики, старалась припомнить различные связанные с этим предметом события; когда она окончательно решала: «Да, это я возьму», — выбранную вещь переносили в столовую.

Она пожелала сохранить всю мебель спальни: кровать, обивку, часы — решительно все.

Взяла несколько стульев из гостиной, рисунки которых любила с детства: Лисицу и Аиста, Лисицу и Ворону, Стрекозу и Муравья, меланхолическую Цаплю. Однажды, бродя по закоулкам покидаемого ею жилища, она забрела на чердак.

Она остановилась в изумлении: там была навалена беспорядочная груда разнообразных вещей, частью сломанных, частью только загрязнившихся, частью водворенных сюда неизвестно почему, разве только потому, что они перестали нравиться или были заменены другими. Она увидела множество давно знакомых и внезапно, хотя и неощутимо для нее, исчезнувших безделушек, пустяковых вещиц, побывавших в ее руках, старых, незначительных предметов, пятнадцать лет живших бок о бок с нею, которые она видела каждый день, не замечая их; оказавшись здесь, на чердаке, рядом с другими, еще более ветхими вещами, о которых она отчетливо помнила, где какая из них стояла в первое время по ее приезде, эти старые вещи приобретали теперь какое-то особенное значение, как забытые свидетели, как вновь обретенные друзья. Они производили на нее впечатление людей, с которыми мы давно знакомы, хотя ничего не знаем о них, и которые начали бы вдруг, однажды вечером, без всякого повода, бесконечно болтать, раскрывая всю свою душу, о существовании которой мы не подозревали.

Она переходила от одного предмета к другому с болезненно сжатым сердцем, говоря себе: «Эту китайскую чашку я разбила вечером за несколько дней

до свадьбы. А вот мамин фонарик и трость, которую отец сломал, открывая дверь, разбухшую от дождя».

Здесь было также много вещей, которых она не знала, которые ей ни о чем не напоминали, которые принадлежали ее дедам или прадедам, были покрыты пылью и похожи на изгнанников, попавших в чуждую им эпоху, — вещей, которые кажутся такими грустными в своей заброшенности, история и приключения которых никому не ведомы, вещей, относительно которых никому не известно, кто их выбирал, покупал, владел ими, любил их, как никому не известны руки, которые их ласково держали, и глаза, которые любовались ими.

Жанна прикасалась к этим вещам, вертела их в руках, оставляя следы пальцев на густом слое пыли, и долго пробыла среди этого старья, под тусклым светом, падавшим сквозь квадратные остекленные окошечки, сделанные в крыше.

Она тщательно рассматривала трехногие стулья, ожидая, не напомнят ли они ей что-нибудь, медную грелку, сломанную грелку для ног, которую, как ей казалось, она узнавала, и целую кучу хозяйственных принадлежностей, вышедших из употребления.

Наконец она отобрала часть вещей, которые ей хотелось увезти с собой, и, спускаясь, послала за ними Розали. Но служанка вышла из себя и отказалась переносить «эту рухлядь». Жанна, потерявшая уже всякую самостоятельность, на этот раз проявила твердость; служанке пришлось повиноваться.

Однажды утром молодой фермер, сын Жюльена, Дени Лекок, явился со своей тележкой, чтобы совершить первую перевозку вещей. Розали сопровождала его, желая присутствовать при выгрузке и установке вещей на место, которое они должны были занимать. Оставшись одна, Жанна в страшном приступе отчаяния заметалась по комнатам замка, покрывая поцелуями в порыве безумной любви все вещи, которые она не могла взять с собою, — больших белых птиц на обивке гостиной, старые канделябры, все, что только ей попадалось на глаза. Она переходила из комнаты в комнату в тоске, заливаясь слезами; затем пошла сказать «прости» морю.

Был конец сентября; низкое серое небо, казалось, давило на землю; печальные желтоватые волны уходили вдаль, теряясь из виду. Жанна долго простояла на утесе, предаваясь мучительным думам. С наступлением сумерек она вернулась домой, исстрадавшись за этот день больше, чем за дни самых глубоких горестей.

Розали возвратилась и поджидала ее; она была в восторге от нового дома и говорила, что он гораздо веселее этого старого сундука, расположенного так далеко от проезжей дороги.

Жанна проплакала весь вечер.

С тех пор как фермерам стало известно, что замок продан, они оказывали Жанне почтение лишь в пределах самого необходимого и называли ее между собой «свихнувшейся», хотя и сами не знали почему — вероятно, потому,

что своим животным инстинктом угадывали ее возраставшую болезненную сентиментальность, ее экзальтированную мечтательность и все смятение ее бедной, потрясенной горем души.

Накануне отъезда она случайно зашла на конюшню. Какое-то ворчание заставило ее вздрогнуть. То был Массакр, о котором она ни разу не вспомнила в течение долгих месяцев. Слепой и разбитый параличом, достигнувший возраста, до которого собаки обычно не доживают, он еще прозябал на своем соломенном ложе благодаря заботам Людивины, не забывавшей о нем. Жанна взяла его на руки, поцеловала и унесла в дом. Толстый как бочка, он с трудом двигался на расползающихся, негнущихся лапах и лаял наподобие деревянных игрушечных собак.

Наконец настал последний день. Жанна спала в бывшей комнате Жюльена, так как мебель из ее спальни была уже увезена.

Она встала измученная и разбитая, как после длинного путешествия. Повозка с сундуками и остатками мебели была уже погружена. Другая тележка, одноколка, в которой должны были поместиться госпожа со служанкой, тоже уже стояла на дворе.

Дядя Симон и Людивина оставались одни до приезда новых владельцев, а затем должны были поселиться у родных, так как Жанна назначила им маленькую ренту. Кроме того, у них были кое-какие сбережения.

Теперь они были старыми, ни на что не годными и болтливыми. Мариус, женившись, уже давно покинул дом.

Около восьми часов начал накрапывать дождь, мелкий холодный дождь, принесенный морским бризом. Тележку пришлось покрыть одеялами. С деревьев уже облетели листья.

На кухонном столе дымились чашки кофе с молоком. Жанна села, маленькими глотками выпила свою чашку и затем, вставая, произнесла:

— Едем!

Она взяла шляпу, шаль и, в то время как Розали надевала ей калоши, сказала сдавленным голосом:

— Помнишь, милая, какой шел дождь в тот день, когда мы ехали сюда из Руана...

Но тут с нею случилась какая-то спазма, она поднесла руки к груди и без чувств упала на спину.

Больше часу пролежала она как мертвая; потом открыла глаза и, конвульсивно дрожа, разразилась слезами.

Когда она немного успокоилась, то почувствовала себя до того слабой, что не могла подняться. Но Розали, боявшаяся нового припадка, если они будут медлить с отъездом, пошла за сыном. Они подняли ее, вынесли и усадили в одноколку на скамью, обитую кожей; старая служанка поместилась рядом с Жанной, прикрыла ей ноги, накинула на плечи толстый плащ и, раскрыв над ее головой зонтик, воскликнула:

— Едем скорее, Дени!

Молодой человек вскарабкался на тележку, устроился рядом с матерью и, сидя боком за недостатком места, пустил лошадь вскачь, так что женщин поминутно подбрасывало.

Завернув за угол деревни, они увидели какого-то человека, ходившего взад и вперед по дороге; это был аббат Тольбьяк, который, казалось, подстерегал их отъезд.

Он остановился, чтобы пропустить тележку; одной рукой он приподнимал сутану, боясь намочить ее в воде дорожных рытвин; его тощие ноги в черных чулках были обуты в огромные грязные сапоги.

Жанна опустила глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, а Розали, которой все было известно, пришла в ярость. Она бормотала: «Мужик, деревенщина!» — а потом вдруг схватила сына за руку:

— Хлестни-ка его кнутом!

Но молодой человек, поравнявшись со священником, въехал вдруг в рытвину, и из-под колеса тележки, несшейся во весь дух, брызнул поток грязи, окативший кюре с ног до головы.

Сияющая Розали обернулась, чтобы показать кулак священнику, пока он вытирался большим платком.

Они ехали уже минут пять, как вдруг Жанна воскликнула:

— Мы забыли Массакра!

Пришлось остановиться. Дени слез и побежал за собакой, в то время как Розали держала вожжи.

Молодой человек наконец возвратился, неся на руках безобразное, облезлое, толстое животное, которое он положил к ногам женщин.





ХІІІ

Через два часа повозка остановилась перед кирпичным домом, выстроенным на краю большой дороги, среди фруктового сада с грушевыми деревьями, подстриженными в форме веретена.

Четыре решетчатые беседки, заросшие жимолостью и бородавником¹, отмечали четыре угла этого сада, разбитого на небольшие четырехугольные грядки с овощами, которые разделялись узкими дорожками, обсаженными фруктовыми деревьями.

Разросшаяся живая изгородь окружала со всех сторон эту усадьбу, отделенную полем от соседней фермы. Шагах в ста от нее, на дороге, стояла кузница. Другое ближайшее жилье находилось на расстоянии километра.

Кругом открывался вид на равнину Ко, усеянную фермами с четырьмя двойными рядами высоких деревьев, замыкавших фруктовый сад.

Жанна тотчас же по приезде захотела отдохнуть, но Розали не позволила ей этого, боясь, что она снова погрузится в мрачные думы.

Столяр из Годервиля, позванный для размещения вещей, был уже здесь, и немедленно началась установка привезенной мебели в ожидании последнего воза, который должен был прибыть с минуты на минуту.

Это была большая работа, требовавшая долгих раздумий и серьезных обсуждений.

¹ В оригинале клематис, он же встречающийся в тексте ранее ломонос (*примеч. ред.*).

Наконец через час к ограде подъехала повозка; ее пришлось разгружать под дождем.

Вечером домик был в полном беспорядке, вещи сложили где попало; измученная Жанна уснула тотчас же, как только легла в постель.

В следующие дни ей некогда было предаваться тоске, настолько ее захватили новые заботы. Она даже находила некоторое удовольствие в украшении своего нового жилища; мысль, что ее сын вернется сюда, преследовала ее беспрестанно. Обивкой из ее прежней спальни были обтянуты стены столовой, которая служила в то же время гостиной; с особенной заботливостью обставила и убрала она одну из двух комнат второго этажа, мысленно назвав ее «Комнатой Пуле».

Вторая комната предназначалась ей, а Розали устроилась наверху, рядом с чердаком.

Заботливо обставленный домик был очень привлекателен, и Жанне первое время нравилось в нем, несмотря на то, что ей все чего-то не доставало; но понять, в чем дело, она не могла.

Однажды утром писарь нотариуса из Фекана принес Жанне три тысячи шестьсот франков — стоимость мебели, оставшейся в «Тополях» и оцененной обойщиком. При получении этих денег она затрепетала от радости и, как только писарь уехал, быстро надела шляпу, чтобы скорее отправиться в Годервиль и отослать Полю эту неожиданную сумму.

Но когда она торопливо шла по большой дороге, ей повстречалась Розали, возвращавшаяся с рынка. Служанка что-то заподозрила, хотя и не угадывала всей правды; но когда ей стало известно все — ведь Жанна ничего не могла от нее скрыть, — она поставила корзину на землю и дала волю своему гневу.

Она кричала, упершись кулаками в бока, а затем подхватила правой рукой хозяйку, левой — корзину и, не переставая негодовать, направилась к дому.

Как только они вошли, Розали потребовала у нее деньги. Жанна отдала их, удержав у себя шестьсот франков; но хитрость ее была быстро обнаружена недоверчивой служанкой; пришлось отдать все.

Розали в конце концов согласилась послать эти шестьсот франков молодому человеку.

Через несколько дней он благодарил: «Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы в крайней нужде».

Жанна между тем никак не могла привыкнуть к Батвилю; ей постоянно казалось, что здесь не так легко дышится, как в «Тополях», что здесь она еще более одинока и покинута. Она выходила прогуляться, доходила до деревни Вернейль, возвращалась через Труа Мар¹ и, вернувшись домой, снова поднималась, чувствуя потребность уйти, точно она забыла побывать как раз там, где было нужно, где ей хотелось погулять.

¹ *Trois-Mares* (фр.) — букв. Три кобылы (примеч. ред.).

Так повторялось изо дня в день, и она не понимала причины этой странной потребности. Но однажды вечером у нее бессознательно вырвалась фраза, которая разом открыла тайну этого беспокойства. Садясь обедать, она сказала:

— О, как мне хотелось бы увидеть море!

То, чего ей так сильно недоставало, было море, в соседстве с которым она жила в течение двадцати пяти лет, море с его соленым запахом, с его яростью, грозным ревом и могучим дыханием, море, которое она каждое утро видела в «Тополях» из своего окна, море, которым она дышала днем и ночью, которое чувствовала около себя и привыкла любить, как человека, сама того не подозревая.

Массакр жил тоже в крайнем возбуждении. В первый же вечер он расположился на кухне у шкафа с посудой, и его нельзя было сдвинуть с этого места. Он лежал здесь целый день, почти неподвижно, лишь изредка поворачиваясь с глухим ворчанием.

Но как только наступала ночь, он вставал и тащился к калитке сада, натываясь на стены. Пробыв за оградой те несколько минут, которые были ему необходимы, он возвращался, усаживался у еще теплой плиты и, как только его хозяйки уходили спать, принимался выть.

Он выл всю ночь напролет плачущим и жалобным голосом, делая передышку на час, чтобы начать снова и в более раздирающем тоне. Его привязали к конуре перед домом. Тогда он стал выть под окнами. Так как он был болен и мог околеть каждую минуту, его опять перевели на кухню.

Жанне не удавалось уснуть из-за непрерывных стонов и царапанья старого пса, который никак не мог освоиться с новым жилищем и прекрасно понимал, что он здесь не дома.

Ничто не могло его успокоить. Выспавшись днем, как будто его угасшие глаза и сознание дряхлости мешали ему двигаться в те часы, когда живут и двигаются все другие существа, как только наступал вечер, он начинал бродить без отдыха, словно у него хватало смелости жить и передвигаться только в потемках, когда все становятся слепыми.

Однажды утром его нашли мертвым. Это было большим облегчением для всех.



Приближалась зима. Жанна чувствовала, как ею овладевает ощущение какой-то непобедимой безнадежности. То не было одно из тех острых страданий, которые словно выворачивают всю душу, а угрюмая и мрачная печаль.

Ничто не развлекало ее. Никто не старался ее рассеять. Большая дорога развertyвалась вправо и влево перед ее дверьми и была почти всегда пустынной. Изредка проезжал рысью кабриолет с краснолицым ездоком, блуза которого, раздувающаяся от ветра, казалась издали чем-то вроде синего шара; иногда медленно катила повозка или показывались вдали двое крестьян, мужчина и женщина, крохотные на горизонте, выраставшие по мере приближения к дому и снова уменьшавшиеся до размера насекомых там, на другом конце дороги, светлая полоса которой тянулась вдаль, пропадая из виду, поднимаясь и опускаясь соответственно волнообразным линиям почвы.

Когда начала пробиваться трава, каждое утро мимо ограды проходила девчонка в коротенькой юбочке, погоняя двух тощих коров, которые щипали траву в придорожных рвах. Вечером она возвращалась той же сонливой походкой позади своей скотины, передвигаясь на шаг через каждые десять минут.

Жанне снилось по ночам, что она еще живет в «Тополях».

Она видела там себя, как в былые дни, с отцом и мамочкой, а иногда даже с тетей Лизон. Она переживала во сне давно минувшее и позабытое, и ей казалось, что она поддерживает госпожу Аделаиду, прогуливающуюся по своей аллее. Каждое пробуждение сопровождалось слезами.

Она постоянно думала о Поле, спрашивала себя: «Что он делает? Каков он теперь? Думает ли он иногда обо мне?» Гуляя медленным шагом по извилистым тропинкам между фермами, она перебирала в голове эти терзавшие ее мысли, но больше всего ее мучила неукротимая ревность к той незнакомой женщине, которая похитила у нее сына. Только ненависть к ней удерживала ее, мешала ей действовать, отправиться на поиски его, проникнуть к нему в дом. Ей представлялось, что его любовница открывает дверь, спрашивая: «Что вам нужно здесь, мадам?» Ее материнская гордость возмущалась при мысли о возможности подобной встречи; высокомерное тщеславие безупречно чистой женщины, никогда не падавшей, ничем не запятнанной, все больше и больше ожесточало ее против низостей мужчины, поработанного грязью плотской любви, от которой становится низменным и самое сердце. Человечество казалось ей отвратительным, когда она думала о нечистоплотных тайнах инстинктов, об унижительных ласках, о секретах неразрывных связей.

Прошли еще весна и лето.

Но когда наступила осень с нескончаемыми дождями, с серым небом, темными тучами, она почувствовала такую усталость от жизни, что решила сделать последнее великое усилие, чтобы вернуть своего Пуле.

Страсть молодого человека теперь, вероятно, уже охладела.

Она написала ему отчаянное письмо:

«Дорогое мое дитя, умоляю тебя, вернись ко мне. Подумай только, что я стара и больна, что я провожу круглый год в полном одиночестве, наедине со служанкой. Я живу теперь в маленьком домике на краю дороги. Мне так грустно! Но если бы ты был здесь, все изменилось бы для меня. Ведь ты один у меня на свете, а я не виделась с тобою семь лет! Ты не узнаешь никогда, как я была несчастна и как я успокаивала свое сердце только мыслью о тебе. Ты был моей жизнью, моей мечтой, моей единственной надеждой, моей единственной любовью — и тебя нет у меня, ты меня бросил!

Вернись, мой милый Пуле, вернись поцеловать меня, вернись к своей старой матери, которая в отчаянии простирает к тебе руки.

Жанна».

Он ответил через несколько дней:

«Дорогая мама, я не желал бы ничего большего, как приехать повидаться с тобою, но у меня нет ни одного су. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я и сам намеревался быть у тебя, чтобы обсудить с тобой один проект, который может дать мне возможность исполнить твою просьбу.

Бескорыстие и любовь той, которая была моей подругой в самое тяжелое для меня время, по-прежнему безграничны. Невозможно жить дальше, не признав перед всеми ее преданной любви и самоотверженности. Впрочем, у нее очень хорошие манеры, и ты их оценишь. Она очень образованна, очень много читает. Наконец, ты не можешь себе и представить, чем она всегда была для меня. Я был бы скотиной, если бы не засвидетельствовал ей своей благодарности. Итак, прошу тебя разрешить мне жениться на ней. Ты простишь мне мои шалости, и мы заживем все вместе в твоём новом доме.

Если бы ты только знала ее, ты сейчас же дала бы свое согласие. Уверяю тебя — она воплощенное совершенство и благородство. Ты полюбишь ее, я в этом уверен. Что касается меня, то я не могу жить без нее.

С нетерпением жду от тебя ответа, дорогая мама, и мы оба целуем тебя.

Твой сын виконт Поль де Лямар».

Жанна была сражена. Неподвижно сидела она, опустив письмо на колени, угадывая хитрость этой девки, постоянно удерживавшей ее сына, не отпускавшей его ни разу от себя, выжидавшей своего часа, того часа, когда старая, измученная мать не сможет больше противиться желанию обнять своего ребенка, когда она ослабеет и согласится на все.

И страшная скорбь терзала ей сердце при виде упорного предпочтения, которое Поль оказывает этой твари. Она повторяла:

— Он не любит меня! Он не любит меня!

Вошла Розали. Жанна сказала:

— Теперь он хочет на ней жениться.

Служанка так и подпрыгнула:

— О, госпожа, вы не должны этого ему позволить. Господин Поль не должен брать эту шлюху.

И Жанна, убитая, но все же возмущенная, ответила:

— Этому не бывать, милая. И раз он не хочет приехать, я поеду сама, разыщу его, и тогда мы увидим, кто из нас победит.

И она сейчас же написала Полю, объявляя о своем намерении приехать и о желании видаться с ним, но только не там, где живет эта распутница.

В ожидании ответа она стала готовиться к отъезду.

Розали принялась укладывать в старый чемодан белье и вещи своей госпожи. Но, сложив ее платье — старое деревенское платье, — она воскликнула:

— Да у вас нечего надеть! Я не позволю вам ехать в таком виде. Вам стыдно будет показаться на людях, а парижские дамы еще примут вас за служанку.

Жанна предоставила ей действовать. Они вместе отправились в Годервиль, где выбрали зеленую клетчатую материю и отдали ее шить местной портнихе. Затем они пошли к нотариусу, мэтру Русселю, ежегодно уезжавшему на две недели в столицу, чтобы навести у него справки. Ведь Жанна целых двадцать восемь лет не видела Парижа.

Он дал многочисленные указания о том, что нужно делать, чтобы не попасть под экипажи и не быть обокраденным, посоветовал зашить деньги в подкладку платья и оставить в кармане только самое необходимое; он много распространялся о ресторанах с общедоступными ценами и назвал два-три из них, которые часто посещаются дамами; указал гостиницу «Нормандия», возле самого вокзала, где он сам всегда останавливается. Можно явиться туда с его рекомендацией.

Железная дорога, о которой столько говорили повсюду, существовала уже шесть лет между Гавром и Парижем. Но Жанна, поглощенная своим горем, ни разу еще не видела этих паровых экипажей, преобразивших всю страну.

Между тем Поль не отвечал.

Она прождала неделю, прождала две, ежедневно выходя на дорогу навстречу почтальону и дрожащим голосом задавая ему вопрос:

— Для меня ничего нет, дядя Маланден?

И голосом, охрипшим от резких колебаний погоды, он каждый раз отвечал ей:

— На этот раз ничего, госпожа.

Конечно, эта женщина запрещает Полю отвечать.

Тогда Жанна решила ехать немедленно. Она хотела взять с собой Розали, но служанка отказалась сопровождать ее, чтобы не увеличивать дорожные расходы.

Кроме того, она не позволила хозяйке взять больше трехсот франков:

— Если вам не хватит, вы мне напишете, я тогда схожу к нотариусу и попрошу его выслать вам сколько будет нужно. Если я дам вам больше денег, господин Поль их прикамнит.

В одно декабрьское утро они сели в тележку Дени Лекока, приехавшего, чтобы отвезти их к поезду; Розали решила проводить свою госпожу до вокзала.

Сначала они справились о цене билета, а когда все было устроено и чемодан был сдан в багаж, стали ждать, разглядывая железные полосы и стараясь уразуметь, как же может по ним двигаться эта штука; они были настолько поглощены этой непонятной вещью, что совсем забыли о грустной цели поездки.

Наконец внимание их было привлечено отдаленным свистком, и они увидели какую-то черную машину, выраставшую по мере приближения. Она подкатила со страшным грохотом, проехала перед ними, волоча за собой целую цепь домиков на колесах, и когда кондуктор отворил дверцу, Жанна, вся в слезах, поцеловала Розали и села в один из этих домиков.

Взволнованная Розали крикнула:

- До свидания, госпожа! Счастливого пути, до скорого свидания!
- До свидания, милая.



Опять раздался свисток, и вся цепь вагонов покатила, сначала тихонько, потом быстрее и, наконец, с ужасающей скоростью.

В купе, где находилась Жанна, два господина спали, прикорнув по углам.

Она смотрела на проплывающие равнины, деревья, фермы, деревни, пугаясь быстроты движения, чувствуя себя захваченной новой жизнью, перенесенной в новый мир, не имеющий ничего общего с ее миром, миром ее спокойной юности и однообразного существования.

В сумерках она приехала в Париж.

Носильщик взял ее чемодан, и она почти бегом растерянно следовала за ним; со всех сторон ее толкали, и она неумело пробиралась в двигающейся толпе, боясь потерять его из виду.

Войдя в контору гостиницы, она поспешила заявить:

— Я приехала по рекомендации господина Русселя.

Хозяйка, толстая серьезная женщина, сидевшая за конторкой, спросила:

— Кто это господин Руссель?

Пораженная Жанна ответила:

— Да нотариус из Годервиля, который каждый год останавливается у вас.

Толстая дама возразила:

— Возможно. Но я его не знаю. Вам комнату?

— Да, мадам.

И лакей, подхватив чемодан Жанны, пошел впереди нее по лестнице.

У нее сжалось сердце. Она села за маленький столик и попросила бульону и крылышко цыпленка. С самого утра она ничего не ела.

Она грустно пообедала при свете свечи, размышляя о тысяче вещей, вспоминая, как она проезжала через этот самый город по возвращении из свадебного путешествия, вспоминая первые признаки дурного характера Жюльена, проявившиеся во время этого пребывания в Париже. Но тогда она была молодой, доверчивой и бодрой. Теперь же она чувствовала себя старой, растерянной, боязливой, слабой и способной приходить в замешательство из-за каждого пустяка. Покончив с обедом, она стала глядеть в окно на улицу, полную народа. Ей хотелось выйти, но она не решилась. Она тут непременно заблудится, думалось ей. Жанна легла и потушила свечу.

Однако шум, ощущение незнакомого города и лихорадка путешествия не давали ей заснуть. Время шло. Гул снаружи мало-помалу стихал, но она все-таки не могла спать, потому что этот полупокоем большого города действовал ей на нервы. Она привыкла к тишине и глубокому сну полей, усыпляющим все — людей, животных и растения; теперь же Жанна чувствовала вокруг себя какое-то таинственное движение. Почти неуловимые голоса долетали до нее, точно проникая сквозь стены гостиницы. Иногда скрипел пол, хлопала где-то дверь, дребезжал звонок.

Около двух часов ночи, когда она только начала дремать, какая-то женщина закричала в соседней комнате; Жанна быстро присела в кровати; потом ей послышался мужской смех.

И тут, по мере того как приближался день, мысль о Поле овладела ею; она оделась, чуть только стало светать.

Он жил в Сите¹, на улице Соваж. Она хотела пройти туда пешком, из экономии, помня заветы Розали. День был чудесный; холодный воздух щипал кожу; пешеходы торопливо сновали по тротуарам. Она быстро шла по указанной ей улице, в конце которой ей предстояло свернуть направо, затем налево, и наконец, добравшись до площади, снова спросить дорогу. Она не нашла

¹ *Сите* — старейший район Парижа, частично расположенный на одноименном острове (примеч. ред.).



площади и справилась у булочника, который дал ей несколько иные указания. Она опять двинулась в путь, сбилась с дороги, стала плутать, следовала разным советам и окончательно заблудилась.

В отчаянии она шла теперь почти наугад. Ей хотелось уже позвать извозчика, когда вдруг она увидела Сену и направилась вдоль набережной.

Приблизительно через час она очутилась на улице Соваж, в каком-то темном закоулке. Она остановилась у двери в таком волнении, что не могла сделать больше ни шагу.

Он здесь, Пуле, в этом доме!

Она чувствовала, как дрожат ее колени и руки; наконец она вошла, миновала узкий коридор, подошла к швейцарской и, протягивая серебряную монету, спросила:

— Не можете ли вы подняться к господину Полю де Лямар и сказать, что его ждет внизу пожилая дама, подруга его матери?

Портье отвечал:

— Он не живет здесь больше, мадам.

Сильная дрожь охватила ее. Она пролепетала:

— А где же... где он живет теперь?

— Не знаю.

Она почувствовала головокружение, словно перед обмороком, и стояла некоторое время, не будучи в силах сказать ни слова. Наконец, сделав над собой страшное усилие, она пришла в себя и прошептала:

— Когда же он уехал?

Швейцар дал ей разъяснения со всеми подробностями:

— Недели две тому назад. Раз как-то вечером они вышли в чем были и больше не возвращались. Они кругом должны в квартале, а потому, сами понимаете, адреса своего не оставили.

В глазах у Жанны завертелись светлые круги, огненные вспышки, точно перед нею стреляли из ружья. Но одна мысль поддерживала ее и давала ей силы устоять на ногах и сохранить наружное спокойствие и благоразумие: она хотела узнать все и разыскать Поля.

— Так он ничего не сказал, уезжая?

— Ни слова; они сбежали, чтобы не платить, — только и всего.

— Но ведь он должен прислать кого-нибудь за письмами.

— Ну вот еще! Они получали не более десяти писем в год. Впрочем, за два дня до отъезда я отнес им одно письмо.

Это было, конечно, ее письмо. Она быстро проговорила:

— Послушайте, я его мать, я приехала, чтобы разыскать его. Вот вам десять франков. Если вы получите о нем какие-нибудь вести или указания, сообщите их мне в гостиницу «Нормандия» на Гаврской улице, я вам щедро заплачу.

Он отвечал:

— Рассчитывайте на меня, мадам.

И она ушла.

Она снова начала бродить по улицам, не давая себе отчета, куда идет. Она шла быстро, точно торопясь по важному делу, пробираясь возле самой стены; ее толкали люди со свертками, она переходила улицы, не видя едущих экипажей, не слыша брани кучеров, спотыкалась о ступени тротуаров, не замечая их, бежала все вперед и вперед как безумная.

Вдруг она оказалась в саду и почувствовала такую усталость, что опустилась на скамейку. Очевидно, она очень долго сидела тут и плакала, сама того не сознавая, потому что прохожие останавливались, чтобы посмотреть на нее. Наконец ей сделалось холодно, и она встала, собираясь идти вновь; ее ноги чуть двигались, до того она была измучена и слаба.

Ей хотелось зайти в ресторан и спросить бульону, но она не решалась войти в эти заведения из боязни, стыда, страха, не желая обнаружить перед всеми

свое очевидное горе. Она остановилась на секунду у дверей одного ресторана, заглянула внутрь, увидела людей, сидящих у накрытых столов и обедающих, и застенчиво побежала дальше, говоря себе: «Я зайду в другой». Но и в следующий она не решалась войти.

В конце концов она купила в булочной сдобный рожок и на ходу принялась его есть. Ей очень хотелось пить, но она не знала, куда зайти, и старалась терпеть.

Она прошла под каким-то сводом и попала в другой сад, окруженный аркадами. Тогда она узнала Пале-Рояль¹.

Солнце и ходьба согрели ее, и она снова решила посидеть часок-другой.

Здесь прогуливалась, болтала, смеялась, раскланивалась нарядная толпа, та счастливая толпа, где женщины красивы, а мужчины богаты и которая живет только ради туалетов и удовольствий.

Жанна, смущенная тем, что очутилась посреди этой блестящей сутолоки, встала, чтобы бежать отсюда; но вдруг у нее мелькнула мысль, что здесь она может встретить Поля, и она стала скромно и торопливо бродить взад и вперед по саду, всматриваясь в лица прохожих.

Некоторые оборачивались, чтобы проводить ее взглядом, другие смеялись, показывая на нее друг другу. Она заметила это и ушла из сада, думая, что насмешку вызывают ее манеры и платье в зеленую клетку, выбранное Розали и сшитое по ее указаниям готервильской портнихой.

Она даже не осмеливалась больше спрашивать у прохожих дорогу. Но в конце концов отважилась на это и отыскала свою гостиницу.

Остальную часть дня она провела на стуле у кровати, почти не двигаясь. Затем пообедала, как накануне, съев немного супу и мяса, и легла в постель, проделывая все движения машинально, по привычке.

На следующий день она отправилась в префектуру полиции попросить о розыске сына. Ей ничего не могли обещать, но сказали, что этим делом займутся.

Она снова пошла бродить по улицам, надеясь встретить Поля. Она чувствовала себя еще более одинокой в этой оживленной толпе, еще более затерянной, еще более несчастной, чем среди пустынных полей.

Когда вечером она вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал какой-то мужчина от господина Поля и что он опять придет завтра. Вся кровь прилила ей к сердцу, она не сомкнула глаз всю ночь. Ах, если бы это был он! Да, конечно, это он, хотя она не узнавала его по тому описанию, которое ей сообщили.

Около девяти часов утра раздался стук в дверь, и она закричала: «Войдите!» — готовясь броситься с раскрытыми объятиями. Появился незнакомец. И пока он извинялся за причиненное беспокойство и излагал свое дело,

¹ Пале-Рояль (фр. *Palais Royal* — королевский дворец) — площадь, дворец и парк, расположенные в Париже напротив северного крыла Лувра (примеч. ред.).

а именно говорил о долге Поля, за уплатой которого он явился, она чувствовала, что плачет, и, не желая показать этого, смахивала слезы кончиком пальцев по мере того, как они набегали в уголки глаз.

Он узнал о ее приезде от швейцара на улице Соваж и, не имея возможности разыскать молодого человека, обращается к его матери. И он протянул бумагу, которую она бессознательно взяла. Она увидела цифру — девяносто франков, вынула деньги и заплатила.

Она не выходила весь этот день.

На следующий день явились новые кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе только двадцать франков, и написала Розали о своем положении.

В ожидании ответа она целыми днями бродила по городу, не зная, что делать, как убить унылые часы, бесконечные часы, не имея никого, кому она могла бы сказать теплое слово, никого, кто знал бы о ее несчастье. Она ходила наугад, томясь теперь желанием скорее уехать, вернуться к себе, в свой маленький домик на краю пустынной дороги.

Всего несколько дней назад она не могла там жить, до того ее удручала тоска, а теперь она ясно почувствовала, что может жить только там, там, где прочно укоренились все ее угрюмые привычки.

Наконец однажды вечером она получила письмо с двумястами франков. Розали писала:

«Госпожа, возвращайтесь скорее, потому что больше я Вам ничего не пришлю. Что касается господина Поля, то я сама поеду его разыскивать, когда мы получим о нем вести.

Кланяюсь вам. Ваша *служанка Розали*».

И наутро Жанна уехала в Батвиль. Шел снег, было очень холодно.





XIV

С тех пор она не выходила больше, не двигалась. Она вставала всегда в один и тот же час, смотрела в окно на погоду, потом спускалась вниз и садилась в столовой у камина.

Целыми днями неподвижно сидела она здесь, устремив глаза на огонь, безвольно отдаваясь грустным мыслям и перебирая печальную вереницу своих страданий. Сумерки мало-помалу обволакивали комнату, а она все еще сидела, делая движение лишь затем, чтобы подбросить в камин дров. А Розали вносила лампу, восклицая:

— Ну, госпожа, вам надо встряхнуться, а то у вас вечером не будет аппетита.

Ее преследовали навязчивые мысли, мучили мелочные заботы: всякий пустяк в ее больной голове принимал несоразмерно важное значение.

Но чаще всего она жила мыслью в прошлом, в далеком прошлом: ее не покидали образы раннего детства, а также свадебного путешествия на Корсику. Давно забытые пейзажи этого острова возникали вдруг перед нею среди головешек камина: она вспоминала все мельчайшие события, все незначительные факты, все лица, которые она там встречала; лицо проводника Жана Раволи преследовало ее, и порою ей казалось, что она слышит его голос.

Потом она думала о радостных годах детства Поля, о той поре, когда он заставлял ее сажать салат, когда она становилась на колени на жирной земле рядом с тетей Лизон и когда обе они старались наперебой, изо всех сил, угождать ребенку, соперничая в том, кто ловчее посадит рассаду и у кого она даст больше побегов.

И чуть слышно губы ее шептали: «Пуле, мой маленький Пуле», — словно она говорила с ним, и, когда ее грезы обрывались на этом слове, она принималась порой целыми часами чертить вытянутым пальцем в воздухе буквы, из которых состоит его имя. Она чертила их медленно перед огнем, воображая, что видит их, а потом, думая, что ошиблась, начинала снова выводить букву «П» рукой, дрожащей от усталости, стараясь вычертить все имя; окончив, она опять принималась за то же самое.

В конце концов она больше не могла этого делать — путала, чертила другие слова и волновалась при этом до сумасшествия.

Все мании отшельников завладели ею. Всякая вещь, стоявшая не на месте, выводила ее из себя.

Розали часто заставляла ее ходить, выводила на дорогу, но через двадцать минут Жанна заявляла: «Я не могу больше, милая», — и усаживалась на краю канавы.

Вскоре всякое движение стало ей ненавистно, и она старалась оставаться в постели возможно дольше.

С детства у нее неизменно и устойчиво сохранялась привычка вставать с постели тотчас после того, как она выпивала кофе с молоком. Этому напитку она придавала какое-то преувеличенное значение; лишиться его для нее было бы труднее, нежели чего-либо другого. Каждое утро с немного чувственным нетерпением ожидала она прихода Розали, и как только полная чашка кофе была поставлена на ночной столик, она садилась в постели и живо, даже с некоторой жадностью, выпивала ее. Потом, откинув простыни, начинала одеваться.

Но мало-помалу она усвоила привычку предаваться мечтам несколько секунд после того, как пустая чашка была поставлена обратно на блюдечко, и снова протягивалась на кровати; с каждым днем все дольше и дольше предавалась она этой лени, до того момента, пока наконец не появлялась возмущенная Розали и не одевала ее почти насильно.

В ней вообще исчезла последняя видимость воли, и теперь, когда служанка обращалась к ней за советом, задавала ей какой-нибудь вопрос, спрашивала ее мнения, она отвечала:

— Делай как хочешь, милая.

Она в такой степени прониклась уверенностью, что злой рок упорно преследует ее, что стала фаталисткой наподобие жителей Востока; привыкнув видеть несбыточность своих грез, крушение своих надежд, она целыми днями колебалась, прежде чем решиться на самое простое дело, так как была уверена, что она на плохом пути и что это к добру не приведет.

Она постоянно повторяла:

— Мне ни в чем не было удачи в жизни.

Тогда Розали восклицала:

— А что бы вы сказали, если бы вам пришлось трудиться, чтобы заработать себе на хлеб, если бы вы должны были вставать каждый день в шесть часов утра и ходить на поденщину? А ведь много таких женщин, которые принуждены делать это, когда же они становятся старыми, то помирают в нищете.

Жанна отвечала:

— Подумай только, что ведь я совсем одна, что сын покинул меня.

Тогда Розали приходила в бешенство:

— Подумаешь, какое дело! Ну так что же! А сыновья, которых берут на военную службу? А те, которые переселяются в Америку?

Америка представлялась ей какой-то неопределенной страной, куда едут наживать богатство и откуда никогда не возвращаются.

Она продолжала:

— Всегда настает пора, когда приходится расставаться, потому что старым и молодым не жить вместе. — И она заключала свирепо: — Что же вы сказали бы, если бы он умер?

Жанна не отвечала.

К ней вернулось немного сил, когда воздух с первыми весенними днями стал более мягок, но из-за этого прилива бодрости она лишь еще больше углубилась в свои мрачные мысли.

Однажды утром она поднялась на чердак, чтобы отыскать какую-то вещь, и случайно открыла там ящик, наполненный старыми календарями; их сохраняли по обычаю некоторых деревенских жителей.

Ей показалось, что она нашла самые годы своего прошлого, и, охваченная странным и смутным волнением, она остановилась перед этой грудой квадратного картона.

Она взяла календари и унесла их вниз, в столовую. Они были всевозможных размеров — и большие и маленькие. Она стала раскладывать их на столе по годам. И внезапно наткнулась на первый календарь, который привезла когда-то в «Тополя».

Она долго рассматривала этот календарь и числа, зачеркнутые ею в утро ее отъезда из Руана по выходе из монастыря. И она заплакала. Заплакала едкими и скупыми слезами, жалкими слезами старухи, столкнувшейся лицом к лицу со своей несчастной жизнью, разложенной перед ней на столе.

Ее охватило желание, перешедшее вскоре в какую-то ужасную, неотступную, ожесточенную манию. Ей захотелось восстановить день за днем все, что она делала за это время.

Она прикрепила к стене на обивке один за другим эти пожелтевшие листы картона и часами простаивала перед ними, задавая себе вопрос: «Что было со мной в таком-то месяце?»

Она отметила черточками все памятные даты своей жизни, и иногда ей удавалось воскресить целый месяц, восстанавливая, группируя и связывая один за другим мельчайшие факты, предшествовавшие какому-нибудь важному событию или следовавшие за ним.

Благодаря сосредоточенному вниманию, напряжению памяти и усилию воли ей удалось восстановить почти целиком два первых года, проведенных в «Тополях», потому что отдаленные воспоминания ее жизни возникали перед ней с особенной легкостью и ясностью.

Но следующие годы, казалось, терялись в каком-то тумане, перепутывались, громоздились один на другой, и временами она простаивала перед календарем бесконечно долго, опустив голову, мысленно устремив взор в прошлое и не имея сил вспомнить: не в этом ли куске картона можно отыскать то или иное событие?

Она переходила от одного календаря к другому, вокруг всей комнаты, обвешанной, точно изображениями крестного пути, этими картинами канувших в вечность дней. Вдруг она порывисто садилась перед каким-нибудь из календарей и застывала так до самой ночи, устремив на него взгляд, углубясь в свои поиски.

Когда под влиянием солнечного тепла пробудились все соки, когда в полях стали прорастать всходы, деревья зазеленели и расцветшие яблони во дворе превратились в розовые шары, наполняя всю долину благоуханием, страшное волнение обурывало ее.

Она не могла усидеть на месте; она ходила взад и вперед, выходила и возвращалась по двадцать раз в день и бродила иногда вдоль ферм, томясь лихорадкой позднего сожаления.

При виде маргаритки, скромно прятавшейся в густой траве, при виде солнечного луча, скользящего среди листвы, при виде лужицы воды в колее, отражавшей голубое небо, она приходила в умиление, чувствовала себя растроганной, потрясенной, и в ней пробуждались давно минувшие чувства, как эхо ее девичьих волнений, когда она мечтала, гуляя в полях.

Она содрогалась от тех же потрясений, упивалась той же нежностью и волнующим опьянением теплых дней, как и в те времена, когда у нее было будущее. Все это она переживала теперь, когда будущего уже не было. Она еще наслаждалась этим в сердце своем, но и страдала от этого, словно вечная радость пробужденного мира, проникая в ее иссохшую кожу, в ее охлажденную кровь, в ее подавленную душу, могла дать ей только болезненное и слабое очарование.

Ей казалось также, что все как-то изменилось вокруг нее. Солнце грело не так сильно, как в дни ее юности, небо было не такое синее, трава не такая зеленая, цветы были бледнее, не так пахли, аромат их опьянял совсем по-иному.

Однако в иные дни ею настолько овладевало чувство радости жизни, что она опять начинала грезить, надеяться и ждать; можно ли, несмотря

на ожесточенную суровость судьбы, навсегда перестать надеяться, когда кругом так прекрасно?

Целыми часами бродила и бродила она, как бы подстегиваемая душевным возбуждением. Потом вдруг останавливалась и садилась на краю дороги, предаваясь грустным размышлениям. Почему она не была так любима, как другие? Почему она не изведала хотя бы счастья спокойного существования?

Временами она еще забывала на минуту о том, что состарилась, что впереди у нее нет ничего, кроме нескольких мрачных и одиноких лет, что жизненный путь ею уже пройден, и, как прежде, как в шестнадцать лет, она принималась строить планы, милые ее сердцу, создавать очаровательные картины будущего. Затем жестокое сознание действительности снова подавляло ее; она поднималась, словно сторбившись под ярмом, и уже медленно возвращалась к своему жилищу, шепча:

— О безумная старуха! Безумная старуха!

Теперь Розали твердила ей поминутно:

— Да успокойтесь же, госпожа, чего вы так волнуетесь?

И Жанна грустно отвечала ей:

— Чего же ты хочешь? Я, как Массакр, доживаю последние дни.

Однажды утром служанка вошла ранее обыкновенного в ее комнату и, поставив кофе на ночной столик, сказала:

— Ну, пейте скорее, Дени ждет нас внизу. Поедемте в «Тополя», там у меня есть дело.



Жанне казалось, что она теряет сознание, до того ее взбудоражили эти слова; она оделась, дрожа от волнения, смущаясь и слабей при мысли, что снова увидит родной дом.

Сверкающее небо расстиралось над землей; лошадка бежала резвой рысью, порою переходя в галоп. Когда въехали в коммуну Этуван, Жанне стало трудно дышать, так сильно билось ее сердце, а завидев кирпичные столбы ограды, она тихо, против воли, два-три раза простонала: «О-о-о!» — точно при виде зрелища, от которого разрывается сердце.

Одноколку распрягли у Кульяров; пока Розали с сыном отправились улаживать свои дела, фермеры предложили Жанне пройти по замку, так как хозяев не было дома, и дали ей ключи.

Она пошла одна и, приблизившись к старому зданию со стороны моря, остановилась, чтобы лучше рассмотреть его. Снаружи ничто не изменилось. На потускневших стенах огромного сероватого здания играли в этот день солнечные блики. Все ставни были закрыты.

Небольшая сухая ветка упала ей на платье; она подняла глаза: ветка упала с платана. Жанна приблизилась к могучему дереву с гладкой и светлой корой и погладила его, точно это было живое существо. Ее нога наткнулась в траве на кусок гнилого дерева: то был последний обломок скамьи, на которой она так часто сидела со своими родными, скамья, которая была поставлена в день первого визита Жюльена.

Затем она подошла к двойной двери вестибюля и с трудом открыла ее: тяжелый заржавленный ключ не хотел поворачиваться в замке. Наконец замок уступил, пружина слегка заскрежетала, и створка двери отворилась от толчка.

Быстро, почти бегом, поднялась Жанна в свою комнату. Она не узнала ее: комнату заново оклеили светлыми обоями, — но, распахнув окно, она замерла, взволнованная до глубины души видом широкого горизонта, который она так любила, рощицей, вязами, ландой и морем, испещренным темными парусами, которые издали казались неподвижными.

Она принялась бродить по огромному пустому дому. Она рассматривала на стенах пятна, давно знакомые ее глазам. Она остановилась перед маленьким углублением в штукатурке, которое сделал барон, часто забавлявшийся, вспоминая свою молодость, тем, что фехтовал тросточкой против перегородки, когда ему случалось проходить мимо нее.

В комнате матери, в темном углу за дверью около кровати, она нашла булавку с золотой головкой, которую когда-то воткнула в стену (теперь она ясно вспоминала это) и которую потом искала в течение ряда лет. Никто не нашел ее. Она взяла ее как бесценную реликвию и поцеловала.

Она ходила всюду, искала и узнавала обивку комнат, которая совсем не переменилась, и снова различала почти невидимые странные фигуры, которые наше воображение часто создает из рисунков обоев, прожилок мрамора и теней на загрязненном от времени потолке.

Она ходила тихими шагами в полном одиночестве по огромному молчаливому замку, точно по кладбищу. Вся ее жизнь была погребена здесь. Она спустилась в гостиную. В ней было темно, так как ставни были закрыты, и прошло несколько минут, прежде чем она могла что-либо различить; затем, когда ее глаза привыкли к темноте, она мало-помалу стала узнавать обои с разгуливавшими по ним птицами. Два кресла по-прежнему стояли перед камином, словно их только что покинули; и самый запах этой комнаты, запах, который всегда был ей присущ, как он присущ живым существам, запах неопределенный и все же так хорошо знакомый, неясный, милый аромат старых жилищ доходил до Жанны, окружал ее воспоминаниями, опьянял ее. Она задышалась, впивая этот воздух прошлого, и стояла, устремив глаза на кресла. И вдруг в мгновенной галлюцинации, порожденной ее навязчивой мыслью, ей показалось, что она видит — да, видит, как видела их так часто прежде, — своего отца и мать, греющих ноги перед камином.

В испуге она отпрянула, ударившись спиной о косяк двери, уцепилась за него, чтобы не упасть, но все еще не сводила глаз с кресел.

Видение исчезло.

Несколько минут она не могла прийти в себя, потом медленно овладела собою и в страхе решила бежать отсюда, чтобы не сойти с ума. Случайно взгляд ее упал на косяк, о который она опиралась, и она увидела «лестницу Пуле».

Черточки поднимались по краске двери одна за другой с неравными промежутками; цифры, нацарапанные перочинным ножом, отмечали год, месяц и рост ее сына. Иногда то был почерк барона, более крупный, иногда ее собственный, помельче, иногда тети Лизон, слегка дрожащий. И ей казалось, что ребенок, каким он был тогда, с его белокурыми кудрями, прислоняется сейчас, здесь, перед нею, своим лобиком к стене, чтобы измерили его рост.

Барон кричал:

— Жанна, ведь он за шесть недель вырос на целый сантиметр!

В бешеном порыве любви она начала покрывать дверной косяк поцелуями. Но со двора ее позвали. Это был голос Розали.

— Госпожа, госпожа, вас ждут к завтраку!

Она вышла, теряя рассудок. Ничего не понимала из того, что ей говорили. Ела то, что подавали; слушала, не отдавая себе отчета, о чем идет речь; вероятно, говорила с фермершами, которые справлялись о ее здоровье; давала себя целовать, сама целовала щеки, которые ей подставляли, и, наконец, села в экипаж.

Когда высокая крыша замка скрылась за деревьями, Жанна ощутила невыносимую боль в груди. Она чуяла сердцем, что сейчас навсегда простилась со своим домом.

Вернулись в Батвиль. Входя в свое новое жилище, Жанна увидела что-то белое под дверью; то было письмо, которое почтальон подsunул туда в ее отсутствие. Она тотчас же угадала, что оно от Поля, и, дрожа от волнения, распечатала его. Он сообщал:



«Дорогая мама, я не писал тебе раньше, так как не хотел затруднять тебя бесполезным путешествием в Париж, да и мне самому необходимо немедленно приехать к тебе. В настоящее время меня постигло страшное горе, и я нахожусь в крайнем затруднении. Три дня тому назад жена моя родила девочку и теперь умирает, а у меня совершенно нет денег. Я не знаю, что делать с ребенком, которого привратница выкармливает на рожке как умеет, но боюсь его потерять. Не могла ли бы ты взять его к себе? Я положительно не знаю, как мне с ним быть, и не имею средств, чтобы отдать его кормилице. Отвечай немедленно.

Любящий тебя сын *Поль*».

Жанна рухнула на стул, едва найдя в себе силы позвать Розали. Когда служанка пришла, они вместе перечитали письмо и долго молчали, сидя друг против друга.

Наконец Розали сказала:

— Я поеду за малюткой, госпожа. Так ее нельзя оставить.

Жанна отвечала:

— Поезжай, милая.

Они помолчали еще, и служанка добавила:

— Надевайте шляпку, госпожа, и едемте к нотариусу в Годервиль. Раз она умирает, нужно, чтобы господин Поль обвенчался с нею ради малютки.

Не говоря ни слова, Жанна надела шляпку. Сердце ей переполняла глубокая радость, в которой стыдно было признаться, вероломная радость, которую она хотела скрыть во что бы то ни стало, одна из тех отвратительных радостей, от которой приходится краснеть, хотя ею страстно наслаждаются в тайниках души: любовница ее сына умирала.

Нотариус дал служанке подробные указания, которые она просила повторить несколько раз; потом, уверившись, что уже не ошибется, она заявила:

— Будьте покойны, я все беру теперь на себя.

В ту же ночь она уехала в Париж.

Жанна провела два дня в таком смятении, что не могла решительно ни о чем думать. На третье утро она получила от Розали записку, извещавшую о ее возвращении с вечерним поездом. И больше ничего.

В три часа она попросила соседа запрячь одноколку и отправилась на вокзал в Безвиль, чтобы встретить там служанку.

Она стояла на платформе, устремив глаза на прямую линию рельсов, которые убегали, сливаясь друг с другом на горизонте. Время от времени она смотрела на часы. Еще десять минут. Еще пять минут. Еще две минуты. Сейчас. Но ничего не показывалось вдали. Затем она вдруг увидела белое пятнышко, дымок, а под ним черную точку, которая все росла, росла и приближалась полным ходом. Наконец огромная машина, замедляя бег, проехала, шумно дыша, перед Жанной, которая жадно заглядывала в окна. Несколько дверец распахнулось; оттуда выходили люди: крестьяне в блузах, фермерши с корзинками, мелкие буржуа в мягких шляпах. Наконец она увидела Розали, несущую в руках что-то вроде свертка с бельем.

Ей хотелось пойти к ней навстречу, но она боялась упасть, до того ослабели ее ноги. Увидев ее, служанка подошла к ней с обычным спокойным видом и сказала:

— Здравствуйте, госпожа; вот я и вернулась, хоть это было не так-то легко!

Жанна пробормотала:

— Ну?

Розали ответила:

— Ну, она умерла сегодня ночью. Они повенчались, вот ребенок.

И она протянула младенца, лица которого не было видно.

Жанна машинально взяла его на руки, они вышли из вокзала и сели в экипаж.

Розали продолжала:

— Господин Поль приедет тотчас после похорон. Надо думать, завтра с этим же поездом.

Жанна прошептала: «Поль...» — и больше ничего не прибавила.

Солнце спускалось к горизонту, заливая светом зеленеющие долины, испещренные кое-где золотом цветущего рапса и кровавыми пятнами мака. Беспредельным покоем веяло над умиротворенной землей, где зарождалась жизнь.

Одноколка катилась быстро; крестьянин пощелкивал языком, чтобы придать лошади прыти.

Жанна глядела прямо перед собой, в небо, по которому время от времени, подобно ракетам, проносились ласточки в своем круговом полете. И вдруг мягкая теплота, теплота жизни, проникла сквозь ее платье, дошла до ее ног,

пронизала ее тело: то была теплота маленького существа, которое спало у нее на коленях.

Тогда безграничное волнение овладело ею. Она быстро раскрыла личико ребенка, которого еще не видела, — дочери своего сына. И когда крохотное создание, разбуженное ярким светом, открыло голубые глаза и пошевелило губами, Жанна, подняв его на руках, стала безумно целовать.

Но Розали, хотя и довольная, остановила ее, заворчав:

— Ну, хорошо, хорошо, перестаньте, госпожа, а не то она разревется! — И она прибавила, отвечая, вероятно, на свои собственные мысли: — Жизнь, что ни говорите, не так хороша, но и не так плоха, как о ней думают.



МИЛЫЙ ДРУГ

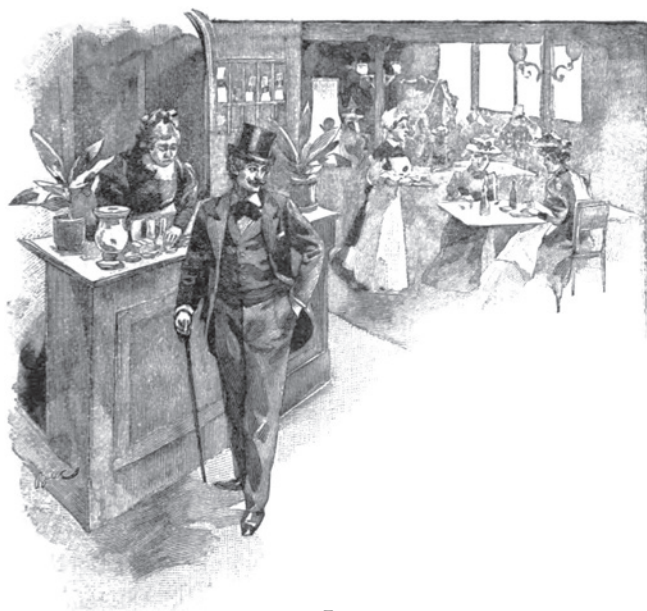


Перевод

Ан. Н. Чеботаревской

Иллюстрации Фердинанда Бака воспроизводятся по изданию
Guy de Maupassant. Bel-Ami. — Paris : Paul Ollendorff, 1903

Часть первая



I

Взяв от кассирши сдачу с пяти франков, Жорж Дюруа вышел из ресторана. Хорошо сложенный, еще сохранивший военную выправку, он выпрямился, закрутил усы молодцеватым, свободным движением и обвел запоздалых посетителей быстрым и зорким взглядом красивого малого, похожим на взгляд ястреба, высматривающего свою добычу.

Женщины подняли на него глаза, — три работницы, учительница музыки среднего возраста, плохо причесанная, небрежно одетая, всегда в запыленной шляпе и сбившемся набок платье, и две буржуазки со своими мужьями, обычные посетители этого трактирчика с *prix fixe*¹.

Очутившись на тротуаре, он на секунду остановился, соображая, что ему предпринять. Сегодня двадцать восьмое июня, и в кармане у него остается ровно три франка сорок до конца месяца. Это составляет стоимость двух обедов без завтрака или двух завтраков без обеда, на выбор. Он высчитал, что завтрак стоит франк десять, а обед — полтора франка; таким образом, довольствуясь завтраками, он сэкономит франк двадцать, что равняется двум ужинам из сосисок с хлебом с двумя бокалами пива на бульваре². Это любимое его вечернее развлечение составляло большой расход в его бюджете. И он начал спускаться по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

¹ *Prix fixe* — комплексный обед (фр.).

² Имеется в виду Итальянский бульвар — в XIX в. средоточие светской жизни Парижа (примеч. ред.).

Он сохранил еще походку тех времен, когда носил гусарскую форму, — выпяченную грудь, слегка расставленные ноги, точно он только что слез с лошади; резко двигался в толпе людей, задевая плечами, толкая встречных, расчищая себе таким образом путь. Слегка надвинул на ухо свой поношенный котелок и, постукивая каблуками о мостовую, шел с таким видом, точно презирал все — прохожих, дома, весь город, с высокомерием «душки-военного», попавшего в штатские.

Несмотря на свой шестидесятифранковый костюм, он сохранял известную внешнюю элегантность, хотя и несколько шаблонную. Высокий, хорошо сложенный, белокурый, со слегка рыжеватым оттенком волос, пышными усами, вздымающимися над верхней губой, ясно-голубыми глазами, прорезанными маленькими зрачками, выющимися волосами, разделенными на пробор по середине, он олицетворял собою героя бульварного романа.

Стоял жаркий летний вечер, один из удушливых парижских вечеров, когда так чувствуется недостаток воздуха в городе. От зданий, нагретых как баня, казалось, подымались испарения в удушливый мрак ночи. Из гранитных пастей сточных труб вырывалось их отравленное дыхание, а из окон подвальных кухонь неся на улицу омерзительный запах перегорелого соуса и помоев.

Привратники в одних жилетах, верхом на соломенных стульях, покуривали трубки у ворот домов; прохожие шли словно в изнеможении с непокрытыми головами, держа шляпы в руках.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился, колеблясь над выбором дальнейшего пути. Ему захотелось дойти до Елисейских полей и авеню Булонского леса, чтобы глотнуть немного свежего воздуха вблизи зелени; одновременно с этим в нем шевелилось желание, ожидание любовной встречи.

Как это произойдет? Он не знал этого, но ожидал в течение трех месяцев каждый день и каждый вечер. Случалось, что и теперь ему перепали крохи любви благодаря смазливой внешности и галантности обращения, но он уповал на большее и лучшее.

С пустым карманом и кипящей кровью он загорался от каждого прикосновения «профессионалок», шептавших ему на углах: «Пойдешь со мной, мальчишечка?», но не смел идти за ними, не имея чем заплатить; смутно надеялся и ожидал чего-то иного, иных ласк, менее вульгарных.



Он любил посещать места, кишашие публичными женщинами, — их балы, их кафе, их улицы; любил толкаться среди них, болтать с ними на ты, вдыхать их яростные благовония, чувствовать себя окруженным ими. Все же это были женщины, женщины, которых можно любить. Он не чувствовал к ним никакого презрения, свойственного семейным мужчинам.

Он повернул по направлению к Мадлен¹ и пошел по течению толпы, изнемогавшей от жары. Большие кафе, переполненные посетителями, захватывали часть тротуара, выставляя пьющую публику под ослепительный, режущий свет иллюминированного фасада. Перед ними, на круглых или четырехугольных столиках, стояли стаканы, наполненные красными, желтыми, зелеными, коричневыми — всех оттенков — напитками; внутри графинов виднелись прозрачные глыбы льда, охлаждавшие прекрасную кристальную воду.

Дюруа замедлил шаг, мучимый жаждой, от которой у него пересохло в горле.

Ощущение знойной жажды, жажды летнего вечера терзало его, и он живо представил себе восхитительный вкус прохладительного, текущего по горлу. Но если он позволит себе два бокала в один вечер, тогда прощай тощий ужин завтрашнего дня; а ему слишком хорошо знакомы голодные часы последних дней месяца.

Он сказал себе: «Нужно дождаться десяти часов и тогда выпить бокал в „Америкэне“². Черт возьми! Как мне, однако, хочется пить!» — и посмотрел на всех этих господ, пьющих за столиками, всех этих мужчин, которые могли утолять свою жажду сколько им угодно. И пошел мимо этих кафе, приняв наглый, вызывающий вид, стараясь определить по одному взгляду, по выражению лица, по одежде, сколько у каждого посетителя было с собой денег. Глухое раздражение поднялось в нем против всех этих мирно заседающих господ. В их карманах, если поискать, найдутся, конечно, и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; всех около сотни в кафе; сто раз по два луидора — составит четыре тысячи франков! Пробормотал: «Свиньи!», покачиваясь не без грации. Если бы он мог поймать одного из них за углом улицы в темноте, он бы свернул ему шею, — ей-богу, без зазрения совести, как он это делал с живностью в деревнях... в дни больших маневров.

Ему вспомнились два года, проведенные в Африке... как он надувал арабов во время стоянок на юге³. Жесткая, злая усмешка пробежала у него по губам при воспоминании об одной проделке, стоившей жизни трем мужчинам из племени улет-авана⁴, доставившей ему и его товарищам

¹ Мадлен — церковь Святой Марии Магдалины, расположенная на одноименной площади (*примеч. ред.*).

² Т. е. в Американском кафе на бульваре Капуцинок (*примеч. ред.*).

³ Имеется в виду Французский Алжир — французская провинция на территории современного Алжира, существовавшая в 1830–1962 гг. (*примеч. ред.*).

⁴ В оригинальном тексте — улед-алана (*Ouled-Alane*) (*примеч. ред.*).

двадцать кур, двух баранов, золото и над чем посмеяться в продолжение шести месяцев.

Никогда бы не нашли виновных, которых, впрочем, и не искали, так как арабы считались естественной добычей солдат.

В Париже — не то. Нельзя открыто грабить с саблей на боку и револьвером в руке, как там, вдали от гражданского правосудия, на свободе... И он почувствовал зашевелившиеся у него в душе инстинкты унтер-офицера, накинутаго на покоренную страну. Конечно, теперь ему было жаль этих двух лет, проведенных в пустыне. Какая досада, что он там не остался! Да вот, понадеялся, возвращаясь, на лучшее. А теперь!.. Да! Нечего сказать, теперь лучше!

Он провел языком по рту, слегка прищелкивая, точно для того, чтобы удостовериться в сухости нёба.

Толпа двигалась вокруг, изнеможенная и усталая. И он продолжал думать: «Куча скотов! У всех этих болванов в кармане жилета есть деньги». Толкал встречных плечом и насвистывал веселенькие арии. Мужчины, которых он толкал, оборачивались, ворча; женщины говорили: «Вот животное!»

Он обогнул театр Водевиль и остановился против кафе «Америкэн», спрашивая себя — не пора ли ему потребовать бокал, так его мучила жажда. Прежде чем решиться на это, он взглянул на часы с освещенным циферблатом посередине улицы. Было девять часов пятнадцать минут. Он знал себя: как только бокал с пивом поставят перед ним, он проглотит его моментально. И что тогда делать до одиннадцати часов?

Придумал: «Дойду до Мадлен и обратно, не спеша».

Дойдя до угла площади перед Оперой, Дюруа повстречался с полным молодым человеком, силуэт которого смутно показался ему знакомым.

Он пошел за ним, роясь в своей памяти и повторяя вполголоса:

— Где, черт побери, я видел этого субъекта?

Тщетно рылся он в своих воспоминаниях; потом вдруг, по странному капризу памяти, этот самый человек представился ему моложе, худее, одетый в форму гусара. Вскрикнул громко: — Да ведь это Форестье! — прибавил шаг и хлопнул проходящего по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него, потом сказал:

— Что вам от меня угодно, сударь?

Дюруа начал смеяться:

— Ты меня не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа, Шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

— А, дружище! Как поживаешь?

— Отлично, а ты?

— О! Я неважно; представь себе, мои легкие обратились в какую-то слякоть; я кашляю из двенадцати месяцев шесть, — следствие бронхита,

который я схватил в Буживале¹, вернувшись в Париж, — вот уже теперь четыре года.

— Неужели! По твоему виду этого ни за что не скажешь.

И Форестье, взяв под руку своего бывшего товарища, принялся рассказывать ему о своей болезни, о консультациях и советах докторов, о невозможности следовать их предписаниям в его положении. Ему предписано провести зиму на юге; но как это выполнить? Он женат, журналист, занимает отличное положение...

— Я заведу отделом политики во «Французской жизни», веду сенатские отчеты в «Спасении» и от времени до времени даю литературную хронику в «Планету»². Да, я выбрался на дорогу.

Дюруа, удивленный, посмотрел на него. Он очень изменился, возмужал. Теперь у него походка, осанка, костюм человека солидного, уверенного в себе; брюшко, как у людей, плотно обедающих. Прежде он был худым, тщедушным, легкомысленным, спорщиком и весельчаком. Три года Парижа совершенно преобразили его; он потолстел, стал серьезным, на висках волосы начинают сесть, несмотря на его двадцать семь лет.

Форестье спросил:

— Куда ты идешь?

Дюруа ответил:

— Никуда, гуляю перед возвращением домой.

— Ну так не проводишь ли ты меня до редакции, мне нужно просмотреть гранки; а потом выпьем вместе по бокалу?

— Идет.

И они пошли, взявшись под руку, с той свободной непринужденностью, которая сохраняется у товарищей по школе и по полку.

— Что ты делаешь в Париже? — спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

— Подыхаю с голоду просто-напросто. Покончив со службой, я захотел вернуться сюда... делать карьеру или, вернее, жить в Париже; и вот шесть месяцев служу в правлении Северных железных дорог, получая полторы тысячи франков в год и ничего больше.

Форестье пробормотал:

— Черт, это не очень жирно.

— Я думаю. Но как ты хочешь, чтобы я выбрался? Я одинок и никого не знаю, не имею никакой протекции. Не хватает средств, но отнюдь не моей доброй воли.

Товарищ оглядел его с ног до головы взглядом опытного человека, взвешивающего положение, потом произнес убежденным тоном:

¹ *Буживаль* — западный пригород Парижа, место устроения лодочных регат (*примеч. ред.*).

² Названия газет вымышлены Мопассаном (*примеч. ред.*).

— Видишь ли, мой милый, здесь все зависит от апломба. Человеку ловкому легче сделаться министром, чем директором правления. Нужно уметь импортировать, а не просить. Но как тебя угораздило не найти ничего лучшего, чем служба на железной?

Дюруа ответил:

— Я искал повсюду, но ничего не нашел. Сейчас у меня есть нечто в виду, — мне предлагают место учителя верховой езды в манеже Пеллерен¹. Там, на худой конец, я буду иметь три тысячи франков.

Форестье прервал его:

— Не делай этой глупости, если бы даже тебе дали десять тысяч франков. Этим ты себе сразу отрежешь все пути. В твоём правлении, по крайней мере, тебя никто не видит, ты можешь оттуда выбраться, если сумеешь, и еще сделать себе карьеру. Но если станешь учителем верховой езды — крышка. Это все равно, как если бы ты был метрдотелем в ресторане, где обедает весь Париж. Если ты будешь давать уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, они никогда уже не смогут относиться к тебе как к равному.

Он замолчал, подумал несколько секунд, потом спросил:

— У тебя диплом бакалавра?

— Нет, я срезался оба раза.

— Это ничего, если ты все-таки окончил курс. Когда говорят о Цицероне или о Тиверии², ты знаешь приблизительно, о ком идет речь?

— Да, приблизительно.

— Ладно, никто больше и не знает, за исключением каких-нибудь двадцати дураков, которые все равно далеко с этим не уйдут. Прослыть знающим совсем не трудно; все дело в том, чтобы не дать себя открыто уличить в невежестве. Нужно лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия, сажать других в лужу при посредстве энциклопедического словаря. Все люди глупы, как гуси, и невежественны, как рыбы.

Он говорил со спокойной насмешкой человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на проходящих. Но вдруг он закашлялся и остановился, чтобы дать утихнуть кашлю, потом упавшим тоном сказал:

— Не возмутительно ли это — не иметь возможности отделаться от этого бронхита? И это в разгаре лета. О! Этой зимой я поеду лечиться в Ментону³. Черт побери, — ведь здоровье прежде всего.

Они дошли до бульвара Пуассоньер и остановились у большой стеклянной двери, на стеклах которой был приклеен развернутый номер газеты. Трое прохожих читали его, остановившись.

¹ Название манежа вымышлено Мопассаном (*примеч. ред.*).

² Тиверий (Тибериус Юлий Цезарь Август) (42 до н. э. — 37) — римский император, на время правления которого приходится начало проповеди Иисуса Христа (*примеч. ред.*).

³ Ментона (Ментон) — курортный город на юго-востоке Франции (*примеч. ред.*).

Над дверью выделялась, точно воззвание, вывеска большими огненными буквами: «Французская жизнь». Фигуры прохожих, вступающих в освещенную этими буквами полосу, вдруг появлялись яркие и четкие, точно при дневном свете, потом снова исчезали во мраке.

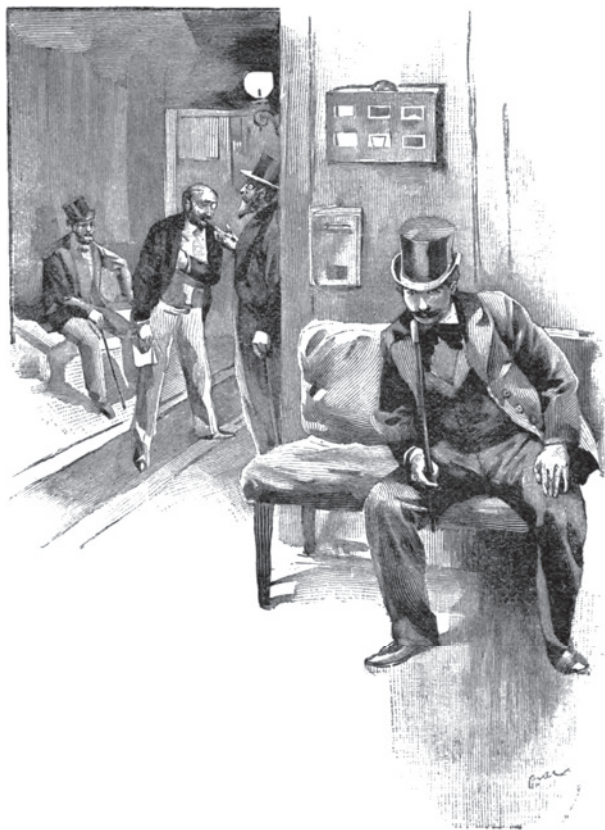
Форестье толкнул дверь.

— Входи, — сказал он.

Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, видной со всей улицы, очутился в передней, где два лакея поклонились его товарищу, потом остановился в комнате — вроде приемной, затрепанной и пропыленной, обтянутой мутно-зеленым репсом, запятнанным и местами словно изъеденным мышами.

— Присядь, — сказал Форестье, — я вернусь через пять минут. — И он исчез в одной из трех дверей, выходивших в эту комнату.

Какой-то особый запах, неуловимый и странный, запах редакционной залы, стоял в салоне. Дюруа не двигался, слегка смущенный, ошеломленный. От времени до времени мимо него пробегали из одной двери в другую люди с такой стремительностью, что он не успевал на них взглянуть.



Это были или очень молодые люди, с занятым видом, с листками бумаги в руке, трепетавшими от их быстрого бега; или наборщики, у которых из-под полотняной блузы, перепачканной чернилами, виднелся чистый белый воротничок и суконные брюки, как у господ; они бережно несли кипы оттисков, — свежие, еще сырые гранки. Несколько раз появлялись господа, щеголевато одетые — в слишком затянутых сюртуках и чересчур остроконечных ботинках, — вероятно, репортеры из светских кругов, доставлявшие вечернюю хронику. Приходили еще — важные, сосредоточенные, носившие высокие шляпы с плоскими полями, точно этот фасон отличал их от всех остальных людей.

Форестье появился под руку с высоким худым господином в возрасте от тридцати до сорока лет, одетым в черный фрак и белый галстук, очень смуглым, с закрученными устами, наглым и самодовольным видом.

Форестье сказал ему:

— До свиданья, дорогой мэтр.

Тот пожал ему руку:

— До свиданья, мой милый, — и стал спускаться с лестницы, посвистывая, с тросточкой под мышкой.

Дюруа спросил:

— Кто это?

— Это Жак Риваль, — знаешь, известный хроникер, дуэлист: он просматривал здесь свои корректуры. Гарен, Монтель и он — три лучших по остроумию и злободневности хроникера в Париже. Он получает здесь тридцать тысяч франков в год за две статьи в неделю.

Уходя, они повстречались с маленьким человеком, длинноволосым и седым, неопрятного вида, подымавшимся по лестнице с одышкой.

Форестье низко поклонился:

— Норбер де Варен, — сказал он, — поэт, автор «Угасших светил», человек в цене. Каждая новелла, которую он нам дает, оплачивается тремя сотнями франков, хотя в самой длинной никогда не бывает двухсот строк. Но войдем в «Наполитэн», я подышаю от жажды.

Усевшись за столиком кафе, Форестье scomандовал: — Два бокала! — и проглотил свой одним глотком, между тем как Дюруа тянул пиво медленными глотками, наслаждаясь и смакуя его, точно редкий драгоценный напиток.

Его сотоварищ помолчал, точно размышляя о чем-то, потом вдруг сказал:

— Почему бы тебе не попробовать свои силы в журналистике?

Тот посмотрел на него в удивлении; потом сказал:

— Но... потому... что я никогда ничего не писал.



— Ба! Все пробуют, начинают. Я бы мог устроить тебя на репортаж, собирать для меня сведения, делать визиты, исполнять поручения... Для начала ты будешь иметь двести пятьдесят франков и оплаченные разъезды. Хочешь, чтобы я о тебе поговорил с патроном?

— Разумеется, хочу.

— В таком случае, вот что: приходи ко мне завтра обедать; у меня соберутся всего пять-шесть человек, — патрон, господин Вальтер с женой, Жак Риваль, Норбер де Варен, которого ты сейчас видел, и еще одна подруга моей жены. Идет?

Дюруа медлил с ответом, покрасневший и смущенный. Наконец пробормотал:

— Дело в том... что у меня нет подходящего костюма...

Форестье изумился:

— У тебя нет фрака? Черт! Между тем это вещь необходимая. Видишь ли, в Париже скорее можно обойтись без ночлега, чем без фрака.

Потом вдруг, порывшись в кармане жилета, он достал кучку золота, взял два луидора, положил их перед своим бывшим сослуживцем и сказал дружелюбно и просто:

— Ты мне вернешь это, когда сможешь. Возьми напрокат или купи необходимое тебе платье в рассрочку, на выплату; словом, сделай, что тебе нужно, и приходи обедать завтра, в половине восьмого, семнадцать, улица Фонтен.

Дюруа, растроганный, спрятал деньги, бормоча:

— Ты слишком добр, я тебе страшно благодарен, будь уверен, что не забуду...

Тот прервал его:

— Довольно, не стоит. Еще по бокалу, не правда ли? — И закричал: — Гарсон, два бокала!

Когда бокалы были выпиты, журналист предложил:

— Хочешь еще пошататься часок?

— Ну конечно.

Они пошли по направлению к церкви Мадлен.

— Что бы нам предпринять? — сказал Форестье. — Говорят, что в Париже у фланера всегда есть цель; это неверно. Я, когда гуляю вечером, никогда не знаю, куда пойти. В Булонский лес стоит ехать только с женщиной, да не всегда есть такая под рукой; кафе-концерты¹ могут забавлять моего аптекаря и его супругу, но не меня. В таком случае, что делать? — нечего. Здесь должны бы устроить зимний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь, где бы можно было слушать хорошую музыку и пить прохладительные в тени деревьев. Это не было бы увеселительным местом, но местом гуляния; за вход брали бы дорого, чтобы привлечь элегантных дам. Гуляли бы по усыпанным песком аллеям, освещенным электричеством, сидели бы и слушали музыку

¹ Т. е. кафешантаны (*примеч. ред.*).

по желанию — издали и вблизи. Когда-то существовало нечто подобное у Мюзара¹, но со слишком кабацким привкусом, — недостаточно элегантно, недостаточно прилично, недостаточно серьезно. Нужен очень хороший, очень большой сад. Это было бы восхитительно. Куда ты хочешь пойти?

Дюруа в смущении не знал, что ответить; наконец решился:

— Я никогда не был в Фоли-Бержер². Охотно зашел бы туда...

Его спутник воскликнул:

— Фоли-Бержер? Черт! Нас там будут поджаривать, точно на жаровне. Впрочем, пусть; там все-таки забавно.

И они повернули по направлению к улице Фобур- Монмартр.

Ярко иллюминированный фасад здания бросал светлый отблеск на четыре прилегающие к нему улицы. Целая вереница извозчиков дожидалась разъезда.

Форестье вошел, Дюруа остановился:

— Мы забыли подойти к кассе.

Но Форестье ответил импонирующим тоном:

— Со мною никогда не платят.

У контроля трое, проверявших билеты, поклонились Форестье. Стоявший в середине протянул ему руку.

Журналист спросил:

— Есть хорошая ложа?

— Разумеется, господин Форестье.

Он взял поданный купон, толкнул дверь, обитую кожей, и они очутились в зале.

Табачный дым окутывал, словно легкий туман, отдаленные части сцены и другую сторону театра. Беспрерывно поднимаясь бесчисленными беловатыми струйками от всех сигар и сигареток, которые курили все эти люди, этот легкий туман все увеличивался, подымался к потолку и образовывал под широким куполом вокруг люстры, над головами зрителей первого яруса, облако дыма.

В широком коридоре, идущем от входа кругом залы, где бродят разряженные толпы профессионалок вперемежку с темными силуэтами мужчин, группа женщин поджидала входящих перед одним из трех прилавков, где восседали три продавщицы напитков и любви, намазанные и несвежие. Позади них зеркала до потолка отражали их спины и лица проходящих.

Форестье быстро шел всем навстречу с видом человека, имеющего право на внимание.

Подошел к капельдинерше:

— Ложа семнадцать? — спросил он.

— Здесь, месье.

¹ Филипп Мюзар (1792–1859) — французский музыкант, сочинитель танцевальной музыки и устроитель концертов на Елисейских полях (*примеч. ред.*).

² Фоли-Бержер — знаменитое варьете и кабаре, работающее и в наши дни (*примеч. ред.*).

И они очутились в маленькой деревянной клетке, задрапированной красным, где стояли четыре стула того же цвета так близко друг от друга, что едва можно было протиснуться между ними. Друзья уселись; направо и налево от них тянулся длинный, прилегающий с обоих концов к сцене ряд одинаковых клеток с сидящими людьми, у которых виднелись только головы да плечи.

На сцене трое юношей в трико, высокий, средний и маленький, выделяли поочередно фокусы на трапедии. Высокий сначала шел быстрыми мелкими шагами, улыбаясь и посылая рукой приветствия, точно поцелуи.

Под трико вырисовывались мускулы его рук и ног; он выпячивал грудь, чтобы уменьшить размеры выступающего живота; лицо его походило на лицо парикмахера — тщательный пробор разделял волосы на две равные части, ровно посередине головы. Он вскакивал на трапедию грациозным прыжком и, повиснув на руках, вертелся вокруг, точно заведенное колесо; или, вытянув руки, выпрямив корпус, оставался без движения, горизонтально повиснув над пустотой, держась только на вытянутых руках. Потом соскакивал на землю, снова раскланивался, улыбаясь под аплодисменты передних рядов, и удалялся в глубину, показывая при каждом шаге мускулатуру своих ног.

Второй, не такой высокий, более коренастый, выходил в свою очередь и проделывал те же упражнения; затем первый начинал снова при все возрастающем одобрении зрителей.

Но Дюруа несколько не занимало это зрелище, и, повернув голову, он стал рассматривать прогуливающихся сзади ложи мужчин и профессионалок.

Форестье сказал ему:

— Обрати внимание на первые ряды: одни буржуа со своими женами и детьми — болванье, являющееся сюда смотреть. В ложах — завсегдатаи бульваров, кое-какие артисты, несколько второстепенных профессионалок; а позади нас — всякий сброд, какой только есть в Париже. Кто они такие? Посмотри на них. Здесь всего понемногу — всех профессий и всех сословий, но преобладает хулиганье. Служащие в банках, в министерствах, в магазинах, репортеры, сутенеры, офицеры в штатском. Кутили во фраках, пообедавшие в кабачке, проводящие здесь время между Оперой и бульваром, и еще целая куча подозрительных личностей, не поддающихся анализу. Что касается женщин — одна марка: ужинающие в «Америкэне»; профессионалки — ценой от одного до двух луидоров, подстерегающие иностранцев, платящих пять, и оповещающие своих клиентов, когда они вакантны. За шесть лет я их всех узнал; встречаешь их каждый вечер, весь год, в одних и тех же местах, исключая то время, когда они на излечении в Сен-Лазаре¹ или другом подобном месте.

¹ *Сен-Лазар* — женская тюрьма и находившаяся при ней больница, специализирующаяся на излечении венерических заболеваний; в оригинале упомянут также *Лурсин* — парижская тюрьма для проституток (*примеч. ред.*).



Дюруа не слушал. Одна из женщин, облокотившаяся об их ложу, смотрела на него. Это была полная брюнетка, набеленная, с черными подведенными глазами под огромными нарисованными бровями. Ее пышный бюст обтягивал темный шелковый корсаж; губы, намазанные красным, точно рана, придавали ее лицу что-то животное, жгучее, зажигающее желание...

Она подозвала кивком головы одну из своих прогуливающихся подруг, блондинку с рыжеватыми волосами, тоже полную, и сказала ей умышленно громко, чтобы можно было расслышать:

— Посмотри-ка, вот красивый малый. Если он пожелает мне заплатить десять золотых, — я не откажусь.

Форестье обернулся и, улыбаясь, похлопал Дюруа по бедру:

— Это на твой счет; ты имеешь успех, мой милый. Поздравляю.

Бывший подпоручик покраснел и машинальным движением пальцев потрогал золотые монеты в кармане своего жилета.

Занавес опустился; оркестр заиграл вальс. Дюруа сказал:

— Пройдемся вокруг галереи?

— Как хочешь.

Они вышли и тотчас были подхвачены волной гуляющих. Их толкали, теснили, жали со всех сторон; они двигались, имея перед глазами целый лес шляп. Профессионалки попарно шныряли в этой толпе мужчин, с ловкостью лавировали между спин, локтей, плеч, точно у себя дома, чувствуя себя как рыбы в воде среди этого потока самцов.

Дюруа, восхищенный, шел по течению, вдыхая с наслаждением воздух, пропитанный табаком, человеческими испарениями и благоуханиями коко-ток. Но Форестье раскраснелся, закашлялся, задохнулся.

— Пойдем в сад, — сказал он.

И, повернув налево, они прошли в отгороженный угол сада, где были устроены два фонтана. Под деревьями в кадках, за цинковыми столиками, расположились пьющие мужчины и женщины.

— Еще бокал? — спросил Форестье.

— Да, с удовольствием.

Они сели, рассматривая проходящих. От времени до времени к ним подходила женщина, спрашивая с банальной улыбкой: «Вы меня чем-нибудь угостите, месье?» И на ответ Форестье: «Стаканом воды из фонтана», — удалялась, бормоча: «Болван!»

Полная брюнетка, только что опиравшаяся о перила их ложи, показалась снова, надменно выступая под руку с толстой блондинкой. Они составляли вдвоем отличную пару, очень подходящую друг к другу.

Заметив Дюруа, она улыбнулась, точно их взгляды уже успели сообщить друг другу какую-то тайну; взяв стул, преспокойно уселась против него и, усадив свою подругу, приказала звонким голосом:

— Гарсон, два гренадина!¹

Форестье сказал с удивлением;

— Ты, кажется, не стесняешься?

Она отвечала:

— Это твой друг меня соблазняет. Вот так красивый малый. Мне кажется, что он способен заставить меня наделать глупостей!

Дюруа, смущенный, не нашелся, что сказать. Он покрутил усы, глупо улыбаясь. Гарсон принес сироп, который женщины выпили одним глотком; потом они поднялись; брюнетка, дружески кивнув головой и слегка ударив всером по плечу Дюруа, бросила:

— Благодарю, котенок. Ты не очень-то балуешь разговором.

И ушли, виляя бедрами.

Форестье принялся хохотать:

— В самом деле, дружище, знаешь, ты имеешь успех у женщин? Этим не следует пренебрегать. С этим можешь пойти далеко. — Секунду помолчал, потом снова, тоном человека, думающего вслух: — При их помощи легче всего сделать карьеру.

Так как Дюруа продолжал улыбаться, не отвечая, он спросил:

— Ты еще остаешься? Я ухожу, с меня достаточно.

Тот пробормотал:

— Да, я еще немного останусь. Еще не поздно.

Форестье поднялся.

— Ну, так значит, до свиданья, до завтра. Не забудь, семнадцать, улица Фонтен, половина восьмого.

¹ *Гренадин* — густой сироп из зерен граната, обычно используемый при приготовлении коктейлей как подсластитель (*примеч. ред.*).

— Непременно. До завтра. Спасибо.

Они пожали друг другу руки, и журналист ушел.

Как только он скрылся, Дюруа почувствовал себя свободным и снова радостно нащупал золотые монеты в своем кармане. Потом, поднявшись, он пошел, рыща глазами в толпе. Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, прогуливавшихся с видом нищих королев в толпе мужчин. Он пошел прямо на них, но когда приблизился, не решился...

Брюнетка сказала ему:

— Ну что, у тебя язык развязался?

Он пробормотал:

— Извините... — не будучи в состоянии придумать ничего, кроме этого слова.

Они стояли все трое, затрудняя движение толпы, образуя вокруг водоворот.

Потом вдруг она спросила:

— Идешь со мной?

И он, трепеща от желания, ответил грубо:

— Да, но у меня при себе всего один золотой.

Она снисходительно усмехнулась:

— Это ничего.

И взяла его под локоть в знак согласия.

Когда они выходили, он подумал, что на остальные двадцать франков он сможет взять напрокат фрак для завтрашнего вечера.





II

— Квартира господина Форестье?

— В третьем этаже, левая дверь.

Привратник сказал это любезным тоном, с заметным уважением к своему жильцу. И Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он чувствовал себя слегка смущенным, не в своей тарелке. Надел фрак в первый раз в жизни и волновался по поводу всего своего

костюма. Чувствовал его погрешности — ботинки не лакированные, хотя и довольно изящного покроя; сорочка за четыре пятьдесят, купленная в это же утро в Лувре¹, со слишком тонкою манишкой, которая уже начала топорщиться. Другие его сорочки, которые он носил постоянно, были все более или менее серьезно повреждены, и даже наиболее крепкую из них он не решился сегодня надеть.

Чересчур широкие брюки плохо обрисовывали ноги, заворачиваясь вокруг икр, как вещь, случайно очутившаяся на данном теле. И только фрак сидел недурно, случайно найденный как раз на его рост.

Он медленно подымался по ступеням, с бьющимся сердцем и тоскою в душе, мучимый больше всего боязнью показаться смешным; и неожиданно он увидал против себя элегантного господина, смотревшего на него. Они очутились так близко друг к другу, что Дюруа сделал движение по направлению к нему, но остановился в изумлении: это был он сам, в отражении большого — во весь рост — зеркала на площадке первого этажа. Он весь затрепетал от радости, найдя себя несравненно лучше, чем он ожидал.

¹ В данном случае «Лувр» — большой универсальный магазин (*примеч. ред.*).

Дома у него было только маленькое зеркало для бритья, в котором нельзя было увидеть себя всего, и так как он еле мог рассмотреть в него отдельные части своего импровизированного туалета, то преувеличил их несовершенства и ужасался, воображая себя смешным.

А теперь, увидав внезапно себя в зеркале, он даже не узнал самого себя; принял себя за другого, за светского щеголя, которого он, на первый взгляд, нашел очень представительным, шикарным.

И, рассматривая себя уже детально, он решил, что, и в самом деле, общий вид был вполне приличен.

Затем он сделал самому себе экзамен, как это делают актеры, изучая роли. Улыбнулся, протянул руку, сделал несколько жестов, выражающих чувства: удивления, радости, одобрения; заготовил несколько образцов улыбок и взглядов для выражения галантности в обращении с дамами.

Дверь на лестницу отворилась. Боясь, что его могут застать врасплох, он стал быстро подыматься вверх, обеспокоенный, не увидал ли кто-нибудь из приглашенных к его другу, как он кокетничал перед зеркалом.

Добравшись до второго этажа, он увидел снова зеркало и замедлил шаг, чтобы посмотреть себя на ходу. И нашел, что держит он себя на самом деле отлично. Походка превосходная. И вдруг почувствовал к самому себе безграничное уважение. Конечно, он далеко пойдет с такой наружностью и жаждою успеха, твердостью и независимостью характера, которые он в себе знал. Ему захотелось побежать, перепрыгнуть чрез ступени последнего этажа. Остановился у третьего зеркала, закрутил ус привычным движением руки, снял шляпу, чтобы поправить волосы, и пробормотал вполголоса, как он это часто



делал, обращаясь к самому себе: «Вот превосходная идея». Затем протянул руку к звонку и позвонил.

Дверь почти тотчас отворилась, и он увидал лакея в черном фраке, важного, бритого, с такой внушительной осанкой, что Дюруа вновь почувствовал себя охваченным смутным беспокойством — быть может, от машинального сравнения своего и его костюма. Лакей, у которого были лакированные ботинки, спросил, беря у Дюруа пальто, которое он держал на руке, боясь, как бы не заметили на нем пятен:

— Как прикажете доложить?

И выкрикнул фамилию перед поднятой портьерой салона, куда надо было войти.

Но Дюруа, вдруг потерявший весь свой апломб, почувствовал себя снова охваченным страхом и беспокойством. Ему предстояло сделать первый шаг навстречу этой новой, страстно желаемой им жизни. Все же он решился войти. Перед ним стояла молодая белокурая женщина, ожидавшая его одна, в большой, хорошо освещенной комнате, заставленной, словно оранжерея, растениями.

Он вдруг остановился в замешательстве. Кто эта женщина, которая улыбается? Потом он вспомнил, что Форестье женат; и мысль, что эта изящная блондинка — жена его друга, окончательно его смутила...

Он пробормотал:

— Мадам, я...

Она протянула ему руку:

— Я знаю, месье. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас с нами сегодня отобедать.

Он покраснел до ушей, не зная, что ему больше сказать; и почувствовал, что его экзаменуют, осматривают с головы до пят, — взвешивают, оценивают...

Ему хотелось извиниться, выдумать причину, объясняющую погрешности его костюма; но он ничего не нашел и не осмелился заговорить об этом щекотливом предмете.

Он сел в указанное ему кресло, и когда почувствовал его эластичную и мягкую упругость, приятное, ласкающее прикосновение его обитых ручек и спинки, которые так любовно приняли его в свои объятия, то ему показалось, что он уже вступает в новую, пленительную жизнь, что он уже обладает чем-то восхитительным, что он становится чем-то, что он уже спасен; и он посмотрел на госпожу Форестье, взгляд которой все еще не отрывался от него.

На ней было платье из бледно-голубого кашемира, отлично обрисовывавшее ее стройную талию и полную грудь. Руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава; волосы, собранные на макушке, слегка вились на затылке, образуя светлое пушистое облако над шеей.

Дюруа несколько успокоил ее взгляд, напомнивший ему чем-то взгляд женщины, встреченный им вчера в Фоли-Бержер. У нее были серые с синеватым

оттенком глаза, которым этот оттенок придавал странное выражение, — тонкий нос, плотные губы, немного мясистый подбородок — неправильное, но привлекательное личико, милое и лукавое. Одно из тех женских лиц, каждая черта которого дышит особой прелестью, обладает способностью при каждом движении обнаруживать новое очарование...

После короткого молчания она спросила его:

— Вы уже давно в Париже?

Он ответил, мало-помалу овладев собой:

— Всего несколько месяцев, мадам. Я служу на железной дороге, но Форестье дал мне надежду, что я могу чрез его посредство заняться журналистикой...

Она улыбнулась еще приветливее, еще ярче; и пробормотала вполголоса:

— Я знаю.

Снова раздался звонок. Лакей возвестил:

— Госпожа де Марель.

Это была небольшая брюнетка, из тех, которых называют «брюнеточками». Вошла она проворной походкой; фигуру ее от шеи до ног плотно облегло темное простое платье. И только одна красная роза выделялась в черных волосах, подчеркивала характер лица, придавала ей задорный и пикантный вид.

За ней следовала девочка-подросток. Госпожа Форестье бросилась им навстречу:

— Здравствуй, Клотильда.

— Здравствуй, Мадлена.

Они поцеловались. Затем девочка подставила свой лоб с уверенностью взрослой, говоря:

— Здравствуй, кузина.

Госпожа Форестье нацеловала ее, потом представила:

— Господин Жорж Дюруа, близкий товарищ Шарля. Госпожа де Марель, моя подруга, дальняя родственница, — и прибавила: — Прошу вас не стесняться, — мы здесь у себя попросту, без всяких церемоний. Надеюсь, что и вы также, — не правда ли?

Молодой человек поклонился.

Но дверь отворилась снова, и показался маленький, кругленький человек под руку с высокой красивой дамой, гораздо выше и моложе его, державшейся с серьезным достоинством. Это был господин Вальтер, депутат, финансист, делец, биржевик, еврей-южанин, главный редактор «Французской жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равало, дочь банкира.

Затем появились один за другим Жак Риваль, очень элегантный, и Норбер де Варен, у которого лоснился ворот фрака от ниспадающих длинных волос, перхоть сыпалась с них на плечи. Его плохо завязанный галстук имел далеко не свежий вид. Держался он с изяществом красивого старика и, взяв руку госпожи Форестье, поцеловал ее в кисть. Когда он наклонился к ее руке, его седая грива покрывала, точно волной, обнаженную руку молодой женщины.



Пришел, наконец, Форестье, извиняясь за опоздание. Но его задержало в редакции дело Мореля. Господин Морель, депутат-радикал, только что делал запрос в министерстве относительно кредита на колонизацию Алжира.

Лакей возвестил:

— Обед подан!

Перешли в столовую.

Дюруа очутился за столом между госпожой де Марель и ее дочерью. Он снова почувствовал смущение, боясь сделать какой-нибудь промах в обращении с прибором или рюмками. Перед ним стояли четыре рюмки, одна голубоватого цвета. Для чего предназначалась эта последняя?

Во время супа все молчали, затем Норбер де Варен спросил:

— Читали процесс Готье? Что за потеха!

Стали обсуждать этот случай адюльтера, перемешанного с шантажом. Говорили о нем совсем не так, как говорят в семейных домах о событиях, рассказанных в уличных листках, но так, как говорят между собой врачи о болезни, зеленщики — об овощах. Никто не возмущался, не удивлялся фактам; доискивались скрытых пружин, секретных поводов, с профессиональным любопытством и абсолютным равнодушием к самому преступлению. Старались выяснить детально причины поступков, установить все интеллектуальные



факторы, обусловившие драму, — результат научно обоснованного патологического случая... Дамы тоже увлеклись этим исследованием, разбором дела. Затем обсуждались другие события последнего времени; комментировались, выворачивались на все лады, взвешивались и оценивались с особой практической точки зрения специалистов, спекулирующих на новостях и торгующих ими вразвес, подобно тому, как купцы выворачивают и взвешивают товар, который они затем предложат покупателям.

Потом разговор зашел о дуэли, и Жак Риваль взял слово. Это была его специальность: никто другой не смел касаться этого предмета.

Дюруа боялся проронить слово. От времени до времени он посматривал на свою соседку, круглая шейка которой соблазняла его. С кончика ее уха свешивался брильянт на золотой нитке, похожий на каплю воды, соскользнувшую с кожи. Иногда она делала замечания, сопровождавшиеся всегда улыбкой на губах. У нее был забавный, легкий ум, беспечность и веселость школьницы, относящейся ко всему с легким, незлобивым скептицизмом.

Дюруа тщетно старался подыскать ей комплимент, но, ничего не придумав, занялся дочерью, наливал ей вино, передавал кушанья, услуживал. Девочка, более сдержанная, чем мать, благодарила серьезным тоном, быстрыми кивками головы: «Вы очень любезны, месье», и слушала разговор взрослых с созерцательным видом.



Обед был превосходный, и все пришли от него в восторг. Господин Вальтер ел точно людоед, почти ничего не говорил, рассматривая косым взглядом из-под очков блюда, которые ему подносили. Норбер де Варен составлял ему пару, от времени до времени роняя капли соуса на грудь своей сорочки.

Форестье, улыбающийся и серьезный, наблюдал за всем, обмениваясь с женой дружескими взглядами на манер дельцов, обдывающих вместе трудное дело, идущее как по маслу.

Лица гостей покраснелись, голоса становились громче. От времени до времени лакей нашептывал каждому из обедающих на ухо:

— «Кортон»? «Шато Лароз»?

Дюруа нашел кортон по вкусу и каждый раз давал наполнить им свой стакан. По всему его телу разлилась восхитительная веселость; горячая волна, поднимавшаяся от его желудка к голове, разливалась по всем его членам, охватывала его всего. И почувствовал необычайную легкость и благодущие во всех мыслях и чувствах.

Ему захотелось говорить, обратить на себя внимание, быть выслушанным, признанным, подобно всем этим людям, малейшее замечание которых вызывало детальное обсуждение.

Разговор, который беспрерывно лился, перескакивая с предмета на предмет, цепляясь за малейший повод, после обзора всех злободневных событий и попутно тысячи других вещей перешел наконец к большому запросу Мореля о колонизации Алжира. Господин Вальтер между двумя блюдами сказал несколько каламбуров, обнаруживших его скептический и скабресный ум. Форестье рассказал содержание своей завтрашней статьи. Жак Риваль требовал военного правления, с тем чтобы каждому офицеру, прослужившему тридцать лет в колониях, давали участок земли.

— Таким образом, — говорил он, — вы создадите деятельное общество, которое с течением времени привыкнет любить свой край, ознакомившись с его языком и со всеми главными местными условиями, составляющими обычно камень преткновения для всех вновь приезжающих.

Норбер де Варен прервал его:

— Да... они будут знать все, кроме агрикультуры. Будут говорить по-арабски, но не будут знать, как пересаживать свеклу или сеять хлеб. Будут очень искусны в фехтовании, но ни аза не понимать в удобрении. Наоборот, следовало бы широко открыть доступ в новые земли всем желающим. Люди способные найдут там себе место — другие погибнут. Это — социальный закон.

Последовало короткое молчание. Все улыбались; Жорж Дюруа открыл рот и произнес, удивленный звуком собственного голоса, точно он его никогда не слышал:

— То, в чем там чувствуется недостаток, это хорошая земля. Плодородные участки стоят столько же, сколько во Франции, и раскупаются богатыми парижанами. Настоящие же колонисты, бедняки, отправляющиеся туда искать пропитания, оттесняются в пустыню, где ничего не растет вследствие отсутствия воды.

Все присутствующие посмотрели на него. Он почувствовал, что краснеет. Господин Вальтер спросил его:

— Вы знаете Алжир, месье?

Он отвечал:

— Да, месье. Я пробыл там двадцать восемь месяцев и жил в трех провинциях.

Внезапно, позабыв о деле Мореля, Норбер де Варен задал ему вопрос относительно одной детали нравов, которую ему сообщил один офицер. Вопрос касался Мзаба¹ — этой курьезной маленькой арабской республики, зародившейся в середине Сахары, в самой иссушенной части этой палящей области.

Дюруа два раза был в Мзабе. И он описал нравы этой любопытной страны, где капли воды ценятся на вес золота, где всякий житель привлекается к общественной службе, где коммерческая честность стоит гораздо выше, чем у культурных народов.

Он говорил красноречиво, с некоторым бахвальством, возбужденный вином и тщеславием, рассказывал полковые анекдоты, черты арабской жизни, военные приключения. Даже нашел некоторые колоритные выражения для описания этих обнаженных желтых пространств, спаленных всепожирающим пламенем солнца.

Все женщины устремили на него взгляды. Госпожа Вальтер пробормотала своим томным голосом:

— Вы бы могли составить из ваших воспоминаний очаровательную серию статей...

После этого Вальтер начал рассматривать молодого человека поверх очков, как он всегда рассматривал лица. Блюда он рассматривал из-под очков.

Форестье воспользовался моментом:

— Дорогой патрон, я уже вам говорил о господине Жорже Дюруа, прося у вас позволения взять его себе в помощники для политических информаций. С тех пор как Марамбо ушел от нас, у меня нет никого для собирания необходимых и конфиденциальных сведений, и газета от этого страдает.

Господин Вальтер принял серьезный вид и приподнял окончательно очки, чтобы посмотреть прямо в лицо Дюруа. Потом сказал:

— Несомненно, что Дюруа обладает оригинальным умом. Если он пожелает прийти поговорить со мной завтра в три часа, мы это устроим. — Потом, помолчав и обернувшись совсем к молодому человеку: — Но дайте нам теперь же небольшую серию заметок об Алжире. Вы опишете там ваши воспоминания и коснетесь вопроса колонизации, как вы это сделали сейчас. Это злободневно, — очень своевременно, и я уверен, что это понравится нашим читателям. Но торопитесь! Первую статью мне нужно завтра или послезавтра, чтобы заинтересовать публику, пока в палате обсуждается запрос.

Госпожа Вальтер прибавила с милой серьезностью, придававшей всем ее словам легкий покровительственный оттенок:

— И это очаровательное заглавие: «Воспоминания африканского охотника», — не правда ли, господин Норбер?

Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и побаивался всех новичков. Он ответил сухим тоном:

¹ *Мзаб* — долина на севере центральной части Алжира в провинции Гардая (*примеч. ред.*).

— Да, превосходно, но при условии, что последующее будет в том же стиле, что весьма трудно; не выдержать — это то же самое, что в музыке взять не тот тон.

Госпожа Форестье бросила Дюруа ласковый и ободряющий взгляд — взгляд знатока, говорящий: «О, ты далеко пойдешь». Госпожа де Марель все время оборачивалась к нему, и брильянт в ее ухе беспрестанно дрожал, и прозрачная капля, казалось, сейчас оторвется и упадет...

Девочка сидела неподвижно и серьезно, склонив голову над тарелкой.

Лакей снова обходил стол, наливая в голубые рюмки иоганнисбергское вино, и Форестье предложил тост в честь господина Вальтера:

— За процветание «Французской жизни»!

Все присутствующие поклонились патрону, который улыбался. Опыненный успехом, Дюруа выпил свой стакан залпом: ему казалось, что он выпил бы также целую бочку, проглотил бы целого быка, удушил бы льва. Он чувствовал во всем теле необычайную бодрость, в уме непреклонную решительность и безграничные упования. Теперь он был своим в среде этих людей; пришел, чтобы занять положение, отвоевать себе место. Он уже смотрел на лица всех с большей уверенностью и осмелился наконец обратиться к своей соседке:

— Мадам, у вас самые красивые серьги, которые я когда-либо видел.

Она обернулась к нему с улыбкой:

— Это моя выдумка — подвешивать брильянты так просто за нитку... Можно подумать, что это росинки, не правда ли?

Он пробормотал, смущенный своей смелостью, боясь сказать глупость:

— Это очаровательно... но ваше ушко еще более украшает эту вещь.

Она поблагодарила его взглядом — одним из лучезарных взглядов женщины, проникающим в самое сердце.

Повернув голову, он встретился со взглядом госпожи Форестье, таким же благожелательным, но в котором теперь он подметил бóльшую живость, кокетливость...

Теперь все мужчины говорили сразу, жестикулируя, повысив голоса; обсуждали грандиозный проект подземной железной дороги. Предмет был исчерпан только к концу десерта; у всякого нашлось что сказать относительно медленности путей сообщения в Париже, неудобств, докучливости омнибусов¹ и нахальства извозчиков. Потом все встали из-за стола, чтобы идти пить кофе. Дюруа ради шутки предложил руку девочке; она важно поблагодарила его и поднялась на цыпочки, чтобы просунуть свою руку под локоть своего собеседника.

Когда он вошел в салон, ему показалось, что он попал в оранжерею. Пальмовые деревья раскинули свою листву по четырем углам комнаты, подымаясь до потолка и ниспадая подобно струям водопада. По бокам камина круглые, колоннообразные стволы каучуковых деревьев громоздили друг на друга свои

¹ *Омнибус* — здесь: многоместный конный экипаж (*устар.*) (*примеч. ред.*).

продолговатые, темно-зеленые листья, а на рояле два растения неизвестного вида, усыпанные цветами, — одно розовое, другое белое, — производили впечатление чего-то сказочного, слишком прекрасного для действительности... Воздух был свежий и напоен благоуханием, неуловимым, неведомым и нежным.

Теперь, когда Дюруа несколько овладел собой, он принялся внимательно рассматривать комнату. Она была невелика; кроме растений, ничто не поражало в ней; ничего не было яркого или кричащего; но в ней чувствовались непринужденность, комфорт, уют; мягкие тона, теплый колорит материй, все ласкало, все нежило глаз и чувства.

Стены были затянуты старинной материей лилового цвета, испещренной желтыми шелковыми цветочками величиной с муху. На дверях — портьеры из светлого синего солдатского сукна с вышитыми красным шелком гвоздиками; сиденья всевозможных фасонов и размеров, начиная от миниатюр и кончая огромными, разбросанными по всей комнате качалками; пуфы и табуреты были обиты шелковой материей в стиле Людовика XVI и утрехтским бархатом — гранатовый узор по кремовому фону.

— Не хотите ли кофе, господин Дюруа?

И госпожа Форестье протянула ему налитую чашку с приветливой улыбкой, которая не сходила с ее уст.

— Да, мадам, благодарю вас.



Он взял чашку, и в то время как робко наклонился над сахарницей, чтобы достать серебряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина сказала ему вполголоса:

— Поухаживайте за госпожой Вальтер.

Потом удалилась раньше, чем он успел открыть рот.

Сначала он выпил кофе, который боялся опрокинуть на ковер; затем, освободившись от этой обузы, стал размышлять, как бы ему подсесть к супруге своего нового патрона и завязать с нею разговор. Вдруг он заметил, что она держит в руках пустую чашку; и так как вблизи не было стола, она не знала, куда ее поставить.

Он подскочил к ней.

— Позвольте, мадам.

— Благодарю, месье.

Он отнес чашку, потом вернулся:

— Если бы вы знали, мадам, какими хорошими минутами я обязан «Французской жизни» во время моего пребывания там, в пустыне. Положительно, — это единственная газета, которую можно читать вне Франции, потому что это самая литературная, самая остроумная и самая занятая из всех газет. В ней можно найти все.

Она улыбнулась с любезной снисходительностью и серьезно заметила:

— Господину Вальтеру стоило немалого труда создать тип газеты, отвечающей современным требованиям.

И они принялись болтать. Он говорил банальные вещи вкрадчивым голосом, бросая обольстительные взгляды, пленяя своими неотразимыми усами, курчавящимися над верхней губой, приятного рыжеватого цвета с белокурым оттенком на концах.

Беседовали о Париже, об его окрестностях, берегах Сены, курортах, летних развлечениях, — обо всех пустяках, о которых можно, не утомляясь, болтать без конца.

Потом, увидя подходящего Норбера де Варена с рюмкой ликера в руках, Дюруа скромно удалился.

Госпожа де Марель, только что беседовавшая с госпожой Форестье, подождала его:

— Итак, месье, — сказала она ему, — вы хотите попробовать журналистики?

Он заговорил о своих намерениях, потом начал с ней тот же разговор, что и с госпожой Вальтер; но теперь он уже лучше знал предмет и блеснул своими познаниями, выдавая за свои слова, которые он только что слышал. При этом он, не отрываясь, смотрел собеседнице в глаза, как бы придавая особенно глубокий смысл своим словам.

Она рассказала ему в свою очередь несколько анекдотов с непринужденной веселостью женщины, уверенной в своем остроумии и желающей постоянно дурачиться; и, сделавшись фамиллярной, клала руку на его плечо, понижала

голос, рассказывала всякий вздор, придававший их беседе интимный характер. Он был в восторге — чувствовал, что нравится нравящейся ему женщине. Ему хотелось тотчас доказать ей чем-нибудь свою преданность, защитить ее, пожертвовать для нее чем-нибудь, и, замедляя ответы, он делал вид, что всецело поглощен своими мыслями.

Но вдруг без всякого повода госпожа де Марель позвала: «Лорина», — и девочка подошла к ней.

— Сядь сюда, дитя мое, ты простудишься у окна.

Дюруа вдруг безумно захотелось поцеловать девочку, точно часть этого поцелуя могла передаться матери.

Он спросил развязно отеческим тоном:

— Вы мне разрешите вас поцеловать?

Девочка подняла на него удивленные глаза. Госпожа де Марель сказала, смеясь:

— Отвечай. Я вам разрешаю это, месье, на сегодня; но в другой раз этого не должно быть.

Дюруа тотчас уселся, взял Лорину на колени, потом прикоснулся губами к ее волнистым тонким волосам.



Мать удивилась:

— Смотрите, она не сбежала; это удивительно. Обыкновенно она позволяет себя целовать только женщинам. Вы неотразимы, господин Дюруа.

Он покраснел, ничего не говоря, и слегка стал покачивать девочку на одном колене.

Госпожа Форестье подошла и воскликнула удивленно:

— Смотрите, Лорину приручили. Вот чудо!

Жак Риваль тоже подошел, с сигарой во рту, и Дюруа поднялся уходить, боясь испортить одним неловким словом дело, начатое так успешно.

Он раскланялся, нежно пожал ручки всем дамам, затем крепко потряс руки мужчин. При этом он заметил, что рука Жака Риваля была сухая, горячая и дружески отвечала на его пожатие; рука Норбера де Варена — мокрая, холодная, еле касалась пальцев; рука Вальтера — сырая и пухлая, без всякой экспрессии, вялая; рука Форестье — мягкая и влажная. Последний сказал ему вполголоса:

— Завтра, в три часа, не забудь.

— О, не беспокойся! Не забуду.

Очутившись на лестнице, он почувствовал желание побежать бегом, так обуревала его радость, и запрыгал через две ступеньки; но вдруг увидал в зеркале второго этажа господина, бегущего ему навстречу, и сразу остановился, точно уличенный в какой-нибудь провинности.

Потом он долго рассматривал себя, удивляясь тому, что в самом деле он такой красивый малый; потом самодовольно улыбнулся и простился со своим отражением, отвесив ему низкий и почтительный поклон, точно значительной особе.





III

Когда Жорж Дюруа вышел на улицу, он стал думать о том, что ему делать. Ему хотелось мечтать, идти вперед, думая о будущем, вдыхая нежный ночной воздух, но мысль о ряде статей, заказанных ему Вальтером, преследовала его, и он решил сейчас же идти домой и приняться за работу. Он повернул и быстро пошел по бульвару до улицы Бурсо, на которой жил.

Шестиэтажный дом был населен двумя десятками семейств рабочих и мелких буржуа. Поднимаясь по лестнице, освещая восковыми свечками грязные ступени, на которых валялись клочки бумаги, окурки, кухонные отбросы, он почувствовал отвращение и непреодолимое желание поскорее уйти отсюда и поселиться, подобно богатым людям, в чистом жилище, убранном коврами. Тяжелый запах еды, отхожих мест и человеческих отбросов, ужасный запах помоев и жилья стоял во всем доме и, казалось, невозможно было проветрить его.

Комната молодого человека, в пятом этаже, выходила на беспредельное полотно Западной железной дороги; она находилась как раз над самым выходом из туннеля вблизи вокзала Батиньоль. Дюруа открыл окно и облокотился на заржавленный подоконник. Под ним, в глубине мрачной пропасти, три красных неподвижных сигнала казались огромными глазами зверя; вдали были видны еще фонари.

Ежесекундно в тишине ночи раздавались свистки, то короткие, то продолжительные, одни ближе, другие едва слышные со стороны Аньера¹. Они менялись, как человеческий голос. Один из свистков приближался, испуская непрерывно жалобный крик, который становился громче с каждой секундой, и вскоре показался огромный желтый фонарь, движущийся с треском и шумом. И Дюруа смотрел, как длинная цепь вагонов исчезала в туннеле.

¹ *Аньер-сюр-Сен* — один из промышленных пригородов Парижа (примеч. ред.).

Потом он сказал: «Ну, за работу!» Поставил лампу на стол, но в тот момент, как принялся писать, он заметил, что у него есть только одна тетрадка почтовой бумаги.

Делать нечего, он употребит ее, развернув лист во всю его величину. Он обмакнул перо в чернила и написал заголовок своим лучшим почерком: «Воспоминания африканского охотника».

Потом задумался над началом первой фразы. Он сидел, поддерживая голову рукою, с глазами, устремленными на белый квадрат, лежащий перед ним. С чего начать? Он не мог вспомнить сейчас ничего из того, что только что рассказывал, ни одного факта, ни одного случая, ничего. Вдруг он придумал: «Я должен начать со своего отъезда». Написал: «Это было в 1874 году, около пятнадцатого мая, когда истощенная Франция отдыхала после бедствий ужасного года...»¹

Он остановился беспомощно, не зная, как продолжать, как рассказать свое путешествие, свои первые впечатления. После десятиминутного размышления он решил отложить на завтра начало и приняться сейчас за описание Алжира. Он написал: «Алжир — это город весь белый...», не умея сказать ничего другого. Вспомнил красивый, светлый город, ниспадающий уступами плоских домов с вершины горы в море, но не находил слов, чтоб передать то, что видел, что пережил. После долгих усилий он прибавил: «Он населен частью арабами...» Потом бросил перо на стол и встал.

На его маленькой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось его старое будничное платье, истрепавшееся, похожее на отрепья покойника. А на соломенном стуле его единственная шелковая шляпа лежала как бы для сбора милостыни.

На стенах комнаты, оклеенной серыми обоями с голубыми букетами, было столько же пятен, сколько цветов, старых, подозрительных, происхождение которых было трудно определить; были ли то раздавленные насекомые или капли масла, следы пальцев, жирных от помады, или брызги мыльной пены. Тут чувствовалась унижительная бедность, ютящаяся в меблированных домах Парижа. В нем поднялось ожесточение против бедности. Он решил, что надо уйти отсюда сейчас же, что завтра же надо покончить с этим докучным существованием.

Охваченный внезапно пылом к работе, он присел к столу и опять стал искать слова, чтобы верно передать странный и пленительный облик Алжира, этого преддверия таинственной глубины Африки, Африки кочевых арабов и невиданных негров, Африки неизведанной и манящей, той Африки, из которой привозят в общественные сады фантастических животных,

¹ Первая половина 1870-х гг. была тяжелейшим периодом в истории Франции. После поражения во Франко-прусской войне (1870–1871) и падения Парижской коммуны (1871) в стране началось становление нового политического режима — Третьей французской республики (*примеч. ред.*).

как бы созданных для феерических сказок — страусов, этих диковинных кур, газелей, этих божественных коз, удивительных и уродливых жирафов, верблюдов, чудовищных степенных гиппопотамов, безобразных носорогов и горилл, этих страшных братьев человека.

Он смутно чувствовал, как в нем возникали мысли; он мог бы передать их устно, но не удавалось выразить их на бумаге. Бессилие его раздражало, он снова встал, руки его были влажны от пота и кровь стучала в висках.

Когда он увидел счет от прачки, принесенный в тот же вечер швейцаром, его сразу охватило полное отчаяние. Его покинули радость, доверие к себе и вера в будущее.

Кончено, все кончено, он ничего не сделает, из него ничего не выйдет; он чувствовал себя ничтожным, неспособным ни к чему, лишним, обреченным.



Он вернулся к окну как раз в тот момент, когда поезд выходил из туннеля со стремительным и яростным шумом. Он шел туда, через поля и долины, к морю. И воспоминание о родителях проснулось в сердце Дюруа. Этот поезд пройдет там, всего за несколько верст от их дома. Пред ним предстал маленький домик на вершине холма, возвышавшегося над Руаном и долиной Сены, при въезде в деревню Кантеле.

Его отец и мать содержали маленький трактир, харчевню с вывеской «*A la Belle-Vue*»¹, в которую окрестные мещане приходили завтракать по воскресеньям. Они решили сделать из своего сына джентльмена и отдали его в колледж. Кончив курс и срезавшись на бакалавра, он поступил на военную службу с намерением стать офицером, полковником, генералом. Но почувствовал отвращение к своей службе и раньше пятилетнего срока стал мечтать о карьере в Париже.

Кончив службу, поехал в Париж, не внял просьбам отца и матери, которые мечтали оставить его у себя. Он верил в будущее, верил, что счастливый случай, пока еще неведомый, даст ему победу. Он создаст благоприятные обстоятельства и воспользуется ими.

Он имел успех в полку, ему везло, у него были любовные интриги с женщинами более высокого круга. Он соблазнил дочь сборщика податей, готовую все бросить ради него, и жену поверенного, которая пыталась даже утопиться, боясь, что он может бросить ее.

¹ «Красивый вид» (фр.).

Товарищи говорили про него: «Хитрый малый, проныра и пройдоха, он всегда выпутается». Он решил стать пронырой и пройдохой.

Его чистая душа нормандца, опошленная будничной гарнизонной жизнью, мародерством, обычным в Африке, незаконными поборами, подозрительными проделками, подстрекаемая понятиями о чести, господствующими в армии, кичливостью военных, патриотическими чувствами, геройскими рассказами унтер-офицеров и мелким тщеславием этой среды, превратилась в какое-то вместилище, где можно было найти все что угодно. Но жажда успеха преобладала над всем.

Незаметно для себя он замечтался, как бывало с ним каждый вечер. Он рисовал себе невероятное любовное похождение, благодаря которому сразу осуществились бы все его надежды. Он женится на дочери банкира или важного господина, которую встретит на улице и сразу пленит.

Пронзительный свисток локомотива, выскочившего из туннеля, как кролик из норы, и мчавшегося на всех парах в гараж на отдых, сразу отрезвил его.

Охваченный смутной и радостной надеждой, почти не покидавшей его, он послал в темную ночь любовный поцелуй неведомой женщине, пламенный поцелуй желанному богатству.

Он закрыл окно и стал медленно раздеваться, бормоча: «Ну, завтра я буду лучше настроен. У меня голова не работает сегодня. Я, кажется, много выпил. Мне трудно писать». Лег в постель, потушил свечу и скоро заснул.

Рано проснулся, как просыпаешься в дни больших надежд или тревог, вскочил с кровати, подбежал к окну, открыл его, чтобы глотнуть свежего воздуха.

Дома на Римской улице, по ту сторону широкого полотна железной дороги, блестели в лучах восходящего солнца, как бы окрашенные белым светом. Направо вдали в голубоватой и легкой мгле виднелись холмы Аржантея¹, высоты Сануа и мельницы Оржемона; казалось, прозрачная трепещущая вуаль охватила горизонт.

Дюруа смотрел несколько минут вдаль: «Хорошо быть там в такой день, как сегодня». Он решил работать, позвал сына швейцара, дал ему десять су и послал его в правление сказать, что он болен.

Сел к столу, обмакнул перо в чернильницу, оперся головой на руку и задумался. Все было напрасно. Ничего не выходило.



¹ Аржантёй — северо-западное предместье Парижа (примеч. ред.).

Он не впадал в отчаяние. Подумал: «Да, я не привык. Это такое ремесло, как и все другие, надо поучиться. Мне должны помочь. Пойду к Форестье; он мне наладит статью в десять минут». Он оделся. Вышел на улицу, решил — рано еще идти к товарищу, он, верно, поздно встанет. Дюруа медленно стал гулять по бульвару.

Не было еще девяти часов, когда он дошел до парка Монсо; там было свежо после утренней поливки. Сел на скамью, стал мечтать. Какой-то элегантный молодой человек быстро ходил взад и вперед, без сомненья, ожидая женщину. Вскоре она показалась под вуалью; взяла его руку, пожала ее, и они удалились.

Бурная жажда любви охватила Дюруа — жажда изящной, благоуханной, нежной любви. Он встал и направился к Форестье, думая о нем: «И везет же ему».

Когда подошел к подъезду, товарищ выходил из дому.

— Ты! Так рано! Что тебе надо?

Дюруа, смущенный этой неожиданной встречей, бормотал:

— Дело... Дело в том, что я никак не могу справиться со статьей, заказанной мне Вальтером. Это неудивительно, я ведь никогда не писал. Нужна практика. Я скоро научусь, но как начать, как взяться за дело? Мысли у меня есть, но я не могу их выразить.

Остановился в нерешительности. Форестье лукаво улыбнулся:

— Мне это знакомо.

— Да, да, верно, так бывает со всеми начинающими. Вот я пришел... Хотел просить тебя помочь. В десять минут ты все наладишь, покажешь мне, как взяться за дело. Без тебя мне не справиться.

Форестье весело улыбался, потрепал своего старого товарища по плечу:

— Ступай, — сказал он, — к моей жене, она тебе поможет лучше меня. Я приучил ее к этому делу. Я же, к сожалению, сейчас занят.

Дюруа, внезапно смущенный, колебался, не смел:

— Но в такой час, не могу же я беспокоить ее...

— Отлично можешь. Она уже встала. Сидит в моем кабинете, приводит в порядок мои заметки.

Дюруа упорствовал:

— Нет... это невозможно.

Форестье взял его за плечи, повернул на каблуках и толкнул на лестницу.

— Да иди же, чужак, когда я говорю тебе; не заставишь же ты меня подняться снова на третий этаж, чтоб объяснить твоё дело.

Дюруа решился:

— Спасибо, я иду. Я ей скажу, что ты меня заставил.

— Да-да. Она не съест тебя, будь покоен. Главное, не забудь: в три часа.

— Не бойся, не забуду.

Форестье ушел своим торопливым шагом, а Дюруа медленно подымался по лестнице, обдумывая, что сказать, волнуясь — какой ему будет оказан прием.

Лакей открыл, в синем фартуке, со щеткой в руках:

— Мадам дома¹, — сказал он, не дожидаясь вопроса.

Дюруа настаивал:

— Спросите мадам Форестье, может ли она принять меня, и скажите, что я пришел к ней от ее мужа, которого я встретил на улице.

Он ждал. Человек вернулся, открыл дверь направо, доложил:

— Мадам ждет вас.

Она сидела за письменным столом в небольшой комнатке, стены которой были заставлены полками из черного дерева, на которых были правильно расположены книги. Переплеты всех цветов — красные, желтые, зеленые, лиловые, голубые — оживляли и украшали однообразные ряды книг.

Она повернулась, улыбающаяся, одетая в белый изящный пеньюар, отделанный кружевами, протянула ему руку, которая вся обнажилась из-под широкого рукава.

— Так рано? — сказала она. Потом прибавила. — Ведь это не упрек, а простой вопрос.

— Простите, — пробормотал он, — я не хотел подниматься, ваш муж меня заставил. Я так смущен, что не смею сказать, что меня привело к вам.

Она указала ему стул:

— Садитесь и говорите.

Она держала в руке гусиное перо, искусно вращая его между двумя пальцами. Перед нею лежал большой лист бумаги, исписанный наполовину. Работа была прервана приходом молодого человека.

За этим столом она чувствовала себя как дома, так же как в гостиной, за своим обычным делом. От ее пеньюара веяло нежным ароматом только что совершенного туалета.

Дюруа рисовал себе, почти предугадывал, ее молодое, чистое, полное и горячее тело, нежно окутанное мягкой тканью.

Она спросила:

— Ну, в чем дело?

Он нерешительно пробормотал:

— Вот... но право... я не смею... Вчера я работал очень поздно... Сегодня с раннего утра... Пытался написать статью об Алжире по просьбе Вальтера... но у меня ничего не выходит... я порвал свои черновики... я не привык к этому труду; я пришел просить Форестье помочь мне... на этот раз...

Она прервала его, весело смеясь, довольная, польщенная:

— Он прислал вас ко мне?.. Это мило...

— Да. Он сказал мне, что вы поможете мне лучше его... Но я не смел, не хотел. Вы понимаете?

Она встала:

¹ В оригинале лакей сказал «Месье отсутствует» (*примеч. ред.*).

— Да, это очень милое сотрудничество. Я в восторге от этого. Сядьте на мое место, мой почерк известен в редакции. Мы сейчас напишем статью, великолепную статью.

Он сел, взял перо, лист бумаги и ждал.

Мадам Форестье стоя смотрела на его приготовления, взяла с камина папироску и закурила ее.

— Я не могу работать без папиросы. Ну, что же вы мне расскажете?

Он удивленно поднял голову.

— Я не знаю, за этим-то я и пришел к вам.

— Да, я помогу вам. Я сделаю приправу, но все же мне нужно блюдо.

Он сидел смущенный, наконец робко сказал:

— Я хочу рассказать свое путешествие с самого начала.

Она села против него, по другую сторону стола, смотря ему в глаза:

— Ну расскажите мне, мне лично, не спеша, с самого начала, я выберу все подходящее.



Он не знал, как начать; она стала допрашивать его, как священник на исповеди, точно ставила вопросы, которые напоминали ему забытые подробности, встречи.

Она заставила его рассказывать четверть часа, вдруг перебила:

— Теперь мы начнем. Представьте себе, что вы описываете свои впечатления другу; это даст возможность наговорить кучу вздора, подходящих замечаний, быть естественным, забавным. Начните:

«Милый Анри, ты хочешь знать, что такое Алжир, — я скажу тебе. Я хочу прислать тебе из моей маленькой мазанки нечто вроде дневника, описывая жизнь, день за днем, час за часом. Благо мне делать нечего. Порой это будет немного грубо, но ведь ты не обязан показывать его своим знакомым дамам»...

Она прервала, зажгла потухшую папироску, и тихое скрипение гусяного пера прекратилось.

— Мы продолжаем:

«Алжир — большое французское владение, расположенное на границе неисследованных стран, пустыни Сахары, Центральной Африки и так далее.

Алжир — ворота, белые прекрасные ворота, ведущие к этому своеобразному матерiku. Но туда надо добраться. Не для всех это легко. Ты знаешь, я прекрасный наездник, я выезжаю лошадей полковника; но ведь можно быть хорошим наездником и плохим моряком. Это касается меня. Помнишь ли ты майора Симдрета, которого мы называли доктор Ипека¹? Когда нам хотелось побыть сутки в лазарете, в этой благословенной стране, мы отправлялись к нему. Он сидел на стуле, расставив толстые ноги в красных панталонах, положив руки на колени так, что они образовывали мост, локти на отлете, и вращал большими круглыми глазами, покусывая свой белый ус.

Ты помнишь его диагноз: „У этого солдата расстройство желудка; дайте ему рвотное № 3 по моему рецепту, двенадцать часов отдыха; ему станет хорошо“. Рвотное это было всемогущее и действовало неотразимо. Его пили, делать было нечего. А затем, испытав прописанное доктором Ипека, наслаждались двенадцатичасовым отдыхом.

Так вот, милый мой, чтобы попасть в Африку, надо в течение сорока часов страдать после приема рвотного по рецепту „Трансатлантической компании“».

Она потирала руки, очень довольная своей выдумкой.

Встала, начала ходить, закулив папироску, и диктовала, выпуская струйки дыма; они сперва выходили прямо из тонких сжатых губ, потом расширялись, расплывались и оставляли в воздухе как бы серые следы, прозрачный туман, дым, похожий на тонкую паутину. Она то рукой отгоняла эти легкие следы, то рассекала их указательным пальцем и внимательно смотрела, как постепенно исчезали легкие струйки дыма.

¹ От фр. *Ipéca* — ипекакуана, или рвотный корень (примеч. ред.).

Дюруа, устремив на нее взор, следил за ее жестами, движениями, поворотами ее тела, выражением лица, когда она забавлялась этой пустой игрой, не отвлекавшей ее мысли.

Она придумывала перипетии путешествия, описывала вымышленных попутчиков, рассказывала любовную историю с женой армейского капитана, которая возвращалась к своему мужу.

Потом села, расспрашивая Дюруа о топографии Алжира, о которой она не имела никакого понятия. В десять минут она была вполне осведомлена; составила очерк колониальной и политической географии, познакомила с нею читателя, чтоб подготовить его к пониманию серьезных вопросов, разбираемых в следующих статьях.

Далее следовала экскурсия в Оранскую провинцию, фантастическая экскурсия, в которой описывались мавританки, еврейки, испанки.

— Только это и интересует читателей, — сказала она.

Она закончила пребыванием в Саиде, у подножия высоких гор, и забавной интригой между унтер-офицером Жоржем Дюруа и испанской работницей на фабрике в Анн-эль-Гадьяра. Описывала их свидания в скалистых горах ночью, когда шакалы, гиены и собаки арабов кричат, лают и воют.

Она весело сказала:

— Продолжение завтра!

Потом добавила:

— Вот как пишут статьи, дорогой мой. Подпишитесь...

Он колебался.

— Да подпишитесь же.

Он засмеялся и написал внизу страницы: «Жорж Дюруа».

Она ходила и курила; он все смотрел на нее, не зная, как ее благодарить, счастливый ее присутствием, полный благодарности и чувственного наслаждения от их зарождающейся близости. Ему казалось, что все окружающее составляет часть ее, все, даже стены, уставленные книгами. Кресла, мебель, воздух, слегка пропитанный табачным дымом, носили какой-то особенный отпечаток; во всем было разлито неясное, милое очарование, исходящее от нее.

Неожиданно она спросила:

— Какого вы мнения о моей подруге мадам де Марель?

Он удивился:

— Ну... я нахожу ее... нахожу ее очень привлекательной...

— Не правда ли!

— Да, конечно.

Ему хотелось прибавить: но далеко не такой, как вы. Он не посмел.

— Если бы вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная! Это богема, настоящая богема. За это ее и не любит ее муж. Он видит только ее недостатки и совсем не ценит ее достоинств.

Дюруа был поражен, узнав, что мадам де Марель замужем. Хотя это было вполне естественно.

— Неужели... она замужем? Что же делает ее муж?

Мадам Форестье слегка повела плечами и бровями с каким-то недоумевающим видом:

— Он инспектор Северной линии железных дорог. Каждый месяц он на неделю приезжает в Париж. Жена его называет это «обязательной службой», или «недельной барщиной», или еще «святой неделей». Когда вы с ней ближе познакомитесь, вы увидите, какая это тонкая и милая женщина. Навестите ее в один из ближайших дней.

Дюруа не думал уходить, ему казалось, что он тут навсегда, что он у себя.

Но вдруг дверь тихо открылась, и вошел высокий господин, без доклада.

Он остановился, увидев мужчину. Мадам Форестье сконфузилась на секунду, легкая краска покрыла ее шею и лицо; она сказала своим обычным голосом:

— Войдите, мой дорогой. Позвольте вам представить товарища Шарля, Жоржа Дюруа, будущего журналиста.

Затем она сказала уже другим тоном:

— Наш лучший и самый близкий друг — граф де Водрек.

Мужчины раскланялись, посмотрели друг другу в глаза, и Дюруа удалился.

Его не удерживали. Он пробормотал несколько слов благодарности, пожал руку молодой женщины, поклонился гостю, который стоял с холодным и серьезным лицом светского человека. И вышел смущенный, точно сделал какую-нибудь глупость.

Когда он очутился на улице, ему стало грустно, как-то не по себе; глухая печаль давила его.

Он шел, не понимая, откуда пришла эта неожиданная тоска. Он не находил объяснения; но строгое лицо графа де Водрека, уже старого, с седыми волосами, со спокойным и дерзким видом богатого человека, уверенного в себе, не выходило у него из памяти.

Он заметил, что приход этого незнакомца, нарушивший их милый *tête-à-tête*¹, казавшийся ему уже привычным, произвел на него впечатление холодной безнадежности, которая охватывает нас иногда при случайно услышанном слове, каком-нибудь пустяке.

Ему казалось, что этот человек был недоволен его присутствием там.

Ему нечего было делать до трех часов; сейчас было только двенадцать. У него было шесть франков пятьдесят сантимов; он пошел завтракать к Дювалю². Потом бродил по бульвару. Когда пробило три часа, он поднялся в редакцию «*La Vie Française*»³.

Рассыльные, скрестив руки, сидели в ожидании на скамейке, швейцар стоял за прилавком, похожим на кафедру, и сортировал прибывшую корреспонденцию.

¹ Тет-а-тет, букв. голова к голове (фр.).

² Пьер Анри Дюваль (1811–1870) — создатель сети дешевых ресторанов в Париже (примеч. ред.).

³ «Французская жизнь» (фр.).



Обстановка была внушительная и производила впечатление на посетителей. Служащие умели держать себя с достоинством, с шиком, как подобает в прихожей большой газеты.

Дюруа спросил:

— Можно видеть господина Вальтера?

Швейцар ответил:

— Господин редактор на заседании. Не угодно ли вам подождать?

Показал приемную, переполненную народом.

Тут были важные люди с орденами, бедные посетители, плохо одетые, в сюртуках, застегнутых доверху, с пятнами на груди, напоминающими очертания морей и континентов на географических картах. Среди них были три женщины. Одна из них,

красивая, улыбающаяся, нарядная, была похожа на кокетку; другая, с трагическим лицом, в морщинах, строго одетая, имела вид бывшей артистки; в ней было что-то напоминающее поддельную молодость, прогоркший запах залежавшихся духов.

Третья женщина, в трауре, стояла в углу с видом неутешной вдовы. Дюруа подумал, что она пришла за милостыней.

Никого не принимали, хотя прошло уже более двадцати минут.

Дюруа сказал швейцару:

— Господин Вальтер назначил мне прийти в три часа. В любом случае, посмотрите, тут ли мой друг Форестье.

Тогда его провели по длинному коридору в большой зал, где четыре господина писали за широким зеленым столом.

Форестье стоял у камина, курил сигару и играл в бильбоке¹. Он был искусен в этой игре и каждый раз насаживал громадный деревянный шар на маленький деревянный гвоздик. Считал: «Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять».

Дюруа сказал:

— Двадцать шесть.

Форестье взглянул на него, не прерывая правильных движений руки.

¹ *Бильбоке* — игрушка, представляющая собой шарик, прикрепленный к палочке; в переносном значении *бильбоке* — человек, способный выпутаться из любого положения (*примеч. ред.*).

— Ах, это ты. Вчера я выбил пятьдесят семь раз в один прием. Только Сен-Потен сильнее меня в этой игре. Ты видел патрона? Ничего нет смешнее смотреть, как этот старый хрен Норбер играет в бильбоке. Он при этом открывает рот, как будто хочет проглотить шар.

Один из сотрудников поднял голову:

— Знаешь, Форестье, я знаю, где продают чудное бильбоке из очень дорогого дерева. Оно принадлежало испанской королеве. Просят пятьдесят франков — это недорого.

Форестье спросил:

— Где это?

Прوماхнувшись на тридцать седьмом ударе, он открыл шкаф, в котором Дюруа увидел около двадцати штук великолепных бильбоке, аккуратно уложенных и перенумерованных, как сокровища в коллекции. Положив свое бильбоке на место, он спросил:

— Где же находится эта драгоценность?

Журналист ответил:

— У продавца билетов в театре Водевиль. Я тебе принесу завтра эту вещь. Согласен?

— Хорошо. Я куплю, если оно действительно хорошее: бильбоке не может быть лишним.

Повернувшись к Дюруа:

— Пойдем со мной, я проведу тебя к патрону, а то будешь здесь киснуть до семи часов вечера.

Они прошли через приемную; те же лица сидели на своих прежних местах. Как только появился Форестье, молодая женщина и старая артистка быстро подошли к нему.

Он подвел каждую из них по очереди к окну, и хотя они говорили очень тихо, однако Дюруа заметил, что он им обоим говорил «ты».

Затем, толкнув обитую дверь, они вошли к редактору.

Заседание, длившееся уже более часа, состояло в партии экарте с некоторыми из тех господ в плоских шляпах, которых Дюруа видел накануне.

Господин Вальтер держал карты с сосредоточенным видом, а его противник бил, ловко маневрируя цветными листиками с умением опытного игрока. Норбер де Варен писал статью, сидя в редакторском кресле, а Жак Риваль, развалившись на диване с закрытыми глазами, курил сигару.

Чувствовался затхлый запах — кожи, старого табаку и типографии: особенный редакционный запах, хорошо знакомый всем журналистам. На столе из черного дерева с медными украшениями возвышалась груда бумаг: письма, карточки, газеты, журналы, счета поставщиков, всевозможные печатные бланки.

Форестье пожал руки всем стоящим за игроками и, не сказав ни слова, стал следить за игрой; как только Вальтер выиграл, он представил:

— Мой друг Дюруа.

Редактор быстро взглянул поверх очков на молодого человека и спросил:
— Вы принесли статью? Она пойдет сегодня вместе с прениями по запросу Мореля.

Дюруа вынул из кармана вчетверо сложенные листки:

— Вот.

Патрон казался довольным:

— Хорошо, хорошо. Вы сдержали слово. Надо мне пересмотреть это, Форестье?

Форестье ответил:

— Не стоит, господин Вальтер: я писал вместе с ним статью, чтобы приучить его к этому делу. Статья хороша.

Директор собрал карты, сдаваемые высоким сухопарым господином, депутатом левого центра, и сказал:

— Ну, великолепно.

Форестье не дал ему приступить к новой партии, нагнулся к нему и шепнул:

— Вы обещали мне взять Дюруа на место Марамбо. Разрешите взять его на тех же условиях?

— Да, хорошо.

Взяв товарища под руку, он увлек его из комнаты; Вальтер уже принялся снова за игру.

Норбер де Варен не поднял головы; казалось, он не видел или не узнал Дюруа. Жак Риваль, наоборот, демонстративно пожал ему руку, показывая этим, что он может рассчитывать на него как на хорошего товарища.

Когда они вернулись в приемную, все вопросительно смотрели на них; Форестье обратился к молодой женщине достаточно громко, чтобы его слышали другие посетители:

— Редактор вас примет сейчас. Он совещается с двумя членами бюджетной комиссии.

Затем он поспешно удалился, с озабоченным и важным видом, точно ему нужно было послать сейчас экстренную телеграмму.

Вернувшись в редакционный зал, Форестье немедленно взялся за бильбоке и, прерывая слова счетом ударов, сказал Дюруа:

— Ты будешь приходить ежедневно в три часа, я буду тебе указывать, куда нужно пойти днем, утром или вечером. — Раз! — Я тебе дам рекомендательное письмо к начальнику бюро полицейской префектуры, — два — он направит тебя к одному из своих чиновников. Ты условишься с ними, как получать интересные новости, — три — от служащих в префектуре, новости официальные и полуофициальные. За подробностями обратишься к Сен-Потену, он в курсе дела, — четыре — ты увидишь его завтра или сейчас. Главное, тебе придется приучиться выжимать все из людей, с которыми я сведу тебя, — пять — проныкать всюду, даже через закрытые двери, — шесть! — Ты будешь получать двести франков в месяц и по два су за строчку интересных сенсационных новостей, — восемь.

Потом он занялся только своей игрой и медленно продолжал считать: — Девять, — десять, — одиннадцать, — двенадцать, — тринадцать. — Промалхнулся на четырнадцатом и выругался: — Несчастное число тринадцать, оно мне всегда приносит неудачу. Я, верно, умру тринадцатого.

Один из сотрудников, кончив работу, взял свое бильбоке из шкафа; это был маленький человек, совсем похожий на ребенка, хотя ему было больше тридцати пяти лет; вошли другие журналисты; каждый из них брал свою игрушку.

Вскоре их было шесть человек, стоящих рядом, спиной к стене; одинаковыми правильными движениями они бросали в воздух красные, желтые или черные шары. Началось состязание; два журналиста, работавшие за столом, встали и следили за игрой.

Форестье выбил на одиннадцать ударов больше. Маленький человек, похожий на ребенка, проиграл, вызвал звонком рассыльного и сказал ему:

— Девять бокалов пива.

И снова принялся за игру. Дюруа выпил бокал пива со своими новыми друзьями; потом спросил Форестье:

— Что мне делать?

Тот отвечал:

— У меня нет к тебе дела сегодня. Можешь уйти.

— А наша... наша статья... пойдет сегодня вечером?

— Да, не беспокойся о ней! Я буду править корректуру. Приготовь завтра продолжение и приходи сюда в три часа.

Дюруа пожал руки всем этим людям, имена которых ему были неизвестны, и ушел радостный и оживленный.





IV

Жорж Дюруа плохо спал эту ночь; его волновало желание скорее увидеть напечатанной свою статью. Лишь только рассвело, он встал и бросился на улицу, гораздо раньше, чем газетчики начинают бегать от одного киоска к другому.

Он направился к вокзалу Сен-Лазар, думая, что здесь «Французская жизнь» поступила в продажу раньше, чем в его квартале. Так как было еще рано, ему пришлось бродить по тротуару.

Он видел, как пришла торговка открыть свою лавку, потом встретил человека, несущего огромную кипу газет. Это были «Фигаро», «Жиль Блаз», «Голуа», еще два-три утренних листка. «Французской жизни» не было.

Его объял страх. Что, если статья отложена до следующего дня, что, если случайно в последнюю минуту она не понравилась Вальтеру?

Вернувшись к киоску, он заметил, что газета уже продается. Он опять заволновался. Бросив три су газетчику, он в нервном волнении развернул газету и быстро пробежал заголовок.

— Ничего.

Сердце у него радостно забилося, когда он нашел внизу столбца свою подпись большими буквами: «Жорж Дюруа»¹.

— Нашел... Какая радость...

Уже с газетой в руках он начал бродить по тротуару, ни о чем не думая, со шляпой, надетой набок, готовый остановить каждого проходящего и сказать ему:

— Купите эту газету — здесь моя статья.

Ему хотелось кричать, как то делают газетчики по вечерам на бульварах:

— Прочтите «Французскую жизнь», прочтите статью Жоржа Дюруа «Воспоминания африканского охотника».

¹ Неточный перевод: в оригинальном тексте Дюруа не нашел свою статью на первой странице, но тут же обнаружил ее на второй (*примеч. ред.*).

И вдруг ему захотелось самому прочесть свою статью в общественном месте, в кафе, в толпе.

Он стал искать такое учреждение, где бы уже собрались посетители. Ему пришлось долго бродить, пока наконец он не решил остановиться на вино-торговле. Войдя, он сел за стол и спросил себе, несмотря на ранний час, рому, как спросил бы абсенту.

Потом подозвал лакея и велел ему подать «Французскую жизнь». Но человек в белом фартуке, подбежав к нему, заявил:

— У нас нет такой газеты, мы получаем другие газеты.

Дюруа сказал раздраженным и негодующим голосом:

— Вот так заведение! Сходите и принесите мне ее. — Тот побежал и мгновенно принес ему газету.

Тогда Жорж Дюруа принялся читать свои «Воспоминания», несколько раз громко повторяя: — Отлично... Отлично... Очень хорошо, — чтобы привлечь внимание соседей и возбудить в них желание узнать, что есть интересного в этой газете.

Потом он встал и, уходя, оставил газету на столе. Заметив это, хозяин обратился к нему:

— Господин, господин. Вы позабыли вашу газету.

Дюруа ответил ему:

— Я уже прочел ее и потому оставляю вам. Сегодня в ней напечатана очень интересная статья.

Он не указал, собственно, какая, но, уходя, видел, как один из посетителей взял ее.

Выйдя на улицу, он подумал: «Что я теперь буду делать?» И решил отправиться в свое правление, получить месячное жалованье и подать в отставку. Он трепетал от восторга при одной мысли, как удивятся и вытаращат глаза его начальник и сослуживцы.

Нарочно шел медленно, чтобы не прийти раньше половины десятого, зная, что касса открывается только в десять часов.

Правление, выходявшее во двор, узкий и темный, напротив других контор, занимало большое темное помещение, в котором зимою целый день горел газ. Здесь были восемь служащих, а в углу за ширмами находился помощник начальника.

Дюруа сперва пошел получить свои сто восемнадцать франков двадцать пять сантимов, положенных в желтый конверт, спрятанный в ящике кассира; потом с видом победителя прошел в огромный зал, в котором провел столько дней.

Как только он вошел, помощник начальника Потель позвал его и сказал:

— А! Это вы, господин Дюруа. Начальник уже несколько раз требовал вас. Вы ведь знаете, что он не разрешает не являться на службу два дня сряду без медицинского свидетельства.

Дюруа, стоявший посреди комнаты, предвосхищая весь эффект своего заявления, ответил громким голосом:

— Мне, положим, наплевать на это!

Служащие были поражены; показалась голова Потеля, высунувшегося из-за ширмы, за которой он скрывался от простуды. Настала такая тишина, что слышно было, как пролетали мухи.

— Что вы сказали? — спросил наконец Потель нерешительно.

— Я сказал, что мне наплевать. Я пришел сегодня только для того, чтобы подать в отставку. Я поступил в качестве сотрудника в редакцию «Французской жизни» с жалованьем в пятьсот франков, не считая построчного гонорара. Сегодня я дебютировал.

Ему хотелось продлить эту приятную минуту, но он не смог не сказать всего сразу.

Эффект был полный. Никто даже не шевельнулся.

Тогда Дюруа произнес:

— Я пойду сейчас объявить об этом господину Пертюи, потом прощусь с вами.

И он вышел, чтоб отправиться к начальнику, который крикнул, встретив его:

— А! Вот и вы... Вы знаете, что я не хочу...

Но Дюруа прервал его:

— Достаточно... Не стоит так кричать.

Господин Пертюи, человек плотный, толстый, красный, как петуший гребень, был ошеломлен и поражен.

Дюруа продолжал:

— Мне надоела ваша дыра... Я выступил сегодня в газете... Мне предложили прекрасное место... Имею честь кланяться.

И вышел.

Он вернулся пожать руки своих бывших сослуживцев, которые еле осмеливались с ним говорить, боясь скомпрометировать себя, так как они через открытую дверь слышали его разговор с начальником.

Наконец Дюруа очутился на улице со своим жалованьем в кармане.

Он позавтракал в хорошо ему знакомом недорогом ресторане, опять послал за газетой и оставил ее на столе.

Затем зашел в несколько магазинов, накупил всяких пустяков только для того, чтобы их доставили ему на его имя:

— Жорж Дюруа, сотрудник «*La Vie Française*».

Обозначив улицу и номер дома, он прибавил:

— Вы оставите их у швейцара.

Так как у него было еще время, он зашел в литографию, в которой моментально, в присутствии заказчиков изготавливали визитные карточки, и заказал себе сотню, обозначив под фамилией свое новое звание.

Потом он отправился в редакцию.

Форестье принял его высокомерно, как принимают подчиненных.

— А! Вот и ты... отлично. У меня есть несколько поручений. Обожди меня минут десять. Я сперва кончу мою работу.

И продолжал начатое письмо.

На другом углу большого стола маленький человек, очень бледный, жирный, лысый, одутловатый, с черепом белым и блестящим, писал, уткнув нос в бумагу вследствие сильной близорукости.

Форестье спросил его:

— Сен-Потен, скажи, в котором часу ты пойдешь интервьюировать наших господ?

— В четыре.

— Ты возьмешь с собою Дюруа, молодого человека, стоящего сейчас перед тобой, и откроешь ему тайны ремесла.

— Хорошо.

Потом, обратившись к Дюруа, Форестье прибавил:

— Принес ли ты продолжение статьи об Алжире? Пока начало имело большой успех.

Смущенный Дюруа проговорил:

— Нет... Я думал, что у меня найдется время после обеда... У меня такая масса дел, что я никак не мог...

Форестье недовольно пожал плечами:

— Если ты не будешь аккуратен, то ты рискуешь своим будущим. Вальтер рассчитывал на твою статью. Я скажу ему, чтобы он отложил до завтра... Если ты думаешь, что тебе будут платить за безделье... ошибаешься, друг мой.

После некоторого молчания он прибавил:

— Надо ковать железо, пока оно горячо, черт возьми!

В это время встал Сен-Потен.

— Я готов, — сказал он.

Тогда Форестье, повернувшись на стуле и приняв почти торжественную позу, чтобы дать надлежащие приказания, обратился к Дюруа:

— Так вот... У нас в Париже уже два дня находятся китайский генерал Ли Чен Фао, остановившийся в «Континентале», и раджа Тапосаиб Рамадерао Пали¹, в гостинице «Бристоль». Вы увидите их и побеседуете с ними.

Потом обратился к Сен-Потену:

— Не забудь главных пунктов, на которые я тебе указывал. Спроси у раджи и у генерала, что думают они о проделках Англии на Дальнем Востоке, о ее колониционной политике и господстве в колониях; каковы их надежды на вмешательство Европы вообще и Франции в частности.

Он замолчал, потом прибавил в сторону:

— Нашим читателям интересно будет знать, что думают в Китае и в Индии по поводу вопросов, так сильно волнующих сейчас общественное мнение.

Обратился к Дюруа:

— Следи за тем, как это делает Сен-Потен, — он великолепный репортер, — и старайся научиться выпытать у человека все в течение пяти минут.

¹ Имена вымышлены Мопассаном (*примеч. ред.*).

После этого он опять с важным видом взялся за перо, желая быть в стороне и указать надлежащее место своему товарищу и новому сослуживцу.

Как только они вышли за дверь, Сен-Потен начал смеяться и сказал Дюруа:

— Вот фокусник! Он, кажется, нас принял за своих читателей.

Они пошли на бульвар, и репортер спросил:

— Выпьем что-нибудь?

— Хорошо. С удовольствием. Ужасно жарко.

Они вошли в кафе и потребовали себе прохладительные напитки. Сен-Потен много говорил, рассказывал о газете, обо всех с поразительными подробностями.

— Патрон? Настоящий еврей! Вы знаете, еврея не переделаешь. Что за раса! — И он стал приводить целый ряд примеров его скупости, столь свойственной сынам Израиля, рассказывать о его грошовой экономии, торгашестве до упаду и вообще о его ростовщических наклонностях.

— При этом он умелый делец, который никому не верит и управляет всеми. Его газета официальная, католическая, республиканская, либеральная, орлеанистская; этот пирог с кремом или лавочка с чем угодно служит ему только для поддержки биржевых операций и всевозможных предприятий. В этом отношении он молодец, зарабатывает миллионы, основывая общества, не имеющие ни гроша капитала...

Он продолжал, называя Дюруа «дорогим другом».

— Он говорит, как Бальзак, этот скряга. Представьте себе, какой случай. На днях я был у него в кабинете, там был старый хрен Норбер и «Дон-Кихот» Риваль; пришел Монтелен, наш управляющий, со своим известным всему Парижу сафьяновым портфелем под мышкой. Вальтер поднял голову и спросил: «Что нового?» Монтелен наивно ответил: «Я только что заплатил

пятнадцать тысяч франков, наш долг за бумагу». Патрон подскочил на месте. «Вы говорите?...» — «Что я заплатил господину Прива». — «Да вы сошли с ума!» — «Почему?» — «Почему... почему... почему...» Снял очки, вытер их. Потом улыбнулся той странной улыбкой, которая всегда пробегает по его толстым щекам, когда он собирается сказать что-нибудь хитрое или важное; насмешливым и убежденным тоном сказал: «Почему? Потому что мы могли получить скидку на этом от четырех до пяти тысяч франков». Монтелен, удивленный, возразил: «Но, господин редактор, все счета были мною проверены и вами признаны».



Тогда патрон, уже серьезно, заметил: «Нельзя быть таким наивным, как вы. Знаете, Монтелен, надо всегда копить долги и потом уже заключать полюбовные сделки».

И, кивнув головой с видом знатока, Сен-Потен прибавил:

— Ну-с?.. Не в бальзаковском ли стиле все это?

Дюруа никогда не читал Бальзака, но убежденно ответил:

— Да, черт возьми.

Потом репортер назвал мадам Вальтер толстой индюшкой, Норбера де Варена старым неудачником, сказал, что Риваль подражает Ферваку¹. Дошел до Форестье:

— Ну, этому повезло, нашел такую жену, вот и все.

Дюруа спросил:

— А что такое, собственно говоря, его жена?

Потен ответил, потирая руки:

— О, это тонкая штучка. Любовница старого жуира Водрека, графа Водрека, он дал приданое и выдал ее замуж...

Дюруа вдруг почувствовал озноб, какую-то нервную дрожь; ему хотелось выругать и отколотить этого болтуна. Но он перебил его и спросил:

— Это ваше имя — Сен-Потен?

Тот, ничего не подозревая, ответил:

— Нет, меня зовут Тома. Меня в редакции прозвали Сен-Потеном².

Дюруа заплатил за питье и сказал:

— Кажется, уже поздно, нам надо еще посетить этих двух вельмож.

Сен-Потен расхохотался:

— Какой вы наивный! Так вы думали, что я пойду на самом деле спрашивать у этого китайца и индийца, что они думают об Англии? Я лучше их знаю, что они должны думать для читателей «Французской жизни». Я уже интервьюировал пятьсот штук этих китайцев, индусов, чилийцев, японцев и других. У меня они все говорят одно и то же. Мне только надо взять статью о последнем из них и переписать ее от слова до слова. Изменить надо только заголовок или титул, возраст, свиту. О, тут уже ошибаться нельзя, а то уличат меня «Фигаро» или «Голуа». Но насчет этого я получу самые верные сведения в пять минут от швейцаров отелей «Бристоль» или «Континенталь». Пойдем туда, покурим по дороге. А потом можно потребовать в конторе пять франков на извозчика. Вот, дорогой мой, как устраивают свои дела практические люди.

Дюруа спросил:

— При таких условиях, верно, выгодно быть репортером.

Журналист таинственно ответил:

— Да, но выгоднее всего хроника, — это всегда замаскированная реклама.

¹ Фервак — известный французский журналист 1870–1880-х гг. (примеч. ред.).

² В переводе с французского Сен-Потен — «святой сплетник» (примеч. ред.).

Они встали и пошли по бульвару по направлению к церкви Мадлен. Сен-Потен неожиданно сказал своему спутнику:

— Знаете ли, если у вас есть дело, вы мне не нужны.

Дюруа пожал ему руку и удалился.

Мысль о том, что ему надо вечером писать статью, мучила его, и он задумался. Он шел и припоминал факты, разные случаи, анекдоты; так он дошел до авеню Елисейских полей, где изредка попадались гуляющие; Париж был пуст в эти жаркие дни.

Пообедав в маленьком ресторанчике близ арки Этуаль¹, он медленно вернулся домой по бульварам и присел к своему письменному столу.

Но как только он увидел перед собою большой лист бумаги, весь собранный им материал вылетел у него из головы, как будто бы испарился. Он старался вызвать в себе обрывки воспоминаний, закрепить их; но они исчезали по мере того, как он припоминал их, или же являлись в спутанном виде, и он не знал, как передать их, какую придать им форму, с чего начать.

Просидев целый час и испортив пять страниц начальными фразами, он подумал: «Я еще не наловчился. Надо взять еще урок». И пред ним предстала возможность провести еще одно утро за работой с мадам Форестье, в этом долгом, интимном, сердечном *tête-à-tête*; при этой мысли он весь затрепетал. Решился лечь, не брался снова за работу, как бы боясь испортить ее.

На другое утро он встал поздно, не торопился, как бы предвкушая заранее удовольствие предстоящего визита. Было больше десяти часов, когда он позвонил к своему другу.

Лакей сказал:

— Месье занят.

Дюруа не подумал о том, что муж может быть дома.

Однако он сказал:

— Скажите, что это я, по спешному делу.

Через пять минут его ввели в кабинет, где он провел такое чудное утро.

Место, где он тогда сидел, было занято Форестье; он был в халате, в мягких туфлях, в колпаке. Жена его в том же пеньюаре стояла у камина и диктовала с папирской в зубах.

Дюруа, остановившись у порога, пробормотал:

— Простите, я вам помешал.

Товарищ его, сердито подняв голову, проворчал:

— Что тебе еще надо? Говори скорей! Мы торопимся.

Тот сконфуженный, лепетал:

— Ничего, ничего, прости.

Но Форестье рассердился.

— К делу, черт возьми! некогда время терять; не для того же ты вошел сюда, чтобы поздороваться с нами.

¹ Т. е. близ Триумфальной арки на площади Этуаль (*примеч. ред.*).

Дюруа, сильно смущенный, решился:

— Нет... вот... дело в том... что я опять не могу написать статьи... а ты... а вы были так милы в прошлый раз. Я надеялся, поэтому я и посмел прийти...

Форестье оборвал его:

— Ты смеешься над нами, в конце концов! Так ты думал, что я буду исполнять твоё дело, а ты будешь получать в кассе в конце месяца? Ну, хорош же гусь!

Молодая женщина продолжала курить, не сказав ни слова, и все время улыбалась неопределенной улыбкой, прикрывавшей ее внутреннюю иронию.

И Дюруа, краснея, лепетал:

— Простите меня, я надеялся, я думал...

Потом вдруг ясно выговорил:

— Тысячу извинений, мадам, простите; позвольте вас горячо поблагодарить за прелестную статью, которую вы мне написали вчера.

Потом он поклонился Шарлю:

— Я буду в три часа в редакции.

Быстрыми шагами вернулся к себе, ворча:

— Хорошо, я сейчас напишу эту статью сам, они увидят...

Возбужденный гневом, придя домой, он сейчас же сел писать.

Он продолжал описание приключения, начатое мадам Форестье, нагромождая подробности, взятые из фельетонных романов, придумывая неправдоподобные случайности; все это было написано неуклюжим слогом гимназиста. Через час он кончил статью, которая была каким-то хаосом, и, уверенный в себе, понес ее в редакцию.

Первым он там встретил Сен-Потена, который, пожав ему руку как сотруднику, спросил его:

— Читали мой разговор с китайцами и с индусами? Смешно ведь? Весь Париж смеялся. А я не видел даже кончиков их носов.

Дюруа, который еще ничего не читал, взял газету, стал пробегать глазами длинную статью, озаглавленную «Индия и Китай», пока репортер указывал ему и подчеркивал самые интересные места.

Пришел Форестье, запыхавшийся, с деловым и озабоченным видом:

— Вот хорошо, вы мне оба нужны.

Он им указал ряд политических справок, которые они должны были раздобыть ему к вечеру.

Дюруа дал ему свою статью.

— Вот продолжение об Алжире.

— Хорошо, дай, я передам ее патрону.

На этом разговор кончился.

Сен-Потен увлек своего нового друга, и когда они вышли в коридор, спросил его:

— Были вы уже в кассе?

— Нет. Зачем?

— Зачем? А чтобы получить деньги. Всегда нужно брать жалованье за месяц вперед. Мало ли что может случиться.

— Ну... конечно, я буду рад.

— Я вас представляю кассиру. Он выдаст вам. Здесь платят хорошо.

Дюруа получил двести франков, двадцать восемь франков за статью, да еще у него были деньги от железнодорожного жалованья; всего триста сорок франков. Никогда у него не было в руках такой суммы, и ему казалось, что он богат надолго.

Потом Сен-Потен повел его в редакции четырех или пяти газет, конкурирующих с их газетой, надеясь там уже раздобыть нужные ему новости и выведать их своим многословием и хитростью.

Вечером Дюруа нечего было делать; он вздумал пойти в Фоли-Бержер. Набравшись дерзости, он подошел к контролю:

— Я — Жорж Дюруа, сотрудник «Французской жизни». На днях я был здесь с господином Форестье, обещавшим мне устроить даровой вход. Не знаю, не забыл ли он сказать.

Посмотрели список, его имени там не было. Однако контролер любезно сказал:

— Войдите и обратитесь к управляющему, он уважит вашу просьбу.

Он вошел; сейчас же встретил Рашель, женщину, которую он увел с собой в первый вечер. Она подошла к нему:

— Здравствуй, милый, как поживаешь?

— Хорошо, а ты?

— Я недурно. Знаешь, я тебя дважды видела во сне за это время.

Дюруа, польщенный, улыбнулся.

— Ну-ну, и что же это значит?

— Это значит, что ты мне понравился, чужак, и что мы начнем снова, когда захочешь.

— Сегодня, если хочешь.

— Да, я хочу.

— Хорошо, но вот что... — Он колебался, смущенный тем, что он хотел сказать. — Дело в том, что сегодня у меня нет денег; я был в клубе и все спустил там.

Она заглянула ему в глаза, чувствуя ложь инстинктом проститутки, привыкшей к обманам и торгашествам мужчин. Она сказала:

— Ты лжешь. Это нехорошо с твоей стороны.

Он смущенно улыбнулся:

— Хочешь десять франков, все, что у меня осталось?

С бескорыстием куртизанки, удовлетворяющей свой каприз, она прошептала:

— Сколько хочешь, милый. Я хочу тебя.

Устремив взор на пленительные усы молодого человека, она взяла его под руку, нежно оперлась на нее и сказала:

— Выпьем гренадину, потом погуляем немного. Мне хотелось бы пройтись с тобой в Оперу, чтобы показать тебя. Мы ведь рано пойдем домой, не правда ли?

.

Он долго спал у нее. Был уже день, когда он вышел, и он решил купить «Французскую жизнь». Дрожащей рукой развернул он газету: его статьи там не было; он стоял и бессмысленным взглядом пробежал газетные столбцы, все еще надеясь найти ее.

Что-то тяжелое легло ему на сердце: он был утомлен любовной ночью — и эта неприятность, присоединившаяся к его усталости, казалась ему большим несчастьем.

Он поднялся к себе и заснул на постели одетый.

Через несколько часов он отправился в редакцию; вошел к Вальтеру:

— Я сегодня утром был очень удивлен, когда увидел, что не помещена моя вторая статья об Алжире.

Редактор поднял голову и сухо сказал:

— Я передал ее вашему другу Форестье, прося его просмотреть; он нашел ее неудовлетворительной, вам придется исправить ее.

Дюруа, взбешенный, вышел, не сказал ни слова, быстро вошел в кабинет своего друга и спросил:

— Почему ты не поместил сегодня моей статьи?

Журналист курил, развалившись в кресле; положив ноги на стол, он каблучками пачкал начатую статью.

Спокойно, скучным и слабым голосом, как бы доносящимся из ямы, он сказал:

— Патрон нашел, что она не годится, и поручил мне передать ее тебе для исправления. Вот она, возьми.

И он рукой указал на листы, лежавшие под пресс-папье.

Дюруа, сконфуженный, не знал, что сказать.

Положил листы в карман. Форестье продолжал:

— Сегодня ты сперва отправишься в префектуру...

И он указал ему целый ряд деловых визитов и сведений, которые ему нужно было собрать. Дюруа вышел молча, не найдя язвительного слова, которое искал.

На другой день он принес свою статью. Ему опять вернули. Он в третий раз переделал ее. Получив ее обратно, он понял, что только Форестье может помочь ему.

Он не говорил больше о «Воспоминаниях африканского охотника»; решил быть уступчивым и хитрым, раз это необходимо, а пока старательно исполнял свои обязанности репортера.

Он познакомился с театральными и политическими кулисами, с коридорами и прихожими государственных людей и депутатов, с важными

лицами членов кабинета и с нахмуренными физиономиями заспанных швейцаров.

У него установились постоянные сношения с министрами, с привратниками, генералами, полицейскими агентами, князьями, сутенерами, куртизанками, послами, епископами, со сводниками, выскочками, с людьми из общества, с извозчиками, гарсонами кафе и многими другими; он стал безразличным приятелем всех, приятелем из расчета; они все были смешаны в одну кучу; он мерил их на один аршин, судил о них с одной и той же точки зрения, так как встречался с ними ежедневно, переходил от одного к другому и со всеми говорил об одних и тех же профессиональных делах. Он сравнивал себя с человеком, который перепробовал образцы всевозможных вин и теперь уже не отличает больше «Шато Марго» от «Аржантея».

Он скоро стал хорошим репортером, уверенным в своих сведениях; хитрым, быстрым, тонким, настоящим кладом для газеты, как говорил Вальтер, знавший толк в этом деле.

Однако он получал только по десяти сантимов за строчку и двести франков жалованья, а жизнь на бульварах, в кафе и в ресторанах стоит дорого; так что у него никогда не бывало денег, и он приходил в отчаяние от своей бедности.

Тут есть какой-то особый секрет, думал он, когда видел, что некоторые его сотрудники имели карманы, полные золота; но он не понимал, какими такими средствами они добывали себе благосостояние. Он подозревал, что существуют какие-то неизвестные подозрительные способы, какие-то непонятные услуги, какая-то общепринятая контрабанда. И зависть разбирала его. Следовательно, ему необходимо открыть эту тайну, вступить в этот союз, подружиться с сотрудниками, наживавшимися без него.

Часто вечером, глядя из окна на проходящие поезда, он мечтал и думал о том, какие способы можно было бы изобрести.





V

Прошло два месяца. Приближался сентябрь. Дюруа находил, что ожидаемое им быстрое обогащение — дело нелегкое. Больше всего его огорчала незаметность его общественного положения. Он не знал, каким путем достичь высот, на которых люди пользуются уважением и богатством. Он чувствовал себя закрепощенным в звании журналиста, замурованным в нем без возможности какого-либо выхода. Его ценили, но обращались с ним, сообразуясь с его рангом. Даже Форестье, которому он оказывал кучу услуг, не приглашал его больше обедать, относился к нему, как к подчиненному, хотя и продолжал говорить ему «ты» как другу.

Правда, время от времени Дюруа удавалось печатать свои статьи. Он приобрел известную легкость стиля и такт, которого ему не хватало, когда он писал свою вторую статью об Алжире. Он мог теперь надеяться, что его фельетоны не встретят отказа. Но между этим успехом и возможностью по своему желанию выбирать темы или с видом судьи трактовать политические вопросы — была такая же разница, какая существует между положением кучера и хозяина, выезжающих на прогулку в Булонский лес. Особенно угнетало его сознание недостижимости для него светского общества, отсутствие знакомых, относящихся к нему как к равному, и дружбы с женщинами, хотя некоторые актрисы, пользующиеся известностью, заговаривали с ним с кокетливой непринужденностью.

Он знал, кроме того, по опыту, что все они, светские дамы и куртизанки, испытывали по отношению к нему странное влечение, мгновенно зарождающуюся симпатию. Он мучился от нетерпения сблизиться с этими женщинами, от которых могло зависеть его будущее, как лошадь, связанная путами.

Ему часто хотелось посетить госпожу Форестье. Но его удерживало от этого унижительное воспоминание об их последней встрече. Кроме того, он дожидался приглашения со стороны ее мужа.

Тогда, вспомнив о госпоже де Марель и ее просьбе навестить ее, он отправился к ней как-то после обеда, не зная чем заполнить время. «Я всегда дома до трех часов», — предупредила она его.

Он позвонил к ней в два с половиной часа.

Она жила на улице Верней, в четвертом этаже. Ему отворила горничная. Растрепанная горничная. Она ответила ему, завязывая ленты своего чепчика:

— Да, мадам дома, но я не знаю, встала ли она.

Она растворила незапертую дверь гостиной.

Дюруа вошел. Гостиная была довольно обширна, но неряшливо убрана. Мебели было мало. Выцветшие старые кресла были расставлены вдоль стен сообразно вкусу служанки. Ни на одном предмете не лежало отпечатка изысканной заботливости женщины, любящей свое жилище. На стенах висели четыре жалкие картины, небрежно прикрепленные при помощи шнурков неравной длины, изображающие лодку на реке, корабль в море, мельницу среди равнины и дровосека в лесу. Было очевидно, что они уж давно так висели, забытые равнодушной хозяйкой.

Дюруа сел и стал ждать. Ждать пришлось долго. Наконец дверь отворилась. Госпожа де Марель вбежала в японском капоте из розового шелка, расшитом золотыми пейзажами, голубыми цветами и белыми птицами.

Она воскликнула:

— Представьте себе, что я была еще в постели. Как это мило с вашей стороны, что вы пришли ко мне! Я была убеждена, что вы обо мне забыли.

Она с восхищенным видом протянула ему обе руки, и Дюруа, сделавшийся развязным, очутившись в скромной квартире, взяв ее руки, поцеловал одну из них. Он подметил один раз, как это делал Норбер де Варен.

Она попросила его сесть. Потом, оглядывая его с ног до головы, сказала:

— Как вы изменились! У вас прекраснейший вид. Жизнь в Париже вам на пользу. Ну, рассказывайте мне новости.

Они сейчас же принялись болтать, словно были давнишними знакомыми, испытывая друг к другу прилив внезапной симпатии, доверия, дружбы и нежности, как это бывает с людьми одинакового характера и происхождения, становящимися друзьями через пять минут.

Вдруг молодая женщина прервала разговор с удивленным видом:

— Как это странно, что я так с вами разговариваю. Мне кажется, что я вас знаю лет десять. Право, мы будем добрыми приятелями. Хотите?

Он ответил:

— Само собою разумеется.

Его улыбка добавляла невысказанное.

Он находил ее очень соблазнительной в этом ярком и нежном капоте. Она была менее изящна, чем та, другая, в своем белом, менее кокетлива, но зато больше действовала на чувства, больше возбуждала.

Находясь возле госпожи Форестье, одновременно привлекавшей и останавливавшей его своей приветливо-холодной улыбкой, говорившей «Вы мне нравитесь» и «Берегитесь», истинного смысла которой он никак не мог уразуметь, он испытывал желание броситься к ее ногам или покрыть поцелуями нежное кружево ее корсажа, медленно вдыхая теплый аромат ее груди. Находясь с госпожой де Марель, он пламенел более грубым, резко определенным желанием, заставлявшим его содрогаться при виде контуров ее тела, трепетавших под легким шелком.

Она говорила без устали, приправляя каждую фразу свойственным ей остроумием, как мастер, совершающий чудеса ловкости, кажущейся для неопытных людей невероятно трудной и вызывающей удивление. Он слушал, думая про себя: «Это не мешает запомнить. Можно писать очаровательные парижские хроники, заставляя ее болтать по поводу событий дня».

В дверь постучали тихо, чуть слышно. Она крикнула:

— Ты можешь войти, крошка.

Появилась маленькая девочка. Она прямо подошла к Дюруа и протянула ему руку.

Изумленная мать прошептала:

— Это настоящая победа. Я ее совсем не узнаю.

Поцеловав девочку, молодой человек посадил ее рядом с собой и с серьезным видом стал ласково расспрашивать ее о том, как она проводила время со дня их встречи. Она отвечала детским голосом, звонким, как флейта, с важным видом взрослой особы.

Пробило три часа. Журналист встал.

— Приходите почаще, — сказала госпожа де Марель. — Мы будем болтать, как сегодня. Это доставит мне большое удовольствие. Почему вы перестали бывать у Форестье?

Он ответил:

— Это не вызвано никакой серьезной причиной. У меня очень много работы. Надеюсь, что на днях мы увидимся.

Он вышел, с сердцем, полным смутной надежды.

Он не сообщил Форестье о своем визите.

Но в течение последующих дней он не мог забыть о нем — более того, он все время ощущал призрачную и волнующую близость этой женщины; ему казалось, что он уже завладел частью ее, изгибами ее тела, запечатлевшимися в его взгляде, тоном ее душевного склада, оставшимся в его сердце. Он находился под влиянием ее образа, как иногда бывает, если провести несколько

часов в очаровательной беседе с женщиной. В таких случаях ясно возникает странная мысль об обладании, смутная, волнующая и прелестная в силу ее таинственности.

Через несколько дней он пришел к ней во второй раз. Горничная ввела его в гостиную, и сейчас же появилась Лорина.

На этот раз она подставила для поцелуя свой лоб и сказала:

— Мама просила вас подождать. Она придет через четверть часа, потому что еще не одета. Я составлю вам компанию.

Дюруа, забавлявшийся церемонными манерами девочки, ответил:

— Мне будет очень приятно провести с вами, мадемуазель, четверть часа. Но я вас предупреждаю, что я совсем не серьезен. Я играю весь день. Я предлагаю вам поиграть в кошку и мышку.

Девочка стояла пораженная. Потом она улыбнулась, как это сделала бы женщина, выслушав предложение, возмущившее и удивившее ее. Она прошептала:

— В комнатах не играют.

Он продолжал:

— Мне все равно. Я играю везде. Ну, ловите меня.

Он начал кружиться вокруг стола, поддразнивая и заставляя ее ловить себя. Она следовала за ним, не переставая улыбаться, с видом вежливой снисходительности, иногда протягивала руку, но все еще не решалась бежать за ним.

Он остановился, наклонился и, когда она приблизилась нерешительными шажками, подпрыгнул в воздухе, как игрушечные чертики в бутылочках, и со всех ног побегал от нее на другой конец гостиной. Она рассмеялась, найдя забавной его выходку, и, воодушевившись, побежала за ним, издавая радостно-боязливые крики, когда ей казалось, что она его поймала. Он переставлял стулья, преграждая ей дорогу, заставлял ее вертеться возле одного из них, потом бросал его и схватывал другой. Лорина бегала теперь за ним, наслаждаясь этой новой игрой всем существом. С раздумявшимся лицом, она по-детски радовалась всем прыжкам, хитростям и уловкам своего товарища.

Вдруг ей показалось, что она его поймала; но он схватил ее и поднял до потолка, крича:

— Кошка поймана!

Восхищенная девочка болтала ногами, желая вырваться, и смеялась от всего сердца.

Госпожа де Марель вошла изумленная:

— Лорина... Лорина играет... Вы ее обворожили, месье.

Дюруа спустил девочку на пол, поцеловал руку матери, и они уселись втроем. Им хотелось поговорить, но Лорина, всегда такая молчаливая, болтала без умолку, все еще находясь под влиянием возбуждения, вызванного в ней игрой. Ее пришлось отправить в детскую.

Она молча повиновалась, со слезами на глазах.

Когда они остались одни, госпожа де Марель понизила голос:

— Вы не знаете, — у меня грандиозный проект, и я думала о вас. Каждую неделю я обедаю у Форестье. В свою очередь, я угощаю их в ресторане. Я не люблю принимать у себя, я совсем не создана для этого и, кроме того, я ничего не смыслю в хозяйстве. Я люблю жить по-богемному. Итак, я приглашаю их в ресторан, но это, право, скучно: мы обедаем втроем, я не приглашаю моих собственных знакомых. Я говорю вам это, чтоб объяснить свое необычное приглашение. Вы, конечно, понимаете, что я прошу вас присоединиться к нашей компании в субботу, в кафе «Риш», в семь с половиною часов. Вы знаете этот дом?

Он согласился с восторгом. Она продолжала:

— Нас будет только четверо. Как раз две пары. Эти маленькие банкеты очень забавны для нас, женщин, не привыкших к таким развлечениям.

На ней было темно-коричневое платье, кокетливо и вызывающе облежавшее ее талию, бедра, грудь и руки. Дюруа чувствовал изумление, почти смущение, истинную причину которых он не мог уловить, от несоответствия элегантности ее костюма с неряшливой обстановкой ее квартиры.

Все, что облекало ее тело, касалось его непосредственно, было тонко и нежно. К убранству же дома она относилась, по-видимому, с полным равнодушием.

Он покинул ее, сохраняя, как и в прошлый раз, ощущение ее близости, доходившее до галлюцинации чувств. Он ждал назначенного дня с возрастающим волнением.

Снова он взял напрокат черный фрак. Его средства не позволяли ему приобрести выходной костюм. Он явился первым на место встречи, на несколько минут раньше условленного часа.

Его повели на второй этаж, в маленькую гостиную с красными обоями и одним окном, выходящим на бульвар.

На квадратном столе, накрытом на четыре прибора, была разостлана белая скатерть, такая блестящая, что она казалась лакированной. Стаканы, серебро, спиртовка весело сверкали при свете двенадцати свечей, вставленных в высокие канделябры.

За окном виднелось большое светло-зеленое пятно, образованное ветками деревьев, озаренными светом из окон отдельных кабинетов.

Дюруа сел на низком диване, таком же красном, как обои. Ослабевшие пружины поддались под тяжестью его тела, и ему показалось, что он падает в яму. Огромный дом гудел смутным гулом, свойственным большим ресторанам. Этот гул происходил от смешения всевозможных звуков: звона посуды и серебра, быстрых шагов прислуги, смягченных коврами, стука открывающихся дверей, из-за которых слышались голоса обедающих. Форестье вошел и пожал ему руку с дружеской фамильярностью, с какою он никогда не относился к нему в редакции «Французской жизни».

— Дамы сейчас придут, — сказал он, — эти обеды восхитительны!



Потом он оглядел стол, потушил слабо мерцавший газовый рожок, закрыл одну створку окна, так как из него дуло, уселся в уголке и сказал:

— Мне нужно беречься. Целый месяц я чувствовал себя хорошо, а теперь я опять нездоров уже несколько дней. Я простудился во вторник, выходя из театра.

Дверь открылась, и показались обе молодые женщины в сопровождении метрдотеля. Они были закрыты вуалями, скромные, с очаровательной таинственной сдержанностью, свойственной женщинам, появляющимся в местах, где соседства и встречи могут оказаться сомнительными.

Когда Дюруа приветствовал госпожу Форестье, она пожурела его за то, что он не приходил к ней. Потом, взглянув с улыбкой на свою подругу:

— Вы предпочитаете госпожу де Марель. Для нее у вас находится время.

Когда все уселись, метрдотель вручил Форестье карту вин. Госпожа де Марель воскликнула:

— Мужчины могут пить, что им угодно. А нам дайте охлажденного шампанского, самого лучшего, и больше ничего.

Когда лакей вышел, она заявила, возбужденно смеясь:

— Я хочу сегодня пьянствовать. Мы покутим на славу.

Форестье, сделав вид, что не слышит ее, спросил:

— Вы ничего не имеете против того, чтобы закрыть окно? Уже несколько дней я простужен.

— Пожалуйста.

Он закрыл оставшуюся полуоткрытой створку окна и уселся с прояснившимся, успокоенным видом. Его жена сосредоточенно молчала; опустив глаза на стол, она улыбалась, глядя на стаканы со своей неопределенной улыбкой, казалось, все обещавшей и ничего не исполнявшей.

Принесли миниатюрные, сочные остендские устрицы, похожие на маленькие уши, спрятанные в раковинах и оставляющие между нёбом и языком вкус соленых конфет.

После супа подали речную форель, розовую, как тело молодой девушки. Стали разговаривать.

Сначала заговорили о происшествии, наделавшем много шума, об истории светской дамы, накрытой другом ее мужа в отдельном кабинете в объятиях иностранного принца.

Форестье очень забавляло это приключение. Дамы объявили, что нескромный болтун был негодяй и подлец. Дюруа присоединился к их мнению, громко заявив, что мужчина в таких делах, какую бы роль он ни играл — действующего лица, поверенного или простого зрителя, — должен быть нем, как могила. Он прибавил:

— Жизнь была бы очаровательна, если бы мы могли рассчитывать на безусловную обоюдную деликатность. По большей части — почти всегда — женщин удерживает страх разглашения их тайны.

Сказал, улыбаясь:

— Разве это не правда? Многие из них не задумались бы отдаться мимолетному влечению, неожиданной и безумной прихоти одного часа, если бы они не боялись, что за минутное счастье придется расплачиваться позором и слезами.

Он говорил с неотразимой убежденностью, как если бы защищал в данном случае собственные интересы, словно заявлял: «Со мной нечего бояться подобных неприятностей. Попробуйте, и вы узнаете».

Дамы одобрительно глядели на него, находя слова его справедливыми. Они подтверждали сочувственным молчанием, что их непоколебимая нравственность парижанок не устояла бы при наличии уверенности в сохранении тайны.

Форестье, полулежавший на диване, подогнув одну ногу, с подвязанной вокруг шеи салфеткой, сказал со скептическим смехом:

— Само собою разумеется, не дали бы маху, если бы были уверены в молчании. Черт побери! Бедные мужья!

Заговорили о любви. Не считая ее вечной, Дюруа признавал возможность продолжительной любви, создающей тесную связь, основанной на доверии и дружбе. Физическое соединение запечатлевает собой союз сердец. Но он возмущался терзаниями ревности, драмами, сценами, несчастьями, почти всегда сопровождающими любовные разрывы.

Когда он замолчал, госпожа де Марель вздохнула:

— Это единственная хорошая вещь в жизни, но мы ее часто портим, предъявляя чрезмерные требования.

Госпожа Форестье сказала, играя ножом:

— Да... да... приятно быть любимой...

Она погрузилась в задумчивость. Казалось, что в своих грезах она представляла себе то, о чем не осмеливалась сказать вслух.

Так как следующего блюда долго не приносили, они от времени до времени прихлебывали шампанское, закусывая поджаристой корочкой белого хлеба. Мысль о любви, томная, пленительная, проникала в их души, постепенно опьяняя их, подобно тому, как светлое вино, которое они глотали по каплям, горячило их кровь и туманило головы.

Принесли нежные бараньи котлеты, уложенные тесными рядами, украшенные спаржей.

— Черт возьми! Славная штука! — воскликнул Форестье. Они ели медленно, наслаждаясь нежностью мяса и овощами, душистыми, как сливки.

Дюруа продолжал:

— Когда я влюблен в женщину, мир для меня не существует.

Он сказал это убежденно, взволнованный мыслью о радостях любви, размякший и довольный после вкусного обеда.

Госпожа Форестье прошептала с безучастным видом:

— Ни с чем нельзя сравнить счастье первого рукопожатия, когда спрашивают: «Вы меня любите?» — и отвечают: «Да, я тебя люблю!»

Госпожа де Марель, одним глотком опорожнив бокал шампанского, весело сказала, ставя бокал на стол:

— Я не так платонична.

Стали смеяться, одобряя ее выходку. Глаза всех загорелись.

Форестье, лежавший на диване, оперся локтями на подушки и сказал серьезным тоном:

— Ваша откровенность делает вам честь и доказывает, что вы — практичная женщина. Но нельзя ли узнать, каково мнение господина де Мареля на этот счет?

Она медленно пожала плечами с видом бесконечного презрения. Потом сказала отчетливо:

— У господина де Мареля нет мнения по этому поводу. Он... воздерживается.

С возвышенных теорий разговор спустился в низменность утонченного цинизма.

Болтовня состояла из ловких двусмысленностей, покровов, поднятых словами, как поднимают юбки, словесных фокусов, смело замаскированных намеков, бесстыдного лицемерия, фраз, являющих образы, в скрытой форме раскрывающие все, о чем нельзя говорить. Такая болтовня позволяет светским людям особый вид потаенной любви, что-то вроде нечистого представления, волнующего и чувственного, как объятие, касающегося всех скрываемых, постыдных и страстно желаемых деталей совокупления.

Принесли жареных куропаток, окруженных перепелками, горошек, страсбургский пирог, салат, вырезные листья которого наполняли, точно зеленый мох, большой салатник в форме лоханки. Они ели без всякого удовольствия, исключительно занятые своим разговором, погруженные в волны любви.

Женщины были возбуждены. Госпожа де Марель обнаруживала свойственную ей смелость, граничившую с провокацией. Госпожа Форестье отличалась очаровательной сдержанностью, целомудренностью тона, улыбки, голоса, всего обращения. И все это еще резче подчеркивало смысл произносимых ею слов.

Форестье, развалившись на подушках, смеялся, пил, ел без усталости. Он иногда вставлял такую грубую или бесстыдную фразу, что женщины, слегка оскорбленные формой, смущались на две-три секунды.

— Прекрасно, дети мои. Если вы будете продолжать в таком духе, вы надеетесь глупостей.

Подали десерт и кофе. Ликеры придали общему возбуждению более тяжелый и бурный характер.

Госпожа де Марель оказалась пьяницей, как она объявила, садясь за стол. И, желая позабавить своих собеседников, она представлялась еще более пьяной, чем это было на самом деле.

Госпожа Форестье замолчала, может быть, из осторожности. Что касается Дюруа, то, чувствуя себя возбужденным до крайности, он искусно притворялся трезвым.

Закурили папиросы. Форестье стал кашлять.

У него был ужасный кашель, раздравший ему грудь. С покрасневшим лицом и вспотевшими висками, он задыхался, прижимая салфетку к губам. Когда припадок затих, он проворчал с яростным видом:

— Эти удовольствия не для меня. Это просто глупо.

Его веселое настроение исчезло, омраченное неотступно преследовавшим его страхом перед болезнью.

— Пора домой, — сказал он.

Госпожа де Марель позвонила гарсона и приказала подать счет. Счет принесли сейчас же. Она хотела просмотреть его, но цифры прыгали перед ее глазами, и она протянула его Дюруа:

— Платите вы, я ничего не вижу, я слишком пьяна.

В то же время она бросила ему кошелек.

Общая цифра достигла ста тридцати франков. Дюруа просмотрел счет, проверил, отдал два банковых билета, взял сдачу и спросил вполголоса:

— Сколько нужно оставить на чай?

— Сколько хотите, я не знаю.

Он положил на тарелку пять франков и возвратил кошелек молодой женщине, спросив ее:

— Вы позволите мне проводить вас?

— Конечно. Я не в состоянии добраться одна домой...

Простились с Форестье. Дюруа очутился в фиакре¹ вдвоем с госпожой де Марель.

Он почувствовал ее возле себя, совсем близко, запертую вместе с ним в темной коробке, освещавшейся по временам светом уличных фонарей. Он почувствовал сквозь ткань одежды теплоту ее плеча и не мог сказать ей ни слова, ни единого слова, потому что мозг его был парализован неотступным желанием обнять ее.

«Если я осмелюсь, как она к этому отнесется?» — думал он. Воспоминание о бесстыдных словах, произнесенных во время обеда, ободряло его. Его удерживал только страх скандала.

¹ *Фиакр* — наемный городской экипаж на конной тяге, предтеча такси (*примеч. ред.*).

Она тоже ничего не говорила. Сидела неподвижно, откинувшись в угол кареты. Он мог подумать, что она спит, если бы не видел блеска ее глаз всякий раз, когда в карету проникал свет.

«О чем она думала?» Ему казалось, что не нужно говорить, что если хоть одно слово нарушит молчание, победа будет невозможна. Но у него не хватало мужества грубо проявить свою волю.

Вдруг он почувствовал, что нога ее пошевелинулась.



Она сделала нервное движение, выражавшее нетерпение или, может быть, призыв. Он содрогнулся.

Быстро повернувшись, он бросился на нее, впиваясь поцелуем в ее губы, обнажая ее тело.

Она слабо закричала, стараясь выпрямиться, вырваться, оттолкнуть его. Потом она сдалась, словно у нее не хватило силы сопротивляться.

Карета скоро остановилась перед ее домом. Пораженный Дюруа не мог найти ни одного страстного слова, чтобы поблагодарить ее, благословить, поклясться ей в любви.

Она не вставала, не двигалась, ошеломленная случившимся. Тогда

он, чтобы не вызвать подозрения у кучера, вышел первый и протянул ей руку.

Наконец она вышла из фиакра, слегка пошатываясь и не говоря ни слова. Он позвонил и, когда дверь открылась, спросил дрожащим голосом:

— Когда я вас снова увижу?

Она прошептала так тихо, что он еле расслышал:

— Приходите завтра ко мне завтракать. — И исчезла во мраке сеней, толкнув тяжелую дверь, захлопнувшуюся с грохотом.

Он дал пять франков кучеру и пошел быстрой торжествующей походкой, с сердцем, полным радости.

Наконец он овладел замужней женщиной! Светской женщиной, настоящей светской женщиной, парижанкой! Как это случилось легко и неожиданно!

До сих пор он думал, что победа над этими обольстительными существами сопряжена со всевозможными хлопотами, бесконечным выжиданием, искусной осадой, ухаживаньем, любовными словами, вздохами и подарками. И вот, при малейшем натиске, первая из них, которую он встретил, отдалась ему с такой быстротой, что повергла его в изумление.

«Она была пьяна, — подумал он, — завтра будет другая песня. Она закатит истерику. — Эта мысль обеспокоила его, но он подумал: — Что ж делать! Овладев ею, я должен уметь удержать ее».

В смутном видении, в котором мелькали его надежды на почести, успех, известность, деньги и любовь, он внезапно увидел, подобно гирлянде статисток, проходящих в апофеозе, процессию элегантных, богатых, могущественных женщин, исчезающих с улыбкой одна за другой в облаках его золотых грез.

Его сон был полон грез.

На другой день, поднимаясь по лестнице госпожи де Марель, он чувствовал себя немного взволнованным. Как она его встретит? Примет ли она его? Если она не велела принимать его? Не разболтает ли она?.. Но нет, она ни о чем не могла сказать, не открыв истины. Таким образом, не она, а он был господином положения.

Горничная открыла дверь. Он ничего не прочел на ее лице. Он успокоился, точно ожидал увидеть у нее расстроенное лицо.

Он спросил:

— Как мадам себя чувствует?

Она ответила:

— Как всегда.

И ввела его в гостиную.

Он подошел к камину, чтоб взглянуть на себя в зеркало. Поправляя галстук, он увидел в нем молодую женщину, глядевшую на него с порога комнаты.

Он сделал вид, что не заметил ее, и в течение нескольких секунд они с напряженным вниманием смотрели друг на друга в зеркале, прежде чем встретиться лицом к лицу.

Он обернулся. Она не двигалась с места и, казалось, выжидала. Он подошел к ней, бормоча:

— Как я люблю вас! Как я люблю вас!

Она тогда обняла его, прижавшись к его груди. Потом она подняла голову. Их губы слились в долгом поцелуе.

Он подумал:

«Как это, однако, просто!»

Их губы разъединились. Он молча улыбался, стараясь выразить в своем взгляде безграничную любовь.

Она тоже улыбалась, как улыбаются женщины, когда они хотят выразить свое желание, свое согласие, жажду отдаться. Она прошептала:

— Мы одни. Я отослала Лорину завтракать к ее подруге.

Он вздохнул, целуя ее руки:

— Благодарю, я вас обожаю.

Она взяла его под руку, как если б он был ее мужем. Они сели рядом на диване.

На нем лежала обязанность найти интересную тему для разговора. Но, чувствуя себя смущенным, он пробормотал:

— Вы на меня не слишком сердитесь?

Она зажала ему рот рукой:

— Молчи!

Они сидели, не говоря ни слова, глядя друг на друга, сплетаясь дрожащими пальцами.

— Как я желал вас! — сказал он.

Она повторила:

— Молчи!

В соседней комнате горничная зазвенела посудой.

Он встал:

— Я не могу оставаться возле вас. Я теряю голову.

Дверь отворилась:

— Кушать подано.

Он торжественно повел ее к столу.

Они завтракали, сидя друг против друга, беспрестанно обмениваясь взглядами и улыбками, занятые только собой, обвороченные чарами зарождающейся любви.

Ели они машинально. Почувствовав прикосновение маленькой ноги, он охватил ее своими ногами и не выпускал, стиснув изо всех сил.

Горничная входила и уходила, приносила и уносила блюда с равнодушным видом, ничего не замечая.

Когда завтрак кончился, они вернулись в гостиную и снова сели на диване.

Он обнял ее, стараясь крепко сжать в своих объятиях. Но она спокойно его отталкивала:

— Осторожнее, могут войти...

Он прошептал:

— Когда могу я видеть вас одну, чтоб говорить вам о своей любви?

Она нагнулась к его уху и сказала совсем тихо:

— Я приду к вам на днях.

Он покраснел:

— Но у меня... у меня... очень скромно.

Она улыбнулась:

— Это ничего. Я хочу видеть вас, а не вашу квартиру.

Он стал просить ее назначить день. Она сказала, что придет в конце будущей недели. Он умолял ее прийти раньше; нашептывал ей бессвязные фразы с горящим взглядом, сжимая и терзая ее руки, с покрасневшим лицом, взволнованный, охваченный непобедимым желанием.

Она забавлялась его нетерпением, проявляющимся с такой пылкостью. Постепенно она меняла день. Но он повторял:

— Завтра... скажите... завтра...

Наконец она согласилась:

— Да. Завтра. В пять часов.

Он глубоко вздохнул от радости. Они стали разговаривать почти спокойно, с дружелюбным видом, как если бы они были знакомы уже двадцать лет.

Звонок заставил их вздрогнуть. Они быстро отодвинулись друг от друга.

Она прошептала:

— Это, должно быть, Лорина.

Девочка вошла; остановилась, удивленная, потом подбежала к Дюруа, хлопая в ладоши, вне себя от радости при виде его. Она крикнула:

— Милый друг!

Госпожа де Марель засмеялась:

— Милый друг! Лорина вас удачно окрестила. Это будет вашим прозвищем. Я вас тоже буду звать нашим Милым другом!

Он посадил девочку на колени, и ему пришлось играть с ней во все игры, которым он ее научил.

Когда он встал, было без четверти три. Ему нужно было идти в редакцию. Стоя на лестнице, он еще раз шепнул в полуоткрытую дверь:

— Завтра в пять часов.

Молодая женщина ответила улыбкой «да» и исчезла.

Кончив работу, он задумался о том, как он уберет свою комнату к приему возлюбленной. Нужно было как можно искусней скрыть убожество помещения. Ему пришло в голову приколоть к стенам разные японские безделушки. Он купил на пять франков целый ассортимент всевозможных вееров и прикрыл ими наиболее заметные пятна обоев. Приклеил к стеклам прозрачные картинки, изображавшие речные суда, птиц, летящих по красному небу, разноцветных дам на балконах, процессии черненьких человечков,двигающихся по снежным равнинам.

Его крохотная комнатка, в которой с трудом можно было повернуться одному человеку, скоро стала походить на внутренность разрисованного бумажного фонаря. Он остался доволен производимым ею впечатлением и весь вечер приклеивал к потолку птиц, вырезанных из оставшихся у него цветных картин.

Потом он лег спать, убаюкиваемый свистками поездов.

На другой день он вернулся рано, с пакетом пирожных и бутылкой мадеры, купленной им у бакалейщика. Снова спустился, чтоб достать две тарелки и два стакана. Разместил все свои покупки на туалетном столе, закрыв грязную деревянную доску салфеткой. Таз и кувшин поставил под стол.

И стал ждать.

Она пришла в четверть шестого. Восхищенная яркой пестротой рисунков, она воскликнула:

— У вас очень мило. Но на лестнице слишком много народа.

Он обнял ее, страстно целуя ее волосы, закрытые вуалью.

Через полтора часа он проводил ее до Римской улицы и позвал фиакр. Когда она села в карету, он прошептал:

— Вторник. В тот же час.

Она сказала:

— В тот же час, вторник.

Пользуясь темнотой, она обняла его и поцеловала в губы. Когда кучер подхлестнул лошадь, она крикнула:

— До свиданья, Милый друг!

Карета увезла ее, увлекаемая белой клячей.

В течение трех недель Дюруа принимал у себя госпожу де Марель каждые два-три дня, утром или вечером.



Однажды, когда он ждал ее в послеобеденное время, громкие крики на лестнице заставили его подойти к двери. Ревел ребенок. Разъяренный мужской голос кричал:

— Чего он орет, чертенок?

Женщина ответила визгливым, раздраженным голосом:

— Эта шлюха, которая бежит наверх к журналисту, столкнула Никола с лестницы.

— Не следовало бы пускать этих потаскушек; не замечают детей на лестницах!

Дюруа отшатнулся, совсем растерявшись. Он услышал шелест юбок и торопливые шаги на лестнице.

Он запер дверь, но в нее скоро постучали. Он отворил. Госпожа де Марель вбежала в комнату, с трудом переводя дыхание, вне себя, бормоча:

— Ты слышал?

Он притворился, что ничего не знает.

— Нет, а что?

— Как они меня ругали.

— Кто?

— Эти негодяи, которые живут внизу.

— Но что же случилось?

Она зарыдала.

Он снял с нее шляпу, расстегнул корсет, уложил на постель, смочил виски мокрым полотенцем. Она задыхалась. Немного успокоившись, она разразилась негодующими словами. Он должен спуститься вниз. Вызвать их на дуэль и убить.

Он повторял:

— Но ведь это рабочие, хамы. Придется идти в суд. Тебя узнают, задержат, погубят. С такими людьми нельзя связываться.

Ей пришла в голову другая мысль:

— Что же нам теперь делать? Я не могу больше приходить сюда.

Он ответил:

— Очень просто. Я переменю квартиру.

Она прошептала:

— О, это будет долго.

Внезапно придумала новую комбинацию и сказала, успокоенная:

— Нет, нет, я придумала, предоставь все мне, ни о чем не беспокойся. Я пришлю тебе завтра утром «синюю бумажку».

Она называла «синей бумажкой» закрытые городские телеграммы.

Она теперь улыбалась, восхищенная своей выдумкой, которую она не хотела сообщить ему, и безумствовала в любовном экстазе.

Все же она очень волновалась, спускаясь по лестнице.

Она изо всей силы оперлась на руку своего возлюбленного, потому что у нее подкашивались ноги.

На лестнице никого не было.

Так как он вставал поздно, то на другой день в одиннадцать часов он еще лежал в постели, когда почтальон подал ему «синюю бумажку».

Дюруа распечатал ее и прочел:

«Свидание сегодня. Пять часов. Константинопольская улица, 127. Прикажи проводить тебя в квартиру, нанятую госпожой Дюруа.

Кло тебя целует».

Ровно в пять часов он вошел в швейцарскую большого меблированного дома и спросил:

— Здесь госпожа Дюруа наняла квартиру?

— Да, местье.

— Проводите меня, пожалуйста.

Швейцар, несомненно привыкший к щекотливым положениям, требующим осторожности, посмотрел на него и выбрал ключ из большой связки:

— Это вы — господин Дюруа?

— Само собою разумеется.

Он отпер маленькую квартирку нижнего этажа, состоявшую из двух комнат и находившуюся против швейцарской.

Гостиная была оклеена почти новыми полосатыми обоями. Мебель красного дерева была обита зеленоватым репсом с желтым рисунком. Ковер, украшенный цветами, был так тонок, что сквозь него нога прощупывала доски пола.

Спальня была крохотная. Три четверти комнаты занимала кровать. Она помещалась в глубине комнаты, заполняя собой весь простенок. Шаблонная кровать с голубыми тяжелыми драпировками, тоже репсовыми, и пуховым одеялом, крытым красным шелком, испещренным подозрительными пятнами.

Дюруа подумал, обеспокоенный и недовольный: «Эта квартира будет мне стоить бешеных денег. Придется занять. Она совсем одурела».

Дверь открылась, и Клотильда влетела, как вихрь, шелестя юбками, с распростертыми объятьями. Она была в восторге.

— Ведь это очень мило, правда? И не нужно подниматься по лестницам: нижний этаж. Можно входить и выходить из окна; швейцар не увидит. Как мы здесь будем любить друг друга!



Он холодно поцеловал ее, не решаясь задать ей вопрос, вертевшийся у него на языке.

Она положила на столик, находившийся посреди комнаты, большой пакет. Развязав его, она вынула оттуда мыло, флакон с туалетной водой, губку, коробку со шпильками, крючок для башмаков и маленькие щипцы для завивки волос, чтобы подправлять пряди на лбу, постоянно развивавшиеся.

Она весело забавлялась, убирая квартиру и расставляя по местам вещи. Болтала без умолку, выдвигая ящики:

— Нужно на всякий случай принести немножко белья. Это будет очень удобно.

Если меня захватит на улице ливень, я прибегу сюда сушиться. У нас будет по ключу, кроме того, который останется у швейцара на тот случай, если мы забудем наши. Я наняла на три месяца; разумеется, на твое имя, потому что я не могла нанять на свое.

Тогда он спросил:

— Ты мне скажешь, когда нужно платить?

Она просто ответила:

— Уже заплачено, мой милый!

Он продолжал:

— Сколько я тебе должен?

— Нет, мой котик, это тебя не касается, это моя маленькая прихоть.

Он притворился рассерженным:

— Ну, нет! Я этого не позволю.

Она обняла его и начала умолять:

— Прошу тебя, Жорж. Это мне доставляет такое удовольствие. Я хочу, чтоб наше гнездышко принадлежало мне, только мне. Это тебя не оскорбляет? Я хочу принести дар нашей любви. Скажи, что ты хочешь этого, милый Жоржик?.. — Она умоляла его взглядом, поцелуями, всем своим существом.

Он заставлял просить себя, отказываясь с рассерженным видом. Наконец он согласился, находя, что в сущности она права.

Когда она ушла, он прошептал, потирая руки и не стараясь углубляться в тайники своей души, где зародилось составленное им в этот день мнение о ней: «Она все же мила».

Через несколько дней он снова получил «синюю бумажку».

Она сообщала ему:

«Мой муж приедет сегодня вечером после шестинедельного отсутствия. Мы должны расстаться на восемь дней. Какая тоска, мой милый!

Твоя *Кло*».

Дюруа был поражен. Он совсем забыл о том, что она была замужем. Ему хотелось хоть один раз увидеть этого человека, чтобы иметь о нем представление.

Он терпеливо дождался отъезда супруга и провел в Фоли-Бержер два вечера, закончившихся у Рашели.

Затем, однажды утром, снова была получена телеграмма из четырех слов:

«Сегодня пять часов, *Кло*».

Оба прибыли на свидание раньше назначенного времени. Она бросилась в его объятия, охваченная безумным порывом, страстно целуя его лицо; потом сказала:

— Если хочешь, мы, когда наладкаемся, пойдем куда-нибудь обедать. Я себе освободила день.

Месяц только что начинался, и хотя его жалованье было уже забрано вперед и он пробавлялся со дня на день мелкими займами, на этот раз у него случились деньги; и он обрадовался случаю истратить некоторую сумму на нее.

Он отвечал:

— Да, конечно, милочка, где ты хочешь.

Около семи часов они вышли из дому и дошли до большого бульвара. Она опиралась на его руку и шептала ему на ухо:

— Если бы ты знал, как я рада идти с тобой под руку, как мне нравится чувствовать тебя так близко!

Он спросил:

— Хочешь пойти обедать к Ла Туилю¹?

Она отвечала:

— О! Нет, там слишком шикарно. Я бы предпочла что-нибудь простое, какой-нибудь трактирчик, где обедают служащие и работницы; я обожаю кабачки! О! Если бы мы могли поехать за город!

Так как он не знал подобного учреждения в этом квартале, они прошлись по бульвару и кончили тем, что зашли в винную лавку, где можно было обедать в комнате рядом. Сквозь стеклянную дверь она увидела двух девчонок без шляп² за столом против двух военных.

Три извозчика обедали в глубине длинной узкой комнаты, какой-то субъект неопределенной профессии курил трубку, вытянув ноги, засунув руки в брюки, растянувшись на стуле и запрокинув голову вперед на спинку. Его куртка была вся в пятнах, из оттопыренных карманов виднелось горлышко бутылки, кусок хлеба, сверток в газете и конец веревки. У него были густые взлохмаченные волосы, серые от грязи; фуражка валялась на земле под стулом.

¹ Имеется в виду ресторан, расположенный на бульваре Клиши (*примеч. ред.*).

² Выходить на улицу без шляп в описываемое время могли только представители притонародья (*примеч. ред.*).



Появление Клотильды и ее туалет произвели сенсацию. Обе парочки перестали шептаться, три извозчика прекратили спор, а курящий субъект, вынув трубку изо рта и сплюнув на пол, посмотрел на нее, слегка покачав головой.

Госпожа де Марель пробормотала:

— Как мило! Нам будет здесь очень хорошо; а в другой раз я оденусь работницей.

И уселась без всякого замешательства, не брезгуя, за деревянный стол, лоснящийся от пролитого сала и напитков, стираемых одним взмахом салфетки лакея. Дюруа, немного смущенный, слегка сконфуженный, стал искать вешалку, чтобы повесить свой цилиндр. Не найдя ее, он положил его на стул.

Им подали баранье рагу, кусок жиги¹ и салат. Клотильда повторяла:

— Я обожаю это. У меня неизменный вкус. Мне здесь веселее, чем в Английском кафе². — Потом прибавила: — Если ты хочешь мне доставить полное

¹ Жиги — жаркое, приготовленное одним большим куском (*примеч. ред.*).

² Английское кафе на Итальянском бульваре в те дни считалось одним из самых модных в Париже (*примеч. ред.*).

удовольствие, своди меня на бал в кабачок. Я знаю здесь поблизости очень забавный, называющийся «Белая королева»¹.

Дюруа, удивленный, спросил:

— Кто тебя туда водил?

Он посмотрел на нее; она покраснела, слегка взволнованная, точно этот внезапный вопрос пробудил в ней нежное воспоминание. После минутного колебания она пробормотала:

— Это один друг... — Затем, помолчав, прибавила: — Который умер, — и опустила глаза, искренно опечаленная.

Дюруа в первый раз подумал о том, что ничего не знает из прошлого этой женщины, и задумался. Несомненно, она имела любовников до него, но какого рода? Из какого общества? Смутная ревность, что-то вроде неприязни пробудилась в нем к ней, ненависть ко всему, чего он не знал, ко всему, что не принадлежало ему в этом сердце, в этой жизни. Он посмотрел на нее, раздраженный тайной, скрытой в этой хорошенькой загадочной головке, думавшей, может быть, в эту минуту о другом, о других, с сожалением. Как бы ему хотелось заглянуть в эти воспоминания, порыться в них, все узнать, все увидеть!..

Она повторила:

— Хочешь сводить меня к «Белой королеве»? Это будет настоящий праздник.

Он подумал: «Ба! Что мне до прошлого? Я дурак, если меня это волнует». И ответил с улыбкой:

— Само собою разумеется, милочка.

Очутившись на улице, она прошептала тоном, которым делают признания:

— Я не смела тебя об этом просить до сих пор; но ты не можешь себе представить, как я люблю эти холостяцкие вылазки в места, куда женщинам не полагается ходить. Во время карнавала я оденусь школьником. Я очень забавна в этом костюме.

Войдя в помещение бала, она прижалась к нему испуганная, но довольная, с восхищением глядя на проститутку и сутенеров, и от времени до времени, как бы оберегаясь от возможной опасности, говорила при виде сурового неподвижного полицейского: «Вот у этого внушительная фигура». Через четверть часа ей надоело, и он проводил ее домой.

Затем последовал целый ряд экскурсий во все кабачки, где веселятся низы Парижа; и Дюруа открыл в своей любовнице настоящую страсть к скитаниям по всем богемным притонам.

Она приходила на свидание в ситцевом платье, на голове — чепчик водевильной субретки²; и, несмотря на изящную простоту своего костюма, оставалась в кольцах, браслетах, бриллиантовых серьгах, отвечая на его просьбы снять их:

— Пусть думают, что это камешки из Рейна.

¹ Кабаре для простонародья на месте нынешнего «Мулен-руж» (*примеч. ред.*).

² *Субретка* — в старинных комедиях веселая плутоватая горничная (*примеч. ред.*).

Находя, что она удивительно замаскирована, хотя на самом деле это было далеко не так, она отправлялась в притоны, пользующиеся самой дурной репутацией.

Она пожелала, чтобы и Дюруа переодевался рабочим; он воспротивился этому и сохранил свой приличный костюм бульвардьера¹, отказавшись даже заменить цилиндр мягкой шляпой.

Она утешалась, оправдывая его упрямство следующим доводом: «Пусть думают, что я горничная из хорошего дома, имеющая связь с человеком из общества». И находила эту комбинацию восхитительной.

Они заходили в труппные кабаки и садились в глубине накуренного помещения на колченогие стулья перед ветхим деревянным столом. Облако едкого дыма, в котором еще стоял запах жареной рыбы от обеда, носилось по комнате; мужчины в блузах горланили, попивая из стаканчиков; удивленный гарсон рассматривал эту странную пару, ставя перед ней две рюмки вишневки.

Волнуясь, побаиваясь и радуясь, она принималась пить маленькими глотками красный сок, поглядывая вокруг беспокойными горящими глазами. От каждой проглоченной вишни она получала ощущение совершённого проступка, каждая капля жгучего наперченного напитка, попадавшая ей в горло, доставляла ей острое наслаждение, радость запретного и преступного удовольствия.

Потом она говорила вполголоса:

— Пойдем.

И они уходили. Она быстро пробегала, наклонив голову, мелкими шагами, точно актриса со сцены, между посетителями, облокотившимися на столы, провожавшими ее подозрительными и недовольными взглядами; и как только за ней затворялась дверь, она выпускала вздох облегчения, точно ей удалось избежать какой-то ужасной опасности.

Иногда она спрашивала у Дюруа, дрожа:

— Если бы меня оскорбили в этих местах, что бы ты сделал?

Он отвечал хвастливо:

— Я бы сумел тебя защитить, черт побери!

И она радостно сжимала его руку, смутно желая, чтобы ее оскорбили и защитили, увидеть, как мужчины будут из-за нее драться, хотя бы эти самые мужчины с ее возлюбленным.

Но эти экскурсии, возобновлявшиеся два-три раза в неделю, начинали надоедать Дюруа, которому к тому же с некоторых пор стало очень трудно доставать каждый раз пол-луидора на извозчиков и мелкие расходы.

Теперь он сводил с большими затруднениями концы с концами, гораздо больше нуждаясь, чем когда служил на железной дороге; в первые месяцы он тратил деньги без счета, постоянно надеясь на увеличение доходов, и таким образом истощил все свои сбережения и все способы доставания денег.

¹ Бульвардье (от фр. *boulevardier*) — хлыщ (примеч. ред.).

Самое простое средство — заем в кассе — он использовал весьма быстро, и забрал в газете жалование за четыре месяца вперед, да еще шестьсот франков построчных. Кроме того, он задолжал сто франков Форестье, триста франков Жаку Ривалю, у которого всегда можно было перехватить, да еще опутал себя целой сетью маленьких долгов, от пяти до двадцати франков.

Сен-Потен, с которым он советовался о способе достать еще сто франков, не придумал никакого средства, несмотря на свою изобретательность, и Дюруа приходил в отчаяние от своей бедности, теперь еще более ощутимой, так как расходы его возросли. Глубокое раздражение против всех людей росло в нем, проявляясь беспрестанно по каждому поводу, во всякую минуту.

Иногда он задавал себе вопрос, каким образом мог он тратить в среднем около тысячи франков в месяц, не позволяя себе никаких особых излишеств; сосчитал, что завтрак в восемь франков вместе с обедом в двенадцать франков в одном из лучших бульварных ресторанов уже составляли золотой, да прибавил десяток франков карманных денег, проходящих незаметно сквозь пальцы, получается в общем тридцать франков. А тридцать франков составят девятьсот франков в месяц. В этот счет еще не входили расходы на одежду, обувь, белье, прачку и тому подобное.

Таким образом, четырнадцатого декабря он очутился без гроша в кармане, не представляя себе никакой возможности откуда-нибудь достать хоть монету.

В этот день, как это случалось часто прежде, он совсем не завтракал и провел весь день в редакции за работой, взбешенный и озабоченный.

Около четырех часов он получил городскую телеграмму от своей любовницы, гласившую: «Хочешь пообедать вместе? Потом сделаем куда-нибудь вылазку».

Он тотчас ответил: «Обедать невозможно». Потом подумал, что с его стороны глупо отказаться от приятных мгновений, которые она ему дарила, и прибавил: «Буду ждать тебя в девять часов в нашем гнездышке».

Он отправил записку с мальчиком, чтобы сократить расход на телеграф, и стал размышлять, как ему достать себе денег на ужин.

К семи часам он еще ничего не придумал, и от адского голода у него сверлило в животе. Тогда он решил прибегнуть к отчаянному средству. Он подождал, пока уйдут все его сотоварищи, и, оставшись один, стремительно позвонил. Служитель патрона, оставшийся сторожить редакцию, явился на зов.

Дюруа стоял взволнованный, роясь в карманах.

— Послушайте, Фукар, я забыл кошелек дома, а мне нужно ехать обедать в «Люксембург»¹. Одолжите мне пятьдесят су на извозчика.

Служитель достал три франка из кармана жилета и спросил:

— Господину Дюруа не требуется больше?

— Нет, нет. Этого достаточно. Благодарю вас.

И, схватив серебряные монеты, Дюруа спустился бегом по лестнице, потом пообедал в трактире, куда он заглядывал в черные дни.

¹ Имеется в виду ресторан «Люксембургский сад» (примеч. ред.).

В девять часов он поджидал свою возлюбленную, грея ноги у камина маленького салона.

Она влетела, очень оживленная, очень веселая, возбужденная морозным воздухом.

— Если хочешь, — сказала она, — отправимся сначала погулять, потом вернемся сюда к одиннадцати часам. Погода восхитительная для прогулки.

Он ответил ворчливым тоном:

— Зачем выходить? Здесь так хорошо.

Она продолжала, не снимая шляпы:

— Если бы ты видел, какая удивительная луна. Поистине наслаждение прогуляться в такой вечер.

— Может быть, но я не желаю гулять.

Он сказал это с бешеным видом. Ее это поразило, оскорбило; она спросила:

— Что с тобой? К чему этот тон? Мне хочется прогуляться, я не понимаю, почему тебя это злит.

Он поднялся, разъяренный:

— Это меня не злит. Это, по-моему, глупо. Вот что!

Она была из тех, которых раздражают возражения, а грубость приводит в бешенство.

Сказала презрительно, сдерживая злобу:

— Я не привыкла, чтобы со мной так говорили. В таком случае я уйду одна. До свиданья!

Он понял, что хватил через край, и, стремительно бросившись к ней, поймал ее руки, стал их целовать, бормоча:

— Прости меня, дорогая, прости меня, я сегодня очень раздражителен, очень нервен. Это оттого, что у меня неприятности, затруднения, понимаешь, дела...

Она ответила смягченным, но не успокоенным тоном:

— Это меня не касается; и я совершенно не желаю, чтобы на мне срывали свое дурное расположение.

Он повлек ее к дивану.

— Послушай, крошка, я совершенно не хотел тебя оскорблять; я говорил, совершенно не думая.

Он усадил ее насильно, и, став перед ней на колени:

— Простила ты меня? Скажи, что простила.

Она пробормотала холодно:

— Ну хорошо, но не начинай снова. — И, поднявшись, прибавила: — А теперь пойдем гулять.

Он не вставал с колен, обнимая ее ноги, и бормотал:

— Я тебя прошу, останемся. Я тебя умоляю. Сделай это для меня. Мне так хочется этот вечер провести с тобой вдвоем возле камина. Скажи «да», я тебя умоляю, скажи «да».

Она ответила коротко и жестко:

— Нет, я хочу выйти, и не уступаю твоим капризам.

Он настаивал:

— Я тебя умоляю. У меня есть основание, серьезное основание.

Она сказала снова:

— Нет. И если ты не хочешь идти со мною, я уйду. Прощай.

Она высвободилась резким движением и подошла к двери. Он побежал за ней, заключил ее в свои объятия:

— Послушай, Кло, моя маленькая Кло, сделай это для меня.

Она отрицательно качала головой, не отвечая, уклоняясь от его поцелуев и стараясь высвободиться из его объятий, чтобы уйти.

— Кло, моя маленькая Кло, у меня есть причина.

Она остановилась, смотря ему в лицо:

— Ты лжешь, — и какая же?

Он покраснел, не зная, что сказать. Она продолжала, возмущенная:

— Видно, что ты лжешь... Подлое животное...

И с жестом ярости, со слезами на глазах она выскользнула из его рук.

Он удержал ее снова за плечи и в отчаянии, готовый сознаться во всем, чтобы избегнуть этого разрыва, сказал унылым тоном:

— Дело в том, что у меня нет ни гроша. Вот и все...

Она остановилась на месте и, смотря ему в глаза, чтобы узнать истину:

— Что ты говоришь?

Он покраснел до корней волос.

— Я говорю, что у меня нет ни гроша. Понимаешь ты? Ни одного франка, ни полфранка, чтобы заплатить за рюмку наливки, куда мы пойдем. Ты заставляешь меня признаваться в таких позорных вещах. Ведь не мог же я пойти с тобой и, когда мы сядем за стол и спросим себе что-нибудь, спокойно объявить тебе, что у меня нечем заплатить...

Она продолжала смотреть ему в глаза:

— Значит, это правда... Да?

В одно мгновение он вывернул все свои карманы панталон, жилета, пиджака, бормоча:

— Смотри, ты теперь довольна?

Внезапно, раскрыв ему объятия в страстном порыве, она бросилась к нему на шею, лепеча:



— О! Мой бедный мальчик... Мой бедный мальчик... Если бы я знала! Как это с тобой случилось?

Она усадила его и сама, усевшись к нему на колени, обняла его за шею, беспрерывно целуя его в губы, в усы, в глаза, и заставила рассказать свои злоключения...

Он выдумал умилительную историю. Он должен был помочь своему отцу, находившемуся в затруднительном положении. На это ушли не только все его сбережения, но он еще залез в долги по горло.

Он прибавил:

— Мне придется голодать еще с полгода, так как я растратил все мои сбережения. Что же делать, бывают в жизни такие кризисы. В конце концов, деньги не стоят того, чтобы из-за них так волноваться.

Она шепнула ему на ухо:

— Я тебе одолжу, — хочешь?

Он ответил с достоинством:

— Ты очень добра, крошка, но не будем об этом больше говорить, прошу тебя. Ты меня этим оскорбляешь.

Она замолчала.

— Ты никогда не поймешь, как я тебя люблю.

Это был один из их лучших вечеров любви... Уходя, она сказала с улыбкой:

— Гм! Находясь в твоём положении, забавно найти забытые деньги в кармане, — монету, застрявшую в подкладке.

Он ответил убежденно:

— Еще бы!

Она захотела возвращаться пешком под предлогом восхитительной луны и восторгалась ею всю дорогу. Стояла холодная и ясная ночь, какие бывают в начале зимы. Прохожие и лошади спешили, словно подгоняемые легким морозом. Каблуки звонко стучали о тротуар.

Прощаясь, она спросила его:

— Хочешь, чтобы мы встретились послезавтра?

— Ну да, конечно.

— В то же время?

— Хорошо.

— До свиданья, дорогой.

Они нежно поцеловались.

Он пошел быстрыми шагами, спрашивая себя, что ему изобрести на завтра, чтобы достать денег. Но, открывая двери в свою комнату, он стал искать в кармане жилета спички и остановился в изумлении, нащупав монету между пальцев.

Засветив огонь, он схватил эту монету, чтобы рассмотреть. Это был золотой — двадцатифранковик!

Он подумал, что сошел с ума.

Вертел ее, переворачивал, стараясь угадать, каким чудом она попала сюда. Ведь не могла же она упасть с неба к нему в карман.

Потом вдруг догадался, и его охватило возмущение. Его любовница, в самом деле, упоминала о монете, застрявшей в подкладке, которую находят в тяжкие минуты. Это она подала ему милостыню. Какой позор!

Он взбесился:

— Ну хорошо! Я ее приму послезавтра! Она проведет хорошенькие четверть часа!

Лег спать взбешенный и оскорбленный.

Проснулся поздно, хотелось есть. Попробовал уснуть снова, чтобы встать к двум часам. Потом сказал себе — это ни к чему не приведет, нужно придумать, как достать денег. Потом вышел, надеясь, что на улице ему что-нибудь придет в голову.

Но идеи не приходили; вместо того, проходя мимо ресторана, он чувствовал адский голод, так что текли слюнки. В полдень, ничего не придумав, он вдруг решил: «Ба! Пойду позавтракаю на клоутильдины двадцать франков. Это мне не мешает вернуть ей их завтра». Он позавтракал в трактире за два франка пятьдесят. Придя в редакцию, отдал три франка долга служителю:

— Получите, Фукар, деньги, которые вы мне вчера одолжили на извозчика.

Проработал до семи часов, потом пошел обедать и снова издержал три франка из тех же денег. Вечером два бокала пива увеличили дневной расход до девяти франков тридцати сантимов.

Но так как он не мог ни открыть себе кредита, ни придумать источников дохода в одни сутки, то пришлось издержать еще шесть франков пятьдесят из двадцати, которые он должен был вернуть в тот же вечер, и таким образом явиться на свидание с четырьмя франками двадцатью сантимами в кармане.

Он был в настроении бешеной собаки и намеревался тотчас повести дело начистоту. Он скажет своей любовнице: «Ты знаешь, я нашел двадцать франков, положенные тобой в мой карман. Я не могу вернуть их тебе сегодня, потому что мои дела в том же положении, и у меня нет времени думать о деньгах. Но я возвращу их тебе в следующий раз».

Она пришла нежная, ласковая, встревоженная. Как он ее примет? Она смело поцеловала его, желая отсрочить объяснение.

Он подумал в свою очередь: «Я еще успею поговорить об этом. Нужно найти повод».

Он не нашел повода и ничего не сказал, не решаясь начинать разговор на такую щекотливую тему.

Она осталась и была очаровательной во всех отношениях.

Они расстались в полночь, назначив свидание на среду следующей недели, потому что госпожа де Марель получила несколько приглашений на званые обеды.

На другой день, расплачиваясь за свой завтрак, Дюруа хотел достать из кармана оставшиеся у него четыре монеты. Он вынул пять. Из них одна была золотая.

Сначала он подумал, что ему дали ее по ошибке, когда он вчера менял деньги. Но у него сейчас же забилось сердце от сознания унизости преследующей его милостыни.

Как он жалел, что ничего не сказал! Если бы он энергично выразил свое негодование, это не повторилось бы.

В течение четырех дней он упорно и безнадежно хлопотал, желая раздобыть пять луйдоров. Кончилось тем, что он истратил второй золотой Клотильды.

Она ухитрилась — хотя он сказал ей с разгневанным видом: «Не повторяй больше своих глупых выходов, иначе я рассержусь», — в первую же встречу сунуть в его карман еще двадцать франков.

Найдя их, он выругался: «Черт возьми!» — и переложил их в карман жилета, чтобы иметь под рукой: у него не было ни сантима.

Он успокоил свою совесть следующим рассуждением: «Я верну их. Я просто-напросто взял у нее займы эти деньги».

Кассир газеты внял наконец его отчаянной мольбе и согласился выдавать ему по пяти франков в день. Этих денег ему могло хватить на пропитание, но о возвращении долга в шестьдесят франков нечего было и думать.

Ввиду того, что Клотильду снова охватило бешеное желание совершать ночные прогулки по всем подозрительным уголкам Парижа, он не особенно сердился, найдя еще один золотой в одном из своих карманов, другой — в тот же день — в своем башмаке, и на другой день, после прогулки с приключениями, — третий, в футляре от часов.

Она предъявляла требования, удовлетворять которые он был не в состоянии. Поэтому было совершенно естественно, что она сама оплачивала свои удовольствия, не желая отказываться от них.

Кроме того, он вел счет всем получаемым от нее деньгам, не теряя надежды отдать их ей когда-нибудь.

Однажды вечером она сказала:

— Представь себе, что я ни разу не была в Фоли-Бержер. Хочешь пойти со мной?

Он колебался одну минуту, боясь встретиться там с Рашелью. Потом подумал: «Но ведь я не женат. Если та увидит меня, она поймет, в чем дело, и не станет заговаривать. Притом, мы будем в ложе».

Кроме того, его побуждало к этому еще одно соображение. Ему легко было достать бесплатную ложу для госпожи де Марель. Таким образом, он как бы возвратит часть долга.

Он попросил Клотильду подождать его в карете, не желая, чтобы она знала о том, что ему дадут даровой билет. Потом он вернулся к ней, и они вошли, приветствуемые контролерами.

Фойе было переполнено публикой. Они с великим трудом пробрались сквозь толпу мужчин и профессионалок. Наконец они добрались до своей ложи и уселись, — между молчаливым партером и гудящей галерей.

Госпожа де Марель не глядела на сцену, заинтересованная прогуливавшими проститутками. Она беспрестанно оборачивалась к ним, стора желанием ощупать их, прикоснуться к их корсажам, их лицам, волосам, узнать, как устроены эти существа.

Вдруг она сказала:

— Посмотри, вон та полная брюнетка все время не сводит с нас глаз. Мне сейчас показалось, что ей хочется заговорить с нами. Ты ее заметил?

Он ответил:

— Нет. Ты ошибаешься.

Но он уже давно заметил ее. Это была Рашель, бродившая возле их ложи, с гневным взглядом и жестокими словами, готовыми сорваться с языка.

Он только что столкнулся с ней в толпе. Она шепнула ему:

— Здравствуй! — И многозначительно подмигнула. Он не ответил на ее любезное приветствие, боясь быть замеченным своей любовницей. Холодно прошел мимо, с поднятой головой и презрительно сложенными губами.

Проститутка, охваченная инстинктивной ревностью, последовала за ним, снова столкнулась с ними и сказала громко:

— Здравствуй, Жорж!

Он опять ничего не ответил. Желая во что бы то ни стало быть замеченной и обменяться с ним приветствием, она без устали прогуливалась возле их ложи, выжидая благоприятной минуты.

Увидев, что госпожа де Марель смотрит на нее, она дотронулась до плеча Дюруа:

— Здравствуй, как поживаешь?

Она продолжала:

— Что с тобой? Ты, должно быть, успел оглохнуть с четверга!

Он ничего не ответил. Сидел с презрительным видом, ясно показывавшим, что он не желает компрометировать себя даже самым незначительным разговором с этой распутницей. Она засмеялась. В ее смехе дрожала ярость. И сказала:

— Ты и немой тоже? Не откусила ли тебе эта дама язык?

Тогда он сказал раздраженно, с гневным жестом:

— Как вы смеете со мной разговаривать? Уходите, или я прикажу задержать вас.

Тогда она заорала во все горло, со сверкающими глазами:

— А, ты вот как! Ах ты негодяй! Если спишь с женщиной, то, по крайней мере, кланяйся ей после того. Это не оправдание — что ты с другой, — что-бы меня сегодня не узнавать. Если бы ты мне хоть кивнул, когда я проходила мимо, я бы тебя не тронула. Но ты захотел почваниться — подожди же! Я тебя заставляю поплясать, да! Ага! Ты даже не считаешь нужным мне кланяться при встрече...

Она бы орала еще без конца, но госпожа де Марель покинула ложу и пробиравась через толпу, отчаянно ища выход.

Дюруа бросился за ней, стараясь ее догнать.



Тогда Рашель, видя, что они убегают, завопила, торжествуя:

— Держите ее! Держите! Она у меня украла любовника.

Зрители расхохотались. Двое мужчин ради шутки схватили бегущую за плечи и хотели ее увести, стараясь поцеловать. Но Дюруа догнал ее, стремительно высвободил и вывел на улицу. Она бросилась в пустую карету, стоявшую у подъезда. Он вскочил за ней, и на вопрос кучера: «Куда прикажете, господин?» — отвечал:

— Куда хотите.

Карета медленно затряслась по мостовой. Клотильда в нервном припадке, закрыв лицо руками, вздрагивала; Дюруа не знал, что говорить, что делать. Наконец, услышав плач, он залепетал:

— Послушай, Кло, моя маленькая Кло, дай мне тебе объяснить! Я здесь не виноват... Я знал эту женщину давно... в первые дни.

Она вдруг открыла лицо и с бешенством влюбленной и обманутой женщины, развязавшим ей язык, задыхаясь, отрывисто забормотала:

— Ах, негодяй, мерзавец... подлец... Возможно ли? Какой позор!.. О! Господи!.. Какой срам!..

Потом, возмущаясь все более и более по мере того, как она приходила в себя и припоминала факты:

— Это ты платил ей моими деньгами!.. И я давала деньги... для этой проститутки... О! Мерзавец!..

В течение нескольких секунд она, казалось, искала более крепкого выражения, потом вдруг с движением, точно хотела плюнуть:

— О! Свинья, свинья... свинья... Ты ей платил моими деньгами... свинья... свинья...

Не находя другого слова, она повторяла:

— Свинья... свинья...

Вдруг она высунулась в окно, и, схватив кучера за рукав, крикнула: — Остановитесь! — отворила дверцу и выскочила на улицу.

Жорж хотел бежать за ней, но она закричала:

— Не смей идти со мной! — так громко, что вокруг стали собираться прохожие; и Дюруа не двинулся из опасения скандала.

Тогда она достала кошелек, стала искать деньги при свете фонаря, дала кучеру два франка пятьдесят, сказав дрожащим голосом:

— Вот... возьмите ваши деньги... Я плачу... И отвезите этого скота на улицу Бурсо, квартал Батиньоль.

В толпе поднялось веселье. Какой-то господин сказал:

— Браво, малютка!

А уличный мальчишка, примостившись у колес кареты, просунул голову в открытую дверь и закричал пронзительным голосом:

— Добрый вечер, Биби!¹

Затем карета покатилась, осыпаясь градом насмешек.



¹ Биби — шутовское прозвище легкомысленных дамочек (от фр. *bibi* — маленькая женская шляпка) (примеч. ред.).



VI

На следующий день Жорж Дюруа проснулся в дурном настроении.

Не спеша оделся, сел у окна и стал размышлять. Во всем теле он чувствовал разбитость, точно накануне его избили палками.

Наконец необходимость во что бы то ни стало достать денег заставила его направиться к Форестье.

Приятель принял его в кабинете, грея ноги у камина.

— Что это тебя принесло так рано?

— Важное дело. У меня долг чести.

— Проигрался?

Секунду он колебался, потом подтвердил:

— Да, проигрался.

— Много?

— Пятьсот франков!

Он должен был только двести восемьдесят.

Форестье спросил недоверчиво:

— Кому ты задолжал?

Дюруа не нашелся, что ответить.

— Одному... одному... господину... де Карлевиль.

— Ага! Где же он живет?

— Улица... улица...

Форестье захохотал:

— В некотором царстве, в некотором государстве? Не правда ли? Я знаю этого господина, мой друг. Если ты хочешь двадцать франков, я могу тебе их предоставить, но не более.

Дюруа взял золотой. Затем он отправился по всем своим знакомым, из дома в дом. И к пяти часам ему удалось набрать восемьдесят франков.

Так как ему еще не хватало двухсот, то он решил на этом остановиться и пробормотал, пряча собранные деньги:

— Ну, не стоит так надрываться ради этой потаскухи. Я отдам ей, когда буду при деньгах.

В течение двух недель он вел правильный, умеренный и целомудренный образ жизни, весь переполненный энергическими намерениями. Потом вдруг его охватила жажда любви. Ему казалось, что он уже несколько лет не обнимал женщины, и он трепетал при виде каждой юбки, как трепещут моряки при виде твердой земли.

В таком настроении он отправился однажды вечером в Фоли-Бержер, надеясь встретиться там с Рашелью. И действительно, он увидал ее тотчас, как вошел, так как она вечно пребывала в этом учреждении.

Он направился к ней, улыбаясь и протягивая руку. Она смерила его взглядом с головы до ног:

— Что вам от меня нужно?

Он пробовал засмеяться:

— Полно, не дурачься.

Она повернулась на каблуках и заявила:

— Я не веду знакомства с альфонсами.

Она выбрала самое оскорбительное слово. Он почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, и вернулся один.

Форестье, больной, ослабевший, постоянно кашляющий, делал его службу в редакции очень обременительной; казалось, он напрягал все мысли, чтобы придумать для него самые докучные поручения. Однажды, в минуту сильного нервного раздражения после мучительного приступа кашля, не получив от Дюруа требуемой им справки, он проворчал:

— Черт возьми, ты гораздо глупее, чем я думал.

Дюруа хотелось дать ему по физиономии, но он сдержался и вышел, бормоча:

— погоди, я тебе отплачу.

Внезапно у него блеснула мысль, и он прибавил:

— Я тебе наставлю рога, дружище. — И пошел, потирая руки, радуясь этому проекту.

Он намеревался приступить к его исполнению с завтрашнего же дня. Ввиду этого он отправился к госпоже Форестье с визитом.

Застал ее за чтением, лежащей на диване.

Она протянула ему руку, не вставая, только повернув голову, и сказала:

— Здравствуйте, Милый друг.

Ему показалось, что ему дают оплеуху!

— Почему вы меня так называете?

Она ответила, улыбаясь:



— Я видела госпожу де Марель на той неделе и слышала от нее, как они вас прозвали.

Приветливый тон молодой женщины успокоил его. Впрочем, чего ему бояться!

Она продолжала:

— Ес вы балуете! А вот ко мне заходите только тридцать шестого числа или вроде того...

Он сел возле нее и стал рассматривать ее, точно коллекционер новую вещичку. Она была очаровательна со своим нежным и горячим колоритом блондинки, созданной для ласк; и он подумал: «Конечно, она лучше той». Он не сомневался в успехе; казалось, стоит ему только протянуть руку — она падет, как спелый плод с дерева.

Сказал решительно:

— Я не приходил к вам, потому что так лучше.

Она спросила, ничего не подозревая:

— Как? Почему?

— Почему? Вы не догадываетесь?

— Нет, нисколько.

— Потому что я влюблен в вас... О! Немножко, пока немножко... но я не хочу влюбляться окончательно...

Она, по-видимому, не удивилась, не обиделась и не была польщена; продолжала улыбаться так же безразлично и спокойно ответила:

— О! Вы все-таки могли прийти. В меня никогда не влюбляются надолго.

Он удивился больше ее тону, чем словам:

— Почему?

— Потому что это бесполезно, и я тотчас даю это понять. Если бы вы рассказали мне раньше о вашем опасении, я бы вас успокоила и посоветовала бы, наоборот, приходить почаще.

Он воскликнул патетически:

— Разве можно приказывать чувствам!

Она обернулась к нему:

— Мой милый друг, для меня влюбленный вычеркивается из списка живых людей. Он глупеет, становится идиотом, более того — он опасен. С людьми, которые влюблены в меня или притворяются таковыми, я прерываю дружеские отношения, во-первых, потому что они смешны, во-вторых, они опасны, как бешеные собаки, с которыми может случиться припадок. Поэтому я держу их в отдалении, пока не пройдет эта болезнь. Для вас любовь нечто вроде насыщения, тогда как для меня это средство... средство общения душ, которого мужчины не признают. Вы понимаете ее в буквальном, а я — в отвлеченном смысле. Но... посмотрите-ка мне в глаза...

Теперь она не улыбалась. Лицо ее было холодно и спокойно, и она сказала, подчеркивая каждое слово:

— Я никогда, никогда не буду вашей любовницей, помните это. Значит, абсолютно бесполезно, даже вредно для вас настаивать на этом... А теперь, когда... операция сделана... хотите, будем друзьями, настоящими добрыми друзьями, без всяких задних мыслей?

Он понял, что всякая попытка останется безуспешной перед этой непреклонной стойкостью. Поэтому он тотчас от всего сердца принял ее предложение и, восхищенный возможностью приобрести такую союзницу, протянул ей обе руки:

— Мадам, — я весь к вашим услугам.

Она почувствовала искренность в его тоне и подала ему обе руки. Он поцеловал их одну за другой, потом сказал просто, поднимая голову:

— Господи, если бы я встретил женщину, похожую на вас, с какой бы радостью я на ней женился!

Эта фраза ее тронула, как трогают женщин некоторые исключительные комплименты, и она бросила на него горячий, признательный взгляд — один из взглядов, делающих нас на всю жизнь рабами женщины.

Потом, считая этот разговор исчерпанным, она сказала мягким тоном, положив пальчик ему на плечо:

— И я тотчас примусь за мои товарищеские обязанности. Вы, мой друг, не находчивы...

На мгновение она замялась и спросила:

— Могу я говорить с вами откровенно?

— Да.

— Совершенно?

— Совершенно.

— Ну, так нанесите визит госпоже Вальтер, которая вас очень ценит, и поухаживайте за ней. Там вы можете любезничать сколько угодно, хотя она честная женщина, помните это, вполне приличная и честная. О! Не надейтесь... там сорвать что-нибудь в этом отношении... Вы можете получить там нечто большее, если сумеете себя поставить. Я знаю, что положение ваше в газете пока очень неважное. Но не бойтесь ничего, они принимают всех сотрудников с одинаковым радушием. Послушайтесь меня, сходите туда.

Он сказал, улыбаясь:

— Благодарю вас. Вы ангел... настоящий ангел-хранитель.

Потом они заговорили о других вещах.

Он сидел долго, желая доказать, что ему приятно быть с ней; и, уходя, он спросил еще раз:

— Итак, решено? Мы друзья?

— Решено.

Заметив, что его комплимент произвел эффект, он подтвердил его словами:

— Если вы когда-нибудь овдовеете, я выставлю свою кандидатуру.

И быстро удалился, чтобы не дать ей возможности рассердиться.

Визит к госпоже Вальтер несколько стеснял Дюруа, так как он не имел основания явиться к ней в дом и не хотел совершить неловкость. Патрон был к нему благосклонен, ценил его услуги, предпочитал его другим для трудных поручений; почему бы ему не воспользоваться этой благосклонностью, чтобы проникнуть к ним в дом?

Имея это в виду, в одно прекрасное утро он рано поднялся и отправился на рынок, где приобрел за десять франков два десятка восхитительных груш. Запаковал их в корзину, чтобы они имели вид привезенных издалека, и отнес швейцару патронессы вместе с карточкой, на которой написал:

«Жорж Дюруа

почтительно просит госпожу Вальтер принять эти скромные плоды, полученные им сегодня утром из Нормандии».

На следующий день он нашел в редакции, в своем ящике для писем, конверт с карточкой госпожи Вальтер, «сердечно благодарящей господина Жоржа Дюруа и принимающей у себя каждую субботу».

В следующую субботу он отправился к ней.

Господин Вальтер жил на бульваре Мальзерб в собственном доме, часть которого он, как человек практический, отдавал внаймы. Швейцар, помещав-

шийся между двумя входными дверьми, отворял дверь хозяину и жильцу, придавая дому вид роскошного отеля своей отличной ливреей, белыми гетрами на толстых икрах и своим праздничным одеянием с золотыми пуговицами и ярко-красными отворотами.

Приемные комнаты находились в первом этаже; передняя была затянута ковром; на дверях драпировки. Два лакея дремали на стульях. Один взял у Дюруа пальто, другой трость, отворил дверь, сделал, идя вперед, несколько шагов, затем пропустил его, выкрикнув его фамилию, в пустую комнату.

Молодой человек в замешательстве смотрел во все стороны, пока заметил в зеркале сидящих людей, казавшихся очень далеко.



Сначала он ошибся направлением, введенный в заблуждение зеркалом, потом, пройдя две пустые залы, вошел в маленький салон, обтянутый голубым шелком с золотыми пуговками, где четыре дамы вполголоса беседовали вокруг стола с чашками чаю. Несмотря на развязность, которую он приобрел за свое пребывание в Париже, — в особенности благодаря своей профессии репортера, постоянно сталкивавшей его с важными особами, — Дюруа почувствовал себя смущенным обстановкой приема и странствованием по пустым залам.

Пробормотал:

— Мадам, я осмелился... — ища глазами хозяйку дома.

Она протянула ему руку, которую он взял с поклоном, и сказала:

— Вы очень любезны, месье, что навестили меня, — и указала ему на кресло, в которое он почти упал, подумав, что оно гораздо выше.

Все замолчали. Одна из дам начала разговор. Речь шла о холоде, однако недостаточно свирепом, чтобы прекратить эпидемию тифа или сделать возможным катанье на коньках. При этом каждая высказала свое мнение о наступающих в Париже морозах; затем заговорили, кто какой предпочитает сезон, приводя все банальные основания, которые застревают в умах, подобно пыли в комнатах. Легкий шорох в дверях заставил Дюруа обернуться; через отражение двух зеркал он увидел входившую толстую даму. Как только она вошла в салон, одна из дам встала, пожала всем руки и удалилась; молодой человек проводил глазами темный силуэт ее платья, сверкавшего стеклярусом¹.

Когда движение, вызванное перемещением лиц, улеглось, разговор перешел на восточный вопрос и затруднения Англии на юге Африки².

Дамы обсуждали все эти вопросы, точно разыгрывали светскую комедию, хорошо выученную и благопристойную.

Вошла новая гостья — маленькая завитая блондинка, — и при этом вышла высокая, сухопарая дама среднего возраста.

Заговорили о шансах, которые имел господин Лине попасть в академию. Последняя из пришедших положительно утверждала, что его побьет господин Кабанон-Леба, автор прекрасной стихотворной переделки «Дон Кихота» для театра³.

— Вам известно, что эта вещь пойдет в Одеоне⁴ этой зимой?

¹ *Стеклярус* — род бисера, разноцветные стеклянные трубочки, нанизанные на нить (примеч. ред.).

² Имеется в виду колониальная борьба Британии против Трансвааля на территории современной ЮАР, приведшая к Англо-бурским войнам 1880–1881 и 1899–1902 гг. (примеч. ред.).

³ Согласно уставу, французская Академия наук насчитывает сорок членов, избираемых пожизненно, вследствие чего академиков называют «бессмертными»; новый член может быть принят в Академию на конкурсной основе только на место умершего, произнеся вступительную речь в его честь (примеч. ред.).

⁴ Театр «Одеон», расположенный рядом с Люксембургским садом (примеч. ред.).

— Вот как! Непременно пойду посмотреть, как ему удалась эта переделка.

Госпожа Вальтер отвечала любезно, спокойно и бесстрастно, ни минуты не задумываясь над своими словами, так как на все у нее уже были готовые мнения.

Заметив, что становится темно, она велела подать лампы, продолжая участвовать в разговоре, журчавшем как ручеек, думая о том, что она позабыла взять из типографии пригласительные билеты на предстоящий обед.

Она была несколько полна, еще хороша собой, в том критическом возрасте, когда дни женщины уже сочтены. Она еще держалась, но только благодаря косметикам, гигиене, уходу и всевозможным заботам о себе. Впечатление она производила методичной, сдержанной и рассудительной женщины, суждения которой выстрижены и выравнены подобно французскому саду, по которому гуляешь без всяких неожиданностей, находя в этом известную прелесть. Ум у нее был точный, сдержанный, заменявший ей воображение, — доброта, самоотверженность, спокойное благожелательство ко всем и ко всему.

Она заметила, что Дюруа ничего не говорит, никто к нему не обращается, и это его смущает; и, чувствуя, что дамы не скоро еще покончат с академией — излюбленным предметом их разговоров, — она спросила:

— Ну а вы, господин Дюруа, вы должны быть осведомлены на этот счет, — за кого вы подаете голос?

Он отвечал не колеблясь:

— Что касается этого вопроса, мадам, я бы никогда не обращал внимания на относительные достоинства кандидатов, но на их возраст и состояние здоровья. Я бы справлялся не об их титулах, но о болезнях, которыми они страдают. Я не требовал бы от них перевода в стихах Лопе де Вега, но меня интересовало бы состояние их печени, сердца, почек, спинного мозга. На мой взгляд, в тысячу раз важнее, страдает ли он гипертрофией, ожирением и в особенности начинающейся атаксией¹, чем написал ли он сорок томов рассуждений об идее Отечества в поэзии варваров.

Это мнение было встречено удивленным молчанием. Госпожа Вальтер, улыбаясь, спросила:

— Но почему же?

Он отвечал:

— Потому что во всякой вещи я отыскиваю ту ее приятную сторону, которая нравится женщинам. Академия интересуется дам только тогда, когда умирает кто-либо из ее сочленов. Чем больше их умирает, тем это вам приятнее. Но чтобы они умирали скорее, нужно назначать туда стариков и больных.

Заметив всеобщее удивление, он прибавил:

— Впрочем, я и сам, так же как вы, люблю прочесть в парижской хронике о кончине академика. Я тотчас задаю себе вопрос: «Кто его заменит?»

¹ *Атаксия* — нервно-мышечное заболевание, нарушение согласованности движений различных мышц (*примеч. ред.*).

и составляю свой список кандидатов. Это игра, милая забава, в которую играют во всех парижских салонах при кончине каждого смертного. «Игра в смерть и в сорок старцев».

Дамы, еще не совсем оправившись от смущения, уже начали улыбаться, настолько верно было его замечание.

Он закончил, подымаясь:

— Это вы, дамы, выбираете их, и выбираете только для того, чтобы они умирали. Назначайте же самых старых, самых дряхлых, и не заботьтесь ни о чем остальном.

Затем он удалился, грациозно раскланявшись.

Как только он скрылся за дверью, одна из дам заявила:

— Забавный юноша. Кто он?

Госпожа Вальтер ответила:

— Один из наших сотрудников, пока еще на низшей должности, но я не сомневаюсь, что он быстро пойдет вперед.

Дюруа шел по бульвару Мальзерб танцующей походкой, довольный своим уходом, бормоча:

— Эффектный уход.

В этот же вечер он помирился с Рашелью.

На следующей неделе случилось два важных события: его назначили заведующим хроникой и пригласили на обед к Вальтерам. Он поставил в связь эти оба события.

«Французская жизнь» прежде всего была финансовым предприятием; патрон занимался коммерческими спекуляциями, для которых пресса и депутатство служили только орудиями. Прикрываясь своим добродушием, он постоянно действовал под маской простака и весельчака, выбирая себе в помощники — какого бы рода они ни были — только испытанных им людей, казавшихся ему смелыми, искушенными пролазами. Дюруа в должности заведующего хроникой казался ему неоценимым.

До сих пор эту обязанность исполнял секретарь редакции Буаренар, старый журналист, опытный, методичный и исполнительный, как чиновник. В продолжение тридцати лет он перебивал секретарем в одиннадцати разных газетах, и это нисколько не отразилось на его взглядах или образе действий. Он переходил из одной редакции в другую, как переходят из одного ресторана в другой, едва замечая, что кушанья в них несколько разного вкуса. Ни политикой, ни религиозными вопросами он не интересовался. Он отдавался всей душой газете, каких бы взглядов она ни держалась; погружался по уши в свои обязанности, неоценимый вследствие своей опытности. Работал он, как слепой, который ничего не видит, как глухой, который ничего не слышит, как немой, который никогда не говорит. В то же время он отличался необычайной профессиональной честностью и никогда не служил делу, которое не считал безусловно правым и лояльным с точки зрения своего ремесла.

Господин Вальтер, очень ценивший его, однако, мечтал передать отдел хроники другому человеку, так как считал этот отдел одним из самых важных в газете; ведь через посредство хроники распространяются новости, всевозможные слухи, воздействующие на публику и на биржу. Нужно уметь вставить между заметкой о двух светских вечерах какую-нибудь важную вещь в форме намека. Между строк нужно заставлять угадывать, находить желаемое, опровергать так, чтобы слух только утверждался, или утверждать так, чтобы никто не верил данному факту. Нужно вести отдел так, чтобы в хронике всякий находил ежедневно хоть одну интересную для себя строчку, чтобы иметь читателей во всех кругах. Нужно думать обо всех и каждом, обо всех слоях общества, обо всех профессиях, о Париже и провинции, об армии и об искусствах, о духовенстве и науке, о властях и о куртизанках.

Заведующий этим отделом, имевший под своим началом целый отряд репортеров, должен быть всегда настороже, осведомленным, осмотрительным, скептиком, изворотливым, гибким, одаренным безошибочным чутьем, чтобы сразу отличить ложный слух, выбрать нужное, интересное для публики; кроме всего, он должен придать сообщению такой вид, который усиливал бы производимое им впечатление.

Господину Буаренару, несмотря на его долголетнюю опытность, не доставало изворотливости и блеска; в особенности же ему не хватало природной пронзливости, необходимой для того, чтобы угадывать тайные намерения своего патрона.

Дюруа должен был поставить дело отлично, как нельзя более подходя к составу редакции газеты, которая, по выражению Норбера де Варена, «лабиринт между волнами государственных фондов и мелями политики».

Вдохновителями и главными руководителями «Французской жизни» являлись с полдюжины депутатов, заинтересованных во всех спекуляциях, начинаемых или поддерживаемых ее редактором. В палате их называли «шайкой Вальтера», завидуя огромным деньгам, которые они загребали вместе с ним чрез его посредство.

Форестье, заведовавший политическим отделом, был только манекеном в руках этих дельцов, исполнителем внушаемых ими проектов. Они давали ему материал для передовиц, которые он писал дома «для спокойствия», — как он говорил.

Для придания газете литературного характера были приглашены два известных писателя различного жанра: Жак Риваль, злободневный фельетонист, и Норбер де Варен, поэт и новеллист нового направления.

Затем были приглашены гуртом — по оптовой цене — музыкальные, художественные и театральные критики, специалист по криминологии и специалист по спорту, из массы всегда вакантных писателей «на все руки». Две светские дамы под псевдонимами «Розовое домино» и «Белая лапка» сообщали великосветские новости, обсуждали вопросы моды, светского этикета, хорошего тона, вплоть до сплетен из жизни высокопоставленных модниц.

И «Французская жизнь» «носила по волнам и мелям», управляемая всеми этими разнородными кормчими.

Дюруа еще не перестал ликовать по поводу назначения его заведующим хроникой, когда получил маленькую печатную карточку с приглашением: «Господин и госпожа Вальтер просят господина Жоржа Дюруа сделать им честь отобедать у них в четверг, двадцатого января».

Эта новая удача, свалившаяся на него, так обрадовала его, что он поцеловал приглашение, точно это было любовное письмо. Затем он отправился к кассиру, чтобы обсудить с ним важный денежный вопрос.

Заведующий хроникой имеет обыкновенно в кассе особый бюджет, из которого он платит своим сотрудникам за важные или посредственные сообщения, поставляемые ими, точно плоды, приносимые огородниками торговцу зеленью.

Для начала Дюруа было ассигновано тысяча двести франков в месяц, из которых он рассчитывал удержать себе львиную долю.

Кассир, уступая его настойчивым домогательствам, выдал ему наконец четыреста франков вперед. В первую минуту у него было намерение вернуть госпоже де Марель двести восемьдесят франков долгу, но он тотчас сообразил, что тогда у него останется на руках только сто двадцать франков, — сумма, которой не хватит для того, чтобы обставить приличным образом свое новое положение, и отложил платеж долга на неопределенное время.

В продолжение двух дней он был занят своим новым устройством, так как получил особый стол и ящики для корреспонденции в огромной комнате, где помещалась вся редакция. Он занимал один угол комнаты, в то время как в другом виднелась черноволосая, несмотря на преклонный возраст, голова Буаренара, склоненного над бумагами.

Длинный стол посреди комнаты занимали приходящие сотрудники. Обычно же он служил сиденьем, на которое усаживались, свесив ноги за борт или по-турецки — верхом. Часто вокруг него собирались пять-шесть человек и занимались игрой в бильбоке, напоминая китайских уродцев, уморительно усевшихся на корточках.

Дюруа в конце концов тоже пристрастился к этому развлечению и быстро прогрессировал в нем под руководством Сен-Потена.

Форестье, все более и более ослабевавший, передал ему свое прекрасное новое бильбоке, находя его немного тяжелым, и Дюруа подкидывал своей мощной рукой большой черный шар, привязанный к веревке, считая про себя:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть.

В первый раз ему удалось поймать подряд двадцать раз — в день, когда его пригласили обедать к госпоже Вальтер. «Счастливейший день, — подумал он, — все удастся». Искусство его игры уже создало ему некоторую известность в редакции «Французской жизни».

Он рано ушел из редакции, чтобы иметь время одеться, и шел по Лондонской улице, когда увидал идущую перед ним женщину, напоминавшую походкой

госпожу де Марель. Он почувствовал, как его бросило в жар и сердце его заколотилось. Перешел улицу, чтобы видеть ее в профиль. Она остановилась, чтобы тоже перейти. Он увидел, что ошибся, и вздохнул с облегчением.

Часто он задавал себе вопрос: как он должен себя вести при встрече с ней? Поклониться или сделать вид, что он ее не узнал?

«Я ее не увижу», — подумал он.

Было холодно — канавки подернуты льдом. Но на тротуарах сухо и светло от зажженного газа.

Вернувшись домой, молодой человек подумал: «Мне нужно переменить квартиру. Эта мне теперь не годится». Он чувствовал радостное возбуждение, готов был бегать по крышам и повторять вслух, прогуливаясь между окном и постелью:

— Мне везет? Да, я сделаю карьеру! Нужно написать отцу.

От времени до времени он писал родителям, и письмо всегда вносило радостное оживление в маленький нормандский кабачок, — на краю дороги, на вершине холма, внизу которого лежит Руан, в широкой долине Сены.

Иногда и он получал синий конверт, надписанный крупным дрожащим почерком, и неизменно находил одни и те же строки в начале письма: «Любезный сын, сим уведомляю, что мы — я и мать твоя — здоровы. В округе ничего нового. Впрочем, сообщаю тебе...»

Он живо принимал к сердцу все деревенские новости, интересы соседей, состояние урожая и жатвы.

Он повторял, завязывая перед своим маленьким зеркалом белый галстук:

— Нужно написать отцу завтра же. Если бы старик видел меня сегодня вечером в том доме, куда я иду, вот бы он удивился! Черт возьми! Сейчас я отправляюсь на обед, какой ему никогда и не снился!

И ему вдруг представилась их мрачная кухня позади залы пустого кафе, — кастрюли, желтеющие по стенам, кошка на очаге, с мордой, обращенной к огню, в позе химеры на корточках, деревянный стол, засаленный от времени и пролитых напитков, дымящаяся миска с супом посередине, мерцающая свеча между двумя тарелками. И представились старики — отец и мать — двое крестьян, хлебающие суп маленькими глотками. Ему знакомы все морщинки их старых лиц, малейшие движения их рук и голов. Также он знал все, что они говорят каждый вечер, сидя друг против друга за ужином.

Он подумал: «Следовало бы мне их навестить».

Окончив одеваться, погасил свечу и спустился вниз.

На большом бульваре на него накинудись профессионалки.

Он отвечал им, отдергивая руку: — Оставьте меня в покое! — с таким возмущением, будто они его оскорбили, обругали...

За кого они его принимают? Эти шлюхи не умеют различать мужчин... Он чувствовал на себе черный фрак, надетый, чтобы идти на обед к богатым, известным, влиятельным людям, и это давало ему ощущение новой личности, точно он уже стал другим человеком, членом настоящего, высшего общества.

Он уверенно вошел в переднюю, освещенную высокими бронзовыми канделябрами, и вручил развязным движением палку и пальто двум лакеям, подбежавшим к нему. Все залы были освещены. Госпожа Вальтер принимала во второй, самой большой. Она встретила его очаровательной улыбкой и представила двум господам, пришедшим раньше его, — господину Фирмену и господину Ларош-Матье, депутатам, анонимным редакторам «Французской жизни». Господин Ларош-Матье пользовался в газете выдающимся авторитетом благодаря своему влиянию в палате. Никто не сомневался, что он сделается со временем министром. Затем пришли супруги Форестье — она восхитительная в своем розовом туалете. Дюруа удивился, заметив ее интимность с обоими депутатами. Она проболтала минут пять, уединившись в угол за камином с господином Ларош-Матье. Шарль имел измученный вид. Он очень похудел за последний месяц и беспрестанно кашлял, повторяя: «Я должен конец зимы провести на юге».

Норбер де Варен и Жак Риваль пришли вместе. Затем из задних комнат появился господин Вальтер с двумя дочерьми — в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Одна была некрасива, другая — хорошенькая.

Дюруа, хотя знал, что патрон был человек семейный, все-таки удивился. Никогда он не думал о дочерях своего начальника, как не думают о далеких странах, которых никогда не увидят. К тому же представлял их себе маленькими, а вдруг увидел взрослых девушек и почувствовал некоторое замешательство, вызванное переменой в его представлениях.

Они протянули ему руки одна за другой, а затем уселись перед маленьким, предназначенным для них столом, где начали перебирать катушки шелка в корзиночке.



Ожидали кого-то еще; все молчали, смущенные, как это бывает с людьми разных профессий, сходящимися на обед после различно проведенного дня.

Дюруа от нечего делать стал рассматривать стены, и господин Вальтер бросил ему издалека, видимо желая похвастаться: — Вы рассматриваете мои картины, — подчеркивая слово «мои».

— Я вам их покажу, — и он взял лампу, чтобы можно было рассмотреть подробности.

— Здесь пейзажи.

Посредине стены висела большая картина Гильме¹ «Берег Нормандии во время грозы». Под нею «Лес» Арпиньи, затем «Равнина Алжира» Гийоме, с верблюдом на горизонте, похожим на какое-то странное сооружение.

Господин Вальтер перешел к следующей стене и возвестил тоном церемониймейстера:

— Великие мастера!

Это были четыре картины: «Посещение больницы» Жервекса, «Жница» Бастьен-Лепаж, «Вдова» Бугро и «Казнь» Жан-Поля Лоранса. Последняя картина изображала вандейского священника, расстреливаемого у церковной ограды отрядом «синих»².

Переходя к следующей стене, патрон сказал с улыбкой:

— Здесь легкий жанр.

Прежде всего бросилась в глаза картина Жана Беро, названная «Вверху и внизу». Она изображала хорошенькую парижанку, взбирающуюся на ходу на лесенку трамвая. Ее голова уже на уровне императора³, и мужчины, сидящие на нем, с жадным любопытством приветствуют появление юного личика, в то время как стоящие внизу рассматривают ноги молодой женщины с выражением досады и вожделения.

¹ Жан-Батист-Антуан Гильме (1841–1918) — художник-пейзажист, один из друзей Мопассана; Анри Жозеф Арпиньи (1819–1916) — художник-пейзажист, один из ведущих французских акварелистов своего времени; Гюстав Ашиль Гийоме (1840–1887) — художник-ориенталист и литератор; Анри Жервекс (Жерве) (1852–1929) — исторический жанровый и портретный живописец; Жюль Бастьен-Лепаж (1848–1884) — один из первых французских художников, изобразивших крестьянский быт в духе натурализма; Вильям-Адольф Бугро (1825–1905) — видный представитель салонного академизма; Жан-Поль Лоранс (Лоран) (1838–1921) — живописец, монументалист, скульптор, график и иллюстратор; Жан Беро (1849–1910) — художник-жанрист, приятель Мопассана; Луи-Эжен Ламбер (1825–1900) — «Рафаэль животных», мастерски изображавший кошек и собак; Эдуард Детай (1848–1912) — академический художник и баталист, друживший с Мопассаном; Морис Лелуар (1851–1940) — живописец, художник театра и кино, литератор (примеч. ред.).

² «Синими» (по цвету мундиров) называли солдат республиканских войск, подавлявших вандейский мятеж (1793–1796) (примеч. ред.).

³ Император — здесь: место наверху дорожного экипажа (примеч. ред.).

Господин Вальтер, держа лампу в руке, повторял с лукавым смешком:

— Каково? Занятно? Ведь, правда, занято?

Затем он осветил «Спасение утопающей» Ламбера. Посредине убранного после обеда стола сидит котенок и с недоумением и вниманием рассматривает муху, утонувшую в стакане воды. Он уже поднял лапки, готовый схватить насекомое быстрым движением. Но еще не решился, колеблется. Что ему делать?

Затем патрон показал «Урок» Детайя, изображающий солдата в казарме, обучающего пуделя бить в барабан, заметив:

— Остроумно!

Дюруа одобрительно смеялся и восхищался:

— Как это прелестно, как очаровательно...

Вдруг он остановился, услышав позади себя голос вошедшей госпожи де Марель.

Патрон продолжал освещать картины, объясняя их.

Теперь он показывал акварель Мориса Лелуара «Препятствие». Она изображала портшез, которому преграждал путь бой двух уличных молодцов, дравшихся как геркулесы. В окне портшеза виднелось восхитительное женское личико... смотревшее... терпеливо, спокойно, даже с некоторым удивлением на драку рассвирепевших мужчин.

Господин Вальтер продолжал:

— У меня есть еще картины в других комнатах, но они менее известных художников. Здесь у меня избранный салон. Сейчас я покупаю молодых, еще неизвестных художников, и держу их пока в задних комнатах, выжидая время, когда их авторы прославятся. — Затем он произнес шепотом: — Теперь как раз момент покупать картины, художники подымают с голоду. Они все сидят без гроша... без гроша...

Но Дюруа ничего не видел, слушал и не понимал. Госпожа де Марель была здесь, позади него. Что ему делать? Если он ей поклонится, вдруг она повернется спиной или обругает его? Если же он не подойдет, что она подумает?

Он сказал себе: «Я все-таки повременю». Он был так расстроен, что одну минуту подумал притвориться больным и уйти домой. Осмотр картин был кончен. Патрон поставил лампу и поздоровался с новой гостьей, между тем как Дюруа снова принялся рассматривать одну картину, точно он еще не вполне ими налюбовался.

Мысли его спутались. Что ему делать? Он слышал голоса, отрывки разговора. Госпожа Форестье позвала его:

— Пожалуйста, господин Дюруа.

Он побежал к ней — она хотела его познакомить с одной своей приятельницей, которая устраивала празднество, и хотела, чтобы об этом появилась заметка в хронике «Французской жизни».

Он пробормотал:

— Разумеется, мадам, разумеется...

Госпожа де Марель теперь находилась совсем близко от него. Он не осмеливался повернуться, чтобы уйти. Вдруг ему показалось, что он лишается рассудка: она сказала громко:

— Здравствуйте, Милый друг! Что, вы не хотите меня узнавать?

Он стремительно повернулся на каблуках. Она стояла перед ним улыбающаяся, глядя на него весело и ласково. И протягивала ему руку.

Он взял ее, трепеща, опасаясь какой-нибудь хитрости или ловушки. Она прибавила искренно:

— Что с вами случилось? Вас нигде не видно.

Он залепетал, тщетно стараясь овладеть собой:

— У меня была масса дел, масса дел. Господин Вальтер возложил на меня новую обязанность, которая требует от меня бездны работы.

Она ответила, глядя ему в глаза, с искренним расположением:

— Знаю, но это не основание забывать ваших друзей.



Разговор был прерван появлением толстой дамы, декольтированной, с красными руками и красными щеками, одетой и причесанной с претензией; она выступала так грузно, что при каждом шаге чувствовалась увесистость ее бедер.

Заметив, что ей оказывают большое внимание, Дюруа спросил у госпожи Форестье:

— Кто эта особа?

— Виконтесса де Персмюр, подписывающаяся псевдонимом «Белая лапка».

Он был поражен и еле удержался от того, чтобы не расхохотаться:

— Белая лапка! Белая лапка! Я представлял себе молодую женщину вроде вас! Так вот она какая, Белая лапка! Да, она забавная, очень забавная.

Слуга, появившийся в дверях, возвестил:

— Обед подан.

Обед был банально весел, один из тех обедов, на которых говорят обо всем и ни о чем. Дюруа сидел между старшей некрасивой дочерью патрона, Розой, и госпожой де Марель. Последнее соседство его несколько смущало, хотя она имела очень непринужденный вид и болтала со свойственным ей остроумием. Сначала он растерялся и не мог найти, как музыкант, потерявший верный тон. Затем мало-помалу он овладел собою и стал с нею переглядываться, обмениваясь интимными, почти чувственными взорами.

Вдруг он почувствовал, как кто-то коснулся под столом его ноги. Он тихонько придвинул ногу и встретился с ногой соседки, которая не испугалась его прикосновения. В этот момент они не разговаривали, обернувшись оба к своим соседям по другую сторону. Дюруа с бьющимся сердцем коснулся ее своим коленом. Она ответила ему легким пожатием. Тогда он понял, что их связь возобновится.

О чем они говорили потом? Кажется, ни о чем; но их губы вздрагивали всякий раз, когда они взглядывали друг на друга.

Молодой человек, желая все же быть любезным с дочерью своего начальника, обращался от времени до времени к ней с каким-нибудь вопросом. Она отвечала так же, как ее мать, никогда не задумываясь над тем, что сказать.

По правую сторону господина Вальтера сидела виконтесса де Персмюр, разыгрывая из себя принцессу; и Дюруа, еле удерживавшийся от смеха при ее виде, спросил тихонько у госпожи де Марель:

— Вы знаете другую, которая подписывается «Розовое домино?»

— Да, отлично знаю: баронессу де Ливар?

— Она — вроде этой толстухи?

— Нет. Но тоже комичная. Высокая шестидесятилетняя старуха, сухая как палка, с накладными буклями, вставными зубами, туалеты и суждения эпохи Реставрации¹...

— Где они откопали этих монстров?

— Выскочки из буржуазии всегда подбирают обломки знати.

— Других причин нет?

— Никаких.

Затем между патроном, двумя депутатами, Норбером де Вареном и Жаком Ривалем завязался политический спор, продолжавшийся вплоть до десерта.

Когда вернулись в салон, Дюруа снова подошел к госпоже де Марель и, глядя ей в глаза, спросил:

— Хотите, я вас провожу сегодня домой?

— Нет.

— Почему?

— Потому что мой сосед господин Ларош-Матье завозит меня каждый раз, когда я здесь обедаю.

— Когда я вас увижу?

— Приходите завтра ко мне завтракать.

И они расстались, ничего больше не сказав.

Дюруа скоро ушел, найдя вечер скучным. Спускаясь с лестницы, он догнал Норбера де Варена, который тоже уходил. Старый поэт взял его под руку. Не опасаясь больше соперничества молодого человека в газете, так как они работали в совершенно разных отделах, он выказывал ему теперь покровительственную благосклонность.

— Вот что, не проводите ли вы меня немного по пути? — сказал он.

Дюруа отвечал:

— С радостью, дорогой мэтр.

И они медленно начали спускаться вниз по бульвару Мальзерб.

¹ *Эпоха Реставрации* (1814–1830) — период французской истории, когда власть в стране вернулась к представителям династии Бурбонов (*примеч. ред.*).

Ночь была пустынная, безлюдная; одна из тех жутких ночей, когда звезды кажутся выше, пространства — необъятнее, а ледяной ветер приносит откуда-то из-за облачных сфер дыхание смерти...

Первые минуты они оба молчали. Потом Дюруа, чтобы начать разговор, сказал:

— У этого Ларош-Матье очень интеллигентный и образованный вид...

Старый поэт пробормотал:

— Вы находите?

Молодой человек удивился, заколебался:

— Да; говорят, что он один из самых даровитых людей в палате.

— Возможно. Среди слепых и кривой кажется королем. Все эти люди — ничтожества, так как все их мысли заключены между двух стен — наживы и политики. Это олухи, мой милый, с которыми невозможно ни о чем говорить, ни о чем, что нам дорого. Мысли их засорены подобно тому, как засорена Сена в Аньере. Ах! Как трудно найти человека с размахом мысли, дающей вам ощущение всеобъятного простора, который вдыхаешь на берегу моря. Я знавал нескольких таких людей, но они умерли.

Норбер де Варен говорил отчетливым, но сдержанным голосом, который прозвучал бы среди тишины ночи, если бы он дал ему волю. Он казался возбужденным и печальным — тою печалью, которая подчас обнимает душу, заставляя ее дрожать, как земля, охваченная морозом. Он продолжал:

— Впрочем, не все ли равно, немного больше или немного меньше ума, — раз все идет к одному концу!

Он замолчал. Дюруа, который чувствовал себя в этот вечер очень весело, сказал, улыбаясь:

— Вы сегодня мрачно настроены, дорогой учитель.

Поэт ответил:

— Это мое обычное настроение, дитя мое, и оно также станет вашим через несколько лет. Жизнь — это восхождение на гору. Пока взбираешься, смотришь на вершину и радуешься; но, достигнув цели, видишь спуск, внизу которого смерть. Взбираешься медленно, но спуск — почти мгновенный. В вашем возрасте бываешь настроен радостно. Надеешься на многие вещи, которые, впрочем, никогда не сбываются. В моем — не ожидаешь уже ничего... кроме смерти.

Дюруа начал смеяться:

— Черт возьми, от ваших слов меня мороз по коже подирает.

Норбер де Варен продолжал:

— Нет, теперь вы меня не поймете, но когда-нибудь вспомните о моих словах.

Понимаете ли, наступает время, и для многих очень рано, когда, как говорится, становится не до смеха, потому что поверх всего видишь ужасную маску смерти. О! Теперь вы даже не поймете этого слова — смерть. В вашем возрасте это пустой звук. В моем — оно ужасает.

Да, начинаешь его понимать вдруг, не зная почему и отчего, и тогда вся жизнь внезапно меняет свой вид. Вот уже пятнадцать лет, как я это чувствую... Внутри меня что-то глохнет, точно хищный зверь... Я чувствую, как он подтачивает меня изо дня в день, постепенно, точно дом, который должен рухнуть. Сознание этого разрушения так изменило меня во всех отношениях, что я сам себя не узнаю. Во мне не осталось ничего напоминающего того бодрого, радостного и сильного человека, каким я был в тридцать лет. Я присутствовал при том, как окрашивались мои черные волосы в белый цвет, и с какой злоградской и искусной медлительностью! У меня отняли мою упругую кожу, мои мускулы, мои зубы, все мое прежнее тело, оставив мне одну тоскующую душу, которую тоже скоро возьмут. Да, она истощила меня, подлая, она разрушила медленно и мучительно все мое тело, секунда за секундой. Теперь я чувствую смерть во всем, к чему бы я ни прикоснулся. Каждый шаг приближает меня к ней, каждое движение, каждый вздох ускоряет это проклятое шествие. Дышать, спать, пить, есть, работать, мечтать, — все, что мы делаем, приближает нас к смерти. В конце концов, жить — это значит умирать.

— О! Вы узнаете все это! — продолжал он. — Если вы только подумаете четверть часа, вы поверите этому... Чего вы ожидаете? Любви? Еще несколько поцелуев, и вы потеряете способность ею наслаждаться... Ну, а кроме того, что? Деньги? Для чего? Покупать женщин? Завидная доля! Обжедаться, жиреть и кричать ночи напролет от припадков подагры... Еще что? Слава? К чему она? Если не является в виде любви? Ну, а потом что? В конце концов, всегда смерть. Я вижу ее теперь часто так близко, что мне хочется протянуть руку и спугнуть ее. Она царит повсеместно на земле, наполняет пространство... Я открываю ее повсюду. Маленькие животные, раздавленные посреди дороги, падающие листья, седой волос в бороде друга, — все это надрывает мне душу воплем: «Вот она!» Она отравляет мне все, что я делаю, все, что я вижу, все, что я ем и пью, все, что люблю, — лунный свет, солнечный восход, необъятное море, прекрасные реки, дивные летние вечера, когда так легко дышится!

Он шел медленно, немного запыхавшись, точно говоря сам с собою, казалось, позабыв, что его слушают. Начал снова:

— И никогда ни одно существо не возвращается на землю... Сохраняют снимки, изображения, посредством которых можно воспроизвести предметы, но мое тело, мое лицо, мои мысли, мои желания никогда не возродятся вновь. И в то же время появятся миллионы, миллиарды существ, у которых на нескольких квадратных сантиметрах будут так же расположены нос, глаза, лоб, щеки, рот, у которых будет такая же душа, как у меня, но «я» не вернусь, и ничто из моего существа не появится вновь в этих бесчисленных и разнообразных творениях, бесконечно различных и похожих друг на друга. К чему привязываться? К кому обратиться вопль отчаяния? Во что верить? Все религии нелепы — с их наивною моралью и эгоистическими, идиотскими обещаниями. Одна только смерть несомненна.

Он остановился, взял Дюруа за кончики отворотов его пальто и сказал с расстановкой:

— Подумайте об этом, молодой человек, — думайте в течение дней, месяцев, лет, и жизнь представится вам совсем с другой стороны. Постарайтесь освободиться ото всего того, что вас связывает, сделайте сверхъестественное усилие отрешиться при жизни от вашего тела, ваших интересов, ваших мыслей и всего человеческого, чтобы обратить внимание на другое, и вы поймете, как мало значения имеют распри романтиков и натуралистов и обсуждение бюджета...

Он пошел более быстрым шагом.

— Вы также узнаете ужас безнадежности. Вы будете биться, утопающий, погибающий в волнах сомнений. Вы будете кричать во все стороны: «Помогите!» — но никто вам не ответит. Вы будете протягивать руки, будете молить о помощи, о любви, об утешении — но никто не придет. Почему суждено нам так страдать? Потому что мы являемся на свет по законам материи, а не абстракции; но благодаря прогрессу мысли образовалось несоответствие между требованиями нашего возросшего духа и подвижными условиями нашей жизни. Посмотрите на людей средних: если только на них не обрушатся большие несчастья, они чувствуют себя удовлетворенными, не страдая мировой скорбью. Животные также не страдают ею.

Он снова остановился, подумал несколько секунд, потом с усталым и покорным видом проговорил:

— Я — погибшее существо. У меня нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни детей, ни Бога.

И прибавил через мгновение:

— Одни только мои стихи.

Потом, подняв голову к небу, где сверкала бледная луна, продекламировал:

Ищу разгадки этой туманной тайны

В черном и пустынном небе, где витает бледное светило.

Они дошли до моста Согласия, в молчании перешли его, потом обогнули дворец Бурбонов. Норбер де Варен снова заговорил:

— Женитесь, мой друг, вы не знаете, что значит жить одному в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь ужасную тоску; одиночество дома, вечером, близ очага... в эти часы мне кажется, что я совершенно один на земле, окруженный неведомыми опасностями, неизвестными и ужасными вещами; и перегородка, отделяющая меня от соседа, которого я не знаю, отдаляет его от меня так же, как от звезд, видных из моего окна. Меня охватывает нервная дрожь, ужас и страх, и безмолвие стен приводит меня в отчаяние. Так бесконечно, так печально безмолвие комнаты, в которой живешь один. Это безмолвие угнетает не только тело, но и душу, и каждый шорох, каждый скрип мебели заставляет содрогаться, потому что не ожидаешь никакого звука в этом мрачном жилище.

Он помолчал еще немного, потом прибавил:

— Под старость все-таки хорошо иметь детей!

Они дошли до середины Бурбонской улицы. Поэт остановился перед высоким домом, позвонил, пожал руку Дюруа и сказал ему:

— Позабудьте всю эту старческую брехню, молодой человек, и живите сообразно вашему возрасту; до свидания!

И он исчез в темном проходе.

Дюруа продолжал свой путь с тяжелым сердцем. Ему казалось, что перед ним открылась пропасть, наполненная костями, в которую неминуемо придется и ему когда-нибудь полететь! Он прошептал:

— Черт возьми, должно быть, ему не очень-то весело живется. Я бы не взял кресла первого ряда, чтобы присутствовать на показе его мыслей, черт бы его побрал!

Остановившись, чтобы дать пройти надушенной даме, выходящей из кареты в подъезда дома, он жадно вдохнул аромат вербены и ириса, пронесшийся в воздухе. И вдруг он затрепетал от радости и ожидания; и воспоминание о госпоже де Марель, которую он увидит завтра, охватило его всецело.

Все улыбалось ему — жизнь посылала ему нежные приветствия. Как хорошо, когда сбываются надежды!

Он заснул, опьяненный радостью, и рано встал, чтобы перед свиданием пройти по авеню Булонского леса.

Ветер переменился, погода за ночь разгулялась: воздух был теплый, грело апрельское солнце. Завсегдатаи Булонского леса вышли на прогулку, соблазненные ясным и мягким днем.

Дюруа медленно шел, впивая легкий, сладостный воздух весны... Он прошел Триумфальную арку и пошел по большой аллее, по стороне, противоположной той, где катались верхом. Он смотрел на скакавших и галопировавших мужчин и женщин, известных богачей, но теперь он им не завидовал. Он знал их почти всех по именам, знал сумму их состояний и скрытую сторону их жизни, так как его профессия сделала из него нечто вроде календаря знаменитостей и скандальных происшествий.

Проезжали амазонки, стройные, точно закованные в темное сукно, с высокомерным и неприступным видом, свойственным многим женщинам на лошади; Дюруа забавлялся, произнося вполголоса, как читают в церквях



молитвы, имена, титулы и качества любовников, которых они имели или которых им приписывали; иногда вместо того, чтобы сказать «Барон де Танкле, принц де ла Тур-Энгера», он бормотал: «Остров Лесбос, Луиза Мишо из Водевиля, Роза Маркетен из Оперы».

Эта игра очень его забавляла, как если бы он открыл, что под внешностью аскета скрывается бесконечное бесстыдство, и это радовало, утешало и ободряло его.

Потом он сказал вслух:

— Куча лицемеров!

И стал искать глазами наездников, о которых слышал самые скандальные истории.

Он увидел многих подозреваемых в шулерстве в клубах, для которых это служило единственным источником, единственно надежным источником доходов.

Другие, тоже известные, жили исключительно на доходы своих жен, что было всем известно; другие, как говорили, на доходы своих любовниц. Многие платили свои долги (дело похвальное), но никто никогда не узнал, откуда явились эти деньги (подозрительный секрет). Он увидел финансовых дельцов, огромное состояние которых имело своим источником происхождения воровство, но которых принимали повсюду в самых знатных домах, затем людей, пользовавшихся таким почетом, что мелкие буржуа снимали шапки при встрече с ними, но наглые спекуляции которых в больших национальных предприятиях не составляли тайны для тех, кто знал подоплеку света.

Все они имели высокомерный вид, наглый взгляд, презрительную улыбку, — те, которые носили бакенбарды, и те, у которых были одни усы.

Дюруа продолжал смеяться, повторяя:

— Да, уж нечего сказать, шайка мерзавцев, шайка проходимцев!

Проехала открытая коляска, грациозная, низенькая, запряженная двумя белыми пони, с развевающимися гривами и хвостами, управляемая маленькой блондинкой — известной куртизанкой, позади которой сидели два грума¹. Дюруа остановился; ему захотелось поклониться, приветствовать эту жрицу любви, нагло выставившую напоказ в часы гулянья ханжей-аристократов безумную роскошь, заработанную ею наложничеством. Быть может, он смутно почувствовал, что между ними существует некоторое сродство, некоторая природная связь, что они принадлежат к одной породе, имеют одну душу и что его триумфы будут так же циничны и показны.

Назад он шел медленнее, чувствовал себя удовлетворенным, и пришел немного раньше назначенного времени к своей бывшей любовнице.

Она приняла его с протянутыми губами, будто между ними не произошло никакой ссоры, и даже позабыла через несколько секунд благоразумную осторожность, которую она соблюдала дома относительно ласк...

¹ *Грум* — слуга, сопровождающий всадника верхом или едущий на задке экипажа (примеч. ред.).

Потом она сказала, целуя завитые кончики его усов:

— Ты не знаешь, какое у меня огорчение, мой милый? Я рассчитывала на целый медовый месяц, и вот, вдруг муж мой свалился мне на шею на шесть недель: взял отпуск. Но я не хочу оставаться все эти шесть недель без тебя, особенно после нашей маленькой размолвки, и вот что я придумала. Ты придешь к нам обедать в понедельник, я ему уже говорила о тебе. Я познакомлю тебя с ним.

Дюруа оставался несколько секунд в нерешительности; ему еще никогда не случалось встречаться лицом к лицу с человеком, женой которого он обладал. Он боялся, чтобы его что-нибудь не выдало, — взгляд, слово, что-нибудь в этом роде.

Он пробормотал:

— Нет, я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем.

Она настаивала, очень удивленная, стоя перед ним и делая большие глаза.

— Но почему? Что за чудачество? Ведь это самая обыкновенная вещь! Я не думала, что ты такой дурак!

Он обиделся:

— Ну ладно, я приду обедать в понедельник.

Она прибавила:

— Чтобы не возбудить подозрений, я приглашу Форестье, хотя я терпеть не могу принимать у себя гостей.

Вплоть до понедельника Дюруа совсем не думал о предстоящем свидании; и, уже подымаясь по лестнице к госпоже де Марель, он почувствовал странное беспокойство, не потому, что ему было неловко пожать руку мужу, — есть его хлеб, пить его вино; но он смутно боялся чего-то, сам не зная чего...

Войдя в салон, он по обыкновению стал ожидать... Затем дверь открылась, и он увидел высокого седобородого мужчину почтенной и корректной наружности, с орденом в петличке; он подошел к нему и изысканно вежливо сказал:

— Моя жена много мне говорила о вас, ме-сье, и я очень рад с вами познакомиться.

Дюруа пошел ему навстречу, стараясь придать своему лицу выражение чрезвычайной сердечности; тот пожал ему руку с преувеличенной выразительностью. Потом они сели и не знали, о чем говорить.

Господин де Марель подбросил в камин полено и спросил:

— Вы уже давно занимаетесь журналистикой?



Дюруа отвечал:

— Всего лишь несколько месяцев.

— А! Вы быстро сделали карьеру...

— Да, довольно быстро.

И он принялся говорить совершенно не думая, шаблонными, общими местами, как это часто бывает между людьми совершенно не знакомыми. Теперь он успокоился и начинал находить положение довольно забавным. Смотрел на серьезное и важное лицо господина де Мареля, чувствуя непреодолимое желание расхохотаться, и думал: «Я тебе наставляю рога, старикан, я тебе наставляю рога». И его охватило тайное злорадство карманника, которого не удалось поймать с поличным, — преступная восхитительная радость. Ему вдруг захотелось сделаться другом этого человека, добиться его доверия, заставить его рассказать все сокровенные тайны его жизни.

Госпожа де Марель вошла в комнату и, бросив на них улыбающийся и непроницаемый взгляд, подошла к Дюруа, который не посмел в присутствии мужа поцеловать ей руку, как он это всегда делал.

Она была весела и спокойна, как особа, привыкшая ко всему, находившая в своем откровенном цинизме эту встречу естественной и простой. Пришла Лорина и протянула с застенчивым видом свой лоб Жоржу, стесняясь в присутствии отца... Мать сказала ей:

— Что ж ты не называешь его сегодня «Милый друг»?

Девочка покраснела, как если бы позволили относительно нее большую нескромность, разоблачили, сняли покровы с сокровища ее души...

Когда приехали Форестье, все ужаснулись виду Шарля. Он страшно похудел и побледнел за одну неделю и кашлял, не переставая. Однако он сообщил, что они в будущий четверг едут в Канны, по настоящему требованию врача.

Они рано ушли домой, и Дюруа сказал, покачивая головой:

— Я думаю, что он протянет еще недолго, — не доживет до старости.

Госпожа де Марель подтвердила спокойным тоном:

— О, — это погибший человек! Вот кому посчастливилось найти жену — так это ему.

Дюруа спросил:

— Она ему много помогает?

— Можно сказать, что она делает все. Следит за всем, знает всех, делая вид, что ни с кем не поддерживает знакомства; добывается всего, чего хочет! О! Это тонкая штучка и интриганка, каких мало. Настоящее сокровище для человека, который хочет сделать себе карьеру.

Дюруа спросил:

— Она, конечно, скоро найдет себе другого мужа?

Госпожа де Марель ответила:

— Да, я бы не удивилась, если бы узнала, что она имеет в виду кого-нибудь... Какого-нибудь депутата... Если только... не встретятся большие моральные... препятствия... Впрочем, я ничего не знаю.

Господин де Марель пробормотал с раздражением:

— Ты всегда подозреваешь в людях такие вещи, которые мне не нравятся. Не будем вмешиваться в чужие дела. Пусть каждый поступает по своей совести. Хорошо было бы, если бы все люди руководствовались этим правилом.

Дюруа ушел с беспокойным сердцем и смутными мыслями в голове.

На следующий день он отправился к Форестье и нашел их за укладкою... Шарль лежал на диване, преувеличенно тяжело дыша, и повторял:

— Уже месяц, как я должен был бы уехать...

Потом он дал Дюруа целый ряд инструкций относительно газеты, хотя все уже было улажено и решено с господином Вальтером.

Когда Жорж уходил, он энергично пожал руку приятелю:

— Ну, дружище, до скорого свидания!

Госпожа Форестье проводила его до двери. Он сказал ей:

— Вы не забыли нашего договора? Мы ведь друзья и союзники, не правда ли? Значит, если я вам понадоблюсь для чего бы то ни было, не стесняйтесь. Телеграмма или письмо — и я буду тотчас к вашим услугам.

Она прошептала:

— Благодарю вас, я не забуду.

И ее взгляд говорил тоже: «Благодарю», но еще с большею нежностью.

Спускаясь с лестницы, Дюруа встретил медленно поднимавшегося господина де Водрека, которого он уже раз встретил у нее. У него был опечаленный вид, быть может, вследствие этого отъезда?

Желая показаться светским человеком, журналист предупредительно поклонился. Тот ответил вежливо, но слегка свысока.

Супруги Форестье уехали в четверг вечером.





VII

Благодаря отъезду Шарля положение Дюруа в редакции «Французской жизни» значительно улучшилось. Он подписался под несколькими передовицами и под хроникой, ввиду желания редактора, чтобы каждый автор нес ответственность за свои рукописи. Ему приходилось участвовать в полемиках и выходить из них победителем. Его продолжительное сношение с государственными лицами мало-помалу приготовило его к роли ловкого и проницательного сотрудника политического отдела.

На горизонте его жизни было одно только облачко. Одна воинствующая газетка беспрестанно нападала на него, атакуя в его лице заведующего хроникой «Французской жизни», креатуру господина Вальтера, как называл его анонимный сотрудник листка, называющегося «Перо»¹. Каждый день в ней печатались клеветы, язвительные заметки и всякого рода инсинуации.

Жак Риваль сказал однажды Дюруа:

— Вы слишком терпеливы.

Тот смущенно ответил:

— Что делать! Тут нет прямого нападения.

Однажды, когда он входил в залу редакции, Буаренар подал ему номер «Пера».

— Опять неприятная заметка по вашему адресу.

— Относительно чего?

— Пустяки. По поводу ареста госпожи Обер агентом полиции нравов.

Жорж взял поданную ему газету и прочитал статью, озаглавленную «Дюруа забавляется»²:

¹ Название газеты вымышлено Мопассаном; известный журнал «Перо» начал выходить лишь спустя четыре года после публикации романа (*примеч. ред.*).

² «Дюруа забавляется» (фр. «*Duroy s'amuse*») — игра слов, основанная на созвучии с названием драмы Виктора Гюго «Король забавляется» («*Le roi s'amuse*») (*примеч. ред.*).

«Знаменитый репортер „Французской жизни“ объявил нам сегодня, что госпожа Обер, об аресте которой агентом гнусной полиции нравов мы сообщали, существует только в нашем воображении. Но мы узнали, что эта особа живет на улице Экюрей, № 18, на Монмартре. Вообще, мы прекрасно понимаем, какой интерес или какие интересы заставляют агентов вальтеровской шайки защищать агентов префекта полиции, милостиво относящихся к их коммерческим проделкам. Что же касается вышеупомянутого репортера, то он лучше бы сделал, если бы сообщал нам те прекрасные сенсационные новости, тайной которых он владеет, известия о случаях смерти, опровергаемые на другой день, о войнах, которых не было, о важных словах государей, не произносимых ими, или, наконец, все сведения, касающиеся доходов Вальтера, или даже маленькие пикантности о вечерах у женщин, пользующихся успехом, или о превосходных качествах некоторых продуктов, доставляющих немалый доход иным из наших собратьев».

Молодой человек был скорее удивлен, чем раздражен, понимая, что под этим кроется нечто для него неприятное.

Буаренар продолжал:

— Кто доставил вам эти сведения?

Дюруа тщетно старался припомнить.

— Сен-Потен! — воскликнул он вдруг.

Потом снова перечитал статью «Пера» и покраснел, возмущенный обвинением в продажности.

— Значит, они подозревают, что мне платят за...

Буаренар прервал его:

— Да, черт возьми! Это очень неприятно для вас. Патрон серьезно относится к таким вещам. В хронике это может случаться так часто...

Как раз в это время вошел Сен-Потен. Дюруа подбежал к нему:

— Вы читали заметку в «Пере»?

— Да, и я только что был у госпожи Обер. Она действительно существует, но не была арестована. Этот слух не имеет никакого основания.

Тогда Дюруа бросился к патрону, встретившему его с некоторой холодностью и недоверием. Выслушав, в чем дело, господин Вальтер ответил:

— Поезжайте сами к этой даме и напишите такое опровержение, чтобы вас оставили в покое с этой историей. Я говорю о последствиях. Это крайне неприятно для газеты, для меня и для вас. Журналист, как жена Цезаря, должен быть вне всяких подозрений.

Дюруа в сопровождении Сен-Потена сел в фиакр и крикнул кучеру:

— Восемнадцать, улица Экюрей, Монмартр!

Они взобрались на шестой этаж огромного дома. Им отворила старуха в шерстяной кофте.

— Чего вам еще нужно? — сказала она, увидев Сен-Потена.

Сен-Потен ответил:

— Я привел к вам инспектора полиции, очень желающего расспросить вас о вашем деле.



Она ввела их, говоря:

— После вас приходило еще двое из какой-то газеты. — Обернувшись к Дюруа: — Это вы, месье, желаете узнать, в чем дело?

— Да. Правда ли, что вы были арестованы агентом полиции нравов?

Она всплеснула руками:

— Никогда в жизни, мой добрый барин, никогда в жизни! Вот в чем дело. Мясник, у которого я покупаю, продает свежее мясо, но зато постоянно обвешивает. Я часто это замечала, но ничего не говорила. Недавно я спросила два фунта котлет, так как я ждала к обеду дочь и зятя. И вот я вижу, что мне вешают кости от остатков, правда, котлетных, но не от моих. Я могла бы приготовить из них

рагу, но, если я покупаю котлеты, я не желаю пользоваться чужими остатками. Я отказалась взять. Тогда он обозвал меня старой крысой, а я его — старым мошенником. Дальше — больше, мы так сцепились, что собрали перед лавкой больше сотни прохожих. Они так и покатывались со смеху. Наконец, подошел полицейский и предложил нам кончить наше объяснение у комиссара. Мы пошли туда, а потом нас отпустили. С тех пор я покупаю мясо в другом месте и никогда не прохожу мимо этой лавки во избежание скандала.

Она замолчала. Дюруа спросил:

— Это все?

— Больше ровнехонько ничего не было, милый месье.

Она предложила ему рюмку наливки, от которой он отказался. Старуха стала настаивать, чтобы в отчете было упомянуто о плутовстве мясника.

Вернувшись в редакцию, Дюруа написал ответ.

«Писака из „Пера“, вытащив у себя перо, захотел втянуть меня в перепалку из-за одной старухи, будто бы арестованной агентом полиции нравов. Я опровергаю этот факт. Я сам видел госпожу Обер, которой приблизительно лет шестьдесят. Она подробно рассказала мне о своей ссоре с мясником, обвесившим ее, когда она покупала котлеты. Ссора эта закончилась объяснением у комиссара.

Вот и вся история.

Что касается других инсинуаций сотрудника „Пера“, я презираю их. Кроме того, не отвечают на подобные вещи, если их автор прячется под маской.

Жорж Дюруа».

Господин Вальтер и Жак Риваль одобрили эту заметку. Было решено, что она появится в тот же день после хроники.

Дюруа вернулся к себе, немного взволнованный и обеспокоенный. Что ему ответит его противник? Кто он такой? Почему он так грубо его преследует?

Зная о скандальных столкновениях между журналистами, можно было думать, что эта история кончится плохо.

Он провел беспокойную ночь.

Перечитав на другой день свою заметку, напечатанную в газете, он нашел ее более резкой, чем она показалась ему, когда он писал ее. Он нашел, что можно было смягчить некоторые выражения.

Весь день он был тревожно настроен и опять спал плохо. Встал очень рано, чтобы поскорее купить номер «Пера», где должен был появиться ответ.

Было холодно. Сильно морозило. Застывшие ручейки вытягивались вдоль тротуаров ледяными лентами.

Газеты еще не продавались, и Дюруа припомнил тот день, когда была напечатана его первая статья — «Воспоминания африканского охотника». Его руки и ноги коченели, причиняя ему боль, особенно в пальцах. Он принялся бегать вокруг стеклянного киоска, сквозь маленькое оконце которого виднелся только нос и красные щеки продавщицы, сидевшей на корточках возле грелки.

Наконец посыльный передал в окошечко пакет газет, и почтенная женщина протянула Дюруа развернутый номер «Пера».

Просматривая его, он стал искать свое имя и сначала не находил. И уже было вздохнул с облегчением, когда увидел заметку, вставленную между двух линеек:

«Господин Дюруа из „Французской жизни“ написал опровержение и, опровергая, лжет. Он сознается, однако, что госпожа Обер существует и агент водил ее в полицию. Остается только прибавить одно слово: „нравов“ после слова „агент“ — и этим все было бы сказано.

Но совесть некоторых журналистов на одном уровне с их талантом.

И я подписываюсь: *Луи Лангрмон*».

Сердце Жоржа усиленно забилося. Он вернулся домой, чтобы одеться, не отдавая себе ни в чем отчета. Его оскорбили и притом так, что никакое колебание невозможно. Почему? Из-за каких-то пустяков. Из-за старухи, поругавшейся с мясником.

Хотя было только восемь часов утра, он наскоро оделся и отправился к господину Вальтеру. Господин Вальтер уже встал и читал «Перо».

— Отступать нельзя, — торжественно сказал он вошедшему Дюруа.

Молодой человек ничего не ответил. Издатель продолжал:

— Идите к Ривалю; он обо всем позаботится.

Дюруа пробормотал какие-то бессвязные слова и отправился к хроникеру. Тот еще спал и, услышав звонок, вскочил с постели. Прочитав газету:

— Черт возьми! Это невозможно. Кого вы возьмете другим секундантом?

— Я еще не знаю.

— Буаренара? Хотите?

— Ничего не имею против.

— Вы хорошо владеете шпагой?

— Я и в руке не умею ее держать.

— Черт возьми! Умеете стрелять?

— Немного.

— Прекрасно. Идите и поупражняйтесь, пока я все оборудую. Подождите меня минутку.

Он прошел в уборную и потом снова появился, вымытый, побритый, корректный.

— Идем, — оказал он.

Он жил в нижнем этаже маленького отеля. Они спустились в обширный погреб с закупоренными окошечками, превращенный в залу для стрельбы и фехтования.

Зажегши ряд газовых рожков, тянувшихся до глубины второго подвала, где возвышался железный манекен, окрашенный в красный и голубой цвета, он положил на стол две пары пистолетов новой системы, заряжающихся с казенной части, и начал командовать отрывистым голосом, словно они были на месте поединка:

— Готово? Пали! Раз! Два! Три!

Дюруа, совсем растерявшись, повиновался, поднимал руки, целился, стрелял. В ранней юности он много упражнялся в стрельбе, убивая на дворе птиц из старого отцовского пистолета. Он часто попадал прямо в живот манекена.

Жак Риваль сказал одобрительно:

— Хорошо, очень хорошо, очень хорошо, дело пойдет на лад. — Покидая его, он сказал: — Стреляйте до полудня. Вот патроны. Не жалейте истреблять их. Я зайду за вами, чтобы пойти завтракать, и сообщу вам новости. — Он вышел.

Оставшись один, Дюруа пострелял немного, потом сел и задумался. Как все это было глупо! Разве от этого дело менялось? Разве после дуэли мошенник перестает быть мошенником? Что выигрывает честный человек, подставляя себя под пулю мерзавца?

Раздумывая о мрачных сторонах жизни, он припоминал рассуждения Норбера де Варена о скудности человеческого ума, убожестве идей и стремлений и пошлости морали. Он громко воскликнул:

— Черт поberi! Как он прав!

Ему захотелось пить. Услышав за собой шум стекающих капель, он оглянулся и, увидев аппарат для душа, подошел к нему, чтобы напиться из крана. Потом он снова стал размышлять. В погребе было грустно, как в могиле. Глухой стук экипажей напоминал отдаленные раскаты грома. Который теперь час? Время здесь тянулось, как в темнице, где оно определяется и узнается лишь благодаря появлениям тюремщика, приносящего пищу.

Вдруг он услышал шаги и голоса. Вошел Риваль, сопровождаемый Буаренаром. Он сказал:

— Все улажено!

Дюруа подумал, что все дело кончится извинительным письмом. Его сердце радостно забило. Он пробормотал:

— А!.. Благодарю.

Хроникер продолжал:

— Этот Лангремон очень уступчив и принял все наши условия. Двадцать пять шагов и стрелять по команде, подняв пистолет; в этом случае прицел верный. Вот, Буаренар, смотрите, что я вам говорил!

Взяв оружие, он стал стрелять, доказывая, что, подняв пистолет, удобнее целиться.

Затем он сказал:

— Теперь пойдемте завтракать. Уже пора.

Они пошли в ближайший ресторан. Дюруа все время молчал.

Он ел, чтобы не подумали, что он трусит; потом отправился с Буаренаром в редакцию, где рассеянно и машинально исполнял свои обязанности. Он показался всем смельчаком.

Жак Риваль подошел к нему под вечер пожать руку. Они условились, что секунданты заснут за ним в ландо¹ в семь часов утра и направятся в лес Везине, где должна состояться дуэль.

Все это произошло помимо его воли, без его участия; его мнения не спрашивали, не интересовались — соглашается он или отказывается. Дело уладилось с невероятной быстротой; он был ошеломлен, испуган и не мог дать себе ясного отчета в том, что происходит. Он вернулся домой около девяти часов вечера, пообедав с Буаренаром, который из чувства преданности не отходил от него весь день.

Оставшись один, он в течение нескольких минут взволнованно ходил по комнате большими шагами. Он был очень расстроен и не мог ни о чем думать. У него была только одна мысль: «Завтра дуэль!..» Эта мысль не вызывала в нем ничего, кроме смутного непреодолимого волнения. Он был солдатом, он стрелял в арабов, без особенной, впрочем, опасности для себя, как если бы он на охоте стрелял в кабана.

В общем, он сделал то, что должен был сделать. Он показался таким, каким должен быть. О нем будут говорить, его одобрят, его будут восхвалять. Он сказал вслух, как говорят в минуты сильного потрясения:

— Человек — это зверь!

Он опять сел и погрузился в раздумье. Бросил на столик визитную карточку своего противника. Взял ее, хотя в течение дня перечитал ее раз двадцать: «Луи Лангремон, 176, Монмартрская улица». Больше ничего.

Он рассматривал сочетание букв, казавшихся ему таинственными, полными жуткого значения. «Луи Лангремон» — кто был этот человек? Какого он возраста? Какого роста? Какое у него лицо? Неужели не возмутительно, что всякий посторонний человек, незнакомец, может внезапно разбить вашу жизнь, беспричинно, под влиянием каприза, из-за старухи, поругавшейся с мясником?

¹ *Ландо* — легкая четырехместная повозка со складывающейся вперед и назад крышей, названная по месту изобретения германскому городу Ландау (*примеч. ред.*).

Он повторил еще раз: «Какая скотина!» Он сидел неподвижно, погруженный в задумчивость, не отрывая взгляда от визитной карточки. В нем зарождалась ненависть к этому клочку бумаги, смешанная с чувством странной боязни. Какая глупая история! Он взял валявшиеся возле него ножницы и проткнул ими напечатанное имя, как если бы он вонзил их в сердце невидимого противника.

Итак, он должен драться — драться на пистолетах! Почему он не выбрал шпаги? Он отделался бы незначительным уколом в руку, в то время как с пистолетом никогда нельзя быть уверенным в последствиях.

Он сказал:

— Нужно быть смельчаком!

Звук его голоса заставил его вздрогнуть. Он оглянулся. Почувствовал, что совсем расстроен. Выпил стакан воды и лег спать. Улегшись в постель, он потушил огонь и закрыл глаза. Быстро согрелся под одеялом, хотя в комнате было холодно, но заснуть не мог. Он ворочался, лежал минут пять на спине, потом лег на левый бок, потом повернулся на правый. Ему опять захотелось пить. Он встал, напился, и им овладела тревога: «Неужели я боюсь?» Почему его сердце яростно колотилось при малейшем шорохе в комнате? Когда часы стали бить, он привскочил в испуге, услышав легкий скрип пружины. Дыхание спиралось; он широко раскрыл рот.

Он стал философски рассуждать на тему: боится он или нет. Нет, он не мог бояться, потому что решил идти до конца, бесповоротно решил драться и при этом выказать мужество. Но, чувствуя себя настолько расстроенным, он спросил себя: «Можно ли испытывать страх против воли?» Его охватывала неуверенность, тревога, боязнь. Если он подпадет влиянию силы, более могущественной, более неотразимой, чем его собственная воля, что тогда случится? Да, что может случиться?

Конечно, он пойдет на место поединка, он этого хочет. Но если он испугается? Потеряет сознание? Он думал о своем положении, своей репутации, своем будущем.

Он почувствовал странное желание встать и поглядеть на себя в зеркало. Зажег свечу. Взглянув на свое лицо, отразившееся в полированном стекле, он еле узнал себя; ему показалось, что он никогда не видел себя таким. Его глаза стали огромными, и он был бледен, очень бледен.

И, словно пуля, его пронзила мысль: «Завтра в это время я, может быть, буду мертв». Сердце опять заколотилось в его груди.

Он подошел к постели и явственно увидел на ней самого себя, лежащего на спине. У призрака было мертвенное лицо и прозрачная бледность рук, как у трупа. Охваченный ужасом, он подошел к окну, раскрыл его и стал смотреть на улицу. Ледяной холод заставил его содрогнуться и отойти от окна.

Ему пришло в голову затопить камин. Он медленно принялся за это, не оборачиваясь. Когда он прикасался к чему-нибудь, по его рукам пробегала нервная дрожь. В голове мутилось; мысли кружились, оборванные, ускользающие, мучительные. Он шатался, как пьяный.

Беспреданно он спрашивал:

— Что мне делать? Что со мной будет?

Снова стал ходить по комнате, машинально повторяя:

— Нужно быть энергичным, очень энергичным.

Потом он сказал:

— На всякий случай нужно написать родителям.

Он опять сел, взял листок почтовой бумаги и написал: «Милый папа, милая мама»... Потом он нашел это обращение слишком фамильярным в таких трагических обстоятельствах. Он разорвал листок и написал на другом: «Милый отец, милая мать, я буду драться на дуэли этим утром, и так как может случиться...»

Он не осмелился продолжать. Он был теперь совсем подавлен: он должен драться на дуэли. Это неизбежно. Что происходит в нем? Он хочет драться: его решение непоколебимо. И в то же время ему казалось, что, несмотря на это, у него не хватит сил даже для того, чтобы добраться до места поединка.

От времени до времени у него начинали стучать зубы, и он спрашивал себя: «Дрался ли уже мой противник на дуэли? Хорошо ли он стреляет? Пользуется ли он известностью? Занимает ли он привилегированное положение?» Он никогда не слышал его имени. Но если бы этот человек не владел искусством стрельбы, он не согласился бы так беспечно на опасную игру поединка на пистолетах.

Дюруа представлял себе сцену дуэли, себя и своего противника у барьера. Он неумолимо думал о мельчайших деталях и неожиданно увидел глубокое черное отверстие дула, из которого вылетит пуля.

Тогда им овладело ужасающее отчаянье. Он судорожно задрожал всем телом. Сжимал зубы, чтобы не кричать, испытывая безумное желание кататься по полу, рвать и кусать все, что ни попадется под руку. Увидев на камине стакан, он вспомнил, что у него в шкапу спрятан литр водки; после военной службы он сохранил привычку по утрам *замаривать червячка*.

Схватив бутылку, он жадно стал пить из горлышка. Он поставил ее только тогда, когда у него захватило дыхание. Опорожнил ее на треть. Теплота, подобная пламени, загорелась в его желудке, разлилась по всему телу и укрепила нервы, притупив их.

Он подумал: «У меня есть средство». Ему стало слишком жарко, он расстворил окно.

День зарождался, ясный и холодный. Звезды, казалось, умирали в глубине светившихся небес. В железнодорожных траншеях бледнели зеленые, красные и белые сигналы. Локомотивы начинали со свистом вылетать из депо, направляясь каждый к своему поезду. Другие издали бросали в пространство резкие призывы, пробуждающие крики, как петухи в деревне.

Дюруа подумал: «Я, может быть, больше не увижу ничего этого». Чувствуя себя снова готовым раскиснуть, он грубо оборвал свою мысль: «Нужно ни о чем не думать, пока не наступит час поединка. Это единственное средство, чтобы быть смелым».

Он принялся за свой туалет. Бреясь, он еще раз почувствовал себя подавленным при мысли, что он, может быть, в последний раз видит свое лицо.

Он выпил глоток водки и оделся. Последний час казался бесконечным. Он ходил взад и вперед по комнате, стараясь привести себя в окаменелое состояние. Когда постучали в дверь, он пошатнулся и чуть не упал на пол, до такой степени волнение было сильно. Это были секунданты.

— Уже!

Они были в шубах. Риваль объявил, пожав ему руку:

— Холодище, как в Сибири! — Потом он спросил: — Ну, как?

— Очень хорошо.

— Вы спокойны?

— Очень спокоен.

— Все пойдет отлично. Вы что-нибудь уже ели и пили?

— Да. Мне больше ничего не нужно.

Буаренар ввиду торжественности события нацепил желто-зеленый иностранный орден, который Дюруа никогда у него не видел.

Они спустились. В ландо их ждал какой-то господин. Риваль представил его:

— Доктор Ле Брюман.

Дюруа пожал ему руку, бормоча:

— Благодарю вас.

Он хотел сесть на переднее сиденье и опустился на что-то твердое. Привскочил. Это был ящик с пистолетами.

Риваль повторял:

— Дуэлист рядом с доктором!

Дюруа наконец понял и уселся возле доктора. Секунданты тоже сели. Экипаж тронулся. Кучер знал, куда ехать.

Ящик с пистолетами стеснял всех, особенно Дюруа, который предпочел бы не видеть его. Попробовали поместить его сзади, он толкал в бока. Положили его между Ривалем и Буаренаром; он поминутно падал. Тогда его поставили в ноги.



Разговор шел вяло, хотя доктор рассказывал анекдоты. Отвечал только Риваль. Дюруа хотелось бы выказать хладнокровие, но он боялся потерять нить своих мыслей и обнаружить свое волнение. Его терзал мучительный страх, что вот-вот он задрожит.

Экипаж выехал за город. Время приближалось к девяти часам. Было морозное зимнее утро, когда земля блестит, твердая, как кристалл. Деревья покрылись изморозью, словно каплями ледяного пота. Земля звенела под копытами.

В сухом воздухе отчетливо разносились малейшие звуки. Голубое небо блестело, как зеркало. Солнце сверкало, тоже холодное, заливая замерзшую землю негреющими лучами.

Риваль сказал Дюруа:

— Я взял пистолеты у Гастин-Ренета¹. Он их сам заряжал. Ящик запечатан. Мы выберем наудачу, присоединив к ним пистолеты нашего противника.

Дюруа ответил машинально:

— Благодарю вас.

Риваль сообщал ему всевозможные наставления, желая, чтоб он держал себя безукоризненно. Он повторял каждый пункт по несколько раз:

— Когда спросят: «Готовы, господа?», вы ответите громко: «Да!» Когда скамандуют: «Пли!», вы быстро поднимете руку и выстрелите прежде, чем скажут «Три».

Дюруа повторял про себя: «Когда скамандуют „Пли“, я подниму руку, — когда скамандуют „Пли“, я протяну руку»...

Он заучивал это, как дети учат уроки, чтоб лучше запомнить. «Когда скамандуют „Пли“, я подниму руку»...

Ландо въехало в лес, повернуло направо в аллею, потом опять направо. Риваль стремительно отворил дверцу и крикнул кучеру:

— По этой дорожке.

Экипаж покатился между двух рощ с трепетавшими мертвыми листьями, окаймленными инеем.

Дюруа продолжал бормотать:

— Когда скамандуют «Пли», я подниму руку...

И он подумал, что все отлично уладилось бы, если бы экипаж опрокинулся. Если бы это случилось, какое счастье! Если бы он сломал ногу!..

Но тут он увидел на опушке другой экипаж и четырех мужчин, топтавшихся на одном месте, чтоб согреть ноги. Он полуоткрыл рот, потому что ему не хватало воздуха.

Сперва сошли секунданты, потом доктор и Дюруа. Риваль, держа ящик с пистолетами, направился в сопровождении Буаренара к ожидавшей их группе людей. Дюруа видел, как они церемонно раскланялись. Потом они пошли все вместе вдоль опушки, глядя то на землю, то на деревья, словно искали что-то упавшее или улетевшее. Потом они отсчитали шаги и с усилием воткнули палку в замерзшую почву. Потом собрались в кучу и начали кружиться, как играющие дети.

Доктор Ле Брюман спросил у Дюруа:

— Вы себя хорошо чувствуете? Вам ничего не нужно?

— Ничего, благодарю вас.

Ему казалось, что он сошел с ума, что он спит, что он грезит, что с ним происходит что-то сверхъестественное. Боялся он? Может быть. Он не знал. У него помутилось в глазах.

¹ *Gastinne-Renette* — оружейная фирма, основанная в 1793 г. (примеч. ред.).

Жак Риваль вернулся и шепнул с довольным видом:

— Все готово. Нам повезло с выбором пистолетов.

Это было совершенно безразлично для Дюруа.

С него сняли пальто. Он подчинился. Ощупали карманы сюртука, желая убедиться, что он не был защищен ни бумагами, ни портфелем.

Он повторил про себя, как молитву: «Когда скомандуют „Пли“, я подниму руку»...

Потом его повели к одной из палок, воткнутой в землю, и дали ему пистолет. Он заметил стоявшего против него толстого лысого человека в очках. Это был его противник. Он видел его очень явственно, но думал только об одном: «Когда скомандуют „Пли“, я подниму руку и выстрелю».

Среди глубокого молчания раздался голос, который, казалось, донесся издалека:

— Готовы, господа?

Жорж крикнул:

— Да!

Тогда тот же голос приказал:

— Пли!..

Он больше ничего не видел, не слышал, не давал себе ни в чем отчета. Он чувствовал только, что поднял руку, надавив изо всех сил на курок.

Он ничего не слышал. Но тотчас же увидел дымок возле отверстия дула своего пистолета. Его противник стоял, не изменив позы. Он увидел, что над его головой тоже взлетело белое облачко.

Они выстрелили оба. Дуэль была кончена.

Секунданты и доктор осматривали его, ощупывали, расстегнули его сюртук и тревожно спрашивали:

— Вы не ранены?

Он ответил рассеянно:

— Нет, я не думаю.

Лангрмон тоже не был ранен.

Жак Риваль пробормотал с довольным видом:

— Так всегда бывает с этими проклятыми пистолетами: или промахнутся, или убьют наповал. Скверное оружие!

Дюруа не двигался, парализованный изумлением и радостью: «Дуэль кончена!» У него должны были взять оружие, так как он все еще сжимал его в руке. Ему теперь казалось, что он сражался против всего света.



Дуэль кончена. Какое счастье! Объятый смелостью, он готов был вызвать кого угодно.

Секунданты поговорили немного о месте и часе свидания, во время которого им надлежало составить протокол. Потом снова сели в ландо. Кучер смеялся на козлах и погнал лошадей, щелкая бичом.

Они позавтракали вчетвером на бульваре, обсуждая совершившееся событие. Дюруа рассказывал о своих ощущениях:

— Я ничуть не боялся. Ведь вы это заметили?

Риваль ответил:

— Вы держались молодцом.

Когда протокол был составлен, его вручили Дюруа для напечатания в хронике. Он удивился, прочтя о двух пулях, которыми он обменивался с Лангремоном. Немножко обеспокоенный, он сказал Ривалю:

— Но ведь мы выпустили только по одной пуле.

Тот улыбнулся:

— Да, по одной... каждый по пуле... Это составит две пули.

Дюруа нашел это объяснение удовлетворительным и больше не настаивал.

Вальтер поцеловал его:

— Браво, браво, вы защитили знамя «Французской жизни!» Браво!

Вечером Жорж посетил главные редакции и самые блестящие кафе бульвара. Он два раза встретился со своим противником, тоже демонстрировавшим себя.

На другое утро, около одиннадцати часов, Дюруа получил «синюю бумажку»:

«Боже мой, как я испугалась! Приходи скорей на Константинопольскую улицу, целую тебя от всего сердца, мой возлюбленный! Какой ты смелый — я тебя обожаю.

Кло».

Он пошел на свидание. Она бросилась в его объятья, покрывая его поцелуями.

— О, мой милый, если б ты знал, как я волновалась, читая сегодняшние газеты. Расскажи мне все. Я хочу знать.

Он должен был описать ей происшествие с мельчайшими подробностями.

Она сказала:

— Какую ужасную ночь провел ты перед дуэлью!

— Ничего подобного. Я спокойно спал.

— Я бы не сомкнула глаз. И во время поединка, расскажи мне, как это произошло...

Он описал ей эту драматическую сцену:

— Когда мы сошлись лицом к лицу, в двадцати шагах, на расстоянии только в четыре раза большем, чем эта комната, Жак, спросив, готовы ли мы, скомандовал: «Пли!» Я немедленно поднял правую руку, вытянув ее по прямой линии. Но я сгнул, целясь в голову. У моего пистолета курок был тугой, а я привык к легкому спуску. Соппротивление курка отклонило выстрел в сторону.

Все равно она пролетела возле моего противника. Он тоже ловко стреляет, каналья! Его пуля слегка коснулась моего виска. Я ощутил сотрясение воздуха.

Она сидела у него на коленях, обняв его, словно желая разделить угрожающую ему опасность. Она бормотала:

— Бедняжка! Бедняжка!

Когда он кончил рассказывать, она произнесла:

— Я не могу без тебя жить! Я должна с тобой видаться, но раз мой муж в Париже, это сопряжено с неудобствами. По утрам я могла бы выбирать свободный часик и забежать поцеловать тебя, когда ты еще в постели. Но я ни за что не пойду в твой ужасный дом. Что же делать?

Его внезапно озарила блестящая мысль; он спросил:

— Сколько ты здесь платишь?

— Сто франков в месяц.

— Прекрасно, я найму эту квартиру и поселюсь в ней. Ввиду изменившихся обстоятельств мне все равно нужно менять квартиру.

Она подумала несколько минут, потом ответила:

— Нет, я не хочу.

Он удивился:

— Почему это?

— Потому что...

— Это не объяснение. Эта квартира очень подходящая для меня. Я здесь — и не уйду.

Она засмеялась.

— Но она ведь взята на мое имя.

Она не соглашалась:

— Нет, нет, я не хочу...

— Почему это?

Тогда она ласково прошептала:

— Потому что ты будешь приводить сюда женщин, а я не хочу.

Он возмутился.

— Как ты могла это подумать? Я тебе обещаю.

— Нет, ты их все-таки приведешь.

— Я тебе клянусь.

— Правда?

— Честное слово... Это гнездышко наше, только наше.

Она обняла его в приливе любви:

— Я согласна, мой милый. Но если ты меня обманешь хоть раз, хоть один только раз, между нами все будет кончено — навсегда.

Он дал клятву, выражая свое негодование. Было решено, что он переселит в тот же день. Она могла теперь заходить к нему всякий раз, как будет проходить мимо.

Потом она сказала:

— Во всяком случае, приходи в воскресенье обедать. Мой муж находит тебя очаровательным.

Он был польщен:

— Неужели?

— Да, ты завоевал его симпатии. Послушай, ты говорил, что провел детство в поместье. Правда?

— Да. Ну и что же?

— Ты немножко знаком, в таком случае, с сельским хозяйством?

— Да.

— Разговаривай с ним о садоводстве и урожаях: он очень это любит.

— Отлично. Постараюсь не забыть.

Она покинула его, осыпав страстными поцелуями; после этой дуэли ее любовь запылала еще жарче.

Дюруа размышлял, направляясь в редакцию: «Что за странное существо! Легкомысленная, как птичка! Никогда не знаешь, чего она хочет и что она любит! И какая смешная пара! Какой причудливый случай соединил этого старика с этой ветреницей? Что заставило этого педанта жениться на такой девчонке? Загадка... Кто знает? Может быть, любовь?»

Он заключил: «Во всяком случае, она — прелестная любовница. Я буду идиотом, если ее брошу».





VIII

Последствием дуэли для Дюруа было то, что он сделался одним из главных сотрудников «Французской жизни»; но так как он испытывал затруднения с поиском идей, то он стал специализироваться на высокопарных рассуждениях об упадке нравственности, ослаблении патриотизма, «анемии» чувства чести у французов. (Он придумал этот термин и очень этим гордился).

И когда госпожа де Марель со своим скептическим и насмешливым, чисто парижским умом посмеивалась над его рассуждениями, он отвечал улыбаясь: — Ба! Это мне создаст хорошую репутацию для будущего.

Он жил теперь на Константинопольской улице, куда перевез свою корзину, щетку, бритву и мыло, — в этом и состоял весь его переезд. Два или три раза в неделю молодая женщина приходила к нему, когда он еще был в постели, ментально раздевалась и скользила под одеяло, вся еще дрожа от наружного холода.

Дюруа, в свою очередь, обедал каждый четверг у них в доме; любезничал с мужем, беседовал с ним об агрономии; и так как он сам любил деревню, то они иногда так увлекались разговором вдвоем, что совершенно забывали о жене, дремавшей на диване.

Лорина также засыпала, то на коленях у отца, то на коленях Милого друга. По уходе журналиста господин де Марель всегда заявлял доктринерским тоном, который он пускал в ход по поводу всякого пустяка:

— Этот малый — приятный собеседник. У него очень развитой ум.

Февраль приближался к концу. Уже по утрам на улицах запахло фиалками от тележек продавщиц цветов.

Жизнь Дюруа потекла безоблачно.

Однажды вечером, вернувшись домой, он нашел письмо, подсунутое под дверь. Он посмотрел на штемпель и увидел: «Канн». Распечатав, он прочел:



«Канн. Вилла „Жоли“.

Дорогой друг, вы мне сказали, не правда ли, что я могу рассчитывать на вас во всем? Ну так вот, я обращаюсь к вам с огромной просьбой: прошу вас приехать, чтобы не оставить меня одну в последние минуты с умирающим Шарлем... Он, может быть, не проживет и этой недели; хотя еще и встает, но доктор меня предупредил...

У меня больше нет ни силы, ни мужества присутствовать при этой агонии день и ночь. И я с ужасом думаю о последних минутах, которые близятся...

Мне не к кому обратиться, кроме вас, с этой просьбой, так как у моего мужа нет никаких родных. Вы были его другом; он открыл вам двери редакции. Приезжайте, умоляю вас. Мне некого больше позвать.

Остаюсь верный и преданный ваш друг,

Мадлена Форестье».

Странное чувство охватило душу Жоржа; он точно почувствовал, как на него пахнуло свежим воздухом, как перед ним открылись новые перспективы... Он прошептал:

— Конечно, я поеду. Бедняга Шарль! Все-то мы под Богом ходим!

Патрон, которому он сообщил о письме молодой женщины, нехотя согласился на его отъезд, повторяя:

— Возвращайтесь поскорее, — вы нам необходимы.

Жорж Дюруа выехал в Канн на следующее утро со скорым семичасовым поездом, известив чету де Марель телеграммой.

На следующий день около четырех часов вечера он приехал. Посыльный проводил его к вилле «Жоли», расположенной на холме, в пихтовой роще, усеянной белыми домиками, тянущейся от Канна к заливу Жуан.

Домик был маленький, низенький, в итальянском стиле; он стоял на краю дороги, извивающейся посреди деревьев и открывающей на каждом повороте восхитительные виды.

Слуга, отворивший дверь, воскликнул:

— О! Месье, мадам вас ожидает с нетерпением.

Дюруа спросил:

— Как здоровье вашего хозяина?

— О, месье, неважно. Он недолго протянет...

Гостиная, в которую вошел молодой человек, была обита розовым кретоном с голубыми разводами. Большое широкое окно открывало вид на город и на море. Дюруа пробормотал:

— Черт возьми, шикарная дача. Откуда они достают такую уйму денег?

Шелест платья заставил его обернуться.

Госпожа Форестье протягивала ему обе руки:

— Как это мило, что вы приехали!

Вдруг она его поцеловала. Потом они посмотрели друг на друга...

Она слегка похудела, побледнела, но все же выглядела хорошо, даже, может быть, еще лучше от этих перемен... Прошептала:

— Он в ужасном настроении. Понимаете, он знает, что умирает, и терзает меня невероятно. Я ему сказала о вашем приезде... Но где же ваша корзина?

Дюруа ответил:

— Я ее оставил на вокзале, не зная, в каком отеле вы мне посоветуете остановиться, чтобы быть вблизи вас...

Она поколебалась, потом сказала:

— Вы остановитесь здесь, у нас. Ваша комната уже готова. Он может умереть с минуты на минуту, и, если это случится ночью, я буду одна. Я пошлю за вашим багажом.

Он поклонился:

— Я повинуюсь...

— Теперь пойдем к нему, — сказала она.

Он пошел за ней. Она отворила дверь в нижнем этаже, и Дюруа увидал возле окна, в кресле, закутанный в одеяла, мертвенно-бледный под багровыми лучами солнца труп, смотревший на него. Он едва мог его узнать; скорее догадался, что это был его приятель.

В комнате стояла жара и запах эфира, скипидара, — тяжелый, трудно определимый запах жилища чахоточного.

Форестье поднял руку медленно, с заметным усилием.

— Вот и ты, — сказал он, — приехал посмотреть, как я тут подыхаю... Благодарю тебя.

Дюруа попробовал пошутить:

— Присутствовать при твоей смерти — это не очень-то интересно, и я бы не поехал ради этого зрелища в Канн. Я приехал навестить тебя и немного отдохнуть.

Тот прошептал: «Садись», — и, опустив голову, как бы погрузился в безысходные думы.

Он дышал отрывисто, тяжело, выпуская от времени до времени короткие стоны, как бы для того, чтобы напомнить присутствующим, как он страдает.

Заметив, что он не хочет говорить, жена его облокотилась на подоконник, указывая на горизонт движением головы:

— Посмотрите! Разве не красиво?

Против них холм, усеянный виллами, спускался к городу, расположенному вдоль берега амфитеатром. Одно крыло его заканчивалось насыпью, где находилась старая часть города со старинной каланчой; другая упиралась в Круазет¹ против Леринских островов. Последние казались двумя зелеными пятнами на фоне совершенно лазоревой воды. Можно было принять их за два плавающих огромных листа — такими они казались сверху плоскими.

Вдали, на пылающем фоне неба, замыкая горизонт с другой стороны залива, возвышаясь над насыпью и над каланчой, вырисовывалась длинная цепь синеватых гор, образуя причудливую, очаровательную линию вершин, — то круглых, то остроконечных, то зазубренных; заканчивалась она большой пирамидальной шапкой, окунавшей свое подножие в самое море...

Госпожа Форестье указала:

— Это Эстерель.

Позади темных вершин пространство было окрашено пурпуром, кровавым и золотым, таким блестящим, что, казалось, невозможно было на него смотреть...

Дюруа невольно почувствовал величие догорающего дня.

Он прошептал, не находя более красноречивого эпитета для выражения восхищения:

— О! Это сногшибательно!

Форестье повернул голову к жене и попросил:

— Дай мне немного подышать воздухом.

Она отвечала:

— Берегись, уже поздно... Солнце садится, ты простудишься, а при твоём состоянии здоровья это вовсе не полезно.

Он сделал правой рукой слабое судорожное движение, как бы хотел ударить кулаком, прошептал со злобной гримасой умирающего, обнаружившей удобу его губ, щек и всего тела:

¹ Круазет — мыс, на который выходит одноименный бульвар (примеч. ред.).

— Я тебе говорю, что задыхаюсь... не все ли тебе равно — умру я днем раньше или днем позже, раз я уже приговорен...

Она распахнула окно вовсю.

Ветерок пахнул всем трем ласково в лицо — теплый, нежный, мягкий ветер, предвестник весны, напоенный благоуханием распускающихся кустов и опьяняющих цветов, среди которых преобладал сильный запах камеди¹ и острое благоухание эвкалиптов.

Форестье жадно вбирал воздух своим отрывистым, лихорадочным дыханием. Он вцепился ногтями в ручки своего кресла и сказал свистящим, злобным шепотом:

— Затвори окно... Мне это вредно. Лучше задохнуться в погребке...

Его жена медленно закрыла окно, потом стала смотреть вдаль, прислонившись лбом к стеклу.

Дюруа, чувствовавший себя не в своей тарелке, хотел было поболтать с больным, успокоить его.

Но он не мог придумать ничего утешительного... Пробормотал:

— Значит, тебе не лучше с тех пор, как ты здесь?

Тот пожал плечами, негодуя и нетерпеливо:

— Как видишь, — и снова опустил голову.

Дюруа продолжал:

— Черт возьми, здесь восхитительно сравнительно с Парижем. Там еще разгар зимы. Идет снег, град, дождь, и так темно, что нужно зажигать лампы с трех часов дня.

Форестье спросил:

— Что нового в редакции?

— Нового ничего. Пока пригласили на твое место маленького Лакрена из «Вольтера», но он не годится, слишком неопытен. Пора уж тебе возвращаться.

Больной пробормотал:

— Мне? Я теперь буду писать только под землей, в могиле...

Тема смерти ежеминутно возвращалась к нему по всякому поводу, звенела, точно удар колокола, в каждой его фразе, в каждой мысли...

Наступило долгое молчание, тягостное и глубокое. Плавающий закат медленно угасал; горы чернели на фоне красного темнеющего неба. Цветной луч, начало сумрака, сохранившего еще отблеск умирающего пламени, проник в комнату, озарил мебель, стены, обои, углы смешанными тонами чернил и пурпура. Зеркало на камине, в котором отражался горизонт, пылало, точно огромное кровавое пятно.

Госпожа Форестье не двигалась с места, продолжая стоять спиной к комнате, лицом к окну.

Форестье вдруг заговорил прерывающимся, задыхающимся, надрывающим душу голосом:

¹ Камедь — застывший клейкий сок из коры некоторых деревьев (*примеч. ред.*).

— Сколько раз я еще увижу закат?... Восемь... десять... пятнадцать... или двадцать... может — тридцать, но не более... у вас еще есть время, у вас... а мне — крышка... И все будет продолжаться, идти своим чередом после моей смерти, как будто бы я еще жив...

Он помолчал несколько минут, затем начал снова:

— Все, что я вижу, только напоминает мне, что я больше не увижу всего этого через несколько дней... Это ужасно... Не видеть больше ничего... Ничего... Из всего существующего... Вещицы, которые трогаешь... Стаканчики... Тарелки... Кровать, в которой так хорошо отдыхать... Экипажи... Как хорошо прокатиться в экипаже вечером... Как я все это любил...

Пальцы его рук нервно и быстро бегали по ручкам кресла, точно он играл на рояле. Когда он молчал, было еще тягостнее, чем когда он говорил; так все чувствовали, что он думает теперь о самом страшном.

И Дюруа вдруг вспомнил слова Норбера де Варена, сказанные несколько недель тому назад: «Я теперь вижу смерть так близко, что мне часто хочется отогнать ее движением руки... Я вижу ее повсюду... Маленькие животные, раздавленные посреди дороги, осыпающиеся листья, седой волос в бороде друга раздирают мне душу воплем: „Вот она!“». Тогда он этого не понимал; теперь, глядя на Форестье, он это понял, и его охватила неведомая, ужасная тоска, точно он видел ее на этом кресле, где задышался человек, эту ужасную смерть с поднятой рукой... Ему захотелось встать, уйти, сбежать, вернуться в Париж тотчас же! О! Если бы он знал, он не приехал бы!

Теперь в комнате стало темно, точно преждевременный траур окутал умирающего. Только окно еще можно было различить, а в его светлом квадрате — неподвижный силуэт молодой женщины.

Форестье спросил с раздражением:

— Ну что же, принесут нам сегодня лампу? Это называется ухаживать за больным.

Темный силуэт на фоне окна исчез, и послышался электрический звонок, пронзивший мертвую тишину. Вошедший слуга поставил лампу на камин.

Госпожа Форестье спросила мужа:

— Хочешь лечь или сойдешь вниз обедать?

Он прошептал:

— Сойду.

В ожидании обеда они еще просидели около часу, не двигаясь, все трое, изредка произнося слова, — ненужные, банальные слова, точно им угрожала таинственная опасность, если они не нарушат этого молчания, если безмолвие затаится в этой комнате, где уже витала смерть. Наконец обед кончился. Дюруа он показался бесконечно долгим. Они ели молча, беззвучно, катая хлебные шарики между пальцев. Слуга бесшумно входил, выходил, приносил блюда, обутый в мягкие туфли, так как стук сапог раздражал Шарля. И только тиканье деревянных часов нарушало тишину комнаты своим механическим и однообразным стуком.

Как только обед кончился, Дюруа под предлогом усталости удалился в свою комнату и, облокотясь на окно, стал смотреть на полную луну посредине неба, проливавшую, точно гигантский фонарь, на стены белых вилл свой матовый, туманный свет, рассыпавшую над морем свою движущуюся и сверкающую чешую. И он стал придумывать предлог, как бы ему поскорее уехать, изобретал фокусы, сочинял телеграммы, будто полученные им от господина Вальтера, призывавшие его обратно в Париж.

Но его намерения бегства показались ему совершенно неосуществимыми, когда он стал их обдумывать утром следующего дня. Госпожа Форестье не поверит его выдумкам, и он потеряет из-за своей трусости все выгоды своего самоотвержения. Он сказал себе: «Ба! Это, конечно, скучно; ну что же, бывают в жизни неприятные полосы; надеюсь, что это не затянется надолго».

Был ясный лазоревый день, один из тех ясных южных дней, которые наполняют душу радостью. Дюруа прогулялся к морю, находя, что еще слишком рано видаться с Форестье.

Когда он вернулся к завтраку, слуга сказал ему:

— Хозяин уже спрашивал вас два или три раза. Не угодно ли вам пройти к нему?

Дюруа вошел. Форестье, казалось, спал в кресле. Жена его читала, лежа на диване. Больной повернул голову.

Дюруа спросил:

— Ну, что? Как ты себя чувствуешь? По-моему, у тебя сегодня отличный вид.

Тот прошептал:

— Да, мне лучше, я чувствую себя бодрее. Позавтракай скорее с Мадленой — мы потом поедем кататься.

Как только они остались вдвоем, молодая женщина сказала Дюруа:

— Видите! Сегодня ему кажется, что он выздоровеет. С утра он строит планы. Мы сейчас поедем к заливу Жуан покупать фаянс для нашей парижской квартиры. Он хочет выйти во что бы то ни стало, но я страшно боюсь, как бы чего не случилось. Он не вынесет тряски в экипаже.

Когда подали коляску, Форестье медленно спустился по лестнице при помощи своего слуги. Увидав экипаж, он потребовал, чтобы опустили верх.

Жена настаивала:

— Ты простудишься, это безумие.

Он упорствовал:

— Нет, мне гораздо лучше. Я это отлично чувствую.

Сначала ехали вдоль тенистой аллеи, между двух рядов садов, делающих Канн похожим на Английский парк, потом повернули на дорогу, ведущую к морю.



Форестье описывал местность. Сначала он указал виллу графа Парижского¹. Затем назвал другие. Он казался веселым — притворной и жалкой веселостью приговоренного к смерти. Указывал, подняв палец, не будучи в силах протянуть руки.

— Смотрите — вот остров Святой Маргариты и замок, откуда бежал Базен². Да, задали нам тогда за эту историю!

Затем он стал вспоминать службу в полку; называл офицеров, отличавшихся своими похождениями. Но вдруг дорога повернула, и залив Жуан предстал как на ладони со своей белой деревушкой и вершиной Антиб на другом конце...

Форестье, вдруг охваченный детской радостью, пробормотал:

— Ах, ты сейчас увидишь эскадру!

Посредине обширной бухты в самом деле виднелось с полдюжины больших кораблей, похожих на скалы с разветвленными рогами. Они имели причудливый, неуклюжий вид, обросшие выступами, башнями, водорезами, погруженные в воду, точно они вырастали из нее. Было непонятно, как могут они передвигаться, переходить с места на место, такими они казались громадными и приросшими ко дну. Плавающая батарея, круглая, высокая, в форме обсерватории, похожа на маяк, выстроенный на рифах.

Мимо них прошло большое трехмачтовое судно; оно направлялось в открытое море, развернув все свои белые сверкающие паруса, и имело грациозный и кокетливый вид рядом с этими железными ужасными чудовищами, точно опустившимися на корточки в воду.

Форестье старался их всех узнать. Он называл «Кольбер», «Сюфрен», «Адмирал Дюперре», «Грозный», «Шквал», потом поправлялся:

— Нет, я ошибся, — вот этот «Шквал».

Они подъехали к большому павильону с вывеской «Фаянсовые изделия залива Жуан»³; коляска обогнула лужайку и остановилась у входа.

Форестье хотел купить две вазы, чтобы украсить ими свой библиотечный шкаф. Так как он не мог выйти из коляски, то ему принесли несколько образцов на выбор. Он долго выбирал, советуясь с женой и с Дюруа:

— Понимаешь, это для шкафа в глубине кабинета; с моего кресла я буду их все время видеть. Мне бы хотелось выбрать старинные, в греческом стиле...

Он рассматривал образцы, приказывал принести другие, снова брался за первые; наконец он выбрал; заплатил, потребовал, чтобы их прислали тотчас же.

— Я возвращаюсь в Париж на днях, — сказал он.

Во время обратного пути с залива вдруг потянуло откуда-то снизу холодом, и больной закашлял.

¹ Имеется в виду *Луи-Филипп Альбер Орлеанский, граф Парижский* (1838–1894), в описываемое время законный претендент на престол (*примеч. ред.*).

² *Франсуа Ашиль Базен* (1811–1888) — французский маршал, во время Франко-прусской войны сдавший немцам город Мец (*примеч. ред.*).

³ В бухте Жуан в 1815 г. высадился Наполеон, бежавший с острова Эльба (*примеч. ред.*).

Сначала это казалось маленьким приступом, но, увеличиваясь, он превратился в непрерывный кашель, перешедший в хрип и стоны. Форестье задыхался; всякий раз, как он хотел вздохнуть, кашель раздирал ему горло, вырываясь из глубины груди. Ничто не помогало, не могло его успокоить. Пришлось перенести его на руках в комнату, и Дюруа, державший его ноги, чувствовал, как они содрогались от каждого конвульсивного сжатия легких.

Его положили в постель и укутали, но припадок продолжался до полуночи; потом наконец наркотики утишили смертельные приступы кашля. Больной просидел всю ночь, до утра, в постели с открытыми глазами.

Первые слова, которые он произнес утром, были просьбой позвать цирюльника, так как он имел привычку бриться каждый день. Он поднялся для совершения утреннего туалета; но пришлось тотчас же уложить его в постель, и он стал дышать так коротко, так тяжело, с такими усилиями, что перепуганная госпожа Форестье велела разбудить Дюруа, который только что лег, прося его сходить за доктором.

Он почти тотчас привел доктора Гаво, прописавшего успокоительное и давшего несколько советов; но когда журналист пошел его провожать, чтобы узнать его мнение, он сказал:

— Это агония. Он умрет завтра утром... Предупредите несчастную молодую женщину и пошлите за священником. Мне здесь нечего делать. Впрочем, если я понадоблюсь, я к вашим услугам.

Дюруа велел позвать госпожу Форестье:

— Он умирает. Доктор советует послать за священником. Что вы думаете делать?

Она некоторое время колебалась, затем сказала с расстановкой, очевидно, все взвесив:

— Да, так будет лучше во многих отношениях... Я его подготовлю, скажу ему, что священник желает его видеть... или что-нибудь в этом роде... Вы будете очень любезны, если приведете священника, который не очень бы придирался. Устройте так, чтобы он удовольствовался одной исповедью и избавил бы нас от всего прочего.

Молодой человек привел старого, благодушного священника, по-видимому, сговорчивого. Как только он вошел к умирающему, госпожа Форестье вышла и села в соседней комнате рядом с Дюруа.

— Это его страшно взволновало, — сказала она. — Когда я заговорила о священнике, на лице его выразился ужас, точно... он почувствовал... почувствовал... дыхание... Вы понимаете... он понял, что теперь все кончено, что ему осталось несколько часов...

Она была очень бледна. Повторила:

— Никогда не забуду выражения его лица. Несомненно — в это мгновение он видел смерть. Он видел ее...

Они слышали голос священника, говорившего немного громко, так как он был глуховат:

— Да, нет же, нет же. Вы вовсе не так плохи, как думаете... Вы больны, но опасности нет никакой. Доказательство то, что я зашел к вам просто по-соседски, по-товарищески.

Они не могли расслышать, что отвечал Форестье.

Старик продолжал:

— Нет, я не буду вас причащать, мы поговорим об этом, когда вы поправитесь. Если вы хотите воспользоваться моим посещением, чтобы немножко поисповедоваться, то я буду очень рад. Я ведь настоятель и пользуюсь каждым случаем, чтобы напутствовать свою паству.

Последовало долгое молчание. Форестье, вероятно, шептал своим беззвучным, задышающимся голосом.

Потом вдруг священник произнес другим тоном, — тоном священнослужителя:

— Милосердие Божие беспредельно, прочтите «*Confiteor*»¹, дитя мое, — вы, может быть, забыли слова, я вам их подскажу, — повторяйте за мной: *Confiteor Deo omnipoténti... Beátae Mariae semper Virgini* ²...

От времени до времени он останавливался, чтобы умирающий успевал за ним повторять, потом сказал:

— Теперь исповедуйтесь...

Молодая женщина и Дюруа не двигались с места, охваченные странным смущением, потрясенные тоскливым ожиданием...

Больной что-то пробормотал, священник повторил:

— У вас были греховные склонности. Какого рода, дитя мое?

Молодая женщина встала и сказала просто:

— Спустимся в сад. Не следует слушать его секретов.

Они пошли и сели на скамью у входа, близ цветущего розового куста, за клумбой гвоздики, наполнявшей воздух своим сильным и сладким благоуханием.

Дюруа спросил после короткого молчания:

— Вы долго останетесь здесь?

Она отвечала:

— О! Нет. Как только все будет кончено, я вернусь.

— Через десяток дней?

— Да, самое большое.

Он продолжал:

— Значит, у него нет родных?

— Никого, кроме двоюродных. Его родители умерли, когда он был еще совсем молодым...

Они оба смотрели на бабочку, собиравшую мед с гвоздики, перелетая с цветка на цветок с трепетаньем крыльев, продолжавшимся, еще когда она уже сидела на цветке. И долго сидели в молчании.

¹ «*Confiteor*» — краткая покаянная молитва (лат.) (примеч. ред.).

² Исповедую Богу всемогущему... Блаженной приснодеве Марии... (лат.).

Слуга возвестил, что «священник кончил». Они вместе поднялись.

Форестье, казалось, еще похудел со вчерашнего дня. Священник держал его за руку:

— До свиданья, сын мой. Я приду завтра утром.

И он ушел.

Как только он вышел, умирающий, задыхаясь, попытался протянуть руки к жене и пролепетал:

— Спаси меня... спаси меня... дорогая... я не хочу умирать — не хочу умирать... О! Спасите меня... Скажите, что нужно сделать, пошлите за доктором... Я приму все, что нужно... Я не хочу... не хочу.

Он плакал, крупные слезы катились из его глаз по ввалившимся щекам; и исхудалые углы рта складывались в гримасу, как у плачущего ребенка. Потом его руки, упавшие на постель, начали шевелиться медленно и непрерывно, точно ища что-то на одеяле.

Жена его, принявшаяся плакать, забормотала:

— Да нет же. Это пустяки. Это кризис, завтра тебе будет лучше; ты переутомился вчера с этой прогулкой.

Дыхание Форестье казалось более быстрым, чем у запыхавшейся собаки; он дышал так быстро, что нельзя было сосчитать пульса, и еле заметно, так что едва можно было расслышать.

Он повторял непрерывно:

— Я не хочу умирать!!! О! Господи... Господи... Господи... Что же это со мной, я ничего больше не увижу, ничего, никогда... О, Господи!

Он увидал перед собой что-то невидимое для других, такое чудовищное, что в его остановившихся глазах застыл ужас. Руки его продолжали свое страшное, однообразное движение.

Вдруг он весь содрогнулся с головы до ног и прошептал:

— Кладбище... меня... Господи!..

Больше он уже не говорил. Лежал недвижный, задыхающийся, оцепенелый.

Время шло; прозвонило полдень в соседнем монастыре. Дюруа вышел, чтобы немного подкрепиться. Через час он вернулся. Госпожа Форестье отказалась от пищи. Больной не шевелился. Худые пальцы его все еще двигались по одеялу, точно хотели натянуть его на лицо.

Молодая женщина сидела в кресле в ногах постели. Дюруа сел в другое, рядом с ней, и они стали безмолвно ожидать.

Пришла сиделка, посланная доктором, и принялась дремать у окна.

Дюруа тоже начал дремать, как вдруг почувствовал, что что-то совершается... Он открыл глаза как раз в тот момент, когда Форестье закрыл свои, точно две потухшие свечи. Легкий хрип вздымал горло умирающего, и две струйки крови показались из углов рта, скатившись на рубашку. Руки его перестали шевелиться. Дыханье прекратилось.

Жена его поняла; вскрикнув, упала на колени и зарыдала, уткнувшись в одеяло. Жорж, удивленный и растерянный, машинально перекрестился.

Сиделка проснулась, подошла к постели:

— Скончался, — сказала она.

И Дюруа, к которому вернулось самообладание, прошептал, облегченно вздохнув:

— Это длилось менее, чем я ожидал.

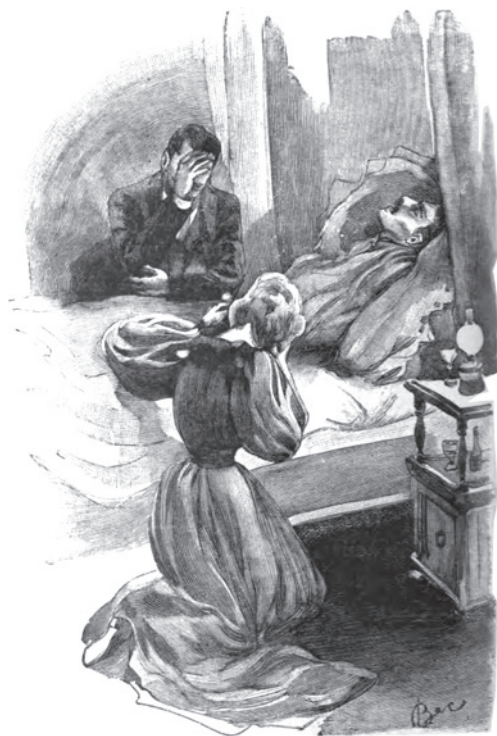
Когда улеглось первое волнение, поплакали и занялись хлопотами, сопровождающими смерть. Дюруа пробегал до самой ночи. Вернувшись, он почувствовал голод. Госпожа Форестье также немного поела; потом они оба направились в комнату покойника, чтобы провести ночь возле тела.

Две свечи горели на ночном столике, возле тарелки, где плавала в воде мимоза за неимением традиционной ветки букса.

Они оставались вдвоем, молодой человек и молодая женщина, возле того, кто больше не существовал. Они оба молчали, погруженные в свои мысли, глядя на него.

Жорж, которого волновала тайна, воцарившаяся вокруг мертвого, смотрел на него пристально, не сводя глаз. Взгляд и мысли его были точно прикованы к этому иссохшему лицу, казавшемуся еще более исхудалым от колеблющегося пламени свечей. Да! Это был его друг, Шарль Форестье, который еще вчера с ним говорил! Какая непонятная и ужасная вещь это полное исчезновение живого существа. О! Теперь он вспоминал слова Норбера де Варена, преследуемого страхом смерти: «Никогда ни одно существо не возвращается». Родятся миллионы и миллиарды таких похожих, с такими же глазами, с таким же носом, ртом, черепом и мыслями внутри его, но тот, который лежит сейчас на постели, никогда не появится снова...

В течение ряда лет он жил, ел, смеялся, любил, надеялся, как все люди. Теперь все это кончено, для него все кончено навсегда. Жизнь! Какие-то несколько дней, и потом конец! Рождаются, вырастают, наслаждаются, чего-то ожидают и потом умирают... Прощай, мужчина или женщина, ты никогда не вернешься уже на землю! И все-таки во всяком живет судорожное, недостижимое стремление к вечности, всякий носит Вселенную во Вселенной, и всякий исчезает, сгорает без следа на костре новых поколений. Растения, животные,



люди, звезды, миры — все рождается, потом умирает, чтобы принять другой вид. Но никогда ни одно существо не появляется вновь, ни одно насекомое, ни один человек, ни одна планета!

Дюруа охватил необъяснимый, беспредельный страх, ужас перед этим неизбежным небытием, разрушающим бесследно всякое существование, такое мимолетное и жалкое. Он уже чувствовал его грозу над своею головою. Он подумал о насекомых, живущих всего несколько часов, животных, живущих несколько дней, людях, живущих несколько лет, планетах, живущих несколько столетий. Какая же разница между одними и другими? — Несколько часов.

Он отвернулся, чтобы не смотреть больше на труп. Госпожа Форестье, склонив голову, казалось, была погружена также в печальные размышления. Ее белокурые волосы так красиво обрамляли опечаленное лицо, что сладкая надежда мелькнула в душе молодого человека. К чему отчаиваться, когда впереди еще столько лет жизни!

И он принялся ее рассматривать. Она не замечала его, погруженная в свои мысли. Он подумал: «Вот единственная хорошая вещь в жизни: любовь! Держать в своих объятиях любимую женщину! Вот предел человеческого счастья! Какое счастье выпало покойнику встретить эту очаровательную и интеллигентную подругу! Как они познакомились? Как она согласилась выйти замуж за этого бедняка, за эту посредственность? Как ей удалось сделать из него что-то?»

И он подумал о тайнах, скрывающихся в каждом существовании. Он вспомнил сплетни о графе де Водреке, который, как говорили, снабдил ее приданым и выдал замуж. Что она теперь предпримет? За кого выйдет замуж? За депутата, как предполагала госпожа де Марель? Или за какого-нибудь карьериста, только поспособнее Форестье? Были ли у нее проекты, планы, определенные намерения? Как бы ему хотелось все это знать! Но почему его так занимает, что она предпримет? Он задавал себе этот вопрос и заметил, что это беспокойство исходит из смутных, едва уловимых мыслей, которые прячутся в глубине души и которые обнаруживаются только на дне ее тайника.

Да, почему бы ему не попробовать самому одержать эту победу? Каким бы сильным и бесстрашным почувствовал он себя с нею. Как быстро, уверенно и далеко подвинулся бы он вперед!

И почему бы ему не добиться успеха? Он знал, что нравится ей, что она чувствует к нему более чем симпатию — влечение, зарождающееся между родственными натурами, основанное на взаимном сродстве и молчаливом сообщничестве. Она признавала в нем ум, решительность, настойчивость и чувствовала к нему доверие.

Разве не призвала она его на помощь в таком затруднительном положении? И зачем она его позвала? Разве он не должен был видеть в этом что-то вроде призвания, выбора, предназначения? Если она думала о нем именно в ту минуту, когда должна была овдоветь, то это может быть потому, что она думала о том, который теперь сделается ее новым другом, новым сотоварищем.

Его охватило нетерпеливое желание узнать, спросить ее об ее намерениях. Он должен был уехать послезавтра, считая невозможным оставаться вдвоем с молодой женщиной в этом доме. Значит, нужно было торопиться, нужно было еще до возвращения в Париж выспросить ее тонко и искусно о ее намерениях, не допустить, чтобы она уступила домогательствам кого-нибудь другого.

В комнате царила глубокая тишина; слышалось только тиканье часов, отбивавших на камине свой правильный механический стук.

Он прошептал:

— Вы, должно быть, очень устали?

Она отвечала:

— Да, — но больше всего я потрясена...

Звук их голосов показался им странным, раздавшись в этой мрачной комнате. И они вдруг посмотрели на лицо мертвого, будто ожидая, что он зашевелится, начнет их слушать, как он это делал всего лишь несколько часов тому назад.

Дюруа начал снова:

— О! Это ужасный удар для вас, огромная перемена в вашей жизни — целый переворот во всем вашем существе...

Она испустила продолжительный вздох, ничего не отвечая. Он продолжал:

— Как печально для молодой женщины очутиться вдруг одной...

Потом замолчал. Она ничего не сказала. Он прошептал:

— Во всяком случае, помните о нашем договоре... Вы можете располагать мною, как хотите. Я весь в вашем распоряжении.

Она протянула ему руку, бросив на него один из тех нежных и меланхолических взглядов, которые волнуют нас до мозга костей.

— Благодарю вас, вы очень добры, чрезвычайно... Если бы я могла и смела сделать что-нибудь для вас, я бы уже сказала: «Рассчитывайте на меня».

Он взял протянутую ему руку и задержал, сжимая ее в своей, безумно желая ее поцеловать. И, наконец решившись, медленно приблизил ее к губам и прильнул долгим поцелуем к тонкой, теплой, надушенной коже.

Потом, почувствовав, что эта дружеская ласка может затянуться, он отпустил маленькую ручку, упавшую на колено молодой женщины. Она сказала серьезно:

— Да, теперь я буду одна, но я постараюсь нести свой крест мужественно.

Он не знал, как дать ей понять, что он был бы счастлив жениться на ней, конечно, он не мог ей этого сказать в этот час, в этом месте, перед этим трупом; все же ему казалось, что он мог придумать одну из тех запутанных и двусмысленных фраз, которыми можно сказать все посредством намеренных намеков и недомолвок. Но ему мешал труп — окостенелый труп, распростертый перед ними труп, который он чувствовал между собою и ею. К тому же он чувствовал в спертой атмосфере комнаты подозрительный запах — гнилое дыхание, исходившее из этой разлагающейся груди, первое дуновение падали, ощущаемое родными, стерегущими злосчастных покойников, ужасное дыхание, которым они скоро наполнят внутренность своих гробов.

Дюруа спросил:

— Нельзя ли открыть немного окно? Мне кажется, что здесь скверный воздух.

Она отвечала:

— Да, правда, я тоже это заметила.

Он подошел к окну и открыл его. Ворвалась благоухающая прохлада ночи, всколыхнув пламя свечей, зажженных возле кровати. Луна разливала, как и в тот вечер, свое полное и спокойное тихое сияние над белыми стенами вилл и над огромной сверкающей поверхностью моря. Дюруа, дыша всеми легкими, вдруг почувствовал себя переполненным надеждами, точно обвеянный крыльями приближающегося счастья.

Он обернулся.

— Подойдите немного освежиться, вечер восхитительный, — сказал он.

Она спокойно подошла и облокотилась на подоконник.

Он прошептал ей тихо:

— Выслушайте меня и поймите хорошенько, что я хочу сказать. Главное, не возмущайтесь тем, что я говорю о подобных вещах в такой момент, но я покину вас послезавтра, а когда вы вернетесь в Париж, может, уже будет поздно. Слушайте... Я — бедняк, ничего не имеющий, вся карьера которого еще впереди, вы это знаете. Но у меня есть настойчивость, некоторый ум, я на верном пути... Если человек с положением, — знают, что он может дать; если человек еще только начинает, — не знают, к чему он придет. Тем хуже, или тем лучше в этом случае. Словом, я вам однажды сказал у вас, что моя сокровенная мечта — жениться на такой женщине, как вы. Теперь я вам это повторяю. Не отвечайте мне сейчас. Позвольте мне продолжать. Я не делаю вам сейчас предложения... время и место для этого слишком неподходящи. Я хочу только, чтобы вы знали, что можете осчастливить меня одним словом, можете сделать из меня друга, брата, если захотите — мужа, и что мое сердце и весь я принадлежу вам. Я не хочу, чтобы вы мне сейчас отвечали, не хочу, чтобы мы сейчас здесь об этом говорили. Когда мы встретимся в Париже, вы мне дадите понять ваше решение. До тех пор — ни слова. Не правда ли?

Он выпалил все это, не глядя на нее, точно бросал слова в расстилавшуюся перед ним темноту ночи. Казалось, и она ничего не слыхала, оставаясь все время неподвижной, глядя тоже перед собой, устремив неподвижный взгляд на бледный пейзаж, освещаемый луной. Они долго простояли рядом, касаясь друг друга локтями, размышляя про себя.

Потом она прошептала:

— Мне холодно, — и, повернувшись, направилась к постели. Он последовал за ней.

Приблизившись к трупу, он нашел, что, действительно, Форестье начал пахнуть, и, отодвинув свое кресло, так как не мог больше выносить трупного запаха, сказал:

— Надо положить его завтра с утра в гроб.

Она ответила:

— Да, да, непременно; столяру уже велено прийти к восьми часам.

Дюруа вздохнул: «Бедняга»!.. Она также вздохнула громко и жалобно.

Они теперь реже взглядывали на него, уже свыкшись с представлением о смерти, начиная мысленно примиряться с этим исчезновением, которое еще только что возмущало их, таких же смертных.

— О! Борода!

Она выросла в несколько часов на этом трупе так, как выросла бы на лице живого... Они стояли, ошеломленные этим проявлением жизни у мертвого, точно перед сверхъестественной угрозой воскресения, перед одной из страшных аномалий, потрясающих и сбивающих с толку...

Затем они оба отправились отдыхать до одиннадцати часов, и, после того как уложили Шарля в гроб, почувствовали облегчение и спокойствие... За завтраком сидели друг против друга, чувствуя потребность говорить о более веселых вещах — вернуться к жизни, раз они уже покончили со смертью...

Окно было открыто настежь, и в него врывалось нежное дуновение весны, сладкий аромат гвоздики, цветшей у входа.

Госпожа Форестье предложила Дюруа пройти по саду, и они принялись ходить вокруг зеленеющей клумбы, с наслаждением вдыхая тепловатый воздух, насыщенный запахом пихт и эвкалиптов.

Вдруг она заговорила, не повертывая к нему лица, так же, как говорила ночью, наверху. Сказала медленно, тихо и серьезно:

— Послушайте, мой дорогой друг, я много думала... уже... о том, что вы сказали, и не хочу, чтобы вы уехали, не получив от меня ни слова в ответ. Впрочем, я не скажу вам ни да, ни нет. Мы подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга. Я хочу, чтобы и вы со своей стороны хорошенько обдумали этот шаг. Не поддавайтесь легкому минутному увлечению. Если я говорю теперь с вами об этом раньше, чем бедняжку Шарля опустят в могилу, то это потому, что я считаю нужным после ваших слов ознакомить вас с некоторыми моими взглядами, чтобы вы не питали ложных надежд в случае... если... окажется, что вы неспособны меня понять.

Постарайтесь же меня понять, как следует. Я смотрю на брак не как на узы, а как на свободное товарищество. Я понимаю под этим свободу, полную свободу во всех моих поступках, действиях, отлучках из дому... Я бы не перенесла ни контроля, ни ревности, ни обсуждения моего поведения. Разумеется, я обязуюсь никогда не скомпрометировать имени человека, за которого я выйду замуж, никогда не поставить его в смешное или дурацкое положение. Но он, со своей стороны, должен видеть во мне товарища, равную, а не подчиненную, бессловесную и покорную рабу. Я знаю, что мои взгляды разделяются далеко не всеми, но я изменить их не могу. Вот и все.

Еще два слова: не отвечайте мне теперь — это неуместно и бесполезно. Когда мы снова увидимся, тогда у нас будет время еще об этом поговорить. Теперь ступайте прогуляться; я же вернусь к нему. До вечера.

Он медленно поцеловал ее руку и ушел, не сказав ни слова. Вечером они встретились только за обедом. Потом разошлись по своим комнатам, оба изнемогающие от усталости.

На следующий день Шарля Форестье похоронили на Каннском кладбище без всякой помпы. Жорж Дюруа решил уехать со скорым поездом, отходящим в Париж в половине второго.

Госпожа Форестье проводила его на вокзал. Они спокойно разгуливали по платформе, ожидая отхода поезда и болтая о всяких пустяках.

Подошел поезд, типичный экспресс, состоящий из пяти вагонов. Журналист отыскал свое место, затем вышел, чтобы еще поболтать с нею несколько минут, вдруг охваченный грустью при мысли о расставании... точно терял ее навеки.

Кондуктор закричал:

— Марсель, Лион, Париж, — садиться!

Дюруа вошел, затем подошел к окну, чтобы успеть сказать ей еще несколько слов. Локомотив засвистел, и поезд медленно тронулся.

Молодой человек, высунувшись из вагона, смотрел на молодую женщину, стоявшую неподвижно на платформе и провожавшую его взглядом. И вдруг, когда она уже должна была скрыться из вида, он поднес руку к губам, чтобы послать ей воздушный поцелуй. Она ответила тем же — только более робким, сдержанным, еле заметным движением.



Часть вторая



I

Жорж Дюруа вернулся к своим прежним привычкам.

Поселившись в маленькой квартире в Константинопольской улице, он стал жить тихо и скромно, как человек, готовящийся к новой жизни. Его отношения с госпожой де Марель приняли спокойный характер, словно он считал их переходом к браку. Удивленная его спокойной уравновешенностью, она часто говорила, смеясь:

— Ты скучнее моего мужа; право, не стоило менять.

Госпожа Форестье не приезжала. Задержалась в Канне. Он получил от нее письмо, в котором она извещала, что приедет только в половине апреля, ни одним словом не намекая на сцену их прощанья. Он ждал. Решился пустить в ход все зависящие от него средства, чтоб жениться на ней, если она начнет колебаться... Он верил в свою счастливую звезду — в неотразимость своего обаяния, подчинявшего ему женщин.

Коротенькая депеша предупредила его о приближении решительной минуты:

«Я в Париже. Придите ко мне.

Мадлена Форестье».

Больше ничего. Почтальон принес ее в девять часов.

В тот же день, в три часа, он явился к ней. Она протянула ему обе руки, со своей прелестной, любезной улыбкой. В течение нескольких минут они пристально смотрели друг на друга.

Она прошептала:

— Как вы были добры, что не оставили меня одну в те ужасные дни.

Он ответил:

— Я сделал бы все, что бы вы мне ни приказали.

Они сели. Она расспрашивала его обо всех новостях, о Вальтерах, о со-трудниках, о газете. Она о ней часто вспоминала.



— Мне ее не доставало, — сказала она. — Я журналистка в душе. Что делать, я так люблю это ремесло.

Она замолчала. Ему показалось, что он уловил оттенок призыва в ее улыбке, в тоне голоса, в словах. И хотя он решил не форсировать событий, но все-таки пробормотал:

— Но почему бы вам... почему бы вам... не продолжать заниматься этим ремеслом под... фамилией Дюруа?

Она, сделавшись вдруг серьезной, положила руку на его плечо и прошептала:

— Пока не будем говорить об этом.

Он понял, что она соглашается, и, упав к ее ногам, стал покрывать ее руки страстными поцелуями, повторяя прерывающимся голосом:

— Благодарю, благодарю... Как я люблю вас!

Она встала. Последовав ее примеру, он заметил, что она побледнела. Он понял, что нравится ей — быть может, уже давно. Они стояли лицом к лицу; он обнял ее и поцеловал в лоб нежно и дружески.

Она вырвалась из его объятий и продолжала серьезным тоном:

— Слушайте, друг мой, я еще не пришла ни к какому решению. По всей вероятности: да. Но вы должны обещать мне хранить это в величайшей тайне, пока я не скажу вам.

Он дал слово и ушел, не помня себя от радости.

С этого дня он стал приходить к ней, обставляя свои визиты всевозможными предосторожностями, не требуя от нее определенных решений. В ее манере говорить о будущем, произносить слово «потом», в проектах, касающихся их обоих, таилось нечто более интимное и глубокое, чем в официальном согласии.

Дюруа неутомимо работал и мало тратил, стараясь накопить кое-какие деньжонки ко дню свадьбы. Он сделался настолько же скуп, насколько прежде был расточителен.

Прошло лето и потом осень; ни у кого не возникало ни малейшего подозрения ввиду их редких свиданий, носивших обычный светский характер.

Однажды вечером Мадлена сказала, не спуская с него пристального взгляда:

— Вы еще не сообщили о нашем намерении госпоже де Марель?

— Нет, моя дорогая; обещав вам хранить это в тайне, я не обмолвился ни словом ни одной душе.

— Теперь пора предупредить ее. Со своей стороны, я сообщу об этом Вальтерам. Вы ей скажете на этой же неделе, правда?

Он покраснел:

— Да, завтра же.

Она слегка отвернулась, словно не желая замечать его волнение, и продолжала:

— Если вы ничего не имеете против, мы можем повенчаться в начале мая. Это очень удобно.

— Я буду чувствовать себя счастливым, повинуюсь вам.

— Мне очень хочется, чтобы свадьба была десятого мая, в субботу, потому что это день моего рождения.

— Прекрасно: десятого мая.

— Ваши родители живут возле Руана? По крайней мере, вы мне так говорили.

— Да, возле Руана, в Кантеле.

— Чем они занимаются?

— Они... мелкие рантьеры.

— Мне очень хочется повидаться с ними.

Им овладело смущение:

— Но ведь они... они...

Потом он решился заговорить откровенно, как подобает решительному человеку:

— Дорогая моя, они — простые крестьяне, держат трактир; лезли из кожи, чтобы дать мне образование. Я не стыжусь их, но их простота... их грубость... могут вам не понравиться.

Госпожа Форестье очаровательно улыбнулась нежной доброй улыбкой.

— Я буду их очень любить. Мы поедем к ним. Это мое желание. Мы еще поговорим об этом. Я тоже из бедной семьи... мои родители умерли. У меня нет ни одного близкого человека на свете... — Она протянула ему руку, прибавив: — Кроме вас.

Он почувствовал себя растроганным и побежденным; до сих пор он не испытывал ничего подобного в обществе других женщин.

— Я думаю об одной вещи, — сказала она, — но это трудно объяснить...

Он спросил:

— Что же именно?

— Видите ли, дорогой мой, как у всех женщин, у меня есть свои слабости, прихоти; я люблю все, что блестит и звенит. Мне хотелось бы носить аристократическую фамилию. Не могли ли бы вы, по случаю нашего брака... немножко облагородить свою фамилию?

Теперь она покраснела, словно уличенная в не совсем благовидном намерении.

Он ответил просто:

— Я часто об этом думал, но нахожу, что это не так легко осуществить.

— Почему?

Он засмеялся:

— Я боюсь показаться смешным.

Она пожала плечами:

— Какой вздор! Все это делают, и никто над этим не смеется. Разделите пополам вашу фамилию. «Дю Руа». Это великолепно.

Он возразил тоном знатока:

— Это нужно сделать не так. То, что вы предлагаете, слишком просто и банально. Я хотел сначала взять для своего псевдонима название нашей деревни. Потом постепенно начать прибавлять его к моей фамилии и затем разделить ее пополам, как вы только что предложили...

Она спросила:

— Ваша деревня называется Кантеле?

— Да.

Она задумалась:

— Нет, мне не нравится окончание. Нельзя ли немножко изменить это название... Кантеле?

Взяв на столе перо, она стала набрасывать на бумаге различные фамилии, изучая их со звуковой стороны. Вдруг она воскликнула:

— Я придумала, смотрите!

Она протянула ему бумагу; он прочел: «Госпожа Дюруа де Кантель».

Он подумал несколько секунд, потом объявил торжественно:

— Да, это очень хорошо.

Она повторяла с восхищением:

— Дюруа де Кантель, Дюруа де Кантель, госпожа Дюруа де Кантель. Это великолепно, великолепно!

Она прибавила с убежденным видом:

— Вы увидите, как просто все отнесутся к этому. Но не нужно терять времени, потому что потом будет поздно. С завтрашнего дня вы будете подписываться под хроникой: «Д. де Кантель», а под заметками — «Дюруа». Это принято среди журналистов, и никто не удивится, что вы пишете под псевдонимом. Ко времени нашей свадьбы мы еще кое-что изменим, скажем нашим друзьям, что вы из скромности отказываетесь от частички «дю», на которую имеете право. Или даже совсем ничего не скажем. Как зовут вашего отца?

— Александр.

Она повторила несколько раз: «Александр, Александр», вслушиваясь в созвучие слогов; потом написала на чистом листке:

«Господин и госпожа Александр дю Руа де Кантель имеют честь просить вас на бракосочетание своего сына Жоржа дю Руа де Кантель с госпожой Мадленой Форестье».

Когда он вышел на улицу, он уже окончательно решил переименоваться в дю Руа и даже дю Руа де Кантель. И ему казалось, что это придало ему важности.

Он шел смелей, с высоко поднятой головой, с закрученными усами, как подобало идти дворянину. Ему хотелось радостно объявить всем прохожим:

— Меня зовут дю Руа де Кантель.

Но вернувшись домой, он с беспокойством вспомнил о госпоже де Марель и сейчас же написал ей, прося ее прийти на другой день.

«Это не так-то просто, — подумал он. — Она мне закатит ужасную сцену».

Затем, со свойственной ему беспечностью, помогавшей ему равнодушно относиться к неприятным сторонам жизни, он уселся писать фантастическую статью о новых налогах, необходимых для равновесия бюджета. Годовой налог на дворянское достоинство он оценил во сто франков; налог же на прочие титулы — начиная от баронского и кончая княжеским — от пятисот до тысячи франков в год. Он подписался «Д. де Кантель».

На другой день он получил «синюю бумажку» от своей любовницы; она сообщала, что придет в час.

Он чувствовал себя несколько взволнованным в ожидании ее прихода и решил сразу же объявить ей обо всем. Когда пройдет первый взрыв негодования, он докажет ей логическими рассуждениями, что не может же он оставаться холостяком на всю жизнь. И что ввиду упорной жизнеспособности госпожи де Мареля ему необходимо было подумать о выборе другой — законной подруги... Но тем не менее он был расстроен. У него сильно забилося сердце, когда он услышал звонок.

Она бросилась в его объятия:

— Здравствуй, Милый друг!

Удивленная его холодностью, она пристально посмотрела на него и спросила:

— Что с тобой?

— Садись, — сказал он. — Нам нужно поговорить серьезно.

Она села, не снимая шляпы, откинула вуаль и стала ждать. Дюруа опустил глаза, придумывая, с чего начать. Потом он медленно заговорил:

— Дорогая моя, я сейчас очень взволнован, опечален и расстроен предметом нашего разговора. Я тебя очень люблю — люблю от всего сердца. Страх причинить тебе горе терзает меня еще больше, чем новость, о которой идет речь.

Она побледнела, дрожа всем телом, и пробормотала:

— Но что же случилось? Говори скорей!

Он произнес грустным и в то же время решительным тоном, употребляемым в тех случаях, когда хотят скрыть радость:

— Я женюсь.

Она вздохнула, как вздыхают женщины, готовые упасть в обморок; этот вздох походил на стон, вырвавшийся из глубины души. Она не могла произнести ни одного слова и задыхалась.

Успокоенный ее молчанием, он продолжал:

— Ты не можешь себе представить, сколько я выстрадал, прежде чем пришел к этому решению. У меня нет ни положения, ни состояния. Я совершенно один в Париже. И нуждаюсь в существе, которое утешало бы меня и поддерживало своими советами. Мне нужен товарищ, которого я искал и нашел!

Он замолчал, выжидая ее ответа, приготовившись отражать оскорбления и взрывы негодования. Она приложила руку к сердцу, словно желая успокоить его, и продолжала тяжело дышать, с трепещущей грудью и слегка дрожащей головой.

Он взял ее руку, бессильно упавшую на кресло. Она быстро вырвала ее и прошептала, словно теряя сознание:

— О, боже мой!

Если б она начала осыпать его оскорблениями, на него это не произвело бы никакого впечатления, но ее молчание подействовало на него угнетающе. Он упал перед ней на колени, не осмеливаясь прикоснуться к ее одежде, и бормотал:

— Кло, моя маленькая Кло, войди в мое положение! Для меня было бы величайшим счастьем, если б я мог жениться на тебе. Но ведь ты замужем. Что же мне остается делать? Подумай хорошенько! Я должен выйти в люди, а для этого мне нужно жить своим домом. Если б ты знала!.. Бывали часы, когда мне хотелось убить твоего мужа...

Он говорил своим мягким, нежным, обольстительным голосом, звучавшим, как музыка.

На глазах его любовницы показались две слезы; когда они скатились по щекам, две другие задрожали на ресницах.

Он шептал:

— Не плачь, Кло, не плачь, умоляю тебя! Тырываешь мне сердце.

Она напрягла все силы, желая со спокойным достоинством перенести удар. Спросила дрожащим голосом, каким говорят женщины, когда они вот-вот зарыдадут:

— На ком ты женишься?

Он помедлил секунду, но, сознавая, что это неизбежно, ответил:

— На Мадлене Форестье.

Госпожа де Марель вздрогнула всем телом и затем снова погрузилась в раздумье; она, казалось, совсем забыла о том, что он стоял на коленях перед ней.

На ее ресницы беспрестанно навстречивались прозрачные капли, стекавшие по щекам и снова появлявшиеся...

Она встала. Дюруа понял, что она хочет уйти, не сказав ни слова упрека, но и не простив. Он почувствовал себя униженным и оскорбленным до глубины души. Желая удержать ее, он вцепился в ее платье, сжимая сквозь материю напрягшиеся, сопротивлявшиеся ноги.



Он умолял:

— Заклинаю тебя, не уходи так.

Она смерила его взглядом. В ее заплаканных глазах дрожало все очарование скорби женского сердца. Она прошептала:

— Я... мне нечего сказать... Я... я ничего не могу сделать... Ты... ты прав... Ты... ты... сделал хороший выбор...

Она вырвалась, подавшись назад, и ушла; он больше не удерживал ее.

Оставшись один, он встал, ошеломленный, словно ему дали пощечину; потом, успокоившись, прошептал:

— Ей-богу, не знаю, хуже это или лучше. Но зато кончено... без сцен. И очень хорошо, как по мне....

Освободившись от страшной тяжести, сознавая себя свободным, как птица, готовым вступить в новую жизнь, он принялся стучать о стену кулаками, опьяненный успехом и подъемом сил, готовый вызвать на бой самую судьбу.

Когда госпожа Форестье спросила его:

— Вы предупредили госпожу де Марель?

Он ответил спокойно:

— Да...

Она пристально посмотрела на него своими светлыми глазами:

— Это ее не расстроило?

— Ничуть. Наоборот. Она нашла, что все очень хорошо.

Новость быстро распространилась. Одни изумлялись, другие уверяли, что предвидели это, третьи подсмеивались, давая понять, что их ничем не удивишь.

Молодой человек подписывался теперь под хроникой «Д. де Кантель», под заметками — «Дюруа» и под передовицами — «Дю Руа».

Большую часть дня он проводил у своей невесты, относясь к ней с братской фамильярностью, под которой скрывалась искренняя неясность и плохо замаскированная страсть.

Она решила, что свадьба совершится втихомолку — будут присутствовать только свидетели. Вечером они уедут в Руан; на следующий день навестят старых родителей журналиста и проведут у них несколько дней.

Дюруа пытался отговорить ее от этого намерения, но когда его старания оказались тщетны — он подчинился.

Десятого мая новобрачные, не венчавшиеся в церкви ввиду того, что они никого не приглашали, наскоро покончив в мэрии с необходимыми формальностями, вернулись домой, захватили чемоданы и отправились на Сен-Лазарский вокзал. Вечерний шестичасовой поезд умчал их в Нормандию.

Им не удалось обменяться даже двадцатью словами до той минуты, когда они очутились вдвоем в вагоне. Как только поезд тронулся, они взглянули друг на друга и засмеялись, желая скрыть овладевшее ими смущение.

Поезд медленно обогнул длинный Батиньольский вокзал, потом перерезал унылую равнину, тянущуюся от городских укреплений до Сены.

Дюруа и его жена от времени до времени произносили незначительные слова и снова принимались глядеть в окно.

Когда они переехали через Аньерский мост, их охватило радостное волнение при виде реки, покрытой судами, рыбацкими лодками и яликами. Могучее майское солнце отбрасывало косые лучи на лодки и на спокойную реку, казавшуюся неподвижной, застывшей в жаре и блеске умиравшего дня. Посередине реки парусная лодка распустила большие белые треугольники, подстерегавшие трепетание легкого ветерка. Она казалась большой птицей, готовой улететь.

Дюруа прошептал:

— Я так люблю окрестности Парижа; у меня с ними соединены все лучшие воспоминания...

Она ответила:

— А эти лодки! Как приятно скользить по воде в лучах заходящего солнца!

Они замолчали, словно не осмеливаясь касаться воспоминаний о своей прошлой жизни, может быть, растроганные поэзией прошедшего.

Дюруа взял руку жены и поцеловал ее.

— Когда вернемся в Париж, иногда будем ездить в Шату¹ обедать, — сказал он.

Она прошептала:

— У нас будет столько дела!

Казалось, она хотела этим сказать: «Нужно жертвовать приятным для полезного».

Он продолжал держать ее руку, с беспокойством спрашивая себя — каким образом перейти к выражению своей любви. Он не чувствовал бы себя смущенным, если бы жена его была невинной молодой девушкой. Но утонченная опытность Мадлены, которую он угадывал в ней, парализовала его. Он боялся показаться ей неопытным, слишком робким или слишком грубым, слишком медлительным или слишком торопливым.

Он сжимал ее руку, не получая ответа. Сказал:

— Меня очень забавляет мысль, что вы — моя жена.

Она опросила изумленно:

— Почему?

— Не знаю. Это мне кажется забавным. Мне хочется поцеловать вас и меня удивляет, что я имею на это право.

Она спокойно подставила ему щеку, и он коснулся ее братским поцелуем.

Он продолжал:

— В первый раз, когда я вас увидел (вы помните, во время обеда, на который я был приглашен Форестье), я подумал: «Черт возьми! Если б я мог найти женщину, подобную этой!» И вот я нашел ее.

Она прошептала:

¹ Шату — город на берегу Сены, в 10 км западнее Парижа (примеч. ред.).

— Это очень мило, — и пристально поглядела на него со своей неизменной улыбкой.

Он подумал:

«Я слишком холоден. Я глуп. Нужно быть смелей»...

Спросил:

— Каким образом вы познакомились с Форестье?

Она ответила с лукавым вызовом:

— Разве мы едем в Руан для того, чтобы говорить о нем?

Он покраснел:

— Я глуп. В вашем присутствии я дурею.

Это ей польстило:

— Неужели? Почему это?

Он сел рядом с ней, почти касаясь ее. Она вскрикнула:

— Ах! Коза!

Поезд ехал по Сен-Жерменскому лесу, и она увидела испуганную козу, одним прыжком перескочившую через аллею.

Пока она смотрела в раскрытое окно, Дюруа наклонился к ней и впился долгим страстным поцелуем в ее затылок.

Она не двигалась в течение нескольких секунд; потом подняла голову:

— Щекотно... Перестаньте.

Но он не оставлял ее, впиваясь долгими, жадными поцелуями, касаясь завитыми усами ее белой шеи.

Она вырывалась:

— Перестаньте же.

Он обхватил правой рукой ее голову и, повернув к себе лицо, накинута на ее губы, как ястреб на добычу.

Она продолжала вырываться, отталкивая его, освобождаясь из его объятий. Наконец это ей удалось, и она повторила:

— Перестаньте же.

Он не слушал и опять обнял ее, покрывая страстными поцелуями, стараясь опрокинуть ее на подушки дивана.

Напрягая все силы, она вырвалась и быстро встала:

— Перестаньте, Жорж. Мы ведь не дети и можем подождать, пока приедем в Руан.

Он сидел весь красный, охлажденный ее рассудительными словами. Немного успокоившись, он сказал:



— Хорошо, я подожду; но до Руана вы не услышите от меня и двадцати слов. Подумайте хорошенько: теперь мы в Пуасси¹.

Она ответила:

— Я буду говорить одна, — и села возле него.

Она подробно объяснила ему, какая жизнь ждет их по возвращении. Они останутся жить в той же квартире, где она жила со своим первым мужем; к Дюруа перейдут обязанности и жалованье Форестье во «Французской жизни».

Еще до свадьбы она обсудила с аккуратностью делового человека мельчайшие подробности финансовой стороны их жизни.

Они соединились на условиях неотчуждаемости имущества. Были приняты в соображение все случайности: смерть кого-либо из супругов, развод, рождение одного или нескольких детей. Молодой человек, по его словам, имел четыре тысячи франков; из них полторы тысячи были взяты в долг, остальные являлись результатом его сбережений в течение этого года. Госпожа Форестье имела сорок тысяч франков, которые, по ее словам, оставил ей Форестье.

Упомянув о своем первом муже, она похвалила его:

— Он был очень расчетливый, трудолюбивый человек; и скоро разбогател бы.

Дюруа не слушал больше, занятый другими мыслями. Она иногда останавливалась, погружаясь в раздумье, потом продолжала:

— Через три или четыре года вы сможете зарабатывать от тридцати до сорока тысяч в год. Столько бы получал и Шарль, если б он не умер.

Жорж, которому прискучили наставления, ответил:

— Мне кажется, мы едем в Руан не для того, чтобы говорить о нем.

Она засмеялась и слегка ударила его по щеке:

— Это правда. Я виновата.

Он сложил руки на коленях, как благонравный мальчик.

— У вас глупый вид, — сказала она.

Он ответил:

— Я играю роль, которую вы мне сами навязали. Я из нее не выйду.

Она сказала:

— Как так?

— Ну да. Ведь вы берете на себя управление домом и даже моей особой.

Это, впрочем, приличествует вам, вдове.

Она удивилась:

— Что вы этим хотите сказать?

— То, что вы, в качестве опытной замужней женщины, должны просветить меня, невежественного холостяка. Вот что.

Она воскликнула:

— Это уж слишком!

Он ответил:

¹ Пуасси — город в 32 км от центра Парижа (примеч. ред.).

— Но все же это так. Я ведь не знаю женщин, а вы, как вдова, знаете мужчин, вот вы и займетесь моим воспитанием... сегодня вечером или даже сейчас, если хотите.

Она развеселилась:

— Если вы полагаетесь в этом на меня!..

Он произнес тоном ученика, отвечающего урок:

— Да, да, я полагаюсь на вас. Я надеюсь, что вы дадите мне серьезное образование... в двадцать уроков... десять элементарных... чтение и грамматика... десять высшего курса... по риторике... Ведь я ничего не знаю...

Это ее забавляло:

— Ты глуп.

Он продолжал:

— Если ты говоришь мне «ты», я последую твоему примеру. Я скажу тебе, моя дорогая, что люблю тебя все больше и больше, и с минуты на минуту любовь моя усиливается; я нахожу, что Руан слишком далеко!

Он говорил с актерскими интонациями и гримасами, смешившими молодую женщину, привыкшую к непринужденным манерам и шуткам литературной богемы.

Она поглядывала на него искоса, находя его очаровательным, испытывая желание, похожее на то, какое появляется при виде спелого плода на дереве. Но ее удерживала рассудительность, советовавшая ей насладиться этим плодом в свое время, за обедом.

Она сказала, покраснев от волновавших ее мыслей:

— Мой милый ученик, поверьте моей опытности. Не следует целоваться в вагоне. Это портит аппетит.

Покраснев еще больше, она прошептала:

— Не следует жать хлеб незрелым.

Дюруа смеялся, возбужденный намеками, которые чувствовались в словах, произносимых ее прелестным ротиком. Он перекрестился, шевеля губами, словно шептал молитву, и объявил:

— Отдаю себя под покровительство святого Антония¹, патрона искушений. Теперь я как бронзовый.

Ночь мягко спускалась, обволакивая прозрачной тенью, подобной легкой вуали, большую деревню, раскинувшуюся по правой стороне. Поезд ехал вдоль Сены. Молодые люди стали смотреть на реку, развернувшуюся, как широкая лента из полированного металла, с красными отблесками, упавшими с неба, горевшими пурпуром и огнем — следами заходившего солнца. Эти отблески мало-помалу гасли, темнели, печально тускнели. Деревня потонула во мраке, со зловещим трепетом, трепетом смерти, пробегающим по земле в сумеречные часы.

¹ Имеется в виду часто повторяемая в искусстве и литературе тема искушения святого Антония (*примеч. ред.*).

Сквозь раскрытое окно вечерняя грусть проникла в души, такие радостные за минуту до этого. Супруги замолкли.

Они прижались друг к другу, всматриваясь в агонию прекрасного светлого майского дня.

В Манте зажгли лампочку, озарившую серое сукно диванов желтым дрожащим светом.

Дюруа обнял жену и притянул ее к себе. Острая возбужденность сменилась в нем мягкой нежностью, жаждой тихих ободряющих поцелуев, ласковых слов, которыми убаюкивают детей.

Он прошептал:

— Как я буду любить тебя, моя маленькая Мад!

Нежность его тона тронула молодую женщину и заставила ее вздрогнуть. Она протянула ему губы для поцелуя, слегка нагнувшись, потому что он прижался щекой к ее теплой груди.

Этот долгий, молчаливый поцелуй неожиданно прервался безумным объятьем, торопливой, судорожной борьбой двух тел, грубым, неловким актом. Слегка сконфуженные, они держали друг друга в объятьях, усталые и томные, пока свисток локомотива не возвестил близости остановки.



Она объявила, приглаживая концами пальцев растрепавшиеся на висках волосы:

— Это глупо. Мы ведем себя точно школьники.

Он ответил, покрывая судорожными поцелуями ее руки:

— Я тебя обожаю, моя маленькая Мад!

До самого Руана они не шевельнулись, прижавшись друг к другу, устремив глаза в окно, подернутое ночным мраком. От времени до времени мелькали огоньки домов. Они мечтали, счастливые своей близостью, охваченные желанием еще более страстных и полных объятий.

Остановились в отеле, выходявшем окнами на набережную, и после легкого ужина легли спать. На другой день горничная разбудила их в восемь часов. Когда они еще в постели пили чай, Дюруа посмотрел на жену и внезапно с радостным порывом счастливец, нашедшего сокровище, обнял ее, шепча:

— Моя маленькая Мад, я чувствую, что очень люблю тебя... очень... очень...

Она улыбалась доверчивой и довольной улыбкой и сказала, возвращая ему поцелуи:

— И я тоже... кажется...

Но его смущал визит к родителям... Он уже много говорил с женой по этому поводу, приготовляя ее. И счел нужным предупредить ее еще раз:

— Но только помни: они — крестьяне, настоящие, а не те, которых изображают в оперетке.

Она засмеялась:

— Я знаю. Ты мне уже довольно говорил об этом. Вставай. Я хочу одеваться.

Он сел на постель и сказал, надевая носки:

— Нам будет очень неудобно там. В моей комнате старая кровать с соломенным тюфяком. В Кантеле не подозревают о существовании пружинных матрацев.

Она восхитилась:

— Тем лучше. Так приятно плохо спать... рядом... рядом с тобой... Нас разбудит пение петуха.

Она надела свободный белый фланелевый пеньюар.

Дюруа узнал его, и ему стало неприятно. Почему? Положим, он знал, что у его жены была целая дюжина таких пеньюаров. Но разве она не могла купить новый? Ему хотелось, чтобы у нее было новое белье — свидетель любви... Казалось, что на мягких теплых тканях сохранились еще следы прикосновений Форестье...

Он отошел к окну, закулив папиросу.

При виде порта, широкой реки, загроможденной судами, струек дыма, выпускаемых с шумом трубами, он пришел в радостное настроение, хотя картина была ему хорошо знакома. И закричал:

— Черт возьми! Как это красиво!

Мадлена подбежала и, опершись о плечо мужа, наклонилась к нему нежным движением. Она стояла, очарованная и взволнованная, повторяя:

— Как это прекрасно! Как это прекрасно! Я и не знала, что на реке может быть столько судов!

Через час они выехали, потому что должны были завтракать у стариков. Заржавленная пролетка без верха везла их, оглушительно дребезжа.

Они проехали по длинному унылому бульвару, пересекли дуга, по которым струилась речка, и стали взбираться на холм.

Утомленная Мадлена дремала под горячей лаской солнца, чудесно пригревавшего ее в уголке экипажа, словно она покоилась в теплых волнах света и воздуха.

Муж разбудил ее:

— Посмотри, — сказал он.

Они поднялись на две трети холма и остановились на месте, известном живописностью панорамы и посещаемом путешественниками.

Это место возвышалось над обширной долиной, по которой извивалась чистая река. Она виднелась вдали, испещренная бесчисленными островками, потом описывала дугу и пересекала Руан. На правом берегу раскинулся город, слабо подернутый дымкой утреннего тумана, с блестящими на солнце крышами и тысячью колоколен, воздушных, заостренных или срезанных, хрупких, изукрашенных, точно гигантские безделушки, колоколенками, круглыми или квадратными башнями, увенчанными геральдическими коронами. Над верхушками готических церквей поднималась заостренная стрела кафедрального собора, бронзовая игла, странная, уродливая, высочайшая во всем мире¹.

На другом берегу реки возвышались тонкие, круглые, вздутые на концах трубы заводов обширного Сен-Северского предместья.

Более многочисленные, чем их сестры колокольни, они исчезали в дали полей своими кирпичными колоннами, испещряя голубое небо черным дыханием.

Самый высокий из всех, почти такой же высокий, как пирамида Хеопса, вторая по высоте вершина, созданная человеческими руками, почти равный своей гордой подруге, стреле кафедрального собора, большой паровой насос «Фудр» казался царем среди всех трудолюбивых дымящихся труб заводов.

Ниже, за рабочим городком, расстился сосновый лес. Сена продолжала здесь свой путь вдоль высокого холмистого берега, покрытого сверху деревьями и показывавшего местами свой белокаменный остов. Описав длинную округленную дугу, она исчезала на горизонте. По реке плыли суда, увлекаемые буксирными пароходиками, маленькими, как мухи, выпускавшими густой дым. Острова тянулись цепью или следовали один за другим на некотором расстоянии, как неравные зерна зеленых четок.

¹ Руанский собор (151 м) считался самым высоким зданием в мире в 1876–1880 гг., уступив этот титул Кёльнскому собору (157,4 м); возможно, Мопассан об этом не знал (*примеч. ред.*).

Кучер ожидал, пока путники прекратят свои восторженные излияния. Благодаря опыту он мог определять большую или меньшую длительность восторженного настроения у своих пассажиров.

Когда экипаж тронулся, Дюруа увидел на расстоянии нескольких сотен метров идущих по дороге старика и старуху. Он выскочил из экипажа, крича: — Вот они. Я их узнал.

Они шли неровной походкой, раскачиваясь и толкаясь. Старик был приземистый, краснолицый, с округлившимся брюшком, крепкий, несмотря на свой возраст. Старуха — высокая, сухая, сторбленная, печальная — настоящая сельская работница, трудившаяся с детства, никогда не смеявшаяся, в то время как ее муж непрестанно болтал, выпивая с посетителями.

Мадлена тоже вышла из экипажа и смотрела на этих бедняков с сжавшимся сердцем, с неожиданной печалью... Они не узнали своего сына в этом красивом щеголе и ни за что на свете не догадались бы, что эта очаровательная дама в светлом платье — их невестка.

Они шли быстро, молча навстречу ожидаемому сыну, не обращая внимания на этих горожан, за которыми следовал экипаж.

Они прошли. Жорж засмеялся и закричал:

— Здравствуй, батя Дюруа!

Они оба разом остановились, ошеломленные и растерявшиеся от изумления. Старуха первая пришла в себя и пробормотала, не двигаясь с места:

— Это ты, сынок?



Молодой человек ответил:

— Он самый, мать Дюруа.

Подойдя к ней, он поцеловал ее в обе щеки горячим сыновним поцелуем. Потом потерся щеками о щеки отца, снявшего фуражку, сшитую по руанской моде из черного шелка, очень высокую, вроде шапок мясников.

Жорж представил:

— Вот моя жена.

Крестьяне посмотрели на Мадлену. Посмотрели как на нечто необычайное, с беспокойным страхом, смешанным у отца с одобрительным довольством, у матери — с ревнивой враждебностью.

Старичок, от природы веселый, насыщенный хмелем сидра и алкоголя, осмелился спросить, лукаво подмигнув глазом:

— А поцеловать-то можно?

Сын ответил:

— Ну конечно.

Мадлена должна была подставить щеки звучным поцелуям крестьянина, вытершего затем рот ладонью. Старуха, в свою очередь, поцеловала невестку с ледяной сдержанностью. Та не являлась для нее желанной невесткой. Она мечтала о толстой, краснощекой фермерше, румяной, как яблочко, налитой, как племенная кобыла. Что касается этой дамы, она походила на гулящую девушку со своими фалбалами¹ и «запахом мускуса». По мнению старухи, все духи пахли «мускусом».

Пошли пешком за экипажем, везшим чемоданы молодых.

Старик взял сына под руку и, замедляя шаги, спросил его с любопытством:

— Дела идут на лад?

— Да, очень хорошо.

— Отлично, тем лучше. А у жены-то есть деньги?

— Сорок тысяч франков.

Старик слегка присвистнул от удовольствия и только пробормотал: «Черт возьми!», — так он был ошарашен этой суммой. И прибавил убежденным тоном:

— Черт возьми, она просто красавица!

Она ему понравилась. В свое время он слыл знатоком по части женского пола.

Мадлена и мать шли рядом, не говоря ни слова. Мужчины догнали их.

Пришли в деревню, маленькую деревушку, тянувшуюся вдоль дороги. Она состояла из двадцати домиков и ферм, кирпичных и глиняных, с соломенными или черепичными крышами. Кафе отца Дюруа «Красивый вид» — одноэтажный домишко с мезонином — находилось при входе в деревню, налево. Еловая ветвь, повешенная над дверью по старинному обычаю, возвещала, что жаждущие могут войти.

¹ Фалбала — сборка на подоле женского платья и т. п. (примеч. ред.).

Завтрак был накрыт в зале кабачка, на двух столах, составленных рядом и покрытых салфетками. Соседка, явившаяся помогать по хозяйству, приветствовала реверансом вошедшую элегантную даму, потом, узнав Жоржа, воскликнула:

— Господи Иисусе, это ты, мальчуган?

Он отвечал весело:

— Да, это я, тетка Брюлен, — и расцеловал ее тотчас так же, как поцеловал отца и мать.

Потом, обернувшись к жене:

— Пойдем в нашу комнату, ты там снимешь шляпу.

И повел ее через правую дверь в холодную унылую комнату с каменным полом, выбеленными стенами и постелью с холщовыми занавесками. Распятие над кропильницей и две олеографии, изображавшие Поля и Виргинию¹ под голубой пальмой и Наполеона I на желтой лошади, служили единственными украшениями этого убогого жилища.

Как только они остались одни, он поцеловал Мадлену:

— Здравствуй, Мад. Я очень рад повидать стариков. В Париже как-то о них забываешь, но когда свидишься, все-таки приятно...

Но отец торопил их, стуча в стенку кулаком:

— Скорее, скорее — суп на столе.

Завтрак был бесконечный — целый ряд блюд, поданных как попало, рулет после жигу, яичница после рулета. Старик Дюруа, развеселившийся от сидра и нескольких стаканов вина, открыл фонтан своего красноречия, приберегаемого для больших празднеств, и рассказывал сальные, плоские анекдоты, будто бы приключившиеся с его друзьями. Жорж, знавший их все наизусть, все же хохотал, опьяненный родным воздухом, счастливый свиданием с родной, воспоминаниями, ощущениями и мелочами из детства — отметкой ножа на двери, кривым стулом, напоминающим какое-нибудь событие, ароматом земли, смолы и зелени из соседней рощи.

Старуха Дюруа все время молчала, печальная и суровая, рассматривая злыми глазами невестку; в ней пробуждалась ненависть старой труженицы, работницы с огрубелыми руками и изуродованными тяжелым трудом членами к этой горожанке, внушавшей ей отвращение нечистого существа, созданного для безделья и греха. Она ежеминутно вставала и выходила будто за кушаньями или чтобы подлить желтый кислый квас или красновато-пенистый сидр, вышибавший пробки, точно шипучий лимонад.

Мадлена ничего не ела, ничего не говорила; сидела печальная, со своей обычной улыбкой, теперь унылой и покорной. Она чувствовала горечь, разочарование. Отчего? Ведь она же сама захотела приехать. И знала, что едет к крестьянам, мелким поселанам. Какими же она их себе представляла, она, — вообще не склонная к идеализации?

¹ Герои сентиментальной повести-притчи «Поля и Виргиния» французского писателя Жака-Анри Бернарден де Сен-Пьера (1737–1814) (*примеч. ред.*).

Знала ли она это? Разве женщины не всегда представляют себе вещи иными, чем они есть? Не представлялись ли они ей более поэтичными? Нет, — но, может быть, более живописными, более любезными, более культурными. Хотя она вовсе не желала видеть их приукрашенными, как в романах. Так почему же они шокировали ее тысячью незаметных мелочей, тысячью неуловимых, свойственных их мужичьей натуре грубостей — словами, жестами, остротами?

Она вспомнила свою мать, о которой она никогда никому не говорила, — учительницу, соблазненную неизвестным и умершую от горя и нищеты, когда Мадлене было двенадцать лет. Неизвестный воспитал девочку. Был ли то ее отец? Этого она наверное не знала, хотя и подозревала.

Завтраку, казалось, не будет конца. Теперь входили посетители, пожимали руки старику Дюруа, восхищались при виде сына и поглядывали искоса на молодую женщину, лукаво подмигивали, точно хотели сказать: «Черт возьми, вот так супруга у господина Жоржа Дюруа».

Другие, менее знакомые, садились за деревянные столики и командовали: — Литр! — Полштофа! — Две рюмки! — и принимались играть в домино, громко стуча маленькими белыми и черными костяшками.

Старуха Дюруа беспрестанно вставала и ходила, прислуживая посетителям со своим унылым видом, получая деньги, вытирая столы концом своего ситцевого передника.

Дым от глиняных трубок и дешевых сигар наполнял залу. Мадлена начала кашлять и сказала:

— Если бы нам выйти? Я больше не могу...

Завтрак еще не кончился. Старик Дюруа выразил неудовольствие. Тогда она встала и села на стул у входной двери, ожидая, пока ее муж и свекор кончат кофе и вино.

Жорж скоро подошел к ней:

— Хочешь спуститься к Сене? — сказал он.

Она согласилась с радостью:

— Да! Да, да! Идем.

Они спустились с горы, наняли в Круассе лодку и катались все послеобеденное время вдоль острова, под ивами, убаюкиваемые нежным дыханием весны и качаньем волн. В сумерки они вернулись.

Ужин при свете свечей показался Мадлене еще более тягостным, чем завтрак. Отец Дюруа, полупьяный, уже ничего не говорил. Мать продолжала хранить упорное молчание.

Скудный свет бросал на серые стены тени голов с огромными носами и преувеличенными жестами. Иногда показывалась гигантская рука с вилок, похожей на вилы, и рот раскрывался, точно пасть чудовища, когда кто-нибудь, повернувшись, подставлял свой профиль желтому колеблющемуся пламени.

Как только ужин кончился, Мадлена увлекла мужа на улицу, чтобы не оставаться в этой мрачной комнате, где все еще витал едкий запах дыма и пролитых напитков.

Когда они вышли, он сказал:

— Ты уже соскучилась.

Она хотела протестовать. Он остановил ее:

— Нет, я это заметил. Если хочешь, мы завтра же уедем.

Она прошептала:

— Да. Я очень этого хочу.

Они тихо подвигались вперед. Ночь была тихая и теплая; ласкающий сумрак, казалось, был полон легких звуков, шорохов, вздохов... Они вошли в узкую аллею, под высокие деревья, окруженные с обеих сторон непроницаемо-темной чащей.

Она спросила:

— Где мы?

Он ответил:

— В лесу.

— Он велик?

— Очень велик. Один из самых больших лесов Франции.

Запах земли, деревьев, мха, это свежее постоянное благоухание густого леса, образующееся из распускающихся почек и гниющей травы, казалось, застоялось в этой чаще. Подняв голову, Мадлена увидела звезды между верхушками деревьев и, хотя ветер не шелестел ветвями, она почувствовала вокруг себя глухой шелест этого моря листьев.

Станный трепет пробежал у нее внутри; она задрожала, и смутная тоска сжала ей сердце. Почему? — она не понимала. Но ей казалось, что она заблудилась, потерялась, окружена опасностями, всеми покинута, одна, одна во всем мире, под этим живым, трепещущим над нею сводом.

Она прошептала:

— Мне немного страшно. Я бы хотела вернуться.

— Ну что ж, вернемся.

— И... уедем завтра в Париж?

— Да, завтра.

— Завтра утром.

— Завтра утром, если ты хочешь.

Они вернулись домой. Старики уже легли. Она плохо спала, беспрестанно просыпаясь от всех незнакомых ей деревенских звуков — крика совы, хрюканья поросенка, запертого рядом в чулане, пения петуха, кричавшего с полуночи.

Она поднялась и стала собираться к отъезду с первыми лучами рассвета.

Когда Жорж объявил родителям, что уезжает, они вначале казались ошеломленными, потом поняли, от кого исходит это желание...

Отец спросил просто:

— Скоро мы с тобой свидимся?

— Конечно, этим же летом.

— Ну, тем лучше.

Старуха пробормотала:

— Желаю тебе не жалеть о том, что ты сделал.

Он подарил им двести франков, чтобы смягчить их неудовольствие. В десять часов мальчишка привел извозчика, и молодые, поцеловав стариков, уехали...

Когда они спускались с горы, Дюруа начал смеяться:

— Вот, — сказал он, — я тебе предсказывал. Не стоило тебе знакомиться с господами Дю Руа де Кантель, моими родителями.

Она тоже засмеялась и возразила:

— Я теперь в восторге. Они славные люди — я уже начинаю их любить. Я им пошлю гостинцев из Парижа.

Потом прошептала:

— Дю Руа де Кантель... Ты увидишь, что никто не удивится нашим пригластительным письмам... Мы будем рассказывать, что прожили две недели в имении твоих родителей.

И, приблизившись к нему, она коснулась губами кончика его усов:

— С добрым утром, Жоржик!

Он отвечал:

— С добрым утром, Мад!

И обнял ее одной рукой.

Вдали, в глубине долины, виднелась река, казавшаяся серебряной лентой в утренних лучах, и все трубы заводов, пачкавших небо струями дыма, и все верхушки колоколен, подымавшихся над Старым городом.





II

Два дня прошло с тех пор, как Дю Руа вернулись в Париж. Жорж занимал пока свою прежнюю должность, ожидая, когда его освободят от заведывания хроникой и возложат на него обязанности Форестье, чтобы всецело посвятить себя политике.

В этот вечер он возвращался к себе, в квартиру своего предшественника, веселый, радостный, мечтая обнять тотчас по приходе жену, которая теперь совсем подчинила его себе обаянием своей красоты. Проходя мимо цветочной лавки на углу улицы Нотр-Дам-де-Лорет, он решил купить букет для Мадлены и выбрал большой пучок едва распустившихся благоухающих роз.

На каждом повороте лестницы он самодовольно поглядывал на себя в зеркало, вспоминая при этом свое первое посещение этого дома.

Он забыл ключ, пришлось позвонить; тот же самый слуга, которого он оставил по совету жены, отворил ему дверь.

Жорж спросил:

— Мадам дома?

— Да, местье.

Проходя через столовую, он очень удивился, увидав на столе три прибора; через неспущенную портьеру салона он увидал Мадлену, вставлявшую в вазу на камине букет роз, совершенно такой же, какой он принес ей. Ему сделалось досадно, не по себе, как если бы у него украли его намерение, замысел и все ожидаемое от него удовольствие.

Он спросил, входя:

— Разве ты кого-нибудь пригласила?

Она ответила не оборачиваясь, продолжая вставлять цветы:

— И да и нет. Это — мой старый друг, граф де Водрек, привыкший обедать у нас всегда по понедельникам и поэтому пришедший сегодня.

Жорж пробормотал:

— Ну что ж! Отлично.

Он стоял перед ней, держа букет в руках; теперь ему хотелось спрятать его, выбросить. Однако он сказал:

— Посмотри, я тебе принес роз!

Она быстро обернулась и, улыбаясь, воскликнула:

— Ах! Как мило, что ты об этом подумал!

И протянула ему губы и руки с такой искренней радостью, что он почувствовал себя утешенным. Она взяла цветы, понюхала их и проворно, точно обрадованный ребенок, поставила их в пустую вазу напротив первой. Затем прошептала, любуясь:

— Как я рада! Теперь мой камин весь в цветах...

И прибавила уверенным тоном:

— Знаешь, Водрек очарователен... Ты тотчас с ним подружишься...

Раздался звонок графа. Он вошел, спокойный, уверенный, точно к себе в дом. Галантно перецеловав пальчики молодой женщины, он обернулся к мужу и, дружески протянув ему руку, спросил:

— Как поживаете, мой дорогой Дю Руа?

Он уже не имел прежнего высокомерного и недоступного вида; но, наоборот, был очень приветлив, давая понять, что положение дел изменилось... Удивленный журналист старался ответить любезностью на любезность. И через пять минут можно было подумать, что они знакомы и дружны уже с десятков лет.

Тогда Мадлена с сияющим лицом сказала им:

— Я оставляю вас одних, мне нужно на минутку сойти в кухню. — И убежала, сопровождаемая взглядом обоих мужчин.

Вернувшись, она нашла их беседующими о театре, по поводу новой пьесы; мнения их так сходились, что они уже смотрели друг на друга дружелюбными глазами, открыв в себе полное тождество мыслей.

Обед был очарователен, интимный и дружеский; граф оставался до позднего вечера, так он себя хорошо чувствовал в этом доме, у этих милых молодых людей.

Когда он ушел, Мадлена сказала мужу:

— Не правда ли, он восхитителен? Он страшно выигрывает при ближайшем знакомстве. Вот настоящий друг — преданный, верный, надежный... Ах! Не будь его...

Она не окончила начатой фразы, и Жорж отвечал:

— Да, я нахожу его очень милым. Надеюсь, что мы с ним скоро сойдемся.

Затем она сказала:

— Знаешь, нам нужно сегодня вечером поработать перед тем, как ложиться спать. У меня не было времени сказать тебе это до обеда, потому что сейчас же пришел Водрек. Мне передали важные известия — последние известия относительно Марокко. Мне их сообщил Ларош-Матье, депутат, будущий министр. Нам нужно написать большую статью, сенсационную статью. У меня есть данные и цифры... Мы тотчас приступим к делу. Подожди, возьми лампу.

Он взял лампу, и они перешли в кабинет.

Те же книги стояли на полках библиотеки: наверху красовались теперь три вазы, купленные Форестье у залива Жуана накануне дня его смерти. Под столом мех покойного ожидал своего нового хозяина, который, усевшись, взял ручку из слоновой кости, слегка обгрызанную на конце зубами другого.

Мадлена прислонилась к камину, закурила сигаретку и стала рассказывать новости; затем изложила свои мысли и план предполагаемой статьи.

Он внимательно слушал, делая заметки; когда она кончила, он сделал возражения, снова рассмотрел вопрос, развил в свою очередь не план статьи, но проект кампании против существующего министерства. С этого нападения нужно начать. Его жена перестала курить, заинтересованная, увлеченная перспективами, раскрывшимися перед ней в словах Жоржа.

От времени до времени она шептала:

— Да... да, да... Это очень хорошо... Это великолепно... Это очень сильно.

Когда он кончил, она сказала:

— Теперь давай писать.

Начало давалось ему всегда трудно, он с усилиями находил слова. Тогда она слегка облокотилась на его плечо и стала подсказывать ему тихонько на ухо готовые фразы.

От времени до времени она спрашивала его нерешительно:

— Ты это хочешь сказать?

Он отвечал:

— Да, именно это.

Со свойственным ей остроумием и язвительностью женщины она издевалась над главою совета, примешивала насмешки над его наружностью к глумлению над его политикой так комично, что трудно было удержаться от смеха и не удивиться меткости суждений.

Дю Руа, со своей стороны, вставил несколько строк, придавших нападению более значительный и глубокий смысл. Кроме того, он обладал искусством изобретения ядовитых недомолвок, которое он изучил, заведая хроникой; и когда факт, сообщенный Мадленой, казался ему сомнительным или компрометирующим, он старался придать ему еще более вероятности, чем другим положительным данным.

Когда статья была кончена, Жорж перечел ее вслух.

Оба нашли ее превосходной и улыбались, удивленные и восхищенные, будто они только теперь узнали и оценили друг друга. Они посмотрели друг



другу в глаза, взволнованные и растроганные, и обнялись в порыве возбуждения, передавшегося от мыслей телу.

Дю Руа взял лампу:

— Теперь баиньки, — сказал он с загоревшимися глазами.

Она ответила:

— Вперед, мой повелитель, так как вы освещаете путь...

Он пошел вперед, она за ним, в спальню, щекоча ему шею между воротником и волосами, отчего он торопился, боясь этого прикосновения...

Статья появилась за подписью «Жорж Дю Руа де Кантель» и произвела фурор. В палате заволновались. Вальтер поздравил автора и поручил ему заведовать политическим отделом во «Французской жизни». Хроника снова перешла к Буаренару.

С этих пор в газете поднялась искусная и яростная кампания против существующего министерства. Нападение, искусно направленное, снабженное данными, — то в ироническом, то в серьезном, то в ядовитом тоне, — велось так уверенно и непрерывно, что все только удивлялись. Другие газеты постоянно

цитировали «Французскую жизнь», приводили из нее целые выдержки, а влиятельные люди осведомлялись, нельзя ли при помощи префектуры заткнуть рот этому расшвырявшему и неизвестному врагу.

Дю Руа сделался известен политическим кругам. Он чувствовал, как возрастало к нему уважение, по пожатиям рук и по поклонам. Сверх всего этого, жена его приводила в восторг и изумляла своею находчивостью, искусством добывать сведения и поддерживать влиятельные знакомства.

Возвращаясь домой, он постоянно находил у себя в салоне то сенатора, то депутата, то судью, то генерала, обращавшихся с Мадленой на правах старых знакомых с серьезной фамильярностью. Откуда брались все эти знакомства? «Из общества», — говорила она. И каким способом приобретала она их доверие и симпатию? Этого он понять не мог.

«Из нее вышел бы великолепный дипломат», — думал он.

Она часто запаздывала к обеду, вбегала запыхавшись, вся красная, взволнованная, и, не успев снять шляпы, говорила:

— Ну, сегодня у меня есть для тебя кое-что... Представь себе, министр юстиции назначил двух судей, принимавших участие в смешанных комиссиях¹. Мы ему зададим головоломку — долго будет помнить.

И министру задавали головоломку, на следующий день — другую, еще на следующий — третью... Депутат Ларош-Матье, обедавший у них по вторникам, после графа де Водрека, начинавшего неделю, изо всей силы пожимал руки жене и мужу, выражая необычайную радость. Он беспрестанно повторял:

— Господи, какая кампания... Неужели мы и после этого не победим?

Он надеялся получить портфель министра иностранных дел, что было его давнишней мечтой.

Это был один из тех политических авантюристов без определенных убеждений, без больших дарований, без серьезных знаний, провинциальный адвокат, столичный фат, лавировавший между всеми крайними партиями, — среднее между республиканским иезуитом и сомнительным либералом, — которые вырастают сотнями на гнилой почве благоприятствующего им всеобщего голосования.

Своим дешевым макиавеллизмом² он снискал популярность среди своих сотоварищей, среди всякого рода отбросов, из которых выходят депутаты. Он был достаточно благовоспитан, корректен, любезен и хитер для того, чтобы добиться успеха. И пользовался им в обществе, в мутной разночинной среде фаворитов минуты. О нем постоянно говорили: «Ларош будет министром», — и он сам был в этом убежден больше, чем все остальные.

¹ *Смешанные комиссии* были учреждены после декабрьского переворота 1851 г. для судебной расправы с политическими противниками Наполеона III (*примеч. ред.*).

² *Макиавеллизм* — политика, основанная на пренебрежении нормами морали для достижения своих целей (*примеч. ред.*).

Он был один из главных пайщиков газеты Вальтера — его товарищем и союзником во многих финансовых предприятиях.

Дю Руа поддерживал его, смутно надеясь и ожидая от него чего-то в будущем. Впрочем, он только продолжал тактику Форестье, которому Ларош обещал крестик¹, если победа будет одержана... Теперь этот орден украсит грудь нового мужа Мадлены — вот и все. В общем ведь ничего не изменилось...

Всем было так ясно, что ничего не изменилось, что сотоварищи Дю Руа придумали остроуту, начинавшую его раздражать. Его стали называть «Форестье». Как только он входил в редакцию, кто-нибудь кричал:

— Послушай, Форестье!

Он делал вид, что не слышит, разбирая письма в своем ящике. Голос повторял еще громче:

— Эй! Форестье! — и слышался заглушенный смех. Но когда Дю Руа направлялся к столу редактора, звавший его останавливал, говоря:

— Ну! Извини, пожалуйста; ведь это мне с тобой нужно поговорить. Какая глупость, — я тебя постоянно смешиваю с этим злосчастным Шарлем. Это оттого, что твои статьи чертовски похожи на его. Все путают.

Дю Руа ничего не отвечал, но злился; и в нем зарождалась глухая ненависть к покойному.

Сам Вальтер однажды заявил, когда разговор зашел об удивительном сходстве оборотов речи и мыслей в статьях нового заведующего политическим отделом и его предшественника:

— Да, это Форестье, но Форестье — более энергичный, более деятельный и более живой.

В другой раз Дю Руа случайно открыл шкаф с бильбоке и увидал, что бильбоке Форестье было обмотано крепом, а его, на котором он упражнялся под руководством Сен-Потена, было перевязано розовой ленточкою.

Все они стояли в ряд, под рост, на одной полке: тут же на билетике, точно в музее, была надпись: «Бывшая коллекция Форестье и К⁰. Форестье-Дю Руа — преемник, патент *Sg. Dg.* Изделия прочные, могущие служить при всяких обстоятельствах, даже в путешествии».

Он хладнокровно закрыл шкаф, сказав нарочно громко, чтобы его слышали:

— Везде есть дураки и завистники.

Но он был уязвлен в своем самолюбии и гордости — в этих неотъемлемых свойствах литераторов, делающих их, будь то репортер или гениальный поэт, всегда одинаково щепетильно-настороженными.

Слово «Форестье» резало ему ухо; он боялся его услышать и чувствовал, что краснеет при одном его звуке...

Для него это имя сделалось язвительной насмешкой — более того, почти ругательством. Ему слышалось в нем: «Это твоя жена делает за тебя работу так же, как она делала за другого. Без нее из тебя ничего не вышло бы».

¹ Т. е. орден Почетного легиона — высшую награду Франции (примеч. ред.).

Он признавал, конечно, что из Форестье ничего не вышло бы без Мадлены; что же касается его, то это еще вопрос!

Навязчивый образ преследовал его и по возвращении домой. Все в доме напоминало ему покойного — вся обстановка, все мелочи, все, чего он касался. В первое время он как-то совсем об этом забыл; но острота, пущенная его сослуживцами, причинила ему рану, растравляемую всякими пустяками, которых он до сих пор не замечал.

Он не мог теперь взять ни одной вещи без того, чтобы не вспомнить, что она находилась в руках Шарля. Он смотрел и трогал все те вещи, которые раньше служили ему, которые он покупал, любил, приобретал. И Жорж начинал раздражаться, даже думая о прежних отношениях его друга к своей жене...

Иногда он сам удивлялся своему раздражению, которого не понимал, и спрашивал себя: «Какого черта все это? Ведь я не ревную же Мадлену к ее приятелям. Я никогда не беспокоюсь относительно того, что она делает. Она возвращается и уходит, когда хочет, а вот напоминания об этом подлом Шарле приводят меня в бешенство!» Он мысленно прибавлял: «В сущности, ведь это был идиот; без сомнения, это-то меня и оскорбляет. Меня возмущает, как могла Мадлена выйти замуж за подобного дурака». Беспреданно он повторял себе: «Как могла эта женщина прельститься хоть на минуту подобным скотом?»

Ненависть его возрастала с каждым днем, разжигаемая тысячью мелочей, коловших его точно иголками, беспреданным напоминанием о другом в словах Мадлены, горничной, лакея...

Однажды вечером Дю Руа, любивший сладкое, спросил:

— Почему у нас не бывает сладкого? Ты никогда его не заказываешь...

Молодая женщина весело ответила:

— Это правда, я об этом не думаю. Это оттого, что Шарль терпеть не мог...

Он прервал ее нетерпеливым движением, вырвавшимся у него почти против воли...

— Ну! Знаешь, этот Шарль мне начинает надоедать, Постоянно — Шарль, Шарль здесь, Шарль там, Шарль любил это, Шарль любил то. Раз он околел — уж оставим его в покое.

Мадлена посмотрела на мужа с изумлением, не понимая причины этого внезапного раздражения. Потом, подумав, она отчасти догадалась, что в нем происходит; поняла эту ревность к мертвому, возрастающую ежеминутно ото всего, что напоминало покойного. Ей показалось это ребячеством, но вместе с тем это ей польстило, и она ничего не возразила.

Он сам злился на себя за это раздражение, которого не мог скрыть. В этот вечер, когда они после обеда занялись статьей для следующего дня, он запутался ногами в мехе



под столом. Не сумев выпутаться, он отшвырнул его ногою... и спросил насмешливо:

— У Шарля, должно быть, всегда мерзли лапы?

Она ответила, тоже смеясь:

— О! Он всегда жил под страхом простуды. Ведь у него были неважные легкие.

Дюруа злобно подхватил:

— Да, он это доказал.

Потом прибавил галантно:

— К счастью для меня.

И поцеловал руку жены.

Ложась спать, все еще преследуемый той же мыслью, он спросил:

— А что, Шарль не надевал на ночь чепчика, чтобы не простудить ушей?

Она обернула дело в шутку и ответила:

— Нет, он повязывал голову платком.

Жорж пожал плечами и сказал пренебрежительно, с чувством превосходства:

— Вот болван!

С этих пор Шарль сделался для него предметом постоянного разговора. Он упоминал о нем по всякому поводу, называя его не иначе, как «этот несчастный Шарль», с оттенком безмерного пренебрежения.

Вернувшись из редакции, где ему приходилось несколько раз в день слышать имя Форестье, он вознаграждал себя, преследуя покойного злобными насмешками и в могиле. Он вспоминал его недостатки, его слабости, смешные стороны, перечисляя и преувеличивая их с удовольствием, точно хотел парализовать в душе жены воздействие опасного соперника.

Он говорил:

— Скажи, Мад, помнишь, как этот прыщ Форестье нам однажды старался доказать, что полные мужчины мужественнее худых?

Потом он захотел узнать о покойном целую массу интимных и секретных подробностей, о которых молодая женщина, возмущенная, отказалась рассказывать. Но он настаивал, упорствовал.

— Ну же, ну, расскажи мне это. Он, должно быть, имел дурацкий вид в этот момент. Да?

Она шептала одними губами:

— Да ну, оставь его наконец в покое.

Он продолжал:

— Нет, признайся! Ведь правда, он, должно быть, лежал, как колода, в постели, животное!

Разговор всегда кончался заключением:

— Что это была за скотина!

Однажды вечером, в конце июня, он курил сигаретку у окна; вечер был душный, и ему вдруг захотелось на воздух. Он спросил:

— Моя маленькая Мад, не хочешь ли прокатиться в лес?

— Конечно, хочу.

Они взяли открытый экипаж, проехали по Елисейским полям, затем по авеню Булонского леса. Ночь была душная, жаркая, одна из тех парижских ночей, когда раскаленный воздух вливается в легкие, точно нагретый пар. Вереница экипажей мчала под тень деревьев множество влюбленных. Экипажи тянулись один за другим беспрерывно.

Жорж и Мадлена забавлялись, рассматривая обнявшиеся парочки, проезжавшие в каретах: дама — в светлом, мужчина — в черном. Было похоже, точно огромный поток любовников стремился в лес под знойным звездным небом. Ничего не было слышно, кроме глухого стука колес о землю. Мелькали, исчезали, снова появлялись эти парочки в экипажах, вытянувшиеся на подушках, безмолвные, прижавшиеся друг к другу, охваченные властным желанием, трепещущие в ожидании близких объятий. Горячий сумрак, казалось, был наполнен поцелуями. Воздух казался еще тяжелее, еще удушливее от разлитой в нем томительной неги чувственной любви...

Все эти люди, прижавшиеся друг к другу, опьяненные одною мыслью, одним желанием, распространяли вокруг себя атмосферу страсти... Все эти экипажи, нагруженные любовниками, оставляли за собой волну чувственного дыхания, нежного и волнующего.

Жорж и Мадлена чувствовали себя так же охваченными атмосферой влюбленности. Они безмолвно держались за руки, слегка подавленные духотой воздуха и охватившим их волнением.

Доехав до поворота, который начинается за укреплениями, они поцеловались, и она пробормотала, слегка сконфуженная:

— Мы так же шалим, как тогда, по дороге в Руан.

При въезде в аллеи поток экипажей разделился. По дороге к озерам, куда направились молодые люди, экипажи попадались реже; но здесь мрак деревьев, свежесть зелени и ручейков, журчавших под ветвями, широта необъятного небосклона, украшенного звездами, придавали поцелуям катающихся острое и таинственное очарование.

Жорж прошептал:

— О! Моя маленькая Мад, — и прижал ее к себе.

Она сказала ему:

— Помнишь лес, там, у тебя, — как там было мрачно... Мне казалось, что он был полон ужасных зверей и тянулся без конца. Зато здесь очаровательно. Ветерок точно целует, и знаешь, что за лесом находится Севр.

Он отвечал:

— О! В нашем лесу ничего не найдешь, кроме оленей, лисиц, диких коз, кабанов, да еще изредка домиков форестьеров¹.

Это слово — имя покойного, нечаянно слетевшее у него с уст, — поразило его, точно кто-то крикнул из глубины чащи, и он сразу замолчал, охваченный

¹ Игра слов: Форестье (*Forestier*) — лесничий (*фр.*) (*примеч. ред.*).

этим непонятным раздражением, мучительною и непобедимою ревностью, отравлявшей ему жизнь с некоторых пор.

Помолчав с минуту, он спросил:

— Бывала ли ты здесь иногда по вечерам с Шарлем?

Она ответила:

— Конечно, часто.

Внезапно у него явилось желание вернуться домой, настолько сильное, что у него сжалось сердце. Образ Форестье проник в его мысли, завладел ими, терзая их. Он уже не мог ничего говорить, ничего думать, кроме как о нем. Он спросил злым тоном:

— Скажи, Мад...

— Что, милый?

— Скажи, — ты наставляла рога этому злосчастному Шарлю?

Она прошептала пренебрежительно:

— Ты становишься глуп со твоими приставаниями...

Но он не оставлял своего намерения.

— Ну, моя маленькая Мад, будь откровенна, признайся? Ты ведь ему наставляла рога? Признайся, что наставляла!

Она молчала — как любую женщину, это выражение ее корбило. Он продолжал упорствовать:

— Черт возьми, если кто на это годился, так это, конечно, он. О! Конечно, конечно... Вот я был бы рад услышать, что Форестье носил рога. Вот так отличная подставка для рогов!

Он чувствовал, что она улыбалась, как бы что-то вспоминая, и продолжал:

— Ну, скажи же... Что тебе это стоит? Наоборот, мне будет только приятно узнать от тебя, что ты ему изменяла.

И в самом деле, он дрожал от желания узнать, что этот ненавистный Шарль, постылый покойник, носил это позорное украшение. И в то же время... еще другое, смутное чувство обостряло его желание узнать.

Он повторял:

— Мад, моя маленькая Мад, прошу тебя, скажи мне. Ведь он этого заслужил, ты была бы неправа, если бы лишила его этой возможности. Ну же, Мад, признавайся.

Должно быть, она находила забавной эту настойчивость, потому что все время смеялась тихим, отрывистым смешком.

Он коснулся губами уха своей жены:

— Ну же, ну... признайся.

Она отодвинулась и резко заметила:

— Как ты глуп! Разве отвечают на подобные вопросы?

Она сказала это таким странным тоном, что мурашки пробежали по спине ее мужа, и он сидел пораженный и растерянный, точно после тяжелого потрясения.

Экипаж ехал вдоль озера, по поверхности которого небо, казалось, рассыпало свои звезды.... Два лебедя, едва заметные во мраке, медленно плыли по воде.

Жорж закричал кучеру: «Поворачивай назад!» — и коляска повернула, обгоняя другие, ехавшие шагом, фонари которых сверкали, точно глаза, во мраке леса.

Каким странным тоном она это сказала! Дю Руа задавал себе вопрос: «Не признание ли это?» И эта почти уверенность, что она обманывала своего первого мужа, доводила его теперь до бешенства. Ему хотелось избить ее, задушить, вырвать у нее волосы!

О! Если б она ответила: «Нет, мой дорогой, — если бы я его обманывала, то только с тобой». Как бы он ее обнял, поцеловал, полюбил за это!

Он неподвижно сидел, сложив руки, глядя на небо, слишком взволнованный для того, чтобы размышлять. Он чувствовал, как внутри его накалилась злоба и рос гнев, просыпающийся в сердце каждого самца от причуд женского желания. Первый раз он чувствовал смутную горечь мужа, который сомневается! Теперь он ревновал, ревновал за покойного, за счет Форестье! Ревновал странным и мучительным образом, с примесью ненависти к Мадлене. Раз она обманывала другого — мог ли он ей теперь доверять?

Мало-помалу мысли его успокоились, и, ожесточившись против своих страданий, он подумал: «Все женщины — проститутки, надо их брать, но ничего не давать им из своей души».

Горечь его настроения подсказывала ему злые и презрительные слова. Однако он не позволял им сорваться. Он повторял: «Мир принадлежит сильным. Нужно быть сильным. Нужно быть выше всего». — Экипаж быстро катился. Проехали укрепления. Дю Руа видел перед собой красноватый отблеск неба, подобный зареву от огромной кузницы; слышал смутный, необъятный, непрекращающийся гул бесчисленных и разнообразных звуков, глухой, близкий и отдаленный шум, гигантское дыхание жизни, вздохи колосса Парижа, изнемогавшего в эту жаркую летнюю ночь.

Он подумал: «Было бы очень глупо с моей стороны огорчаться этим. Всякий живет по-своему. Смелый побеждает, и все сводится к борьбе эгоизмов. Но эгоизм, ведущий к наживе и почету, выше, чем эгоизм из-за женщин и любви...»

Триумфальная арка на площади Звезды показалась при въезде в город; со своими чудовищными ногами она походила на гиганта, готового зашагать по широким улицам, раскинувшимся перед ним.

Жорж и Мадлена очутились в ряду экипажей, везущих домой в желанную постель безмолвных и обнявшихся любовников. И казалось, что все человечество катится рядом с ними, опьяненное радостью, наслаждением, счастьем.

Молодая женщина, угадывавшая, что происходит в душе мужа, спросила его нежно:

— О чем ты думаешь, друг мой? В продолжение получаса ты не сказал ни слова...

Он ответил с усмешкой:

— Я думаю обо всех этих обнимающихся болванах и говорю себе, что, право, есть в жизни вещи более ценные...

Она прошептала:

— Да... но иногда и это недурно.

— Да... недурно... недурно... за неимением ничего лучшего!

Мысли его продолжали работать, беспощадно разоблачая в порыве злобы всю поэзию жизни. «Я был бы идиотом, если бы стеснялся, лишал себя чего-нибудь, беспокоился, терзал себе душу, как я это делаю с некоторых пор». И вдруг представил себе Форестье, но уже без всякого раздражения. Ему показалось, что они помирились, снова сделались друзьями. Захотелось даже крикнуть: «Добрый вечер, дружище».

Мадлена, которую тяготило это молчание, попросила:

— Заседем к Тортони¹ съесть мороженого перед возвращением домой.

Он взглянул на нее сбоку. Ее тонкий белый профиль мелькнул перед ним на фоне освещенной вывески кафешантана.

Он подумал: «Она хорошенькая. Ну, тем лучше. По Сеньке и шапка. Но если снова придется из-за тебя мучиться — небу станет жарко». Потом ответил:

— Конечно, моя дорогая, — и, чтобы скрыть от нее свои мысли, поцеловал ее.

Молодой женщине показалось, что губы ее мужа были холодны как лед.

Впрочем, он улыбался своей обычной улыбкой, подавая ей руку и помогая выйти у подъезда кафе.



¹ Популярное парижское кафе на Итальянском бульваре (примеч. ред.).



III

Придя в редакцию на следующий день, Дю Руа подошел к Буаренару.

— Мой дорогой друг, — сказал он, — я попрошу тебя об одной услуге. С некоторых пор пошляки находят забавным называть меня «Форестье». Я начинаю находить это глупым. Будь любезен, возьми на себя предупредить под шумок моих товарищей, что я дам оплеуху первому, кто позволит себе эту шутку. Это уже их дело подумать, стоит ли эта забава удара шпаги. Обращаюсь к тебе, зная тебя как хладнокровного человека, могущего устранить печальные крайности, а также потому, что ты уже оказал мне услугу в моем деле.

Буаренар взял на себя поручение.

Дю Руа отлучился по делам, и через час вернулся. Никто не называл его больше Форестье.

Вернувшись домой, он услышал в зале женские голоса. Спросил:

— Кто там?

Слуга ответил:

— Госпожа Вальтер и госпожа де Марель.

У него слегка забилося сердце, потом он подумал: «Ну что ж, будь что будет». И открыл дверь.

Клотильда сидела возле камина, освещенная светом, падавшим из окна. Жоржу показалось, что она слегка побледнела, увидав его. Он сначала

поклонился госпоже Вальтер и ее двум дочерям, сидевшим точно двое часовых по бокам матери, потом обратился к своей прежней возлюбленной. Она протянула ему руку; он взял ее и выразительно пожал, как бы говоря: «Я вас люблю по-прежнему». Она ответила на это пожатие.

Он спросил:

— Как вы поживаете? Ведь с нашей последней встречи прошло целое столетие?

Она ответила непринужденно:

— Хорошо, а как вы, Милый друг?

Потом, обернувшись к Мадлене, прибавила:

— Ты разрешишь называть мне его Милым другом?

— Конечно, моя дорогая, разрешаю тебе все, что тебе вздумается.

Последние слова прозвучали слегка иронически.

Госпожа Вальтер рассказывала о празднестве, которое Жак Риваль устраивал в своей холостой квартире, — большой фехтовальный турнир, где будут присутствовать дамы высшего общества. Сказала:

— Это будет очень интересно. Но я в отчаянии — нас некому туда проводить: муж будет занят в этот день.

Дю Руа предложил свои услуги. Она согласилась.

— Мы будем вам очень признательны — я и мои дочери.

Он посмотрел на младшую Вальтер и подумал: «А ведь она вовсе недурна, эта маленькая Сюзанна, совсем недурна». Она походила на изящную белокурую куколку своей миниатюрной фигуркой и голубыми эмалевыми глазками, очень белой и выхоленной кожей и взбитыми завитыми волосами, окружавшими ее очаровательной дымкой, похожей на прическу дорогих кукол, которых дарят девочкам меньше их ростом.

Старшая, Роза, была некрасива, худа... Из тех девушек, на которых обыкновенно не обращают внимания, с которыми не говорят, о которых не вспоминают...

Мать поднялась и обратилась к Жоржу:

— Итак, я рассчитываю на вас в будущий четверг, в два часа.

Он ответил:

— Сочту своим долгом, мадам.

Как только она вышла, госпожа де Марель тоже поднялась.

— До свиданья, Милый друг.

Теперь она пожала ему руку очень долго и крепко. Его взволновало это молчаливое признание и, внезапно охваченный страстью к этой милой цыгачке, искренно привязанной к нему, он подумал: «Завтра же пойду к ней».

Как только он остался вдвоем с женой, Мадлена принялась хохотать от всей души и, глядя ему прямо в глаза:

— Тебе известно, что ты внушил страсть госпоже Вальтер?

Он недоверчиво сказал:

— Да будет тебе!

— Ну да, уверяю тебя. Она говорила о тебе со страшным воодушевлением. Так странно слышать это от нее! Ей хотелось бы найти таких мужей своим дочерям!.. К счастью, для нее самой эти вещи не опасны...

Он не понял, что она хотела сказать:

— Что значит — не опасны?

Она ответила тоном женщины, убежденной в своем суждении:

— О! Госпожа Вальтер одна из тех, о которых никогда не услышишь никакой сплетни. Она неприступна во всех отношениях. Мужа ее ты так же знаешь, как я. Но она другое дело — хотя она и много выстрадала, выйдя замуж за еврея, но осталась ему верна. Это честная женщина.

Дю Руа удивился:

— Я ее тоже считал еврейкой.

— Ее? Нисколько. Она — дама-патронесса всех благотворительных учреждений имени Марии Магдалины. Она даже венчалась в церкви. Но я не знаю, крестился ли ее муж или на это посмотрели сквозь пальцы.

Жорж прошептал:

— Значит! Она... она в меня влюблена?

— Окончательно и положительно. Если бы ты не был женат, я бы тебе посоветовала просить руки... Сюзанны... не правда ли, — ведь она лучше Розы?

Он ответил, покручивая ус:

— Гм? И мать еще недурна...

Мадлена рассердилась:

— Знаешь, мой милый, за мать-то я не боюсь, в ее возрасте не изменяют первый раз. Этому нужно было учиться раньше.

Жорж подумал: «Неужели я бы, и в самом деле, мог жениться на Сюзанне..?» Потом пожал плечами: «Что за чепуха!.. Разве отец ее согласился бы на это?»

Однако он решил с этих пор обратить внимание на отношение к себе госпожи Вальтер, не спрашивая себя, какая из этого может произойти выгода.

Весь вечер его преследовали воспоминания о любви к Клотильде. Нежные и чувственные образы, ее проказы, милые шутки, их похождения... Думал: «В самом деле, очень мила. Завтра же пойду к ней».

На следующий день после завтрака он отправился на улицу Верней. Та же самая горничная отворила ему дверь и с фамильярностью прислуги в буржуазных домах спросила:

— Как поживаете, месье?

Ответил:

— Отлично, дитя мое.

Вошел в залу, где чья-то неопытная рука брала гаммы на рояле. Это была Лорина. Он думал, что она бросится ему на шею. Но она важно встала, церемонно поклонилась, как взрослая, и с достоинством удалилась.

У нее был вид оскорбленной женщины. Это поразило его... Вошла мать. Он взял ее руки и поцеловал их.

— Сколько раз я о вас вспоминал, — сказал он.

— И я тоже, — сказала она.

Они сели. Улыбались, глядя друг другу в глаза, чувствуя желание поцеловаться в губы.

— Моя дорогая, маленькая Кло, я люблю вас...

— И я тоже...

— Значит... ты на меня не очень сердилась?

— И да, и нет... Я была очень огорчена, а потом я поняла твои побуждения и сказала себе: «Ну! Не сегодня-завтра он вернется ко мне».

— Я не осмеливался прийти; я не знал, как меня примут. Я не смел, но страшно хотел. Кстати, скажи мне, что с Лориной? Она со мной едва поздоровалась и ушла с рассерженным видом.

— Не знаю, но со времени твоей женитьбы с ней нельзя говорить о тебе. Мне, право, кажется, что она тебя ревнует.

— Полноте!

— Уверю тебя, мой милый. Она больше не называет тебя Милый друг, а зовет господином Форестье.

Дю Руа покраснел, приблизившись к молодой женщине:

— Дай твои губы.

Она протянула их.

— Где бы нам встретиться? — спросил он.

— Да... на Константинопольской улице.

— Как! Квартира разве не сдана?

— Нет... Я ее оставила за собой.

— Оставила за собой?

— Да, я думала, что ты вернешься.

Его охватил порыв безумной радости. Значит, она любила его постоянной и настоящей любовью.

Он прошептал:

— Я тебя обожаю. — Затем спросил: — Как поживает твой муж?

— Отлично. Он провел здесь месяц; уехал третьего дня.

Дю Руа не мог удержаться от смеха:

— Как это кстати.

Она наивно ответила:

— Да! очень кстати. Впрочем, его присутствие меня никогда не стесняет. Ты заметил?

— Заметил. Вообще это прекрасный человек.

— Ну, а ты, — спросила она, — как сложилась твоя новая жизнь?

— Так себе. Жена моя — хороший товарищ, сотрудница...

— Больше ничего?

— Ничего... Что касается любви...

— Я понимаю. Впрочем, она хорошенькая.

— Да, но меня она не волнует.

Он приблизился к Клотильде и прошептал:

— Когда мы увидимся?

— Да... завтра... если хочешь.

— Хорошо, завтра в два часа?

— В два часа! — Он поднялся, чтобы уходить, потом пробормотал, слегка смущенный: — Знаешь, я хочу взять на себя квартиру на Константинопольской улице. Мне так хочется. Тебе платить за нее совершенно не к чему.

Она поцеловала ему руку в порыве умиления и прошептала:

— Делай, как хочешь, с меня довольно того, что я ее сохранила до новой встречи...

И Дю Руа ушел, вполне удовлетворенный.

Проходя мимо витрины фотографа, он увидал портрет полной женщины с большими глазами, напоминавший ему госпожу Вальтер. «Пустяки, — подумал он, — она еще должна быть недурна. Как это случилось, что я ее до сих пор не замечал. Страшно интересно, как она будет себя держать со мною в четверг». Он потирал руки, весь переполненный тайной радостью, радостью успеха во всех его видах, эгоистическою радостью человека, которому везет, торжеством польщенного тщеславия и удовлетворенной чувственности — последствий женской благосклонности.

В четверг он сказал Мадлене:

— Ты не пойдешь на это состязание к Ривалю?

— О, нет, во-первых, мне это совершенно не интересно; во-вторых, я поеду в палату депутатов.

Он заехал за госпожою Вальтер в открытой коляске, так как погода была восхитительная.

Увидав ее, он был поражен, такой она выглядела моложавой и интересной. На ней было светлое платье; прозрачный корсаж позволял угадывать под белым кружевом пышно вздымающуюся грудь. Никогда она не казалась ему такой еще свежей. Он нашел ее вполне достойной любви. Она держала себя спокойно, вполне корректно, как подобает благоразумной матери, и это делало ее незаметной в глазах флиртующих мужчин. К тому же она говорила только об определенных вопросах, сдержанно и осторожно, так как все ее мысли были методичны, благонамеренны, чужды всяких крайностей.



Сюзанна, вся в розовом, походила на картинку Ватто¹; старшая сестра имела вид гувернантки, сопровождающей эту хорошенькую куколку.

У дома Риваля уже стояла целая вереница экипажей; Дю Руа предложил руку госпоже Вальтер, и они вошли.

Празднество давалось в пользу сирот Шестого округа Парижа при участии всех жен депутатов и сенаторов, имевших отношение к «Французской жизни».

Госпожа Вальтер обещала приехать с дочерьми, отказавшись от участия в устройстве, так как поддерживала только предприятия духовенства; не потому чтобы была слишком набожна, но потому что считала, что ее брак с евреем вынуждает ее покровительствовать религии; между тем празднество, организованное журналистами, носило скорее республиканский характер и могло показаться антиклерикальным.

В течение трех недель в газетах всевозможного направления появлялись заметки:

«Наш почтенный сотоварищ Жак Риваль возымел столь же остроумное, сколь и великодушное намерение устроить в пользу сирот Шестого округа Парижа большое состязание в своей прекрасной фехтовальной зале, находящейся при его холостой квартире.

Празднество устраивается при благосклонном участии госпож Лалуань, Ремон-тель, Рисолен — супруг сенаторов, и госпож Ларош-Матье, Персероль, Фирмен — супруг известных депутатов. В антракте будет сделан сбор, и пожертвования будут немедленно переданы мэру Шестого округа или его заместителю».

Это была грандиозная реклама, придуманная ловким журналистом для своей выгоды.

Жак Риваль встречал гостей у входа в квартиру, где был устроен буфет, расходы на устройство которого должны были быть вычтены из валового сбора. Затем он указывал на маленькую лестницу, ведущую в подвал, где находился фехтовальный вал, говоря:

— Прошу вас вниз, мадам. Состязание будет происходить в подземном помещении.

Бросился навстречу жене своего редактора; потом пожимал руку Дю Руа:

— Здравствуйте, Милый друг.

Тот удивился:

— Кто вам сказал, что...

Риваль его прервал:

— Госпожа Вальтер, здесь присутствующая, которая находит это прозвище очень милым...

Госпожа Вальтер покраснела:

¹ *Антуан Ватто* (1684–1721) – французский живописец, женские фигуры в творчестве которого отличались изяществом и хрупкостью (*примеч. ред.*).

— Да, я признаюсь, что если бы я была с вами больше знакома, я бы поступила как маленькая Лорина и называла бы вас Милый друг. Это вам очень идет.

Дю Руа рассмеялся:

— Пожалуйста, мадам, прошу вас, называйте меня так.

Она опустила глаза:

— Нет, я недостаточно для этого с вами знакома.

Он прошептал:

— Вы мне позволите надеяться, что мы познакомимся ближе?

— Хорошо, тогда посмотрим, — сказала она.

Он посторонился у спуска узкой лестницы, освещенной газовым рожком; внезапный переход от дневного света к этому желтому огню производил унылое впечатление. По лестнице подымался подвальный запах, — запах прелой сырости, заплесневелых вымытых стен, — вместе с запахом ладана, напоминавшего церковную службу, и запахом дамских духов: вербены, ириса, фиалки.

В подвале слышался громкий гул голосов, чувствовалось волнение возбужденной толпы.

Весь подвал был освещен гирляндами газовых рожков и венецианскими фонариками, скрытыми в зелени, покрывавшей каменные стены. Все было сплошь покрыто ветвями, потолок — папоротником, пол — листьями и цветами.

Убранство находили очаровательным. В глубине подвала возвышалась эстрада.

Вдоль всего подвала были расставлены скамейки по десяти с правой и с левой стороны, где могло поместиться двести человек. Приглашенных, однако, было четыреста.

Перед эстрадой, на виду у публики, уже красовались молодые люди в фехтовальных костюмах, стройные, худые, с закрученными усами. Их называли по именам, указывали на профессионалов и любителей, знаменитостей ремесла. Вокруг них беседовали мужчины в сюртуках, молодые и старые, которые держались как хорошие знакомые с фехтовальщиками, готовившимися к состязанию. Они также выставались напоказ, желали быть узванными и названными; это были лучшие фехтовальщики, известные борцы.

Почти все скамейки были заняты женщинами, производившими шум шелестом платьев и громким шепотом. Они обмахивались веерами, как в театре, так как в этом зеленом гроте уже стояла жара как в бане. Какой-то шутник время от времени выкрикивал:

— Оршад¹! Лимонад! Пиво!

Госпожа Вальтер и ее дочери наконец добрались до своих мест в первом ряду. Дю Руа усадил их и, собираясь уходить, прошептал:

¹ Оршад — прохладительный напиток, обычно из миндального молока с сахаром (примеч. ред.).

— Я должен вас оставить — мужчины не имеют права занимать скамеек. На что госпожа Вальтер ответила нерешительно:

— Мне очень хочется, чтобы вы остались с нами. Вы будете нам называть состояжающихся. Слушайте, если вы останетесь стоять здесь возле скамейки, вы никого не стесните.

Она посмотрела на него своими большими молящими глазами. Повторила:

— Ну же, останьтесь с нами... господин Милый друг... Вы нам нужны.

Он отвечал:

— Я повинуюсь... С удовольствием, мадам.

Со всех сторон слышалось:

— Очень забавно в этом подземелье, очень мило...

Жорж хорошо знал эту залу со сводами! Он вспомнил утро, которое провел там накануне дуэли, в полном одиночестве, наедине с кружком белого картона, глядевшим на него из глубины второго подвала точно страшный, чудовищный глаз...

Голос Жака Риваля раздался с лестницы:

— Сейчас начнется, дамы!

И шесть мужчин в плотно прилегающей одежде, четко обрисовывавшей торс, взошли на эстраду и уселись на стулья, предназначенные для судей.

Их имена тотчас облетели зал: генерал де Рейнальди, председатель, маленький человек с большими усами; художник Жозефен Руде, высокий плешивый мужчина с длинной бородой; Матео де Южар, Симон Рамонсель, Пьер де Карвен — три молодых щеголя, и Гаспар Мерлерон, преподаватель.

Два плаката висели по обеим сторонам подземелья. На правом было написано: «господин Кревкер», на левом — «господин Плюмо».

Это были двое учителей — двое хороших первоклассных учителей. Они вошли, оба сухощавые, держась по-военному, с несколько деревянными жестами. Сделав механическое приветствие оружием, они начали атаку, похожие в своих полотняных и замшевых костюмах на балаганных солдатиков, дерущихся для забавы.

От времени до времени слышалось: «Удар!» И шесть судей наклоняли голову вперед с видом знатоков. Зрители не видели ничего, кроме живых марионеток, жестикулирующих руками; никто ничего не понимал, но все были довольны. Эти два субъекта казались им, однако, довольно смешными и не особенно грациозными. Вспоминались деревянные борцы, продающиеся на Новый год на бульварах.

Два первых фехтовальщика сменились господами Плантон и Карапен, штатским и военным преподавателями. Господин Плантон был маленького роста, а господин Карапен очень толст. Можно было подумать, что первый же удар выпустит весь пар из этого шарика, похожего на гуттаперчевое сло-на. Зрители хохотали. Господин Плантон прыгал, как обезьяна. Господин Карапен шевелил только рукой, весь же его корпус не двигался вследствие грузности; через каждые пять минут он наклонялся вперед с таким усилием

и так тяжело, точно принимал энергическое решение... Потом ему стоило большого труда выпрямиться.

Знатоки находили его манеру очень выдержанной и верной. И публика верила им на слово.

Потом появились господа Порьон и Лапальм — учитель и любитель, пустившиеся в ожесточенную борьбу, бросавшиеся яростно друг на друга, заставлявшие судей убегать вместе со стульями, летавшие по всей эстраде, догоняя один другого смешными и мощными прыжками. Они отступали маленькими скачками, вызывая хохот у дам; наоборот, наступали большими — возбуждавшими зрителей. Это состязание в гимнастике было охарактеризовано каким-то остряком, закричавшим:

— Не старайтесь, оплата-то почасовая!

Зрители, покоробленные этою плоскостью, шикнули. Мнения экспертов передавались из уст в уста: фехтовальщики выказали много отваги, но действовали не всегда удачно.

Первое отделение закончилось блестящим состязанием на шпагах между Жаком Ривалем и известным бельгийским профессором Лебегом. Риваль произвел большую сенсацию среди дам. Он действительно был очень красив, хорошо сложенный, гибкий, подвижный и более грациозный, чем все его предшественники. В его манере сражаться и нападать было известного рода изящество, которое подкупало, в особенности в сравнении с энергичной, но вульгарной манерой его противника.

— Сейчас видно хорошо воспитанного человека, — говорили о нем.

Он имел успех. Ему аплодировали.

Но уже в течение нескольких минут из верхнего этажа доносился странный шум, беспокоивший зрителей, громкое топотанье, сопровождаемое оглушительным хохотом. Двести приглашенных, которые не смогли спуститься в подземелье, должно быть, забавлялись по-своему. На маленькой винтовой лестнице толпилось около пятидесяти мужчин. Внизу же становилось невыносимо. Раздавались крики: «Воздуху! Пить!» Тот же остряк кричал пронзительным голосом, заглушавшим голоса разговаривающих:

— Оршад! Лимонад! Пиво!

Риваль появился, весь красный, все еще в фехтовальном костюме:

— Я велю принести прохладительного, — сказал он.

И побежал к лестнице. Но всякое сообщение с первым этажом было прервано. Казалось, что одинаково трудно проломить потолок или продраться сквозь стену зрителей, столпившихся на ступеньках.

Риваль закричал:

— Велите принести мороженого для дам!

Пятьдесят голосов повторило:

— Мороженого!

Наконец появился поднос, но стаканы на нем были пустые, так как прохладительное было уничтожено по дороге.

Кто-то громко заревел:

— Здесь задохнешься, кончайте скорей, и уйдем.

Другой голос крикнул:

— Сбор! — И вся публика, задыхающаяся от жары, но все же весело настроенная, подхватила: — Сбор! Сбор! Сбор!..

Шесть дам начали обходить скамейки, и послышался легкий звон серебра, падающего в кошельки.

Дю Руа называл госпоже Вальтер всех известных людей. То были светские щеголи, журналисты, сотрудники больших старых газет, смотревших на «Французскую жизнь» свысока, с осторожностью опытных людей; они уже столько видели безвременно скончавшихся газет, основанных на политико-финансовых операциях, рушащихся вместе с переменой министерства. Были здесь также художники и скульпторы, которые все любят спорт, поэт-академик, привлекавший внимание, два музыканта и множество знатных иностранцев, к фамилии которых Дю Руа прибавлял слог «рас» (что означало «расканалья») в подражание, по его словам, англичанам, которые ставят на своих карточках слог «эск»¹.

Кто-то воскликнул:

— Здравствуйте, Милый друг!

Это был граф де Водрек. Дю Руа извинился перед дамами и пошел с ним поздороваться. Возвратясь, он заявил:

— Этот Водрек очарователен. Как в нем чувствуется порода!

Госпожа Вальтер ничего не ответила. Она немного устала, и грудь ее усиленно вздымалась при каждом вздохе, на что Дю Руа обратил внимание. От времени до времени он встречал беспокойный взгляд «патронессы», явно избегавший его взгляда. И говорил себе: «Неужели, неужели, неужели... неужели я и эту победил?»

Сборщицы кончили обход. Кошельки их были полны золота и серебра. На эстраде появился новый плакат с объявлением: «Грандиозный сюрприз». Судьи снова заняли свои места. Все ждали.

Появились две женщины с рапирами в руках, одетые в темное трико и коротенькие, до половины бедер, юбки, с такими накрахмаленными пластрогами², что они должны были все время держать голову вверх. Они были молоды и красивы. Улыбались, раскланивались с публикой. Им много аплодировали.

Стали в позицию среди одобрительного шума и острот, произносимых шепотом.

На губах судей застыла любезная улыбка; они одобряли удары дам еле слышным «браво».

¹ «Эск» — сокращение от «эсквайр» (дворянин, помещик) (*примеч. ред.*).

² *Пластрон* — здесь: нагрудник фехтовальщика или подложенная под него защитная подушка, которую подкладывали под нагрудник (*примеч. ред.*).

Публика отнеслась очень сочувственно к этому состязанию, выражая свое одобрение состязующимся, зажигавшим желание в мужчинах и пробуждавшим в женщинах природный интерес парижан ко всему легкомысленному, мнимо-изящному и мнимо-грациозному, вроде кафешантанных певиц и опереточных куплетов.

Всякий раз, когда одна из нападающих делала выпад, в публике пробегало радостное оживление... Та, которая стояла спиной к публике, заставляла рты открываться и глаза вытаращиваться; и нельзя было определить — следили ли зрители за движениями ее руки или мощной спины?

Им неистово аплодировали.

Затем последовало состязание на саблях, но никто уже не смотрел — все внимание было поглощено тем, что происходило наверху. В течение нескольких минут слышался шум передвигаемой мебели, точно переезжали с квартиры. Потом вдруг над потолком раздались звуки фортепьяно и ясно послышался ритмический топот ног, прыгающих в такт. Посетители наверху открыли бал, чтобы вознаградить себя за то, что им ничего не пришлось видеть.

Сначала зрители в фехтовальной зале расхохотались, потом у женщин явилось желание танцевать; они перестали обращать внимание на то, что происходило на эстраде, и принялись громко разговаривать.

Находили забавной эту мысль — устроить танцы для запоздавших. Теперь они, вероятно, не сучали. И всем захотелось идти наверх.

Но появились два новых противника, наступавших друг на друга с такой уверенностью, что внимание всех невольно обратилось на них.

Они нападали и отбивались с такою изворотливой грацией, с такою рассчитанной силой, с такой уверенностью манер, с таким чувством меры, что невежественная толпа была ошеломлена и поражена.

Их спокойная живость, их тактичная находчивость, их быстрые движения, рассчитанные до того, что казались медленными, привлекали и пленяли глаз своим совершенством. Зрители почувствовали, что перед ними прекрасное и редкое зрелище, что два великих артиста показывают ей все, что может быть лучшего, что только возможно показать мастерам в искусстве физической ловкости, изворотливости и тактики.



Никто не говорил — настолько все были заняты ими. Потом, когда они после последнего удара обменялись друг с другом рукопожатиями, раздались крики «браво»... Ревели, топали ногами. Имена их были у всех на устах: Сержан и Равеньяк.

Все были возбуждены и хотели спорить... Мужчины посматривали на своих соседей, ища предлога для спора. Иные смотрели с вызывающей улыбкой. Те, которые никогда не держали в руке рапиры, изображали при помощи тросточек нападения и отражения.

Постепенно толпа стала убывать — все направились пить. Но каково было негодование, когда узнали, что танцоры опустошили весь буфет и удалились, заявив, что нечестно было созывать двести человек, чтобы ничего им не показать.

Не осталось ни одного пирожка, ни капли шампанского, сиропа или пива, ни одной конфетки, ни одного фрукта, ничего, решительно ничего. Разграбили, опустошили, уничтожили все.

Заставили рассказывать прислугу, которая старалась принять негодующий вид, еле удерживаясь от смеха. «Дамы возмущались больше мужчин, и с такою яростью набросились на угощение, что могли заболеть». Можно было подумать при этом, что речь идет о разграблении целого города во время нашествия неприятеля.

Оставалось только уйти. Мужчины жалели о двадцати франках, данных при сборе, и возмущались тем, что посетители наверху попиrowали, ничего не заплатив.

Дамы-патронессы собрали более трех тысяч франков.

За покрытием всех расходов оставалось двести восемьдесят франков в пользу сирот Шестого округа.

Дю Руа, сопровождавший семейство Вальтер, поджидал свою коляску. Провожая патронессу и сидя против нее, он еще раз встретился с ее ласковым и беспокойным взглядом. Подумал: «Черт возьми, кажется, клюет», и улыбнулся при мысли, что он действительно имеет успех у женщин, так как госпожа де Марель после возобновления их связи проявляла свою любовь самым пылким образом.

Он вернулся домой очень веселый.

Мадлена ожидала его в гостиной.

— У меня есть новости, — сказала она. — Дела в Марокко осложняются. Вполне возможно, что Франция пошлет туда через несколько месяцев экспедицию. Во всяком случае, этим можно воспользоваться для свержения министерства, что даст Ларошу возможность захватить портфель иностранных дел.

Дю Руа, желая подразнить жену, притворился, что он ничему не верит.

— Они не будут настолько глупы, чтобы снова повторить тунисскую чепуху...¹

¹ В 1881 г. Франция оккупировала Тунис, что вызвало восстание местного населения (*примеч. ред.*).

Но она нетерпеливо пожала плечами:

— Я тебе говорю, что будет так, я тебе говорю — да. Ты, значит, не понимаешь, что здесь для них пахнет большим кушем денег... Теперь, мой милый, в политических комбинациях не говорят «Ищите женщину», но говорят: «Ищите выгоды».

Он пробормотал:

— Чепуха! — с презрительным видом, чтобы ее раззадорить.

Она возмутилась:

— Слушай, ты такой же дурак, как Форестье.

Она хотела его уязвить и ожидала, что он рассердится. Но он улыбнулся и ответил:

— Как этот рогоносец Форестье?

Это ошеломило ее. Она прошептала:

— О! Жорж!

У него был дерзкий и вызывающий вид. Он снова начал:

— Ну, что ж? Разве ты мне не призналась тогда вечером, что Форестье носил рога?... — И прибавил: — Бедный малый! — тоном искреннего сожаления.

Мадлена повернулась к нему спиной, не удостоив ответом. Потом, минуту помолчав, сказала:

— Во вторник у нас будут гости: госпожа Ларош-Матье придет обедать с виконтессой де Персмюр. Хочешь пригласить Риваля и Норбера де Варена? Я буду завтра у госпожи Вальтер и госпожи де Марель. Может быть, придет также госпожа Рисолен.

С некоторых пор она стала заводить знакомства, пользуясь политическим влиянием мужа, чтобы тем или иным способом привлечь к себе жен сенаторов и депутатов, нуждавшихся в поддержке «Французской жизни».

Дю Руа ответил:

— Отлично, — я приглашу Риваля и Норбера.

Он был доволен, потирал руки, потому что нашел, чем изводить жену, мстя ей за смертельную ревность, зародившуюся в нем после их поездки в лес. Теперь он не иначе говорил о Форестье, как называя его рогоносцем. Он чувствовал, что в конце концов это должно взбесить Мадлену. В продолжение вечера он раз десять упоминал с добродушной иронией об этом «рогоносце Форестье».

Он уже не сердился на покойного, он мстил за него.

Жена притворялась, что не слышит, и сидела против него с равнодушным и улыбающимся видом.

На следующий день, когда она собиралась ехать приглашать госпожу Вальтер, он поехал раньше нее в надежде застать жену патрона одну и убедиться, действительно ли она к нему расположена. Это забавляло его и льстило ему. К тому же... почему бы и нет... Если это возможно.

Он явился на бульвар Мальзерб к двум часам. Его попросили в гостиную. Он стал ожидать.

Вошла госпожа Вальтер, поспешно и радостно протягивая ему руку.

— Какой добрый ветер вас занес?

— Не ветер, а желание вас видеть. Какая-то сила повлекла меня к вам, не знаю почему, не знаю для чего... И вот я пришел! Надеюсь, что вы простите мне этот ранний визит и откровенность моего объяснения?

Сказал все это галантным и шутивым тоном, с улыбкой на губах, но с серьезной нотой в голосе.

Она казалась удивленной, слегка покраснела, пробормотала:

— Но... право... Я не понимаю... Вы меня удивили...

Он прибавил:

— Я объясняюсь вам в любви веселым тоном, чтобы вас не испугать.

Они сидели близко рядом. Она хотела обратить дело в шутку.

— Так значит, это объяснение? Серьезное?

— Разумеется! Уже давно я хотел вам признаться, давным-давно. Но я не смел. Я столько слышал о вашей строгости и недоступности...

Она овладела собою, приняла свой обычный вид. Сказала:

— Почему вы выбрали именно сегодняшний день?

— Не знаю. — Потом, понизив голос: — Вернее, потому, что со вчерашнего дня я только и думал о вас.

Она пробормотала, внезапно побледнев:

— Полно дурачиться, поговорим о чем-нибудь другом.

Но он упал перед ней на колени так неожиданно, что она испугалась. Она

хотела встать; но он удержал ее силою, обняв за талию обеими руками и говоря страстным голосом:

— Да, это правда, что я вас люблю, люблю безумно, люблю давно. Не отвечайте мне. Что же делать, я сумасшедший! Я вас люблю! О! Если бы вы знали, как я вас люблю!

Она задышалась, тяжело дыша, старалась что-то сказать и не могла выговорить ни одного слова. Она отталкивала его обеими руками, ухватившись за его волосы, чтобы отклонить его губы, приближавшиеся к ее губам. И поворачивала голову справа налево и слева направо быстрым движением, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть.

Он прикасался к ней сквозь платье, трогал, ощупывал ее; она изнемогала от этих грубых, чувственных



прикосновений. Вдруг он поднялся и хотел заключить ее в свои объятия, но, освободившись на минуту, она быстро вырвалась и стала перебегать от кресла к креслу...

Он решил, что преследовать ее будет смешно, и упал в кресло, закрыв лицо руками, притворяясь, что сдерживает рыдания.

Потом поднялся, закричал:

— Прощайте, прощайте! — и исчез.

В передней он преспокойно разыскал свою трость и вышел на улицу, думая: «Черт возьми! Кажется, дело в шляпе». И зашел на телеграф, чтобы послать Клотильде телеграмму, назначив ей свиданье на следующий день.

Вернувшись домой в обычный час, он спросил жену:

— Ну что, все твои гости будут к обеду?

Она ответила:

— Да, только госпожа Вальтер не уверена, будет ли она свободна. Она колеблется; говорила мне о чем-то — о долге, о совести, вообще имела забавный вид. Все равно, я уверена, что она придет.

Он пожал плечами:

— Ну конечно, придет.

Однако в глубине души он не был уверен и беспокоился до самого дня обеда.

Утром в этот день Мадлена получила записку от госпожи Вальтер:

«Мне удалось с большим трудом освободиться, и я буду у вас. Но мой муж лишен возможности меня сопровождать».

Дю Руа подумал: «Я отлично сделал, что не был больше у нее. Теперь она успокоилась. Нужно действовать исподволь».

Однако он ожидал ее появления с легким беспокойством. Она появилась, очень спокойная, немного высокомерная и сдержанная. Он принял скромный и почтительный вид.

Госпожи Ларош-Матье и Рисолен явились в сопровождении своих мужей. Виконтесса де Персмюр повествовала о большом свете... Госпожа де Марель была восхитительна в оригинальном испанском туалете, желтом с черным, превосходно облегавшем ее тонкую талию, полную грудь, руки и характерно оттенявшем ее маленькую птичью головку.

Дю Руа сидел по правую сторону госпожи Вальтер и в продолжение обеда говорил только о серьезных вещах, с преувеличенной почтительностью. От времени до времени он посматривал на Клотильду. «Конечно, она красивее и интереснее», — думал он. Потом его взгляд останавливался на жене, которую он тоже находил недурной, хотя продолжал чувствовать против нее глухое затаенное раздражение.

Госпожа Вальтер возбуждала его трудностью победы и новизной, всегда так привлекающей мужчин.

Она собралась рано домой.

— Я вас провожу, — сказал он.

Она отказалась.

Он настаивал:

— Почему вы не хотите? Вы меня жестоко оскорбляете. Не заставляйте меня думать, что вы мне еще не простили. Вы видите, я спокоен.

Она ответила:

— Вам неудобно оставлять ваших гостей.

Он улыбнулся:

— Пустяки! Я отлучусь всего на двадцать минут. Никто даже не заметит. Ваш отказ оскорбит меня до глубины души.

Она прошептала:

— Ну хорошо, я соглашаюсь.

Как только они очутились в карете, он схватил ее руку и стал страстно целовать ее:

— Я люблю вас, люблю вас. Позвольте мне это сказать. Я вас не трону... Я только хочу повторить вам, что люблю вас.

Она пробормотала:

— О... После того, что вы мне обещали... Это дурно, очень дурно...

Он притворился, что с трудом владеет собой, затем продолжал сдержанно:

— Видите, как я владею собою, и в то же время... Но позвольте мне, по крайней мере, вам сказать... Я люблю вас... И буду это повторять вам каждый день... Да, позвольте мне приходить к вам на пять минут, становиться на колени и говорить эти три слова, глядя на ваше обожаемое лицо.

Она не отнимала у него руки и ответила, тяжело дыша:

— Нет, я не могу, не хочу... Подумайте, что будет говорить прислуга, мои дочери... Нет, нет, это невозможно.

Он продолжал:

— Я не могу больше жить, не видя вас. Пусть это будет у вас или где в другом месте, но я должен вас видеть, хотя бы каждый день на минуту, прикасаться к вашей руке, дышать одним воздухом с вами, любоваться очертаниями вашего тела и вашими дивными большими глазами, которые сводят меня с ума...

Она слушала, вся трепеща, эту банальную музыку любви и бормотала:

— Нет, нет, это невозможно. Замолчите!

Он стал шептать ей на ухо, поняв, что ее нужно брать исподволь, что нужно принудить ее назначить ему свидание, — сначала где она хочет, потом где он захочет.

— Послушайте... Мне это необходимо... Я должен видеть... Я буду вас ожидать у двери, как нищий... Если вы не выйдете, я подымусь к вам... Но я увижу вас... Увижу вас... завтра.

Она повторяла:

— Нет, нет, не приходите. Я вас не приму. Подумайте о моих дочерях...

— В таком случае скажите, где я могу вас встретить... вне дома... Где хотите, когда хотите, мне все равно, лишь бы вас видеть... Я поклонюсь вам... Шепну: «Люблю вас», и уйду.

Она колебалась, окончательно растерявшись. И так как экипаж подъезжал к ее дому, она быстро прошептала:

— Ну, хорошо, я буду завтра в половине четвертого у церкви Святой Троицы.

Затем она вышла, кликнув кучеру:

— Отвезите господина Дю Руа домой.

Когда он вернулся, жена спросила его:

— Ты где был?

Он ответил, понизив голос:

— Заходил на телеграф отправить спешную депешу.

Госпожа де Марель подошла к нему:

— Вы меня проводите, Милый друг? Ведь я езжу обедать так далеко только на этом условии... — Затем, обратившись к Мадлене: — Ты не ревнуешь?

Госпожа Дю Руа медленно ответила:

— Нет, не слишком.

Гости разошлись. Госпожа Ларош-Матье держала себя как провинциальная горничная. Она была дочерью нотариуса, когда вышла за Лароша, тогда еще неизвестного адвоката. Госпожа Рисолен, пожилая претенциозная особа, походила на бывшую акушерку, получившую сомнительное образование... Виконтесса де Персмюр смотрела на них свысока. Ее «белая лапка» с отворачиванием притрагивалась к рукам простых смертных.

Клотильда, закутавшись в кружева, сказала Мадлене, прощаясь с нею у лестницы:

— Твой обед был шикарен. Скоро у тебя будет первый политический салон в Париже.

Как только они остались вдвоем, она заключила Жоржа в объятия.

— О, мой дорогой Милый друг, я люблю тебя с каждым днем все больше!

Экипаж, увозивший их, качался, как корабль.

— В нашей комнате лучше, — сказала она.

Он ответил:

— О да!

Но мысли его были заняты госпожой Вальтер.





IV

Был жаркий июльский день, и площадь Святой Троицы совершенно пустынна. Над Парижем стояла душливая жара, как будто весь раскаленный воздух спустился с высот на город, нагрев его до того, что тяжело было дышать.

Перед церковью лениво били фонтаны. Они казались утомленными, изнемогающими, а вода бассейна, где плавали листья и клочки бумаги, — зеленоватой, мутной и густой.

Собака, перепрыгнувшая через каменный барьер, купалась в этой подозрительной мути. Несколько человек, сидевших на скамьях круглого палисадника перед входом, смотрели с завистью на животное.

Дю Руа вынул часы. Было только три часа. Оставалось еще целых полчаса.

Он улыбался, думая об этом свидании. «Церковь служит ей во всех случаях, — подумал он. — Утешает в замужестве с евреем, придает вид протестантки в политическом мире, поднимает в глазах высшего общества и укрывает в любовных похождениях. Вот что значит привычка обращаться с религией как с зонтиком... В случае хорошей погоды он заменяет трость, в случае жары защищает от солнца, в случае ненастья — от дождя; если же не выходят — оставляют его в передней. На свете сотни таких женщин, которым нет ровно никакого дела до Господа Бога, но которые не хотят, чтобы Его бранили, и при случае берут Его в посредники. Если им предложат пойти в меблированные комнаты, они сочтут это позором, находя в то же время совершенно естественным вести шашни у подножья алтаря».

Он медленно ходил вдоль бассейна; потом снова посмотрел на башенные часы, которые шли впереди его часов на две минуты. Теперь на них было пять минут четвертого.

Решил, что лучше будет войти в церковь и подождать там. При входе его обдало прохладой подвала. Он вздохнул с удовольствием, потом обошел церковь кругом, чтобы лучше ознакомиться с местом.

Из глубины обширного здания навстречу его шагам, гулко раздававшимся под высоким сводом, звучали другие мерные шаги, то удалявшиеся, то приближавшиеся. Ему захотелось посмотреть на ходившего. Увидал его. Это был полный лысый господин, прогуливавшийся с беспечным видом, держа шляпу за спиной. Кое-где молились на коленях старухи, закрыв лицо руками.

Чувствовалась тишина, уединенность, замкнутость. Свет, задерживаемый цветными стеклами, был приятен для глаз.

Дю Руа нашел, что здесь «чертовски хорошо».

Он вернулся к двери и снова посмотрел на часы. Было только четверть четвертого. Он сел у главного входа, жалея, что здесь нельзя закурить сигаретку. На другом конце церкви, близ хор, все еще слышались неторопливые шаги полного господина.

Кто-то вошел. Жорж быстро обернулся. Это была простая женщина, в шерстяной юбке, упавшая на колени возле первого стула и оставшаяся неподвижной со сложенными руками, устремив глаза к небу, вся поглощенная молитвой.

Дю Руа смотрел на нее с любопытством, спрашивая себя, какое горе, какая печаль надрывали эту простую душу. Может быть, нищета, заметная по ее одежде. Может быть, муж, колотивший ее, или умирающий ребенок...

Подумал: «Несчастливые существа. Ведь есть же такие, которые непрерывно страдают». И вдруг почувствовал злобу против безжалостной судьбы. Потом стал размышлять, что эти бедняки, по крайней мере, верят в то, что о них заботятся на небе и что их земная жизнь уравнивается на мировых весах справедливости. «Там, наверху». Но где же?

И Дю Руа, которого тишина церкви располагала к размышлениям, решил, что все на свете нелепо, и прошептал:

— Как все это глупо устроено.

Шелест платья заставил его вдрогнуть. Это была она. Он встал, быстро подошел к ней.

Она не протянула ему руки и только тихо сказала:

— Я располагаю всего несколькими минутами. Я должна тотчас вернуться; встаньте на колени возле меня, чтобы нас не заметили,

И она направилась в самую середину, отыскивая приличное и надежное место, с видом женщины, хорошо знакомой с помещением. Лицо ее было закрыто густой вуалью, ноги еле касались пола.

Дойдя до хор, она обернулась и пробормотала таинственным тоном, которым говорят в церквях:

— Пожалуй, в боковых приделах лучше — здесь слишком на виду.

Перед дарохранительницей главного алтаря она преклонила голову и слегка присела, повернула направо, в сторону выхода, потом, наконец решившись, взяла налой¹ для моления и опустилась на колени.

¹ Налой (устар.) — аналой, подставка для книг и икон (примеч. ред.).

Жорж встал рядом с нею и в ожидании проповеди сказал:

— Благодарю вас, благодарю. Я вас обожаю. Я бы хотел это вам постоянно повторять, рассказать вам, как я начал вас любить, как я влюбился в вас с первого же раза... Позвольте ли вы мне когда-нибудь излить мою душу, высказать вам все это?

Она слушала его, погруженная в свои мысли, точно ничего не понимая. Наконец ответила еле слышно:

— Я совершила безумие, позволив вам так говорить, безумие, что пришла, безумие то, что я делаю, подавая вам надежду, что этот случай может иметь последствия. Забудьте это, пожалуйста, и никогда не говорите мне об этом.

Она замолчала. Он подыскивал ответ — решительные, пламенные слова, но, не будучи в состоянии подкрепить их жестами, не знал, что сказать.

Он начал снова:

— Я ничего не ожидаю... ни на что не надеюсь. Я люблю вас. Что бы вы ни делали, я буду вам повторять это так часто, с такой настойчивостью и страстью, что в конце концов вы поймете меня. Я хочу, чтобы вся моя нежность передалась вам, чтобы она проникла вам в душу, слово за словом, изо дня в день, из часу в час, чтобы она смягчила ваше сердце и заставила вас когда-нибудь ответить мне: «Я вас тоже люблю».

Он чувствовал, как дрожало ее плечо, прикасаясь к его плечу, как вздымалась ее грудь; она прошептала скороговоркой:

— Я вас тоже люблю.

Он привскочил, словно его ударили по голове, и испустил вздох:

— О господи боже мой!..

Она продолжала, задыхаясь:

— Зачем я вам это сказала? Я чувствую себя преступницей, презренной... Я... имеющая двух дочерей... но я не могу... не могу... Я бы никогда не поверила, никогда не подумала... Но это сильнее... сильнее меня. Слушайте... Слушайте... Я никогда никого не любила, кроме вас... клянусь вам... И люблю вас уже целый год, тайно, в глубине моего сердца... О! Сколько я страдала, если бы вы знали, и больше не в силах... Я люблю вас...

Она плакала, закрыв лицо руками, и все ее тело вздрагивало, потрясенное волнением.

Жорж пробормотал:



— Дайте мне коснуться вашей руки, погладить ее...

Она медленно отняла руки от лица. Он увидал ее щеку, мокрую, и слезинку, готовую скатиться с ресницы.

Он взял ее руку, сжал ее:

— О! Как бы я хотел осушить ваши слезы...

Она сказала тихим, упавшим голосом, похожим на стон:

— Не соблазняйте меня... Я и так уж погибла...

Он едва удержался от улыбки.

Что мог он с нею сделать в этом месте? Он прижал к сердцу ее руку и спросил:

— Слышите, как оно бьется? Потому что весь запас его страстных излияний иссяк.

Уже несколько минут слышались шаги приближающегося господина. Он обошел все алтари и уже по крайней мере во второй раз спускался по маленькому правому приделу. Госпожа Вальтер, услышав, что он приближается, вырвала свою руку у Жоржа и снова закрыла ею лицо.

Они оба стояли неподвижно на коленях, как будто возносили к небу пламенные мольбы. Полный господин прошел мимо них, равнодушно поглядел и направился к выходу, продолжая держать шляпу за спиной.

Но Дю Руа, мечтавший о свидании где-нибудь в другом месте, прошептал:

— Где я вас увижу завтра?

Она не отвечала. Казалась безжизненной, застывшим изваянием, олицетворявшим молитву.

Он продолжал:

— Хотите, завтра встретимся в парке Монсо?

Она повернула к нему свое теперь открытое лицо, искаженное ужасным страданием, и прерывистым голосом:

— Оставьте меня... Оставьте меня теперь... уходите... уходите... Оставьте меня на пять минут одну... Я слишком страдаю в вашем присутствии, я хочу молиться... и не могу... Уйдите... Дайте мне помолиться... одной... пять минут... Я не могу... дайте мне умолить Бога, чтобы он меня простил... меня спас... Оставьте меня... на пять минут...

У нее был такой взволнованный вид, такое страдальческое лицо, что он встал, не говоря ни слова, потом, после минутного колебания, спросил:

— Вернуться мне через несколько минут?

Она кивнула головой, точно хотела сказать: «Да, позже».

Он направился к хорам.

Тогда она попробовала молиться. Сделала над собой невероятное усилие, чтобы призвать Бога, и, трепеща всем телом, не помня себя, воскликнула, обращаясь к небу:

— Милосердия!

Она закрывала глаза, словно обезумев, чтобы не видеть больше того, который только что ушел! Она гнала от себя мысль о нем, боролась с искушением,

но вместо небесного видения, которого жаждало ее измученное сердце, продолжала видеть закрученные усы молодого человека.

В течение целого года она дни и ночи боролась с этим все возрастающим искушением, с этим образом, волновавшим ее мечты, терзавшим тело, нарушавшим сон. Она чувствовала себя как зверь, попавший в силки, сознавала, что она в его власти, брошена в объятия этого самца, пленившего и победившего ее цветом своих глаз, пушистыми усами...

Теперь, в этой церкви, так близко от Бога, она чувствовала себя еще слабее, еще более покинутой и потерянной, чем дома. Она была не в состоянии молиться, думая беспрестанно о нем. И уже страдала оттого, что он ушел. В то же время она отчаянно боролась, напрягала все силы для того, чтобы противостоять искушению. Она предпочла бы умереть, чем пасть, так как никогда не изменяла. Бормотала безумные слова мольбы, но прислушивалась к шагам Жоржа, замиравшим вдалеке.

И поняла, что все кончено, что сопротивляться бесполезно! Но все же не хотела сдаться; ее охватило нервное иступление, бросающее женщин, рыдающих, корчащихся, на землю. Все ее тело дрожало, как в лихорадке, и она чувствовала, что может упасть и кататься между стульев, испуская пронзительные крики.

Кто-то приближался быстрыми шагами. Она повернула голову. Это был священник. Тогда она встала, подбежала к нему и, протягивая сложенные руки, пробормотала:

— О, спасите меня!

Он остановился в изумлении:

— Что вам угодно, мадам?

— Я хочу, чтобы вы меня спасли. Сжальтесь надо мной, если вы не можете мне, я погибла.

Он посмотрел на нее, спрашивая себя, не сумасшедшая ли она. Снова спросил:

— Что я могу для вас сделать?

Это был молодой человек, высокий, немного полный, с толстыми отвисшими щеками, с черным налетом от тщательного бритья на лице, видный городской викарий из состоятельного квартала, привыкший к богатым прихожанам.

— Выслушайте мою исповедь, — сказала она, — и посоветуйте мне, поддержите меня, скажите, что мне делать!

Он отвечал:

— Я исповедую по субботам, от трех до шести часов.

Она схватила его руку и, сжимая ее, повторяла:

— Нет! Нет! Нет! Я хочу сейчас! Сейчас же! Это необходимо! Он здесь! В этой церкви! Он ждет меня!

Священник спросил:

— Кто вас ждет?

— Человек... который меня погубит... который мною овладеет, если вы меня не спасете... Я не в состоянии больше скрываться от него... Я слишком слаба... слишком слаба... так слаба.... так слаба!..

Она бросилась перед ним на колени, рыдая:

— О! Сжалось надо мной, отец мой! Спасите меня, во имя Господа, спасите меня!

Она ухватила за его черную сутану, чтобы он не мог уйти; а он, обеспокоенный, глядел по сторонам, не наблюдает ли чей-нибудь злокозненный или благочестивый взгляд эту женщину, распростертую у его ног.

Наконец, поняв, что она не отстанет, он сказал:

— Встаньте; сегодня, как нарочно, ключ от исповедальни при мне. — И, порыскав в кармане, вынул связку ключей, выбрал один из них и направился быстрыми шагами к маленьким деревянным клеткам, похожим на ящики, куда верующие вытряхивают свои грехи.

Он вошел в среднюю дверь, которую запер за собою. Госпожа Вальтер, бросившись в узкую клетку рядом, страстно прошептала, охваченная экстазом надежды:

— Благословите меня, отец мой, — я согрешила.



Дю Руа, обойдя вокруг хор, дошел до левого придела. Дойдя до середины, он встретил полного лысого господина, все время прогуливавшегося спокойным шагом, и подумал: «Что этот чудака здесь делает?»

Господин тоже замедлил шаги и посмотрел на Жоржа с явным желанием заговорить. Подойдя к нему, он поклонился и очень вежливо сказал:

— Извините, месье, что я вас беспокою, но не можете ли вы мне сказать, к какому времени относится постройка этого здания?

Дю Руа ответил:

— Право, я и сам не знаю. Думаю, что его построили лет двадцать или двадцать пять тому назад¹. Впрочем, я здесь сам в первый раз.

— И я тоже. Раньше я здесь никогда не бывал.

Тогда журналист, подстрекаемый любопытством, сказал:

¹ Церковь Трините (Святой Троицы) была построена в 1861–1867 гг. (примеч. ред.).

— Кажется, вы осматриваете его очень тщательно. Изучаете во всех подробностях.

Тот ответил:

— Я его не осматриваю, месье, я ожидаю мою жену, которая назначила мне здесь свидание, но сильно запоздала.

Потом он замолчал и спустя несколько секунд добавил:

— На улице чертовски жарко.

Дю Руа, рассмотрев его, нашел, что он недурен, и вдруг ему показалось, что он похож на Форестье.

— Вы провинциал? — спросил он.

— Да. Я из Ренна. А вы, сударь, зашли в эту церковь ради осмотра?

— Нет, я ожидаю одну даму. — И, раскланявшись, журналист удалился с улыбкой на губах.

Приблизившись к главному входу, он снова увидал женщину на коленях, все еще погруженную в молитву. Подумал: «Однако! Она прилежно молится». Теперь он уже не волновался, и ему не было ее жаль. Он прошел мимо и стал не спеша подвигаться к правому приделу, чтобы встретиться с госпожой Вальтер.

Еще издали он увидал место, где он ее оставил. И удивился, что ее там нет. Подумал, что ошибся наложом, прошел мимо остальных и снова вернулся. Значит, она ушла! Он был поражен и взбешен. Потом ему представилось, что она его ищет, и он снова обошел церковь. Не найдя ее нигде, он вернулся и сел на стул, на котором она сидела, в надежде, что она вернется, и стал ждать.

Вскоре легкий шепот привлек его внимание. Но в этом углу церкви он никого не видал. Откуда же исходил этот шепот? Он поднялся, чтобы посмотреть, и увидал в соседней часовне дверцу исповедальни. Из-под двери виднелся кончик платья женщины, лежавшей на полу. Он приблизился, чтобы рассмотреть женщину, и узнал ее. Она исповедовалась!

Он почувствовал сильное желание схватить ее за плечи и вытащить из этого ящика. Потом подумал: «Ну! Сегодня очередь священника, завтра — моя». И спокойно уселся против исповедальни, выжидая время и подсмеиваясь над приключением.

Ему пришлось долго ждать. Наконец госпожа Вальтер поднялась, обернулась, увидала его и подошла к нему. Лицо ее было холодно и сурово.

— Месье, — сказала она, — прошу вас не провожать меня, не следовать за мною и не приходить ко мне больше без кого-либо. Вас не примут. Прощайте! — И с достоинством удалилась.

Он дал ей уйти, так как принципиально не считал нужным форсировать события. Потом, увидав священника, слегка смущенного, выходящего из своего убежища, он подошел прямо к нему и, глядя ему в глаза, пробормотал сквозь зубы:

— Если бы вы не носили этой юбки, я бы вам охотно надавал пощечин по вашей скверной морде. — Затем повернулся и, посвистывая, вышел из церкви.

На паперти полный господин в шляпе, заложив руки за спину, устав от ожидания, оглядывал обширную площадь и все прилежавшие к ней улицы. Когда Дю Руа проходил мимо него, они раскланялись.

Журналист, почувствовав себя свободным, направился в редакцию. Как только он вошел, он заметил по озабоченным лицам лакеев, что случилось что-то необычайное, и поспешно вошел в кабинет издателя.

Старик Вальтер, стоя, возбужденный, диктовал статью отрывистыми фразами, давая в промежутки между двумя предложениями поручения окружавшим его репортерам, делал указания Буаренару и распечатывал письма.

Увидя Дю Руа, патрон радостно воскликнул:

— Ах, какое счастье! Вот и наш Милый друг!

Вдруг остановился, слегка сконфуженный, и извинился:

— Прошу прощения, что назвал вас так, я слишком взволнован обстоятельствами. К тому же я постоянно слышу дома, как жена и дети называют вас с утра до вечера Милым другом, и в конце концов я и сам привык к этому. Вы за это на меня не сердитесь?

Жорж засмеялся:

— Нисколько. В этом прозвище для меня нет ничего неприятного.

Вальтер продолжал:

— Отлично, в таком случае я буду вас называть Милым другом, так же, как все остальные. Итак, дело вот в чем. Мы накануне крупных событий. Министрство свергнуто большинством трехсот десяти голосов против ста двух. Каникулы отложены, а сегодня уже двадцать восьмое июля. Испания сердится за Марокко, что и послужило причиной падения Дюран де Лена и его приверженцев. У нас дел по горло. Маро поручили составить новый кабинет. Он приглашает генерала Бутена д'Акра военным министром, а нашего друга Лароша-Матье — министром иностранных дел. Себе он оставляет портфель внутренних дел и председательство в Совете. Наша газета становится официозом. Я составляю передовую статью, излагаю нашу программу и указываю на предстоящие реформы министрам.

Он улыбнулся и продолжал:

— Разумеется, я предписываю им то, на что они способны. Но мне нужно что-нибудь интересное относительно Марокко, что-нибудь имеющее злободневный характер, сенсационную заметку, статью... Найдите мне что-нибудь.

Дю Руа подумал секунду, потом сказал:

— Нашел. Я вам дам заметку о политическом положении нашей африканской колонии — Туниса, Алжира и Марокко, историю племен, населяющих эту территорию, описание экскурсий на марокканскую границу до большого оазиса Фигиг, куда еще не проникал ни один европеец. Это вам подойдет?

Вальтер воскликнул:

— Превосходно! А какое заглавие?

— «От Туниса до Танжера!»

— Великолепно!

И Дю Руа отправился разыскивать в комплекте «Французской жизни» свою первую статью «Воспоминания африканского охотника», которая, иначе озаглавленная, подновленная и измененная, отлично пригодится теперь, раз дело идет о колониальной политике, об алжирском населении и экскурсии в Оранскую провинцию.

В три четверти часа статья была переделана, подправлена и подана под свежим соусом, состоящим из злободневности и похвал новому кабинету.

Редактор, прочитав статью, заявил:

— Отлично, отлично, отлично... Вы драгоценный человек. Выше всяких похвал.

Дю Руа вернулся домой обедать, очень довольный этим днем, несмотря на неудачу в церкви Святой Троицы, так как чувствовал, что дело в шляпе.

Жена ожидала его с нетерпением. Увидя его, она воскликнула:

— Ты знаешь, что Ларош — министр иностранных дел?

— Да, я только что написал статью об Алжире по этому поводу.

— Какую статью?

— Ты ее знаешь, это первая, которую мы писали вместе: «Воспоминания африканского охотника», пересмотренная и исправленная сообразно с обстоятельствами.

Она улыбнулась:

— Ах! И правда, ведь она очень подходящая.

Потом, подумав, добавила:

— Я думаю о продолжении, которое ты должен был написать тогда и которое... бросил, не окончив. Мы бы могли теперь за него приняться. Это составило бы превосходный ряд статей по этому вопросу.

Он отвечал, усаживаясь перед тарелкой супа:

— Отлично, теперь этому ничто не помешает, раз этот рогиносец Форестье околел...

Она резко ответила сухим, обиженным тоном:

— Эта шутка переходит все границы, и я прошу тебя положить этому конец. Я терплю ее и так слишком долго.

Он хотел иронически возразить, но в это время принесли телеграмму, содержавшую всего одну фразу без подписи:

«Я совершенно обезумела, простите меня и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо».

Он понял, и, внезапно обрадовавшись, сказал жене, опуская телеграмму в карман:

— Я больше не буду этого делать, дорогая. Это глупо. Я сознаю это.

И принялся за обед.

Во время еды он повторял про себя эти слова: «Я обезумела, простите меня и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо». Значит, она сдается.

Ведь это означало: «Я сдаюсь, делайте со мной что хотите, где хотите и когда хотите».

Он засмеялся. Мадлена спросила:

— Что с тобой?

— Ничего особенного, я вспомнил одного священника, которого только что встретил и у которого была презабавная физиономия.

.....

Дю Руа явился на другой день в назначенное время на свидание. На всех скамьях парка сидели люди, изнемогавшие от жары, и равнодушные няньки, которые, казалось, дремали, пока дети валялись по песку на дорожках.

Он нашел госпожу Вальтер в маленьких античных развалинах, где бьет источник. Она ходила вокруг колоннок с беспокойным и подавленным видом. Как только он с ней поздоровался, она сказала:

— Сколько народу здесь!

Он обрадовался предложению:

— Да, это правда; хотите, пойдем куда-нибудь в другое место.

— Но куда же?

— Все равно куда... Сядем хотя бы в карету. Вы опустите штору с вашей стороны и будете в безопасности.

— Да, пожалуй, так лучше; здесь я умираю от страха.

— Хорошо, через пять минут вы найдете меня у выхода на бульвар. Я вернусь с экипажем.

И он быстро удалился. Как только они очутились в карете, она тщательно занавесила стекло со своей стороны и спросила:

— Куда вы велели кучеру нас везти?

Жорж ответил:

— Не думайте ни о чем, он знает.

Он дал кучеру адрес своей квартиры в Константинопольской улице.

Она продолжала:

— Вы не можете себе представить, как я страдаю из-за вас, как я терзаюсь и мучаюсь. Вчера я обошлась с вами жестоко в церкви, но я хотела во что бы то ни стало избавиться от встречи с вами. Я так боялась остаться наедине с вами. Простили ли вы меня?

Он сжал ее руку:

— Да, да, чего бы я вам не простил, любя вас так, как я вас люблю...

Она смотрела на него умоляющим взглядом.



— Послушайте, вы должны мне обещать, что будете меня уважать... что вы не... Иначе я не смогу с вами больше видаться, не смогу...

Сначала он ничего не ответил; на губах его играла тонкая улыбка, так волнующая женщин. Потом он прошептал:

— Я ваш раб.

Тогда она начала ему рассказывать, как поняла, что любит его, узнав, что он собирается жениться на Мадлене Форестье; припоминала обстоятельства, мельчайшие подробности их встреч и интимных вещей...

Вдруг она замолчала. Карета остановилась. Дю Руа отворил дверцу.

— Где мы? — спросила она.

Он ответил:

— Выходите и входите в этот дом. Там нам будет спокойнее.

— Но где мы?

— У меня. Это моя холостая квартира, которую я снова нанял... на несколько дней... чтобы иметь уголок, где мы могли бы встречаться.



Она ухватила за дверцу экипажа, испуганная при мысли о свидании с ним наедине, и прошептала:

— Нет, нет, я не хочу!

Он энергично сказал:

— Клянусь вам, что буду вас уважать. Входите. Видите — на нас смотрят. Вокруг уже собирается народ. Скорее, скорее, выходите. — И повторил: — Клянусь вам, что буду вас уважать.

Хозяин винной лавки рассматривал их с любопытством, стоя у двери. Ее охватил страх, и она бросилась в подъезд. Хотела подняться по лестнице. Он удержал ее за руку.

— Это здесь, внизу.

И почти втолкнул ее в свою квартиру.

Как только он запер дверь, он схватил ее, как хищник добычу. Она отбивалась, боролась, лепетала:

— О, боже мой!.. О, боже мой!..

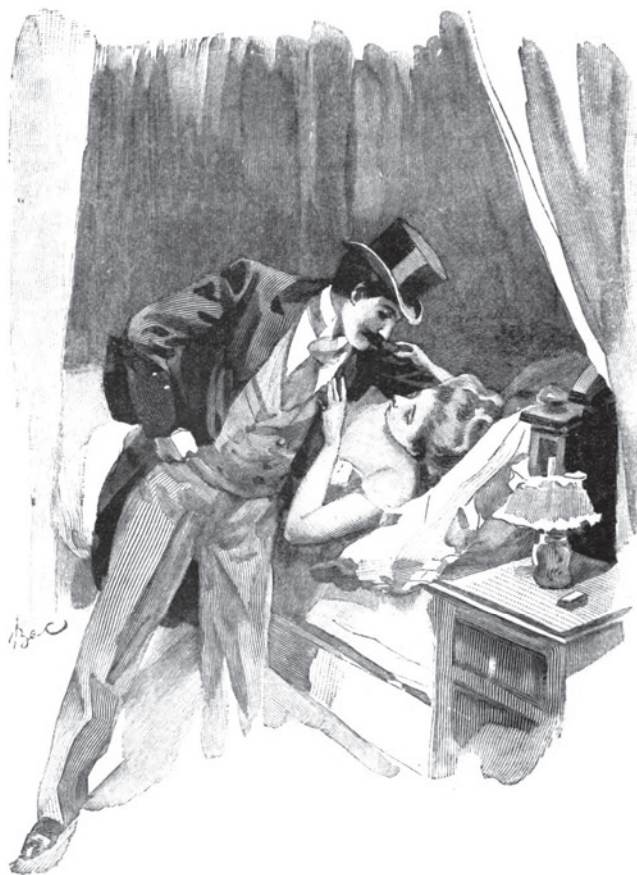
Он целовал ей шею, глаза, губы с такой страстью, что она не смогла противостать его бешеным ласкам; и, отталкивая его, уклоняясь от его поцелуев, она против воли возвращала ему их.

Вдруг она перестала отбиваться и, побежденная, покорная, позволила ему раздеть себя. Он быстро и проворно снял с нее одну за другой все принадлежности костюма с ловкостью искусной горничной.

Она вырвала у него из рук корсаж, чтобы спрятать в нем лицо, и стояла, бледная, посреди сброшенной к ногам одежды. Он оставил на ней только ботинки, и перенес на руках в постель. Тогда она прошептала ему на ухо упавшим голосом:

— Клянусь вам... клянусь вам... что у меня никогда не было любовника. — Точно молоденькая девушка, которая говорит: «Клянусь вам, что я невинна».

А он подумал: «Вот уж это мне, право, совершенно все равно».



V

Наступила осень. Дю Руа провели в Париже все лето и вели в пользу нового кабинета энергичную кампанию в газете во время роспуска палаты.

В первых числах октября палата депутатов должна была возобновить заседания, так как положение дел в Марокко принимало угрожающий оборот.

В сущности, никто не верил в занятие Танжера, хотя в день закрытия парламента правый депутат, граф де Ламбер-Саразен, в очень умной речи, вызвавшей аплодисменты даже центра, предложил поставить на пари свои усы, как однажды сделал вице-король Индии, против бакенбард президента совета, что новый кабинет должен будет поступить по примеру предшествовавшего и послать в Танжер войска, как они были посланы в Тунис — из любви к симметрии, — как ставят по бокам камина две вазы. Он прибавил: «И в самом деле, Африка служит для Франции камином, господа, — камином, в котором сгорают наши лучшие дрова, камином, который разжигают банковыми ассигнациями. Вам пришла фантазия украсить левый угол тунисской безделушкой,

стоящей вам дорого, — вы увидите, что господин Маро¹ захочет уподобиться своему предшественнику и украсит правый угол марокканской игрушкой».

Эта речь, произведшая сенсацию, послужила Дю Руа темой для десятка статей об алжирской колонизации; это была та самая серия статей, которая прервалась после его дебюта в газете, и он энергично поддерживал идею отправки армии, хотя и был убежден, что это не осуществится... Он задел патриотическую струнку и бомбардировал Испанию целым арсеналом презрительных выражений, употребляемых против нации, интересы которой идут вразрез с нашими.

«Французская жизнь» сделалась влиятельным органом благодаря своим связям с правительством. Она помещала прежде всех остальных газет политические новости; между строк намекала на намерения дружественных ей министров; все парижские и провинциальные газеты черпали из нее сведения. На нее ссылались, ее побаивались, начинали с ней считаться. Это уже не был подозрительный орган шайки политических аферистов, но официальный орган кабинета. Ларош-Матье был душою газеты, Дю Руа — его правой рукой. Вальтер, бессловесный депутат и изворотливый издатель, умевший держаться на заднем плане, занимался втихомолку грандиозными операциями в марокканских медных рудниках.

Салон Мадлены сделался влиятельным центром, где собирались каждую неделю несколько членов кабинета. Даже президент совета два раза обедал у нее; а жены государственных людей, не решавшиеся прежде переступить ее порога, хвастались теперь ее дружбой и посещали ее чаще, чем она их.

Министр иностранных дел распоряжался у нее в доме, точно он был хозяин. Он приходил во всякое время, приносил депеши, сведения, справки, которые диктовал то мужу, то жене, точно они были его секретарями.

Когда Дю Руа после ухода министра оставался наедине с Мадленой, он возмущался, ядовито высмеивая все слова и поступки этого посредственного выскочки.

Но она презрительно пожимала плечами, повторяя:

— Добейся того же, чего добился он. Сделайся министром; тогда и задирай нос. А до тех пор — помалкивай.

Он закручивал усы, посматривая на нее искоса.

— Еще неизвестно, на что я способен, — говорил он, — в один прекрасный день это обнаружится.

Она отвечала фисософски:

— Поживем — увидим.

В день открытия парламента молодая женщина еще с утра, в постели, навала мужу тысячу поручений. Он собирался завтракать к Ларошу-Матье, чтобы получить от него еще до заседания инструкции для завтрашней передовицы,

¹ Жан Маро (Марро) (1821–1893) — французский политик левого толка, в 1881–1885 депутат от департамента Шаранта (примеч. ред.).

в которой должна была заключаться официальная программа действительных намерений кабинета.

Мадлена говорила:

— Главное, не забудь спросить, послан ли генерал Белонкль в Оран, как предполагалось. Это будет иметь огромное значение.

Жорж, раздраженный, отвечал:

— Я не хуже тебя знаю, что мне делать. Избавь меня от своей болтовни.

Она ответила спокойно:

— Мой милый, ты постоянно забываешь половину поручений, которые я тебе даю.

Он проворчал:

— В конце концов, мне надоел твой министр! Какой-то болван.

Она спокойно возразила:

— Он столько же мой министр, сколько и твой. Тебе он больше нужен, чем мне.

Он слегка обернулся к ней и насмешливо проронил:

— Извини, он за мной не ухаживает.

Она заявила:

— И за мной также; но чрез его посредство мы создаем себе положение.

Он замолчал, потом, через несколько секунд, заговорил снова:

— Если бы мне предстоял выбор между твоими поклонниками, я скорее предпочел бы этого старого кретина де Водрека. Что с ним случилось? Я его не видал уже с неделю.

Она ответила равнодушно:

— Он болен; написал мне, что подагра держит его в постели. Тебе бы следовало съездить узнать о его здоровье. Ты знаешь, как он тебя любит; это ему будет приятно.

Жорж ответил:

— Да, конечно, я к нему заседу.

Он кончил одеваться и, надев шляпу, осмотрелся — все ли в порядке. Кончив осмотр, подошел к постели, поцеловал жену в лоб:

— До свиданья, моя дорогая, я не вернусь раньше семи часов.

Он вышел. Господин Ларош-Матье ожидал его, так как в этот день он завтракал в десять часов утра. Совет должен был собраться в двенадцать, перед открытием парламента.

Усевшись за стол с личным секретарем министра, — так как госпожа Ларош-Матье не пожелала изменить час своего завтрака, — Дю Руа заговорил о своей статье, наметил главные положения, заглядывая в заметки, нацарапанные на визитных карточках; потом спросил:

— Находите ли вы нужным что-либо изменить, мой дорогой министр?

— Почти ничего, мой милый друг. Пожалуй, вы слишком определенно высказываетесь о марокканском деле. Говорите об экспедиции, что она должна состояться, но дайте понять между строк, что этого не будет и что вы сами

меньше всех этому верите. Дайте читателям понять, что мы не будем мешаться в это предприятие.

— Отлично. Понимаю и постараюсь дать это понять другим. Между прочим, жена просила меня узнать, послан ли генерал Белонкль в Оран? Из того, что вы сейчас сказали, я заключил, что нет.

Государственный муж ответил:

— Нет.

Потом заговорили об открывающейся сессии. Ларош-Матье принялся ораторствовать, упражняясь в красноречии, которое он изольет на своих коллег несколько часов спустя. Жестикулировал правой рукой, потрясая в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, не глядя ни на кого, обращался к невидимому собранию, щеголяя своим слащавым красноречием и своей парикмахерской наружностью. Маленькие закрученные усы вздымались над его губой, точно два хвостика скорпиона, а его напомаженные волосы с пробором посредине спускались на виски двумя волнами, придавая ему сходство с провинциальным сердцеедом. Несмотря на свою молодость, он заметно пожелтел; брюшко подпирало ему жилет. Личный секретарь преспокойно ел, без сомнения, уже привыкший к этим потокам красноречия; но Дю Руа, мучимый завистью к достигнутому им успеху, думал: «Замолчи, кретин! Что за идиоты эти политические мужи!»

Он сравнивал в уме себя с этим напыщенным болтуном и думал: «Черт возьми, если бы у меня было на руках сто тысяч франков, чтобы баллотироваться в моем родном Руане и вершить судьбы моих тяжеловесных и славных соотечественников, каким бы я был полезным деятелем рядом с этими недалекими новидными пройдохами».

Господин Ларош-Матье ораторствовал вплоть до самого кофе; потом, заметив, что уже поздно, позвонил, чтобы ему подали экипаж, и, протягивая руку журналисту:

— Вы меня хорошо поняли, Милый друг?

— Отлично, мой дорогой министр, положитесь на меня.

И Дю Руа не спеша отправился в редакцию, чтобы писать статью, так как до четырех часов ему нечем было заполнить время. В четыре часа он должен был отправиться на Константинопольскую улицу, где встречался каждую пятницу и каждый понедельник с госпожой де Марель.

Лишь только он вошел в редакцию, ему передали телеграмму от госпожи Вальтер:

«Мне необходимо с тобой сегодня поговорить. Дело очень, очень важное. Жди меня в два часа на Константинопольской улице. Я могу тебе оказать большую услугу. Верная тебе до гроба *Вирджиния*».

Он выругался:

— Черт возьми! Вот прилипла. — И, придя в дурное настроение, тотчас ушел, так как был слишком раздражен, чтобы работать.

В продолжение шести недель он старался порвать с нею, не будучи в состоянии охладить ее безумной страсти.

После своего падения она начала терзаться, и в продолжение трех свиданий подряд осыпала своего возлюбленного упреками и проклятиями. Утомленный этими сценами и пресытившись этой немолодой и склонной к драматизму женщиной, он стал уклоняться, надеясь таким образом покончить с этим приключением. Но тогда она отчаянно уцепилась за него, кинулась в эту страсть, как бросаются в реку с камнем на шее. И он снова позволил ей овладеть собою, по слабости, по неосмотрительности; и теперь она преследовала его своею безудержной страстью, надоедала ему своей нежностью.

Она хотела его видеть ежедневно, беспрестанно вызывала его телеграммами, назначала свидания на углах улиц, в магазинах, в общественных садах.

Постоянно повторяла ему, в одних и тех же выражениях, что она его обожает, боготворит, потом уходила, говоря, что «бесконечно счастлива его видеть».

Теперь она казалась ему другой, чем он ее себе представлял. Старалась обольстить его ребяческими нежностями, приемами любви, смешными в ее возрасте. До сих пор она оставалась строго честною, невинной сердцем, недоступной никакому чувству, незнакомой с чувственностью; но вдруг все это прорвалось у этой благоразумной женщины, сороковые годы которой походили на бледную осень после холодного лета, вроде поблекшей весны с плохо распустившимися побегами; странный расцвет перезрелой девической любви, пылкой и наивной, выражавшейся во взрывах страсти, вскрикиваниях



шестнадцатилетней девочки, утомительных ласках и устарелых, запоздалых нежностях. Она писала ему по десяти раз на день до глупости сумасшедшие письма странным, витиеватым, поэтическим слогом, пестревшим названиями птиц и животных.

Как только они оставались одни, она начинала его целовать, резвясь тяжело и неуклюже, гримасничая толстыми губами и подпрыгивая, от чего сотрясалась ее полная грудь под тканью корсажа. Ему особенно было противно, когда она называла его «Моя мышка», «Моя собачка», «Моя кошечка», «Моя драгоценность», «Мой голубок», «Мое сокровище», или когда она всякий раз перед тем, как отдаться, разыгрывала комедию девической стыдливости, с робкими ужимками, которые казались ей трогательными, и фортелями развращенной гимназистки.

Она спрашивала: «Чей этот ротик?» — И когда он не сразу отвечал: «Мой!» — она приставала до тех пор, пока он не зеленел от раздражения.

Ему казалось, она должна понимать, что в любви нужно соблюдать известные границы, что, отдаваясь ему, она, зрелая мать семейства, светская женщина, должна была вести себя сдержанно и строго, и если уже плакать, то слезами Дидоны¹, а не Джульетты.

Она повторяла беспрестанно:

— Как я люблю тебя, моя крошка! Скажи, ты меня так же любишь, деточка?

Он уже не мог слышать этих слов «крошка», «деточка» без того, чтобы у него не являлось желания назвать ее «моя старушка».

Она говорила ему:

— Как глупо я сделала, что уступила тебе... Но я об этом не жалею. Любить так хорошо!

Все это в ее устах раздражало Жоржа. Она шептала «Любить так хорошо», точно театральная любовница.

Кроме того, она раздражала его своею неопытностью в любовных делах. В ней проснулась чувственность от поцелуев этого красивого малого, зажегшего в ней кровь, но она приступала к ласкам с таким неумением и серьезным старанием, что это доводило Дю Руа до смеха, и ему приходили на ум старички, пробующие учиться грамоте.

И когда ей лучше бы душить его в своих объятиях, страстно глядя на него глубоким и значительным взглядом женщин бальзаковского типа, великолепных в своей последней любви, впиваться в него безмолвно-трепещущими губами, прижимая к своему полному горячему телу, утомленному, но ненасытному, она вместо этого трепыхалась, как девчонка, и сюсюкала, желая ему понравиться:

— Я тебя так люблю, моя крошка. Так люблю. Люби меня так же, свою маленькую женку!

¹ *Дидона* — персонаж «Энеиды» Вергилия, возлюбленная Энея, совершившая самоубийство после его отъезда (*примеч. ред.*).

Тогда у него являлось желание выругаться, схватить шляпу и уйти, хлопнув дверью.

В первое время они часто встречались на Константинопольской улице, но Дю Руа, опасавшийся встречи с госпожой де Марель, находил теперь тысячи предлогов, чтобы избегать этих свиданий.

Он должен был являться к ней чуть не ежедневно, то завтракать, то обедать. Она жала ему руку под столом, срывала поцелуй за дверями. Но ему гораздо больше нравилось шутить с Сюзанной, забавлявшей его своими проказами. Под ее наружностью куколки скрывался живой и лукавый ум, непосредственный и находчивый, умевший вовремя выскочить подобно ярмарочной марионетке. Она смеялась надо всем и над всеми, язвительно и находчиво. Жорж подзадоривал ее веселость, поощрял иронию, и они отлично ладили друг с другом.

Она беспрестанно обращалась к нему: «Послушайте, Милый друг. Подите сюда, Милый друг». И он тотчас покидал мамашу, чтобы бежать к дочери, шептавшей ему на ухо какую-нибудь злую шутку, и они смеялись от всей души.

В то же время, пресыщенный любовью матери, он начинал чувствовать к ней непреодолимое отвращение; и не мог уже ее ни видеть, ни слышать, ни думать о ней без злости. Перестал ходить к ней, отвечать на ее письма и уступать ее мольбам.

Наконец она поняла, что он ее больше не любит, и это ее жестоко уязвило. Но все же преследовала его, подсматривала за ним, поджидала его в экипаже со спущенными шторами у дверей редакции, на улицах, где она надеялась его встретить.

Ему хотелось сделать ей какую-нибудь неприятность, оскорбить ее, ударить, сказать ей откровенно: «Брысь, с меня довольно, вы мне надоели». Но он тянул эту канитель, главным образом из-за газеты, и старался при помощи холодности, сухости, жестких слов дать ей понять, что всею конц.

Она в особенности упорствовала в стараниях заманить его на Константинопольскую улицу, и он постоянно дрожал при мысли, что обе женщины встретятся когда-нибудь носом к носу у входа.

Наоборот, привязанность его к госпоже де Марель в течение лета возросла; он называл ее «мальчишкой», и положительно она ему нравилась. У них было много общего в природе; у обоих в крови была склонность к авантюризму, свойственная великосветским прохвостам и цыганам, кочующим на больших дорогах.

Лето они провели очаровательно, точно кутящие студенты, ездящие позавтракать или пообедать в Буживаль, в Аржантей, в Пуасси; проводили целые часы в лодке, рвали и собирали цветы. Она обожала сенскую¹ жареную рыбу, разные фрикасе и матлоты², беседки загородных кабачков, окрики

¹ Т. е. выловленную в Сене (примеч. ред.).

² Матлот — кушанье из свежей рыбы и вина (примеч. ред.).

лодочников... Он любил уезжать с ней в хорошую погоду на империале пригородного поезда и, болтая разный вздор, объезжать окрестности Парижа, где разбросаны безвкусные дачи богачей. Но когда ему нужно было возвращаться и идти обедать к госпоже Вальтер, он проклинал свою надоевшую стареющую любовницу, вспоминая молодую, с которой он только что расстался и в объятиях которой он оставил весь свой пыл.

Он уже думал, что наконец развязался с патронессой, которой он ясно, почти грубо заявил о своем желании порвать, когда получил в редакцию телеграмму, призывавшую его к двум часам на Константинопольскую улицу. Он перечел ее на ходу:

«Мне необходимо с тобой сегодня переговорить. Дело очень, очень важное. Жди меня в два часа на Константинопольской улице. Я могу тебе оказать большую услугу. Верная тебе до гроба *Вирджиния*».

Подумал: «Что ей еще от меня нужно, этой старой сове? Держу пари, что никакого дела нет. Она будет мне повторять, что обожает меня. Впрочем, посмотрю. Она говорит о каком-то важном деле и большой услуге. Может быть, это и правда. А Клотильда, которая должна прийти в четыре часа? Нужно мне отправить первую никак не позже трех часов. Черт побери! Только бы они не встретились. Наказание с этими женщинами!»

И он подумал, что, в сущности, только его жена никогда его не мучила. Она жила своею жизнью и, казалось, очень любила его в часы, предназначенные для любви, так как не допускала нарушения неизменного хода их обычных занятий.

Он медленно направлялся к своей квартире, мысленно негодуя на патронессу: «Ну! Я ей устрою веселую встречу, если ей нечего мне сказать. Язык Камброна покажется академическим после моего¹... Объявляю ей, что никогда больше нога моя не будет у ней».

И он вошел, чтобы подождать госпожу Вальтер.

Она вошла почти вслед за ним и, увидав его, воскликнула:

— Ах, ты получил мою телеграмму! Какое счастье!

Он сделал злое лицо:

— Черт возьми, мне ее подали в редакции, в момент, когда я направлялся в палату. Что тебе еще от меня нужно?

Она приподняла вуалетку, чтобы поцеловать его, и приближалась с робким и покорным видом часто наказываемой собаки.

— Как ты со мной жесток... Как грубо говоришь со мной! Что я тебе сделала? Ты не можешь себе представить, как я страдаю из-за тебя.

Он проворчал:

— Ты опять начинаешь?..

¹ *Камброн* — персонаж романа В. Гюго «Отверженные», офицер, ответивший бранью на предложение сдаться (*примеч. ред.*).

Она стояла возле него, дожидаясь улыбки, жеста, который бы бросил ее в его объятия. Прошептала:

— Не нужно было сходиться со мною, чтобы так издеваться; нужно было оставить меня счастливой и спокойной, какой я была. Помнишь, что ты мне говорил в церкви и как ты заставил меня войти насильно в этот дом? А теперь как ты со мной говоришь? Как ты меня встречаешь! Господи боже мой! Как ты меня терзаешь!

Он топнул ногою:

— Ну! Перестань! С меня довольно. Я не могу видеть тебя ни одной минуты без того, чтобы не начиналась эта волюнка. Можно подумать, что я тебя соблазнил в двенадцать лет и что ты была невинна, как ангел. Нет, моя милая, восстановим факты. Здесь не было развращения малолетней. Ты мне отдалась в полном уме и здравой памяти. Я тебе за это очень признателен, бесконечно признателен; но не могу же я быть привязанным к твоей юбке до самой смерти. У тебя есть муж, у меня есть жена, мы не свободны, ни я, ни ты. Мы позволили себе каприз, благо он прошел незамеченным, но теперь — баста.

Она сказала:

— О! Какой ты скот! Какой нахал, бесстыжий! Нет, я не была молоденькой девочкой, но до тебя я никого не любила, никогда не изменяла...

Он прервал ее:

— Ты мне это уже повторяла двадцать раз. Я это знаю. Но у тебя было двое детей, значит, не я лишил тебя невинности...

Она возмутилась:

— О! Жорж, это подло!

И, закрыв обеими руками грудь, она начала всхлипывать, готовясь разрыдаться.

Когда он увидал, что начинаются слезы, он схватил шляпу с камина:

— А, ты собираешься плакать, — в таком случае, до свидания. Ради этого зрелища ты меня заставила сюда прийти?

Она сделала шаг, чтобы преградить ему дорогу; вынув из кармана носовой платок, быстрым движением вытерла глаза, сделала над собой усилие и более твердым голосом, прерываемым горестными всхлипываниями, проговорила:

— Нет... я пришла для того, чтобы тебе сообщить новость... политическую новость... которая даст тебе возможность заработать пятьдесят тысяч франков... или даже больше... если ты захочешь.

Он спросил, внезапно смягчившись:

— Каким образом? Что ты хочешь сказать?

— Я случайно подслушала несколько слов из разговора моего мужа с Ларошем. Впрочем, они не особенно скрывали это от меня. Но Вальтер советовал министру не посвящать тебя в тайну, так как ты можешь проговориться.

Дю Руа положил шляпу на стул. Он слушал с большим вниманием.

— Ну, так в чем же дело?

— Они собираются захватить Марокко!

— Рассказывай!.. Я завтракал с Ларошем, который мне почти продиктовал проекты кабинета.

— Нет, мой дорогой, они тебя провели, опасаясь, как бы ты не разоблачил их комбинаций.

— Садись, — сказал Жорж.

И сел сам на кресло. Она придвинула низенькую скамеечку и уселась на нее у ног молодого человека. Начала вкрадчивым голосом:

— Так как я всегда думаю о тебе, то я прислушиваюсь теперь ко всему, о чем вокруг меня шепчутся.

И она стала тихо объяснять ему, как она догадалась, что с некоторого времени готовится какое-то дело за его спиной, что им пользуются, опасаясь его соперничества. Сказала:

— Ты знаешь, когда любишь, делаешься хитрой.

Наконец, вчера она все поняла. Дело шло о большом, грандиозном предприятии, подготовлявшемся втихомолку. Теперь она улыбалась, радуясь своей хитрости, говорила с увлечением, как жена финансиста, привыкшая к биржевым спекуляциям, эволюциям ценностей, повышению и понижению курса, разоряющим в какие-нибудь два часа тысячи мелких обывателей, вложивших свои сбережения в предприятия, гарантированные известными именами уважаемых политических и финансовых деятелей. Она повторяла:

— О! Они хватили широко, очень широко. Руководит всем Вальтер, а уж он понимает дело. И действительно, дело стоящее.

Его начинали выводить из себя эти предисловия.

— Ну же, говори скорей.

— Ну, слушай. Экспедиция в Танжер была ими решена в тот день, когда Ларош получил портфель министра. Затем постепенно они скупили все марокканские акции, которые упали до шестидесяти четырех или шестидесяти пяти франков. Они совершили эту покупку очень искусно при посредстве ловких агентов, не возбудивших ни малейшего недоверия. Им даже удалось провести Ротшильдов, удивлявшихся такому спросу на марокканские акции. В ответ на это им называли скупщиков с плохой репутацией, стоявших в стороне. Это успокоило крупных банкиров. Теперь туда пошлют войска, и как только наши будут там, французское правительство гарантирует погашение долга. Наши друзья выиграют пятьдесят, шестьдесят миллионов. Понимаешь, в чем дело? Понимаешь также, почему они боятся решительно всех, боятся малейшей огласки?

Она положила голову на колени к молодому человеку, прижалась к нему, чувствуя, что теперь она его заинтересовала, готовая сделать все, пойти на все за одну ласку, за одну улыбку.

Он спросил:

— Ты в этом уверена?

Она ответила с уверенностью:

— Совершенно!

Он заявил:

— Действительно, это широко хвачено. Что касается этого негодяя Лароша, пусть он мне попадется! О! Подлец! Пусть он бережется! Пусть он бережется! Я ему пересчитаю его министерские ребра!

Затем он погрузился в размышления и прошептал:

— Нужно, однако, этим воспользоваться.

— Ты можешь еще купить акции, теперь они стоят только семьдесят два франка.

Он возразил:

— Да, но у меня нет свободных денег.

Она подняла на него умоляющие глаза.

— Я об этом подумала, мой котик, и если бы ты был милый, если бы ты меня немного любил, ты позволил бы мне тебе одолжить...

Он ответил резко, почти грубо:

— Что касается этого, не может быть и речи.

Она прошептала с мольбой:

— Слушай, можно устроить это так, что тебе не придется занимать деньги. Я хотела купить себе этих акций на десять тысяч франков, чтобы запастись маленьким капиталцем. Ну так вот, я куплю их на двадцать тысяч! Тебе будет принадлежать половина. Ты понимаешь, что я не стану отдавать их Вальтеру. Тебе же не придется ничего платить. Если дело выгорит, ты получишь семьдесят тысяч франков. Если не выгорит, ты будешь мне должен десять тысяч франков, которые заплатишь, когда захочешь.

Он повторил еще раз:

— Нет, мне не нравится подобная комбинация.

Тогда она стала его уговаривать, доказывать ему, что он, в сущности, занимает десять тысяч на слово, и, таким образом, ничем не рискует, что она не дает ему ничего вперед, так как платить будет банк Вальтера...

Кроме того, она указала ему, что благодаря его политической кампании в газете осуществление этого проекта сделалось возможным и что он поступил бы непростительно глупо, не воспользовавшись этим.

Он все еще колебался. Она прибавила:

— Ну, представь себе, будто Вальтер выдал тебе авансом десять тысяч, а ведь ты оказал ему услуг на гораздо большую сумму.

— Ну, хорошо! Пусть будет так, — сказал он, — я буду твоим пайщиком. Если деньги пропадут, я тебе верну десять тысяч франков.

Она была так рада, что вскочила, схватила обеими руками его голову и принялась его страстно целовать.

Сначала он не сопротивлялся, но видя, что она становится все смелее, сжимая его в объятиях и осыпая ласками, и вспомнив, что сейчас придет другая, и если он уступит, то истратит весь пыл, предназначенный для молодой, на старую, тихонько оттолкнул ее:

— Ну же, будь благоразумна.

Она посмотрела на него с отчаянием:

— О! Жорж! Ты мне уже больше не позволяешь себя целовать.

Он ответил:

— Нет, не сегодня, у меня болит голова, и это мне неприятно.

Тогда она послушно села снова у его ног. И спросила:

— Придешь завтра к нам обедать? Какое ты мне этим доставишь удовольствие!

Он колебался, но не решился отказаться:

— Ну да, конечно.

— Благодарю тебя, милый.

Она медленно терлась щекой о грудь молодого человека, и ее длинный черный волос зацепился за пуговку жилета. Она заметила это, и ей пришла в голову одна из тех сумасбродных фантазий, заполняющих иногда вдруг разум женщины. Она принялась тихонько обматывать этот волос вокруг пуговицы. Потом обмотала другой вокруг следующей, третий и так далее вокруг каждой пуговицы.

Он встанет и вырвет их одним движением. Он причинит ей боль, какое счастье! И он, сам не зная того, унесет с собою частицу ее, маленькую прядку волос, попросить которую ему никогда не придет в голову. Это будет таинственная нить, связывающая их, — невидимые, тайные узы! Талисман, который она оставит ему. И помимо своей воли он будет думать о ней, вспоминать, мечтать и, может, завтра, вследствие этого, будет с ней нежнее.

Вдруг он сказал:

— Мне придется тебя оставить, потому что меня ждут в палате к концу заседания; я не могу сегодня пропустить.

Она вздохнула:

— О! Так скоро! — Потом покорно добавила: — Иди, мой милый, и завтра приходи обедать.

И быстро поднялась, почувствовала острую мгновенную боль, точно ей вонзили в тело иглы. Сердце ее билось; но она была счастлива, что пострадала ради него.

— До свиданья, — сказала она.

Он обнял ее со снисходительной улыбкой и холодно поцеловал в глаза.

Но она, обезумевшая уже от одного прикосновения, снова прошептала:

— Так скоро?



И ее умоляющий взгляд указывал на комнату, дверь в которую была открыта.

Он отстранил ее и сказал, торопясь:

— Я должен идти, не то опоздаю.

Тогда она протянула ему губы, которых он едва коснулся; подал ей зонтик, который она оставила, говоря:

— Идем, идем скорее, уже больше трех часов.

Она вышла, повторяя:

— Завтра в семь часов.

Он ответил:

— Завтра в семь часов.

Они расстались. Она повернула направо, он — налево.

Дю Руа дошел до бульвара. Потом спустился на бульвар Мальзерб и медленно пошел вниз. Проходя мимо кондитерской, он увидал глазированные каштаны в хрустальной вазе и подумал: «Возьму фунт для Клотильды». И купил пакет этих засахаренных фруктов, которые она любила до безумия. В четыре часа он был уже дома и ожидал свою молоденькую возлюбленную.

Она немножко опоздала, так как муж ее приехал на неделю. Спросила:

— Можешь прийти к нам завтра обедать? Он будет в восторге повидать тебя.

— Нет, я обедаю у патрона. У нас теперь масса всяких дел, политических и финансовых.

Она сняла шляпу. Расстегнула лиф, который ее стеснял.

Он указал ей пакет на камине:

— Я купил тебе глазированных каштанов.

Она захлопала в ладоши.

— Какое счастье! Какой ты душка! — Взяла, попробовала и объявила: — Они восхитительны, я чувствую, что не оставляю ни одного.

Потом прибавила, глядя на Жоржа загоревшимся взглядом:

— Ты, значит, поощряешь даже мои недостатки?

Она медленно ела, беспрестанно заглядывая в пакет, как бы для того, чтобы удостовериться, что там еще есть каштаны. Сказала:

— Ну, садись в кресло, а я устроюсь у твоих ног, буду грызть конфеты, и мне будет очень хорошо.

Он улыбнулся, сел и усадил ее у своих ног точь-в-точь так же, как только что сидела госпожа Вальтер.

Она поднимала голову, чтобы разговаривать с ним, и болтала с набитым ртом:

— Ты знаешь, мой милый, я видела тебя во сне; видела, что мы вдвоем едем куда-то далеко на верблюде. У него два горба, и мы сидим верхом на них и проезжаем через пустыню. У нас с собою в бумаге сандвичи и бутылка вина, и мы закусываем, сидя на горбах. Но мне это надоело, так как мы ничего другого не могли делать; мы были слишком далеко друг от друга, и мне захотелось сойти.

Он ответил:

— Мне тоже хочется «сойти».

Он смеялся, забавляясь этой чепухой, заставляя ее говорить глупости, болтать, нести весь этот вздор, который занимает влюбленных. И вся эта чепуха, которую он находил милой в устах госпожи де Марель, раздражала бы его в устах госпожи Вальтер.

Клотильда также называла его: «Мой милый, мой мальчик, мой котик». Эти названия он находил милыми. Но как только их произносила другая, это раздражало и выводило его из себя. Ибо слова любви всегда принимают отпечаток уст, которыми произносятся.

Но, забавляясь всеми этими проделками, он не переставал думать о семидесяти тысячах франков, которые ему предстояло выиграть, и вдруг прервал болтовню своей подруги, слегка дотронувшись пальцами до ее головы:

— Слушай, моя кошечка. Я дам тебе поручение к твоему мужу. Скажи ему от меня, чтобы он завтра же купил на десять тысяч франков марокканских акций, которые теперь по семьдесят два франка; я обещаю ему, что меньше чем через три месяца он выиграет на этом от шестидесяти до восьмидесяти тысяч франков. Но посоветуй ему об этом никому не говорить. Передай ему также от меня, что экспедиция в Танжер решена и что французское правительство гарантирует марокканский заем. Только смотри, никому не проболтайся. Я доверяю тебе государственную тайну.

Она серьезно слушала. Потом прошептала:

— Благодарю тебя. Я передам это моему мужу сегодня же вечером; ты можешь положиться на него, он не проболтается. Это человек надежный, его опасаться нечего.

Она покончила с каштанами, скомкала пакет и бросила его в корзину. Потом сказала:

— Идем в постель.

И, не вставая, начала растегивать жилет Жоржа.

Вдруг она остановилась и, вытащив длинный волос, запутавшийся за пуговицу, рассмеялась:

— Вот так штука... Ты притащил волос Мадлены. Вот верный муж!

Потом с серьезным лицом долго исследовала на руке найденный волос и прошептала:

— Это волос не Мадлены, это волос брюнетки.

Он улыбнулся:

— Это, вероятно, волос горничной.

Но она продолжала рассматривать жилет с внимательностью сыщика и нашла другой волос, обмотанный вокруг пуговицы; затем третий; и, побледнев, слегка дрожа, воскликнула:

— О! Ты валялся с женщиной, которая обмотала тебе волосы вокруг пуговиц.

Он удивился, забормотал:

— Да нет же, ты с ума сошла. — Потом вдруг он вспомнил, понял, сначала смутился, потом начал, смеясь, отрицать, в глубине души польщенный тем, что она его ревнует.

Она продолжала искать и все находила волосы, которые разматывала быстрым движением и бросала на ковер. Инстинктом женщины она угадала, в чем дело, и бормотала, взбешенная, раздраженная, готовая заплакать:

— Она тебя любит! И хотела, чтобы ты унес частичку ее... О! Какой ты неверный.

Вдруг она вскрикнула с дикой радостью:

— О! О! Вот седой волос! А! Ты теперь возишься со старухами! Они тебе платят?.. Скажи, они тебе платят?.. А! Так ты взялся за старух! В таком случае я тебе больше не нужна. Оставайся с тою...

Она вскочила, схватила корсаж, брошенный на стул, и начала быстро одеваться.

Он хотел ее удержать, бормоча:

— Но нет же, Кло, как ты глупа, я не знаю, откуда это... Послушай... Оставайся. Ну же... Оставайся...



Она повторяла:

— Возись со своей старухой, оставайся с ней, закажи себе кольцо из ее волос, из ее седых волос... У тебя их достаточно.

Она быстро, порывисто оделась и надела шляпу; а когда он хотел ее удержать, она залепила ему изо всей силы пощечину. Пока он стоял, ошеломленный, она открыла дверь и исчезла.

Как только он остался один, его охватила бешеная злоба к этой старой кобыле — Вальтерше. «Ну! Теперь уж я ее пошлю к черту. Уж будет поминать».

Он обмыл водой свою покрасневшую щеку. Потом тоже вышел, обдумывая, как бы ему отомстить. На этот раз он не простит. Ну нет!

Он спустился на бульвар и, прогуливаясь, остановился перед магазином ювелира посмотреть на хронометр, который ему давно хотелось купить и который стоил тысячу восемьсот франков.

Вдруг он вспомнил и подумал с радостью: «Если я выиграю семьдесят тысяч, я смогу его купить». И стал мечтать обо всех вещах, которые он приобретет на эти семьдесят тысяч. Прежде всего он сделается депутатом, затем купит хронометр, потом будет играть на бирже, потом... потом еще...

Ему не хотелось идти в редакцию: он хотел поговорить с Мадленой до свидания с Вальтером и составления статьи и направился домой. Дойдя до улицы Друо, он остановился; вспомнил, что забыл узнать, как здоровье графа де Водрека, который жил на шоссе д'Антен. Вернулся, продолжая фланировать, думая о тысяче вещей, приятных, сладостных, о скором богатстве, а также об этом негодяе Лароше и старой карге Вальтерше. Впрочем, ссора с Клотильдой не беспокоила его; он знал, что она скоро прощает...

Спросил у привратника дома, в котором жил граф де Водрек:

— Как здоровье графа де Водрека? Я слышал, что в последние дни он чувствует себя плохо.

Человек ответил:

— Графу очень плохо, месье. Предполагают, что он не переживет и ночи. Подагра подступила к сердцу.

Дю Руа был так поражен, что не знал, что ему делать. Водрек умирает! В голове его пронесся целый рой смутных и тревожных мыслей, в которых он боялся сам себе признаться. Пробормотал:

— Благодарю, я еще зайду... — не отдавая себе отчета в том, что он говорит.

Потом вскочил в фиакр и приказал везти себя домой. Жена его была дома. Он вбежал, запыхавшись, в ее комнату и выпалил:

— Ты знаешь, — Водрек умирает?

Она сидела и читала письмо. Подняла на него глаза и три раза подряд спросила:

— Что? Что ты говоришь... ты говоришь... ты говоришь?

— Я тебе говорю, что Водрек умирает от припадка подагры, подступившей к сердцу. — Потом прибавил: — Что ты думаешь теперь делать?

Она поднялась бледная, с подергивающимися щеками, потом вдруг зарыдала, закрыв лицо руками. И стояла, потрясая рыданиями, подавленная горем.

Вдруг она овладела собой, отерла глаза:

— Я поеду туда... Не беспокойся обо мне. Я не знаю, когда вернусь. Не жди меня...

Он отвечал:

— Хорошо, иди.

Они пожали друг другу руки, и она вышла так стремительно, что позабыла захватить перчатки.

Жорж пообедал один и принялся писать статью. Написал ее согласно указаниям министра, давая понять читателям, что экспедиция в Марокко не состоится. Затем отнес статью в редакцию, поболтал несколько минут с патроном и направился домой, покуривая, с облегченным сердцем, сам не зная почему.

Жена его еще не возвращалась. Он лег и заснул.

Мадлена вернулась около полуночи. Жорж, разбуженный ее приходом, сел на постель. Спросил:

— Ну, что?

Он никогда не видел ее такой бледной и взволнованной. Прошептала:

— Он умер.

— А! И... ничего тебе не сказал?

— Ничего. Он был уже без сознания, когда я пришла.

Жорж задумался. На губах его вертелись вопросы, которые он не осмеливался предложить.

— Ложись, — сказал он. Она быстро разделась и улеглась рядом с ним. Он спросил:

— Был ли кто из родных при его кончине?

— Только один племянник.

— А! Он часто видался с этим племянником?

— Никогда. Они не встречались в течение десяти лет.

— Были ли у него другие родные?

— Нет... не думаю.

— Значит... этот племянник является наследником?

— Не знаю.

— Водрек был очень богат?

— Да, очень богат.

— Не знаешь, приблизительно, какое у него состояние?

— Наверное не знаю. Один или два миллиона...

Он замолчал. Она задула свечу. И они лежали рядом в тишине ночи, молча, погрузившись каждый в свои мысли.

Ему не хотелось спать. Ничтожными казались теперь ему семьдесят тысяч франков, обещанные госпожой Вальтер. Вдруг ему показалось, что Мадлена плачет. Он окликнул ее, чтобы удостовериться в этом.

— Ты спишь?

— Нет.

Голос ее дрожал, в нем слышались слезы. Он продолжал:

— Да, я забыл тебе сказать, что твой министр нас ловко надул.

— Как так?

И он рассказал ей со всеми подробностями комбинацию, подготовляемую Ларошем и Вальтером.

Когда он кончил, она спросила:

— Как ты это узнал?

Он отвечал:

— Я тебе не могу этого сказать. У тебя есть свои источники для справок, которых я не касаюсь. У меня есть свои, которые я тоже желаю сохранять в тайне. Во всяком случае, я ручаюсь за точность моих сведений.

Тогда она прошептала:

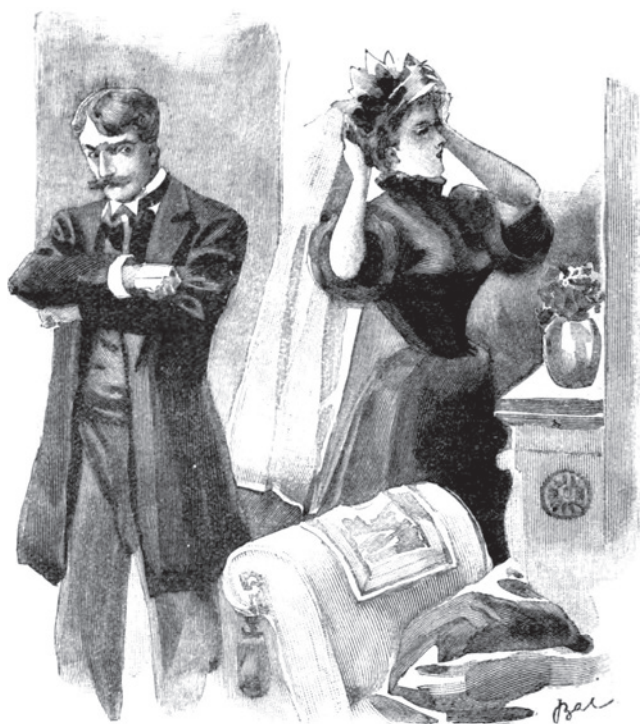
— Да, это возможно... Я тоже подозревала, что они что-то задумывают помимо нас.

Жоржу не хотелось спать; он пододвинулся к жене и нежно поцеловал ее в ухо. Она резко оттолкнула его:

— Прошу тебя, оставь меня в покое. Я совершенно не расположена дурачиться.

Он покорно повернулся к стене, закрыл глаза и вскоре заснул.





VI

Церковь была обтянута черным сукном; на дверях красовалась корона — в знак того, что хоронили дворянина. Церемония кончилась; присутствующие медленно расходились, проходя мимо гроба. Племянник графа де Водрека благодарил всех и любезно раскланивался.

Жорж Дю Руа и жена его вышли из церкви и направились домой, молчаливые, озабоченные.

Наконец Жорж сказал как бы самому себе:

— Однако это странно!

— Что, мой друг? — спросила Мадлена.

— Что Водрек нам ничего не оставил.

Она покраснела; казалось, легкая розовая вуаль покрыла ее бледную кожу; краска залила ей лицо:

— Почему он должен был нам что-нибудь оставить? У него не было на это никаких оснований.

Через некоторое время она прибавила:

— А может, и есть завещание у какого-нибудь нотариуса. Но мы еще не знаем об этом.

Он сказал:

— Да, это возможно, он был наш лучший друг. Он обедал у нас два раза в неделю, приходил во всякое время. У нас он чувствовал себя как дома. Он любил тебя, как отец; у него не было семьи, детей, братьев, сестер; один только этот племянник, да и с ним он не был близок. Должно быть, есть завещание. Я не хотел бы много, но хоть какой-нибудь пустяк в знак того, что он подумал о нас, любил нас, ценил нашу привязанность.

Она сказала задумчиво и равнодушно:

— Возможно, конечно, что есть завещание.

Когда они вернулись домой, лакей подал Мадлене письмо. Она прочла его и передала мужу.

«Контора нотариуса Ламанера. 17, улица Вогезов.

Мадам! Имею честь просить вас пожаловать ко мне в контору с двух до четырех во вторник, среду или четверг по делу, касающемуся вас. Примите и пр. *Ламанер*».

Жорж покраснел.

— Это то и есть. Однако странно, что он зовет тебя, а не меня, законного главу семейства.

Она не ответила, потом, подумав, сказала:

— Хочешь, пойдем туда сегодня.

— Да, пойдем.

Они позавтракали и отправились.

Когда они вошли в контору Ламанера, главный писец встал с преувеличенной поспешностью и проводил их к патрону.

Нотариус был маленький толстый человек, совершенно круглый. Голова его напоминала шар, лежащий на другом шаре, к которому были прикреплены короткие толстые ножки, тоже похожие на шары.

Он поклонился, попросил их сесть и сказал Мадлене:

— Мадам, я вас пригласил, чтобы передать вам завещание графа Водрека, касающееся вас.

Жорж не мог удержаться и пробормотал:

— Я догадывался об этом.

Нотариус добавил:

— Я вам сообщу сейчас его содержание. Это недолго.

Он взял из папки, лежащей перед ним, завещание и прочел его:

— «Я, нижеподписавшийся, Поль Эмиль Сиприен Гонтран граф де Водрек, в здравом уме и твердой памяти, сим выражаю последнюю волю свою.

На случай смерти своей составляю сие духовное завещание, которое должно храниться у нотариуса Ламанера.

Не имея прямых наследников, я оставляю все свое имущество, состоящее из ценных бумаг на шестьсот тысяч франков и недвижимости на пятьсот тысяч франков, Клер Мадлене Дю Руа, без всяких с ее сторон обязательств.

Прошу ее принять этот дар от умершего друга в знак преданности и глубокой привязанности».



Нотариус сказал:

— Вот и все. Это завещание составлено в августе месяце и заменило собой другое такое же, составленное два года тому назад на имя Клер Мадлены Форестье. У меня сохранено первое завещание; в случае протестов со стороны родственников оно может служить доказательством того, что воля графа была неизменна.

Мадлена сидела побледневшая, не поднимая глаз. Жорж нервно крутил усы. Нотариус после нескольких минут молчания сказал:

— Само собою разумеется, что жена ваша не может принять этого дара без вашего согласия.

Дю Руа встал и сухо ответил:

— Я должен это обдумать.

Нотариус улыбнулся и любезно сказал ему:

— Я понимаю вашу щепетильность и ваши колебания. Я должен сообщить вам, что племянник графа де Водрека ознакомился сегодня утром с последней волей своего дяди и готов ей подчиниться, если ему будут предоставлены сто тысяч франков. Завещание это неоспоримо, но процесс наделал бы много шума, которого вы, может быть, захотите избежать. В обществе так легко возникают неблагоприятные толки. Во всяком случае, попрошу вас дать мне ответ по всем пунктам до субботы.

— Хорошо, — ответил Жорж, поклонился, пропустил жену, которая за все время не сказала ни слова, и вышел такой сердитый и суровый, что нотариус перестал улыбаться.

Когда они вернулись домой, Дю Руа захлопнул дверь, бросил шляпу на постель и крикнул:

— Ты была любовницей Водрека?

Мадлена, снимавшая вуаль, вздрогнула и повернулась к нему:

— Я? О!

— Да, ты. Никто не оставляет всего своего состояния женщине без того...

Руки ее дрожали, и она не могла найти булавок, которыми была прикреплена ее вуаль.

Понемногу она пришла в себя и взволнованным голосом сказала:

— Но опомнись... что с тобой... ты сходишь с ума... ты... ты... Разве ты сам... только что... ты не... не надеялся... что он тебе что-нибудь оставит?

Жорж стоял около нее и следил за малейшими проявлениями ее чувств и волнения, как следователь, который старается уловить промахи подсудимого. Он сказал, делая ударение на каждом слове:

— Да... он мог оставить что-нибудь мне... мне, твоему мужу... мне, своему другу... но не тебе... своему другу... тебе, моей жене. В этом громадная, существенная разница, с точки зрения обычая... и общественного мнения.

Мадлена тоже пристально смотрела на него. Своим пытливым, странным взором она старалась заглянуть в самую глубину его глаз. Казалось, она хотела прочесть в них что-то, хотела проникнуть в те неведомые тайники души, которые открываются на мгновение в минуты полной беспомощности и растерянности, когда человек теряет способность владеть собой. Как в полуоткрытые дверцы, смотрела она в глубину его души. Медленно и раздельно она сказала:

— Однако мне кажется, что если... что нашли бы так же странным, если бы он завещал все свое состояние... тебе.

— Почему же? — спросил он резко.

— Потому что... — Она замаялась, потом сказала: — Потому что ты мой муж... что ты его знаешь так мало... что я его старый друг... что в своем первом завещании, составленном еще при жизни Форестье, он оставлял все мне.

Жорж нервно ходил взад и вперед. Он объявил:

— Ты не можешь принять этого наследства.

Она ответила спокойно:

— Хорошо; тогда не стоит ждать до субботы, можно сейчас же предупредить Ламанера.

Он подошел к ней вплотную. Они стояли молча и упорно смотрели друг другу в глаза, стараясь проникнуть в самые сокровенные тайники души, добраться до самой сути оголенной мысли. Они страстно, без слов, вопрошали друг друга, надеясь в этом безмолвном созерцании прочесть сокровенные мысли: это была скрытая борьба двух существ, которые жили вместе, но не знали друг друга, вечно подозревали, следили, подстерегали, не умея постичь скрытые помыслы друг друга.

Он нагнулся к ней и прошептал ей прямо в лицо:

— Скажи, признайся, ты была любовницей де Водрек?

Она пожала плечами:

— Что за глупости... Водрек был очень привязан ко мне, очень, но не более... вот и все.

Он топнул ногой:

— Ты лжешь. Это не так.

— А между тем это так, — ответила она спокойно.

Он стал бегать по комнате, потом остановился и сказал:

— Так объясни мне, почему он оставил все свое состояние тебе...

Она ответила безучастно и небрежно:

— Это очень просто. Как ты только что говорил, у него не было друзей, кроме нас, или, вернее, меня; он ведь знал меня еще ребенком. Мать моя была

компаньонкой у его родственников. Он постоянно бывал у нас; у него не было прямых наследников, он и подумал обо мне. Возможно, что он любил меня немного. Но какая женщина не была так любима? Быть может, эта тайная, скрытая любовь подсказала ему мое имя, когда он взялся за перо, чтобы выразить свою последнюю волю. Он каждый понедельник приносил мне цветы. Ты же не удивлялся этому? Тебе ведь он не приносил цветов? Не правда ли? Теперь он завещает мне свое состояние по той же причине, и еще потому, что ему некому оставить его. Наоборот, было бы странно, если бы он завещал все тебе. С какой стати? Что ты ему?

Она говорила так естественно и непринужденно, что Жорж смутился.

— Однако, мы не можем принять этого наследства при данных условиях. Это произвело бы неприятное впечатление. Каждый стал бы подозревать; все сплетничали бы и смеялись надо мной. Мои товарищи и так завидуют мне и нападают на меня. Я должен, больше чем кто-либо, дорожить своею честью и репутацией. Я не могу допустить, чтобы жена моя приняла такой дар от человека, которого общественная молва навязала бы ей в любовники. Форестье, быть может, согласился бы на это, но я — нет, ни за что.

Она ответила спокойно:

— Хорошо, мой друг, откажемся, одним миллионом будет у нас меньше. Вот и все.

Он ходил по комнате и говорил, не обращаясь к жене, как бы размышляя вслух.

— Ну, да! Одним миллионом меньше... Бог с ним... И неужели он не понимал, в какое смешное и ложное положение он меня ставил... Конечно, все зависит от того, какой оттенок придать делу. Стоило только завещать половину мне, и все было бы хорошо.

Он сел, положил ногу на ногу и стал крутить усы, как он это делал в минуты волнения, досады и затруднений.

Мадлена взяла работу и стала вышивать.

— Я буду молчать, — спокойно сказала она. — Предоставляю тебе решить.

Он долго не отвечал, потом сказал нерешительно:

— Общество никогда не поймет, почему Водрек сделал тебя своей единственной наследницей и как я допустил это. Принять это наследство таким образом, значит сознаться... сознаться, с твоей стороны, в преступной связи, с моей — в позорной снисходительности... Понимаешь ли ты, как истолковали бы наше согласие? Надо придумать какую-нибудь уловку, найти выход из этого положения. Следовало бы распустить, например, слух, что он разделил свое состояние между нами, завещая половину мне, половину тебе.

Она спросила:

— Я не понимаю, как можно это сделать, раз существует завещание и при составлении его были соблюдены все формальности.

Он ответил:

— О, это очень просто! Ты можешь передать мне половину наследства по дарственной записи. У нас нет детей; это вполне возможно. Таким образом мы положили бы конец всем сплетням.

Она возразила несколько нетерпеливо:

— Я не понимаю, как этим мы положили бы конец сплетням, раз существует документ, подписанный Водреком.

Он рассердился:

— Кто же заставляет нас показывать всем завещание и вывешивать его на стенах? Ты не понимаешь? Мы скажем, что Водрек оставил нам обоим свое состояние... Вот и все... Ты не можешь ведь принять это наследство без моего разрешения. Я даю тебе его только при условии, если ты согласишься на раздел. Так, по крайней мере, я не стану посмешищем для всех.

— Как хочешь. Я согласна.

Тогда он встал и начал ходить по комнате. Казалось, он колеблется и избегает пронизывающего взгляда жены.

Он сказал:

— Нет... решительно нет... пожалуй, лучше совсем отказаться... это будет достойнее... честнее... почетнее... При таком повороте дела не будет места разным предположениям. Самые подозрительные люди не смогут ни к чему придраться.

Он подошел к Мадлене:

— Ну, дорогая моя, хочешь, я пойду сейчас один к Ламанеру, посоветуюсь с ним и объясню ему, в чем дело. Я поделюсь с ним своими сомнениями и скажу, что мы решились на этот раздел из приличия, чтобы избежать всяких толков. Раз я принимаю половину этого наследства, то никто уже не будет сплетничать. Это значит объявить во всеуслышание: «Моя жена принимает это наследство, потому что принимаю я, ее муж, законный судья того, что она может делать, не компрометируя себя». Иначе это был бы скандал.

Мадлена сказала спокойно:

— Делай, как хочешь.

Потом он стал говорить поспешно, захлебываясь:

— Да, этот раздел делает все ясным, как день. Мы получим наследство от друга, который не хотел делать различия между нами, не хотел, казалось, сказать: «Я отдаю предпочтение одному перед другим после смерти, как я это делал при жизни». Он любил больше жену, конечно, но оставил свое состояние и тому, и другому, он хотел подчеркнуть, что это предпочтение было чисто платоническим. И будь уверена, если бы он подумал об этом, он так бы и сделал. Это не пришло ему в голову, он не предвидел последствий. Как ты только что совершенно верно говорила, он каждую неделю приносил тебе цветы, он захотел оставить свой последний дар, не давая себе отчета...

Она перебила его с некоторым раздражением:

— Уже решено. Я понимаю. Не нужны все эти объяснения. Иди сейчас к нотариусу.

Покраснев, он пробормотал:

— Ты права. Я иду.

Он взял шляпу, потом, выходя, вспомнил:

— Я постараюсь покончить с племянником на пятидесяти тысячах франков. Не правда ли?

Она ответила высокомерно:

— Нет. Дай ему сто тысяч франков, как он просит. Возьми их из моей доли, если хочешь.

Пристыженный, он прошептал:

— Ах нет, мы поделим. Если мы дадим по пятидесяти тысяч, нам останется ровно миллион.

Потом прибавил:

— До свидания, моя маленькая Мад.

Он пошел к нотариусу сообщить ему комбинацию, придуманную якобы его женой. На другой день они подписали дарственную запись на пятьсот тысяч франков, которые Мадлена Дю Руа передавала своему мужу.

Погода была прекрасная. Выйдя из конторы, Жорж предложил жене пройтись пешком по бульварам. Он старался быть любезным, нежным, внимательным. Он смеялся, радовался всему, был счастлив; она шла молчаливая, задумчивая.

Был холодный осенний день. На улице было много народу, все шли быстро, казалось, спешили куда-то. Дю Руа подвел жену к магазину и показал ей хронометр, который давно уже нравился ему.

— Я куплю тебе какую-нибудь вещицу, — сказал он.

Она ответила безучастно:

— Как хочешь.

Они вошли в магазин. Он спросил:

— Что хочешь, ожерелье, браслет, серьги?

При виде золотых вещей ее напускная холодность исчезла, глаза заблестели, и она с увлечением стала рассматривать витрины.

— Вот хорошенький браслет, — сказала она. Видно было, что ей хочется иметь его. Это была причудливая золотая цепь, усыпанная драгоценными камнями.

Жорж спросил:

— Что стоит этот браслет?

Ювелир ответил:

— Три тысячи франков.

— Уступите за две тысячи пятьсот, я возьму сейчас же.

Тот, подумав, сказал:

— Нет. Это невозможно.

— Вот что, — сказал Дю Руа, — я возьму еще этот хронометр, дайте мне его за полторы тысячи франков, всего будет четыре тысячи. Я заплачу сейчас же. Согласны? Если нет, я уйду.

Ювелир постоял в нерешительности, но потом согласился.

— Пусть будет по вашему.

Журналист дал свой адрес и сказал:

— Прикажите вырезать на хронометре мои инициалы: Ж. Р. К., а сверху баронскую корону.

Мадлена, удивленная, улыбнулась.

— Вы можете положиться на меня, барон, — сказал ювелир, — в четверг все будет готово.

Когда они вышли, она нежно взяла его под руку. Она находила, что он очень остроумный и ловкий. Теперь, когда у него были деньги, ему нужен был титул.

Они проходили мимо театра «Водевиль». Там была объявлена новая пьеса.

— Пойдем сегодня вечером в театр, — сказал он. — Возьмем сейчас ложу.

Они зашли в кассу и взяли ложу.

— Пообедаем в ресторане, — предложил он.

— Отлично, — сказала она.

Он был счастлив, чувствовал себя всемогущим и старался еще что-нибудь придумать.

— А если бы мы зашли за мадам де Марель и пригласили бы ее провести с нами вечер? Мне говорили, что муж ее здесь. Я буду очень рад его повидать.

Они пошли к ней. Жорж боялся первой встречи со своей любовницей и был рад, что жена с ним; так можно избежать всяких объяснений. Но Клотильда сделала вид, что ничего не помнит, и сама уговорила мужа принять их приглашение.

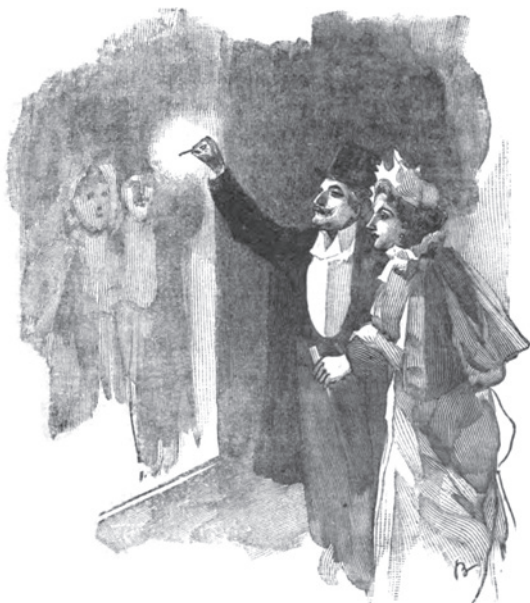
За обедом была весело; вечер они провели очень мило.

Жорж и Мадлена поздно вернулись домой. Газ был потушен. Журналист освещал путь, зажигая время от времени восковые спички.

На площадке первого этажа свет случайно упал на зеркало; в нем отразились их фигуры. Они были похожи на призраки, явившиеся неизвестно откуда и готовые исчезнуть во мраке ночи.

Дю Руа высоко поднял спичку, осветил их лица и торжественно произнес:

— Вот идут миллионеры.





VII

Прошло два месяца со дня покорения Марокко. Франция, захватившая Танжер, владела всем африканским побережьем Средиземного моря до Триполи и взяла на себя гарантию долгов нового завоеванного государства.

Говорили, что двое министров заработали на этом до двадцати миллионов, и почти открыто называли Лароша-Матье.

Что касается Вальтера, весь Париж знал, что он выгадал на этом деле вдвойне: взял тридцать-сорок миллионов на займе и получил от восьми до десяти миллионов с рудников и больших участков земли, купленных за бесценок до завоевания и перепроданных колониционными компаниями сейчас же после французской оккупации.

В несколько дней он стал одним из тех властелинов мира, одним из всемогущих финансистов, могущественнее царей, которые заставляют безмолвно сгибаться перед собою спины и вызывают на свет всю низость, подлость и зависть, таящиеся в глубине человеческого сердца.

Это уже не был жид Вальтер, владелец подозрительного банка, редактор сомнительной газеты, депутат, подозреваемый в низких проделках. Это был господин Вальтер, богатый еврей.

И он захотел показать это.

Он знал, что князь Карлсбургский находится в затруднительном положении; он владел одним из лучших отелей¹ предместья Сент-Оноре, с садом, выходящим на Елисейские поля. Вальтер предложил ему продать в двадцать четыре часа весь дом со всей обстановкой, не переставая даже ни одного стула. Предложил ему три миллиона. Князь, соблазненный этой суммой, согласился.

На следующий день Вальтер устроился в своем новом жилище.

Тогда ему пришла в голову другая идея, настоящая мысль победителя, который хочет овладеть Парижем, мысль, достойная Бонапарта.

Весь город ходил смотреть большую картину венгерского художника Карла Марковича «Иисус, идущий по волнам», выставленную у эксперта Жака Ленобля². Художественные критики были в восторге и объявили эту картину лучшим произведением века.

Вальтер купил ее за пятьсот тысяч франков и перевез к себе; этим он лишил публику возможности удовлетворить свое любопытство и заставил весь Париж говорить о себе; одни ему завидовали, другие осуждали, третьи оправдывали.

Потом он объявил в газетах, что пригласит к себе как-нибудь вечером всех более или менее видных представителей парижского общества посмотреть великое произведение иностранного художника. Тогда никто не будет обвинять его в том, что он секвестровал³ произведение искусства.

Двери его дома будут открыты. Каждый может войти. Достаточно будет предъявить при входе пригласительное письмо.

В нем говорилось: «Господин и госпожа Вальтер просят Вас оказать им честь пожаловать к ним тридцатого декабря, между девятью и двенадцатью часами вечера, чтобы посмотреть при электрическом освещении картину Карла Марковича „Иисус, идущий по волнам“».

В постскрипуме мелким шрифтом было напечатано: «После двенадцати часов ночи танцы».

Таким образом, кто пожелает — останется, и среди них Вальтеры выберут своих будущих знакомых. Другие посмотрят с любопытством — наглым или безразличным — картину, особняк, хозяев и уйдут, как пришли.

Старик Вальтер знал, что к нему придут, как приходят ко всем его братьям-евреям, разбогатевшим так же, как он.

Надо было, чтобы все титулованные особы, имена которых упоминались в газетах, посетили его дом; и он знал, что они придут посмотреть на человека, который в шесть недель нажил пятьдесят миллионов, придут поглазеть на тех,

¹ *Отель* — здесь: особняк (*примеч. ред.*).

² Имена вымышлены Мопассаном, но на основании реального исторического события: в 1884 г. в Париже была выставлена картина венгерского художника Михая Мункачи (1844–1900) «Христос на кресте» (*примеч. ред.*).

³ *Секвестровать* — здесь: наложить ограничение на возможность пользоваться (*примеч. ред.*).

кто будет у него; придут потому, что у него хватило умения и находчивости позвать их любоваться христианской картиной у себя, сына Израиля.

Казалось, он им говорил: «Смотрите, я заплатил пятьсот тысяч франков за религиозный шедевр Марковича „Иисус, идущий по волнам“, и этот шедевр останется у меня, останется навсегда в доме еврея Вальтера».

В высшем свете долго обсуждали это приглашение и решили, что оно, в сущности, ни к чему не обязывает. Каждый пойдет, как ходили смотреть акварели в галерею Пти. Вальтерам принадлежало одно из лучших произведений искусства; они открывали свои двери на один вечер всем тем, кто желал любоваться им. Чего же лучше?

В течение двух последних недель каждое утро появлялись во «Французской жизни» заметки о вечере тридцатого декабря, заметки, имевшие целью возбудить общее любопытство.

Успех патрона бесил Дю Руа.

Жорж стал считать себя богатым, когда ему удалось выманить у жены пятьсот тысяч франков, а теперь, сравнивая свое жалкое состояние с тем потоком миллионов, который заливал все вокруг него и не приносил ему никакой выгоды, он считал себя бедным, нищим. Раздражение и злоба росли в нем с каждым днем. Он был зол на весь мир, на Вальтеров, у которых перестал бывать, на жену, которая под влиянием Лароша отсоветовала ему купить марокканские акции, и, главным образом, на самого министра, который обманул, подвел его, обедая у него аккуратно два раза в неделю.

Жорж служил ему секретарем, агентом, и, когда он писал под диктовку министра, им овладевало безумное желание задушить этого торжествующего фата. Ларош как министр не имел успеха и, чтобы сохранить за собой портфель, должен был скрывать, что этот портфель туго набит золотом. Но Дю Руа знал это; золото чувствовалось в более высокомерном тоне этого адвоката-выскочки, в его манерах, ставших более развязными, в более смело выраженных мнениях, в его самодовольстве.

Ларош царил теперь в доме Дю Руа, занял место графа Водрека и обращался с прислугой, как второй хозяин.

Жорж едва выносил его и бесился, как собака, которая готова укусить, но не смеет. Он бывал часто груб и резок с Мадленой, которая пожимала плечами и обращалась с ним, как с невоспитанным ребенком. Она удивлялась, что он всегда в дурном настроении, и говорила:

— Я тебя не понимаю. Ты постоянно недоволен, а между тем твое положение прекрасно.

Он поворачивался к ней спиной и ничего не отвечал.

Он объявил сперва, что ни за что не пойдет на вечер к Вальтеру и что ноги его не будет у этого презренного жида.

В течение двух месяцев мадам Вальтер ежедневно писала ему, умоляла его прийти, назначить ей где угодно свидание, чтобы она могла передать ему семьдесят тысяч франков, выигранных ею для него.

Он не отвечал на эти письма, полные отчаяния, и сжигал их. Он и не думал отказываться от своей доли в общем выигрыше, но хотел измучить ее, извести своим презрением, бросить ее к своим ногам. Она была богата. Он хотел быть гордым.

Когда в день осмотра картины Мадлена сказала ему, что он должен пойти к Вальтерам, он ответил:

— Оставь меня в покое. Я не пойду.

После обеда он вдруг объявил:

— Мне придется, однако, отбыть эту повинность. Одевайся!

Она ждала этого.

— Я буду готова через четверть часа.

Одеваясь, он все время ворчал, и даже в карете продолжал злиться и брюзжать.

Подъезд Карлсбургского отеля был освещен четырьмя электрическими фонарями, которые стояли по углам и были похожи на четыре маленьких голубоватых луны. Роскошный ковер покрывал ступени лестниц, и на каждой площадке неподвижно, как статуи, стояли лакеи в ливреях.

Дю Руа пробормотал:

— Что за безобразия.

Он презрительно пожимал плечами; но зависть мучила его.

Жена сказала ему:

— Помалкивай; постарайся сам добиться того же.

Они вошли и передали свои шубы лакеям. Тут уже было довольно много народа, все раздевались, и слышен был шепот:

— Как красиво, как великолепно!

Огромный вестибюль был обит роскошными коврами, на которых была изображена любовь Марса и Венеры. Справа и слева возвышались крылья гигантской лестницы, которые сходились в первом этаже. Перила тонкой и изящной работы были сделаны из кованого железа, старая, слегка потемневшая позолота их бросала бледные отблески на красный мрамор ступеней.

При входе в залы две маленькие девочки — одна в розовом, другая в голубом — раздавали дамам цветы. Все находили это очень милым.

Уже собралось довольно много народу. Большая часть женщин были в темных выходных платьях, они хотели этим подчеркнуть, что пришли сюда, как на частную выставку. Те, которые думали остаться на танцы, были декольтированы.

Мадам Вальтер, окруженная друзьями, сидела во второй комнате и благосклонно отвечала на приветствия посетителей. Многие не знали ее и осматривали отель, как музей, не обращая внимания на хозяев дома.

Увидев Дю Руа, она взволновалась, изменилась в лице и готова была броситься к нему. Но не сдвинулась с места и ждала его. Он ей низко и вежливо поклонился, а Мадлена осыпала ее ласками и комплиментами. Оставив жену с хозяйкой дома, Жорж постарался слиться с толпой и прислушаться

ко всем неприязненным толкам, которые должны были раздаваться со всех сторон.

Пять зал следовали одна за другой; они были обиты дорогими материями, итальянскими вышивками, восточными коврами всевозможных оттенков и стилей; на стенах висели картины старинных мастеров. Особенный восторг вызывала комната в стиле Людовика XVI, маленький будуар, обитый голубым шелком с розовыми цветами. Мебель из золоченого дерева удивительно тонкой работы была обита тем же шелком.

Жорж увидел тут всех знаменитостей: герцогиню де Феррачини, графа и графиню де Равенель, генерала князя д'Андремона, прекрасную маркизу де Дюн и всех тех, кто бывает на первых представлениях.

Кто-то схватил его за руку и радостно прошептал ему на ухо:

— Ах, вот и вы, Милый друг. Почему не приходили к нам?

Это была Сюзанна Вальтер, смотревшая на него из-под облака кудрявых белокурых волос своими эмалевыми глазами.

Он обрадовался, увидев ее, и искренно пожал ей руку. Потом извинился:

— Я не мог, я был так занят эти два месяца, почти не выходил.

— Это очень, очень нехорошо, — ответила она серьезно. — Вы нас очень огорчаете, ведь мы вас обожаем, мама и я. Я не могу жить без вас. Когда вас нет, я смертельно скучаю. Я говорю вам это откровенно, чтобы этим лишить вас права исчезать. Пойдем, я сама хочу вам показать «Иисуса, идущего по волнам». Папа поместил картину в конце за оранжереей, чтобы гости должны были пройти через все комнаты. Прямо смешно, как папа носит с этим отелом.

Они медленно пробирались сквозь толпу. Все любовались красивым молодым человеком и этой очаровательной куколкой.

Один из известных художников сказал:

— Вот чудная пара. Просто прелесть.

Жорж думал: «Вот на ком я должен был жениться. А ведь это было возможно. Как я не подумал об этом? Как я увлекся той? Что за глупость! Всегда поступаешь слишком быстро, необдуманно».

И зависть, горькая зависть проникала ему в душу, отравляла радость и окрашивала все в тусклый цвет.

— О, приходите почаще, Милый друг, — сказала Сюзанна. — Теперь, когда папа так разбогател, мы будем веселиться, будем безумствовать.

— Теперь вы выйдете замуж за какого-нибудь князя, красивого и разорившегося, и мы не будем больше видеться.

— О нет, нет еще, я буду ждать, чтобы мне кто-нибудь понравился, очень понравился, совсем понравился. Я достаточно богата — за двоих.

Он улыбнулся слегка насмешливо и высокомерно и стал указывать ей в толпе тех, которые продали свои ветхие, ржавые титулы дочерям богатых финансистов, а теперь живут с женами или отдельно, свободно и беспутно, всеми чтимые и уважаемые.

— Через шесть месяцев и вы попадетесь на эту удочку, — сказал он. — Вы станете маркизой, графиней, княгиней и будете смотреть на меня свысока.

Она возмутилась, ударила его слегка веером по руке и клялась ему, что выйдет замуж только по любви.

Он расхохотался:

— Увидим. Вы слишком богаты для этого.

— Но ведь и вы получили наследство.

— Помилуйте, стоит ли об этом говорить. Двадцать тысяч годового дохода. Это такие пустяки.

— Но ваша жена получила столько же.

— Да. Миллион на двоих. Сорок тысяч годового дохода. Мы не имеем даже возможности иметь собственный выезд.

Так они дошли до последнего зала и увидали великолепный зимний сад. Высокие тропические растения дали у своего подножья приют роскошным клумбам самых редких и изысканных цветов. Мягкими серебристыми волнами проникал свет сквозь густую листву, чувствовалась свежая прохлада влажной земли и опьяняющее благоухание. Во всем этом было что-то неестественное, чарующее и отравляющее, полное неги и страсти. Они шли между рядами густых кустарников, по коврам, подобным мху. Вдруг Дю Руа увидел



под широким сводом гигантских пальм огромный бассейн из белого мрамора. По краям его стояли четыре белых лебедя из дельфийского фаянса¹; из полуоткрытых клювов их струилась вода. Дно бассейна было усыпано золотым песком.

Огромные красные рыбы с большими глазами, с чешуей с темно-синим отливом по краям, какие-то китайские чудовища плавали в нем; эти властелины вод, извивающиеся на золотом фоне дна, напоминали причудливые вышивки китайских тканей.

Дю Руа стоял пораженный, сердце его замерло. «Вот, вот настоящая роскошь, — думал он. — Вот как надо жить. Другие достигли этого. Отчего же я не могу?» Он придумывал различные способы добиться того же, не находил и злился на свое бессилие.

Сюзанна стояла молчаливая, задумчивая.

Он посмотрел на нее и подумал еще раз: «А ведь стоило только жениться на этой марионетке».

— Пойдемте, — сказала она, как бы очнувшись от сна. Они пробрались сквозь толпу и быстро повернули направо.

Среди причудливых растений, протягивающих свои трепетающие листья, как руки с тонкими пальцами, неподвижно среди моря стоял человек.

Впечатление было поражающее. Картина, края которой терялись в живой зелени, казалась большим окном, открывавшимся в фантастическую, заманчивую даль. Надо было внимательно приглядеться, чтобы понять, в чем дело.

Рама пересекала лодку, в которой сидели апостолы, слабо освещенные косыми лучами фонаря; один из них был на борту лодки и направлял свет на удалявшегося Христа. Христос ступил на волну, она утихла и, покорная, нежная, ласковая, приникла к божественным стопам. Царила полная тьма вокруг Богочеловека. Одни только звезды сияли в небе. Лица апостолов, освещенные бледными отблесками фонаря, казалось, застыли от удивления.

Это было великое и неожиданное произведение большого мастера, одно из тех произведений, которые волнуют мысль и на долгие годы остаются для нас мечтой.

Все молча осматривали картину, уходили задумчивые и погруженные в себя и только спустя некоторое время могли говорить о ее достоинствах.

Дю Руа, осмотрев ее, сказал:

— Это недурно — иметь возможность приобрести такую безделушку.

Его толкали, и он ушел, держа под руку Сюзанну и слегка пожимая ее маленькую ручку.

Она спросила:

— Не хотите ли бокал шампанского? Пойдем в буфет. Папа там.

¹ Имеется в виду близкий к фаянсу сине-белый *делфтский фарфор*, производимый и в наши дни в городе Делфт (Нидерланды) (*примеч. ред.*).

Они медленно прошли по залам обратно. Народу становилось все больше, все шумели и чувствовали себя как дома. Это было самое изысканное общество, которое можно встретить на публичных праздниках.

Вдруг Жорж услышал:

— Вон Ларош и мадам Дю Руа.

Эти слова донеслись до его уха, как отдаленный шум ветра. Кто произнес их? Он оглянулся и увидел жену свою под руку с министром. Они смеялись, интимно болтали и смотрели друг другу в глаза.

Ему казалось, что все перешептываются, указывая на них, и у него явилось бессмысленное и грубое желание броситься и убить их обоих.

Она делала его смешным. Он вспомнил Форестье. И про него, быть может, говорят: «Этот рогагоносец Дю Руа». И что она представляла собой! Какая-то выскочка, довольно ловкая, правда, но, в сущности, ничего особенного. Ее посещали, потому что опасались его, чувствовали его силу, но не особенно, должно быть, стеснялись, когда говорили об этой семье журналистов. Он никогда ничего не достигнет с этой женщиной, которая всегда компрометирует себя, с этой женщиной, в которой все выдает интриганку. Она всегда будет служить ему помехой во всем. Ах, если бы он сообразил, если бы он знал! Он бы мог повести более крупную, более верную игру. Какой бы это был выигрыш, если бы ему досталась Сюзанна! Чем он был ослеплен, как он не понял этого?

Они вошли в столовую; это была громадная комната с мраморными колоннами, стены ее были обиты старинными гобеленами.

Увидев своего сотрудника, Вальтер бросился к нему и стал пожимать ему руки. Он был опьянен радостью.

— Все ли вы видели? Сюзанна, все ли ты ему показала? Сколько народу, Милый друг, не правда ли? Видели ли вы князя де Герша? Он только что был здесь, выпил бокал пуншу.

Потом он бросился навстречу сенатору Рисолену, который вел свою жену, наряженную крикливо и безвкусно.

Сюзанне поклонился какой-то высокий и стройный молодой человек, лысоватый, с белокурыми баками и светскими изысканными манерами. Жорж слышал, как его называли «маркиз де Казоль», и его неожиданно охватил порыв ревности. Когда она познакомилась с ним? Должно быть, с тех пор, как разбогатела? Конечно, это был претендент.

Кто-то взял его за руку. Это был старый поэт Норбер де Варен; у него был безразличный и скучающий вид.

— Вот что они называют весельем, — сказал он. — Сейчас будут танцы; потом лягут спать; девчонки будут в восторге. Выпейте шампанского, прекрасное шампанское. — Он наполнил свой бокал, чокнулся с Дю Руа и сказал: — Я пью за победу мысли над миллионами. — Потом тихо прибавил: — Они мне не мешают в чужих карманах, и я не завидую миллионерам. Но я протестую во имя принципа.

Жорж не слушал его. Он искал глазами Сюзанну, которая исчезла с маркизом де Казолем. Он покинул поэта и пустился в погоню за молодой девушкой.

Густая толпа, которая стремилась к буфету, остановила его. Когда он протиснулся сквозь нее, то очутился лицом к лицу с супругами де Марель.

С женой он виделся постоянно, а мужа не встречал уже давно. Де Марель бросился к нему и стал жать ему руки:

— Как я вам благодарен, дорогой мой, — сказал он, — за совет, который вы мне дали через Клотильду. На марокканском займе я выиграл сто тысяч. Я этим всецело обязан вам. Вы просто бесценный друг.

Мужчины оглядывались на красивую и изящную брюнетку. Дю Руа ответил:

— В награду за мою услугу, дорогой мой, я беру вашу жену, или, вернее, предлагаю ей руку. Надо всегда разъединять супругов.

Де Марель поклонился:

— Это верно. Если я потеряю вас из виду, мы встретимся здесь через час.

— Прекрасно.

Молодые люди стали пробираться сквозь толпу. За ними шел муж.

Клотильда говорила:

— Какие ловкие эти Вальтеры. Вот что значит понимать в делах.

Жорж ответил:

— Да! Сильные люди всегда добиваются своего так или иначе.

— Вот две девушки, у которых от двадцати до тридцати миллионов приданого у каждой. Да при этом Сюзанна еще и хорошенькая.

Он ничего не ответил. Собственная мысль, высказанная другим, возмутила его.

Она еще не видела «Иисуса, идущего по волнам». Он предложил проводить ее. Они сплетничали, злословили и высмеивали проходящих. Сен-Потен прошел мимо них, весь увешанный орденами; это их очень позабавило. За ним следовал какой-то бывший посланник, но у него было меньше орденов.

Дю Руа сказал:

— Какая смесь одежд и лиц!

Буаренар пожал ему руку; у него в петлице была желто-зеленая лента — его секундантский значок.

Виконтесса де Персмюр, громадная и наряженная, беседовала с каким-то герцогом в маленьком будуаре в стиле Людовика XVI.

Жорж прошептал:

— Милый *tête-à-tête*.

Но, проходя через оранжерею, он увидел свою жену и Лароша-Матье. Они укрылись за зеленью тропических растений и, казалось, говорили: «Мы назначили друг другу свидание, здесь, на виду у всех. Нам плевать на общественное мнение».

Мадам де Марель нашла, что «Иисус» Карла Марковича удивительно хорош. Они вернулись. Ее мужа уже не было.

Он спросил:

— А Лорина все еще на меня сердится?

— Да, по-прежнему. Она не хочет тебя видеть и уходит, когда говорят о тебе.

Он ничего не ответил. Внезапная неприязнь этой девочки огорчала и угнетала его.

У дверей их остановила Сюзанна.

— А, вот вы, наконец! Ну, Милый друг, вы останетесь один. Я похищаю прекрасную Клотильду, хочу показать ей свою комнату.

И обе женщины поспешно удалились. Они пробирались сквозь толпу теми волнообразными движениями ящерицы, которыми женщины умеют так ловко пользоваться в толпе.

Вслед за этим кто-то тихо сказал:

— Жорж!

Это была мадам Вальтер. Прибавила шепотом:

— О, как вы жестоки! Как вы меня заставляете страдать. Я поручила Сюжете вести ту, которая была с вами, чтоб сказать вам несколько слов. Слушайте, я должна... я должна... поговорить с вами сегодня вечером... или... или... вы не можете себе представить, что я сделаю. Пойдите в оранжерею. Там налево есть дверь, выходите через нее в сад. Идите прямо по аллее. В конце вы увидите тоннель. Ждите меня там через десять минут. Если вы на это не согласитесь, то, клянусь вам, я устрою вам скандал здесь, сейчас же.

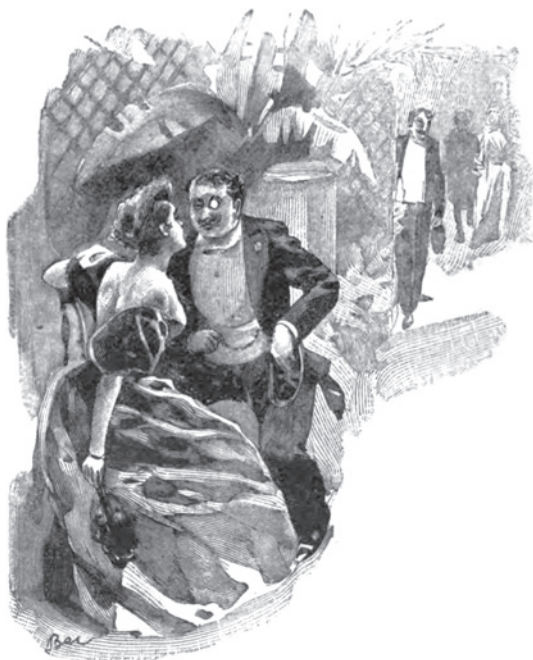
Он ответил высокомерно:

— Хорошо. Через десять минут я буду в указанном вами месте.

И они расстались. Но Жак Риваль чуть не заставил его опоздать. Он взял его под руку и стал рассказывать ему новости. Он был очень возбужден. Должно быть, только что вышел из буфета. Наконец Дю Руа удалось оставить его с де Марелем, которого они встретили в дверях.

Он поспешил уйти. Надо было устроиться так, чтобы жена и Ларош не видели его. Ему это легко удалось, так как они были очень увлечены друг другом. Он вышел в сад.

Холодный воздух сразу охватил его. «Черт возьми, я схвачу насморк», — подумал он и завязал себе шею носовым платком. Медленно пошел по аллее. После блестящего освещения зал здесь казался темно.



Направо и налево виднелись ряды кустарников; листья опали, казалось, голые ветви вздрагивали. Бледные отблески скользили по деревьям, отблески от ярко освещенных окон отеля. Перед ним мелькнуло что-то белое; это была мадам Вальтер; шея и руки ее были обнажены.

— Ах, это ты, — прошептала она дрожащим голосом. — Ты хочешь меня убить?

Он ответил спокойно.

— Прошу тебя без сцен, а то я сейчас уйду.

Она обвила его шею руками, так что его губы почти касались ее губ, и сказала:

— Но что я тебе сделала? За что ты так обращаешься со мной? Что я тебе сделала?

Он попытался оттолкнуть ее:

— В последний раз, когда мы виделись, ты намотала свои волосы на мои пуговицы, и это чуть не привело меня к разрыву с женой.

Она была поражена, потом отрицательно покачала головой.

— О, твоей жене это безразлично. Должно быть, одна из твоих любовниц сделала тебе сцену.

— У меня нет любовниц.

— Не говори мне этого! Но почему ты не хочешь больше меня видеть? Почему отказываешься у нас обедать хоть раз в неделю? Если бы ты знал, как я страдаю, как я люблю тебя. У меня нет ни одной мысли, которая не принадлежала бы тебе; на что бы я ни смотрела, ты все время у меня перед глазами, я вижу только тебя, я боюсь сказать слово, чтобы не произнести твоего имени! Ты этого не понимаешь! Мне кажется, что меня кто-то держит в тисках, что меня завязали в мешок, я сама не знаю, что со мной! Воспоминания о тебе преследуют меня, сдавливают мне горло, разрывают мне что-то тут, в груди, под сердцем; у меня подкашиваются ноги, и я не в состоянии двигаться. Я целыми днями сижу на стуле, как безумная, и думаю о тебе.

Он смотрел на нее, удивленный. Перед ним была не та шаловливая взрослая девочка, к которой он привык, а женщина растерявшаяся, отчаявшаяся, способная на все.

У него зародился какой-то новый план. Он ответил:

— Милая моя, любовь не вечна. Люди отдаются друг другу, потом расходятся. Но когда это так продолжительно, как у нас, то становится в тягость. Я не хочу больше этого. Вот истина. Но если ты можешь быть благоразумной, принимать меня и обращаться со мной, как с другом, то я буду бывать у тебя как раньше. Способна ли ты на это?

Она положила ему руки на плечи и прошептала:

— Я готова на все, чтобы только видеть тебя.

— Итак, решено, — мы друзья и больше ничего.

Она прошептала:

— Да, решено.

Потом протянула губы.

— Еще один поцелуй... последний.

Он мягко отказал ей:

— Нет. Надо держаться принятого решения.

Она отвернулась, вытерла слезы, достала маленький пакет, перевязанный шелковой розовой ленточкой, и протянула его Дю Руа:

— Возьми, это твоя доля выигрыша на марокканском деле. Я была так рада получить эти деньги для тебя. Ну, бери же...

Он хотел отказаться:

— Нет, я не возьму этих денег!

Тогда она рассердилась:

— Нет, ты сделаешь это! Эти деньги твои, только твои. Если ты их не возьмешь, я их выброшу. Ты сделаешь это, Жорж?

Он взял маленький пакетик и опустил его в карман.

— Надо вернуться, — оказал он. — Ты схватишь воспаление легких.

Она прошептала:

— Тем лучше! Если бы я могла умереть!

Она схватила его руку и целовала ее страстно, безумно, с отчаянием. Потом убежала домой.

Он шел медленно, задумчивый. Вошел в оранжерею с высоко поднятой головой и с улыбкой на губах. Жены его и Лароша здесь уже не было.



Народу стало меньше. Стало ясно, что многие не останутся на бал. К нему подошла Сюзанна под руку с сестрой. Они просили его танцевать первую кадрили с ними и с графом де Латур-Ивеленом.

Он ответил:

— А это еще кто?

Сюзанна сказала лукаво:

— Это новый друг моей сестры.

Роза покраснела и прошептала:

— Ты злая, Сюзетта: он такой же мой друг, как и твой.

Она улыбнулась:

— Я знаю, что говорю.

Роза рассердилась и ушла.

Дю Руа взял молодую девушку под руку и своим вкрадчивым голосом сказал:

— Слушайте, дорогая, считаете ли вы меня своим другом?

— О да, Милый друг.

— Вы доверяете мне?

— Вполне.

— Помните ли вы, о чем мы недавно говорили?

— По поводу чего?

— По поводу вашего брака, или, вернее, человека, за которого вы выйдете замуж.

— Да.

— Так обещаете ли вы мне одну вещь?

— Да, но что?

— Советоваться со мной каждый раз, как будут просить вашей руки, и не давать никому согласия, не спросивши об этом меня.

— Да, я согласна.

— Это должно остаться между нами. Ни слова ни отцу, ни матери.

— Ни слова.

— Вы клянетесь?

— Клянусь.

Вбежал Риваль с деловым видом:

— Вас папа зовет танцевать.

Она сказала:

— Идем, Милый друг.

Но он отказался, так как решил сейчас же уехать. Ему хотелось быть одному. Слишком много нового ворвалось в его душу. Он стал искать свою жену. Вскоре он увидел ее, она пила шоколад в буфете с двумя незнакомыми мужчинами. Она им представила мужа, но не назвала их.

Он спросил:

— Поедем?

— Как хочешь.

Он взял ее под руку, и они пошли по залам; народу стало совсем мало.

Она спросила:

— А где хозяйка? Я хотела бы с ней проститься.

— Не стоит. Она будет нас задерживать, а мне это и так надоело.

— Ты прав.

Всю дорогу они молчали. Как только они вошли в комнату, Мадлена, улыбающаяся, не снимая вуали, сказала ему:

— Знаешь, у меня есть для тебя сюрприз.

Он сердито спросил:

— Что такое?

— Догадайся.

— Стану я стараться.

— Ну так вот! Послезавтра первое января.

— Да.

— Теперь время подарков.

— Да.

— Вот твой подарок, Ларош мне только что его передал.

Она протянула ему маленькую черную коробочку, напоминавшую собой футляр для драгоценностей. Он открыл ее безразлично и увидел орден Почетного легиона.

Он слегка побледнел, улыбнулся и объявил:

— Я предпочел бы десять миллионов. Это не дорого стоит ему.

Она ждала, что он обрадуется, его холодность разозлила ее:

— Прямо удивительно, ты ничем не доволен.

Он ответил спокойно:

— Этот человек мне платит только свой долг. Он мне еще много должен.

Удивленная его тоном, она спросила:

— А ведь это недурно в твоем возрасте?

Он ответил:

— Все относительно. Могло быть лучше.

Взял футляр, открыл его, положил на камин и полюбовался блестящей звездой. Потом закрыл его и лег в постель, пожимая плечами.

Действительно, в офицิโอze первого января было объявлено, что публицист Проспер Жорж Дю Руа получает за свои выдающиеся заслуги звание кавалера Почетного легиона. Его фамилия была написана двумя словами, и это доставило ему даже больше удовольствия, чем само получение ордена.



Через час после того, как он прочел эту новость, теперь уже всем известную, он получил письмо от мадам Вальтер. Она умоляла его прийти к ней с женой обедать, чтобы отпраздновать вместе это событие. Он колебался несколько минут; потом бросил в огонь ее письмо, написанное довольно двусмысленно, и сказал Мадлене:

— Мы пойдем сегодня обедать к Вальтерам.

Она очень удивилась.

— Как! Ты ведь говорил, что твоей ноги не будет у них.

Он пробормотал:

— Я изменил свое решение.

Когда они приехали, мадам Вальтер была одна в своем маленьком будуаре в стиле Людовика XVI; она избрала его для своих интимных приемов. Она была вся в черном, волосы были напудрены, и она была очаровательна. Издали она казалась старой, вблизи — совсем молодой; это был пленительный обман зрения.

— Вы в трауре? — спросила Мадлена.

Она ответила печально:

— Да и нет. Я никого не потеряла из своих близких. Но я достигла того возраста, когда носят траур по своей жизни. Сегодня я надела траур, чтобы освятить его. Отныне я буду носить его в своем сердце.

Дю Руа подумал: «Долго ли продолжится это решение?»

Обед был мрачный. Только Сюзанна болтала без умолку. Роза казалась озабоченной. Все поздравляли журналиста.

Вечером пошли бродить по залам и оранжерее. Дю Руа шел сзади; хозяйка дома задержала его.

— Слушайте, — оказала она тихо... — Я ничего не буду вам больше говорить, никогда... Но приходите ко мне, Жорж. Вы видите, я с вами больше не на «ты». Но я не могу жить без вас, не могу. Это невероятная пытка. Я вас чувствую, вы все время у меня на глазах, в сердце, в теле, день и ночь. Вы как будто напоили меня какой-то отравой, которая подтачивает меня. Я не могу больше. Нет. Не могу. Я хочу быть для вас только старой женщиной. Сегодня у меня седые волосы; видите... Но приходите к нам, приходите хоть иногда, как друг.

Она взяла его руку, крепко сжала ее, вонзая свои ногти в его тело.

Он ответил спокойно:

— Это решено. Лишнее говорить об этом. Вы же видите, я пришел сегодня, как только получил ваше письмо.

Вальтер шел впереди с своими двумя дочерьми и Мадленой; он остановился у «Иисуса, идущего по волнам», и ждал Дю Руа.

— Представьте себе, — сказал он, смеясь, — вчера я застал жену перед этой картиной на коленях, как в церкви. Она молилась. Вот я смеялся!

Мадам Вальтер ответила твердым голосом, голосом, в котором чувствовалось скрытое волнение:

— Этот Христос спасет меня. Он дает мне силу и бодрость каждый раз, как я смотрю на него.

И, указывая на Бога, стоящего на волнах, она прошептала:

— Как он прекрасен! Как они боятся его и любят, эти люди! Смотрите на его голову, взгляните в его глаза, как он прост и сверхъестественен в одно и то же время!

— Но как он похож на вас, Милый друг, — воскликнула Сюзанна. — Поразительно похож. Если бы у вас были баки, или он был бритым, это были бы совершенно одинаковые лица. О, это удивительно.

Она попросила его стать рядом с картиной; все признали, что, действительно, они похожи друг на друга!

Все удивились. Вальтер нашел, что это прямо невероятно. Мадлена, улыбаясь, объявила, что у Христа более мужественный вид.

Мадам Вальтер стояла неподвижно и напряженным взором смотрела на лицо Христа. Она была так же бела, как были белы ее волосы.





VIII

В течение остальной части зимы Дю Руа часто бывал у Вальтеров. Жорж там обедал постоянно один, так как Мадлена жаловалась на утомление и предпочитала оставаться дома.

Он избрал пятницу как определенный день, и мадам Вальтер уже тогда никого не принимала. Это был день Милого друга. После обеда играли в карты, кормили китайских рыбок и проводили время по-семейному. Иногда за дверью, где-нибудь в оранжерее, в темном углу мадам Вальтер бросалась в объятия молодого человека и, прижимая его к груди, шептала:

— Я люблю тебя!.. Люблю тебя!.. Люблю до смерти.

Но он холодно отталкивал ее и говорил сухим тоном:

— Если вы начнете снова, я никогда больше не приду сюда.

В конце марта заговорили о свадьбе двух сестер. Роза выходила будто бы за графа де Латур-Ивелена, Сюзанна — за маркиза де Казоля. Оба они стали своими близкими людьми и пользовались особым расположением.

Между Жоржем и Сюзанной установилась нежная, братская дружба; они болтали целыми часами, смеялись над всеми и, казалось, очень нравились друг другу. Они больше не говорили ни о возможном браке девушки, ни о претендентах на ее руку.

Как-то патрон пригласил к себе Дю Руа завтракать; мадам Вальтер была занята каким-то поставщиком. Жорж сказал Сюзанне:

— Пойдем кормить красных рыбок.

Они взяли по большому куску хлеба и пошли в оранжерею. По краям бассейна были положены подушки, чтобы можно было стать на колени и быть ближе к рыбкам. Молодые люди взяли по подушке и, нагнувшись к воде, стали бросать хлебные шарики. Заметив их, рыбы стали подплывать, двигая хвостами, взмахивая плавниками, ворочая своими большими круглыми глазами; они ныряли, стремясь поймать круглые шарики, которые опускались на дно, и потом выплывали, как бы прося новой подачи.

Внезапно они стремительно бросались вперед, забавно открывали рты и своими движениями и видом напоминали маленьких чудовищ; красным пламенем выделялись они на золотом песке дна, прорезая огненными языками прозрачность вод, заставляя любоваться в моменты остановок синевой, окаймляющей их чешую.

Жорж и Сюзанна смотрели в воду и улыбались своему отражению.

Вдруг он спросил тихо:

— Нехорошо, Сюзанна, что вы все скрываете от меня?

Она сказала:

— Да что я скрываю, Милый друг?

— Вы разве не помните, что вы обещали мне здесь в день вечера?

— Нет.

— Советоваться со мной каждый раз, как будут просить вашей руки.

— Ну?

— Ну, ее просили.

— Кто же?

— Вы это сами знаете.

— Нет, клянусь.

— Вы прекрасно знаете. Этот фат маркиз де Казоль.

— Прежде всего, он не фат.

— Возможно! Но он глуп, разорен игрой, истощен кутежами. Вот чудная партия для вас, такой молодой, свежей и умной.

Она ответила улыбаясь:

— Но что вы имеете против него?

— Я? Ничего.

— Как ничего? Он вовсе не то, что вы думаете.

— Положим. Но он глуп и интриган.

Она перестала смотреть на воду и повернулась к нему.

— Однако, что с вами?

Он произнес, как будто у него вырвали из сердца тайну:

— Со мной... Со мной... Я ревную вас.

Она спросила несколько удивленно:

— Вы?

— Да, я.

— Вот тебе раз. С чего это?

— Я люблю вас, и вы прекрасно это знаете. Злая.

Она сказала сурово:

— Вы сошли с ума, Милый друг!

Он продолжал:

— Да, я сумасшедший. Разве я должен говорить вам это, я, женатый человек, вам, молодой девушке. Я больше, чем сумасшедший, я преступник, я несчастный. У меня нет никакой надежды, я теряю рассудок. И когда при мне говорят, что вы должны выйти замуж, на меня нападает такая безумная ярость, что я готов убить всех. Вы должны простить меня, Сюзанна.

Он замолчал. Рыбы, которым они больше не бросали хлеба, застыли в воде, выравнялись, как английские солдаты, и разглядывали лица молодых людей, переставших заниматься ими.

Сюзанна ответила не то печально, не то обрадовавшись:

— Как жаль, что вы женаты. Но теперь помочь этому нельзя. Все кончено!

Он стремительно повернулся к ней и нервно сказал:

— А если бы я был свободен, вы вышли бы за меня замуж?

Она ответила искренно:

— Да, Милый друг, я вышла бы за вас замуж; вы мне нравитесь больше всех.

— Благодарю... благодарю вас... Я умоляю вас, не давайте никому слова. Подождите еще немного. Я умоляю вас! Обещаете ли вы мне это?

Она прошептала смущенно, не понимая его:

— Да, обещаю.

Дю Руа бросил в воду весь ком хлеба, который был у него в руке, и убежал, не простившись, как бы окончательно потеряв голову.

Все рыбки жадно набросились на ком мякиша, который разбух и всплыл на поверхность, и стали рвать его на части. Они утащили его на другой конец бассейна, волновались и кружились под ним, образуя как бы подвижную кисть, живой, вертящийся цветок, брошенный венчиком в воду.

Сюзанна, взволнованная, удивленная, поднялась и медленно пошла назад. Журналист исчез.

Он вернулся домой спокойный и спросил Мадлену, которая писала письма:

— Ты пойдешь в пятницу обедать я Вальтерам? Я иду.

Она неуверенно ответила:

— Нет. Мне немного нездоровится. Я лучше останусь дома.

— Как хочешь. Никто тебя не заставляет.

Потом взял шляпу и ушел.

Он давно наблюдал за нею, выслеживал и знал все ее похождения. Час, которого он ждал, наконец настал. Он прекрасно знал, что означали ее слова: «Я лучше останусь дома».

Все следующие дни он был любезен с ней. Вопреки своему обыкновению, казался даже веселым.

Она заметила:

— Ты становишься опять милым.

В пятницу он рано оделся и сказал, что ему надо кое-куда еще зайти до Вальтеров. Около шести часов он ушел, поцеловав жену, взял фиакр на площади Нотр-Дам-де-Лорет и сказал кучеру:

— Вы остановитесь против номера семнадцать на улице Фонтен и будете стоять там, пока я не прикажу вам ехать дальше. Потом отвезете меня в ресторан на улицу Лафайета.

Карета медленно тронулась; Дю Руа опустил шторы. Он остановился против своего подъезда и не спускал глаз с дверей. Через десять минут вышла Мадлена и пошла вверх по бульварам. Как только она немного удалилась, он крикнул кучеру:

— Поезжайте.

Экипаж двинулся и доставил его в ресторан, известный в квартале. Жорж вошел в общий зал и сел обедать; он ел не спеша и от времени до времени смотрел на часы. Выпив кофе, две рюмки коньяку, медленно выкурил сигару, вышел, взял карету и поехал на улицу Ларошфуко.

Не беспокоя швейцара, он поднялся в третий этаж и позвонил. Ему открыла прислуга:

— Господин Гибер де Лорм дома?

— Да.

Его ввели в гостинную, попросили подождать. Вышел господин высокого роста, в орденах, с военной выправкой, у него были седые волосы, хотя он был еще молод.

Дю Руа поклонился и сказал:

— Как я и предвидел, господин комиссар, жена моя обедает со своим любовником в меблированной квартире, которую он нашел на улице Мартир.

— Я к вашим услугам.

Жорж сказал:

— До девяти часов, не правда ли? Позже вы не имеете права входить в частную квартиру, чтобы установить там факт прелюбодеяния.

— До семи часов зимою, до девяти — с тридцать первого марта. Сегодня пятое апреля, у нас есть время до девяти часов.

— Прекрасно. У меня есть экипаж, мы возьмем агентов и поедем; подождем немного у подъезда. Чем позже мы войдем, тем вернее можем их застигнуть на месте преступления.

— Как вам угодно.



Комиссар вышел и вернулся, надев пальто, которое скрыло его трехцветный пояс. Он посторонился, чтобы пропустить Дю Руа. Но журналист, погруженный в свои мысли, отказывался выйти первым и повторял:

— После вас... после вас...

Комиссар сказал:

— Проходите же, я у себя дома.

Жорж поклонился и вышел.

Они отправились в комиссариат; там их ждали трое переодетых агентов; они были предупреждены, что нужны будут в этот вечер. Один из них сел на козлы рядом с кучером, двое других поместились в карете. Они поехали на улицу Мартир.

Дю Руа сказал:

— У меня есть план квартиры. Она на втором этаже. Сначала будет маленькая передняя, потом спальня. Все три комнаты сообщаются. Там всего один выход, бежать невозможно. Поблизости живет слесарь; он будет в вашем распоряжении.

Когда они подъехали к дому, было четверть девятого; они прождали молча двадцать минут у подъезда. Без четверти девять Жорж сказал:

— Идем теперь.

Они поднялись, незамеченные швейцаром. Один из агентов остался у подъезда караулить выход. Во втором этаже они остановились; Дю Руа приложил ухо к двери, потом взглянул в замочную скважину. Ничего не было слышно, ничего не было видно. Он позвонил.



Комиссар сказал агентам:

— Вы останетесь здесь, будете ждать моих приказаний.

Не открывали. Через несколько минут Жорж позвонил снова. В глубине квартиры раздался шум, потом слышались легкие шаги. Кто-то шел на разведку. Журналист постучался. Какая-то женщина спросила:

— Кто там?

Ясно было, что она старается изменить голос.

Комиссар ответил:

— Именем закона, откройте.

— Кто там?

— Полицейский комиссар. Откройте, или я прикажу взломать двери.

— Что вам надо?

Дю Руа сказал:

— Это я. Теперь уже вы не ускользнете от нас.

Легкие шаги удалились, утихли и через несколько секунд слышались снова.

Жорж сказал:

— Если вы не откроете, мы взломаем двери. — Он нажал ручку; ничего не было слышно. Тогда он налег плечом на дверь и толкнул ее; старый замок поддался, и дверь открылась.

Молодой человек чуть не упал на Мадлену, которая стояла в передней со свечой в руке. Она была босая, в рубашке и нижней юбке, волосы ее были распущены.

Он крикнул:

— Это она; теперь они в наших руках.

Он бросился в квартиру; комиссар снял шляпу и последовал за ним. Молодая женщина, растерянная, шла сзади и освещала им путь.

Они прошли через столовую; на столе валялись пустые бутылки от шампанского, остатки паштета, курицы, недоеденные куски хлеба. На буфете стояли тарелки с грудой раковин от съеденных устриц. В комнате был страшный беспорядок. На стуле было брошено женское платье, брюки свесились с кресла. Четыре башмака, два больших и два маленьких, валялись у кровати.

Это была типичная меблированная квартира с вульгарной мебелью, с отвратительным спертым воздухом. Специфический запах, присущий всем учреждениям подобного рода, исходил от занавесок, тюфяков, стен, стульев. Казалось, каждый, кто провел здесь день или полдня, оставлял здесь свой запах, и он, смешавшись с запахами живших здесь раньше, образовал невыносимую приторную атмосферу, царящую в подобных местах.

Тарелка с пирожными, бутылка шартреза, две недопитые рюмки стояли на камине. На бронзовых часах лежала большая мужская шляпа.

Комиссар обратился к Мадлене и сказал, глядя ей прямо в глаза:

— Вы госпожа Клер Мадлена Дю Руа, законная жена публициста Проспера Жоржа Дю Руа, здесь присутствующего?



Она сказала сдавленным голосом:

— Да.

— Что вы делаете здесь?

Она не ответила.

Комиссар повторил:

— Что вы делаете здесь? Я застал вас вне дома, почти раздетую, в меблированной квартире. Зачем вы пришли сюда, спрашиваю я вас?

Он подождал немного. Она все молчала.

— Вы не хотите мне давать объяснений, тогда мне самому придется приступить к расследованию.

В постели кто-то лежал, плотно закутанный в простыни. Комиссар подошел и сказал:

— Месье!

Лежащий не двигался. Он повернулся спиной и спрятал голову под подушку.

Комиссар взял его за плечо и сказал:

— Месье, прошу вас, не заставляйте меня прибегать к насилию.

Но он лежал неподвижно, как мертвый.

Дю Руа стремительно подошел к нему, стянул одеяло, вырвал подушку и увидел мертвенно бледное лицо Лароша-Матье. Он нагнулся к нему и, весь трясаясь от желания задушить его, крикнул, стиснув зубы:

— Имейте, по крайней мере, мужество ответить за свою низость.

Комиссар спросил:

— Кто вы?

Растерянный любовник молчал.

— Я полицейский комиссар и требую, чтобы вы назвали себя.

Жорж, дрожа от бешенства, крикнул:

— Да отвечайте же, трус, или я назову ваше имя.

Лежащий в постели пробормотал:

— Господин комиссар, как вы позволяете этому господину оскорблять меня? С кем я должен иметь дело, кому я должен отвечать, вам или ему?

Казалось, что у него совершенно пересохло во рту.

Комиссар сказал:

— Вы должны иметь дело со мною. Но я вас спрашиваю, кто вы?

Тот молчал. Он еще плотнее завернулся в простыню и бросал на всех растерянные взгляды. Его маленькие закрученные усы казались совершенно черными на бледном лице.

— Так вы не хотите отвечать? Тогда я принужден буду арестовать вас. Во всяком случае, вставайте. Я начну вас допрашивать, когда вы будете одеты.

Он беспомощно ворочался в постели:

— Да не могу же я при вас.

— Почему?

— Потому... потому что... я совсем голый.

Дю Руа презрительно расхохотался, поднял валявшуюся на полу рубашку, бросил на кровать и крикнул:

— Ну... подымайтесь... Если вы могли раздеться при моей жене, я думаю, вы можете одеться при мне.

Он повернулся и пошел к камину.

Мадлена пришла в себя, поняла, что они в безвыходном положении, и была готова на все. Глаза ее горели огнем напускной, вызывающей смелости; она свернула кусок бумаги и зажгла, как для приема, все десять свечей в дешевых канделябрах, стоящих на камине. Она прислонилась к мраморному камину и протянула к потухающему огню свою босую ногу, при этом юбка ее, которая едва держалась на ней, слегка приподнялась; она достала из розовой коробки папироску, зажгла ее и закурила.

Комиссар подошел к ней и молча ждал, чтобы ее соучастник оделся.





Она спросила с напускной дерзостью:

— Что, вы часто занимаетесь этим ремеслом?

— Избегаю по мере возможности, — сурово ответил комиссар.

Она презрительно улыбнулась:

— Поздравляю вас; не скажу, чтобы это было очень красивое, благородное занятие.

Она делала вид, что не замечает своего мужа.

Ларош-Матье встал, надел брюки, сапоги и, застегивая жилет, подошел к ним.

Комиссар спросил его:

— Ну, скажете ли вы мне теперь, кто вы?

Он не ответил.

— Тогда я буду принужден арестовать вас.

— Вы не имеете права, — крикнул он, — моя личность неприкосновенна.

Дю Руа бросился на него, как бы желая его раздавить, и прошипел сквозь зубы:

— Мы вас застали на месте преступления... на месте преступления...

Я могу вас арестовать, если захочу... да, я могу.

Потом дрожащим голосом проговорил:

— Это Ларош-Матье, министр иностранных дел.

Комиссар, пораженный, пробормотал:

— Да скажете ли вы мне, кто же вы?

Тот наконец решился и с трудом выговорил:

— На этот раз этот негодяй не врет. Я действительно Ларош-Матье, министр.

Потом, указывая рукой на Жоржа, у которого в петлице был орден Почетного легиона, он сказал:

— И это я дал этому подлецу орден Почетного легиона.

Дю Руа побледнел, как мертвец. Быстрым движением он вырвал из петлицы орден и бросил его в камин:

— Вот цена орденам, которые даются такими мерзавцами, как вы¹.

Они стояли друг против друга, один худой, другой толстый, стиснув оба зубы, взбешенные, со сжатыми кулаками.

Комиссар стал между ними и, разнимая их, сказал:

— Господа, вы забываетесь, держите себя с достоинством.

Они замолчали и отвернулись друг от друга. Мадлена стояла неподвижная и курила, улыбаясь.

Комиссар сказал:

— Господин министр, я вас застал здесь наедине с мадам Дю Руа; вы были в постели, она почти голая, ваше платье валялось вместе. Я устанавливаю факт прелюбодеяния. Вы не станете отрицать этого. Что вы можете сказать в свое оправдание?

Ларош-Матье пробормотал:

— Я не имею ничего сказать. Исполняйте свой долг.

Комиссар обратился к Мадлене:

— Признаетесь ли вы, что этот господин ваш любовник?

Она ответила вызывающе:

— Я не отрицаю этого, он мой любовник.

— Достаточно.

Комиссар сделал несколько замечаний о расположении комнат и о состоянии квартиры.

Министр оделся, взял пальто и шляпу и спросил:

— Нужен ли я вам еще? Что я должен делать? Могу ли я удалиться?

Дю Руа повернулся и, нагло улыбаясь, сказал:

— Помилуйте, зачем! Мы кончили. Вы можете снова лечь в постель, месье. Мы оставим вас одних.

Он взял под руку комиссара:

— Удалимся, господин комиссар, нам здесь больше нечего делать.

¹ В 1887 году Ги де Мопассан из принципиальных соображений сам отказался принять орден Почетного легиона, которым его наградило правительство (*примеч. ред.*).

Комиссар, несколько удивленный, последовал за ним; но на пороге комнаты Жорж остановился, чтобы пропустить его вперед. Тот церемонно отказывался.

Дю Руа настаивал:

— Пройдите же.

— После вас.

Тогда журналист поклонился и с иронией сказал:

— Теперь ваша очередь, господин комиссар. Здесь я почти что у себя дома.

Потом с напускной скромностью он осторожно запер дверь.

Через час Жорж Дю Руа входил в редакцию «Французской жизни».

Господин Вальтер был уже тут, он продолжал стоять во главе своей газеты и принимал в ней самое деятельное участие; она стала очень распространенной и поддерживала все разраставшиеся операции его банка.

Редактор поднял голову и спросил:

— Ах, это вы? Почему у вас такой странный вид? Почему вы не пришли к нам обедать? Откуда вы?

Молодой человек, уверенный в том, что его слова произведут впечатление, объявил, делая ударение на каждом слове:

— Я только что свергнул министра иностранных дел.

Вальтер думал, что он шутит.

— Свергли министра? Как это?

— Я изменю состав кабинета. Вот и все. Давно уже пора убрать этого негодяя.

Старик был изумлен и думал, что его сотрудник пьян. Он сказал:

— Помилуйте. Да что вы? Сходите с ума? Что с вами?

— То, что я сейчас застал свою жену с Ларошем-Матье. Комиссар установил факт прелюбодеяния. Министр слетит.

Вальтер, пораженный, поднял очки на лоб и спросил:

— Что вы, смеетесь надо мной?

— Ничуть. Сейчас я напишу об этом в хронике.

— Но что хотите вы?

— Свергнуть этого вора, негодяя, этого вредного общественного деятеля.

Жорж положил свою шляпу на кресло и сказал:

— Горе тем, кто попадется мне на пути. Я никогда не прощаю.

Редактор никак не мог понять. Он пробормотал:

— А... ваша жена?

— Завтра я начинаю дело о разводе. Я ее отошлю к покойному Форестье.

— Вы хотите разводиться?

— Конечно. Я был смешон. Мне приходилось валять дурака, чтобы уличить их. Это сделано. Теперь все в моих руках.

Вальтер не мог прийти в себя. Он смотрел на Дю Руа широко открытыми глазами и думал: «Черт возьми. Беда иметь с ним дело».

Жорж продолжал:

— Теперь я свободен... У меня есть небольшое состояние. Я выставляю свою кандидатуру на новых выборах в октябре, у себя на родине; там меня знают. Я не мог занять видного положения и заставить себя уважать с этой женщиной, которая казалась всем подозрительной. Она меня провела, пленила и забрала в свои сети. Но я узнал ее и стал за ней следить, негодной.

Он расхохотался и сказал:

— Бедный Форестье, вот кто был обманут... Он ничего и не подозревал, спокойный, доверчивый. Ну, теперь я освободился от прелести, которую он мне оставил. У меня руки развязаны. Теперь я сделаю карьеру.

Он сидел верхом на стуле и говорил, как во сне:

— Да, я сделаю карьеру.

Старик Вальтер смотрел на него широко открытыми глазами и думал: «Да, он пойдет далеко, этот негодяй».

Жорж встал:

— Я напишу статью. Надо сделать это осторожно. Но министр должен погибнуть. Я утоплю его. Ему нет спасения. «Французской жизни» нет больше расчета щадить его.

Старик колебался еще некоторое время, потом сказал:

— Пишите, поделом им, пусть не занимаются таким озорством.





IX

Прошло три месяца. Дю Руа получил развод. Жена его снова приняла фамилию Форестье. Вальтеры должны были уехать пятнадцатого июля в Трувиль¹ и решили перед отъездом провести один день за городом.

Поездка была назначена на четверг; выехали в девять часов утра в большой шестиместной коляске, запряженной четвериком. Должны были завтракать в Сен-Жермене, в павильоне Генриха IV. Милый друг поставил условием, чтобы не приглашали никого из мужчин, так как он не выносил физиономии маркиза де Казоля.

В последнюю минуту решили заехать за графом Латур-Ивеленом. Он был предупрежден еще накануне.

Они проехали через Елисейские поля и направились в Булонский лес. Стоял чудный летний день. Было не очень жарко. Ласточки описывали в воздухе всевозможные кривые линии, и след от их полета, казалось, долго оставался в синеве неба.

Мать с двумя дочерьми сели позади, мужчины поместились на скамейке.

¹ Трувиль — коммуна на севере Франции (примеч. ред.).

Переехали через Сену, обогнули Мон-Валерьен¹, потом отправились вдоль реки через Буживаль в Пек.

Граф Латур-Ивелен нежно смотрел на Розу. Это был человек уже немолодой, с длинными редкими баками; они развевались от малейшего дуновения, и Дю Руа насмешливо говорил: «Он эффектно пользуется ветром для своей бороды». Уже месяц, как Латур-Ивелен и Роза были помолвлены.

Жорж, очень бледный, смотрел на Сюзанну; она тоже была бледна. Взгляды их встречались, понимали друг друга, обменивались тайно мыслью, потом снова расходились. Мадам Вальтер была спокойна, довольна.

Завтрак затянулся. Перед тем как вернуться в Париж, Жорж предложил пройти по террасе.

Остановились полюбоваться видом. Все встали в ряд вдоль стены и восторгались обширным горизонтом. У подошвы холма протекала Сена по направлению к Мезон-Лаффиту, как огромная змея, извивающаяся в зелени. Направо, на вершине холма, был виден водопровод из Марли; он вырисовывался на горизонте и, казалось, что по холму ползет огромная гусеница с большими лапами. Внизу, в куще деревьев, скрывался Марли. Напротив расстилалась бесконечная равнина; местами виднелись деревни. Пруды Везин не ясными и отчетливыми пятнами выделялись на тощей зелени маленькой рощи. Слева вдали позывшалась остроконечная колокольня Сартрувиля.

Вальтер сказал:

— Нигде в мире, даже в Швейцарии, вы не найдете такой панорамы.

Медленно гуляли они по террасе и наслаждались видом.

Жорж и Сюзанна отстали. Когда они отошли на несколько шагов, он ей сказал тихим и сдержанным голосом:

— Сюзанна, я вас обожаю. Я вас люблю до безумия.

Она прошептала:

— И я, Милый друг.

Он начал снова:

— Если вы не будете моей женой, я уеду навсегда из Парижа.

Она ответила:

— Попробуйте просить моей руки у папы. Может быть, он согласится.

— Нет, уже сколько раз я говорил вам, что это невозможно. Для меня будут закрыты двери вашего дома, меня выставят из газеты; и мы больше не будем даже видеться. Вот к чему приведет мое формальное предложение. Для вас выбрали маркиза де Казоля. Надеются, что вы в конце концов скажете «да», и ждут.

¹ *Мон-Валерьен* — холм в Париже, к западу от Булонского леса; *Пек* — город в 19 км к западу от Парижа; *Мезон-Лаффит* — respectable пригород Парижа; *Марли* — дворцово-парковый комплекс в окрестностях Парижа; *Везин* — коммуна в 19 км к западу от Парижа; *Сартрувиль* — город в 10 км к северо-западу от Парижа (*примеч. ред.*).

Она спросила:

— Что же делать?

Он колебался и украдкой смотрел на нее:

— Любите ли вы меня настолько, чтобы совершить безумство?

Она ответила решительно:

— Да.

— Ужасное безумство?

— Да.

— Самое ужасное из безумств?

— Да.

— Хватит ли у вас смелости пойти против отца и матери?

— Да.

— Правда?

— Да.

— Ну, есть один только способ, единственный! Надо, чтобы все исходило от вас, а не от меня. Вас бабуют, позволяют вам говорить все, что вздумается; взбалмошный поступок не очень удивит ваших. Вечером сегодня вы пойдете к маме, только когда она будет совсем одна, и признаетесь ей в том, что хотите быть моей женой. Она будет сильно волноваться, сильно рассердится.

Сюзанна перебила его:

— О, мама-то согласится.

Он продолжал:

— Нет. Вы ее не знаете. Она будет больше сердиться и выходить из себя, чем ваш отец. Вы увидите, что она вам откажет. Но вы твердо стойте на своем, не уступайте, скажите, что вы хотите выйти замуж за меня, только за меня, за меня одного. Сделаете ли вы это?

— Сделаю.

— Потом пойдете к отцу и скажете это же самое очень решительно и серьезно.

— Да, да. А потом?

— Потом, тут-то и начинается самое главное. Если вы решили намеренно, твердо, бесповоротно решили стать моей женой, моя дорогая, дорогая, маленькая Сюзанна... То я... я похищу вас!

Она так обрадовалась, что чуть не захлопала в ладоши:

— О! Какое счастье! Вы меня похитите? Когда же вы сделаете это?

Вся старинная поэзия ночных похищений, с путешествиями в тяжелых экипажах, с остановкой в харчевнях, забавные приключения, прочитанные ею в книгах, возникли в ее памяти и пронеслись перед нею, как чарующий сон, готовый к осуществлению.

Она повторила:

— Когда же вы похитите меня?

Он ответил тихо:

— Да... сегодня вечером... этой ночью...

Она спросила взволнованная, трепещущая:

— Куда же мы отправимся?

— Это секрет. Но обдумайте то, что вы делаете. Знайте, что после вашего бегства вы можете стать только моей женой! Это единственный способ, но он очень... очень опасен для вас.

Она объявила:

— Я на все готова... где я найду вас?

— Вы можете выйти из отеля одна?

— Да, я умею открывать вторую дверь.

— Ну так когда швейцар заснет, после двенадцати часов ночи вы придете ко мне на площадь Согласия. Я буду ждать вас в карете против морского министерства.

— Я приду.

— Наверное?

— Наверное.

Он взял ее руку и пожал ее:

— О! Как я вас люблю! Какая вы хорошая и смелая! Так вы не хотите выйти замуж за маркиза де Казоля?

— О нет!

— Ваш отец очень сердился, когда вы ему отказали?

— Конечно. Он хотел меня снова отправить в монастырь.

— Вы видите, что необходимо быть очень энергичной.

— И я буду.

Она смотрела вдаль, вся поглощенная мыслью о похищении. Она отправится далеко... туда... с ним... Она будет похищена!.. Она гордилась этим! Она не думала о своей репутации, о том, что он может с ней сделать. Знала ли она? Подозревала ли она?

Мадам Вальтер повернулась и крикнула:

— Иди же, детка. Что ты там делаешь с Милым другом?

Они присоединились к другим. Говорили о предстоящей поездке на морские купанья.

Вернулись через Шату, чтобы не ехать той же дорогой.

Жорж молчал. Думал: если у этой девочки хватит смелости, он достигнет наконец своего. Три месяца опутывал он ее непреодолимой сетью своих ухаживаний. Он обольщал, пленял, увлекал ее. Он заставил себя полюбить, как только он умел это делать. Без труда покорил легкомысленную душу этой куколки.

Сначала он добился того, что она отказала маркизу де Казолю. Теперь она готова была бежать с ним. Другого средства не было.

Он прекрасно понимал, что мадам Вальтер никогда не отдаст ему свою дочь. Она все еще любила его и всегда будет любить, безумно, страстно. Он сдерживал ее своей намеренной холодностью, но чувствовал, что бессильная всепоглощающая страсть овладела ею. Никогда он не сломит ее. Никогда она не согласится на его брак с Сюзанной.

Но раз он увезет от них девочку, ему придется иметь дело с отцом.

Поглощенный своими мыслями, он отрывисто отвечал на вопросы и не слушал. Когда въехали в Париж, казалось, он пришел в себя.

Сюзанна тоже мечтала. Она прислушивалась к звону колокольчиков, перед нею проносились бесконечные дороги, освещенные вечным лунным светом, темные леса, через которые они проезжали, харчевни на краю дороги, ямщики, с поспешностью менявшие им лошадей и, конечно, догадавшиеся, что за ними погоня.

Коляска подъехала к отелю. Жоржа просили остаться обедать. Он отказался и пошел домой.

Он поел, привел в порядок свои бумаги, как бы готовясь к длинному путешествию. Сжег компрометирующие письма, спрятал часть своей переписки, написал некоторым друзьям.

От времени до времени он смотрел на часы и думал: «Воображаю, что там теперь делается». Сердце у него сжималось от волнения. А если он проиграет? Но чего бояться ему? Он всегда сумеет выпутаться! А как крупно он играл в этот вечер!

Он вышел из дому в одиннадцать часов, бродил некоторое время, взял карету и остановился на площади Согласия против морского министерства.

От времени до времени он зажигал спичку и смотрел на часы. Около двенадцати его охватило лихорадочное волнение. Каждую минуту высовывал он голову из окна кареты и смотрел, не идет ли она.

Пробило двенадцать, сначала где-то вдали, потом ближе, потом где-то на двух часах сразу, и, наконец, опять вдали. Когда раздался последний удар, он подумал: «Кончено. Все пропало. Она не придет».

Решил ждать до утра. В таких случаях надо быть терпеливым.

Он слышал, как пробило четверть первого, потом половина, потом три четверти и, наконец, все часы повторили друг за другом час.

Он больше не ждал, терялся в догадках и не мог понять, что могло случиться. В окне кареты показалась женская голова, и чей-то голос спросил:

— Это вы, Милый друг?

Он вздрогнул. У него захватило дыхание.

— Это вы, Сюзанна?

— Да, это я.

Он никак не мог открыть дверцы и повторял:

— Ах!.. Это вы... это вы... войдите.

Она вошла и опустилась около него. Он крикнул кучеру:

— Поезжайте!



Карета двинулась.
Она задыхалась, не могла говорить.
Он спросил:
— Ну, как там все сошло?
Она была близка к обмороку; едва прошептала:
— О! Это было ужасно, особенно с мамой.

Он волновался и дрожал.
— Ваша мама? Что она говорила? Расскажите мне это.

— О! Это было ужасно. Я вошла к ней и рассказала все, как я заранее обдумала. Она побледнела и стала кричать: «Никогда! Никогда!» Я плакала, сердилась, клялась, что выйду замуж только за вас. Мне казалось, что она побьет меня. Она была как сумасшедшая, объявила, что отошлет меня в монастырь завтра же. Я никогда не видела ее такой, никогда! Папа слышал все, что она говорила, и вошел. Он не так сердился, как она, но объявил, что для меня это не блестящая партия.

Я была раздражена и кричала больше их.

Папа драматическим тоном, который совсем не шел к нему, велел мне выйти. Это окончательно убедило меня бежать с вами, и вот я здесь. Но куда мы поедем?

Он нежно обнял ее за талию; прислушивался к биению ее сердца. Глухая ненависть пробудилась в нем к этим людям. Но их дочь была в его руках. Теперь он им покажет.

Он ответил:

— На поезд мы опоздали. Мы поедем в Севр и там переночуем. А завтра мы отправимся в Ла-Рош-Гийон. Это красивая деревня на берегу Сены, между Мантом и Боньером.

Она сказала:

— Но у меня нет вещей. Я ничего с собой не взяла.

Он беззаботно улыбнулся:

— Ну! Это мы устроим.

Жорж взял руку девушки и стал целовать ее, медленно, почтительно. Он не находил, что сказать ей, так как не привык к платоническим ласкам. Вдруг ему показалось, что она плачет. Он спросил тревожно:

— Что с вами, моя дорогая?

Она ответила сквозь слезы:

— Бедная моя мама, воображаю, как она волнуется теперь, если заметила, что меня нет.



Мать ее действительно не спала.

Когда Сюзанна вышла из комнаты, мадам Вальтер осталась наедине с мужем и спросила, растерянная, убитая:

— Боже мой! Что это значит?

Вальтер, раздраженный, крикнул:

— Это значит, что этот интриган околдовал ее. Это он ее заставил отказаться де Казолу. Еще бы, ему приданое пришлось, верно, по вкусу!

Он в бешенстве ходил по комнатам и кричал:

— Ты тоже всегда звала его, лестила, ласкала, не знала, как угодить ему. Целый день только и слышалось — Милый друг здесь, Милый друг там, с утра и до вечера. Ты хорошо наказана!

— Я?.. Я его завлекала?

— Да, ты, — бросил он ей прямо в лицо, — вы все с ума сходите от него, ты, Марель, Сюзанна и все. Ты думаешь, что я не замечал, что ты двух дней не могла прожить без него?

Она встала и трагически сказала:

— Я вам не позволю так говорить со мной. Вы забываете, что я, я воспитывалась не в лавке, как вы.

Он постоял, удивленный и ошеломленный; потом выругался и ушел, хлопнув дверью.

Оставшись одна, она инстинктивно подошла к зеркалу посмотреть на себя, увидеть, не произошла ли в ней какая-нибудь перемена, до того все это казалось ей невероятным, чудовищным. Сюзанна влюбилась в Милого друга! Милый друг хочет жениться на Сюзанне! Нет! Она ошиблась, это неправда! Девочка увлеклась красивым молодым человеком, она надеялась, что ей позволят выйти за него замуж; это вполне естественно! Но он? Знал ли он это? Она задумалась, растерянная, убитая, как перед большим несчастьем. Нет, Милый друг ничего не знал о выходе Сюзанны.

И она старалась понять, насколько этот человек был низок, насколько он был невинен. Неужели он сам подготовил все это? Неужели он такой негодяй! И что будет дальше? Сколько испытаний и мучений ей предстояло!

Если он не знает ничего, все еще можно уладить. Увезти Сюзанну путешествовать месяцев на шесть, и все пройдет.

Но как она потом будет видаться с ним? Она ведь любила его. Эта страсть, как стрела, вонзилась в ее сердце, и нельзя было вырвать ее оттуда.

Жить без него невозможно. Лучше умереть.

Она терялась в догадках. Острая боль началась у нее в голове; мысли ее были тяжелые, смутные, давили ей мозг. Ее мучила неизвестность, она приходила в отчаяние. Посмотрела на часы, было больше часу.

— Я не могу больше оставаться здесь, — сказала она. — Я должна знать. Пойду разбужу Сюзанну, поговорю с ней.

Она со свечой в руке, босая, чтобы не шуметь, пошла в комнату дочери. Тихо открыла дверь, посмотрела. Постель не была тронута. Она не поняла

сначала и подумала, что девочка пошла поговорить с отцом. Но скоро ужасная догадка, как молния, поразила ее, и она побежала к мужу. Вошла бледная, запыхавшаяся. Он лежал и читал.

Спросил, взволнованный:

— Ну что, что с тобой?

— Видел ли ты Сюзанну?

— Я? Нет. А что?

— Она... она... ушла. Ее нет в комнате.

Он вскочил на ковер, накинуд туфли и в одной рубашке направился в комнату дочери.

У него не было сомнения. Она убежала.

Он упал в кресло и поставил лампу на пол.

Жена подошла к нему.

— Ну?

У него не было сил ответить, он не сердился больше, стонал.

— Все кончено. Она в его руках. Мы пропали.

Она не понимала.

— Как пропали?

— Да, конечно. Теперь он должен непременно жениться на ней.

У нее вырвался дикий, неистовый крик.

— Он! Никогда! Ты сходишь с ума?

Он ответил печально:

— Кричать нечего. Он похитил ее; он ее обесчестил. Самое лучшее выдать ее замуж за него. Если мы будем осторожны, никто не узнает этой истории.

Обезумевшая, она повторяла:

— Никогда, никогда я не дам ему Сюзанны! Никогда я не соглашусь!

Вальтер, удрученный, говорил:

— Но она у него. Все кончено. Он будет держать ее у себя и скрывать от нас, пока мы не согласимся. Во избежание скандала надо уступить сейчас же.

Жена его, потрясенная ужасом и горем, в котором она не могла сознаться, повторяла:

— Нет, нет. Никогда я не соглашусь!

Он ответил нетерпеливо:

— Рассуждать не приходится! Это необходимо. Ах! Негодяй, как он подвел нас. Мы могли бы найти человека с лучшим общественным положением; но он умен и пойдет далеко. Это человек с будущим. Он будет депутатом и министром.

Мадам Вальтер объявила сурово и энергично:

— Никогда я не позволю ему жениться на Сюзанне... Ты слышишь... Никогда!..



Он рассердился и, как человек практичный, стал защищать Милого друга:

— Да замолчи же... Говорю я тебе, что это необходимо... это неизбежно. И кто знает? Может быть, мы и не будем сожалеть. С подобными людьми никогда не знаешь, что будет. Ты сама видела, как он тремя статьями заставил слететь этого дурака Лароша-Матье, и с каким достоинством он это сделал, а это было нелегко в его положении мужа. Ну, будущее покажет. Теперь мы всецело в его руках. У нас другого выхода нет.

Она готова была кричать, кататься по полу, рвать на себе волосы. Голосом, полным отчаяния, она кричала:

— Он ее не получит... Я... не... хочу...

Вальтер встал, взял лампу и сказал:

— Знаешь, ты глупа, как все женщины. Вы руководствуетесь только чувством. Не умеете покоряться обстоятельствам... вы глупы! Я говорю тебе, что он женится на ней. Это необходимо.

И он вышел, шлепая туфлями. Как призрак, двигался он в ночной рубашке по широкому коридору заснувшего отеля. Осторожно вошел он в свою комнату.

Мадам Вальтер осталась стоять, обезумевшая от невыразимых страданий. Она не понимала еще того, что случилось. Она только страдала. Потом ей показалось, что у нее не хватит сил стоять здесь неподвижно до утра... Она почувствовала непреодолимую потребность уйти, убежать, молить о помощи, быть спасенной.

Она искала, кого бы она могла позвать.

Кого? Не находила! Священника! Да, да, священника! Она бросится к его ногам, признается ему во всем, покается в своем грехе, скажет о своем отчаянии. Он поймет, что этот негодяй не может жениться на Сюзанне, он не допустит этого.

Ей нужен был священник, сейчас же!

Но где его достать? Куда идти?

Однако не могла же она оставаться здесь.

Тогда перед ее глазами, как призрак, пронесся чистый образ Иисуса, идущего по волнам. Она видела его так ясно, как если бы смотрела на картину. Он звал ее. Говорил: «Придите ко мне. Преклоните передо мной колени. Я утешу вас и научу, что надо делать».

Она взяла свечку и направилась в оранжерею. Иисус был там, в конце, в маленьком зале; комнату эту отделили стеклянной дверью от оранжереи, чтоб сырость не испортила картины.

Это была своего рода часовня, воздвигнутая в лесу причудливых деревьев.

Мадам Вальтер вошла в зимний сад; она видела его раньше только при ярком освещении и теперь была поражена его глубоким мраком. Тропические растения наполняли воздух своим тяжелым дыханьем. Двери были закрыты, и трудно было дышать в этом страшном лесу, устроенном под стеклянным

куполом. Он одурманивал, опьянял, заставлял наслаждаться и страдать, вызывал ощущение сладострастного возбуждения и смерти.

Бедная женщина двигалась нерешительно, ей было страшно среди этого густого мрака. Причудливые растения, освещенные временами мерцающим пламенем свечи, принимали вид самых разнообразных чудовищ.

Вдруг она увидела Христа. Она открыла дверь и пала перед ним на колени.

Она молилась горячо, неудержимо, шептала слова любви, страстно и отчаянно призывала его на помощь. Потом, когда ее молитвенный пыл остыл, она подняла глаза и застыла в немом ужасе. При этом слабом, мерцающем свете он был поразительно похож на Милого друга. Это были его глаза, его лоб, его вид, его выражение лица, холодное и высокомерное.

Она шептала:

— Иисус! Иисус! Иисус!. — И имя Жоржа приходило ей на уста. Вдруг ей показалось, что в этот самый час, может быть, Жорж уже овладел ее дочерью. Он был с нею наедине, где-нибудь, в какой-нибудь комнате. Он! Он! С Сюзанною!

Она повторяла:

— Иисус!.. Иисус!..

Но она думала о них, о своей дочери и своем любовнике. Они были одни, в комнате... Была ночь. Она их видела, видела так ясно; они стояли здесь, на месте картины. Они улыбались друг другу. Целовались. В комнате было темно, постель открыта... Она встала и подошла к ним, чтобы схватить за волосы свою дочь и вырвать ее из его объятий. Она готова была задушить ее, ее, свою дочь, которую она ненавидела, которая отдавалась этому человеку. Она бросилась к ней... руки ее коснулись полотна.

Она наткнулась на ноги Христа.

У нее вырвался дикий крик, и она упала. Свеча покатилась и погасла.

Что произошло потом? Она впала в тяжелый, ужасный бред. Жорж и Сюзанна, обнявшись, все время проносились перед ней, и с ними был Христос, который благословлял их преступную любовь.

Она еле сознавала, где она. Хотела подняться, убежать, но не могла. Оцепенение охватило ее, сковало ей члены. Работала только мысль, затуманенная, тревожная, преследуемая ужасными, фантастическими видениями. Она погрузилась в болезненный сон, неестественный и иногда смертельный, в сон, который вызывают растения жарких стран, с их причудливыми формами и опьяняющим благоуханием.



Утром нашли мадам Вальтер без чувств, полумертвою, перед «Иисусом, идущим по волнам». Она так заболела, что опасались за ее жизнь. Только на другой день к ней вернулось сознание. Тогда она начала плакать.

Прислуге сказали, что Сюзанну отправили в монастырь. На длинное письмо Дю Руа, в котором он просил руки Сюзанны, Вальтер ответил согласием.

Милый друг опустил это письмо в почтовый ящик, когда они уезжали из Парижа; он приготовил его заранее. В почтительных выражениях писал он о том, что давно уже любит молодую девушку, что между ними не было никакого соглашения. Когда же она пришла к нему свободная, самостоятельная и сказала «Я буду вашей женой», он счел себя вправе оставить ее у себя и даже скрывать до тех пор, пока будет получен ответ на его письмо. Желание его невесты имело для него больше значения, чем законная воля ее родителей.

Он просил Вальтера ответить ему до востребования, так как он поручил другу своему переслать ему это письмо.

Получив согласие на брак, он привез Сюзанну в Париж и отправил ее к родителям. Сам же пока воздерживался от посещения Вальтеров.

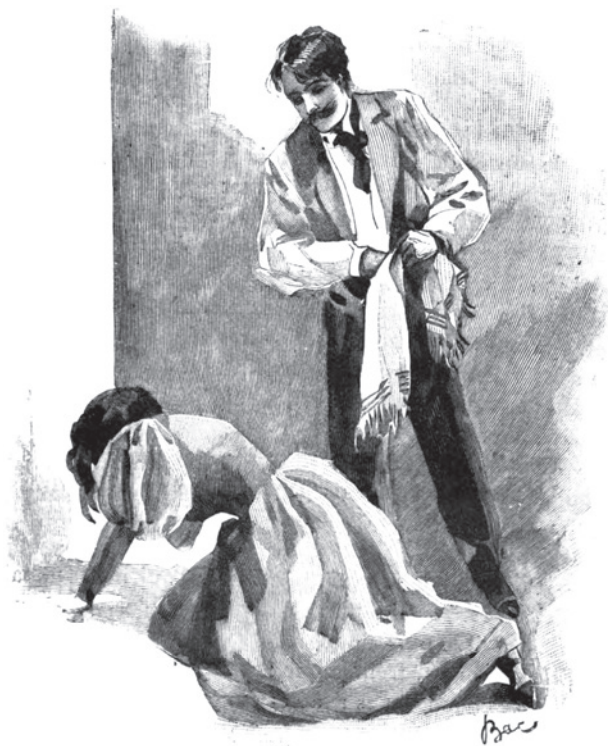
Они прожили шесть дней на берегу Сены в Ла-Рош-Гийон.

Никогда молодая девушка не проводила так весело времени. Она воображала себя пастушкой. Он всюду выдавал ее за свою сестру; между ними установились свободные и целомудренные отношения, нежная дружба с оттенком влюбленности. Он находил более выгодным обращаться с ней почтительно. На следующий же день после приезда она купила себе белье, сельское платье и большую соломенную шляпу с полевыми цветами.

Она была очарована местностью. Там был старинный замок с высокой башней и превосходными гобеленами.

Жорж ходил в вязаной шерстяной куртке, купленной у местного торговца. Целыми днями они гуляли по берегам Сены, ловили рыбу, катались в лодке. Влюбленные, трепещущие, они все время целовались, она — невинно, он — еле сдерживая свои порывы. Но Жорж умел владеть собой. И когда он сказал: «Завтра мы вернемся в Париж, ваш отец согласен на наш брак», — она наивно прошептала:

— Уже! А так весело быть вашей женой!



X

В маленькой квартирке на Константинопольской улице царил мрак. Жорж дю Руа и Клотильда де Марель встретились у двери, быстро вошли, и она сказала ему, не дав ему открыть ставен:

— Итак, ты женишься на Сюзанне Вальтер?

Он кротно подтвердил и прибавил:

— Ты разве этого не знала?

Она продолжала, стоя перед ним возмущенная, негодующая:

— Ты женишься на Сюзанне Вальтер? Это уже слишком! Вот три месяца, как ты ко мне подлизываешься, чтобы скрыть это от меня. Все это знают, кроме меня. И я узнала от своего мужа!

Дю Руа засмеялся, в глубине души смущенный; положил шляпу на край камина и сел в кресло.

Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала раздраженным глухим голосом:

— С тех пор, как ты разошелся с женой, ты подготовлял этот фортель, а меня сохранял, как удобную любовницу? Какой же ты подлец!

Он спросил:

— Почему это? Жена меня обманывала. Я ее накрыл; получил развод и женись на другой, чего же проще?

Она прошептала, вся дрожа:

— О! Какой ты пройдоха и негодяй!

Он продолжал смеяться:

— Черт возьми! Болваны и ничтожества всегда остаются в дураках!

Но она продолжала развивать свою мысль:

— Как я не могла тебя раскусить с самого начала? Но нет, — я не могла думать, что ты такой подлец.

Он с достоинством возразил:

— Я прошу тебя думать о том, что ты говоришь.

Она возмутилась этим замечанием:

— Как? Ты хочешь, чтобы я надевала перчатки, разговаривая с тобой? Ты ведешь себя со мной, как последний подлец с самого начала, и претендуешь, чтобы я тебе этого не говорила? Ты обманываешь всех кругом, всех эксплуатируешь, повсюду берешь все, что можно, и хочешь, чтобы и я с тобой обращалась как с честным человеком?

Он вскочил, губы его дрожали.

— Замолчи, или я тебя заставлю уйти отсюда.

Она прошептала:

— Уйти отсюда?... Уйти отсюда? Ты меня заставишь уйти отсюда... ты? Ты?..

Она не могла больше говорить; гнев душил ее, и вдруг она разразилась, точно вся ее сдерживаемая ярость прорвалась наружу:

— Уйти отсюда? Так ты забыл, что я с самого первого дня платила за эту квартиру! Да! Ты от времени до времени брал ее на свой счет. Но кто ее нанял?... Я. Кто сохранил?... Я. И ты хочешь заставить меня уйти отсюда. Замолчи, негодяй, думаешь, что я не знаю, как ты украл у Мадлены половину наследства Водрека? Думаешь, что я не знаю, как ты валялся с Сюзанной, чтобы принудить выдать ее за себя?

Он схватил ее за плечи и начал трясти:

— Не говори об этом! Я тебе запрещаю!

Она кричала:

— Ты валялся с нею, я знаю!

Он стерпел бы все, что угодно, но эта ложь выводила его из себя. Истины, которые она бросала ему в лицо, вызвали в нем дрожь негодования, но эта клевета на молодую девушку, его будущую жену, возбудила в нем бешеное желание ее ударить.

Он повторял:

— Замолчи... Берегись... Замолчи... — И он тряс ее, как трясут ветку, чтобы заставить упасть плоды.

Она орала во все горло, с растрепанными волосами и безумными глазами:

— Ты спал с нею!

Он бросил ее и закатил ей такую пощечину, что она отлетела к стене. Но она обернулась к нему и, приподнявшись на локтях, прокричала еще раз:

— Ты валялся с нею!

Он бросился на нее и, подмяв ее под себя, стал бить ее так, как бьют мужчину.

Она вдруг замолчала и начала стонать от боли. Не двигалась, уткнув лицо в пол и испуская жалобные крики.

Он перестал ее бить. Потом сделал несколько шагов по комнате, чтобы прийти в себя, и, что-то надумав, прошел в другую комнату, наполнил таз холодной водой и окунул туда голову. Потом вымыл руки и пошел посмотреть, что она делает, тщательно вытирая себе пальцы.

Она не двигалась. Все еще лежала на полу и тихо плакала.

Он спросил:

— Ты скоро перестанешь реветь?

Она не ответила. Тогда он остановился среди комнаты, немного смущенный и сконфуженный перед женщиной, распростертой на полу.

Потом вдруг на что-то решился, взяв шляпу с камина:

— Прощай. Ключ ты отдашь привратнику, когда будешь уходить. Я не могу дожидаться перемены твоего настроения.

Он вышел, запер дверь, зашел к швейцару и сказал ему:

— Мадам осталась. Она сейчас уйдет. Вы скажете хозяину, что я бросаю квартиру к первому октября. Теперь у нас шестнадцатое августа, значит, я еще имею право на это.

И ушел, так как ему предстояло еще делать покупки для подарков невесте.

Свадьба была назначена на двадцатое октября, сейчас после открытия парламента. Венчаться должны были в церкви Мадлен. Циркулировало множество сплетен, но никто не знал, в чем дело. Передавали, что он увез ее силою, но никто наверное этого не знал.

По словам слуг, госпожа Вальтер, которая не разговаривала со своим будущим зятем, отравилась от злости вечером того дня, когда была решена свадьба, отправив в полночь свою дочь в монастырь.

Ее едва удалось вернуть к жизни. Во всяком случае, она вполне не оправилась. У нее теперь был вид старухи, волосы совершенно побелели; она окончательно ударилась в религию и причащалась каждое воскресенье.

В первых числах сентября «Французская жизнь» возвестила, что барон Дю Руа де Кантель становится главным редактором газеты, а господин Вальтер остается только издателем.

Тотчас был приглашен целый рой известных хроникеров, фельетонистов, политических редакторов, театральных и художественных критиков, переманенных за большие деньги из известных газет с установившеюся репутацией.

Теперь уже старые журналисты, уважаемые и почтенные, не пожимали больше плечами, говоря о «Французской жизни». Ее быстрый и всесторонний успех сгладил недоверие солидных писателей, замечавшееся в начале издания.

Свадьба главного редактора составляла теперь в Париже событие. Жорж Дю Руа и Вальтеры с некоторых пор привлекали всеобщее внимание. Положительно все значительные лица города должны были присутствовать на торжестве.

Происходило это событие в ясный осенний день.

С восьми часов утра все служители церкви Мадлен были заняты тем, что расстилали на ступеньках входа, обращенного к Королевской улице, широкий красный ковер; прохожие останавливались, оповещенные, что сегодня здесь состоится большое торжество.

Чиновники, шедшие на службу, модистки, приказчики останавливались, глазели и думали о богачах, которые тратят столько денег на то, чтобы соединиться...

Около десяти часов начали собираться любопытные. Постояли несколько минут в надежде, что, может быть, начнется сейчас же, потом разошлись.

В одиннадцать часов отряды полиции прибыли к церкви и начали разгонять толпу, так как ежеминутно образовывались группы.

Вскоре появились первые приглашенные, — те, которые хотели занять ближние места, чтобы лучше видеть. Они заняли стулья с краю вдоль середины церкви.

Затем начали прибывать другие — женщины, шумевшие шелками, суровые мужчины, почти все лысые, с безупречно-светскими манерами, более важные, чем когда-либо.

Церковь постепенно наполнялась; солнечные лучи врывались в огромную открытую дверь, освещая первые ряды приглашенных. На клиросе, казавшемся темным, алтарь с восковыми свечами бросал слабый желтоватый свет, бледный рядом с ослепительными лучами, проникавшими в дверь.

Знакомые подходили друг к другу, обменивались поклонами, собирались в группы. Литераторы, менее учтивы, чем светские люди, болтали вполголоса. Рассматривали женщин.

Норбер де Варен в поисках знакомых увидал Жака Риваля в среднем ряду стульев и подошел к нему.

— Итак, — сказал он, — будущее принадлежит пройдохам!

Тот, не будучи завистливым, отвечал:

— Тем лучше для него — его карьера сделана.

И они стали называть имена знакомых.

Риваль спросил:

— Не знаете ли вы, что случилось с его женой?

Поэт улыбнулся:

— И да и нет. Говорят, она живет очень уединенно на Монмартре. Но... тут есть одно обстоятельство... С некоторых пор в «Пере» попадают политические статьи, чертовски похожие на статьи Форестье и Дю Руа. Их пишет некий Жан Ледоль, молодой человек, красивый, интеллигентный, из той же породы, что наш друг Жорж, познакомившийся теперь с его бывшей женой.



Из этого я заключаю, что она всегда любила начинающих и будет их любить до смерти. К тому же она богата. Водрек и Ларош-Матье не даром же были друзьями дома.

Риваль заявил:

— Она недурна, эта Мадленка. Очень тонкая штука! Должно быть, она очаровательна при ближайшем знакомстве... Но объясните мне, каким образом Дю Руа венчается в церкви после официального развода?

Норбер де Варен ответил:

— Он венчается в церкви, потому что первый его брак не был церковным.

— Как так?

— Наш Милый друг из экономии или из других соображений нашел, что для брака с Мадленой достаточно одной мэрии. Он обошелся без духовного благословения, что по церковным законам считается простым сожительством и, следовательно, он предстал теперь пред алтарем холостым, и ему будут оказаны все почести, которые встанут папá Вальтеру в копейчку.

Шум прибывающей толпы все разрастался... Некоторые разговаривали почти вслух. Указывали на знаменитостей, которые рисовались, довольные тем, что на них смотрят, тщательно соблюдая усвоенные позы, привыкшие показываться в таком виде на всех празднествах, где они считали себя необходимым украшением.

Риваль продолжал:

— Скажите, друг мой, вы ведь часто бываете у патрона. Правда ли, что госпожа Вальтер с Дю Руа больше не разговаривает?

— Никогда. Она ни за что не хотела выдать за него дочь. Но он угрожал отцу трупами, говорят, найденными в Марокко. Угрожал ужаснейшими разоблачениями. Вальтер вспомнил о примере Лароша-Матье и тотчас уступил. Но мать, упрямая, как все женщины, поклялась, что никогда не скажет слова со своим зятем. Они ужасно смешны, когда видишь их вместе. У нее вид статуи Мщения, а у него — очень смущенный, хотя он и умеет владеть собою, уж нечего сказать!

К ним подходили для рукопожатий собраты по ремеслу. Слышались отрывки политических разговоров. Глухой, похожий на шум прибора, гул толпы, собравшейся перед церковью, врывается в дверь вместе с лучами солнца, подымался к сводам над колышавшейся массой избранных, собравшихся в центре.

Вдруг швейцар ударил три раза по деревянному полу своей алебардой. Все присутствующие обернулись, послышался длительный шелест платьев и движение стульев. В дверях, освещенная солнечными лучами, показалась молодая женщина под руку с отцом.

Она все еще походила на куклу, очаровательную белокурую куклу, увенчанную померанцевыми цветами.

Она стояла несколько минут на пороге, потом, когда ступила в церковь, раздались мощные звуки органа, возвещающие своим металлическим голосом появление невесты.

Она шла с опущенною головою, но нисколько не смущенная, слегка взволнованная, очаровательная, игрушечная невеста. Женщины улыбались и перешептывались при виде ее. Мужчины шептали: «Восхитительна, очаровательна!» Господин Вальтер шел с преувеличенною важностью, бледный, с внушительными очками на носу.

Позади них четыре подруги, все в розовом, все хорошенькие, замыкали свиту этой кукольной королевы. Шафера, все точно подобранные на заказ, выступали балетным шагом.

Госпожа Вальтер следовала за ними под руку с отцом своего другого зятя, маркизом де Латур-Ивеленом, семидесятидвухлетним стариком. Она не шла, а еле тащилась, готовая при каждом движении потерять сознание. Чувствовалось, что ноги ее прилипали к полу, отказывались двигаться, и сердце билось в груди точно зверь, готовый выпрыгнуть...

Она похудела. Ее седые волосы делали ее лицо еще более бледным и осунувшимся.

Она смотрела перед собою, чтобы никого не видеть, чтобы не отрываться от терзающих ее мыслей.

Потом появился Жорж Дю Руа с незнакомой пожилой дамой.

Он держал голову, слегка откинув; глаза его смотрели прямо, твердо из-под нахмуренных бровей. Усы его, казалось, шевелились над губой. Его находили очень красивым. У него была гордая осанка, тонкая талия, прямая поступь. На нем отлично сидел фрак, украшенный, точно каплей крови, пунцовой ленточкой ордена Почетного легиона. Затем шли родные — Роза с сенатором

Рисоленом. Она вышла замуж шесть недель тому назад. Граф де Латур-Ивелен под руку с виконтессой де Персмюр.

Затем, наконец, пестрый ряд друзей и сотоварищей Дю Руа, которых он представлял своей новой родне, людей, известных в парижском полусвете, быстро делающих друзьями и, смотря по надобностям, отдаленными родными богатых выскочек, разорившихся дворянчиков с сомнительной репутацией... В числе их были господин де Бельвинь, маркиз де Банжолен, граф и графиня де Равенель, герцог де Раморано, князь Кравалов, дворянин Вальреали, потом приглашенные Вальтером князь де Герш, герцог и герцогиня де Феррачини, красавица маркиза де Дюн... Родственники госпожи Вальтер, находившиеся здесь, имели вид состоятельных провинциалов.

Звуки органа пронеслись, наполняя церковь громкими стройными звуками, взывавшими к небу о людских радостях и горестях. Главные двери закрыли, и вдруг стало темно, точно весь свет остался за дверьми.

Теперь Жорж опустился на колени рядом со своею невестою, против освященного алтаря.

Новый епископ Танжера, с посохом в руке и митрой на голове, вышел из святилища, чтобы соединить их во имя Всевышнего.

Он предложил обычные вопросы, обменял кольца, произнес слова, соединяющие как цепью, и обратился к новобрачным с христианским напутствием. Долго говорил высокопарным слогом о верности. Это был полный высокий мужчина, один из тех красивых прелатов, которым брюшко придает величественный вид.

Послышались рыдания, заставившие некоторых обернуться. Госпожа Вальтер плакала, закрыв лицо руками.

Она должна была уступить. Что ей было делать? Но с того дня, как она выгнала из своей комнаты вернувшуюся дочь, отказавшись ее поцеловать, с того дня, когда она сказала тихо Дю Руа, церемонно поклонившемуся ей: «Вы самое низкое существо, которое я когда-либо знала, не говорите со мною никогда, я не буду вам отвечать!» — она страдала невыразимо и неутешно. Возненавидела Сюзанну острою ненавистью — результат безумной страсти и раздирающей ревности, ревности матери и любовницы, молчаливой, жестокой и мучительной, как незатянувшаяся рана.

И вот теперь епископ венчает их — ее дочь и ее любовника — в церкви, в присутствии двух тысяч человек, на ее глазах! И она ничего не могла сказать! Не могла этому помешать! Не могла закричать: «Он принадлежит мне, этот человек — это мой любовник. Этот союз, который вы благославляете, — бесстыдство».

Несколько женщин прошептали:

— Как бедная мать растрогана!

Епископ возгласил:

— Вы среди избранников земли, среди богатых и почитаемых... Вы, месье, которого талант возвышает над другими, вы пишете, поучаете, направляете

народ, вам предстоит прекрасное поле деятельности, прекрасная миссия дать пример...

Дю Руа слушал, опьяненный гордостью. Прелат римско-католической церкви говорил ему это. Позади себя он чувствовал толпу знаменитостей, пришедших ради него. Ему казалось, что какая-то неведомая сила подымает, толкает его. Он становился одним из земных властелинов, он, сын бедных крестьян в Кантеле.

И вдруг он вспомнил их, в их убогом кабачке, на верхушке холма, над Руанской долиной — отца и мать, подающих напитки местным крестьянам... Он послал им пять тысяч франков, получив наследство графа Водрека. Теперь он пошлет им пятьдесят тысяч, и они купят себе маленькое имение. И будут счастливы и довольны.

Епископ окончил речь. Священник, облаченный в золотую епитрахиль, подходил к алтарю. Орган снова начал прославлять новобрачных.

Иногда он издавал протяжные звуки, несущиеся как волны, такие громкие и мощные, что, казалось, они должны прорваться сквозь крышу, чтобы



вознестись к голубому небу; их дрожащие звуки наполняли всю церковь, заставляя трепетать душу и тело. Потом вдруг они утихали; и нежные воздушные звуки носились в воздухе, касаясь уха точно легкое дуновение; это были грациозные мотивы, порхавшие как птицы; потом вдруг эта кокетливая музыка снова становилась грандиозной по звуку и силе, будто песчинка разрасталась в целый мир.

Потом раздались человеческие голоса над склоненными головами. Пели Вори и Ландек из Оперы. Ладан распространял свое тонкое благоухание, на алтаре совершалось божественное жертвоприношение; Бог Отец по призыву священника нисходил на землю, чтобы освятить триумф барона Жоржа Дю Руа.

«Милый друг», стоя на коленях возле Сюзанны, наклонил голову. В эту минуту он чувствовал себя почти верующим, почти религиозным, преисполненным благодарности Божеству, которое ему так покровительствовало, так милостиво отнеслось к нему. И, не зная точно, к кому он обращается, он благодарил его за успех.

Когда служба окончилась, он встал и, подав жене руку, прошел в ризницу. Тогда потянулась нескончаемая процессия поздравляющих. Жорж, обезумевший от радости, чувствовал себя королем, которого приветствует народ. Он пожимал руки, бормотал незначащие слова, раскланивался, отвечал на комплименты:

— Вы очень любезны.

Вдруг он увидел госпожу де Марель. И воспоминание обо всех ее поцелуях, которые он ей подарил и которые она ему вернула, воспоминание всех ее ласк, шалостей, звука ее голоса, вкуса губ вдруг зажгло в нем внезапное желание снова обладать ею. Она была пикантна, изящна, со своим задорным видом и живыми глазами. Жорж подумал: «Все же — какая она очаровательная любовница!»

Она подошла к нему, слегка стесняясь, волнуясь, и протянула ему руку. Он взял ее и задержал в своей. Тогда он ощутил робкий призыв ее пальчиков, нежное пожатие, прощающее, вновь призывающее, и пожал эту маленькую руку, точно говоря: «Я тебя все еще люблю и принадлежу тебе!»

Их глаза встретились, блестящие, улыбающиеся, влюбленные... Она прошептала своим милым голоском:

— До скорого свидания, месье.

Он весело ответил:

— До скорого свидания, мадам.

Она отошла. Другие люди протискивались к ним. Толпа текла пред ним, точно река. Наконец она поредела. Подошли последние приглашенные. Жорж взял Сюзанну под руку, чтобы выйти из церкви.

Она была полна народу, потому что каждый вернулся на свое место, чтобы посмотреть их идущими вместе. Он медленно шел, спокойной походкой, с высоко поднятой головой, устремив взгляд на просвет выхода, освещенного

солнцем. Он чувствовал, что по телу его пробегает трепет, холодный трепет — ощущение безмерного счастья. Он никого не видел. И думал только о себе.

Подойдя к порогу, он увидел собравшуюся толпу, темную, шумящую толпу, пришедшую сюда ради него, ради Жоржа Дю Руа. Весь Париж любовался на него и завидовал ему.

Потом, подняв глаза, он разглядел там, позади площади Согласия, палату депутатов. И ему показалось, что он одним прыжком от входа в церковь Мадлен очутится у входа в Бурбонский дворец.

Он медленно спускался по ступенькам паперти между двумя рядами зрителей, но не смотрел на них. Его мысли возвращались теперь назад, и перед его глазами, ослепленными ярким солнцем, носился образ госпожи де Марель, поправляющей перед зеркалом завитки волос, развивавшиеся у нее всегда в постели.





СОДЕРЖАНИЕ

Пышка	7
Жизнь	47
Милый друг	
Часть первая	255
Часть вторая	391

Ги де Мопассан

ПЫШКА

ЖИЗНЬ

МИЛЫЙ ДРУГ

Компьютерная верстка,
обработка иллюстраций,
дополнительные комментарии
В. Шабловский

Сдано в печать 21.04.2021
Объем 16,5 печ. листов
Тираж 3100 экз.
Заказ № 2244/21

Бумага кремовая книжная дизайнерская
Stora Enso Lux Cream

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую, художественную
и культурную ценность для общества



ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.сзкэо.рф

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А, www.pareto-print.ru



Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан (1850–1893), более известный как Ги де Мопассан, однажды сказал: «Я вошел в литературу, как метеор, и исчезну, как молния». Действительно, первое произведение писателя, новелла «Пышка», появилось в печати, когда автору было уже за тридцать, и вряд ли кто, даже самые близкие люди, ожидал от чиновника морского министерства столь мощного и уверенного дебюта; о творчестве Мопассана сразу с восторгом заговорили в высших кругах тогдашней литературной элиты. И все последующие тринадцать лет своей писательской деятельности (увы, всего

тринадцать) Мопассан продолжал поражать читающую публику — не только мощью своих произведений, но и потрясающей работоспособностью: за один только 1885 год он написал полторы тысячи печатных страниц художественной прозы, не считая очерков и фельетонов! И его безвременный закат был таким же внезапным и ярким...

Мопассан вошел в историю литературы как крупнейший французский новелист, мастер рассказа с неожиданной концовкой, очень плодовитый писатель, произведения которого активно обсуждались во всем мире, автор не менее двадцати сборников короткой прозы и шести романов. Его талантом восхищались Фридрих Ницше, Иван Тургенев и Лев Толстой, у него учились искусству короткой прозы О. Генри, Сомерсет Моэм и Иван Бунин.

Настоящий сборник открывает дебютная новелла писателя «Пышка» (1880), повествующая о событиях Франко-прусской войны 1870–1871 годов, в которой Мопассан участвовал простым рядовым. Новелла была опубликована в сборнике «Меданские вечера» среди произведений других авторов-ветеранов, однако сразу привлекла к себе всеобщее внимание и выдвинула Мопассана в число первых писателей Франции. Гюстав Флобер, близкий друг и наставник писателя, назвал ее шедевром.

Свой первый роман «Жизнь» (1883) Мопассан создавал в течение шести лет, тщательно работая над каждой главой. Роман вызвал ажиотаж среди читателей; Лев Николаевич Толстой считал «Жизнь» «превосходным романом, не только несравненно лучшим романом Мопассана, но едва ли не лучшим французским романом после „Отверженных“ Гюго».

Заключает сборник второй и, пожалуй, самый известный роман Мопассана — «Милый друг» (1885), рисующий перед читателем яркую картину общественной и политической жизни Парижа 1880-х годов. Именно он, выдержавший за четыре месяца тридцать семь тиражей, принес Мопассану мировую известность.

Сборник проиллюстрирован рисунками французских художников Пьера Жоржа Жанныо (1848–1934), Жюля Мари Огюста Леру (1871–1954) и Фердинанда Бака (1859–1952).

ISBN 978-5-9603-0632-4

